

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ



Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ



ПРОЗА • ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

ПРОЗА

•

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

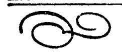
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 1
Г 20

Составление, вступительная статья
и комментарии

Г. М. Миронова, Л. Г. Миронова

$Г\frac{4702010100—1666}{080(02)—88}$ 1666—88




«ДА, НЕТ ВЫШЕ СЧАСТЬЯ, КАК РАБОТАТЬ НА СЛАВУ СВОЕЙ ОТЧИЗНЫ».

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА

Вы взяли, читатель, в руки книгу человека необыкновенного. Более всего знаете его как писателя Н. Гарина, создавшего знаменитую тетралогию — «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». «Целая эпопея!» — говорил М. Горький, уважавший и любивший *«брата-писателя»,* но с не менее сильными чувствами относившийся к Н. Г. Михайловскому, известному в России *инженеру-путейцу,* изыскателю и пропагандисту дешевых железных дорог. Правда, к третьей «ипостаси» — *сельскохозяйственной деятельности* Николая Георгиевича хорошо знавший мужицкую Русь Горький относился с изрядной долей скептицизма и даже иронии. Была и четвертая сторона самовыражения богатой натуры — *общественная,* о которой и сегодня далеко не все известно: боролся с голодом и холерой, был организатором нескольких прогрессивных органов печати, участвовал в революционных комитетах в Пятом году, организовал первый в стране товарищеский суд над казнокрадом; мало того, проявил себя как талантливый *ученый-географ,* путешественник, первооткрыватель, основал город, *собирал и публиковал фольклор...* Горький этого безмерно одаренного человека почитал «во все стороны талантливым».

Меньше всего Гарин-Михайловский заслужил обывательски близорукий ярлык разбрасывавшегося чудака, «легкого» человека, сумасброда, швыряющего на ветер тысячи (будто эти тысячи сами лезли в руки, а не доставались адским, на износ труженичеством).

В полном соответствии с традициями и привычками российского литератора — считать свой гонорар «общественной принадлежностью», как Герцен, Тургенев, Глеб Успенский,— щедро отзывался Николай Георгиевич на добрые дела: одаривал первого встречного бедняка-инородца, перезакладывал имение ради возрождения передового журнала, прогрессивной газеты, жертвовал, оторвав от семьи, большие суммы на пропаганду, на подпольную работу, на оружие для самой боевой в первую революцию партии.

А какую высшую революционную почесть оказали ему бастовавшие железнодорожники Новониколаевска, который в пору изысканий Великого Сибирского пути заложил начальник партии инженер Михайловский. Узнали рабочие, что в одном из застрявших из-за Октябрьской стачки эшелонов возвращается он «в Россию»,— и зеленую улицу ему — впереди всех золотопогонных ничтожеств в генеральских и офицерских чинах, в мундирах «голубого» и иных ведомств, равно виновных в позорном проигрыше войны японцам и кровавом подавлении народной революции. Новая, поднимающаяся Россия не забывала своих ратоборцев.

Дважды гадалки щедро пророчили ему долгую, вековую жизнь. Вскоре после освобождения Балкан старая болгарка разглядела на своих картах: молоденькому синеглазому русскому инженеру, пер-

вому «мирному» иностранцу, строителю,— жить сто лет; через четверть века древняя кореянка почти слово в слово повторила то же седоволосому усталому человеку, известному писателю, приехавшему на ее родину не разрушать — строить первую на Дальнем Востоке канатную дорогу... Обе старухи благодарно отмерили мирному созидателю столетие жизни. Он прожил половину — зато как прожил!

И не забудем, не забудем, как проводили его в последний путь столичные интеллигенты, сознательные рабочие: по подписке антисамодержавный, демократический Петербург мансард и застав собирал рубли и гривенники, когда стало известно, что осиротевшей семье Гарина и похоронить-то его не на что.

Николай Георгиевич сказал однажды: нет узелков на моих парусах, которые бы я не развязал... Все отмеренные ему годы мчался он вперед, неудержимый в труде, в творчестве, в желании всех и вся сделать счастливыми при их жизни. А высшее счастье видел в создании нового общества в родной стране своей.

Гарин-Михайловский как никакой другой из русских писателей отразился в своей эпохе, в своих творениях. Характером, разносторонней деятельностью, чертами личности, поведением в экстремальных ситуациях, писательским почерком, фактами сложной, многомерной жизни, взаимоотношениями с современниками. Гарин-Михайловский сумел схватить черты «переломного» времени, в котором он жил и творил на грани технической и художественной сфер — тем и стал известен как инженер и писатель.

А время выпало сложное, неповторимое.

«Я родился на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые[1] лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны проволочные, беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом от сальной свечи — к электрическому прожектору, от тарантаса — к аэроплану, от парусной — к подводной лодке, от эстафеты — к радиотелеграфу, от кремневого ружья — к пушке Берте и от крепостного права — к большевизму и коммунизму. Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях»[2].

Все, за что брался Николай Георгиевич, получалось. А если срывалось, даже не по его вине, относил на свой счет: не додумал, не постиг, не соотнес с *общими* проблемами и задачами времени. А время мы видим какое досталось, и он как инженер, как писатель приложил и руки, и сердце, и душу к тому, чтобы приблизить будущее. Но будущее мирных курьерских электропоездов, а не двенадцатидюймовых чудищ уничтожения, будущее России социал-демократии, революции, свободы, а не бесправия, будущее «интересной работы», «волшебных возможностей», «сложнейших задач».

---

[1] Карсель — старинная лампа со специальным заводным механизмом для подачи масла (по имени изобретателя Карселя).

[2] Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве, М., 1980, с. 7.

«Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас»,— говорил Гарин.

Ника Михайловский увидел свет 8 февраля 1852 года в столице, где обласканный за венгерские геройства Николаем Павловичем и, по-видимому, в его честь назвавший первенца майор лейб-гвардии Уланского полка удостоился высокой чести крещения сына самим императором. Георгий Антонович крепко отличился под местечком Германштадт[1] в Венгерскую кампанию 1849 года, крайне непопулярную в передовом русском обществе. Когда так блестяще составлявшаяся карьера — с кончиной государя от гнилой заморской болезни и доморощенных крымских неудач — оборвалась, несостоявшийся генерал в майорском чине отбыл в Новороссию, в отчие края свои и жены, Глафиры Николаевны. В семье отставной воин, человек, по-видимому, от природы не злой, круто насаждал культ недавно помершего «обожаемого монарха» Николая «Незабвенного» и с собственными детьми обращался палочно, по-николаевски, иначе не был научен.

В первой части «семейной хроники» — «Детстве Темы» (1892) расскажет автор об отце мальчика генерале Карташеве, вспоминавшем памятный бой, с которого пошла «настоящая» карьера. Не забудет писатель упомянуть, что нерассуждающий улан отличился в неправом сражении с революционными патриотами; не забудет передать рассказ бывшего командира эскадрона — о русских солдатах: «конечно, николаевские времена: с человеком, как со скотом... ласку ценили...», о венгерских патриотах упомянет: у них пушки и ружья «дрянные», да и войско нерегулярное, худо обученное — «сапожник, шарманщик, франт»... В эскадронного стрелял и был убит «мальчик лет пятнадцати, не больше, ребенок!». После боя разглядели: «Раскидал ручонки, точно в небо смотрит... лицо тихое, спокойное»... Не простит этой гибели николаевскому строю интернационалист писатель-демократ Гарин. «Жалко папу» — родной человек, но такой жестокий,— и с резким, отчетливым осуждением передаст автор «Детства Темы» предсмертные слова генерала сыну: «Жил, как мог... и ты будешь жить... узнаешь много... а кончишь тем же,— будешь, как я, лежать да дожидаться смерти... тебе труднее будет, жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уже не годится. Мы любили родину, царя. Теперь другие времена... Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя в свои очки так, как будто он мир завоевал... Обидно умирать в чужой обстановке... И ты то же самое переживешь, когда тебя перестанут понимать, отыскивая пошлые и смешные стороны...»

Эта же была целая жизненная программа! Для монархиста, душителя свободы своего и других народов, настала в пору мятежных 60—70-х годов «чужая обстановка». И самое жуткое для потрясенного мальчика в этом монологе умирающего слова: «Если ты когда-нибудь,— грозит перед последним порогом отец,— пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба...» Такое не выдумать — без сомнения, все это пережил подростком сам Ника.

Михайловские были старые дворяне Херсонщины, все «движимое» и «недвижимое» утратил обедневший род, и источником суще-

---

[1] теперь город Сибиу в Румынии.

ствования стала служба. В тетралогии одной из важнейших проблем, поставленных писателем, оказалась проблема долга — перед отечеством, народом, обществом. «Пледы и очки» действительно завоевывали симпатии передовых людей, а реакционеры оказывались в изоляции. Злым, но несбывшимся окажется пророчество генерала Карташева: его сын никогда не примирится с косностью, неправдой жизни, слепой покорностью произволу. Через тернии — к звездам, вечное стремление к идеалу — эта гаринская идея пронизывает многие его произведения и в первую очередь более других вещей знаменитую тетралогию. «Целая эпопея» русской жизни на протяжении полувека — от конца крепостничества до первой революции. Гаринские герои вместе со страной живут «на переломе» — идут от горькой, темной, не удовлетворяющей поры несбывшихся иллюзий эпохи «освобождения» к обретению реальной почвы под ногами, к осознанию своей нравственной силы, к поискам новой земли и нового неба. Это дорога интеллигенции к революции, когда отрицание основ отживающего строя соединялось в сознании и судьбах тех, для кого «путь открывался для широкого творчества» на благо народа, будущего родной земли. Дух времени обретал слияние революционного и творческого — нельзя было быть революционером, не видя очертаний будущего, нельзя было стать творцом без кардинальной ломки закосневшего строя. Писатель Гарин «пошел против царя». Зато и сыск о нем «заботился», и под негласным надзором почти десять лет состоял, и ордена лишился, и из столицы высылали... Одного не добились: не изменил своим убеждениям.

Жизнь и творчество Гарина-Михайловского удивительно созвучны его времени, его эпохе.

Уже с первых «сознательных» мальчишеских лет Ника Михайловский (Тема Карташев во всех четырех частях «семейной хроники») занимает активную жизненную позицию, борьба становится для него важнейшей потребностью.

«Детство Темы» — самая сильная из всех повестей. Сорокалетний Гарин выступил в ней не только как талантливый начинающий литератор, художник-мемуарист, социолог, но и как педагог, сторонник новых методов воспитания.

Юный человек должен расти на правде, действовать как сознательная личность, свободный гражданин страны своей. И тут нет места трусости, слабоволию, своекорыстию, лжи. Вспомним, с чего начинается повествование — с борения мальчика с собственным слабостями, стремления быть честным, смелым, поступать только по велению совести. Героическое, непосредственное, настоящее пробуждается в маленьком Теме в тот час, когда мальчик осознает: только он сможет помочь попавшей в гнилой колодец Жучке, вызволить, спасти — даже если придется рисковать своей жизнью.

Писатель смело заговорил о том, что в поступках Темы — пылкого, честного, наделенного душою прямой, широко распахнутой навстречу жизни — присутствует и *героическое* начало: без самопожертвования, смелости, любви к ближнему и доброты не может быть *настоящего человека, личности, будущего гражданина своей страны.*

Темин характер рождается в борении. На душу ребенка предъявили свои права родители, казенная гимназия, как ранее это сделал «наемный двор». Отец, воспитанный в палочном, карающем стиле, требует беспрекословного послушания, слепой верности; идеалом матери, женщины умной и мягкой, но находящейся в плену сословных дворянских преставлений, был отнюдь не свободомыслящий образованный гражданин, а слуга строя, умеющий приспособиться к ус-

ловиям бытия — так ему будет легче идти по этой жизни. Того же, по сути, добивалась гимназия. Писатель показал тяжелый, давящий настрой тогдашней ученической жизни, такой же несправедливый, сословный, недемократичный, каким был и порядок в государстве,— он в юном Теме Карташеве вызывал ужас, инстинктивное противление. Жить не в согласии с нормами казенной гимназии, а в противодействии им. Мы знаем: с юных лет Ника Михайловский проявил себя как личность. В компаниях детей одесской голытьбы поставил себя не господским сынком — просто Колькой, которого все любили за доброту, отвагу, склонность к равноправию. От ребячьих бедняцких разноплеменных дружин протянулась для Михайловского «цепочка» демократической приязни к сезонным рабочим на изысканиях и строительствах «чугунки» — болгарам, молдаванам, абхазцам, сибирякам, волжанам, удмуртам... Дружинный дух детства и отрочества всю жизнь помогал инженеру Михайловскому отваживать иных великорусских или малорусских мужиков от антитатарского или антисемитского настроя, выгодного не труженику-бедняку, а православному купцу, подрядчику, перекупщику, таким образом избавлявшемуся от конкурентов-инородцев. Прочный интернациональный настрой Михайловский пронесет через всю жизнь гимназиста, студента, инженера, писателя, общественного деятеля.

В восемнадцать лет закончена гимназия, и Николай помчался в далекую столицу. В университет, на юридический — словом адвоката, праведного судьи защитить родной народ от кривды, увы, слишком часто господствующей даже в коронном суде, даже в суде присяжных. Таково было веление времени, гордого именами Чернышевского, Герцена, Некрасова, Щапова...

В конце 90-х годов даже товарищеский суд учредит начальник работ на железной дороге инженер Михайловский над чиновным вором — и в этом суде примут участие все, от сторожей до инженеров.

Ну, а если бы Николай Георгиевич стал не путейцем, а юристом? — задаемся мы вопросом; или, как мечтал, сожалея, уже зрелым человеком, что пошел строить по горизонтали, а не по вертикали. Думается, кем бы ни оказался Михайловский — инженером, юристом, архитектором, агрономом,— все равно был бы писателем. Он задохнулся бы без большой аудитории, без трибуны беллетриста, публициста, художника слова, способного влиять своим талантом на миллионы людей. И тем самым приближать будущее. Наблюдательнейший Горький подметил в Гарине характерное: «был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны». Да, был горяч, хотел многое успеть, спешил, не жалея ни здоровья, ни времени ради настоящего, нужного людям, дела. Но никогда не бросал начатое и любую работу выполнял с блеском таланта, не терпел скороделок, труда спустя рукава ни своего, ни у подчиненных. Его считали рабочие чудаком: за хорошую работу доплачивал из своего кармана. Органически не выносил худо выполненные обязанности, спешил, горячился,— а оказывалось, разведывал, планировал, строил на века. Он единственный из писателей мира основал город — и не простой, заштатный — ныне миллионный городище, получивший прозвание сибирского Чикаго. Разведал трассу для электрической чудо-дороги в Крыму — и сейчас на автостраде между Севастополем и Ялтой на скале вырублен его профиль, и золотом по мрамору оповещают автопутников слова о том, что изыскатель инженер Михайловский нашел оптимальный вариант дороги не только для современников, но и для дальних поколений. Хо-

тя и говаривал, что способы определения драгоценного металла не у современников, а у потомков,— безошибочно находил магистральные пути в будущее — не только железные дороги имеем в виду. В начале девяностых примкнул к народникам: увидел у них высокую нравственную чистоту, самоотвержение в служении идеям трудовой крестьянской нищеты, отдал журналу «Русское богатство» все сбережения. В конце же девяностых разгадал в идейных народниках ищущих «вчерашний день» людей — и решительно ушел к марксистам. «Марксов план реорганизации мира,— точно отметил Горький, крепко любивший в Михайловском неуемные поиски путей в грядущее,— восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности».

А сначала у студента, потом инженера Михайловского была железная дорога, «чугунка». И в жизни, и в литературе. В жизни у двадцатилетнего несостоявшегося правоведа начался новый этап. Отказавшись от юриспруденции, Николай успешно сдал экзамены в столичный императора Александра II Институт инженеров путей сообщения, давший ему специальность путейца-изыскателя и строителя шоссейных и железных дорог. Примечательно, что практику студентом четвертого курса Николай проходил в должности кочегара на железной дороге неподалеку от родных мест, в Бессарабии,— о чем оставил прекрасный художественный документ — рассказ «На практике» (1903). Сюда вошли эпизоды лета 1876 года, когда молодой практикант впервые столкнулся с непонятной и нелегкой, но притягательной для него жизнью рабочих — людей труда. Надо думать, событие с возмущением железнодорожников, не пропущенное в журнальном варианте рассказа цензурой и только пять лет спустя увидевшее свет в собрании сочинений Гарина в издательстве «Знание» у Горького, в действительности не имело места и эпизод введен писателем уже в пору подъема рабочего движения. Однако точно подмеченный факт героического начала в труде путейцев, изыскателей, рабочих — строителей дорог нашел отражение в ряде его произведений еще в начале творческого пути, в 90-х годах, и базировался на впечатлениях студенческой юности и отложился на всю жизнь.

Институт был окончен в пору победного завершения десятой русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Соединенными усилиями мощных русских армейских корпусов, болгарских, сербских, хорватских, румынских добровольческих дружин свергнуто многовековое оттоманское владычество. Николай прокладывает шоссе Варна — Бургас, строит бургасский порт — первое в Болгарии мирное сооружение, и ведут его русские инженеры. В повестях «Клотильда» (1899) и посмертно опубликованных «Инженерах» (1907) правдиво и тепло воссоздан ряд эпизодов из инженерной молодости, своеобразная обстановка первых послевоенных недель и месяцев поры практической деятельности. За образцовое выполнение работ в Болгарии инженер Михайловский награжден первым из трех своих гражданских орденов — Станислава III степени.

Потом были труды тяжкие, не всегда благодарные — по разведке и прокладке нескончаемых, жизненно необходимых государству железных дорог. На Кавказе, в Белоруссии, в Поволжье, на Урале, в Сибири... И тут особые качества проявил инженер Михайловский 2-й (так звали Николая Георгиевича в отличие от старшего годами и чином, но невысокого гражданского, нравственного полета стат-

ского генерала, его начальника едва не на всех стройках): бескорыстное служение и долгу и делу, полное пренебрежение личными интересами ради общественных, каскады идей одна другой ярче — социальных, технических, аграрных, гражданских... Недаром уже незадолго до революции 1905 года Михайловский 1-й обратился с просьбой ко 2-му: «Приходите, поработаем вместе». Делец признал свое нравственное поражение.

С первых лет активной профессиональной и общественной деятельности с малым отрядом друзей-единомышленников бесстрашно сражался за свои идеи Н. Г. Михайловский, еще не ставший Гариным. В повести «Вариант» (1887—1888) — первом писательском творении инженера о путейце Василии Кольцове, первообразом которого стал Михайловский 2-й, сказано: четыре раза бросал дело и уходил со скандалом, временно были заперты все двери в министерстве, но никогда не жалел, что поступал так. Николай Георгиевич, решивший стать «практиком этой жизни», увидел «на практике» действия российских бизнесменов из рьяных патриотов. Позабыв о долге и чести, военные господа поставляли победившей турок армии вместо дорожного гравия простой грунт; победить их оказалось невозможно, и военный путеец Михайловский покинул армию. Потом на сооружении железной дороги от Батума до Тифлиса хищники-концессионеры, чтобы закрыть рот строптивому инженеру, предложили участие в прибыльных подрядах — и он подал в отставку. Будут еще не только ордена и производства в следующий чин — за несговорчивость, за статьи в прессе, за «неумение жить», за простую человеческую порядочность и щепетильную профессиональную честность последуют отстранения, пустые придирки, выговоры, начеты и даже — венец непрощающей чиновничьей травли таланта и честности — увольнение «по третьему пункту»: без права на прошение, реабилитацию. (Чехов клеймил таких: «засаленные патриоты»).

Очень возможно, что преследования ускорили желание стать писателем. Гарин остро нуждался в большой трибуне для пропаганды массового сооружения — среди океана бездорожья — дешевых и скоростроящихся узкоколейных железных дорог. Мстительно клеймили чинуши широко и свободно мыслящего коллегу. Дали бранную кличку «узкоколейщик», а сами были узколобы, доктринерски бесплодны.

Будет у Гарина идея элеваторов: чтоб мужику обойтись без кровососов-перекупщиков. Планы разумного ведения крестьянского хозяйства — в обход кулака, общинно, под руководством помещика — аграрного новатора, к тому же и народолюба. Идея... план... замысел... вариант... практика... пропаганда в научных и художественных журналах всего этого, до краев переполнявшего энтузиаста-преобразователя. Михайловский писал ночами, в свободные от работы дни и оторванные от сна часы, многое рвал — исписанное диалогами, подслушанными эпизодами, лично пережитым. Писал каждую минуту и на чем придется: дестях бумаги, заявках на инструмент, папиросных коробках. Короленко полушутливо утверждал: пишет даже на облучке, на дуге. Елпатьевский лукаво доказывал, что Гарин — единственный из русских писателей передает свои рассказы по телеграфу.

Но случай уже шел к начинающему литератору: кто жадно, неутомимо ищет, тот находит.

Надежда Валериевна, жена Гарина — Аделаида Борисовна в «Инженерах» — увидела: «Николай Георгиевич пишет с увлечением в тетрадке что-то такое, что совсем не похоже на смету. Я его спросила, что он пишет. Он с некоторым смущением ответил мне, что его

иногда неудержимо тянет писать». Так появлялись — контрабандою — будущие шедевры гаринской беллетристики и публицистики 1887—1891 годов: «Вариант», «Несколько лет в деревне», «Детство Темы».

Жена в своих правдивых и задушевных воспоминаниях рассказала о первых шагах Николая Георгиевича в литературе. Однажды он прочитал гостям, инженерам-путейцам, свои записки о трехлетнем хозяйствовании в глухой самарской деревне. Смущенные слушатели не знали, что и сказать. Огорченный автор заметил жене: «Теперь ты убедилась, что я не писатель и что я пишу плохо». Однако умная и сердечная Надежда Валериевна возразила: «Гости молчали не потому, что нашли рассказ плохим и неинтересным, а только потому, что инженеры вообще мало знакомы с литературой, не интересуются ею и привыкли судить о писателях исключительно по отзывам критиков. В данном случае критика не было...»

Надежда Валериевна, несомненно, была права. Ей наша литература обязана публикацией повести «Вариант», рукопись которой автор сам забраковал и порвал. Жена собрала драгоценные листочки и бережно хранила; уже четыре года не было в живых писателя Гарина, но он пришел к читателю: в воссозданном им когда-то популярнейшем «Русском богатстве» появилась повесть.

Это было в 1910 году, а двадцатью годами ранее, когда близилась к завершению дорога Уфа — Златоуст, по пути из Сибири в Москву посетил Михайловских один самарский знакомый. Узнал, что деревенские неудачи выжили Михайловского, с таким огоньком начавшего хозяйствовать на земле, из Гундуровки и он вернулся на путейскую стезю; на счастье, автор и ему прочитал «Несколько лет в деревне», гостю они страшно понравились, и он вызвался показать очерки знакомым литераторам в Москве (по-видимому, из круга передового журнала «Русская мысль»).

В самом начале грозного, голодного и холерного 1891 года, когда после завершения работ на Урале и накануне изысканий в Сибири Николай Георгиевич ожидал назначения из министерства, в разгар пасхи под окнами гундуровского дома остановилась коляска. Незнакомый человек лет пятидесяти с умными и внимательными карими глазами — это был известный и любимый в передовых кругах общества беллетрист К. М. Станюкович — вышел из нее, поспешил к хозяину. Оказалось, что рукопись читалась в кругу знаменитых писателей — Глеба Успенского, Златовратского, самого́ Н. К. Михайловского, теоретика народничества, единомышленника, соратника Некрасова и Щедрина по литературной борьбе в «Отечественных записках». Понравилась, и если желает автор, будет напечатана в журнале, о чем сам Константин Михайлович вызвался известить. Он напросился в крестные отцы начинающего писателя, когда Николай Георгиевич прочитал на радостях главы из незавершенного «Детства Темы». «Тогда же поднялся вопрос,— сообщает мемуаристка,— писать ли Николаю Георгиевичу под своей фамилией или взять псевдоним. Остановились на псевдониме, и так как Станюкович сказал, что обыкновенно для псевдонима берут имя кого-нибудь из близких, Николай Георгиевич назвал себя Н. Гариным по имени нашего годовалого тогда сына Гари (уменьшительно от Георгий)».

1892 год стал «звездной порой» в жизни Н. Г. Гарина-Михайловского. К своему сорокалетию он оказался на скрестьи двух своих любимых профессий: позади была почти пятнадцатилетняя пора изысканий и строительства железных дорог, впереди — пятнадцатилетняя писательская стезя. Сделали автора неожиданно для

него известным и любимым прогрессивным читателем два произведения. Появившиеся в первой половине года в петербургском «Русском богатстве» «Детство Темы» и в московской «Русской мысли» «Несколько лет в деревне». Прогрессивная пресса новой и старой российских столиц словно бы вступила в соревнование за право печатать ярко заявившего о себе писателя. Короленко в ту пору назвал его «молодым с седыми волосами беллетристом». Гарин и был таким: ослепительной белизны густая грива волос, ярко-синие молодые глаза; порывистый, нетерпеливо берущийся за множество дел одновременно, однако самые важные всегда доводит до победного завершения. Горько сожалел в последнюю пору своей жизни, что два труда не довел до конца: не построил электрическую невиданную дорогу по южному берегу Крыма и не увенчал «Инженерами» тетралогию. Первую задумку прервала война, вторую смерть: и ту и другую равно ненавидел он всю свою жизнь.

Итак, первой любовью и в жизни, и в литературе стала у него «чугунка».

Повторял затверженное в юности:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

И еще эпиграф: «Кто строил эту дорогу?» Два ответа: «Инженеры» и «Генерал Петр Андреевич Клейнмихель...» Второй ответ, полный сарказма, цензуру не устраивал — велено было заменить на прямой. А насчет косточек особенно верно. Автор «Варианта» много повторял устно и в печати: работа изыскателя и строителя дорог сродни подвигу бойца на войне, тот и другой постоянно рискуют жизнью, трудятся на пределе сил, с постоянными перегрузками. Потери, утверждал Гарин, доходят до 8% — «это процент войны». Одним из таких преданных, увлеченных делом, граждански самозабвенных людей выведен у молодого писателя инженер Василий Кольцов.

Гарин шел в литературу с образом *положительного героя* своего времени Надо сказать, иные писатели, не всегда отступая от правды, изображали инженеров эдакими дельцами, тесно спаявшимися с подрядчиками, воротилами, гнусно эксплуатировавшими бесправный рабочий люд. Были и такие, изменившие долгу и чести, и, по-видимому, в немалом количестве, если судить по романам и повестям П. Д. Боборыкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, того же Станюковича, по шумным судебным процессам поры железнодорожных бумов, часто сопровождавшихся бесстыдными грабительскими панамами [1]. Чистый душой, беспредельно преданный славному делу борьбы с российским мертвящим бездорожьем, Михайловский 2-й высоко ставил честь мундира путейца. Невеликий круг друзей-единомышленников примыкал к нему: среди них варшавянин Евгений Подруцкий, уралец Николай Тихомиров, петербургский армянин

[1] «Панама» — с 80-х годов XIX века синоним международной и финансовой аферы, коррупции капиталистического мира; при сооружении канала между Атлантическим и Тихим океанами ради сокрытия своих чудовищных злоупотреблений французская акционерная компания, разорив до полумиллиона небогатых вкладчиков, широко подкупала министров, парламентариев, магнатов прессы.

Григорий Будагов, сын Глеба Успенского — Александр, «Сашечка», отец советского писателя Андрей Сафонов... Личным примером верности долгу интеллигента-демократа эти люди резко выделялись на всех стройках среди других: им завидовали, на них клеветали, иные не выдерживали — отступались или спивались,— но приходила молодежь и жадно внимала легендам-былям о тех, что печалился не о своих бедах, для кого не служба начальству, но *служение народу* было превыше всего.

Одного из таких героев своего времени написал в повести «Вариант» Гарин-Михайловский.

Кольцов отнюдь не символ, не идеал. Он неважно знает теорию, в институте был «облыжным» (студент, что готовится только для экзаменов); так много в нем от автора, хотя никогда мы не поставим знака равенства между писателем Гариным и Кольцовым, Артемием Карташевым, инженером из «Клотильды» Николаем Саблиным и многими персонажами, кто хоть и несет определенные,— а часто именно черты биографии и личности автора, его времени,— но все же выступает не фотопортретом Гарина, а персонажем художественного произведения. И далеко не всегда Николай Михайловский и Артемий Карташев, Николай Саблин, повествователи из рассказов «На практике» (1903), «Когда-то» (1898), «Переправа через Волгу» (1894), из очерков «Еврейский погром» (опубликован — 1914 и 1916), «Жизнь и смерть» (1896), драма «Орхидея» (1898) и др. могут быть отождествлены; никак нельзя художника приравнивать к фотографу или мемуаристу... Гарин же — *писатель*, образы его творчества есть художественные образы его современников, которые, употребляя выражение Короленко, ему «знакомы более других». В иных произведениях (например, рассказы «Два мгновения», «Дела», оба 1897; очерки «Картинки Волыни», 1897; «По Западной Сибири. По земле Сибири» 1894—1897) эти образы сливаются, что, кстати заметить, никогда у Гарина не снижает художественной ценности вещей, обобщающей силы образа автора-рассказчика. Еще на заре творческой деятельности, как бы предвосхищая свой беллетристический метод, напишет жене вскоре после уничтожения рукописи «Варианта»: «попробую писать как бы о Кольцове, описывая действительную жизнь: не выйдет, ты не будешь в убытке, так как будешь знать про меня». Конечно, самое лучшее творение Гарина — его собственная жизнь, отсюда пошли все его произведения.

Можно ли повторить за современником писателя: главный персонаж его творений — это он сам? Конечно, нельзя понимать подобное утверждение буквально. Ка́к интересна ему всегда и во всем была жизнь людей и своя, которую он творил: кипучая, творческая, нетерпеливого созидания жизнь. И оттого в «любимых» персонажах у Гарина почти нет людей инертных, сонных, равнодушных, отстраненных. Всюду у Гарина борьба, «практика», «варианты», новые люди, новые дороги, иные неведомые или невиданные края, необжитая, пока дающая человеку мало пользы родимая земля, ностальгическая боль по славному минувшему и светлые надежды на народное счастье впереди, нередки зарева (жгут мужички добродетельного помещика, равно как и когда-то ненавистного барина), взрывы бунтарства или мужества в простом, «безвестном работнике» на железной дороге, в ординарном, не созданном будто бы для подвигов русском земском враче, американском путешественнике землепроходце, болгарском вольнолюбивом землекопе, корейском бесправном земледельце... И восклицает тогда автор «Двух

мгновений», не привыкший к славословию и громкому лозунгу: «в ваших глазах я вижу бога, вы избранники его, и честь быть с вами, честь сознавать себя равным вам, безвестным героям... честь, великая, честь быть равным там, где человек равен божеству...»

Подобные мгновения не старят таких людей — наоборот, сулят «вечную молодость». Кольцов у Гарина «думал о вечной молодости и, сверяя свои чувства с прежними, повторял себе с восторгом, что он никогда не будет стариком... думал, что он оптимист и что всегда найдет себе утешение, затем ему пришло в голову слово «идеалист». Как часто устами своих персонажей полемизировал писатель в письмах, рассказах, пьесах с людьми тяжелыми, косными, которые,— как отец Артемия Карташева,— противостоят своему быстротекущему времени, обгоняющему их,— и тогда они прежде времени *старятся,* то есть влекутся жизнью *в чужой обстановке,* не понятые и отвергаемые молодыми «идеалистами», людьми исторически оптимистичными, готовыми *всегда служить только родине и никогда царю:* для них то и другое розно.

У Гарина множество таких — и эту когорту возглавил инженер Василий Кольцов.

Поразительно, до чего современен «Вариант», написанный сто лет назад. Словно Кольцов из теперешнего времени, страстный сторонник и деятельный участник перестройки.

Быть может, нигде так сильно, ярко не показал Гарин одержимость делом, как у Кольцова. С повестью произошла парадоксальная вещь — незавершенная, уничтоженная автором, забытая на два десятилетия, она прочно заняла видное место среди творений Гарина.

И, конечно, это не очерк и не рассказ — это именно незаконченная повесть. Полная драматизма, накала страстей, возможно, с трагическим финалом — у Кольцова чахнет его маленький сын, а отец не может, не хочет бросить любимое дело и увезти ребенка на теплый юг: к тому же борьба отнюдь не сулит скорой победы, да и победы ли?

Но как сильно высвечены в этой схватке характеры: малая горсточка энтузиастов против кабинетного чиновничьего равнодушия, «мерзости казенного дела», зависти, оглядки на начальство, нежелания считаться с экономикой... Да, полно, в 1887 или в 1987 написана повесть?! Особая символика видится в ней. Недооцененный, несчастливый, оборванный на высокой патриотической ноте, удачный «Вариант», в котором, в прекрасном союзе отраженные талантливым художником, слились пафос инженерного труда и ярость гражданского подвига. Куда там высокочиновным клейнмихелям, бабушкиным внучка́м до талантливых, одержимых инженеров!

Идейному и творческому настрою «Варианта» близок целый ряд произведений, частью незавершенных, где писатель исследует характеры, раскрывает судьбы созидателей, строителей, призванных самой профессией стать в ряды работников своей страны (инженер Михайловский высоко ставил это понятие — Горький приводит его: «чувствовал себя работником, нужным миру»). Но мало того, Гарин не мог не быть «поэтом труда» — он воспевал труд радостный, творческий, общественно необходимый. Только такой человек — писатель и инженер — смог по праву сказать искренне и горячо: «Счастливейшая страна Россия. Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач!»

Произнесено им с публицистической страстностью о труде значительном, приравненном к мужественным историческим подвигам

предков: «Да, нет выше счастья, как работать на славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это жизнь, это напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви, что жалеть о них, когда эти радости сменяются более высшими наслаждениями, сознанием делаемой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь».

И в повести «Клотильда», этом гимне настоящей любви, «не остыл» в Гарине-Михайловском пыл певца труда. «Мне по душе была моя кипучая жизнь,— признáется его герой Николай Саблин и добавит:

— Жизнь пройдет так в работе, в труде, в скитаниях в этих палатках. Удовлетворение — сознание исполненного долга. Сознание, которое только в тебе».

И тут же нескрываемо залюбуется автор трудом рабочих, с восторгом передаст музыку «энергичных ударов сотни топоров, работавших в бухте» или внимание читателя привлечет к «красиво ощебененному шоссе» (мы более нигде ни у старых русских писателей, ни у советских такого образа не встретим — только у нашего автора блеснет он редкой жемчужиной).

А в «Инженерах» останутся нам великолепные сцены сражения, борьбы со слепой разрушительной стихией, когда два инженера понесутся над бездною — так надо для дела...

И не просто слова о радости труда, о красоте его плодов, о мужестве, необходимом для одоления преград,— все это у Гарина-Михайловского и его героев подтверждалось каждодневными делами, тяжелыми, беззаветными и непрестанными. Так умеют трудиться по-настоящему талантливые люди: самозабвенно, нетерпеливо, спеша сделать побольше.

К произведениям об ответственности человека за его жизненный, трудовой, гражданский «вариант» примыкает неопубликованная пьеса «В медвежьих углах» («Жонглеры чести»), написанная, по-видимому, во второй половине 90-х годов. Гарин создает привлекательный образ «человека практической деятельности» инженера Холмского; идеал его — «разумная», «культурная» работа на благо страны, «уважение к человеку». Эту работу Холмский считает за «самое сильное из всех оружий, какими владеют люди». Но в столкновении с пошлостью и подлостью «жонглеров чести», «апостолов клеветы» беззащитный перед ними Холмский терпит сокрушительное поражение; ему остается одно: взывать к общественному мнению, требовать для негодяев «главного суда всего русского общества».

Вальнек-Вальновский, герой одноименного рассказа (1895), «закабаленная жертва капризной судьбы», несмотря ни на что, сохранил «еще что-то молодое и сильное» в своей «потасканной фигуре», и многое в нем говорит «о сохранившейся силе». А сила эта всю жизнь была направлена на то, чтобы награбастать побольше денег — ведь только с их помощью в злом мире наживы можно оказаться на верхних ступенях «лестницы человеческого тщеславия». Вальнек у Гарина — характерное порождение алчного мира, верный, но неудачливый вассал «мсье Капитала», «господина Купона», изуродованный привитой ему обществом нечистой, темной жаждой денег. Как и «герой» рассказа «Злые люди».

Инженера Ивана Николаевича Суринова (неопубликованный рассказ середины 90-х годов «Лешее болото») в молодости грели мысли о так называемых «проклятых вопросах», но теперь этот человек оказался пленником «чиновничьей провинциальной прозы»,

и только одно осталось у него — цепко держаться «за свою службу или, вернее даже, за свое двадцатое число, день получки жалованья». Интересы меркантильные, заботы служилого человека лишь о карьере опустошили душу, сделали Суринова «желчным, сухим, раздражительным», глухим к интересам тружеников. На уральском заводе, куда по делам попал инженер, у рабочих «вольный тон», они недовольны начальством, свое положение называют «кабалой»,— и это пугает и возмущает выродившегося из инженеров в чиновники Суринова. Сей персонаж, задавшийся химерической затеей дождаться «видного поста», чтобы начать свои благодеянья на пользу человечества», оказался несостоятельным и жалким в пустых своих мечтаниях, не стал врагом тех невежественных и жадных дельцов, которым когда-то собирался объявить войну. Даже у положительного своего героя — Холмского писатель осуждающе отмечал черты органического дельца, осуждал в нем «поразительное сочетание... последнего слова альтруизма с жаждой в то же время не упустить ни одного выгодного дела».

Одинокость своих героев — носителей положительных общественных идеалов и утрату в них этих качеств Гарин чувствовал очень остро. Несколько лет он работал над очерками «В сутолоке провинциальной жизни» (1900), все оттягивая их завершение. Пристально вглядывался в жизнь, выискивая примеры всеобъемлющей, устремленной к будущему работы значительной общественной группы, которую можно было бы противопоставить деятельности культурных одиночек. И в молодежи демократических убеждений, и не в народниках уже — в марксистах, образы которых он создал в очерках, автор увидел провозвестников грядущего обновления страны. Среди них «и Савелов, которого читает вся образованная Россия, и босяк, который, может быть, удивит всех своим талантом, и все эти неизвестные люди труда, совокупным трудом которых является номер, печатный лист газеты, журнала,— в них истины этики, политики, социальные и экономические истины, проверенные не пальцем, приставленным ко лбу, а мировой наукой...» Среди них фельдшер Петр Снитков, учитель Александр Писемский, агроном Иван Лихушин, юный марксист студент Сажин и другие. Гарину увиделась в них — в начале нового века — большая общественная сила, готовая к борьбе. И он покинул «хранителей наследства» — народников и примкнул к «ученикам» — последователям учения Маркса.

Проблемы провинции, особенно «деревенская», всегда занимали Гарина очень сильно.

Почему его очерки «Несколько лет в деревне», повествование о крушении идеалов, провале прекрасных затей, вовсе не пессимистичны?

С первых же шагов в литературе создавал яркие, высвеченные авторским вниманием и симпатией образы умных, ищущих не только места приложения сил, но — справедливости и правды людей. Таковы рядом с Кольцовым его соратники, а рядом гундуровский народолюб, а с ним лучшие представители князевской бедноты.

Меньше всего эти персонажи очерков и ситуации могли понравиться народникам: не было в произведении идеи «мирской» приобщенности, зато обнаруживалась большая жизненная правда. Н. Гарин мастерски раскрывал в очерках — в авторской речи, диалогах и монологах персонажей — непримиримость лучших представителей деревни в отношении новоявленных помещиков, пусть самых добрых и обуреваемых «высшими» благородными намерениями.

Вот наш автор-повествователь с мучительным для него вопросом обращается к Фролу Потапову:

«Ты своим умом всю деревню за пояс заткнешь... Ну и скажи мне, почему мои мужики все перечат мне. Как, по-твоему, дело я им советую?»

Интересно передает автор манеру общения с «барином» такого мужика: он и дипломатом должен быть, чтоб не оглушить неприятной правдою человека, от которого материально зависит сам и его семья, и правду эту самую века рабства не отучили говорить власть имущим. И все же сквозь «туман», который в своих разговорах с барином «наводит» этот деревенский правдолюб и умница, прорывается главное, пока носимое только в мечтах:

«Ты вот им землю отдай, а сам иди, куда знаешь...»

И дальше тянется диалог, хотя исконное мужицкое желание — землей владеет тот, кто на ней трудится,— высказано.

« —...Ну что ж, по-твоему, добьюсь я со своими мужиками толку?

Потапов усмехнулся.

— Устанешь... собьется дело... По-моему, так».

И туманно-прозрачной побасенкой отделался от любопытного барина. «Нашел человек лошадь... нашел телегу... а упряжи нет. Привязал к хвосту телегу — думал: доеду...

— Ну.

— Не доехал же,— добродушно усмехнулся Потапов...»

В очерках «Несколько лет» Н. Гарин как бы стирал грани, размывал границу между соседними жанрами — публицистикой и художественной прозой. Очерки, как у Глеба Успенского, Короленко, других писателей-демократов 70—90-х годов, переставали быть литературой «второго сорта», становились в ряд художественных произведений. Чехов в письме к знакомому моментально откликнулся на новое явление: «Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно и конец приподнят, но зато середка — сплошное наслаждение. Так верно, хоть отбавляй».

Мужицкая жизнь, показывает писатель, несовместима с любым барским реформаторством.

Конечно, не одни обугленные головешки остались на месте социального эксперимента, не по всем пунктам потерпел «барин» Михайловский поражение. Прежде всего не забудем: писатель Н. Гарин, второе я́ повествователя Михайловского, создал замечательное произведение, сыгравшее определенную роль в идейно-нравственном развитии общества. Его герой, спаленный кулаками, не поддержанный крестьянской массой, все же оставил по себе добрую память. Он разорен, мир бросил его одного сражаться с кулаками, но все же, все же как носитель духовного, нравственного, культурного начала крестьянами не был забыт, как не прошли для них без следа те «несколько лет в деревне» необыкновенного человека, общественного деятеля Гарина-Михайловского.

Надежда Валериевна расскажет: «Еще до Октября крестьяне-переселенцы назвали новый поселок Михайловкой, в память Николая Георгиевича, о доброте и сердечности которого они так много слышали», а вскоре после революции сообщили вдове: разросся фруктовый сад, посаженный мужем, приносит доход, он сможет обеспечить вас пожизненно... Она отказалась — ей, прошедшей с ним почти тридцатилетний путь, было достаточно «сердечного отношения гундуровцев... к памяти Николая Георгиевича».

К очеркам «Несколько лет» примыкает цикл «деревенских» произведений писателя. Создавал он их на протяжении всего творческого пути. Часть вещей вошла в переизданный в 1899 году том очерков и рассказов под характерным названием «Деревенские панорамы».

Уже сама постановка вопроса в них: крестьянину не на кого рассчитывать, кроме самого себя, свой труд (на первом месте именно труд на родной земле!), душевная сила, терпение и сметка откроют народу дорогу в будущее. Оглядка на прошлое не несет ничего, кроме беды, конечного разорения и нравственного оскудения. Автор смело раздвигает географические рамки своих «деревенских панорам», приводит в литературу новые образы полесских или сибирских крестьян с их своеобычным укладом.

Писатель переломной поры, Н. Гарин с разочарованием передового современника в обветшалых догмах народничества и узнаванием, а потом принятием ряда марксистских положений, внимательно выискивал в народной жизни ростки нового: протестантского, мятежного или хотя бы свидетельства о неумирающей, неподавленной силе народного духа, росте самосознания, проявления героического в бытовом, повседневно-привычном.

Очевидна близость лучших героев гаринских произведений к личности автора-повествователя, «проходящего» с партией изыскателей, «проезжающего» по общественной надобности. И в «инженерных» и в «деревенских» произведениях этот образ одинаково притягателен. Порой оба сюжета сливаются, когда на перепутье изыскательских работ повествователю встречаются обитатели русских, украинских, татарских, чувашских деревень; людей разных национальностей объединяют одни общие крестьянские беды — разорение, голодный год, холерная пора. С одинаковой симпатией писатель-демократ описывает этих жертв трудовой нищеты, к какой бы национальности или вере они ни принадлежали (рассказы «Ицка и Давыдка», «Под вечер», оба 1892; «Сочельник в русской деревне», 1893; «Бабушка Степанида», «Акулина», «На селе» — все 1894; «На ночлеге», 1898, и многие другие).

В сибирских очерках Н. Гарин пытливо всматривается в местных обитателей: «За казенной Сибирью идет коренная», а далее уже «вольная, бродячая Сибирь», есть еще Сибирь ссыльная, каторжная. И как всегда — анализ глубокий, тонкий. Сравнивая крестьянина из России и здешнего, «пальму первенства по развитию, незабитости, большей интеллигентности, открытости и доверию» писатель отдает сибирскому. Хотя в одном, с досадой отмечает автор, те и другие схожи: «У обоих никаких потребностей: сыт и ладно. Заботливости об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы — никакой». Есть в этом краю, не знавшем помещика, и социальные антагонизмы: «явились «более зажиточные» — те, «которые умеют высасывать сок, то есть кулаки». И есть беднота, и есть бесправные тут, и являются «супротивные» люди вроде Пахома Степановича: человеческое достоинство он ставит выше собственного благополучия. «Ты как считаешь,— обращается он к «проходящему» — инженеру-изыскателю,— можно человека без вины, без причины валить на землю да нещадно драть розгами?.. До смерти буду ходить, а правду-матку найду. Из-под земли ее вырою!..»

У Н. Гарина сильные на работу, крепкие духом люди обязательно «громадные», и, наоборот, неприметны, мелки худые работники, отступники от настоящего труда. А Сибирь видится писате-

лю во всем величии — громадная, необъятная «страна, которая ближе всех подходит к мечтам о том, что когда-то будет и было». И в глаза бросаются удалые парни, пришедшие наниматься в рабочие, все в красных рубахах, крепкие, как на подбор. И езда-то тут «особенная» — тройка «подхватит и мчится так, что дух захватывает, чувствуется сила, для которой нет препятствий».

Общий для многих писателей предреволюционной поры — эпохи зарождения, развертывания, подъема рабочего движения — настрой: показать проявление в человеке дремавших до сих пор душевных сил — привлек и Гарина-Михайловского.

Вслед за Короленко с его рассказом «Река играет» (1892) и несколько ранее Горького — автора рассказа «Кирилка» (1899) Н. Гарин рассказывает о скрытых в народе силах в своем рассказе «Переправа через Волгу» (1894). Герой его лодочник. Первое упоминание о нем: жадничает, хочет набрать в лодку побольше грузов и пассажиров — так он больше заработает. Но вот льдина настигла замешкавшуюся из-за лишнего сундука лодку, «весла бьют уже не по воде, а по налетевшей чке». Минута испытания характеров — и уходят иные чувства, сквозь грозную опасность слышится «дикий, энергичный рев лоцмана:

— Навались!!»

А когда опасность миновала, есть минута разглядеть, каков же этот лодочник, не струсивший в отчаянную минуту. Оказывается, он громадный, уверенный в своих действиях, «коренной» человек из народа, являющий новые черты «переломной» поры. Не ушло прежнее раболепие перед барином, готовность услужить, корысть даже в ущерб себе. Лишь грозная опасность талантливым скульптором снимает с этого характера лишние, неглавные черты: вместе с мужеством просыпается и гражданское достоинство.

Когда-то крестьянин у Гарина мечтал, чтоб все бары ушли с земли и оставили ее тем, кто на ней трудится. А мужицкая деревня между тем в результате новых процессов не только нищала, но и дичала. О том, как это явление негативно отражается на душах людей, ожесточая одних, убивая других, доводя до абсурда мирской закон, с большой художественной силою раскрыто Н. Гариным в рассказе «Волк» (1902).

К этой проблеме не раз обращался он на протяжении ряда лет, но лишь вскользь, теперь же новую вещь целиком посвятил судьбе современных Ломоносовых. Это явление Глеб Успенский горько и прозорливо назвал «властью земли»; а она, эта власть, не только добрые начала будит в людях.

...Крестьянский талантливый юноша попал «в разряд беспокойных и даже опасных вольнодумцев». А потому, что поднялся в защиту бедняков на «аристократию деревни» — писаря, кабатчика и остальных мироедов. Несамостоятельный, угнетенный ими бедняк спешит обрушить ярость не на них, а на Петра: с ним легче справиться. Так и губил его мир, вгонял в унижение, в покорность, в трясину. И опять, как у Н. Гарина нередко, человек с большим умом, с большим будущим, с большим сильным телом втоптан миром в грязь. «Мир — волк, что в пасть попало, то пропало». Мир отнял у книг, у России, а в конечном итоге и у себя своего Ломоносова...

Значительной художественной силы достигает разоблачение общинного строя в рассказе. Въелась в человека зависть к таланту, к неординарности, злоба веками приниженной личности, у которой есть возможность отплатить за все тому, кто ближе настоящих обидчиков...

«Клотильда». До сих пор волнует «банальная» вроде бы история встречи и разлуки двух так и не открывшихся для любви молодых сердец.

Как и «Вариант», за сто лет не постарела и до сих пор оставляет щемящее чувство боли за судьбу далекой и далеко не праведной героини. Почему так? Да потому, что очень живые и человечески понятные «сегодняшние» чувства волнуют и ее героев.

Все ли души золото способно изгадить? Неужто всесильна «власть денег», как и «власть земли»? Неужто люди только слабые жертвы? К тому же почище желтого металла калечит души людей то «нравственное рабство», в чей омут загнало их общество, «целая сеть зависимых отношений, сеть, в которой бессильно мечешься, запутывая себя, других». «И это в самой свободной области — области чувства!» — со страстным укором восклицает писатель. «Сколько поколений должно воспитаться в беспредельном уважении этого свободного чувства, сколько уродств, страданий, лжи, нечеловеческих отношений еще создается пока...»

Повесть «Клотильда» по праву считается одним из самых поэтических творений писателя. Вечная тема: «они любили друг друга так долго и нежно» — и не менее вечная боль несправедливо навязанного бессердечного расставанья и бессрочной разлуки. Удивительная вещь — настоящее искусство! К созданным им образам подлинной поэзии не липнет грязь, над равниной унылых лет, полыханьем губительных войн, причудливыми линиями человеческих судеб высятся дорогие образы, и тянут к себе, и очищают, и велят быть активными в борьбе со злом, которое победило их, но которое, к счастью, не всесильно и не вечно.

В отличие от «бурной» «Клотильды» вроде бы тихо, спокойно тянется рассказ «Бабушка» (1904). Символическую картину рисует автор: умирает величавая, мудрая и обреченная шестидесятилетняя женщина, стремящаяся вопреки движению жизни утвердить выморочное, наследное, отходящее. Что-то пропадает с нею, и только над рекою, «как островерхие крепости», несутся на «тяжелые, прочные, все на замках» угрюмые строения домов, фабрики, от синих лесов синие тучи. Это уходящее прочно связано с бабушкиным миром, с его устоями и моралью. Но вот грянул очистительный дождь: воистину символическая картина меняющейся природы, ожидания живительных перемен у писателя — каков будет завтрашний день?

После Урала Великий путь пришел в Сибирь. Уже не вымышленного Кольцова, а реального Михайловского ожидала полная драматизма борьба. На этот раз вариантом стал мостовой переход через великую Обь. А эпилогом борьбы и победы инженера Михайловского 2-го явилось начало жизни поселка, который ныне разросся исполином — полуторамиллионный Новосибирск; основателем его законно считают жители столицы Сибири инженера и писателя Гарина-Михайловского. И те, кто приезжает в город по железной дороге, намеченной им, выходят из вагона на привокзальную площадь, которая носит его имя.

Полная социальной и общественной значимости история обского варианта вкратце следующая. Приказом по министерству путей сообщения от 18 апреля 1891 года инженер Н. Г. Михайловский был назначен руководителем VI партии по производству изысканий Западно-Сибирской железной дороги. Одновременно начальником изысканий и работ по постройке ее был утвержден К. Я. Михайловский 1-й, статский генерал и кавалер многих орденов. Пути Михай-

ловских вновь схлестнулись: инженер-делец против инженера-гражданина.

Всю весну и лето последний вел изыскания; самым сложным оказалось наметить место будущего мостового перехода. Оптимальным оказался вариант не на губернский Томск, выгодный прежде всего тамошним толстосумам.

Известно из многих источников: одержимый какой-нибудь идеей, Николай Георгиевич умел виртуозно обращать в свою веру инакомыслящих. И не только с помощью личного обаяния, а более всего непреложной логикой, точными расчетами, мужеством, бескорыстием. Так было и на этот раз: убедил важного петербургского чиновника Н. А. Андрущенко, от доклада которого многое зависело, в своей правоте и необходимости остановиться на «кривощековском» варианте, дешевом и целесообразном.

То, против чего яростно ополчился в «уральском варианте» его Кольцов, в «обском варианте» повторялось с автором в аналогичном жизненном сюжете. И Михайловский 2-й, как и его герой, рыцарем долга восстал против Михайловского 1-го.

К счастью, даже в те глухие времена честные, граждански смелые люди порой побеждали своекорыстных дельцов. Уcкромного начальника изыскательской партии оказалось немало сторонников и на линии, и в столице: новаторы победили лихоимцев.

Революционный подъем застал Гарина в Маньчжурской армии. С началом русско-японской войны попросился на Дальний Восток, но не воевать рвался — хотел в горной Корее соорудить подвесную канатную дорогу. Как четверть века тому назад молодым выпускником института отправился к свободным уже болгарам и румынам строить порт, шоссе, железную дорогу, так и теперь, на склоне лет, с неостывшим энтузиазмом вознамерился приложить свои силы для другого, мирного, нужного освобожденному народу сооружения.

Помешала война, русские войска ушли из Кореи.

По собственному гаринскому признанию, в Маньчжурской армии он «в рядах передовых».

Возвратившись в Петербург, вошел в редакцию столичного большевистского журнала «Вестник жизни».

В статьях, в художественных произведениях (драматический этюд «Подростки», очерк «Казнь», оба 1906, и др.) отразил веяния революции. Была и значительная материальная помощь партии большевиков. Писал к сыну: «пойди к Горькому и узнай, что ты должен делать в с.-д. партии».

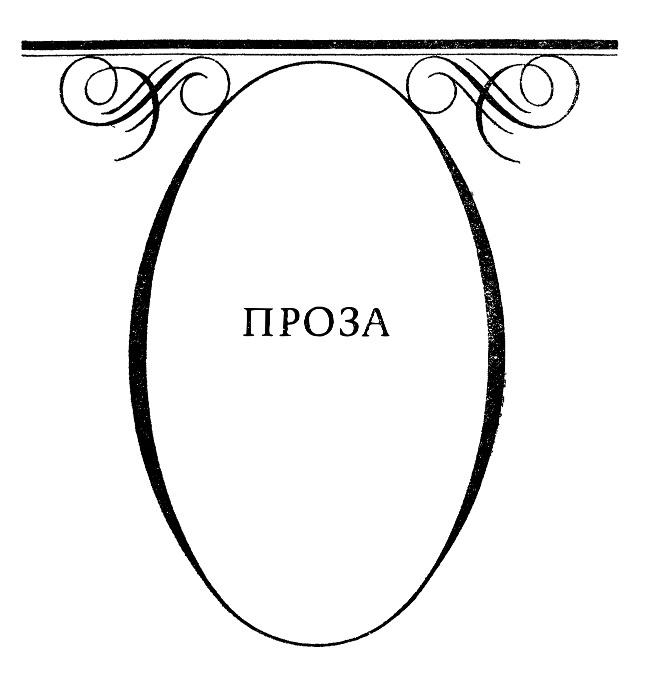
Гарин ушел из жизни после возвращения из армии. На редакционном заседании журнала. Это случилось 27 ноября 1906 года. А было жизни ему 54 года, 9 месяцев и 19 дней. Его, отдавшего крупную сумму для нужд революции, оказалось не на что похоронить. Собрали деньги по подписке. В «своей обстановке» умер.

...На Литераторских мостках Волкова кладбища памятник. Медный «вечный» Гарин всматривается в даль: как в новом дне живет, творит родная страна?

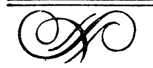
Его соратники, его младшие современники увидели новую жизнь, о которой он говорил так славно, до которой столько не дожил. Принадлежал своему времени, но был весь устремлен в будущее.

Георгий МИРОНОВ, Леонид МИРОНОВ





ПРОЗА




ОТЕЦ

Сильный организм Николая Семеновича Карташева начал изменять ему. Ничего как будто не переменилось: та же прямая фигура, то же николаевское лицо с усами и маленькими, узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку, с прической волос к вискам,— но под этой сохранившейся оболочкой чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и чаще искал общества своей семьи.

Тему особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее, чем с другими.

Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень туго подвигалось вперед.

— Ну, что твое море? — спросил Тему как-то отец во время вечернего чая, за которым, кроме семьи, скромно и конфузливо сидел учитель музыки — молодой худосочный господин.

— Да, что море? — огорченно заметила мать,— гребут до изнеможения, вчера восемь часов не вставали с весел... Ездят в бурю и кончат тем, что утонут в своем море.

— Я в этом отношении фаталист,— сказал отец, исчезая в клубах дыма.— Двум смертям не бывать, а одной — как ни вертись, все равно не миновать. За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти.

Глаза Темы сверкнули на отца.

— Ну, пожалуйста,— обратилась мать к сыну.— Сначала дело свое сделай, как папа, курс кончи, обзаведись семьей.

— Я никогда не женюсь,— ответил Тема.— Моряку нельзя жениться, у моряка жена — море.

Он с удовольствием потянулся.

— Данилов тоже, конечно, не женится? — спросила Зина.

— Конечно, не женится, мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле.

— Вместе и командовать будете, конечно? — пошутил отец.

Отец был в духе.

Тема, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил весело, сконфуженно улыбаясь:

— Ну-у, командовать...

— Не надеешься? — быстро, немного пренебрежительно спросил отец и, затянувшись, проговорил: — А не надеешься — и командовать никогда не будешь... По поводу фатализма...— обратился он к учителю музыки.— В нашей военной службе, да и во всякой службе не фаталист не может сделать карьеры... Под Германштадтом наш полк,— отец бросил взгляд на сына,— стоял на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с... Так вот. Сижу я на своем Черте...

— Папина лошадь,— подсказала мать.

— ...и говорю офицерам... А так, с косогора, нам вся картина как на ладони видна: стоит в долине авангардом каре венгерцев — человек тысяча, два орудия при них, а за ними остальной табор — тысяч четырнадцать. С этой стороны по косогору наши войска. Я и говорю: «Вот сбить бы с позиции это каре да под их прикрытием и двинуть вперед; без одного выстрела подобрались бы». Командир и говорит: «Тут целый полк перебьешь, пока до этого каре доберешься только». Заспорил я с ним, что с одним своим эскадроном собью каре... конечно, в сущности какое ж это войско было? Пушки дрянные, ружья... да и войско-то: сапожник, шарманщик, франт... так — сброд. А наши ведь: николаевские. Дядя и говорит: «Э, сумасшедший человек! Мелешь чепуху, потому что еще пороху как следует не нюхал, а послать тебя, так тогда бы и узнал...» Как будто отрезал! Подлетает адъютант главнокомандующего и передает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и говорю дяде на ухо: «Ну,

дядя, выбирай: или дай мне возможность делом смыть твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь способ искать удовлетворения...» Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уж был семейный,— как стоянка, сейчас жене письма... дети уж были,— какая там дуэль! покосился он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался, плюнул и говорит, обращаясь к офицерам: «А что, господа, признаете за ним право идти в атаку?» Неприятно, конечно: всякому хочется, ну, а действительно так ловко вышло, что право-то за мной. «Ну, говорит, будем любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть да вылезть оттуда. Кстати уж скажи — куда и на сорокоуст отдать: ведь, кроме меня, за тебя-то, бешѐного, и молиться некому».

Отец усмехнулся и несколько раз энергично затянулся.

Тема так и замер на своем месте.

Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжал:

— А молиться-то за меня и в самом деле некому было: я сиротой рос... Ну-с... Подскакал я к своему эскадрону: «Ребята! Милость нам — в атаку! Живы будем, от царя награда, а от меня хоть залейся водкой!» — «Хоть к черту в зубы веди!..» Скомандовал я, и стали мы заходить... А так: овраг кончался, и этакий холмик стоял в долине,— я и хотел было за ним выстроить эскадрон и тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю — проклятая речушка,— не заметил, надо бы правой стороной оврага спускаться...—дрянь, сажени три, а топкая. Сунулся один, увяз,— уж по лошади пролез назад... Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в открытом месте переходить речку: мостик жиденький, только-только одному в поводу пройти с лошадью. Заметили... Сейчас же, конечно, огонь открыли... В движении, на ходу не чувствуешь как-то этой тоски смерти: ну, свалится лошадь, сорвется человек с седла — не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у солдатиков уж дух не тот. Ну, и самому-таки и жутко и неловко: как-никак виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит, а здесь ведь жизнь человеческая: тут, там пятнадцать человек уложили, пока переходили,— все на твою совесть. Повернулся я к солдатам — смотрят покорно, конечно, а тоже ведь все понимают. Так как-то вырвалось: «Ну,

братцы, виноват — оплошал! Жив буду — заслужу, а теперь не выдавайте!»

Отец затянулся.

— Встрепенулись... «Отцом был — не выдадим!» Конечно, николаевские времена: с человеком, как со скотом... Ласку ценили... Ну, и меня, конечно, тронуло. Да и минута ведь какая же! Может, и сам уже стоишь перед своим смертным часом... Прямо — отец, и это твои дети: и не то чтобы жаль, а так как-то, вот за каждого самого последнего солдата, как за самого родного, вот сейчас всю душу свою положить готов. И у всех такое же чувство... вот какое только после причастия бывает... Нет, сильнее! Ну вот, точно вдруг само небо раскрылось и сам господь благословил нас и дал нам одно тело, одну душу и сказал: идите. Куда и страх девался! Под огнем, а как на плацу построились. И картина же действительно! Уланы... Один к одному — красавцы на подбор!.. Чепраки малиновые... Лошади вороные... Солнце блестит, в небе ни тучки... 25 июля... наши войска как на ладони... Эх!! Нет уж того, что было, теперь нет и не будет. Впереди смерть, ад... тысячи ружей в упор, десять смертей на одного, а на душе, как тронулись, точно прямо в рай лететь собрался.

Отец остановился и опять несколько раз затянулся.

— Ну-с, так вот... Тронулись мы... Собрал я своего Черта и стал выпускать понемногу. А Чертом я называл свою лошадь оттого, что не выносила она, когда ее между ушами трогали, сразу освирепеет: стена не стена, огонь не огонь,— одним словом, черт! А так — первая лошадь. И уж сколько мне говорили: сломишь голову; жаль расстаться, хоть ты что... Ну-с, так вот... Стали забирать кони... шибче, шибче... Марш-марш, в карьер!.. И-ить!.. Весь эскадрон, как один человек... только земля дрожит... пики наперевес... Лошадь врастяжку, точно на месте стоишь... А там ждут... Да хоть бы стрелял... Ждет... в упор хочет... Смотрит: глаз видно!.. Тошно, прямо тошно: бей, не томи! Пли!!! Все перевернуло сразу... эскадрон как вкопанный! пыль... лошади... люди... Каша. «Вперед!!» Ни с места! Так секунда... Назад?! Серая шинель?! Позор?! А мои уж поворачивают коней... «Ребята, что ж вы?!» И не смотрят. Э-эх!.. За сердце схватило!.. «Па-а-длецы!» Да как хвачу меж ушей своего Черта...

Несколько мгновений длилось молчание.

— Уж и не помню... Так, вихрь какой-то... Весь эскадрон за мной, как один человек: врезались, опрокинули, смяли... Бойня, настоящая бойня пошла... прямо бунчуками,— перевернет пику да бунчуком, как баранов, по голове и лупит. Люди... Что люди?! Лошади остервенели; вот где настоящий ужас был: прижмет уши, оскалит зубы, изовьет шею, вопьется в тело и рванет под себя.

Отец замолчал и потонул в облаках дыма.

Молчание длилось очень долго.

— А ты сам, папа, много убил? — спросила Зина.

— Никого,— ответил, усмехнувшись, отец.— У меня и сабля не была отточена. Да и сабля-то... Так, ковырялка. Никита, мой денщик, шельма, бывало, все ею в самоваре ковырялся.

— Папа, а как же ты Черта удержал? — спохватилась вдруг аккуратная Зина.

— Да уж не я его удержал... Кто-то другой... Пуля ему угодила: мне назначалась, а он мотнулся, ему прямо в лоб и влепилась. Упал он и прижал мне ногу... ну, а ведь давят, бьют, режут... только я было на локоть, чтобы рвануться, смотрю — прямо в меня дуло торчит! Глянул: батюшки, смерть,— целит какая-то образина! Ну, уж тут я... вторую жизнь прожил... а ведь всего какая-нибудь секунда... Смотрю: а уж Бондарчук, унтер-офицер — пьяница, шельма, а молодец, в плечах сажень косая — бунчуком по башке его... и не пикнул... И что значит страх?! Рожей мне показался невообразимой, а как посмотрел на него, когда уж он упал: шляпа откинулась — лежит мальчик лет пятнадцати, не больше, ребенок! Раскидал ручонки, точно в небо смотрит... лицо тихое, спокойное... Господи! вот уж насмотрелся... Ночью что было: не могу заснуть. Стоят перед глазами... Бондарчук, которого сейчас же после того, как он спас меня, свалили — стоит: глаза стеклянные, посинел,— стоит и смотрит, смотрит прямо в глаза! Тьфу ты! А в ушах: ая-яй! ая-яй! Открою глаза, зажгу свечку, выкурю папироску, успокоюсь, потушу... опять потянулись: венгерец весь в крови, с разорванным лицом лезет из-под лошади, солдатик Иванчук, пуля в живот попала, скрутился калачиком, смотрит на меня, качает головой и воет; лошадь с выпущенными потрохами тянется на четвереньках, а головой так и ищет туда и сюда, а глаза... ну, ей-богу же, как у человека. А как дойдет опять до Бондарчука, встанет и стоит: ну, хоть

ты что хочешь делай! Смешно, а ведь хоть плачь! Вдруг слышу, Никита: «Ваше благородие, ваше благородие, чи вы спите?» — «Тебе чего?» — спрашиваю. «Бондарчук воскрес». Тьфу ты, черт! Я думал, что с ума сойду. Действительно: и так не знаешь, куда деваться, а тут еще такой сюрприз! Бросился я, как был. А так, саженях в ста положили всех убитых рядышком, смотрю — действительно идет Бондарчук; весь эскадрон уж выскочил: все любили его — пьяница, а балагур-товарищ. «Ты что ж это, с того света?» — спрашиваю. «Так точно, ваше благородие». На радостях я пошутил. «Ты зачем же, говорю, назад пришел». А он, мерзавец, вытянулся, руку к козырьку, да самым этак заковыристым голосом: «Опохмелиться, ваше благородие, пришел: там не дают!» Ну, тут уж и я и солдаты прыснули. Что ж оказалось?! Он, подлец, на случай атаки с собой в манерку водки взял; пока оврагом спускались — он и нализался. А пьяного только царапни ведь: он сейчас, как мертвый, свалится. А проснется, встанет как ни в чем не бывало.

— Ну, что ж, дал, папа, на водку ему? — спросила Зина.

— Водки-то всем дал... А Бондарчуку, как возвратились, на стоянке, после похода, тысячу рублей ассигнациями дал... только не ему уж, а жене.

— Доволен был?

— Надо думать,— ответил отец, вставая и уходя к себе.

Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать,— слечь и уж больше не вставать. Походы, раны, ревматизм — сделали свое дело.

Теперь по наружнему виду это уж был не прежний Николай Семенович. Без мундира, в ночной рубахе, с бессильно опущенною на подушку головой, укрытый одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело, Николай Семенович глядел таким слабым, беспомощным.

Эта беспомощность щемила сердце и вызывала невольные слезы.

Иногда, не выдержав, Тема спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу с маленьким девятилетним Сержиком.

— Чего тебе?! — выскочив за дверь, спрашивал Тема, всматриваясь сквозь слезы в Сержика.

Бледное, растерянное лицо Сержика смотрело в лицо Темы, и дрогнувший голос делил с ним общее горе:

— Жалко папу!

«Жалко папу» — вот ясная, отчетливая фраза, которая болью охватывала сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица, трогала клапан слез и вызывала жалобный, тихий писк тоски и беспомощности.

— Тише, тише,— шепотом и жестами останавливал Тема и свои и Сержика слезы, и вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было б слышно их слез.

Однажды, придя из гимназии, Тема по лицам всех увидел и догадался, что что-то страшное уж где-то близко.

Наскоро поев, Тема на носках пошел к кабинету отца.

Он осторожно нажал дверь и вошел.

Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собою.

Тему потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как он его любит, но привычка брала свое,— он не мог победить чувства неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели отца.

Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что́ происходило в его душе.

— Ну, что, Тема,— проговорил он мягким, снисходительным тоном.

Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык.

«Холодный я»,— подумал тоскливо Тема.

Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил:

— Живи, Тема.

— Вместе, папа, будем жить.

— Нет уж... пора мне собираться...— И, помолчав, прибавил: — в дальнюю дорогу...

Воцарилось тяжелое, томительное молчание. И отец и сын жили каждый своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и неумением его высказать.

Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся, ясным взглядом, полным мысли и чувства всей долгой пережитой жизни.

Так глубокой осенью, когда солнце давно уже исчезло в непроглядном сером небе, когда глаз повсюду уже освоился с однообразным, оголенным, унылым видом, вдруг под вечер ворвется в окно сноп ярко-красных лучей и, скользя, заиграет на полу, на стенах, тоскливо напомнив о прожитом лете.

— Жил, как мог...— тихо, как бы сам с собой, заговорил отец.— Все позади... И ты будешь жить... узнаешь много... а кончишь тем же,— будешь, как я, лежать да дожидаться смерти... Тебе труднее будет, жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уж не годится... Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредоточивалась. Мы относились к нему, как к святыне, он был наша честь, наша слава и гордость. Мы любили родину, царя... Теперь другие времена... Бывало, я помню, маленьким еще был: идет генерал,— дрожишь — бог идет, а теперь идешь, так, писаришка какой-то прошел. Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя в свои очки так, как будто уж он мир завоевал... Обидно умирать в чужой обстановке... А впрочем, общая это судьба... И ты то же самое переживешь, когда тебя перестанут понимать, отыскивая одни пошлые и смешные стороны... Везде они есть... Одно, Тема... Если...

Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына.

— Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба...

Разговор кончился.

В немом молчании, с широко раскрытыми глазами сидел Тема, прижавшись к стенке кровати...

Начинались новые приступы болезни. Отец сказал, что желает отдохнуть и остаться один.

Вечером умирающему как будто стало легче. Он ласково перекрестил всех детей, мягко удержал на мгновение руку сына, когда тот по привычке взял его руку, чтоб поднести к губам, тихо сжал, приветливо заглянул сыну в глаза и проговорил спокойно, точно любуясь:

— Молодой хозяин.

Потрясенный непривычной лаской, Тема зарыдал и, припав к отцу, осыпал его лицо горячими, страстными поцелуями.

В комнате все стихло, и только глухо, тоскливо отдавалось рыдание сиротевшей семьи.

Не выдержал и отец... Волна теплой, согретой жизни неудержимо пахнула и охватила его... Дрогнуло неподвижное, спокойное лицо, и непривычные слезы тихо закапали на подушку... Когда все успокоились и молча уставились опять в отца — на преображенном лице его, точно из отворенной двери, горела уже заря новой, неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца сознательный взгляд точно мерил ту неизмеримую бездну, которая открывалась между ним, умирающим, и остающимися в живых, между тем светлым, бесконечным и вечным, куда он уходил, и страстным, бурливым, подвижным и изменчивым — что оставлял на земле. Голосом, уже звучавшим на рубеже двух миров, он тихо прошептал, осеняя всех крестом:

— Благословляю... живите...

В половине ночи весь дом поднялся на ноги. Началась агония...

Тихо прижавшись к своим кроваткам, сидели дети с широко раскрытыми глазами, в тоскливом ожидании прочесть на каждом новом появлявшемся лице о чем-то страшном, ужасном, неотвратимом и неизбежном.

К рассвету отца не стало.

Вместо него на возвышении в гостиной, в массе белого, в блеске свечей, утопало что-то, перед чем, недоумевая, замирало все живое, что-то и вечное, и тленное, и близкое, и чужое, и дорогое, и страшное, вызывая одно только определенное ощущение, что общего между этим чем-то и тем, кто жил в этой оболочке, ничего нет. Тот папа, суровый и строгий, но добрый и честный, тот живой папа, с которым связана была вся жизнь, который чувствовался во всем и везде, который проникал во все фибры существования,— не мог оставаться в этом немом, неподвижном «чем-то». Он оторвался от этого, ушел куда-то и вот-вот опять войдет, сядет, закурит свою трубку и, веселый, довольный, опять заговорит о походах, товарищах, сражениях...

Ярко горят и колеблются свечи, сверкает катафалк и вся длинная, нарядная процессия; жжет солнце, сквозь духоту и пыль мостовой пробивается аромат молодой весны, маня в поле на мягкую, свежую мураву,

говоря о всех радостях жизни, а из-под катафалка безмолвно и грозно несется дыхание смерти, безжизненно мотается голова, протяжно разносится погребальное пение, звучит и льется торжественный погребальный марш, то тоскливо надрывающий сердце, то напоминающий о том, что скоро скроется навсегда в тесной могиле дорогое и близкое сердцу, то примиряющий, говорящий о вечности, о смертном часе, неизбежном для каждого пришедшего на землю. А слезы льются, льются по лицу молодого Карташева; жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки, любви — любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днем, пронестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес...

БЕЗДНА У МОСТА

Дни и ночи Карташев был в напряженной работе, потому что работа не прерывалась ни днем, ни ночью.

Изредка Карташев ездил в Рени, изредка Мастицкий заглядывал к нему. Все работы велись по плану и указаниям Мастицкого, авторитету которого Карташев беспрекословно подчинялся, кроме разных прибавок и наградных: Карташев на это был очень щедр, а Мастицкий выходил из себя и обыкновенно говорил:

— Я не признаю и спишу это за ваш личный счет.

— Пожалуйста,— отвечал Карташев.

Но в течение трех месяцев дело с плывунами наладилось, главная вода была перехвачена, не было больше сдвигов, не исчезали трубы, но не наступало и надежное равновесие. По-прежнему безостановочно нужно было вывозить образовывавшиеся сплывы, чинить галереи и трубы, исправлять полотно, безостановочно подвозить точно в бездну проваливавшийся балласт и держать бессменный караул, причем при проходе каждого поезда впереди очень медленно двигавшегося поезда шел старший ремонтный, а еще впереди, если поезд проходил ночью, из глубины ночи раздавался крик следующего дежурного: «Благополучно!» Такие караульные стояли на каждых пятидесяти саженях.

Но все-таки в общем вся эта работа уже вошла в норму. Карташев подобрал штат надежных молодых десятников, причем выписал Сырченко, а между тем

здоровье Мастицкого все ухудшалось, и уже большую часть дня он проводил в кровати, еще сильнее ругаясь, раздражаясь и проклиная все и вся.

Ко всему этому прибавилось приближение весны и начинавшийся уже разлив Дуная, грозивший в этом году быть особенным. Все это вместе побуждало Карташева опять переехать в Рени.

Вскоре ночью как-то его разбудили: станция Красный Крест, находившаяся в пяти верстах от Рени в сторону Галаца, уведомляла по телефону, что только что образовался громадный промыв под мостом. Карташев быстро оделся и поехал на дежурном паровозе.

Небо было безоблачно, и луна ярко светила, сверкая в широкой глади вод разлившегося и издали неподвижного и спокойного, как зеркало, Дуная.

Паровозом управлял помощник машиниста, молодой инженер-технолог, ездивший для практики на паровозе. Он с Карташевым решили не будить машиниста, так как Карташев, ездивший студентом кочегаром, взял исполнение этой должности на себя. Весело и возбужденно разговаривая, как товарищи одного выпуска, они быстро проехали пространство, отделявшее их от размыва.

Не доезжая нескольких десятков саженей, они остановили паровоз, затормозили его и пошли к размытому мосту.

Картина превзошла всякие ожидания.

Вместо моста зияла в несколько десятков саженей бездна, чрез которую, как две нитки, тянулись по воздуху рельсы и прикрепленные к ним шпалы. Посреди над бездной торчали в воздухе сваи моста, и теперь, в этой бездне, они производили впечатление каких-то висевших щепок.

Там глубоко внизу этой десятисаженной бездны, как в заливе, приветливо и страшно сверкала вода Дуная.

— Когда это произошло? — спросил Карташев у стоявшего тут же дорожного мастера.

— Не больше, как час времени. Только ухнуло что-то. Стрелочник первый прибежал, разбудил меня, я вам дал знать.

Карташев стоял с широко раскрытыми глазами, не зная, что предпринять. Еще более усиливал впечатление контраста между этой тихой, безмятежной ночью и тем непонятным и страшным, что произошло.

— Смотрите, смотрите! — закричал дорожный мастер.

Он показывал рукой назад, по направлению к Рени.

Вся поверхность земли и полотна, до самой будки, волновалась, точно эта поверхность была не земля, а жидкость.

Какое-то оцепенение охватило всех троих, и глазами, полными ужаса, они смотрели на непонятное и не виданное ими никогда явление.

Первый пришел в себя инженер-технолог и быстро побежал к паровозу.

Карташев понял, что он хочет спасти паровоз и проскочить с ним за будку.

— Бросьте, бросьте паровоз,— закричал Карташев,— он все равно погиб, но погибнете и вы!

Технолог был уже на паровозе и быстро оттормаживал его.

Карташев бежал и кричал:

— Я как старший запрещаю вам!

Но технолог уже открыл регулятор и, повернув свое бледное, как луна, лицо, ответил Карташеву:

— Наплевать мне на ваше запрещение.

А затем все происходило как во сне, настолько было несообразно с действительностью. Волны подхватили и паровоз и Карташева с дорожным мастером. И оба они побежали, шатаясь и спотыкаясь, по прямому направлению от берега к горам, где не было волн. Добежав туда, они стояли и с душой, охваченной ужасом и тоской, следили глазами за паровозом, как корабль нырявшим в этих непонятных земляных волнах.

Непередаваемая радость и облегчение охватили Карташева, когда паровоз подошел к будке, где уже не было волн. И почти в то же мгновение раздался какой-то вздох, точно сотни, тысячи сразу вздохнули,— и все волны и вся земля исчезли. У самых ног их зияла такая же бездна, как и там у моста,— теперь сплошная от будки до моста. Куда же девалась вся эта масса ухнувшей вдруг земли на сотни сажен длины, на десятки ширины и в десять сажен высоты? Карташев осматривался и недоумевал: только легкие волны заходили по Дунаю, и опять стало все тихо, точно и прежде так же сверкала там внизу, в новом заливе, вода.

Что было делать, что предпринять? При всей своей неопытности Карташев понимал, что все это было стихийно, что предпринять нечего было.

Он ограничился только распоряжением дорожному мастеру осмотреть линию по направлению к Галацу и немедленно донести о результате осмотра. Сам же возвратился на паровоз, где ждал его веселый и удовлетворенный технолог.

— Вы на меня не рассердились, что я не послушался вас? — встретил Карташева технолог.

— Конечно, нет, и я вовсе не начальствовать хотел, а только хотел во что бы то ни стало удержать вас от совершенно безумного шага.

— Однако же спасен паровоз.

— По-моему, это уже не храбрость, не отвага, а просто безумие. Одно мгновение промедления... А впрочем, кто судит победителей! Все-таки это так мужественно было с вашей стороны, так беззаветно, что откровенно вам говорю, я не был бы способен на такой поступок.

— Это вам только так кажется. Если бы вы были так же ответственны, как я, за паровоз... Вы только представьте себе, с какими глазами я явился бы к своему машинисту без паровоза? Где паровоз? В Дунае! Ха-ха-ха!.. Ну, а теперь вы опять у меня под командой: угля в топку.

Приехав, Карташев решил разбудить Мастицкого и, идя к нему, думал, за что будет упрекать его Мастицкий.

Во-первых, за то, что не разбудил его. Но если б он побежал будить его, то тогда ни он, Карташев, ни Мастицкий не захватили бы того, чего, может быть, никогда в жизни видеть больше не удастся...

Может быть, Мастицкий будет доказывать, что еще можно было принять меры?

Мастицкий действительно упрекнул Карташева за то, что тот не разбудил его, но по поводу остального сказал, разводя руками:

— Что ж тут было делать? Хорошо, что послали дорожного мастера. Надо телеграфировать в Бендеры, и сейчас же поезжайте в северную часть участка.

Он пожал плечами:

— Скорее там же можно было ожидать такого скандала.

— Там мы воду успели отвести.

— Проклятые места...

В тот же день поднялся сильный, до бури доходивший ветер, продолжавшийся несколько дней подряд.

Разлившийся Дунай представлял из себя целое море,

и на горизонте этого моря едва синели там, на той стороне, горы Добруджи. На всем пространстве от Рени до Галаца вода поднялась почти до полотна дороги, и большие волны теперь хлестали в насыпь. Одно за другим размывались укрепления из огромных ящиков, засыпанных камнем. Местами еще торчали эти укрепления, но за ними вместо насыпи была только вода: насыпь смело, и рельсы висели на весу, только местами прикасаясь еще к кой-где уцелевшему полотну. Попытки засыпать промывы мешками, наполненные землей, были бесполезны. Не хватило бы ни рук, ни мешков.

К приезду комиссии из Бендер не существовало полотна на протяжении тридцати верст. Комиссию встретили и Мастицкий и Карташев на станции Троянов Вал.

Карташев волновался, боялся упреков, выражения неудовольствия, а Мастицкий был совершенно спокоен. Ожидания Карташева не оправдались.

К Мастицкому отнеслись еще с большим, чем обыкновенно, уважением, и ни у кого и тени не было сомнения, что все, что только можно было сделать, было сделано.

Это доверие успокоило Карташева и развязало его язык.

Мастицкий угрюмо молчал, а Карташев, сидя в вагоне, пока поезд шел еще не по его участку, рассказывал все пережитое.

На границе участка поезд остановился, и Мастицкий сказал Карташеву:

— Ну, идите на паровоз и везите нас до тех пор, пока можно будет. Только не трусьте и протяните поезд возможно дальше.

«Свинья,— думал Карташев, идя к паровозу,— когда я показал ему свою трусость, чтоб дать ему право так компрометировать меня перед всей комиссией?»

Он взобрался на паровоз, и поезд тронулся.

Ехали с паровозом опять инженер-технолог Савельев и его машинист. При машинисте Савельев был сдержан, как будто побаиваясь своего угрюмого, несообщительного начальника.

Карташев под впечатлением последней сцены был тоже молчалив и подавленно смотрел на путь.

При подходе к мосту через Прут начались обвалы. Иногда полотно от обвалов было уже без откосов и отвесно спускалось на несколько сажен вниз. При проходе

поезда оно вздрагивало, и куски земли, отрываясь, с шумом падали.

Карташев напряженно мучился, где остановить поезд, чтоб опять не заслужить упрека в трусости. Наконец, в одном месте, где обвал подошел под самую шпалу и где при проходе сразу ухнула глыба, обнажившая путь чуть не до половины шпалы, Карташев отчаянно закричал:

— Стоп!

Из заднего вагона лениво выходило начальство.

Мастицкий еще издали крикнул:

— Ну, что ж вы струсили?

У Карташева вся кровь прилила к лицу и слезы показались на глазах. Дрожащим от обиды голосом он ответил подошедшим Пахомову и Мастицкому:

— Если хотите, я поеду и дальше.

— Ну, что вы, Пшемыслав Фаддеевич,— куда же дальше? — усмехнулся Пахомов.— Это предел, и дальше даже на полвершка нельзя.

Карташев готов был обнять и расцеловать за эти слова Пахомова.

Подошедший инспектор тоже грубо бросил:

— Куда тут к черту дальше? Прямо туда?

Он ткнул пальцем вниз.

Вместо поезда подали две дрезины.

На первую село старшее начальство с Мастицким, на вторую второстепенное с Карташевым.

Когда подъехали к бездне у моста, начальство с обеих дрезин сошло и отправилось пешком в обход провала. Остался только Мастицкий. Видя это, остался и Карташев, не понимая, зачем он остался, когда даже и рабочие ушли.

Мастицкий не счел нужным объяснять Карташеву, что хотел он делать, а Карташев еще сердился на него за упреки в трусости и не спрашивал.

Скоро, впрочем, выяснились его намерения. Мастицкий стал на свою дрезину и стал вертеть ручку, приводящую дрезину в движение. Дрезина все быстрее стала приближаться к пропасти.

Карташев замер, поняв, что Мастицкий решил переехать пропасть по этому висячему полотну, которое, протянувшись на сотни сажен над бездной и прогнувшись от собственной тяжести, казалось, вот-вот оборвется.

Карташев был близок к обмороку. Его затошнило,

зеленые круги показались в глазах, похолодели руки и ноги.

«Подлец! — пронеслось в его голове.— Сам ищет смерти и, чтоб донять, и меня за собой тащит».

Злоба, ненависть, отчаяние охватили его. Он быстро вскочил на свою дрезину и тоже привел ее в движение.

Напрасно Мастицкий кричал ему:

— Подождите, пока я перееду!

Карташев только злобно смотрел ему в упор и сильнее налегал на ручку.

Обе дрезины повисли над бездной. Обходившие, не ожидавшие такого решения вопроса, так как Карташевым были заготовлены лошади для перевозки в этом месте дрезин, стояли как вкопанные и следили за страшным спортом двух ссорившихся между собою инженеров.

— Ах, сумасшедшие! — шептал Борисов.— Ах, черти полосатые: они готовы насмерть загрызться в работе! Их необходимо разнять, а то они доведут друг друга до смерти.

— Да,— угрюмо согласился Пахомов.

Посреди бездны Карташев, старавшийся не смотреть вниз, все-таки посмотрел,— и чуть не потерял сознания от мелькнувшей там, внизу, чайки. В глазах у него побелело, как побелел и он сам, и казалось ему, что стоит и вертит он уже после смерти, пережив все ужасы падения.

Осмотр размывов окончился разводом моста на Пруте, который строил Ленар.

Мастицкий окончательно слег, предоставив Карташеву разводить мост, сказав сквозь зубы, что проект моста в конторе.

«Зачем еще проект?» — подумал Карташев и приступил к разводке.

Через пять часов мост был разведен, чтоб пропустить уже месяц ждавшие разводки суда, и больше уже не сводился.

И начальство и Карташев остались совершенно довольны разводкой и вслед за тем, сопровождаемые Карташевым, уехали обратно, порешив не возобновлять больше линию между Рени и Галацем.

Когда на границе участков Карташев пересел в вагон, его ждал приятный сюрприз.

Начальник соседнего участка, живший в Трояновом Вале, уходил, и Пахомов поздравил Карташева с новым назначением — начальником этого участка.

Когда Карташев возвратился в Рени, Мастицкий не с обычной своей угрюмостью сказал ему радушно:

— Поздравляю вас.

— Вы разве уже знаете?

Мастицкий только усмехнулся.

Карташев вспомнил, как Пахомов, Мастицкий и инспектор отдалялись и долго о чем-то говорили. И Карташеву казалось тогда обидным это, и он думал: какие секреты могут быть у этих людей от него? Теперь он все понял: речь была о его назначении. От Мастицкого же он узнал, что сперва инспектор был против, доказывая, что пока он, Карташев, ничем еще серьезным не зарекомендовал себя, так как нельзя же заслугой считать хотя бы и стихийное разрушение полотна на протяжении тридцати верст. В конце концов инспектор все-таки сдался и, только махнув рукой, сказал:

— Ну, теперь вся линия, кроме первого участка, в руках бунтовщиков: хоть не езди...

В течение недели, пока Карташев сдавал дела новому своему заместителю, у него установились с Мастицким отношения, совершенно не похожие на их прежние. Делить им между собой было больше нечего, свое раздражение Мастицкий уже перенес на нового помощника и грыз его поедом — и уже за действительно нерадивое отношение к делу, а к Карташеву относился любовно и с уважением.

Что до Карташева, то тот прямо боготворил теперь Мастицкого.

Обладая громадным опытом и деловитостью, Мастицкий, прежде скупой на советы, теперь не уставал делиться с Карташевым своими знаниями, давая советы, как вести дело на участке. Казалось прежде, что Мастицкий совершенно не интересовался чужими делами, но теперь оказалось, что он решительно все знал, что делалось у его соседа, которого теперь сменял Карташев, знал качества и свойства и его самого и всех его служащих, давая им точные и, как потом оказалось, совершенно верные характеристики. Особенно предупреждал он Карташева относительно участкового бухгалтера, он же и письмоводитель и вообще правая рука начальника участка.

— Сам Семенов — начальник участка — был честный человек, но большой ротозей, а его конторщик, тот уже прямо вор отъявленный: он развел на участке сплошное воровство. Дорожные мастера безбожно при-

писывают в табелях рабочих: работает двадцать человек, а они показывают и сто и двести. Со всех подрядчиков берет... Первым делом его надо прогнать, затем на первых порах придется вам постоянно объезжать линию и считать самому рабочих, отмечая число их на данный день в записной книжке, а когда дорожные мастера представят за эти дни табеля — сверять и попавшихся дорожных мастеров без сожаления гнать.

Прощание Карташева и Мастицкого было очень сердечное, и Карташев еще долго и любовно смотрел из окна вагона на эту худую, как скелет, мрачную, с темным лицом, в темных очках, понурую фигурку, казалось, оторванную от всего мира и стоявшую теперь одиноко на исчезавшем из глаз перроне.

Вскоре после отъезда Мастицкий окончательно свалился, и его, уже на руках, перенесли в вагон и увезли куда-то за границу лечиться.

Провезли его через Троянов Вал ночью, и так и не видал его больше Карташев, так как Мастицкий назад не возвратился.

КОРОТЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Посвящается
дорогому моему сыну
Сереже

Наше знакомство только что началось, и я, как это, вероятно, со всеми бывает, незаметно напрягал свое внимание, чтобы поскорее уяснить себе нравственный облик нового знакомого. В таких случаях иногда бывает то же, что и с новой книгой, с содержанием которой хочешь бегло ознакомиться, чтобы выяснить вопрос: стоит ли тратить на нее время?

Местом нашего знакомства была деревня. Обстановка — помещичий дом с следами некогда довольно богатого прошлого. Теперь все это носит уже на себе следы времени и отсутствия интереса со стороны хозяев к восстановлению былого. Впрочем, в широких с потертой материей креслах сидеть удобно и приятно.

Владелец — одинокий старик, худой, высокий, сутуловатый, бреется, носит военные усы и с виду составляет одно целое со всей своей обстановкой. От всей его фигуры в первое мгновение веет немного холодом. Это

сухой, строгий, представительный старик, если можно так выразиться, с капризными манерами избалованного когда-то светского человека; но в серых строгих, или вернее, внимательных глазах холода нет. Чувствуется мгновениями в хозяине какая-то рассеянность, и тогда он точно забывает вдруг все окружающее, и взгляд его, блуждая, вероятно, в далеком прошлом, делается ласковым, но каким-то далеким и чужим вам. Это — ласкающая задумчивость красивого осеннего пейзажа, мимо которого при последних лучах солнца проносится ваш поезд, это, конечно, чужое вам, и вы забудете о нем, но в данное мгновение этот вид ласкает ваш взгляд и будит что-то. Переход опять к действительности, возвращение в обстановку, окружающую его медленно, и следы неохоты оторваться от своих мыслей явно обозначаются на его лице. Мы провели уже несколько часов вместе, пообедали и теперь в его кабинете пьем чай.

Я чувствую удовлетворение и возрастающий интерес и не жалею, что потерял день из моей кочевой жизни, чтобы лично повидаться, а не с помощью переписки переговорить о случившемся у нас с Александром Дмитриевичем С. деле.

Разговор о деле давно кончился, и я, предполагая сперва было уехать, принял приглашение хозяина ночевать у него. Принял потому, что чувствовал какую-то душевную уютность, да мне и просто хотелось отдохнуть в этой по моим нервам пришедшейся обстановке.

Очевидно, и хозяин чувствовал это мое удовлетворение, и это еще быстрее создавало между нами близость, которая, впрочем, никакими внешними признаками не обнаруживалась.

— Если вы не передумали, то мы, пожалуй, и пойдем,— обратился ко мне после чаю Александр Дмитриевич.

Он звал меня в основанную им школу, о которой я и раньше уже слышал и сам просил хозяина показать мне ее.

Александр Дмитриевич приподнялся с своего кресла с некоторой неохотой, какую испытывает, например, молодой автор, когда хочется ему прочесть написанное и в то же время от мысли, что теперь читаться это будет уже в иной обстановке, чем когда писалось и чувствовалось,— людям, которые, может быть, находятся в совершенно ином расположении духа,— его вдруг охватывает тоска, и хотел бы уж он быть в этот момент за сотни

верст от своего чтения, от этого общества, которое кажется ему вдруг враждебным и сухим и не расположенным заранее ко всему, о чем бы ни вздумал говорить с ним автор.

Разница, впрочем, между таким молодым автором и моим новым знакомым была и заключалась в том, что вся спокойная без рисовки сгорбленная фигура его как бы говорила: «Ты себе, конечно, как знаешь, так и смотри на вещи, а каждому человеку жить надо, и живет он как может. Худо ли, хорошо, но жить надо, и нужен воздух и для души».

Я шел за ним по коридору и в душе признавал все его права на такую постановку вопроса. Раз и для души нужен воздух, то это ведь главное. «Жива душа», а остальное жизнь сделает. Да и какое имею я право относиться иначе? Входя в дом англичанина, его согражданин не станет диктовать ему, как ему надо жить, но, напротив, всецело признает за ним право жить и думать так, как только это будет ему угодно.

Признаюсь откровенно, меня никогда не шокирует никакое мнение, не согласное со мной. Я только буду прислушиваться к тому, насколько оно искренне и одухотворенно. И если это только не животное и не переодевание в индейца из оперетки «Периколы», то я с большим удовольствием буду с таким человеком всегда и спорить, и дружбу водить, и делить с ним хлеб-соль.

Отделение, назначенное для школы, занимало добрую половину большого барского дома и в контраст с помещением владельца было отделано изысканно, красиво и светло. Полировка, лак, паркет, резного дерева потолки, резная дубовая мебель, стены, раскрашенные прекрасными картинами.

С громадным удивлением я читал под ними имя одного из самых выдающихся наших художников, прекрасно выполненные картины которого из народной жизни на выставке умеют привлекать к себе толпу зрителей и покупателей, платящих за них сотни и тысячи рублей.

Все остальное в школе было в тон этой роскоши. Громадные комнаты, масса воздуха, комнаты для музея, комнаты для ремесл.

— Это вот их образцовые поля и огороды,— показал хозяин в окно.

Из больших зеркальных окон открывался вид на поля, реку и пруд. Была осень, мелкий дождик только что перестал, и темные осенние поля с помятой жнивой, теперь намокшие и продрогшие, смотрели холодно и неуютно. Виднелись оросительные канавки, а туда, дальше, флигелек и ряд хозяйственных построек. У флигеля несколько маленьких крестьянских детей возились над чем-то.

Мы прошли еще несколько комнат и вошли в маленькую нарядную комнатку с камином, в котором ярко горели теперь дрова, с мягкой кабинетной мебелью, обитой темным сафьяном, с полом, устланным хорошими коврами, и со стенами, увешанными картинами. Сухое лицо хозяина, эта обычная маска его, оживилось, и неуверенным смущенным голосом он сказал:

— Это мое святилище.

У дверей стоял сторож, руками которого, очевидно, был растоплен этот камин и все содержалось в таком порядке. Ласково, с тем видом, когда в доме все делается не за страх только, а и за совесть, он спросил:

— Чаю?

— Дай,— сухо ответил хозяин и, опустившись в кресло, спросил: — Вы против камина ничего не имеете?

— Я люблю камин. В такой сырой мозглый день он греет и светит, как солнце, и придает этой прекрасной комнате самый уютный и жилой вид.

— Ну, очень рад, что вам здесь нравится.

— И здесь и везде, во всем помещении вашей... и не знаю, как и назвать... вашей прекрасной школы.

— Да...— рассеянно проговорил хозяин,— прежде...

Он остановился. У него была какая-то особенная выразительность в манере говорить. Очевидно, он или говорил то, о чем думал, или молчал. И когда говорил, он точно видел то, к чему была прикована его мысль, и, отдаваясь ей, умел интонацией голоса, взглядом, движением дать почувствовать и слушателю то, что и сам испытывал. В то же время с виду он оставался все таким же сдержанным и сухим. Он не спеша продолжал с расстановкой:

— Прежде мы хвалились охотой, лошадьми... Времена переменчивы...

Он опять замолчал, лицо его приняло характерное отлетевшее выражение, он смотрел в огонь камина и в этих перебегающих струйках точно следил за чем-то, изредка вдруг наклоняя низко голову и подымая брови,

словно спрашивал. Я сидел, охваченный обстановкой, и тоже молчал.

— Ну-с, вот вам школа,— отрываясь от своих мыслей с обычным оттенком неудовольствия, сказал он.

— Да,— вздохнул я,— прекрасная школа... слишком прекрасная, если можно так сказать... Меня особенно поразили эти картины. Они, конечно, великолепны, полны смысла, но... ведь это должно стоить громадных денег.

Если моего хозяина можно было сравнить с очень чутким капризным инструментом, струны которого вдруг иногда точно просыпались и будили мелодично слух, то я в это мгновение походил на очень плохого артиста, не освоившегося с этим инструментом.

Получился звук резкий и неприятный.

— Нет...

Затем наступило молчание, которое я не решался больше нарушать. Я поздно упрекал себя в этой слабости нашего века все переводить на деньги. Понадобилось, очевидно, известное время, чтобы инструмент опять настроился. И тогда С. заговорил простым задушевным тоном. Если до этого он производил впечатление, может быть, немного избалованного обстановкой жизни родовитого дворянина, то теперь это исчезло. Тон был простой, живо хватающий за душу своей грустью и искренностью.

Он начал, и голос его ясно говорил о том, что он подумал перед тем, как начать: рассказывать ли ему мне или нет?

— Вы могли ко мне и не приехать... Если в такую пору года вы тем не менее не поленились заглянуть к старику, то мой долг, как хозяина, обязывает меня занять вас, как умею. Если хотите, я расскажу вам историю возникновения этой школы, и тогда вам легче будет судить... вот по поводу того, что вы сказали.

Я человек увлекающийся, и в эту минуту, чтобы узнать эту какую-то таинственную историю, готов был не то что слушать двумя ушами, но и многое отдать за это.

Я поспешил, как умел, выразить свою готовность слушать и уставился глазами в хозяина.

Глаза хозяина немного раскрылись, скользнули по мне и с выражением удовлетворения избалованного ребенка он начал... иначе слова не подберу, как — начал жить. Старики любят рассказывать и умеют рассказы-

вать о том, что болит или болело когда-то. Такие пересказы всегда чувствуются и выражаются тем, что слушатель не замечает, как идет время и не отвлекается никакими посторонними мыслями и соображениями.

— Эта школа имеет очень странное начало... по-стариковски я начну с него... Была у меня собака — Дюк. Я купил ее за щенка из породы французских понтеров. Говорили, что она была действительно породиста, но дело в том, что я моего пса не обучил охоте, потому что сам не охотник, и вырос он у меня болван болваном. Даже его достоинства и те пошли на зло: свою способность искать дичь он проявлял тем, что душил домашнюю птицу; свою любовь к охоте выражал тем, что, куда бы я ни ехал, он обязательно сопровождал экипаж. Набаловал и остальных собак. Штук двадцать несется, бывало, их за экипажем. При этом радость свою выражают и он и остальные лаем и не то, чтобы вначале, а так-таки всю дорогу. Остановишься, чтобы прогнать, отбежат и смотрят, и во главе все тот же Дюк. Доведет до полного исступления... Было бы ружье, так и пустил бы в него заряд. И при этом страсть прыгать лошадям к морде. Раз так хватил за ноздрю коренника, что лошади чуть не разнесли экипажа. Набалован был ужасно. И шло все это crescendo. Щенком привык валяться по диванам: с грязными лапами и после прямо на диван. С блюд стал, наконец, таскать: прямо подскочит и схватит. И умный при этом — набедокурит и скроется,— выждет время, когда гнев пройдет, опять покажется. Несколько раз я уже серьезно задумывался над тем, не прикончить ли его? да все жаль как-то, да и упрек к тому же, что в сущности я сам виноват в том, что из него вышел негодяй. В других руках, может быть, получилась бы знаменитость в своем роде, а у меня дрянью вышел. Как-то раз одно к одному все подошло. На самую пасху вместе с гостями ворвался в столовую, лапы на стол и хвать самую лучшую колбасу. Мало этого: в тот же день сына укусил. Ну, тут уж так меня атаковал, что я сдался и приказал его пристрелить. Повар, как наиболее страдавший от его нахальства, и взялся с удовольствием за исполнение приговора. Так нет же, понял, как человек, и сбежал. Пропадал до глубокой осени. Наконец, возвратился... но в ужасном виде. Прежде это был белый с пятнами, лоснящийся, задорно-уверенный пес, глава всей дворовой псарни. Теперь это была самая паршивая грязная собака. Он, очевидно, понимал, какая метамор-

фоза произошла с ним. Он уже не лез в комнаты, отказался от всякого главенства над остальными псами, и те грызли его теперь беспощадно. Ко всему он еще чихал и кашлял, и из ноздрей его сочилась какая-то дрянь. Одним словом, пропал пес: угрюмый, с поджатым хвостом, свернувшись где-нибудь у забора, он все дни лежал до тех пор, пока место его не приходилось по вкусу какому-нибудь другому псу. Тогда Дюк покорно подымался и, выгибая кольцом вверх свою острую спину, тоскливо брел куда-нибудь дальше. Прежде, бывало, при моем появлении он всегда развязно бросался ко мне на грудь, но теперь разве издали вильнет хвостом и взвизгнет. Все свои нахальные повадки он бросил, и даже повар, непримиримый враг его, оставил мысль о том, чтобы пристрелить его. Как-то зимой, в декабре, я в маленьких санках, по обыкновению объездив хутора, заглянув на мельницу, возвращался домой. Были уже сумерки. Я подъехал к подъезду и в ожидании, пока кто-нибудь возьмет лошадь, смотрел в окно столовой, где горела уже лампа, как приготовляли чай, как жена сидела у стола и что-то читала. Во дворе как раз никого не было и я, оглядываясь, кому передать бы лошадь, вдруг вспомнил, что не побывал сегодня в лесу, где шла у меня в то время расчистка родников. Я всегда ко всему горячо относился, и тогда это был разгар моих сельскохозяйственных затей... Из этого всего, впрочем, ничего не вышло, и все мои затеи дали один большой убыток... потому что я, да и многие из нас, хозяев, в сущности тоже Дюки в нашем деле... Нет знанья, нет порядков, а без этого у такой капризной барышни, как природа, ничего не получишь. Да, да, мы сами себя наказываем; в сравнении с тем, что у меня было, теперь осталась капля... Ну так вот, я и решил тогда пока что съездить в лес, благо близко было,— ну, версты полторы-две. У ворот при выезде мелькнула какая-то тень, и я, узнав Дюка, вдруг окликнул его. Он уже давно оставил повадку бегать за мной, но одного оклика было довольно, чтобы Дюк, как и прежде, бывало, побежал за мной. Он попробовал даже было забежать вперед и, как прежде, грациозно подпрыгнуть перед мордой лошади, но прыжок вышел неудачный, тяжелый, он попал под копыто, затискался в снег и, визжа, уже сзади поплелся за санями. Я, впрочем, забыл о нем: и без него было хорошо. Мороз был градусов тридцать и охватывал, как освежающая ванна. В воздухе не шелохнулось.

Небо вызвездилось, и морозные яркие звезды точно замерли и тонули там, в бархатной прозрачной синеве неба. Лошадь отчетливо быстро бежала, и под визг полозьев я задумался и замечтался... Вероятно, сколько я вспоминаю, о разных барышах с своего хозяйства... Удивительная это способность нашего брата мечтать об этих барышах: по целым дням и зиму и лето ходишь и считаешь — на счетах, на бумажке,— ошалеешь совсем, точно дурману объешься... а какая-нибудь полезная умная книга так и пролежит всю зиму нетронутая... И не видишь, куда время идет... Газет не читаешь! Жена разве выручит и как-нибудь утром в кровати или за обедом урывком расскажет, что делается на свете. Убыток явный уж в виду: нет, еще тешишь себя. Собрал хлеб, наконец, обманываться нельзя больше. Тогда прыжок, и все надежды уже там, в будущем году,— озимь, пашня под яровое, семена, как бы побольше посеять да как бы год хороший. Вот на это и тратит часто свое время наш брат.

Ну, опять увлекся... приехал я в лес, бросил вожжи, лошадь смирная, и пошел к родникам. Чистка родников заключалась в том, что рылись ямы аршина в два с половиной и запускался в них сруб. Около одной из таких ям без сруба я, рассматривая, слишком близко подошел к краю и по свежей грязи не удержался и съехал в яму, Ну, съехал, что за беда: не колодезь — голова уровень с краями. Это было первое ощущение. Но когда я принялся выкарабкиваться, оказалось, что беда и большая беда: не могу выбраться. Смешно, вижу глазами землю, лес, протянуть руку только чтобы ухватиться... Но ухватиться-то и не за что: кругом скользкая грязь, и лезет она вместе с рукою назад. Одного усилия руками и ногой достаточно бы, но рука и нога скользят. Какое бы нибудь дерево поближе: дразнят там, а здесь ни одного. В шубе — устал. Побился, побился, остановился и думаю: что же мне делать теперь?

Тишина мертвая в лесу, только ветки где-то трещат от мороза. Крикнуть? Кто услышит? Хоть бы лошадь ушла домой, но и лошадь такая, что хоть до утра будет ждать. Если и дома хватятся: где искать? Проехал так, что никто и не видал. А внизу вода. Чувствую, что она начинает просачиваться сквозь валенки... Плохо. Думаю: ведь это смерть подходит. Шутка сказать! А до утра никто не заглянет. Кажется мне, что я уже зябну, и чувствую, что нервная дрожь добирается и до зубов.

Хоть бы воришка какой-нибудь в лес заглянул: озолотил бы. Страшно, как подумаю, что смерть подходит, так все и забьется во мне, и готов и выть, и метаться, и опять сознание своего бессилия как ледяной водой окатит... вспотел весь... вспотел и стыну. Серьезно говорю, что никогда в жизни и притом в такой комичной обстановке я не был так близок от смерти. И если бы не Дюк — я замерз бы. Сперва я на него и внимания не обращал, но вдруг привлек меня его громадный ошейник, прежний ошейник, который теперь болтался на худой шее и резал глаза контрастом. С помощью этого ошейника я и решился спастись. Новая беда: зову я Дюка, а он не идет. Бегает, визжит, хвостом машет, а не идет: не верит мне — отвык. Каких-каких самых нежных названий я не надавал ему. Как мягко-ласково уговаривал. Да, пришлось-таки повозиться, пока опять восстановились наши прежние отношения, и он, наконец, подошел настолько близко, что я мог хватить его за ошейник. Он поздно было рванулся, но это мне и надо было: держась двумя руками за ошейник, опираясь ногой в стену ямы, я начал выбираться. И по мере того как я выбирался, Дюк, пятясь от меня, тем самым тащил... тащил жалкий, худой,— меня — громадную тушу, особенно в шубе. Я вылез, и можете себе представить, он понял свою услугу. Надо было его видеть. Его восторг не имел границ. Он бросился мне на грудь, лаял и визжал, и опять бросался, и лизнул-таки своей грязной мордой прямо в губы меня... Через десять минут я уже опять был у окна своей освещенной столовой. Когда я сидел там в яме, мне все представлялась эта мирная картина ожидания меня: долго пришлось бы ждать. Тревога уже поднялась: дворня была на ногах, ведь было семь часов, я два часа пробыл в лесу. Дюк, как только отворилась дверь, первый влетел в комнату, вихрем пронесся в кабинет прямо на кушетку. Пока я, щелкая зубами, рассказывал жене о том, что случилось со мной, он лежал на кушетке, высоко подняв голову, и отбивал своим хвостом такт: очевидно, он вторично переживал удовольствие и сознание, что теперь его не прогонят с кушетки. Этот вечер он там и провел, я кормил его отборными кусками... Скоро пришлось мне со всей семьей уехать из деревни, и возвратились мы только весной.

Без нас Дюк сдох. Говорили, что он опять убегал и нашли уже его где-то во рву. Я узнал потом: просто не кормили, и бедняга сдох от голоду... Жалко было

бедную собаку: так пропала... и я часто вспоминал ее... Сыну тогда восьмой год уж пошел и уже принялись за его обученье; но ученье на первых порах не спорилось. Мальчик был очень способный, но небрежно смотрел на дело. Однажды вот в этой самой комнате я решил подтянуть франта. У меня в моей системе воспитания не только наказаний, но и резких слов не было. Все основано было прежде всего на любви, а затем на работе его головы, на рассуждении, на логике, на доводах... Ну, вот, как довод, я ему и привел этого самого Дюка,— как доказательство того, что и с задатками можно ни за грош пропасть. Мальчик слушал меня рассеянно, вертел все время мой палец и, когда я кончил, с какой-то своеобразной детской логикой сделал свой вывод:

— Папа!

Это папа он всегда говорил напряженно и звонко.

— Папа! А Ломоносов тоже был из мужиков?

— Отчего ты вспомнил о Ломоносове? — спросил я.

Он рассеянно ответил:

— Так...

И опять сосредоточившись на своей мысли, озабоченно, сильнее крутя мой палец, проговорил:

— Папа! Петька говорит, что если бы была школа, он тоже бы учился.

Как это там в его головке скомбинировался Дюк, Ломоносов, его обучение и невежество Петьки, я не знаю, но на меня, человека впечатлительного и нервного, этот вывод его, без преувеличенья скажу вам, произвел потрясающее впечатление. Я часто и раньше думал о школе, может быть, при сыне же и говорил об ней, но неудачи, то, другое — так все и откладывалось. Старая, знакомая мысль, но как-то вдруг осветилась она передо мной так ярко и выпукло... В самом деле: совесть мучит за пса, а за всех этих Ломоносовых, всех этих гениев ума в стомиллионной массе, в каждом поколении имеющихся несомненно и гибнущих или извращающих свои дары,— не болит сердце и не думаешь даже.

И точно дело делаешь: ходишь да ворчишь еще — таланты перевелись...

— Скажи своему Петьке, что осенью у нас будет школа.

Мой сын скользнул глазами в окно и снисходительно ответил:

— Ну хорошо, я скажу ему.

Но помолчав, он спросил:

— Папа, отчего осенью?

— Так... я давно решил...

Не говорить же мне было ему, что он, Дюк и Петька были виновниками моего решения.

Он еще подумал и недоверчиво проговорил:

— Папа! ты не забудешь?

— Ну, напоминай мне.

Это понравилось, и он опять милостиво ответил мне:

— Ну хорошо, я напомню.

Этим и кончился мой первый и последний выговор моему сыну: жена там с ним справлялась, тоже, конечно, без всяких мер наказания. Осенью был обычный убыток от хозяйства (я вспоминаю всегда, говоря об убытках, слова моего соседа. Он говорил: «На будущий год будет хуже... Запишите»), но я взял себя в руки и, отделив часть дома, решил не откладывать дело школы. А чтобы не мучить себя мыслью о лишних расходах, я решил, что я сам себя обложил налогом в пользу образования. И, по-моему, каждый получивший это образование, может и должен — и только такой и должен — нести этот налог... Так просто отбирать подписку: хочешь сам образоваться — не грех и возвратить государству затрату, тем более, что и живут-то люди с своего образования. И получивши его, надо думать и о тех, кто не получил... в интересах родины. Это самый божеский, самый справедливый налог.

— Я совершенно с вами согласен,— согласился я возбужденно.

— Правда ведь? вот таким налогом и обложил я себя. В первый год и сын до поступления в корпус учился в этой школе.

— И Петька? — спросил я.

— И Петька... Вот они все три основателя,— хозяин показал на небольшую картинку, висевшую с боку камина. Я быстро поднялся и стал рассматривать ее. Были нарисованы мальчик в матроске, деревенский мальчик и между ними легавая собака с беспечным, нахальным и добродушным в то же время взглядом. Она смотрела, как бы спрашивая: «Ну, ты чего еще здесь?» Так смотрела она, очевидно, в первый период своей жизни.

Мальчик в матроске — сын хозяина, худенький, с маленьким личиком, смотрел своими черными глазками рассеянно, напряженно, как-то поверх всего окружающего и, казалось, думал о чем-то. Крестьянский мальчик, раскинув руки, стоял в типичной позе крестьянского ре-

бенка. Широкое лицо его было спокойно, добродушно, а голубые глаза точно выжидали чего-то равнодушно и терпеливо.

— Вот этот самый Петька и есть... Его и работа эта картинка. Как и все эти картины этой школы,— помолчав, произнес хозяин.— Каждое лето ко мне ездит и рисует.

Я быстро пригнулся к фигуре маленького Петьки. Этот вот... перед картинами которого я стоял, бывало, на выставке и считал бы за счастье когда-нибудь увидеть их автора. Я долго смотрел, и, когда взволнованный сел, хозяин проговорил:

— Есть у меня и поэты.

Он достал с полки книжечку и прочел задушевные стихи.

— Студент еще... Для начала недурно. У меня и ученые, и механики, и изобретатели даже есть. Есть и пахари — у каждого своя доля.

— А ваш сын где? — спросил я.

Я опять дернул грубо за больную струну.

— Бог не дал моему сыну жизни,— ответил хозяин и опустил голову.

Он помолчал и нехотя прибавил:

— Он скоро и умер после открытия школы...

Кровь горячей струей ударила меня по сердцу.

Как! этого худенького, симпатичного, роющегося в своей головке мальчика уже нет на свете?!

Много детей умирает, я хоронил и своих, но, откровенно говорю, такой жгучей боли по умершем, и притом давно умершем, я, кажется, никогда не испытывал.

— Я даже не знаю его могилы... Он утонул... в корпусе, спасая товарища... безрассудно...

Я смотрел на картинку. Так и кажется, что он вот-вот вскрикнет своим звонким голоском: «Папа!»

— Спас? — спросил я, не поворачиваясь.

— Нет: было, я думаю, и ему очевидно, что не спасет он... но бросились другие за ним и спасли того... другого... но его не удалось спасти.

Старик задумался.

— Отчего вы спросили: спас? Разве это меняет значение его поступка?

— Конечно, меняет: мальчик вдвойне герой.

— Да,— вздохнул рассеянно хозяин,— и вот все, что осталось мне от него... он один и был у нас... я вот перенес, а жена не перенесла... я и ей памятника не сделал...

Их обоих могила для меня здесь, в этой комнате... в этой школе...

Я молча отошел от картины: какая оригинальная мысль, какая оригинальная могила! Сколько оригинальных, сильных мыслей говорит мне этот старый, с разбитой жизнью человек! Могила?! Я их много видел на разных кладбищах, и богатых, очень богатых памятников — целые дома, целые города мертвых! И когда ходил около них, мое сердце сжималось холодной тоской смерти, и казалось мне, что эти памятники еще тяжелее давят грудь покойников. Но здесь, в этой комнате могил, ничто не говорило о смерти. Мальчик стоял живой передо мной. Несмотря на серый закат тучами заволоченного осеннего дня, казалось, солнце заливало своим светом эту комнату, и громкий веселый говор в школе собиравшихся на вечерние занятия учеников, как веселое щебетанье птиц, говорил о весне, о счастье и радости жизни.

Чудная могила!

Я смотрел на этого отлетевшего в иную жизнь мальчика и, казалось, слышал оттуда его энергичный, как звон — не похоронный, а радостный, зовущий к жизни призыв:

«Папа! Моя коротенькая жизнь сделает и твою длинную жизнь — прекрасной, полной глубокого смысла для твоего стомиллионного народа».

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

На левом берегу Волги, как известно, от Самары вплоть до Белого моря пока еще нет ни одной железной дороги. После четырехсотверстного переезда по этому левому берегу, в конце ноября на лошадях я часов в двенадцать ночи добрался, наконец, до Казани. Назади уже были все эти запряжки: гуськом, врастяжку, бочком и уточкой, хорошо характеризующие наши зимние дороги. Сколько лишнего времени, сколько утомления, сколько лишних денег! Столько денег, что эти четыреста верст на лошадях дали бы мне возможность по железной дороге съездить по крайней мере в Париж.

Но вот и Казань. Теплая комната в гостинице, сознание конца утомительного переезда, свет и тепло от огня, и память о лишениях тает уж, как снег, занесенный мною со двора.

— Волга встала? — спрашиваю я прежде всего.

— Никак нет!

И мне рассказывают всякие ужасы о переправе, но я решаю все-таки ехать завтра дальше. Сознание конца отравляется немного этой переправой, но утомление берет верх, и, поев, я ложусь спать, приказав разбудить себя в пять часов утра, потому что поезд к Волге идет в шесть часов.

И зачем из конечного пункта назначен такой ранний час отправления?

Ведь при скорости в восемнадцать верст в час и остановках на тридцати станциях в среднем по двадцати минут, как не урвать бы на протяжении девятисот верст два-три часа времени и не назначить отход поезда в более удобный час?

Согласен, что вопрос мой праздный: что такое в самом деле удобства публики?

В пять часов утра постучали в дверь моего номера.

Я открыл глаза с ощущением человека, проехавшего тяжелый путь, утомленного и невыспавшегося, с тяжелой туманной головой. Вчерашние рассказы о нескольких катастрофах, о нескольких жертвах при переправах живо вспоминаются. Из газет я уже знал, что Общество дороги отклонило от себя всякую ответственность, а логика инженера говорила мне, что, пожалуй, в интересах даже Общества дороги этот шум и крик о невозможной переправе: тем скорей разрешат постройку моста.

Наскоро напившись чаю, опять облекшись в три шубы и валенки, так как предстояла переправа при двадцатипятиградусном морозе, я при пожелании со стороны швейцара всего лучшего вышел на подъезд.

Было еще совсем темно. Как из колодца там вверху виднелось нависшее темное небо, и что-то завывало там неприятно и зловеще.

Угрюмо и молча поехал я по темным улицам. Что собственно меня гонит? Зачем рисковать, не вернуться ли назад? Но вот я уже у маленького, подозрительно как-то сбоку приютившегося вокзала. Маленькое здание, сырое и промозглое, род не то кабачка, не то пивной... Я вхожу в вагон и засыпаю. Через полтора часа меня будят.

— Господин, приехали.

— Приехали?

— Да, переправа.

— Выносите вещи.

И я, еще в сонном угаре, спешу на площадку вагона. Все пассажиры — человек двадцать — уже толпятся у откоса возле десятка крестьянских дровней. Наши вещи кладут на переднюю часть дровней и нас по двое сажают спиной к лошадям. Я сижу в позе балерины, и как ни стараюсь, но шубы мои распахнулись, и меня и всех нас поддувает, выдувает и задувает... Ухабы, рытвины, толчки...

Еще один спуск, сильный толчок, и мы огибаем баржу: мы уже на льду. Волга с берега примерзла, и с полверсты переправа идет на санях. Глыбы желтого льда с изрытыми вершинами торчат во все стороны. Сани ныряют с одного ухаба в другой. Иногда подымутся на расколотый гребень, и в щель видишь таинственную пустоту.

Увидеть хоть поскорей, что там впереди. Я делаю усилие и поворачиваюсь лицом вперед. Ветер рвет, желтый лед кончается, а там дальше свинцовая вода Волги и пар, подымающийся от воды, мешаются с падающим снегом. Того берега за метелью не видно,— все плоско и низменно на этом серо-желтом фоне, и только группа людей черными точками обрисовывается там, куда нам ехать. Подъехали. Выдвигается фигура полицейского, и он кричит подводчикам: «Стой!»

Мы все торопливо соскакиваем с саней. Что? Как?

— Лодки на этой стороне,— переправа, кажется, возможна.

Надо узнать, крепок ли лед, образовавшийся за ночь и отделяющий всех нас от тех лодок.

— Не двигайтесь. Стойте! Пойдет сперва заведующий.

Мы стоим, а от нас отделяется крестьянин с багром, а за ним длинный господин в черной шубе, валенках и барашковой шапке.

Мы смотрим на уходящих, как на героев. Они идут, и каждую минуту под ними может открыться бездна, тогда их ничто не спасет. Впереди идущий постоянно пробует багром. По мере того как они подвигаются, напряжение наше слабеет.

— Куда там провалиться! Осенний лед ведь! — говорит один.

— Двадцать пять градусов к тому же,— равнодушно соглашается другой.

Остановились те двое, что-то пробуют и кричат нам:

— Доски!

Полицейский засуетился.

— Где рабочие?

Двое выходят из толпы.

— Вы, что ль, наняты? Доску несите!

— А как провалимся?

— Ну?

Рабочие нехотя берут доску и несут. Одну, другую, третью. С лодок тоже уже вышли навстречу к этим двоим, и кучка людей растет там, где кладут доски. Становится скучно. Один, другой, третий пассажир, и все мы потянулись к лодкам.

— Не ходите, не ходите! — набрасывается блюститель порядка,— я протокол составлю! Я не отвечаю за вашу безопасность. За вашу жизнь!

Но всем хочется скорее на ту сторону, и никто не слушает полицейского. Я тоже иду и стараюсь сохранять дистанцию, но напрасный труд: меня обгоняют, и я рискую прийти последним. Тогда я тоже начинаю спешить и, чтоб обогнать других, иду другой дорогой...

Но передо мной полынья, то есть незамерзлое место, и я волей-неволей должен возвратиться к тому месту, где через нее настилают доски. Один уже успел, переходя, поскользнуться, и его едва удержали.

Мы все у воды.

— Не грудьтесь в кучу — лед обломится!

Но и это воззвание тщетно: у всех какое-то убийственное равнодушие и отсутствие всякого сознания опасности.

В первой лодке уже сидят и только ждут, чтобы пронесло громадную «чку». Чка — это льдина в несколько десятков саженей, которую несет по не замерзшему еще руслу. Иногда такая чка налетает на лед, уже примерзший к берегу, и тогда в воздухе раздается зловещий шип, треск, и желтый лед раскалывается и высокими глыбами в местах столкновения лезет вверх.

— Ну, господи благослови,— пошла, навались!

Сердце замирает в этот момент за тех отъезжающих, и мы, очередные, прыгаем в другую лодку. Один, другой, третий, десятый...

— Довольно, довольно!

— Что вы? Двести пятьдесят пудов подымает,— успокаивает жадный лоцман.

И опять прыгают и прыгают, а затем укладывают багаж и сундуки.

Еще один громадный, в дохе, ввалился, другой, молодой, юркий, прыгнул взад к лоцману.

Я сижу в своей громадной шубе и переживаю тревожное и странное ощущение: эта зимняя картина, лодка и двадцать пять градусов мороза, и эта чка, что плывет теперь прямо на нас с каким-то вытянутым, узким хоботом!

— Скорей, скорей! Пока не загородило проход, а то затрет нас чкой!

— Скорей, скорей! — кричим мы все, но лодочники еще принимают один сундук, а мы кричим, и, наконец, лоцман, с сожалением окинув незабранный товар, сдается.

— Ну, дружней!

Взяли весла.

— Навались!

Но, пока наваливались да поворачивались, хобот чки уже почти настиг нас. В нескольких саженях всего от берега положение наше сразу стало критическим, и, опрокинься мы, те, стоявшие на береговом льду без крючьев и багров, не спасли бы нас. Мы мчимся к все уменьшающемуся проходу. О, как невыносимо тяжело неподвижно сидеть и бессильно ждать решения! Но перевозчики рвут воду веслами, и сильными взмахами мы стрелой летим вперед. Уже назад нам нельзя попасть, чка уже ломит лед берега, и стоящие там на берегу бегут теперь подальше. Еще одно томительное мгновение, и мы уж на выходе, лодка захватывает уже свободный пролет, еще один удар весел... но весла бьют уже не по воде, а по налетевшей чке. Быстрее, чем мысль, летят в руках лодочников багры, и бешено бьют они ими об лед, и лодка мчится дальше, а сзади нас страшный треск и дикий, энергичный рев лоцмана:

— Навались!!.

Новый треск и страшный толчок, и, как сквозь сон, я вижу остановившимися глазами обнаженные головы моих крестящихся соседей. Но вся опасность уже назади, и мы все облегченно вздыхаем, и мой сосед, в дохе, говорит, надевая шапку:

— Ну, теперь и покурить можно.

Шуба моя распахнулась, я кутаюсь плотнее и удовлетворенно, спокойно смотрю на открытую перед нами водную даль! И буря, и снег, и ледяная Волга вокруг нас теперь не страшны. А Волга, точно расплавленная

масса, почти вся застывшая тонким слоем льда. Мы качаемся из стороны в сторону, чтобы легче ломался молодой лед. Он ломится под дружными ударами весел, его режет нос лодки, и мы быстро подвигаемся к цели. Первая лодка уже пристает к береговому льду.

— Ишь, куда их снесло,— говорит наш громадный лоцман.

— А мы где пристанем?

— Мы вверх подымемся,— вон, где сани стоят.

Тем лучше для нас: прямо в сани, а первым идти до них еще. Мы уже плывем вдоль берегового льда, и вся опасность как будто миновала. Даже жаль как-то, что так мало было ощущений. Но я рано пожалел...

— Никак чка!

Это была она, на этот раз громадных размеров, через всю почти Волгу. Она летела вдоль берега прямо на нас.

— Назад! — крикнул кто-то.

— Назад!! — быстро повторили и мы все.

Но лоцман и гребцы точно не слыхали наших криков. Мы уже слышим зловещий шум подгоняемой льдиной воды и тогда еще раз голосом, полным отчаяния, кричим:

— Назад!!

— Назад, подлец! — вскочил вдруг один из пассажиров.

— Такое ли время, чтобы ругаться, господин? — бросил горячему пассажиру лоцман.

Это было сказано таким спокойным и даже величавым тоном, что мы сразу смолкли. Время ли, действительно, ругаться? Тем более, что чка уж налетела, подхватила нас и несла теперь как-то боком, толкая перед собой нашу лодку как негодную щепку. Оказалось все не таким страшным.

— Ведь тут ничего же еще опасного нет,— объяснял севший последним в тяжелой дохе господин.

Это теперь и мы видим.

— О да, ничего, ничего,— спешил согласиться на ломаном русском языке молодой человек, оказавшийся потом англичанином.

— Опасности нет, но этак мы и в Каспий попадем, если раньше где-нибудь не нажмет и не раздавит нас,— ответил какой-то пассажир.

Я тревожно оглядываюсь.

— Стой, братцы,— заговорил лоцман,— а ведь чка-то отходить хочет от берега... Ну-ка, упрись багром, подсунемся к краю!

Там, между льдиной и примерзлым берегом, начинало образовываться водное пространство. Вся чка, как на оси, начинала поворачиваться вокруг той точки, где были мы. План лоцмана был ясен всем: подойти поближе к этому пространству, воспользовавшись первым удобным случаем.

— Ну-ка, попробуй багром этот клинышек.

Да, отбив этот клин, мы проделаем себе отверстие. Но клин и сам уже ломится о береговой лед. В этот водоворот лоцман спешит направить лодку. И вдруг, прежде чем мы успели очнуться, произошло что-то непередаваемо быстрое,— раздалось: крра! Лодку подняло вместе со льдом, наклонило, я увидел на мгновение и клокочущую воду и туда дальше желтый лед, подумал, что там на льду спасенье, услыхал легкий вопль молодого англичанина и вылетел из лодки... туда на лед, подальше от воды. Впереди бежал англичанин все с тем же тихим воплем, бежал по молодому, неизвестному, может быть за несколько часов только образовавшемуся льду прямо на берег, за ним бежали и другие, а я, поднявшись и увидя, что лодка цела и невредима и опять стоит уже в воде, а чка, сделав свое дело, как какая-то страшная желтая птица, несется уже далеко от нас, возвратился и сел опять в лодку.

На душе было спокойно, мирно и тихо, ноги дрожали, сердце билось, и никогда, никогда я не был так спокоен и так глубоко не проникался прелестью жизни и мертвым ландшафтом этого плоского вида желтого льда и черной реки.

Мы благополучно доехали до того места, куда хотел пристать лоцман, пристали и высадились. Какие лица у всех радостные! Какие спокойные и удовлетворенные! Мы платим лодочникам, полицейским, подводчикам, мы с радостью раздаем то, что могло уже лежать там, на дне этой страшной реки. И разве жалко дать лишнее этим молодцам?

Каждый из нас ехал по своему делу, но они для нас ехали. Железная дорога умыла руки, полиция умыла, но они с нами были.

Скорее в сани и на вокзал, туда, где пара стальных рельсов свяжет меня опять со всеми живущими! Прочь от этого мученического бездорожья! Прочь скорее от

всех этих: врастяжку, гуськом, утицей и бочком, а в последний момент и все вместе — гуськом и утицей, и бочком, и врастяжку. Там, на вокзале, уж пьют чай и рассказывают друг другу приключения переправы. Смеются над собой, над переправой.

Только один пассажир из всех сердится:

— Это непростительно! Десятки миллионов истрачены на дело, а тысячу рублей пожалели на надежные лодки. Лоцман нам говорил после краха: «Передняя лодка не выдержала бы, потому что стара». Что это за организация — двое рабочих. Это издевательство. Да где же, наконец, хоть водяные инженеры, их полиция, их инспекция?

— Ну! — машет весело рукой мой бывший сосед, и все смеются.

— Помилуйте, ведь они специалисты, они могут организовать, они должны!..

— Ну... давно ведь решенный вопрос, что специалисты — один предрассудок только,— отвечают ему.

Очевидно, компания в смешливом настроении. Хохот покрывает слова горячащегося. Я смотрю на эти лица — спокойные, довольные и тоже улыбаюсь. Чего еще? Живы ведь.

И вдруг яркая картина только что пережитого встала передо мной: нет, никогда не забуду этот желтый лед, черную реку, эту страшную птицу-чку, буран и все пережитое в эти короткие мгновенья. Нужны железные нервы русского человека, его железное здоровье, его равнодушие дикаря к жизни, нужны, наконец, и полная халатность русского человека и отсутствие всякой общественной мысли, чтобы мириться с такими переправами.

БАБУШКА СТЕПАНИДА

Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе,— все уже в могиле. И жила бабушка одна, как перст божий: ни до нее никому, ни ей до других никакого дела давно не было. Только по соседству шабры [1] да внучатная племянница и заглядывали к ней: жива ли?

---

[1] соседи. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.*)

Жила бабушка и к людям за помощью не ходила. Кое-что, вероятно, было припасено от прежних дней и зорко хранилось где-нибудь под половицей. Да и немного требовалось, чтобы удовлетворить несложные потребности: горсть крупной соли, немного луку, ломтик ржаного хлеба, чашка с водой, и «мура» готова. Остальное в таком же роде было. Все хозяйство и дом после мужа продала она, еще когда схоронила сына, а сама поселилась в келейке на самом краю села. В ней почти безвыходно сидела старуха и редко, редко, разве в очень уж большой праздник, угрюмая, высокая, с морщинистой и желтой кожей на лице, опираясь на клюку,— брела навестить какую-нибудь такую же забытую, как и она. И когда она шла, бойкие ребятишки деревни стихали, потому что боялись высокой старухи: у нее росла борода и как-то рычало в груди, даже и тогда, когда она молчала... Крестьяне приветливо снимали шапки. И бабушка Степанида, на ходу опираясь на клюку, отдавала им безучастный, степенный поклон и шла дальше.

Келейка бабушки была осиновая, горькая: лес давно подгнил, избушка наклонилась, и передняя стена совсем ушла в землю. В длину келейка была пять аршин, в ширину четыре. Половину при этом занимала курная печь, от которой стены внутри избы были покрыты толстым слоем сажи. Когда сверкало пламя очага, сажа казалась такой блестящей, точно стена была усыпана миллионами кристалликов из черных бриллиантов. Обладательница этих бриллиантов во время топки сидела на корточках, пялила глаза от едкого дыма, скалила беззубый рот и тяжело дышала: пока топилось, удушливый дым волнами ходил по избенке, и только у самого пола была полоска, где тянул свежий воздух из подполья.

Келейка, коптилка, склеп — все названия одинаково подходили к жилью, в котором тридцать лет уже провела старуха. Ее и не тянуло на свет божий. Свет божий! Мало веселого было в нем. Ее жизнь, однообразная и жестокая, невкусная и сухая, была похожа на нее самое, бабушку Степаниду.

Скучная жизнь, скучное горе. Горе, которое приволочила она с собой еще из страшной, отлетевшей, забытой эпохи.

Замуж ее отдали на семнадцатом году. В первый же год муж сгрубил кому-то и его забрили в солдаты. Кра-

савица она была смолоду. Может быть, сердце рвалось в груди, может быть, много ночей провалялась она в жаркой истоме в темной избе одна с подростком сыном. Так вся молодость день за днем и ушла. Двадцать четыре года прождала она мужа; на двадцать четвертом вместо него пришла глухая бумага: помер муж. Не узнала даже где, и отчего, и как. Кто там станет глупой бабе описывать о смерти солдата.

Новое горе стряслось: господа женили сына на дворовой. Муж привязался к жене, но жена возненавидела и мужа и всю постылую деревенскую жизнь. Сейчас же после воли бросила она деревню и мужа и ушла навсегда. Так и пропала. Он пил, тосковал, угрюмый, неприветливый, как и мать, тосковал, как только может тосковать человек, упорный в чем-нибудь одном, когда и это одно отняла у него жизнь. Сердце болело сильно, когда от поры до времени доносились неясные слухи о коварной изменнице, жившей где-то в городе: бедная фантазия рисовала этот город... Не вытерпел и повесился брошенный муж у себя на задах.

Горе при жизни сына было у матери, а только после смерти сына спознала она всю бездну горя: всю любовь свою отдала она сыну, и вот теперь этот сын, единственная радость, одна отрада, безумным шагом обрекся на муку вечную. Каково-то будет там ей смотреть, если примет даже господь ее в свою обитель, на муку мученическую, муку вечную своего несчастного сына!

Тридцать лет замаливала она господа без надежды замолить, тридцать лет гвоздем сидела одна и та же страшная и безысходная мысль. Тоска здесь, ужас там...

«Пресвятая богородица, спаси и помилуй!» — страстно, безнадежно шептали старые растрескавшиеся губы.

Нет, не тянул старуху свет божий. Она уходила от него угрюмая, далеко прятала от всех свои, как и сама, как и жизнь ее, ужасные думы.

Тем не менее, как бабушка ни пряталась от современной жизни, иногда эта жизнь все-таки долетала и к ней.

Староста Родион, молодой, лет тридцати, доводился тоже какой-то родней бабушке и нет-нет заглядывал к ней.

— Жива? — спрашивал Родион, садясь на скамейку.

— Жива,— сухо, шевыряясь, отвечала бабушка.

— А у нас всё дела, всё дела: назмить землю хотят.

— Грешили бы меньше. При стариках кто назмил, а родила земля.

— Дохтура хранцузску болесть открыли. Слышь, Маркев не годится... Трусовы вся семья... Много народу погадилось.

— Брешут всё дохтура,— сердилась вдруг бабушка.

— Этак... Пошто ж им брехать-то?

— По то и брешут, чтоб народ-то морить... Он тебе склянку дал, а в ней мор.

— А им что за корысть народ-то морить?

— То и корысть, что христопродавцы.

— Этак...

И, помолчав, Родион опять начинал:

— Начальство сменили... новое теперь будет: земский... ждут...

— А ты ему полштофа припаси, и станет он для тебя лучше старого стараться.

— Чай, полштофа мало,— усмехается Родион.

— Будет им... пожалуй, тащи...

И опять замолчат.

Родион стукнет сапогами, поглядит на них, зевнет и встанет:

— Ну, доколь что до увиданья... гостинца тут принес тебе.

Бабушка примет гостинец, быстро, чтоб не раздумал еще, проводит от греха, дверь запрет и примется рассматривать гостинец.

Раз заглянула внучка в келейку, глядит: бабушка лежит не жива на кровати. Подняла крик, сбежались шабры, думали было, что и впрямь умерла. Но старуха Драчена смекнула, в чем дело.

— Стойте, бабы, а вы... обмерла она, а смерти настоящей нет же... Святой водичкой надо окропить... да свечку ей в голову... Душенька ее в гостях у бога теперь.

Обмирает не всякий: надо быть достойной, чтоб при жизни сподобиться видеть, как все это устроено у господа бога.

Почти сутки бабушка Степанида лежала обмерши. По пяти баб сидели у нее по очереди и свечи восковые жгли.

Нанесли свечей груду. Шутка сказать: душенька по разным мытарствам да в раю гуляет, всех сродников всей деревни в это время видит,— свечки вот, чтобы ей-то, душеньке, виднее было, и несет народ.

Гуляет себе душенька бабушки, сама бабушка спит мертвым, без движенья, почти без дыханья сном, горят ярко свечки в головах, а старухи караульные сбились в кучу и ведут тихую беседу в углу.

Нет, нет и вздохнет сухая, как скелет, бабушка Драчена.

— Господи, подумать только: у господа бога в гостях...

И опять пойдет речь про житейское, а то на «страсти» перейдет.

Подожмется Драчена, прижмет свою тощую руку к груди, соберет губы колечком, и льются слова. Бабы кругом прильнут друг к дружке и слушают. Слушают и прячут дорогие сведения в самую глубь подвалов своих душ: темных, страшных, без выходов.

— Этак... три дня как море разливанное... Плачь о покойнике хоть без памяти... Горе-то горе... так ведь без горя неужели проживешь? Три дня и провыла, отвела душеньку... Будет... Ей говорят бабы: брось, не указано. Ну так ведь умней людей...

Драчена вздохнула.

— Ну и стал... Как к ночи дело — тут как тут! Огненным шаром по небу рассыпется и прямо во двор... Об землю ударится и стал молодцом: ни дать, ни взять муж покойничек... В избу войдет да прямо к ней. А она-то, глупая, чем молитву сотворить, прямо к нему на шею: «Муж ты мой милый!» Что такое, глядят на деревне, истаяла баба: то была румяная, кровь с молоком, а тут нет тебе ничего... в гроб краше кладут. Стали люди примечать и доглядели... Так ведь ты что? Обошел он ее: клятву кладет, знать не знаю, ведать не ведаю. Уж чего тут ей ни делали: и к святым угодникам возили и водицей свяченой брызгали: нет ничего.

— Уж, конечно, власть ему дана: кропи, пожалуй.

— Пропала? — тоскливо спросил кто-то.

— А ты? Пропала... Есть добрые люди.

— Есть же,— убежденно мотнула головой Акулина.

— Этакого, что силу над ним взять может, и раздобыли и привезли. Оглядел он ее и говорит: «Кол мне осиновый к вечеру нужен»... Припасли кол... Первая звездочка мигнула... катит: ж-ж-ж... следом рассыпался

и прямо во двор... он в избу, а знахарь в воротах кол вбил. Ну известно уж, с приговором, не иначе.

— А без приговора, пожалуй, забивай его.

— Учуял... выскочил, а уж со двора и нельзя... туда, сюда, да как лопнет... Смрад этакий, дух пошел... А она, сердешная, лежит середи избы, ровно мертвая.

Драчена помолчала, вздохнула и огорченно, нехотя кончила:

— Отходили.

Замолчали старухи и глядят на спящую — строгое лицо! И она, бабушка Степанида, бывало, нет-нет и спохватится, что надо бы унять от греха сердце. А как уймешь-то его? В руки взять да стиснуть — не вынешь из груди: бьется там, вольное, мутит душу. Гонишь не гонишь: стоит пред глазами несчастный удавленник... Стоит, точно сейчас случилось несчастье. А придет темный вечер — в келейке и того темнее; дело старое, сна нет, а думка буравит, и оглядывается, и слушает: словно щеколду кто тронул у дверей? Побелеет и ждет...

Отошла бабушка от обмиранья, и пошли толки по селу о том, что видела бабушка. Много прибавляли, сами же выдумывали и верили. А бабушка всего-то и говорила:

— Обмирала... доподлинно... видела грешными глазами своими милость божию. Все видела... и в аду была и в раю сподобилась...

— Бабушка, в аду-то кого видела?

Бабушка долго трясла старой головой и жевала беззубым ртом.

— Страсти видела... дядя Андрей (Андрей был конокрад) из овина горючего этак до половины вылез да и кричит: «Бабушка Степанида, скажи хозяйке, чтобы молилась больней,— худо мне!» Да как бултыхнется этак назад. А жа-а-р... да смрад.

Замолчала бабушка, жует своим беззубым ртом и смотрит выцветшими глазами в угол, точно присматривается или видит еще что-то такое там, о чем не сказывает.

— Бабушка, а в раю побывала?

— Сподобилась... Дядю Парфена да дядю Семена видела: стоят друг возле друга, портянки новенькие, онучки новенькие, головы маслом смазаны, ручки сло-

жили, стоят на сухоньком месте: «Хорошо-о нам, бабушка Степанида!»

— Хорошо,— шепчут ее старые губы, трясется голова, и холодные слезы льются по старому морщинистому лицу,— хорошо на сухоньком месте.

Все проходит на свете. Стал приходить и бабушкину горю конец. Иногда думает, думает и спутается: кто, муж или сын нехорошей смертью помер? А то вдруг покажется ей, что и муж и сын оба честно преставились и ждут не дождутся ее, и не дядю Парфена и Семена видела она, а их же: стоят и ждут свою молитвенницу, чтобы вместе принять уготованную им радость от милостивого бога.

Смеялись на деревне, что забыли на том свете о старухе.

— Провиянт, чать, давно на нее идет.

Но оказалось, не забыли, и бабушка Степанида дождалась своего часа. Хорошо умерла. В самый день вознесения. А день-то какой, теплый да ласковый, весь в солнце да в радости.

Сама и приготовила все в знакомую далекую дорогу, вздохнула и кончилась.

Словно вылетело что-то в открытое окно. Тронуло кудри парней, травку качнуло у часовни, весело пыль смахнуло с дороги и потянуло за собой туда в далекое поле между зелеными хлебами. Вон, вон уж где птичкой вольной, веселой встрепенулось и исчезло в искристой синеве майского неба.

ИСПОВЕДЬ ОТЦА

Посвящается
О. А. Боратынской

Я, слава богу, в своей практике никогда не прибегал к розге. Но, признаюсь, став отцом довольно-таки капризного своего первого сына, Коки, я пришел в тупик, что мне предпринять с ним.

Представьте себе сперва грудного, затем двух- и трехлетнего тяжелого мальчика с большой головой,

брюнета, с черными глазками, которыми он в упор исподлобья внимательно смотрит на вас. Это напряженный, раздраженный, даже, может быть, злой или упрямо-капризный взгляд. Это вызов, взгляд, как бы говорящий: «А вот ничего же ты со мной не поделаешь!»

И действительно, поделать с ребенком ничего нельзя было: если он начинал капризничать, то вы могли терпеть, могли раздражаться, упрекать няньку, свою жену за то, что они распустили ребенка так, что хоть беги из дому; могли действительно убегать и, проносясь мимо окон детской, уже с улицы видеть все тот же упрямый, но с каким-то напряженным интересом провожающий вас взгляд,— лицо все с тем же открытым ртом, из которого в это мгновение несется все тот же надрывающий душу вой. И хотя вы теперь его, этого воя, уже не слышите, но вся фигура ребенка говорит об этом всем вашим издерганным нервам.

Конечно, прогулка вас успокоит. К вам подведут вашего утихшего, наконец, сына, с тем чтобы вы оказали ему какую-нибудь ласку. И, гладя,— может быть, сперва и насилуя себя,— его по головке, вы думаете, смотря в это желто-зеленое напряженное лицо и черные глаза: «Может быть, и действительно нервы».

А если мальчик в духе, и глаза его искрятся тихо, удовлетворенно, и если тогда он вдруг подойдет к вам и, доверчиво приложив головку к вашему рукаву, спросит, довольный и ласковый: «А так можешь?» — и покажет вам какой-нибудь несложный жест своей маленькой ручкой,— вам и совсем жаль его станет, и вы почувствуете, что и он вас и вы его очень и очень любите.

Но опять и опять эти вопли!.. Все та же однообразная, бесконечная нота!..

— Милый Кока, скажи, у тебя болит что-нибудь?

— Ты чего-нибудь хочешь?

— Вот ты плачешь, а папе жалко тебя, и так жалко, что папа заболеет, умрет, если ты не перестанешь...

— Ты, значит, совсем не любишь папу?

Вой сразу поднимается на несколько нот выше.

— Ну, так перестань...

В ответ успокоенная прежняя ровная нота.

Няня держит ребенка, растерянно гладит складки его рубашки, смотрит вниз; жена сама не своя зайдет то с одной стороны, то с другой.

— Дайте мне ребенка!

— Да, барин...

— Глупая женщина! Я отец этого ребенка, люблю его больше, чем вы, и знаю, что делаю.

Слова эти для жены. И, раз так поставлен вопрос, речь уже не о капризе Коки, а кабинетный, своего рода вопрос о доверии.

Я с ребенком один в столовой. Весь ее, жены, протест в том, что она не идет за мной: как бы слагает ответственность на одного меня. О, я не боюсь ответственности!

— Перестань!

Мой голос спокойный, ласковый даже, но решительный. Я не унижусь, конечно, до нескольких энергичных шлепков: я только прижал к груди малютку, может быть, немного сильнее обыкновенного и быстро, очень быстро и очень решительно шагаю с ним по комнате. О, радость: средство действует! Ребенок ошеломлен и стихает. Я, конечно, настороже и голосом спокойным, как будто все так и должно быть, говорю:

— Хочешь, я дам тебе эту куклу?

И я передаю ему с этажерки фарфоровую игрушку. Он берет игрушку и спрашивает как ни в чем не бывало:

— А зачем она не идет?

Я таким же тоном отвечаю:

— Потому, что она глупенькая.

Наш разговор продолжается, и я продолжаю его и тогда, когда входят повеселевшие смущенные воспитательницы. Мой авторитет установлен настолько, что раз, проходя, я слышу нянин голос:

— А я папу позову!

— Няня, я вовсе не желаю быть пугалом своих детей: я запрещаю вам стращать ребенка моим именем...

Но раз стал на почву авторитета...

Я уже бегал с сыном по комнате и прижимал изо всех сил его; но это больше, увы, не помогало: он еще громче кричал.

Однажды, потеряв терпение, я вдруг внес его в переднюю, поставил там на ноги и, сказав: «кричи», быстро запер за собой дверь, оставив его одного.

Опять победа,— он боялся одиночества.

Затем и это средство перестало действовать. Следующее средство был угол.

Идя дальше и дальше по пути отцовского авторитета, однажды... ну, одним словом, я дал волю рукам... дал ему несколько шлепков.

И он опять покорился сразу, вдруг, но уже не разговаривал со мной, а, озабоченный, торопился уйти от меня. Я слышал, как он, войдя в детскую, сказал возбужденно, почти весело няне:

— Няня, пойдем...

— Куда, милый?

— Уйдем и возьмем братика.

У нас только что родился тогда второй сын — Гаря.

— Куда?

— Я возьму братика, и мы уйдем от папы.

Он говорил возбужденно, с удовольствием, по своему обыкновению смакуя, точно в это время рот его набит был чем-то сладким и вкусным.

Я никогда не забуду этой подслушанной сцены. Этот порыв уйти от меня, этот бессильный протест малютки, сознание в нем неравенства борьбы со мной, великаном... Мне стало совестно, жаль его первой надорванной веры в свои силы. Мне захотелось вдруг быть не отцом его, а другом, который мог бы только любить, не неся ответственности за его воспитание. Но эта ответственность...

Дальнейшим, впрочем, моим воспитательным опытам положила конец сама судьба.

Приехал к нам сверстник Коки, мой племянник, Володя, и заболел корью.

Заболевание было легкое, и доктор посоветовал ввиду неизбежности для всякого такой болезни, как корь, заразить и сына.

В одно веселое утро, когда мальчик сидел в столовой на полу, мы с женой пришли, чтобы вести его в комнату больного.

— Кокочка, хочешь видеть Володю?

Володя лежал теперь в противоположной стороне дома, один в большой комнате.

Кока полюбил своего худенького вертлявого двоюродного брата Володю и с его приездом переменился до неузнаваемости: почти перестал капризничать, смотрел влюбленными глазами на Володю и даже рычал от удовольствия.

Нелюдимка, угрюмый, он теперь по целым часам говорил что-то Володе, тяжело ворочая языком, смотрел на Володю своими сверкающими радостью глазками.

А когда капризы его все-таки настигали, Володя трогательно-нежно ухаживал за ним и все стоял около него, терпеливый, с болью и лаской смотрел ему в глазки. И Кока смотрел на него пытливо, любяще, продол-

жая выть и выть, и все растирал слезы, мешавшие ему смотреть на своего Володю.

И вдруг этот Володя заболел. Кока только и спрашивал о Володе.

Когда жена спросила его, хочет ли он идти к Володе, лицо его расцвело,— он что-то держал в руках и бросил, легко встал и сразу протянул обе ручки мне и жене.

Мы так и повели его, и, боже мой, какое бесконечное счастье было на его лице! И все трое мы шли такие веселые, счастливые, и если бы нам сказали тогда, что мы ведем этого малютку с большим любящим сердцем на смерть.

Это было так. У Володи корь прошла легко, а у Коки осложнилась,— развилась бугорчатка легких, бугорчатка перешла на желудок, на мозг, и в три месяца наш Кока сгорел.

За несколько минут до смерти он пожелал, чтобы его поднесли к окну.

Мы жили тогда для него на даче, у моря. Тихий, спокойный догорал день, золотилось море. Последний ветерок едва шевелил деревья, и они, словно вздыхая от избытка счастья, еще сильнее подчеркивали красоту земли и моря. Над окном пела какая-то птичка, точно прощаясь, выкрикивая нежно-нежно какую-то чудную ласку.

Коке было почти три года, но он так вырос за время болезни, точно ему было вдвое. Он так сознательно, так грустно смотрел своими черными глазками, положив головку на мое плечо. Он тихо, как птичка, если можно это назвать пением, запел:

Папа хороший,
Мама хорошая,
Я хороший
И птичка хо...

Он не кончил своей песенки: он так и уснул у меня на плече своим вечным сном, тихий, задумчивый, среди огней догорающего дня, вспыхнувшего моря, аромата вечернего сада... Птичка смолкла и, вспорхнув, утонула в небе...

Мы стояли неподвижные, осиротелые, я с дорогой ношей на плечах, с ужасным сознанием непоправимости.

Кому нужно теперь мое убеждение, что ему же на пользу я действовал? И где эта польза?!

Этот крошка приходил сюда, на землю, чтобы спеть свою маленькую, очень коротенькую песенку любви. Ты мог этому певцу дать все счастье,— оно от тебя зависело. Ты дал ему?

Ты отнял у него это счастье. За отнятое счастье мстят... Чем он отомстил тебе? Он пел, он умер с песней любви к тебе — он, маленький страдалец, который спит теперь вечным сном на твоем плече!

А помнишь, как он судорожно, весь напряженный, торопливо собирался тогда с няней и братиком уйти от тебя, как говорил он возбужденно: «Уйдем и возьмем братика у папы...» Он никуда не ушел, он здесь, у тебя на плече...

О, какими пророческими словами были его слова относительно брата его, Гари! Когда Гаря плакал так же, бывало, как тот, которого уже не было больше с нами, я не Гарю слышал,— я слышал того, по ком болело так сердце. Слышать его опять в своем доме, слышать и казниться, слышать и искупать свою вину — не было большего для меня удовлетворения.

Гаря мог плакать,— и он плакал, видел бог как, и видел бог, как не раздражались больше мои нервы. О, я научился владеть ими. Они не смели раздражаться больше. И когда я подходил к нему, у меня не было больше мысли об авторитете: я только страдал и любил, как любил Коку его двоюродный брат, терпеливый Володя. Он, Гаря, мог смотреть на меня с бешенством, с раздражением. Но он не смотрел так: он смотрел так, как Кока когда-то смотрел на Володю, растирал слезы, чтобы видеть меня, и выл и выл мне тоскливую песню своего больного тела, своих больных нервов.

Нет, ни с кем маленькому Гаре не плакалось так легко, как со мной, сидя в кресле, у меня на коленях и смотря мне в глаза.

Теперь моему мальчугану уже пять лет.

Он уже выплакал все свои слезы и стал таким веселым, как и все дети.

Здоровье его с каждым днем улучшается; голова у него большая, да он и сам бутуз, сбитый и твердый.

И его звонкий, басом, смех разносится по комнатам, и хотя слышится в нем еще какая-то больная нотка, но Гаря знает, что никто не коснется грубой, неумелой рукой его больных нервов.

У него бонна-немка. В течение года он переменил трех и не сделал никаких успехов в языке. Третью, сов-

сем молоденькую, любящую, тихую, он полюбил и в два месяца заговорил с ней по-немецки. Теперь он думает на этом языке.

Я это вывожу из того, что он с собаками, например, говорит по-немецки.

И надо видеть, какие они друзья со своей бонной!

У них свои разговоры, свои секреты и самая чуткая, нежная любовь друг к другу: они товарищи.

Но больше всех он все-таки любит меня.

Когда мои занятия требуют отлучек из дому, то тяжелее всех разлука со мной для него. Зато и радость его, когда я приезжаю...

В последний раз я приехал домой утром.

Жена еще спала, и я прошел к нему в детскую.

Он был там со своей бонной. Что-то случилось: на полу лежал разбитый стакан, стояли над ним он и бонна. Бонна добродушно, по-товарищески, голосом равного отчитывала его.

Гаря стоял со смущенной полуулыбкой и недоверчиво слушал бонну.

Дверь отворилась, и вошел я.

Он посмотрел на меня,— не удивился, точно ждал, и с той же улыбкой, с какой он слушал бонну, пошел ко мне.

Я схватил его, начал целовать, сел на стул, посадил его на колени и все целовал.

Он казался совершенно равнодушным к моим поцелуям.

Он рассеянно гладил мои щеки и говорил, и язык его, как и у Коки, тяжело поворачивался во рту, точно там было много чего-то очень вкусного. Он говорил мне о том, что только всплывало ему в голову.

Но вдруг, нежно сжимая ручонками мои щеки, встрепенувшись весь сразу, он спросил:

— Ты приехал?

Каким-то кружным там путем — сознанье, что я приехал, стало у него теперь в соответствие с радостью его сердца, и он повторял, все нежнее сжимая ручонками мои щеки:

— Ты приехал?!

Он забыл все: он помнил теперь только, что я приехал; он видел меня и сознавал, понимал, чувствовал, что я приехал.

— Ты приехал? — повторял он голосом музыки, голосом детского счастья.

А глазки его сверкали огнем, каким не сверкают никакие драгоценные камни земли, потому что это был чудный огонь счастливой детской души,— он проникал в мое сердце, будил его, заставлял биться счастьем, радостью искупления, заставлял забывать нежный упрек печальных черных глазок того, который спел уже свою песенку любви, который сдержал свое слово, когда говорил:

— Я возьму моего братика у папы...

Он действительно отнял у меня несвободного, чувствующего отцовское иго сына. Но он дал мне другого: вольного, как сердце, свободного, как мысль, дарящего меня счастьем самой высшей на свете любви, свободной любви.

ЗЛЫЕ ЛЮДИ

Его все знали — скупого, злого, высокого богача старика. Когда он шел с базара, высокий, сгорбленный, неся для обеда в своей жилистой, худой руке гусака, за которого он заплатил, долго торгуясь, пять копеек, прохожие сторонились и тихо говорили друг другу:

— Вот он идет, Иуда Искариот.

И старик точно выше становился, и еще неподвижнее делались его маленькие страшные глаза, его длинный большой нос, все его деревянное, как у мертвеца, задумчивое лицо.

Тогда вдруг казалось, что он и в самом деле, может быть, мертвец, казалось, что тронь, ударь его — и он не почувствует этого, потому что он ничего не может чувствовать. Или глаза его были похожи на глаза тигра, который смотрит из клетки, смотрит так грустно, что жаль его делается и хочется приласкать его, погладить, и хорошо знаешь, что оторвет он руку в то же мгновение, как просунешь ее к нему.

Так смотрели люди на старого Иуду, рады были, когда он уходил от них подальше, и рассказывали про него разные страшные вещи.

Много говорили о нем.

Говорили, что как от укуса ядовитой змеи нет спасения, так погибал тот, кто попадал в сети этого страшного ростовщика.

Сотни тысяч десятин земли за бесценок уже принадлежали ему благодаря штрафам, неустойкам, всем тем

суммам, которые приписывал он к закладным, которыми закреплял он свой долг.

Какой-нибудь неопытный веселый молодой человек, получив в наследство земли, приезжал и не знал, что с ними делать. Эти земли скоро попадали к Иуде. Он тогда поднимался на разные хитрости, делался оживленным, молодым, пока не добивался-таки своего. А когда новое имение доставалось наконец ему, он делался опять таким же деревянным, скучным, каким его все знали до нового дела.

В имении он вырубал лес, сад, постройки продавал на снос, распахивал все залежи, выпуски, и чем богаче было имение, тем скорее он превращал его в такой пустырь, что никто и не сказал бы, что здесь было когда-то жилье.

Иногда те, которых он хотел надуть, били его. С одним генералом он проделал такую штуку. Приехал генерал продавать свои земли. Приходит к нему Иуда и предлагает ему, ну, положим, сто тысяч за его земли. Генерал просит сто пятьдесят. Иуда уходит, и через некоторое время приходит подосланный Иудой другой и дает генералу уже восемьдесят тысяч. Приходит еще один и дает только семьдесят пять тысяч.

Иуда терпеливо ждет, когда генерал пошлет за ним как за самым выгодным покупщиком. Тогда он пришел бы и предложил генералу уже не сто, а девяносто тысяч. Так всегда бывало прежде, но на этот раз вышло иначе, потому что генералу кто-то выдал все фокусы Иуды.

Тогда генерал нашел такого человека, который шепнул Иуде, что имение у генерала торгует Сом.

Сом был такой же, может быть, темный богач, такой же, в сущности, разбойник с большой дороги, как и Иуда.

Их только и было таких двое в городе, и потому они оба так и ненавидели друг друга, так боялись и так завидовали один другому.

Сом был толстый, старый, с темным лампадным лицом, с бородкой в пятьдесят волосиков, редких, длинных, и эти волосики он иногда потрагивал своей пухлой водянистой рукой. В то время как Иуда забыл совсем бога, Сом был набожный, ходил в церковь, громко вздыхал, то крестился, то держал руки на своем большом животе, как на подушке.

Сом любил деньги, Иуда — землю.

Удивился Иуда, что Сом вздумал покупать у генерала землю, да и испугался: а как вдруг да купит? Не выдержал: побежал к генералу. А тому только того и надо было.

— Так это ты, негодяй, со мной шутки задумал? Так вот же тебе, так вот же...

Иуда получил несколько тяжелых ударов по лицу и без памяти пустился от генерала с лестницы.

Выскочив на улицу, он стоял там такой же мертвый и задумчивый, как и всегда, осторожно пробуя платком, не выступила ли где-нибудь от ударов на лице кровь. Крови не было, и, спрятав осторожно платок в карман, Иуда, постояв еще, все такой же задумчивый опять вошел в гостиницу, где стоял генерал, поднялся по лестнице и, подойдя к генеральскому номеру, остановился у дверей.

Он там стоял до тех пор, пока случайно генерал не выглянул. Генерал опять чуть не избил его, но Иуда с криком: «Ваше превосходительство, наговор!», быстро стал убегать по лестнице. А когда генерал ушел к себе, Иуда опять осторожно, потихоньку подошел к генеральским дверям.

Эта комедия продолжалась долго, но к вечеру за 95 тысяч Иуда приобрел-таки генеральские земли.

Богатство — все было для Иуды. Это было их родовой чертой. Отец его потерял на продаже сала несколько тысяч рублей и не пережил своего горя. Он зарезался в бане над лоханкой.

— Чтоб и кровь не пропала даром,— как говорили добрые люди.

Иуда был хуже отца: он не хотел зарезаться и потому не торговал салом, ничем не торговал, кроме денег,— он покупал за десять копеек то, что стоило рубль, и знал хорошо, что от этого ему никогда не придется резать себя над лоханкой.

Но Иуда умел и без копейки брать чужой рубль. Вот, например, так.

Люди посевом занимаются: купят семена, возьмут у Иуды в долг землю, наймут пахарей, отдадут за жнитво, за молотьбу... да и ссыпят к Иуде в амбар свой хлеб, потому что цена на хлеб такая, что продай его весь — и за землю нечем заплатить. И много такого дарового хлеба в амбарах Иуды.

Чешут шеи мужички.

— Что тут делать? — говорят.— Не сеять мужику нельзя. Сам займешься — своей земли не хватает, кроме него, ни у кого и земли нет, а цену такую назначает за нее, что вся работа на него: хуже как дедам в крепостное время приходится — там половина работы на барина уходила, а тут вся как есть.

Мало ли еще что говорили про Иуду, да дела ему никакого до того не было. Он и не бывал никогда на тех землях, которые покупал да покупал, он и не видел в лицо своих врагов, и те не видели его. Там где-то живет кащей невидимый, который кровь ихнюю пьет.

— Не был и не заглянет,— утешался крестьянин,— а то бы хоть посмотреть на него...

— Из оврага,— угрюмо подсказывал другой.

— Жди,— говорил третий и махал безнадежно рукой. А то вдруг загорится и скажет от сердца:

— Вот как клешней захватит, захватит — и пропадом пропадай.

— Ах, собака, собака,— вздохнет на такую речь какой-нибудь раздумчивый мужичок.— И на что ему только богатство все: чтоб пуще корили и проклинали? Так пес с ним и с богатством таким. Вот хоть и вши одни у меня, не променяю их на все его деньги.

А кто-нибудь в ответ и бросит как будто невзначай:

— Ты не уступишь — он не прибавит: при своем каждый и останетесь.

Поговорят еще и разойдутся, а весна придет — опять все друг за дружкой потянутся в контору Иудину, подбадривая друг друга:

— Не все же у нас голод или дешевка — может, и пожалеет господь и у людей пусто будет, а у нас и уродится, и цена будет, тогда и на Иуду хватит, и ребятишкам на молочишко придется.

Случилось так, что год такой пришел однажды, но тогда Иуда весь недобор прежних лет, что оставался сверх ссыпанного хлеба за крестьянами, содрал до копейки.

И сердиться не на кого было: ищи там невидимку-Иуду, а приказчик его — человек подневольный: что велят, то и делает.

— Изверг, анафема! Вот в какую каторгу закрутил народ!

БРОДЯЖКИ

Как вскроется весна, так и потянутся бродяжки по всей Сибири.

Ходят парами, одиночками.

Ходят по следам, по тайгам, по большим дорогам.

Стоит темная фигура с мешочком за спиной и смотрит.

Кто он? За что был сослан и бежал потом из своей каторги? Кого убил, зарезал, ограбил?

Кто он теперь?

Несчастный, которого нельзя не пожалеть. Его изнуренный вид, сгорбленная фигура, истлевающая, темная от грязи рубаха, рваные штаны, цвет кожи — цвет опавшего грязно-желтого листа. И только глаза напряженные с каким-то особым выражением смотрят на вас, а вы все помните этот взгляд и думаете о нем.

Каким-то резким контрастом вырисовывался он на ярком фоне общей привольной жизни Сибири. И сколько их, и стоят они в памяти загадочными письменами, иероглифами, они — парии человечества, самые бесправные из всех бывших когда бы то ни было рабов, они — безответные работники своих хозяев — сибирских крестьян. И хорошо, если за тяжелую работу их только кругом обсчитает этот крестьянин — так поступал самый добросовестный из них. А то и выдаст его к концу работы, шепнув тайком кому надо, чтоб избавиться от человека, которому хоть что-нибудь да нужно заплатить.

А в тайге ест бродяжку зверь, гнус сосет его кровь, лютый мороз подберет зимой запоздавшего пристроиться. Вымокнет на дожде, высохнет на ветру, проспится на гнилой, всегда сырой почве своей непроходимой тайги. Хуже всякой каторги влачит необеспеченную жизнь. Он — раб земли, возлюбивший больше жизни свою свободу.

Многие из них на зиму возвращаются в тюрьму назад, стараясь попасть в тюрьмы России. Тогда их судят там как бродяг, не помнящих родства, и ссылают в Сибирь. Таким образом, каторгу они меняют на поселение. Если же их успеют изловить в Сибири еще, то расправа там несколько иная: их секут и в громадном большинстве установляют личность, а с этим — и обратное путешествие в каторгу.

Есть и зимние бродяги, т. е. такие, которые круглый год бродяжничают. Никуда в Россию они не стремятся,

положения своего менять ни на какое поселенческое не желают, и живут истинные любители природы жизнью зверей,— летом то работая, то скитаясь по тайгам, зимой тоже скитаясь и отдыхая в банях сердобольных крестьян. Таких крестьян знают наперечет бродяжки: там пустят их в баню, дадут кусок хлеба, и, вздыхая, такой крестьянин говорит:

— В избу не пустишь: бродяжка, он бродяжка ведь и есть... Как зверь, только и норовит что стащить. Говорит, а у самого глаза так и бегают. Ну а действительно что несчастная душа: пустишь в баню, кусочек подашь.

Особенно если эта несчастная душа, всегда стойкая в своем слове на зимнее гостеприимство, явится к доброй крестьянской душе на его летние работы. А работ много: в вольной неделенной Сибири и земли, и лесу много, и владеет ей, захватив сколько может, сибирский крестьянин.

Мало ли только работ в Сибири, и бродяжка несет в ней такую же службу сибиряку-крестьянину, какую киргиз несет патрону своему — казаку иртышскому. Там тоже организация, не уступающая любому рабовладению, и наша вольная Сибирь — Америка с этой своей оборотной стороны — скорее напоминает крепостную Россию, Рим с его свободным классом и рабами.

Иван был бродяга закоренелый и старинный.

Саженного роста, с соответственными плечами, силой своей он мог померяться с любым медведем, а потому не только не боялся их, но и извлекал из них нередко выгоду, убивая и продавая их шкуры, а мясо съедал, поджаривая на вертеле.

Но Иван любил выпить и тогда пропивал все, в том числе и ружье, из которого убивал медведей, и, оставаясь с одной палкой, многие месяцы голодал и жил подаянием. В общем, Иван был настоящий русский человек, беспечный, разгульный, плохо удовлетворенный какой бы то ни было жизнью, ленивый настолько, что предпочитал, чтобы сама судьба распоряжалась им и ставила его в то положение, в какое ей только благорассудилось.

Дело же Ивана заключалось в том, чтоб каждый день из нового невозможного положения, хотя бы на этот день, с талантливостью истинно русского человека найти выход.

Иван в достаточной степени был неуживчив, непо-

кладист, и ладить могли с ним только те, кто сдавался совершенно на его милость. Тогда он был добр и великодушен.

Как-то в лесу Иван набрел на бродяжку, очевидно, неопытного в новом деле. Это был совсем юноша еще. Небольшого роста, с глазами, в которых светилась чисто еще детская просьба пожалеть, приласкать.

Из расспросов оказалось, что бродяжка называется Петром, бежал из рудников Восточной Сибири, совсем отощал без пищи и второй день уже не может выбиться на дорогу, заблудившись в тайге.

— Эх, паря, не за свое ты дело, вижу я, взялся,— сказал ему Иван.

Но так как сердце Ивана было жалостливое, и товарищ, очевидно, был вперед покорен его воле, то дело и сладилось между ними в том смысле, что Иван принял Петра в товарищи к себе. Правда, Иван никогда не мог отделаться от некоторого презрения к бессилью своего приятеля, но это презрение было в то же время исполнено и иных чувств.

Они шатались по тайге, охотились на медведей, продавая их шкуры и съедая мясо, причем хозяйственной частью занимался больше Петр. На работы к крестьянам они не ходили и в случае крайности предпочитали работе грабеж, разбой.

— Пес с ними,— говорил Иван про крестьян,— и с работой дырявой на ихнюю прорву: и работать не стану, и милостыню просить не буду. Силой же отыму, что надо.

Иван даже зиму умудрялся жить в тайге. Новый товарищ его тоже изъявил согласие на такую жизнь.

Пока о зиме рано еще было думать. Весна только начиналась, а с ней начиналась и жизнь в тайге. Там, высоко наверху, как море в бурю, бушевала тайга, а внизу все было тихо, и солнечные лучи неподвижно играли на сырой земле, на гнилых пнях, на зеленой мураве. В неподвижном воздухе чувствовался настой тепла, ароматов. Сверху мягко и нежно доносился шум, а кругом было тихо, так тихо, что если сучок треснет или шишка треснет, то звонким эхом далеко-далеко разносится. Там стройная ель ушла в небо, здесь сосна в погоню за ней изогнула свои желтые пышные сучья, словно человек заломил руки и замер в неподвижной позе. А на лужайке несколько зеленых кедров, могучих и красивых, поднялись выше всего леса, а вокруг них,

как дети, молодые кедры, так же пышно и красиво растут, догоняя отцов.

Тут же и Иван с Петром устроили свое хозяйство: печку изладили, шатер. Вот пышный кедр, будут и лакомство, и работа, и доход.

Иван жалел Петра. И если при переноске мяса убитого медведя работа падала почти целиком на Ивана, то на стану работал Петр. Он умел и мясо зажарить, и похлебку сварить, и даже в излаженной Иваном печурке умудрялся печь пироги. И все это делалось тихо, покорно, легко и никогда не считался лишний труд: Иван спит, а Петр подбрасывает сучьев в костер. Чем сердитее Иван, тем мягче и покорнее Петр.

Так жили они, когда однажды, в самом начале весны, при охоте на медведя, Петра медведь помял до того, что Петр сперва обеспамятел, а затем разболелся до того, что на несколько дней потерял сознание. Тогда Ивану открылось все: Петр оказался женщиной.

Иван совершенно растерялся. Сперва он надеялся, что товарищ поправился, и Иван ломал голову, как ему быть [...].

ДВА МГНОВЕНИЯ

Зашел разговор о том: страшно или нет умирать?

Человек средних лет с энергичным нервным лицом, умными глазами заговорил:

— Как когда. Вот как в промежутке всего нескольких дней, в тех же почти внешних условиях, я видел два раза подряд смерть в глаза. Я с своей партией жил тогда в Батуме. Собственно, не в Батуме, а в окрестностях его,— делал разведки. Неделю всю мы проводили на работах, а в воскресенье ездили в Батум на отдых. Я первый год был тогда женат только, и вы понимаете, какое для меня было удовольствие в этих поездках. Мы проводили в городе все воскресенье, ночевали и на другой день возвращались на работы. Был март. Весна уже начиналась. Травка зеленела, листья деревьев, как нежная паутина, едва сквозили на фоне безоблачного неба... Солнце, изумрудное море... Там вдали кремовые горы с вечным снегом... Чудное утро, лошади поданы, чтобы ехать в город, потому что было это как раз в воскресенье. Если вы бывали в Батуме, то, может быть, помните, что берег его описывает большой полукруг:

там в глубине Батум, почти напротив скалистые, дикие берега Цихидзирских гор. И, таким образом, кратчайшая дорога от этих Цихидзирь, где мы и работали, было море,— верст семь всего, а берегом верст пятнадцать. Подъехал грек на лодке и предложил под парусом доехать в четверть часа. Мы согласились, отправили лошадей и поехали. Море, воздух, солнце— праздник в природе, праздник отдыха в нас,— мы были в редком настроении, когда вся жизнь кажется такой же чудной и прекрасной, как этот волшебный уголок земли. И вдруг шквал. Что такое шквал? Черное море — очень капризное море. Весной и осенью явление там обычное этот шквал. Неожиданная буря, вихрь, какая-то серая стена с стремительной быстротой несется, и впереди этой стены тишь и гладь, а за ней море уже мгновенно закипает, бурлит, свист бури, и в серой кипящей мгле так часто гибнут такие лодки, как наша.

Бледный лодочник успел только крикнуть:

— Ложись!

Сперва рассмеялись все, но на лице лодочника прочли что-то такое страшное, что мгновенно все, кроме меня, легли на дно лодки. Почему я не лег — я не знаю. Какая-то глупая гордость! Шквал налетел. Что-то страшное заварилось мгновенно кругом: откуда взялись волны, куда исчезло солнце,— что это клокочет, кипит и бросает нашу лодку. Нет, нет, спасенья быть не может в этом аде. Какой-то ужас, дикий ужас сковывает, и сознанье в то же время работает с непередаваемой ясностью. Шаг за шагом, с неумолимой последовательностью приближается это неотвратимое мгновение. Вот из-под лодки точно выросла страшная седая зеленопрозрачная волна, заглянула в лодку и тяжело обвалилась. Головы смоченных, лежащих там внизу, быстро поднимаются, мгновение тому назад они еще смеялись, на их лицах отвратительный ужас смерти. Еще волна, и глаза судорожно ищут, где в той или вот этой, что вдруг раскрывается и куда летит бешено лодка, бездне конец всему. Неизбежный конец, и мысль о жене, уже случайная, равнодушно оставляет уже мертвую душу: думай, не думай, все равно конец всему, и от всего живого мира мы уже отрезанные ломти, и некому даже передать будет этих последних мгновений. Словом, я струсил так постыдно, как никогда не мог и предположить. А этот ужас сознания страха и бессилие совладать с ним? О, как это ужасно, когда человек познает

вдруг предел своих сил, своего «я», когда он уже может сам на себя посмотреть вдруг с сожалением, сознанием слабости, сверху вниз... Нас выбросило на берег... Какая-то животная радость охватила нас: мы, мокрые до последней нитки, с следами, может быть, еще этого ужаса на лицах, танцевали, как дикари, на берегу: поднимали наши ноги, энергично, быстро поднимали и скалили зубы друг другу.

Шквал пронесся, опять мирное солнце, песчаный берег, дорога, идут два турка, несут молодых козлят. Молодые козлята, травка весны, радость жизни, прилив этой жизни... Я, помню, купил этих двух козлят и пешком восемь верст, все время счастливый, нес их — этот залог весны, возвращенной жизни.

Даже унижение было источником радости: что же, я такой же, как все, а думал, что выше их. Милые мои, все вы друзья, и я меньше вас, но я жив, я счастлив.

Да, это был хороший день с ужасным мгновением, и такого дня я не переживал, может быть, но мгновение было лучшее, и я его пережил всего через несколько дней.

Опять те же Цихидзири, то же небо, море, солнце... Мы завтракаем. А там по морю плывет плот, и четыре турка на нем. Десятник Вдовиченко, хохол, молодой, говорит:

— Ишь, подлецы, а если шквал?

Рабочий, по фамилии Копейка, саженного роста, тоже хохол, лениво жует свой хлеб и рассказывает не спеша, как под Ак-Паланкой их кавалерия прыгала с такой же кручи, как эта, прямо в реку. Я смотрю с наших высот туда, где беспокойно ласкается к берегу море, голова невольно кружится, и я тяжело переживаю и это ощущение необходимости лететь туда вниз и сознание, что мои нервы не выносят никаких круч. Я побоpяю, конечно, себя, но что это мне стоит всегда?

И вдруг шквал, и уже раздирающий душу крик четырех турок на плоту. Какая-то лодка там внизу спешит пристать к берегу: пристала и выгружает мешки с мукой. А плот уже разбит, и четыре турка, каждый обхватив два бревна, ныряют там среди разорванного плота, целого леса поднимающихся и опускающихся бревен. И на нас, сидящих на берегу, налетел уже шквал, как ножом, резким ветром срезал наши шляпы, завтрак, свист бури, грохот моря и, заглушая все, нечеловеческий

крик о помощи оттуда из кипящего котла. Я уже ничего не сознаю. Чей-то голос:

— Нельзя, вы — отец семейства!

Но этот рев бури, вопли тех?!

— Не сюда, не сюда — убьетесь!!

Разве я могу убиться? Ноги мои, нервы мои — сталь, и я стремглав несусь вниз по кручам, куда заглянуть было страшно за мгновение. Я уже внизу, за мной сыпется щебень, камень, за мной летят другие. Мы уже в лодке и отплываем. Вот Вдовиченко, Копейка. Лодка плывет, поворот, мы каждое мгновение вот-вот опрокинемся... Что ж, опрокинемся... И мне весело, и я беззаботно напеваю какую-то веселую песенку. Я вижу, что мое веселье льет огонь в жилы этих... Я-то, я-то знаю, чего хочу, но эти Вдовиченко и Копейка и на веслах сидящие, безвестные работники, вас какая сила двигает? Э, в ваших глазах я вижу бога, вы избранники его, и честь быть с вами, честь сознавать себя равным вам, безвестным героям... честь, великая честь быть равным там, где человек равен божеству...

Бревна, бревна! Вверх и вниз,— держи лодки,— разобьет?! Ха-ха! Мимо!..

Какой-то турок с перепугу топор свой сует, когда каждое мгновенье дорого. Вдовиченко с азартом бросает топор в воду — уже за волосы тащит ошеломленного в лодку. Они уже все тут, и мы мчимся назад...

Рассказчик смолк, вздохнул всей грудью:

— О, если бы в такое мгновение умереть!

КЛОТИЛЬДА

I

Я только что кончил тогда и молоденьким саперным офицером уехал в армию.

Это было в последнюю турецкую кампанию.

На мою долю выпал Бургас, где в то время шли энергичные работы по устройству порта, так как эвакуация большей части армии обратно в Россию должна была и была произведена из Бургаса.

Ежедневно являлись новые и новые части войск, некоторое время стояли в ожидании очереди, затем грузились на пароход добровольного флота и уезжали в Россию.

Эти же пароходы привозили новых на смену старым для предстоящей оккупации Болгарии.

И таким образом Бургас являлся очень оживленным местом с вечным приливом и отливом.

Как в центральный пункт, в Бургас съехались все, кто искал легкой наживы.

Магазины, рестораны процветали.

Процветал кафешантан, устроенный в каком-то наскоро сколоченном, громадном деревянном сарае.

Первое посещение этого кабака произвело на меня самое удручающее впечатление.

За множеством маленьких столиков в тусклом освещении керосина в воздухе, до тумана пропитанном напитками, испарениями всех этих грязных тел,—всех этих пришедших с Родопских гор, из-под Шипки, из таких мест, где и баню и негде и некогда было устраивать, сидели люди грязные, но счастливые тем, что, живые и здоровые, они опять возвращаются домой — возвращаются одни с наградами, другие с деньгами, может быть, не всегда правильно нажитыми.

Последняя копейка ставилась так же ребром, как и первая... Как в начале кампании копейка эта шла без счета, потому что много их было впереди и не виделось конца этому, так теперь спускалось последнее, потому что всегда неожиданный в таких случаях конец создавал тяжелое положение, которому не могли помочь оставшиеся крохи. Для многих в перспективе был запас, а следовательно, и прекращение жалованья и необходимость искания чего-нибудь, чтобы существовать.

Такие пили мрачно, изверившись, зная всему настоящую его цену, но пили.

Пили до потери сознания, ухаживали за певицами до потери всякого стыда.

Было цинично, грубо и отвратительно.

Какой-нибудь армейский офицер, уже пьяный, гремит саблей и кричит: «Человек, garcon [1]»,— с таким видом и таким голосом, что глупо и стыдно за него становится, а он только самодовольно оглядывается: вот я, дескать, какой молодец. А если слуга не спешит на его зов, то он громче стучит, так что заглушает пение, а иногда дело доходит и до побоев провинившейся прислуги.

Меня в этот кабак затащило мое начальство — еще молодой, лет тридцати, военный инженер И. Н. Бортов.

[1] официант (*фр.*).

Побывав, я решил не ходить туда больше.

Да и обстоятельства складывались благоприятно для этого.

В ведение Бортова входили как бургасские работы, так и работы в бухте, которая называлась Чингелес-Искелессе.

Эта бухта была на другой стороне обширного Бургасского залива, по прямому направлению водой верстах в семи от города. Вот в эту бухту я и был назначен на пристанские и шоссейные работы.

Для меня, начинающего, получить такое большое дело было очень почетно, но в то же время я боялся, что не справлюсь с ним.

На другой день, после вечера в кафешантане, я явился к Бортову за приказаниями и, между прочим, чистосердечно заявил ему, что боюсь, что не справлюсь. Бортов и сегодня сохранял тот же вид человека, которому море по колени.

Такой он и есть несомненно, иначе не имел бы и золотой сабли, и Владимира с мечом и бантом, и такой массы орденов, которые прямо не помещались у него на груди.

Не карьерист при этом, конечно, потому что с начальством на ножах — вернее, ни во что его не ставит и, не стесняясь, ругает. Про одного здешнего важного генерала говорит:

— Дурак и вор.

Это даже халатность, которая меня, начинавшего свою службу офицера, немного озадачивала в смысле дисциплины.

На мои опасения, что не справлюсь, Бортов бросил мне:

— Но... Не боги горшки лепят. Иногда посоветуемся вместе. Пойдет.

— Но отчего же,— спросил я,— и вам, тоже еще молодому, и мне, совершенно неопытному, поручают такие большие дела, а все эти полковники сидят без дела?

— Да что ж тут скрывать,— флегматично, подумав, отвечал Бортов,— дело в том, что во главе инженерного ведомства хотя и стоит З., но он болен и где-то за границей лечится, а всем управляет Э. Он просто не доверяет всем этим полковникам. Дает им шоссе в пятьсот верст и на все шоссе выдаст двести золотых. А вот на такое дело, как наше, в миллион франков, ставит вот

нас с вами. Считает, что молоды, не успели испортиться.

— И это, конечно, так,— поспешно ответил я.

— Ну, какой молодой,— другой молодой, да ранний. Отчетности у нас никакой: не всегда и расписку можно получить. Да и что такое расписка? Братушка все подпишет и читать не станет. Вот, вчера я пятьдесят тысяч франков заплатил за лес,— вот расписка.

Бортов вынул из стола кусок грязной бумаги, где под текстом стояли болгарские каракули.

— Он не знает, что я написал, я не знаю, что он: может быть, он написал: собаки вы все.

Бортов рассмеялся каким-то преждевременно старческим хихиканьем. Что-то очень неприятное было и в этом смехе и в самом Бортове,— что-то изжитое, холодное, изверившееся, как у самого Мефистофеля.

Из молодого он сразу превратился в старика: множество мелких морщин, глаза потухшие, замершие на чем-то, что они только и видели там, где-то вдали. Он напомнил мне вдруг дядю одного моего товарища, старого развратника.

Бортов собрался и опять деловито заговорил:

— Ну, вот вам десять тысяч на первый раз и поезжайте.

— А где я буду хранить такую сумму?

— В палатке, в сундуке.

— А украдут?

— Составите расписку,— болгарин подпишет.

Бортов опять рассмеялся, как и в первый раз, заглядывая мне в глаза.

— Расписку не составлю, а пулю пущу себе в лоб,— огорченно ответил я.

— Что ж, и это иногда хорошо,— усмехнулся Бортов. И уже просто, ласково прибавил: — А по субботам приезжайте к нам сюда,— в воскресенье ведь нет работ,— и прямо ко мне... вечерком в кафешантан... Я, грешный человек, там каждый день.

— Да ведь там гадость,— тихо сказал я.

— Меньшая,— ответил равнодушно Бортов.— Если вам понравилась моя Берта, пожалуйста, не стесняйтесь... Я ведь с ней только потому, что она выдержала с нами и Хивинский поход.

Берта, громадного роста, атлет, темная немка, которая без церемонии вчера несколько раз, проходя мимо

Бортова, садилась ему с размаху на колени, обнимала его и комично кричала:

— Ох, как люблю...

А он смеялся своим обычным смехом и говорил своим обычным тоном:

— Ну, ты... раздавишь...

А иногда Берта с деловито-шутливым видом наклонялась и спрашивала по-немецки Бортова:

— Вот у того есть деньги?

И Бортов отвечал ей всегда по-русски, смотря по тому, на кого показывала Берта: если интендант или инженер,— «много», или «мало, плюнь, брось».

И громадная Берта делала вид, что хочет действительно плюнуть.

Нет, Берта была не в моем вкусе, и я только весело рассмеялся в ответ на слова Бортова.

Чтоб быть совершенно искренним, я должен сказать, что в то же время рядом с образом Берты предо мной встал образ другой певицы, француженки, по имени Клотильда.

Это была среднего роста, молодая, начинавшая чуть-чуть полнеть женщина, с ослепительно белым телом: обнаженные плечи, руки так и сверкали свежестью, красотой, белизной. Такое же красивое, молодое, правильное, круглое лицо ее с большими, ласковыми и мягкими, очень красивыми глазами. То, что художники называют последним бликом, от чего картина оживает и говорит о том, что хотел сказать художник, у Клотильды было в ее глазах, живых, говорящих, просящих. Я таких глаз никогда не видал, и, когда она подошла к нашему столу совершенно неожиданно и наши взгляды встретились, я, признаюсь откровенно, в первое мгновение был поражен и смотрел, вероятно, очень опешенно. Что еще очень оригинально — это то, что при черных глазах у нее были волосы цвета поспевшей ржи: золотистые, густые, великолепные волосы, небрежно закрученные в какой-то фантастической прическе, со вкусом, присущим только ее нации. Прядь этих волос упала на ее шею, и белизна шеи еще сильнее подчеркивалась.

Теперь, когда я, сидя с Бортовым, вспомнил вдруг эту подробность, что-то точно коснулось моего сердца — теплое, мягкое, от чего слегка сперлось вдруг мое дыхание.

— Клотильда лучше? — тихо, равнодушно бросил Бортов.

— Да, конечно, Клотильда лучше,— ответил я, краснея и смущенно стараясь что-то вспомнить.

Теперь я вспомнил. Вопрос Бортова остановил меня невольно на первом впечатлении, но были и последующие.

Правда, я не заметил, чтобы кто-нибудь обнял Клотильду или она к кому-нибудь села на колени. В этом отношении она умела очень искусно лавировать, сохраняя мягкость и такт. Но в глаза, как мне, она так же любезно смотрела всем, а за стол одного красного как рак, уже пожилого полковника она присела и довольно долго разговаривала с ним.

В другой раз какой-то молодой офицер в порыве восторга крикнул ей, когда она проходила мимо него:

— Клотильдочка, милая моя!..

На что Клотильда ласково переспросила по-русски:

— Что значит «милая»?

— Значит, что я тебя люблю и хочу поцеловать тебя.

— О-о-о! — ласково сказала ему Клотильда, как говорят маленьким детям, когда они предлагают выкинуть какую-нибудь большую глупость, и такая же приветливая, мягкая прошла дальше.

Ушла она из кафешантана под руку с полковником, озабоченно и грациозно подбирая свои юбки.

Случайно ее глаза встретились с Бортовым, и она, кивнув ему, улыбнулась и сверкнула своими яркими, как лучи солнца, глазами. На меня она даже и не взглянула.

Я солгал бы, если б сказал, что я и не хотел, чтобы она смотрела на меня. Напротив, страшно хотел, но, когда она прошла мимо меня, опять занятая своими юбками, с ароматом каких-то пьянящих духов, я вздохнул свободно, и Клотильда-кокотка, развратная женщина, с маской в то же время чистоты и невинности, с видом человека, который как раз именно и делает то дело, которое велели ему его долг и совесть,— Клотильда, притворная актриса, получила от меня всю свою оценку, и я не хотел больше думать о ней.

А мысль, что уже завтра я уеду на ту сторону, в тихую бухту Чингелес-Искелессе, обрадовала в это мгновение меня, как радует путника, потерявшего вдруг в темноте ночи дорогу, огонек жилья.

Поэтому после первого смущения и я ответил Бортову, горячо и энергично высказав все, что думал о Клотильде.

II

А под вечер того же дня с своим денщиком Никитой я уже устраивался в своем новом месте на самом берегу бухты Чингелес-Искелессе. Мы с Никитой, кажется, сразу пришлись по душе друг другу.

Никита — высокий, широкоплечий, хорошо сложенный хохол. У него очень красивые карие глаза, умные, немного лукавые, и, несмотря на то, что он всего на два года старше меня, он выглядит очень серьезным. И если на мой взгляд Никите больше лет, чем в действительности, то Никите — это очевидно — я кажусь, напротив, гораздо моложе.

Он обращается со мной покровительственно, как с мальчиком, и надо видеть, каким тоном он говорит мне: «Ваше благородие».

— Держите в ежовых рукавицах — будет хорош,— сказал мне ротный про Никиту.

Никита еще в городе, как самая умная нянька, сейчас же вошел в свою роль. Потребовал у меня денег, накупил всяких запасов, отдал грязное белье стирать, купил ниток и иголок для того, чтобы починять то, что требовало починки,— одним словом, я сразу почувствовал себя в надежных руках и был рад, что совершенно не придется вникать во все эти мелкие хозяйственные дрязги.

В то время, как я собирал в городе нужные инструменты, получал кассу, Никита то и дело появлялся и добродушно, ласково говорил:

— Ваше благородие, а масла тоже купить? А кострульку, так щоб когда супцу, а то каклетки сжарить? Три галагана тут просят.

— Хорошо, хорошо...

Сегодня же я купил и лошадь, и седло, и всю сбрую. Лошадь маленькая, румынская, очень хорошенькая и только с одним недостатком: не всегда идет туда, куда всадник желает. Впоследствии, впрочем, я справился с этим недостатком, накидывая в такие моменты на голову ей свой башлык: потемки ошеломляли ее, и тогда она беспрекословно повиновалась. Никита пошел и дальше, сшив моей Румынке специальный чепчик из черного коленкора, с очень сложным механизмом, движением которого чепчик или опускался на глаза, или кокетливо возвышался над холкой Румынки.

Мне так по душе пришлась моя Румынка, что я хотел было прямо верхом и ехать к месту своего назначения, но Никита энергично восстал, да и я сам, впрочем, раздумал, за поздним вечером, ехать по неизвестной совершенно дороге — и поехали вместе с Никитой на катере.

Когда, приехав в бухту, я вышел и вещи были вынесены, боцман спросил:

— Прикажете отчаливать?

— Ваше благородие, пусть они хоть помогут нам палатку поставить, чего же мы с вами одни тут сделаем?

— У вас время есть? — обратился я к матросам.

— Так точно,— отвечал боцман и приказал своим матросам помочь Никите.

— Ну, где же будем ставить палатку? — спросил Никита.

— Где? — Это вопрос теперь первой важности, и, отогнав все мысли, я стал осматриваться.

Что за чудное место! Золотистый залив, глубокий там, вдали, слева город виднеется, справа, на мысе, монастырь, здесь, ближе, надвигаются горы, покрытые лесом, в них теряется наша глубокая долина с пологим берегом, с этой теперь золотистой водой, с этим воздухом, тихим, прозрачным, с бирюзовым небом, высоким и привольно и далеко охватившим всю эту прекрасную, как сказка, панораму южного вида.

Кажется, отсюда видна гостиница «Франция», где живет Клотильда, или я обманываюсь? Но бинокль со мной. Конечно, видна...

— Где же, ваше благородие?

Да, где? Но где же, как не здесь, откуда видно...

— Здесь.

Никита стоял в недоумении.

— Да тут, на самом берегу, нас кит-рыба съест, а то щикалки... Туда же лучше...

И Никита показал в ущелье долины.

— Нет, нет, тут.

— Ну, хоть тут вот под бугорком, а то как раз на дороге.

Там в стороне был пригорок, и, пожалуй, там в уголке было еще уютнее и виднее. Между берегом и пригорком образовался род открытой, в несколько сажен в ширину, террасы. С той стороны терраса кончалась горой и лесом. Лучше нельзя было ничего и придумать.

Матросы уехали.

— Ну, вот и готова палатка,— говорил Никита, деловито обходя со всех сторон мою палатку.

— Може, чаю, ваше благородие, хотите? — спросил вдруг Никита.

— Хочу, конечно, и очень хочу.

Никита принялся за самовар, а я на разостланной бурке, на своей террасе, в тени каштанов, лежу и любуюсь тихим вечером.

Что за чудный уголок!

Через месяц-два здесь закипит жизнь, а пока, кроме меня и Никиты, никого, никакого жилья, никаких признаков жилья. Днем будут работать солдаты, рабочие, но на ночь с последним баркасом будут уезжать все в город.

Как будто утомленный работой, день тихо и мирно уходит на покой. Последними лучами золотится морская гладь, а справа, там, где бухта гористым мысом граничит с открытым морем, на самом краю мыса, на небольшом обрыве из-за зелени выглядывает белый монастырь. Вечерний звон несется оттуда, и он, как песня о детстве, о всем, что было таким близким когда-то, говорит мне родным языком, ласкает душу. Налево Бургас и, как огни, горят стекла его окон.

За моей же террасой косогор, затем опять терраса и спуск в долину. Это сзади, а сбоку косогор поднимается все выше и круче, и оттуда, сверху, глядят вниз обрывы скал, тенистые ущелья. В ущельях по скалам лес, а в лесу множество серн, фазанов, диких кабанов, но еще больше шакалов. Они уже начинают свой ночной концерт,— их крик тоскливый, жалобный, как плач больного ребенка. А скоро в темноте их глаза загорятся по всем этим скалам, как звезды, и там внизу, в своей белой палатке, я увижу уже два ряда звезд, даже три, потому что третий и самый лучший опрокинулся и смотрит на меня из глубины неподвижного моря. Он такой яркий и чистый, как будто вымыт фосфоричной водой моря.

От каких цветов этот аромат непередаваемо нежный, который несет с собой прохладу ночи? а что за тени там движутся и проходят по воде? Тени каких-то гигантов, которые там вверху шагают с утеса на утес.

Вот одна тень приостановилась и точно слушает и всматривается в нас. А в обманчивом просвете звездной ночи все гуще мрак, словно движется что-то и шепчет беззвучно. Что шепчет? Слова ласки, любви, прось-

бы?.. Чьи-то руки, нежные, прекрасные, вдруг обнимут и вырвут из сердца тайну. Нет этих рук. Жизнь пройдет так в работе, труде, в скитаниях, в этих палатках. Удовлетворение — сознание исполненного долга.

Сознание, которое только в тебе. Для других ты всегда так же темен, как темна эта ночь.

Сегодня полковник, командир того резервного батальона, который будет у меня работать, когда я пожимал ему руку, извиняясь за испачканные руки, так как считал казенное серебро, с улыбочкой, потирая руки, сказал:

— Да, деньги пачкают...

Фу, какая гадость и как обидно, что нельзя устроить так, чтобы все знали, что ты честный человек.

Интересно, Бортов считает меня честным человеком? В нем много, очень много симпатичного — простота, скромность, но в то же время и что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе.

Особенно неприятен его смех. Какой-то сарказм в этом смехе, ирония и горечь. В эти мгновения он, всегда сильный, мужественный, умный, делается сразу каким-то жалким, и что-то старческое в нем тогда.

Никакой начальственности в нем, никакого хвастовства, самодовольствия. А человек, несмотря на свои двадцать девять лет, весь в орденах, занимает такое место. Хотел бы я видеть его в деле,— вероятно, скобелевское спокойствие. Недаром Скобелев и любит так его.

О себе, о своих делах никогда ни слова. Все, что слышал я о нем, я слышал от других. Но вот странно: все отдают ему должное и все в то же время говорят о нем таким странным тоном, как будто он уже покойник или кончил свою карьеру. Я считаю, что единственное, что опасно для него, это его любовь рассуждать, бранить свое начальство. Это может серьезно повредить его карьере, а иначе перед ним прямо блестящая дорога.

Когда он стоит в ряду других, довольно посмотреть на его благородную осанку, спокойное, одухотворенное, полное благородства лицо, чтобы почувствовать, что этот человек выше толпы, это сила. Может быть, это тем хуже, потому что толпа — всегда толпа и всегда инстинктивно, бессознательно стремится к нивелировке. Какой-то меч проходит, и высокие головы падают. Надо уметь вовремя склонять их.

Откуда во мне эта философия? Пора спать.

— Ваше благородие, а хотите я вам голову обрею? В нашей роте подпоручик Нахимов був и редкие, редкие у него волосики були, как шматочки, а як я обрив его, то таки космы потом стали...

— Но у меня, кажется, не редкие,— возразил я.

— А все ж гуще будут,— ответил Никита с такой беспредельной уверенностью, что поколебал меня.

Хорошая сторона бритья головы была в том, что это окончательно прикует меня к работе, к этому месту. А чего другого я желаю? Не ездить же с бритой головой по кафешантанам...

И решение мое тут же созрело.

— Хорошо: брей.

— Ну, так завтра я вас обрею.

— А сегодня?

Даже Никита смутился.

— Что ж... сегодня...

Мы устроили в палатке стол, поставили зеркало, зажгли свечи. С некоторой грустью смотрел я на свои волосы, которые Никита торопливо и кое-как остригивал ножницами. Затем он намылил мне голову и стал водить бритвой, комично высовывая язык.

Если не считать маленького пореза возле уха, после которого Никита наставительно сказал: «А зачем вы шевелитесь?» — все остальное кончилось прекрасно. И, оставшись один, я с наслаждением осматривал свою теперь, как колено, голую голову.

На другой день Бортов, увидя меня, хохотал, как ребенок.

— Да что это вам в голову пришло?

— Пришло в голову, собственно, Никите.

— А что, разве не хорошо? — спрашивал Никита,— ей-богу же, хорошо.

— А себя ты что не обрил?

— А мне на что?

Сегодня с Бортовым мы едем в лес, чтобы решить вопрос о будущем шоссе.

Лес дубовый, невысокий, много желтых листьев уже на земле, и, сухие, они приятно хрустят под ногами лошадей. Вверху видно голубое небо, а сквозь тонкие стволы видно далеко кругом. То фазан сорвется, то торопливо прошмыгнет что-то маленькое, уродливое, унылое: это шакал. На полянке свежие следы кабанов,— взрытая, как паханая, земля.

Бортов останавливался около следов, внимательно всматривался и с завистью говорил:

— Сегодня ночью были...

В одном месте вдруг шарахнулась было лошадь Бортова, взвилась на дыбы и, повернувшись на задних ногах, собралась было умчаться назад, но Бортов, прекрасный ездок, скоро, несмотря на козлы, которые задала было его лошадь, справился.

Понеси лошадь, плохо пришлось бы Бортову. Но Бортов только твердил, прыгая на лошади:

— Врешь, врешь...

Было отчего и испугаться лошади: на повороте тропки, прислонившись к дереву, сидел человек в свитке. Голова его склонилась, точно он задумался, руки, как плети, висели по сторонам, ноги протянулись. У ног потухший костер. Из-под шапки выглядывало посиневшее, разложившееся уже лицо. Во впадинах глаз сидел рой мух, своим движением делая обманчивое впечатление странно, частями движущихся глаз. Нестерпимый запах трупа говорил о том, что он уже давно здесь. Почему он здесь, какая тайна произошла тут? Что пережил он в свои последние минуты?

Задумался и сидит, точно все еще вспоминает свою далекую родину, близких сердцу... Столько тоски было в его позе, столько одиночества.

— Это погонщик,— вероятно, припадок здешней лихорадки,— сказал Бортов,— трех-четырех припадков довольно, чтобы уложить в гроб любого силача, а этот был и без того, как видно, изнурен.

Я слушал. Казалось, слушал и покойник — напряженно, внимательно. Слушали и деревья, ветви, трава, голубое небо — все слушало в каком-то точно страхе, что вот-вот откроется то таинственное, что происходило здесь, и узнают вдруг люди страшную тайну.

Но Бортов уже проехал дальше, бросив:

— Надо будет сказать окружному, чтобы убрали...— И, помолчав, прибавил: — Это хорошая смерть.

— Что? — переспросил я, занятый мыслями о судьбе погонщика.

— Говорю: это хорошая смерть.

Он так холодно говорил.

— В смерти мало хорошего,— ответил я.

— Смерть — друг людей.

— Предпочитаю живого друга.

— Живой изменит.

И резонанс его голоса зазвучал мне эхом из пустого гроба. Какое-то сравнение Бортова с тем покойником промелькнуло в моей голове.

Если сильный, умный Бортов говорил так, что делать другим? И почему он говорил так?

На той стороне реки Мандры я остановил лошадь, чтобы попрощаться с Бортовым.

— Едем в город,— сказал с просьбой в голосе Бортов.

Я только нерешительно, молча показал на свою голую голову.

— Да ведь вы в шапке, надвиньте больше на уши,— кто заметит?

Я колебался. Солнце уже село. Мертвые фиолетовые тона бороздили море и темным туманом терялись в отлогом и песчаном, необитаемом побережье.

В город тянуло,— хотелось жизни, а там назади еще сидел и словно ждал меня, чтобы рассказать и передать мне свою смертную тоску, покойник.

— Едем,— согласился я.

И после этого решения и я и Бортов вдруг повеселели, оживились. Вспомнили наше инженерное училище, учителей и весело проболтали всю остальную дорогу до города.

В квартире Бортова нас встретил немного смущенный Никита.

— А я сейчас верхом хотел ехать: прибежал на пристань, а катер перед носом: фьють...

— Я, значит, там один бы сегодня сидел?

— Ну, так как же один? — отвечал Никита,— опять же удвох бог привел.

И успокоенным голосом Никита сказал, как говорит возвратившаяся из города нянька:

— А я вам, ваше благородие, турецкую шапочку купив, щоб с голой головой не ухватить якой хвори.

И Никита вынул из одного из свертков голубую феску.

— Глаза у вас голубые и хвеска голубая.

Когда я надел и посмотрел в зеркало, Никита сказал:

— Ей-богу же, хорошо.

Бортов, уже опять обычный, окинул меня взглядом и сказал:

— Так и идите.

Так я и пошел в кафешантан.

Опять пели, пили, кричали и стучали.

Опять Берта дурачилась и Клотильда обжигала своими глазами.

Клотильда подошла к Бортову, пожала его руку и, присев так, что я очутился у нее за спиной, озабоченно спросила:

— Кто этот молодой офицер, который был с вами третьего дня?

— Понравился? — спросил ее Бортов.

— У него замечательно красивые волосы,— серьезно сказала Клотильда.

В ответ на это Бортов бурно расхохотался.

Пока Клотильда смотрела на него, как на человека, который внезапно помешался, Бортов закашлялся и в промежутках кашля, отмахиваясь, говорил:

— Ну вас... убили... вот...

Клотильда повернулась по направлению его пальца и увидела меня, вероятно, глупого и красного как рак, в дурацкой голубой феске на бритой голове.

В первое мгновение на лице ее изобразилось недоумение, затем что-то вроде огорчения, а затем она так же, как и Бортов, бурно расхохоталась, спохватилась было, хотела удержаться, не смогла и кончила тем, что стремительно убежала от нас.

В результате весь кабак смотрел на меня во все глаза, а я, злой и обиженный, ненавидел и Клотильду, и Бортова, и Никиту, виновника всего этого скандала.

Все остальное время я смотрел обиженно, молча клал в тарелочку Клотильды мелочь и озабоченно торопился пить свое вино. Проходя однажды мимо нас, Клотильда наклонилась к Бортову и что-то шепнула ему. Я в это время встретился с ее игравшими, как огни драгоценных камней, глазами. Взгляд этот настойчиво и властно проник в меня, в самую глубь моего сердца, больно кольнул там его, а Бортов, выслушав Клотильду, бросил ей:

— Скажите сами ему.

Клотильда рассмеялась, кокетливо мотнула головкой, и я, переживая неизъяснимое удовольствие, увидел, что бледное лицо ее вспыхнуло, залилось краской и не только лицо, но и уши, маленькие, прозрачные, которые сквозили теперь, как нежный коралл.

В это мгновение она была прекрасна — смущение придало ей новую красоту, красоту души, и, когда

взгляды наши встретились, все это она прочла в моих глазах. По крайней мере я хотел, чтобы она это прочла.

Она ушла от нас и, кажется, никогда еще так грациозно не проходила она. Столько достоинства, благородства было во всей ее фигуре, лице, столько какой-то светящейся ласки, доброты.

— Она сказала, что ошиблась, думая, что самое красивое в вас — волосы: феска еще лучше идет к вам...

— Это показывает,— отвечал я, краснея,— что она вежливая девушка.

— Девушка?..

От этого переспроса я как с неба свалился и убитым взглядом обвел весь кабак. Клотильда уже сидела с кем-то, и тот шептал ей, чуть не касаясь губами тех самых ушей, которые только что так покраснели. И все такой же невинный вид у нее...

Бортов, который,— я это чувствовал,— читал, как в книге, мои мысли, смотря мне в упор в глаза, сказал серьезно:

— Чтобы покончить раз навсегда со всем этим, поезжайте сегодня ужинать с ней.

Я, как ужаленный, ответил:

— Ни за какие блага в мире.

Еще слово — и, вероятно, я расплакался бы.

— Ну, как хотите,— поспешил ответить Бортов и апатично, холодно спросил:

— Может быть, домой пойдем?

— Пойдем,— обрадовался я.

Клотильда увидела, как мы встали, сделала было удивленное лицо, но, встретив мой мертвый взгляд, равнодушно скользнула мимо и улыбнулась кому-то вдали.

Я торопливо пробрался к выходу и жадно вдохнул в себя свежий воздух ночи.

Прекрасная и бесконечно пустая ночь. Луна, яркая, как брошенный слиток расплавленного серебра, плавит синеву неба и тонет глубже в ней, а фосфор моря красит зеленым отливом лунный блеск, и в фантастических переливах этих тонов чем-то волшебным, волшебным и живым кажется все: берег с ушедшими вверх деревьями, пристань, ее темно-прозрачная тень, серебряная зелень просвета между морем и верхом пристани; там дальше даль моря с полосой серебра — след луны,— и, как видение в ней, в этой полосе, точно про-

зрачные, точно ажурные корабли с высокими бортами и мачтами, уходящими в небо.

И тихо кругом, и только прибой, этот вечный разговор моря с землей, будит тишину, и гулко несется его шум в спящие улицы с неподвижными домиками в два этажа, с их галереями и балконами, решетчатыми окнами, черепичными высокими крышами, каменными дворами или, верней, комнатой без потолка там, внутри этих домов.

Говорят, болгарки красивы, но я ни одной не видел. Что мне до их красоты? Красива Клотильда, красива, как эта ночь, и так же, как ночь, обманчива, так же, как ночь, черна ее жизнь, ее дела... И такая же сосущая пустота, тоска от нее, как от этой ночи. Волшебно, красиво, но нет живой души, и мертво все,— нет у Клотильды души чистой, чарующей и нет Клотильды — той божественной, которая во мне, в моей душе, как видение, как та прозрачная дымка тумана там в небе,— то Клотильда склонилась и смотрит печально на красоту моря и земли. То моя Клотильда смотрит,— не та, которая там, в кабаке, теперь ходит и продает себя тому, кто даст дороже.

А!.. Но как ужасно сознавать свое бессилие, сознавать, что ничего, ничего нельзя здесь сделать, и чувство это, которое во мне,— оно уже есть, зачем обманывать себя,— это, что-то живое уже теперь, рождено только для того, чтобы умереть там, в тюрьме моего сердца, умереть и не увидеть света, и я сам, как палач, должен задушить это нежное, прекрасное, живое — и это неизбежно надо, надо, надо... И после этого я стану лучше, чем был; стану мягким, добрым... Странное противоречие. Но о чем тут думать? Разве я могу к моей матери, сестрам, их подругам нарядным, веселым привезти Клотильду и сказать: «Вот вам моя жена». Конечно, нет. Но я привезу. Не ту, которая там, в кабаке; она там и останется и никогда не узнает, что зажгла она во мне,— я привезу Клотильду, какой она могла бы быть, в образе того прозрачного тумана в том небе. И будет она вечным спутником моим в жизни, как Беатриче у Данте. Она будет звать меня, и я буду слышать ее голос и буду вечно с ней — высшим счастьем и высшим страданием моей жизни.

Может быть, когда-нибудь я буду сам смеяться над этим всем, но теперь я хочу плакать.

Мы подошли к квартире, и в ожидании, пока отопрут, Бортов сказал апатичным голосом:

— Я послезавтра устрою охоту. Я закачусь на несколько дней. Вам придется на это время сюда переехать.

— Перееду,— ответил я.

— Вы любите охоту?

— Никогда не охотился.

— Хорошо... Несколько ночей на свежем воздухе, спать прямо на земле.

— Можно простудиться.

— Война кончилась.

— Разве для войны живут?

— Мы-то? — переспросил Бортов.— Кто-то где-то сказал про нас: во время войны они страшны врагам, а во время мира — для всех несносны.

III

Бортов уехал на охоту, а я живу в Бургасе, в его квартире, распоряжаюсь работами, днем езжу в свою бухту, и, завидя меня, Никита радостно бежит и каждый раз спрашивает: «Совсем ли?»

И каждый раз я отвечаю:

— Нет еще.

Я задумчив, сосредоточен, работаю много, охотно, но работа не все. Есть еще что-то, что остается неудовлетворенным, ноет там где-то внутри и сосет.

Вечера я провожу в квартире Бортова и читаю его книги. Он предложил мне их перед своим отъездом таким же безразличным, скучающим голосом, каким предложил мне почетное для меня место своего помощника. Я уловил эту манеру его: чем серьезнее услуга, которую он оказывает, тем пренебрежительнее он относится к ней.

В данном случае услуга громадная: предо мною серьезная литература. К стыду моему, я мало или, вернее, совсем не знаком с ней.

Я откровенно признался в этом Бортову и благодарил его от всей души. Он многое говорил тогда мне. Я только слушал его, кивая головой, но смысл понял только много, много позже.

Что до него, то очевидно, что он был прекрасно осведомлен обо всем.

— Здесь ничего нет удивительного, мой отец был писатель... он писал в «Современнике», потом в «Русском слове» под псевдонимом, теперь забытым, но мы росли в его обстановке... Когда он умер, мы остались без всяких средств, и таким образом я попал по заслугам деда стипендиатом в корпус, затем в инженерное училище, академию... Это не моя дорога. Матушка моя и сейчас жива: она да я — из всей семьи только мы и остались.

Мое отчаяние тогда по поводу неудачной любви к Клотильде,— я уже любил ее,— не было так велико, чтобы убить мою энергию, но было достаточно, даже слишком достаточно, чтобы искать забвения в чем-нибудь. Работа, чтение, как освежающая ванна, действовали на меня, а детская, может быть, мысль, что я уеду отсюда преуспевшим и в своем искусстве и в литературе, давала мне новые крылья.

Пусть я потерял здесь свое сердце, потерял навсегда,— так думал я,— но я приеду к матери, сестрам образованным человеком, знающим специалистом. Я поступлю в академию, и каждый мой новый шаг будет радовать их... Почему Бортов сказал, что это не его дорога?

Я вспоминаю эти прекрасные вечера, когда кончались мои работы.

Усталый, как все, я иду, чутко прислушиваясь к замирающему шуму дня. Вот изумрудно-пурпурный след лодки, вот последние красные лучи солнца, и сегодня, после дождя и бури, море красное, как пурпур, а с левой стороны заката небо залито оранжевым огнем, и тучи там кажутся грозными бастионами, крепостями, рядом крепостей. Туда проходит теперь солнце, и за ним с далеким грохотом запираются тяжелые ворота этих крепостей. Вот уже заперты ворота, и только сквозит огненная полоска, свидетель того, что владыка мира еще там.

Потух пурпур, и теперь фиолетовым, нежным и неуловимым налетом светится море: верх волны — фиолетовый, низ — еще пурпур, средина — изумруд, и уже горит серебристо-зеленым фосфором ночи воздух.

Открыты окна, горят на столе под зеленым абажуром свечи, и темнота и мрак там в окне, и что-то словно заглядывает оттуда в мою комнату, где сижу я и читаю, как читают лекции, отмечая в записной книжке непонятное, о чем я спрошу Бортова, потому что я хочу все знать и все понять.

Однажды, все еще в то время, когда Бортов был на охоте, под вечер, возвращаясь по пристани с работ, я совершенно неожиданно встретился с Клотильдой.

Она вышла, вероятно, подышать и погулять, чтобы сильнее почувствовать свою отверженность. Те, которые через два часа будут восторженно целовать ее руки, проходили теперь мимо со своими дамами, не замечая ее.

Она стояла грустная, задумчивая и смотрела в море. Собственно, даже не в море, а в ту сторону, где находилась моя Чингелес-Искелесская бухта.

Когда я проходил мимо нее, наши глаза встретились, и она смотрела на меня так же равнодушно, не ожидая поклона, как и на всех остальных.

Я шел и думал: «Я не пойду к ней в ее кафешантан, но почему мне не поклониться? Я кланяюсь ей как человеку».

Может быть, мысль, что в этом обществе никто меня не знает, придавала мне храбрость. Будь здесь моя мать, сестры, и я так же, как и другие, прошел бы, наверно, мимо.

Как бы то ни было, я поклонился и даже задержался немного, и, когда она нерешительно сделала попытку протянуть мне руку, я со всем уважением, какое мог придать своим движениям, пожал ее.

— Вы теперь здесь в Бургасе живете? — спросила она спокойно, с тем же оттенком грусти и задумчивости.

Я удивился, откуда она знает это, и ответил:

— Да, до возвращения с охоты Бортова.

— Вас не видно.

Я смутился и ответил:

— У меня много дела: днем на работах, вечером за письменным столом.

— Вы всегда так работаете? — спокойно спросила она.

— Нет, не всегда,— ответил я уклончиво.

Она скользнула по мне глазами и опять спокойно, задумчиво спросила:

— Бортов скоро возвратится?

— Я думаю, что скоро теперь.

— Он очень хороший человек,— сказала она.

Меня приятно удивляло спокойствие ее манер совершенно порядочной женщины. Я испытывал, правда, тайное, но несомненное и даже — будем говорить откровенно — величайшее наслаждение стоять с ней рядом, говорить и чувствовать ее, эту Клотильду, такой, какой

я чувствую ее ежесекундно, всегда, даже во сне в своем сердце. Любовь — это болезнь своего рода. Как в болезни каждое движение напоминает вам эту болезнь, так и в любви всякая мысль, всякое движение — все в честь той, которую любишь.

Это надо сделать. Почему? Потому, что я люблю. А я люблю? Так я сделаю в десять раз больше ради той, которую я люблю. В честь ее буду жить, в честь ее и умру.

— Вы там живете?

И Клотильда указала глазами в сторону моей бухты.

Она и это знает.

— Да, там.

— Там красивое место. Оно мне напоминает мою родину — Марсель...

То, что она говорила, было совершенно ничто в сравнении с тем, как она говорила.

«Мою родину», «Марсель»... как зарницы в небе: сверкнет вдруг нежно, грустно и опять замрет. Родина, Марсель,— они оживали вдруг, и я в блеске зарниц видел их, видел ее в них,— видел, чувствовал, понимал ее без слов, и, чтобы возвратить ее туда такой, какой она была когда-то, с каким блаженством я отдал бы за это всю свою жизнь.

— Как хорошо здесь,— вздохнула она после паузы.— Может быть, когда-нибудь я приеду посмотреть вашу бухту,— сказала она, прощаясь,— вы позволите?

Я только поклонился, как умел.

IV

Приехал Бортов, усталый, бледный, более чем обыкновенно апатичный, мертвый.

— Хорошая охота?

— Хорошая.

После осмотра всего, что было сделано без него, я показал ему мои работы по литературе, прося объяснений.

Понемногу он словно возвратился откуда-то, и я слушал его с раскрытым ртом, удивляясь обширности его познаний, скрытой мягкости, ласке, слушал с буравящей мыслью, что мешает этому умному, сильному, талантливому красавцу жить и наслаждаться жизнью.

— Были в кафешантане? — спросил, меняя разговор, Бортов.

— Нет...

Я рассказал ему о встрече с Клотильдой.

— Ну, теперь на ваш счет будут чесать языки все здешние кумушки,— сказал он.

— Кто меня знает?

Бортов усмехнулся.

— Здесь все знают всех. Не лучше любого провинциального городка.

— Мне все равно.

— Это-то конечно. Клотильда что? Она умеет по крайней мере себя держать, а я с Бертой прогуливаюсь,— вот посмотрите...

Бортов засмеялся своим старческим и детским в то же время смехом.

— Первое время все эти маменьки носились со мной, как с писаной торбой. Но когда потеряли надежду на меня как на жениха...

Бортов махнул рукой.

— Вы когда хотите ехать к себе?

— Сегодня же,— ответил я.

— Пообедаем хотя.

Было пять часов. Мы с Бортовым и Бертой обедали в гостинице «Франция».

Клотильда вошла в залу, когда мы обедали, и, увидев нас, радостно и даже бурно поздоровалась с Бортовым, приятельски с Бертой и ласково со мной.

— Сегодня вечером увидимся?

— Да вот,— ответил Бортов, показывая на меня,— не удержишь ничем: едет к себе.

Клотильда посмотрела на меня и сказала Бортову:

— Может быть, и мы когда-нибудь проникнем в тот таинственный уголок... Мы будем его называть монастырь святого Николая. Так, кажется, зовут молодого отшельника?

И она ушла, оставляя во мне аромат своих духов, неудовлетворение, тоску, неисполнимые, хоть весь мир разрушь, желания.

В семь часов отходил последний катер, и с обеда мы с Бортовым отправились прямо на пристань.

Там уже стоял готовый паровой катер, и хозяйственный Никита возился, устраивая мне удобное сиденье.

Я сел, и мы тронулись. Затем я насунул плотнее свою фуражку на лоб и задумчиво уставился в исчезавший городок... Образ Клотильды снова охватил меня, опять я осязал ее: ее глаза, золотистые волны густых чудных

волос... Клотильда была там, в городе, в каждом здании, в каждой искорке прекрасного вечера, в этой голубой дали и в этом одиноком монастыре, и в моем сердце, и выше, выше головы, и, боже мой, чего бы я не дал, чтоб хоть на мгновение увидеть опять ее. И вдруг я увидел ее, и наш катер чуть не перерезал ее маленькую лодку, где сидела на руле она, и два турка гребли. И, не обращая внимания на опасность и на крики матросов, ругавших ее гребцов, она с натянутыми шнурками руля быстро, тревожно искала кого-то глазами в катере и вдруг, увидя меня, весело, как ребенок, сверкнула своими черными глазами и закивала мне головой. В это время катер мчался возле самого борта ее лодки, и я увидел ее близко, близко, ее атласную руку и взгляд более долгий, чем весь переезд, взгляд, перевернувший все во мне, охвативший меня огнем и болью. Ко мне долетел какой-то лепет ее, немного горловой, немного детский, как легкая, мягкая жалоба.

Все это произошло так быстро.

Я вскочил и пришел в себя, когда лодка ее была уже далеко, а я все еще стоял с шапкой в руках и все смотрел ей вслед.

Затем я вспомнил, где я,— матросы и Никита все видели,— надел опять шапку и с отчаянием человека, который теперь ничего уже не поделает, сел опять и, не смея ни на кого взглянуть, постарался сделать самое угрюмое и безучастное лицо. Насколько это мне удалось — не знаю. Но, когда мы подъехали к мосткам нашей будущей бухты, тон Никиты еще усилился в смысле покровительства.

— Ваше благородие, матросам дать, что ли, на водку?

— Конечно, конечно... дай им два рубля... Спасибо, братцы.

— Рады стараться, ваше благородие. Проклятые турки чуть не утопили барышню.

— Да-а...

Пока приготовлял Никита ужин и чай, я ходил по своей террасе, смотрел на море и думал, конечно, о Клотильде. Меня мучил теперь вопрос: зачем она выехала ко мне навстречу? И вдруг мне пришла очень простая мысль: да выезжала ли она ко мне или просто захотела покататься? Все мое праздничное настроение сразу исчезло: какой я наивный, однако. А немного погодя опять в защиту Клотильды начали появляться в моей голове

разные доводы. Во-первых, ее взгляд, которым она искала... но она могла искать, конечно, и кого-нибудь другого. Ну, а огонь в глазах, и радость, и какие-то фразы, которых я не расслышал? Господи, да зачем же я катера не остановил, чтобы переспросить?.. Она, вероятно, этого и хотела, и то, что я пронесся мимо, она не могла себе объяснить иначе, как моим окончательным нежеланием даже соблюдать с ней вежливость.

Вечер мой пропал. Я упрекал себя и порывался в город. Боже мой, когда отчаливал катер, мне казалось, что винт буравит не в море, а в моем сердце.

А там из-за темной синевы мелькают огоньки... Там в деревянном здании будет петь сегодня Клотильда. Не та Клотильда, которая во мне, а другая, с такими же, впрочем, золотистыми волосами, пронизывающими ласковыми глазами, что жгут меня... не знаю сам какая...

А темный лес уже огласился миллионами ужасных воплей шакалов.

— Го, прокляты щикалки,— говорит Никита, ставя ужин,— як зарезаны диты сковчат...

Как подходит это сравнение с зарезанными детьми здесь, где зарезанными удобрена вся земля Болгарии.

А позднее к этим воплям прибавился свист ветра, глухие, как пушечные выстрелы, удары моря, шум леса. Я лежал в своей палатке и под этот нестройный концерт думал о Клотильде.

Клотильде нравится мой уголок: он напоминает ей ее родину. Я люблю этот уголок, люблю ее, ее родину. Я буду здесь работать: я привез книги — буду читать.

V

Это был период затишья в моей любви к Клотильде. Что мне за дело до той позорной Клотильды? Я ее не знал и не буду никогда знать. Я жил в своей бухте среди прекрасной природы, среди работы. Все сразу пошло в ход: и пристань, и дом, и шоссе. Полковнику батальона, который будет работать, дали взятку: его люди записываются в табеля с подделкой их фамилий под турецкие и болгарские.

Но я выговорил только одно: кроме той суммы, которая шла на улучшение пищи, остальное получать солдатам прямо на руки и беречь эти деньги, помимо полковых ящиков.

Расчеты производились по субботам. При расчетах, по моему настоянию, должны были присутствовать старшие унтер-офицеры и батальонный офицер. Это я сделал уже для себя лично: в ограждение от сплетен, возможность которых допускал после намека полковника.

Мне по душе была моя кипучая жизнь. Я вставал в четыре часа утра и прямо из палатки бросался в море: это было вместо умыванья. Затем я пил чай с «буйволячьим» маслом. И масло, и молоко, и мясо буйвола — такая гадость, о которой вспоминать противно. Особенно мясо, черное, слизистое и с отвратительным вкусом к тому же. В отношении еды вообще было худо: хлеб, пополам с кукурузной мукой, был всегда черствый, тяжелый и не шел в рот. Никитины «каклетки» имели завлекательность только на устах Никиты, когда он вкусно спрашивал:

— Ваше благородие, може чего-нибудь вам сготовить?

— А что?

— А каклетки? На масле поджарить! Скусно...

И поверишь, а принесет... брр...— пахнет сальной свечой.

Зато чай, если горячий, был вкусный. Иногда я задумывался, и тогда чай стыл, а я просил Никиту дать мне свежего. Но экономный Никита соглашался не сразу.

— Горячий же, бо палец не терпит.— И в доказательство он опускал в мой стакан палец и говорил: — Ох, якой же еще!

— Никита,— говорил я в отчаянии,— разве ты не понимаешь, что после твоих грязных рук я не могу пить.

— Каклетки теми же руками вам готовлю,— отвечал смущенно Никита, рассматривая свои грязные руки.

Выкупавшись и напившись чаю, я подходил к работавшим на пристани, отдавал нужные распоряжения саперному унтер-офицеру, а в это время Никита подводил мне мою Румынку. Я садился и ехал к домику, который выводился для меня в противоположном углу бухты, тоже вблизи моря и леса.

Этот домик мы скомбинировали из старых досок в два ряда с заполнением пространства между ними песком или землей. Заведующий работами унтер-офицер разыскал вблизи кучи древесного угля, оставшегося, вероятно, после обжога, и мы решили, на что теплее будет, если заполнить пространство между досками этим углем. Мы так и сделали, и вследствие этого и я и все

приезжавшие ко мне покрывались черной пылью, в изобилии пробивавшейся сквозь щели досок. Впоследствии, впрочем, мы устранили это неудобство, обив стены холстом палатки.

После осмотра работ домика я уезжал на шоссе.

При огибе каменного мыса шли динамитные работы.

Солдатики придумали себе и другое употребление из динамита. Зажигая фитиль, они бросали патрон динамитный в воду, и когда раздавался выстрел, то поверхность воды покрывалась массой оглушенной рыбы. Солдатики хватали ее, варили и ели. Ел и я, хотя за растрату казенного имущества мог быть привлечен к суду.

Этого чуть-чуть не случилось.

В озере, в недалеком расстоянии, водилось много рыбы. Солдаты, припрятав патроны, однажды в одно воскресенье, когда работ не бывало, отправились на озеро ловить рыбу.

Наловили массу и все съели. Съели и заболели какой-то злокачественной лихорадкой. Несколько человек меньше чем в полсуток умерло.

Я никогда не видал ничего подобного: их подбрасывало от земли, по крайней мере, на пол-аршина.

Оказалось, что в это озеро во время тифозной эпидемии бросали умерших. Рыба, вероятно, питалась их мясом: рыба действительно была поразительно жирна.

Дело, впрочем, замяли, отнеся все к воле божией.

Только полковник категорически заявил:

— На штаны все-таки всем солдатикам надо дать.

И дали, снеся расход на покупку досок.

При желании можно было много выводить таким образом расходов.

К обеду, к двенадцати часам, я возвращался домой, ел «каклетку», пил чай и ложился спать. В два часа я опять купался и опять начинал свой объезд работ.

К семи часам работы кончались, и я возвращался к себе. Это было лучшее время.

Жар спадал, солнце садилось: мне расстилалась бурка, клалась подушка, и я ложился со стаканом чаю, с книгой в руках.

Еду сегодня отыскивать камыш для будущей крыши своего домика. Лесом, а тем более железом крыть дорого. Не может быть, чтобы здесь не было где-нибудь камыша или папороти. Я уже расспрашивал братушек, но

они молчат, а солдаты говорят, что есть тут подальше камыш.

Моя Румынка уже в чепчике — и, напившись чаю, еду по прямому направлению к югу. Поднялся лесом по какой-то тропинке, наткнулся по дороге на кабаньи следы (Бортову сказать) и выехал на водораздел. Лес исчез, и перед глазами волнистая открытая местность; вот влево повернула большая долина: там должна быть река и камыши.

Какие дни! Безоблачные, тихие, ясные. О такой ясности только знают те, кто знает южную осень. Небо нежное, синее охватило своими объятьями яркую, нарядную, всю в солнце, но с печатью какой-то неподвижной грусти землю, и точно спит в его объятьях земля, и с нею спят и море, и корабли, и их белые паруса в синем море, и та высокая колокольня монастыря. Спят или в неподвижном очаровании слушают какую-то нежную скорбь, тихую жалобу, ту жалобу, что шепчет красавица земля своему возлюбленному солнцу, собирающемуся далеко-далеко уйти от своей милой. Все молит его тихо, покорно: «Останься». И стоит в раздумье солнце и льет и льет свои последние яркие лучи, и нежнее замирает земля.

Я спускаюсь к реке, в долину, на большую дорогу, на которой вижу библейские картинки.

Вот идет красавица болгарка: строгие правильные черты лица, большие черные глаза, живописный костюм, полуприкрытое лицо, мул, на нем мальчик, и рядом с мулом и болгаркой низкорослый, кривоногий, исподлобья смотрящий болгарин.

А дальше я обгоняю арбу, запряженную парой уродливых, голых, черных, как черти, буйволов. Увидели буйволы сверкнувшую реку и понесли и арбу и уснувшего болгарина: лягут там, забравшись по горло в реку, и уже никакими силами не выгнать их оттуда, только их черные морды, как головы гиппопотамов, будут торчать из воды.

А вот и то, что я ищу,— камыши.

Еще проехал,— и маленькая дорожка свернула к виднеющейся вдали деревушке у самой речки.

Я въехал на холмик,— и оттуда видна мне и залитая солнцем деревушка, и яркая зеленая мурава осеннего луга, и вся осенняя даль привольная, тихая и задумчивая в ясном дне. Глаз не хочет оторваться от уютной картинки; глаз ласкают и даль, и речка, и мирная дере-

вушка, а в голове, как волны музыки, как звуки какого-то нежного, знакомого мотива, просыпаются какие-то, точно забытые, мысли о чем-то. Точно видел уже эту деревушку где-то, в какой-то панораме, видел эти горы, что вырастают там за ней, уходя вдаль, все выше и выше в голубое небо. Кто-то рассказывает или ветерок шепчет какие-то сказки...

Неохотно съезжаю с пригорка и, охваченный этой негой покоя и тишины, еду по мягкому лугу. Но Румынке, очевидно, хочется поскорее добраться до деревни и узнать, что там за уголок, где тоже живут люди, живут, радуются, страдают...

Вот речка и мост, вот уже близки потемневшие домики и узорчатые окна, и чистые улицы, и поворот, и картинка, навсегда запечатлевшаяся в памяти.

Девушек двадцать болгарок — все красавицы, как на подбор, все высокие, стройные, все гордые, с большими черными глазами, красивыми белыми лицами, взявшись за руки, с венками на головах, что-то поют и кружатся в хороводе.

Это хоровод русалок. Это выставка красавиц.

Вокруг старухи, дети.

Я стою очарованный, прирос к седлу, не могу оторвать глаз от волшебного видения,— и вдруг крик, и все исчезает быстро, как видение, закрываются окна, и через мгновение я один в глухой пустой улице, и никого больше, и так пусто, точно вымерли все или выселилась деревня.

Я долго стучусь, пока, наконец, удается вызвать мне какого-то старика, немного понимающего русский язык, и я объясняю ему цель своего приезда. И много еще времени проходит, пока, наконец, собирается небольшой кружок болгар и я слышу свое имя:

— Кептен Саблин.

На меня смотрят уже не так угрюмо и кивают головами.

Начинается разговор относительно камыша. Два франка за сотню снопов: кажется, недорого. Я даю задаток. Доверие порождает доверие, и на вопрос, далеко ли турецкое селение, первый старик нехотя, опустив глаза, говорит, что чужеземцу не надо ездить по чужим селам, а тем более к туркам.

Он вскидывает на меня глаза, опять их опускает и кончает так спокойно, что мне делается немного не по себе:

— Иногда режут по большим дорогам...

Толпа стоит, точно слушает мой приговор, и смотрит мне в глаза: «Ты слышал?»

— Пусть режут,— отвечаю я,— совесть моя чиста, и я ничего не хочу дурного.

— Не надо деньги возить, не надо ездить...

Я хочу спросить о хороводе, посмотреть костюмы девушек, но толпа точно угадывает мои мысли, и никто не хочет смотреть на меня, и так чужды все мне, точно спрашивают: зачем же я еще стою, когда все сделано, и ко всему я не только жив, но и получил их добрый совет.

— Спасибо,— вздыхаю я и протягиваю руку старику.

— Поезжай, поезжай,— говорит облегченно старик. И я еду, но предо мной все еще хоровод красавиц девушек, и я, отъезжая, даю себе обещание возвратиться опять, чтобы врасплох увидеть прекрасных болгарок.

И я ездил и не раз, но напрасный труд — болгары уже были настороже,— и так и не удалось мне больше увидеть, что нечаянно, как из-за занавески, увидел раз и то мельком.

Я возвращаюсь домой, думая о болгарках, думая о своих делах, довольный найденным камышом и смущаемый мыслью, что стоит моя работа с мостом на Мандре. Нет понтонов, а 16-я дивизия скоро-скоро уже тронется, и без моста не переправишь артиллерию. И вдруг я вспоминаю: там, в углу старой пристани, у Бургаса, стоит несколько старых барж, очевидно, оставленных за негодностью, но негодные для плавания, они могут вполне годиться для понтонов. А если они годятся, то у меня через неделю будет готов мост на Мандре.

И я, весь потонув в деталях своего проекта, совсем не заметил обратной дороги.

VI

Был какой-то праздник, и так как в праздники мы не работали, то я скучал.

Я лежал на бурке на своей террасе, прислушивался к сонному плеску моря, вдыхал в себя свежий аромат его, следил за золотой пылью заката, смотрел на Бургас, монастырь, вдаль и скучал.

— Никита!

У Никиты дощатый балаган там, на пригорке: в одной половине лошадь, в другой — он со своим хозяйством, а перед балаганом — кухня.

Его не так легко дозваться.

— Ась? — отзывается, наконец, он и идет тяжелыми шагами ко мне.

— Ты что там делаешь?

— Что? Записую расходы...

Никита все время или считает деньги, или записывает какие-то расходы.

— Ты откуда родом?

— Откуда? Из Харьковской губернии.

— Жена есть?

Никита задумывается, точно вспоминает.

— Нет.— И, помолчав, уже подозрительно спрашивает: — А вам на што знать, ваше благородие?

— Так,— отвечаю я.

— Ваше благородие, а масла завтра потребуется?

— А что, нету?

— На утро еще будет... и говядины надо купить.

— Да ведь недавно же покупали?

Никита начинает с увлечением: конечно, недавно, и он был уверен, что по крайней мере ее хватит на четыре дня. Но приехал Бортов — каклетки нет, вчера я ужинать потребовал — опять нет...

Никита чувствует, что этого мало, и лениво прибавляет:

— Так, шматки остались...

Но затем новая мысль приходит ему в голову, и он опять оживляется:

— А, конечно, дорого, бо все воловье мясо. Буйволячье чуть ли не в два раза дешевле.

Но я уже лезу в карман, чтобы только избавиться от буйволячьего мяса.

— Ваше благородие,— доверчиво, тихо говорит Никита,— а вина тоже нет.

— Вина не надо,—огорченно говорю я, предпочитая отказаться от рюмки вина в свою пользу и стакана в пользу Никиты.

Хотя впоследствии оказалось, что он не пил, а просто отливал и подавал мне опять уже оплаченное раз вино. Один офицер, некто Копытов, утверждал, что Никита увез от меня за время пребывания, кроме жалованья, по крайней мере рублей двести. Может быть, но я люблю Никиту и Никита меня любит, а Копытов

и сам ненавидит своего денщика и тот платит ему тем же.

Эту маленькую сплетню передал мне сам Никита.

— Ваше благородие, а что вы в город не поехали? — заканчивает Никита нашу беседу, получив деньги.

— Ничего я там не забыл,— отвечаю я голосом, не допускающим дальнейших разговоров.

— Як монах сидите... От теперь и вина уже не будете пить,— гости приедут, чем поштувать станете? Чи той водой? — Никита показывает на море.— А какая краля вдруг приедет? Я ж на свои и то купил...

Никита надоел.

— Ну вот, Никита, плачу в последний раз: бутылку на неделю — и конец.

— Да хоть две пусть стоит, як пить не станете.

И я даю Никите еще денег.

Но что это? Мы оба с Никитой оглядываемся и видим на пригорке... Клотильду, Бортова и Альмова, инженера путей сообщения.

Альмов милый господин, но шут гороховый. Он не может пройти мимо какой-нибудь блестящей поверхности, чтобы не посмотреть в нее свой язык. Начинает всегда фразой:

— Послушайте, знаете, что я вам скажу...

Но возьмет нож или, в крайнем случае, возьмет зеркальце, посмотрит свой язык, рассмеется добродушно, ласково и глупо,— и никогда так и не скажет ничего.

Но так в общем Альмов — милейший господин, а в этот момент я даже люблю его.

— Э...— крикнул он весело,— помогите же даме!..

Мы с Никитой так и стояли с открытыми ртами.

Клотильда на своем золотистом карабахе, как воздушное видение, была там на пригорке.

Карабах сделал прыжок и так и остался на мгновение с всадницей в воздухе. Казалось, вот они оба исчезнут, как появились.

Я, наконец, опомнился и бросился к ней. Клотильда, наклонившись, внимательно и беспокойно смотрела мне в глаза.

Ее глаза просили и, вероятно, получили, чего желали, потому что, держась за мою руку, она весело и легко соскочила на землю.

— Гоп-ля! — сказала она, слегка сжав мою руку, а затем не совсем уверенно спросила: — Принимают?

Переведя глаза на берег, мою палатку, море и весь вид, она радостно вскрикнула:

— О, как здесь хорошо! Monsieur Бортов, вы знаете, что это мне напоминает? Это мне напоминает, когда я росла около Марселя... А-а!.. Вот такой же берег и море, а внизу город, только там выше... и большое море...

Она протянула руку и быстрым жестом показала необъятность ее моря.

В это мгновение глаза ее сверкнули радостно, и она с душой, открытой ко мне, остановив глаза на мне, проговорила:

— Оставим мою молодость и будем жить настоящим. О, я очень рада, что monsieur Бортов взял, наконец, меня с собой. Он меня пугал, что вы рассердитесь.

Я решительно не мог ничего отвечать.

Бортов и Альмов ушли по работам, а мы с Клотильдой остались у палатки.

Как шел к ней костюм амазонки: стройная, оживленная, как ребенок.

— А-а, вы знаете,— говорила она серьезно мне,— это дворец, которому позавидовал бы царь... Я буду ездить к вам...

Глаза ее остановились и смотрели на меня ласково, безмятежно.

В общем мы мало, впрочем, говорили. Что разговор? Мы говорили глазами. Взгляд идет в душу: он отвечает сразу на множество вопросов и задает их и получает ответы... И когда люди обмениваются такими взглядами, то уже им нет дороги назад. Зачем и вперед спешить? Если нет и там дороги, разве в этом все не та же непередаваемая радость жизни?.. Вот берег, усыпанный ракушками, золотистый фазан вылетел из лесу, сверкнул на солнце и исчез, а там тень и мой чертеж на столе, и Никита, взволнованный, спешит с самоваром. А, это Никита? Мой денщик? О, какой симпатичный. Надо посмотреть его балаган. И мы идем к балагану. Она опять говорит о своей родине. А-а, это и есть моя Румынка? Она ходит с чепчиком? О, какая милая. И она целует ее в шею, а я стою в дверях и смотрю.

Я слышу ее вздох, полный, сильный, и все так бесконечно сильно и ярко, и мы уже идем с ней назад, оба такие удовлетворенные, счастливые, словно нам позволили выбрать лучший жребий и мы уже взяли его.

Навстречу идут Бортов и Альмов.

— А это?

Она показывает на мою палатку.

Я должен показать и палатку — и я показываю, смеюсь, извиняюсь. А Бортов поднимает крышку моего сундука и смеется, показывая Клотильде там золото и серебро. Клотильда, недоумевая, говорит: «О...», и опять выходим на террасу, где и садимся пить чай.

Она сама хозяйничает,— и надо видеть удовольствие Никиты. Он торжественно ставит бутылку вина на стол, смотрит на меня и спрашивает глазами: «Что, пригодилось?»

И опять мне говорят о том, как здесь хорошо, а я смотрю на Клотильду и думаю, что хорошо смотреть ей в глаза, на ее волосы, на всю нее — стройную, молодую, прекрасную, как весна.

Она чувствует, что не осталось во мне ничего, что не задела бы она во мне,— и в ее глазах радость.

Я не сказал бы, что и она любила, но она ценила мое чувство... Я большего и не желал. Я и без того, мечтая о невозможном, получил его, потому что видел Клотильду, но без всего, что разрывало мое сердце на части. Может быть, это и иллюзия... Но кто сказал, что я хочу разрушать эту иллюзию? Не хочу. Поцеловать след ее и умереть я согласен сейчас же, но не больше. Словом, мы понимаем теперь хорошо друг друга, без слов понимаем, чего желают святая святых нас обоих...

— Вы хотите, чтобы она осталась с вами? — спросил Бортов, отводя меня в сторону.

— Ни под каким видом,— отвечал я, оскорбленный.

Бортов еще постоял и возвратился к палатке.

— Ну что ж, пора и ехать,— проговорил он громко.— Вы проводите нас? — обратился он ко мне.

— Проводите,— попросила Клотильда.

Я не стал заставлять просить себя и велел оседлать себе три дня тому назад еще одну купленную за пятьдесят рублей донскую лошадь — Казака. Это была высокая и неуклюжая, как верблюд горбатая, красно-гнедая лошадь.

— Зачем вы не хотите ехать на Румынке? — спросила Клотильда.

Мне просто было стыдно ехать с дамой на лошади в чепчике.

— А Казак уносной,— возразил Никита,— свалит куда-нибудь в овраг...

— Не свалит,— ответил я.

— Что он говорит? — спросила Клотильда.

— Он говорит глупости,— сказал я.

— Когда ваш дом будет готов? — спросил меня Бортов.

— Я надеюсь в четверг перебраться.

— Я заеду к вам на новоселье,— сказала Клотильда.

— Я буду счастлив.

Нам подали лошадей, мы сели и поехали.

Я с большой тревогой следил за своим донцом. Раз всего я и пробовал его и, откровенно сказать, не чувствовал себя хорошо — слишком сильная и порывистая лошадь. Особенно не нравилось мне, когда она вдруг, как заяц, прижимала уши и дергала изо всех сил. Ведь у казаков особенная выездка, и не знаешь сам, когда и как начнет лошадь проделывать свои заученные штуки,— понесет без удержу, ляжет вдруг, начнет бить задом или взовьется на дыбы. Где-то тронуть, где-то пощекотать — и готово.

И потому я только и старался, как бы не тронуть, не пощекотать. А донец, как нарочно, в соседстве с другими лошадьми горячился все сильнее.

Горячился и карабах Клотильды.

— Поезжайте вперед,— посоветовал нам Бортов.

Мы так и сделали.

Мы ехали почти молча, каждый успокаивая свою лошадь.

Так доехали мы до моста на Мандре, того понтонного, который я выстроил из старых барж.

За Мандрой к Бургасу тянулся уже отлогий песчаный берег до самого Бургаса.

Скалы, леса остались позади.

Взошедшая луна своим обманчивым зеленоватым блеском осветила как стол гладкую, безмолвную равнину. В мертвом серебристом свете неподвижно, как очарованные, торчали поля бурьяна и колючек.

Тут было не страшно, если бы даже и задурил мой донец.

Мы подождали Бортова и Альмова и поехали вместе.

Клотильда, так недавно еще такая близкая мне, теперь опять как-то не чувствовалась. Предложение Бортова не выходило из головы.

Мне захотелось вдруг вытянуть плеткой донца между ушами.

Когда оставалось версты три до Бургаса, Бортов скомандовал: «марш-марш», и мы помчались. Карабах

быстро и легко обошел всех лошадей. На своем верблюде я был следующий. Что за прыжки он делал!

Впечатление такое, точно я сижу верхом на крыше двухэтажного дома и дом этот тяжелыми, неэластичными прыжками мчит меня. Но, как ни мчал он, карабах с Клотильдой был впереди. В первый раз я решился ударить плеткой донца.

Донец совершенно обезумел, рванулся и догнал карабаха. Поравнявшись с ним, я нагнулся и ударил карабаха плеткой. Это была бешеная скачка: свистел воздух, пыль слепила глаза; пригнувшись, мы неслись.

— Надо сдержать немного лошадей,— крикнула Клотильда,— мы подъезжаем к городу.

Лошадь Клотильды сейчас же отстала от меня, но я ничего уже не мог сделать с донцом: он закусил удила и нес.

— Я не могу остановить лошадь,— закричал я в отчаянии.

Я слышал, как Клотильда хлестала свою, чтобы догнать меня. Я напрягал все силы, но напрасно: донец уже несся по узким улицам Бургаса.

Толстый генерал, по своему обыкновению, сидел посреди улицы и пил кофе на поставленном перед ним столике с двумя горевшими свечами.

Вероятно, он думал, что я нарочно несусь так, чтобы потом лихо и сразу осадить перед ним свою лошадь.

Я действительно и сделал было последнее отчаянное усилие, которое кончилось тем, что правый повод не выдержал и лопнул, а донец после этого еще прибавил, если это еще возможно было, ходу.

Я успел только сделать отчаянный жест генералу: генерал отскочил, но и стол и все стоявшее на нем — кофейник, свечи, прибор — полетело на мостовую.

Мне, впрочем, некогда тогда было обо всем этом думать. Счастье еще, что вследствие позднего времени улицы были пусты. Но и без того мы с донцом рисковали каждое мгновение разбиться вдребезги. В отчаянии я сполз почти на его шею, ловя оборвавшийся повод. Мне удалось, наконец, поймать его в то мгновение, когда донец, круто завернув в какие-то отворенные ворота, влетел во двор и остановился сразу. С шеи его вследствие этого я в то же мгновение съехал на землю и сейчас же затем вскочил на ноги, в страхе оглядываясь, не видала ли Клотильда всего случившегося со мной. Но ни Клотильды, ни Бортова с Альмовым и слышно не

было. Какой-то солдатик взялся доставить лошадь мою в гостиницу «Франция», а я сам, сконфуженный и печальный, не рискуя больше ехать на донце, пошел, оправляясь, пешком.

Наших и других городских знакомых я нашел в гостинице. Взволнованно, чуть не плача, объясняя всем и каждому, почему я так мчался, я показывал оборванный повод. Но мне казалось, что все-таки никто не верит мне, и даже Клотильда смотрела на меня какая-то задумчивая и равнодушная.

Только Бортов мимоходом бросил мне:

—Да оставьте... ребенок...

— Ну, как же не ребенок,— говорил Бортов уже за ужином, на котором присутствовали и Клотильда, и Берта, и Альмов, и Копытов, и еще несколько офицеров,— оказал какие-то чудеса в вольтижировке, сам донец ошалел, спас и себя и его от смерти и еще извиняется.

Все рассмеялись, а Бортов тем же раздраженным тоном переводил то, что сказал мне, Клотильде.

У меня уже шумело в голове: не знаю сам, как я умудрился, чокаясь, выпить уже пять рюмок водки.

Клотильда радостными глазами смотрела на меня, а я, поняв, наконец, что никто меня не считает плохим наездником,— хотя был действительно плохим,— сконфуженный и удовлетворенный, умолк.

— Выпьем,— протянула мне свой бокал Клотильда.

Я чокнулся и подумал: «Надо, однако, пить поменьше».

— Buvons sec [1],— настойчиво сказала Клотильда.

На что Бортов бросил пренебрежительно:

— Разве саперы пить умеют? — три рюмки водки и готовы...

Но я, войдя вдруг в задор, ответил:

— Не три, а пять,— и саперы умеют пить, когда хотят, лучше самых опытных инженеров.

Все рассмеялись.

— И, если вы сомневаетесь,— продолжал я, серьезно обращаясь к Бортову,— я предлагаю вам пари: мы с вами будем пить, а все пусть будут свидетелями, кто кого перепьет.— И, не дожидаясь ответа, я крикнул: — Человек, бутылку шампанского!

Пока принесли шампанское, Бортов, пригнувшись к столу, смотрел на меня и смеялся.

---

[1] Выпьем хорошенько (*фр.*).

Когда шампанское принесли, я взял два стакана, один поставил перед Бортовым, другой перед собой и, налив оба, сказал Бортову:

— Ваше здоровье!

Я выпил свой стакан залпом.

— Благодарю! — насмешливо ответил Бортов и также выпил свой.

Я опять налил. Когда бутылка опустела, я потребовал другую. После двух бутылок все мне представлялось с какой-то небывалой яркостью и величественностью: Клотильда была ослепительна и величественна, Бортов величественен, все сидевшие, даже Берта, были величественны. Я сам казался себе великолепным, и все, что я ни говорил, было величественно и умно. Я теперь, точно с какого-то возвышения, вижу все.

Клотильда начала было печально:

— Господа, вы молодые, сильные и умные...

— Не мешайте,— спокойно остановил ее Бортов.

Я тоже счел долгом сказать:

— Клотильда! Из всех сидящих здесь, из всех ваших друзей и знакомых никто вас не уважает так, как я.

Копытов фыркнул. Я остановился и грустно, многозначительно сказал:

— Если я кого-нибудь обидел, я готов дать удовлетворение.

Тут уж все расхохотались.

Я посмотрел на всех, на Клотильду; она тоже смеялась. Тогда рассмеялся и я и продолжал:

— Так вот, Клотильда, как я вас люблю...

Клотильда, покраснев, сказала: «вот как»; Бортов же серьезно и флегматично заметил:

— Вы, кажется, говорили об уважении...

— Все равно,— заметил я,— не важно здесь то, что я сказал, а то, что есть. Я повторяю: я люблю... И пусть она прикажет мне умереть, я с наслаждением это сделаю...

— Браво, браво!

— Будем лучше продолжать пить,— предложил мне Бортов.

— И продолжать будем,— ответил я, наливая снова наши стаканы.

И мы продолжали пить. Какой-то вихрь начинался в моей голове, и лица, такие же яркие, как и прежде, уж не были так величественны, а главное, неподвижны.

Напротив: я уже и сам не знал, с какой стороны я вдруг увижу теперь Клотильду.

Однажды она вдруг наклонилась надо мной, и я вздрогнул, почувствовав прикосновение ее тела.

— Клотильда, я пьян, но я все-таки умираю от любви к тебе...

Она наклонилась совсем близко к моему лицу и шепнула мне на ухо:

— Если умираешь, оставь это и пойдем со мной...

Ее слова были тихи, как дыхание, и обжигали, как огнем.

Я собрал все мои мысли.

— Я умираю и умру,— сказал я громко, чувствуя, что мое сердце разрывается при этом,— но с такой... не пойду...

Я крикнул это и, отвалившись на стул, исступленно, полный отчаяния, смотрел на мгновенно потухшие прекрасные черные глаза Клотильды: их взгляд, проникший в самую глубь моего сердца, так и замер там...

— Ну, уж это черт знает что,— раздался возмущенный голос рыжего интенданта,— зачем же оскорблять?

Какой-то шум, кажется, кто-то уходит. Я все сидел на своем месте. Что-то надо было ответить, кажется, но мысли и все вертелось передо мной с такой стремительной быстротой, что я напрасно старался за что-нибудь ухватиться.

И вдруг я увидел Бортова, который все так же сидел, пригнувшись к столу, наблюдая меня.

Я сразу развеселился и крикнул ему:

— Эй ты, Ванька Бортов! Шельма ты!.. Не юли, будем пить...

— Шампанского больше нет,— донеслось ко мне откуда-то.

Я мутными глазами обвел стол, увидел графин с ликером и сказал:

— Все равно, будем ликер пить.

И я стал наливать ликер в стаканы.

Это вызвало взрыв смеха, а Бортов сказал:

— Довольно, признаю себя побежденным.

— Ура!

И громче всех кричал я:

— Ура!

Нас с Бортовым заставили целоваться.

Мы встали, качаясь, подошли друг к другу, обнялись и упали.

Смеялись все — и мы, лежа на полу, смеялись.

И мы опять сидели за столом. По временам на меня вдруг находило мгновенное просветление. Я заметил, что Клотильды уже нет между нами, что-то вспомнил и сказал печально Бортову:

— Пропили мы Клотильду.

В другой раз я заметил, что не только мы с Бортовым, но и все пьяны.

Альмов высунул язык перед каким-то офицером, уверяя, что видит свой язык в отражении медного лба офицера.

— Когда же они успели напиться? — спросил я.

И я опять все забыл.

Я помню улицу, освещенную луной, мы идем с Бортовым и постоянно падаем. Бортов смеется и очень заботливо поднимает меня.

Затем мелькает передо мной какая-то комната, лампа на столе, на полу сено и ряд подушек. Бортов все так же заботливо укладывает меня. Я лежу, какие-то волны поднимают и опускают меня, я чувствую, что хочу объявить про себя что-то такое страшное, после чего я погиб навсегда. Я собираю последнюю волю и говорю сам себе:

— Замолчи, дурак!

И я мгновенно засыпаю или, вернее, теряю сознание, чтобы утром проснуться с мучительной головной болью, изжогой, тоской, стыдом, всем тем, что называется катценяммер [1].

Я узнаю, что Бортов, возвращаясь обратно, шагнул прямо с площадки второго этажа вниз и расшиб себе все лицо.

Я иду к Бортову.

— Пустяки,— машет он рукой и смущенно прячет от света лицо,— лицо павиана с оранжевыми, зелеными, красными и желтыми разводами.

Бортов смотрит подозрительно.

Я торопливо говорю ему:

— Я ничего не помню, что вчера было.

— Было пьянство,— успокоенным голосом говорит Бортов.— Вы с Клотильдой свинство сделали...— Бортов смеется.

— Плакала, а интендант утешал ее... ругал, понятно, вас... Нет, говорит, хуже этих идеалистов: они любят

[1] похмельем (от *нем.* Katzenjammer).

только себя и свою фантазию, а все живое тем грубее топчут в грязь...

— Он хорош: вор...

— Про нас так же говорят,— кивнул мне головой Бортов.

Я иду в гостиницу «Франция», где остановился.

На дворе буря, дождь, рвет и крутит, и ни одного клочка ясного неба.

В голове моей и душе тоже нечто подобное и тоже никакого просвета. Единственный уголок — Клотильда, и тот тревожно завешен надвинувшейся рыжей фигурой отвратительного интенданта, который говорил мне вчера, потирая руки: «Эх, и молодец бы вышел из вас, если бы с начала кампании к нам...», а потом кричал: «Это черт знает что...»

Надо выпросить у Клотильды прощение... Я выпрошу...

Я нервно взбегаю по деревянной лестнице второго этажа и прирастаю к последней ступеньке: у дверей девятого номера, номера Клотильды, стоят чьи-то рыжие, как голова интенданта, отвратительные сапоги.

— Мою лошадь седлать! — исступленно кричу я из окна коридора.

И через две-три минуты я уже на своем донце.

В каком-то окне встревоженно кричит мне грязная в поношенном вицмундире фигура армейского офицера:

— Башибузуки спустились с Родопских гор: ехать вам нельзя сухим путем.

Я вижу в другом окне быстро оправляющую свои волосы, в утреннем костюме, Клотильду, которая, перегнувшись, торопливо, растерянно лепечет:

— Мне необходимо что-то сказать вам...

Сразу темнеет у меня в глазах от вспыхнувшего или расплавившегося в каком-то огне сердца. Я опять пьян. Я не хочу жить, я хочу мгновенно исчезнуть с лица земли. Вот удобное мгновение вытянуть плеткой донца между ушами. И я вытягиваю его изо всей своей силы.

О, что с ним сделалось... Он так и вынес меня из двора на задних ногах, свирепо поводя головой в обе стороны, как бы обдумывая, что ему предпринять...

Я вовремя, впрочем, успел направить его в ту сторону, куда лежал мой путь.

Башибузуки! Те самые, которые пойманных ими тут же сажают на кол. Но я живым не дамся в руки... Но со мной оружия — только тупая шашка... Все равно:

после всяких мучений наступит же смерть, а с ней и покой... После всех ужасов вчерашнего пьянства, этого сегодняшнего пробуждения и этого перехода из мира моих фантазий в мир реальный, такой отвратительный и гнусный... Я не хочу его...

И я жадно ищу глазами в пустом горизонте башибузуков...

Их не было. Я пришел в себя за Мандрой, где работали мои солдаты, болгаре, турки.

Унтер-офицер по постройке шоссе, ловкий, разбитной, красивый, по фамилии Остапенко, увидев меня, встал с камня, приложил руку к козырьку и отрапортовал:

— Здравия желаю, ваше благородие. По шоссе все обстоит благополучно. Солдат на работах сто семнадцать, турок — пятьсот тридцать два...

— Болгар?

— Так что болгар нет...

— Надули, значит.

— Так точно.

— Так вот как...

Вчера явились ко мне болгаре и турки с просьбой отпустить их праздновать байрам.

Я объяснил им, что не могу этого сделать, так как через пять дней должна прийти 16-я дивизия и шоссе к тому времени надо кончить.

Представитель рабочих турок, выслушав меня, мрачно ответил:

— Мы все-таки уйдем.

— Тогда в ваши казармы я поставлю солдат, и вы не уйдете.

— Ставьте, а без солдат уйдем.

Я обратился к болгарам:

— И вы уйдете, если не поставить к вам солдат?

— Нет, не уйдем.

— Дайте слово?

— Даем.

К туркам поставили солдат, и они не ушли, болгаре ушли: века рабства даром не прошли.

Я поехал дальше по работам и старался отвлекать свои мысли.

Но болела душа; все стояла Клотильда, растерянная, напряженная, озабоченная, в окне, и все слышал я ее лепет. Я гнал ее, но когда нестерпимо больно становилось, в ней же и находил какое-то мучительное утешение.

VII

В назначенный день мы с Никитой перебрались в наш новый домик.

Никита, сейчас же после переборки, уехал в город — купить скамью, два-три стула и еще кой-каких мелочей для нашего нового жилья.

Я остался один — пустой и скучный, в тон погоде.

Все эти дни бушевала буря, а сегодня на дворе делалось что-то выходящее из ряда вон: море даже в нашем заливе клокотало, как кипящий котел. Низкие мокрые тучи в вихрях урагана низко неслись над землей, смачивая все сразу и без остатка.

Приезжал вчера Бортов и в числе новостей сообщил между прочим, что Берта бранит меня на чем свет.

— За что? — удивился я.

— За Клотильду.

— То есть за что, собственно?

— Не знаю хорошо: кажется, Клотильда порывается к вам, а Берта... Не знаю... Собственно, Клотильда добрая душа... Берта знает ее историю: она начала эту свою дорогу, чтобы спасти свою семью от нищеты... И так обставила все, что семья же от нее отвернулась... Вы тогда вечером и потом подчеркнули ей слишком уже резко ее положение... Самолюбие страдает... Может быть, и заинтересовалась вами...

— Ну...

Бортов уехал, а я остался смущенный и вчера и сегодня не нахожу себе места.

Мне уже только жаль несчастную Клотильду.

Вчера на ночь открыл и прочел из Гюго:

Не клеймите печатью презренья
Тех страдалиц, которых судьба
Довела до стыда, до паденья.
Как узнать нам, какая борьба
У несчастной в душе совершалась,
Когда молодость, совесть и честь,—
Все святое навеки решалась
Она в жертву пороку принесть?

Может быть, про Клотильду и писал он это.

Сегодня как раз новоселье,— тогда Клотильда хотела приехать. Теперь не приедет, конечно.

В реве бури вдруг раздается как будто вопль — жалобный, хватающий за сердце. Как будто среди осеннего рева в лесу вдруг послышался робкий, торопливый,

испуганный лепет Клотильды... Плачет лес: прозрачные, чистые, как кристалл, капли падают с мокрых листьев.

Не приедет Клотильда . В такую бурю, после того что случилось...

Угадать, что я хочу ее, что я простил бы ей все, все.

. . . .

Я держал ее в своих объятиях, мокрую, вздрагивающую, с лицом испуганно прекрасным, полным радости и счастья жизни.

О, какими ничтожными оказались вдруг все барьеры, отделявшие нас друг от друга... И разве не главное и не самое реальное — была она в моих объятиях со всей своей душой, каким-то чудом спасшаяся от гибели в ничтожной лодке, чудом, отворившим ей вход в мое сердце к той, другой Клотильде. Обе они теперь слились в одну, или, вернее, та, другая, погибла в клокочущем море.

И, когда прошел первый порыв свидания, оба, смущенные, мы направились в мое нищенски скромное жилище.

И Никиты даже не было.

Но как хорошо нам было без него. Наше смущение быстро прошло, и она энергично принялась за хозяйство.

— Я тебе все, все сама устрою... Никаких денег не надо... Из негодных тряпок — у меня их много,— из простых досок и соломы твой домик я украшу, и он не уступит дворцу.

Я ставил самовар, а она, засучив рукава и подоткнув платье,— это было изящно и красиво,— мыла посуду, вытирала ее, резала хлеб. Достала муку, масла, яиц,— перерыв кладовую Никиты,— и приготовила сама какие-то очень вкусные блинчики. Сварила кофе, молоко, кафе-о-ле [1] с блинчиками, поджарила на масле гренки, ароматные, вкусно хрустящие на ее жемчужных зубах.

Вытянув ноги, она сидела и ела их с налетавшей задумчивостью, которая, как облако,— остаток бури в чистом небе,— еще ярче, еще свежее подчеркивала радость и блеск солнца, неба, моря.

Она вслух думала о том, как она все устроит в моем доме, и новые и новые подробности приходили ей в голову.

Иногда она перебивала себя и лукаво говорила:

[1] кофе с молоком (от *фр.* café au lait).

— Нет, теперь я не скажу тебе этого.

А глаза ее так радостно сверкали, и ей хотелось уже сказать, и она говорила торопливо:

— Ну, хорошо, хорошо, я скажу тебе... Но ты знаешь? Даже этот дом напоминает мне наш, около Марселя... Ах, если бы ты видел меня тогда... У меня есть младшая сестра... Она даже похожа на меня... Поезжай и познакомься с ней... Если ты меня... Ты влюбишься в нее.

— Ты пустила бы меня?

— О, если б ты знал ее...

Она смущенно, кокетливо смотрела на меня.

— Но я, кроме тебя, никого не хочу.

И я обнимал ее, я смотрел ей в глаза, я видел, я держал в объятиях мою Клотильду, дивный образ моей души, с прибавлением еще чего-то, от чего в огонь превращалась моя кровь, спиралось дыхание и голова кружилась до потери сознания.

Я словно нашел двери для входа в волшебный замок.

До сих пор я видел его со стороны, издали. Теперь я был в нем внутри, я был хозяином его, и вся власть колдовства была в моих руках.

Я мог очаровывать себя, других, Клотильду. Я мог заставлять себя, всех и вся делать то, что только я хотел.

Я хотел любить, безумно любить. И я любил. И был любим. Я достиг предела.

В блеске луны я лежал и слушал Клотильду. Я смотрел на ее руку, как из мрамора выточенную, на которую облокотилась она, говоря и заглядывая мне в глаза; смотрел на ее фигуру, лучшего скульптора изваяние, и слушал.

Она опять говорила мне о Марселе. Как счастливо жила она там в доме своих родных, как называли ее за ее пение веселой птичкой дома. На свое горе привлекала она всех своей красотой,— случилось несчастье с ее отцом, и должны были все продать у них... ничего не продали, но она продала себя и ушла из родных мест навсегда. ...А затем началась та жизнь, в которой за право жить она платила своим телом.

И она рассказывала мне эту жизнь. Какая жизнь!

— Ты понимаешь...

Она наклонилась ближе ко мне, глаза ее задумчиво смотрели перед собой, она еще доверчивее повторила:

— Ты понимаешь... он, который так клялся,— он

клялся, благодаря которому я и попала в больницу,— он бросил меня... Нищая, через шесть месяцев я вышла опять на улицу, чтобы в третий раз все, все начать сначала...

Она говорила — и завеса опять спадала с моих глаз. Я хотел крикнуть ей: замолчи, замолчи. Но она говорила и говорила, изливая мне свою накопившуюся боль.

И чем больше я слушал ее, тем сильнее чувствовал опять ту Клотильду, которая поет там... которая... никогда моей не будет... О, как я вдруг осознал это.

Напряженные нервы не выдержали,— я разрыдался неудержимо, и в этих рыданиях и воплях было все горе и боль моего разорвавшегося сердца.

— Милый, но что с тобой? Милый...— твердила испуганно Клотильда.

Что было отвечать ей?

Когда я пришел в себя и успокоился, я сказал ей:

— Это прошло.

— Но почему же ты вдруг так заплакал?

— Потому что... я люблю тебя.

— Ты плакал потому, что любишь?

И Клотильда, откинувшись, смотрела на меня взглядом человека, который вдруг увидел сон наяву.

Как будто даже испуг сверкнул в ее глазах.

Затем торопливо, судорожно она обхватила руками мою шею и осыпала мое лицо поцелуями. Она делала это не с обычной грацией: торопливо, жадно, каждый раз поднимая голову и смотря мне в лицо, как бы желая еще раз убедиться, что это не сон.

Я отвечал, как мог, подавляя в себе отчаяние, под страхом смерти боясь выдать свои чувства.

Засыпая потом, она сказала усталым счастливым голосом:

— Мне кажется, что я опять в Марселе.

И, уже совсем засыпая, она чуть слышно прошептала:

— Это лучше...

Я лежал, боясь пошевелиться, так как она уснула на моей руке, лежал, счастливый, что она уже спит. Лежал опять раздвоенный и несчастный, как только может быть несчастен человек.

Я так и заснул и все помнил во сне, что что-то около меня, что-то очень хрупкое, ценное, и что достаточно малейшего движения, чтобы это что-то разбилось навеки.

Мы и проснулись так, в той же позе и чуть ли не в одно время.

По крайней мере, когда я открыл глаза, сейчас же и она посмотрела на меня, и взгляд ее был свеж, как роса того ясного утра, что смотрело в наше окно.

Она улыбнулась мне той счастливой бессознательной улыбкой, которой улыбаются только без конца охваченные счастьем любви люди.

Она одевалась, напевая свои песенки.

— Вот самая любимая наша песня.

И она запела вполголоса:

Ah, monsieur, si tu n'as pas vu.
Une kermésse dans notre village,
Ah, monsieur, si tu n'as pas vu,
Tu n'as rien vu, ni su, ni connu [1].

— Ах, надо непременно, чтобы ты когда-нибудь приехал к нам!.. Ах, как там хорошо! Погода всегда вот такая же прекрасная.

Сегодня опять был ясный день. Блеск и аромат его наполняли всю комнату: озабоченно щебетали птицы, доносился глухой шум неуспокоившегося еще моря, слышны были энергичные удары сотни топоров, работавших в бухте.

Никита возвратился из города.

Я стеснялся его, но Клотильда быстро освоилась,— и у них с Никитой сразу установились такие отношения, как будто все это так и должно было быть. Никита говорил Клотильде: «ваше благородие», и в конце концов они вместе принялись за приготовление завтрака.

— Будем завтракать под этим деревом,— сказала Клотильда, показывая на одно из каштановых деревьев.

Мы там и завтракали на виду всей, теперь оживленной бухты.

В бухте уже несколько дней как шла грузка. Группы солдат, офицеров, их жен, детей; у заканчивающейся пристани пароходы, барки; в глубине долины бараки для солдат, бараки для офицеров, к которым вплоть подходило красиво ощебененное шоссе. Целый городок вырос там, где еще недавно стояла только моя палатка, а в дебрях соседнего леса валялся тогда труп несчастно-

---

[1] Ах, сударь, если ты не видел
Гулянья в нашей деревне,
Ах, сударь, если ты его не видел,—
Ты ничего не видел, ничего-ничего не знаешь *(фр.)*.

го хохла-погонщика. Теперь и там в лесу, в широкой просеке шоссе, и оживление и говор на нем безостановочно двигающихся эшелонов возвращающихся в Россию войск.

Во всей этой теперешней суетливой пристанской жизни чувствовалось что-то очень упрощенное, домашнее: солдаты грузились, жены офицеров у своих бараков, в домашних костюмах, укладывали или раскладывали свои вещи, возились с детьми; им помогали денщики, то и дело прибегавшие ко мне за молоком, хлебом, яйцами, котлетами, потому что, кроме как у меня, здесь в бухте негде было ничего достать.

— Ваше благородие, опять прибегли: масла просят,— докладывал Никита.

Никита не в убытке,— он получает щедрые «на водку».

Пока жены укладываются, мужья с их шапками на затылке, с расстегнутыми мундирами, в туфлях группами стоят на пристани, наблюдая за нагрузкой, ругаясь за проволочки, за неоконченные еще кое-где пристанские работы. Может быть, теперь они смотрят по направлению моего домика и злобно говорят:

— Ему что? Набил карманы и прохлаждается с мамзелью...

И я был рад, когда после завтрака ничего не подозревавшая о теперешнем моем душевном состоянии Клотильда уехала наконец.

VIII

Мне остается уже немного рассказать.

Все подходило к концу.

Через месяц и мы, последние, возвращались на родину.

Через две недели после описанного в предыдущей главе закрылся, за отсутствием публики, кафешантан.

За это время я несколько раз виделся с Клотильдой, но Бортов был прав, сказав когда-то, что после первого ужина все это кончится.

Это и не кончилось, но лучше бы было, если бы кончилось. Выхода не было. Чем дальше, тем яснее это становилось.

Не верил я и глубокому чувству Клотильды: она все продолжала петь, и я не знаю, как она проводила

свое время. Прекрасная, как нежный воздух южной осени, она была и вся сама только этим воздухом.

Так по крайней мере мне казалось, так я думал, сомневался, переходил от отчаяния к вере, и опять перевес брало отчаяние.

IX

Нет, и окончательно нет: все это должно кончиться и кончится завтра, потому что завтра Клотильда на частном пароходе уезжает в Галац, куда уже приняла ангажемент.

И, конечно, это хорошо. Довольно жить в мире фантазии: она не любит. Если бы она была способна на действительную любовь, если бы это была любовь, разве могла бы она после той ночи возвратиться назад, петь в тот же вечер...

Все равно...

Надо сделать ей подарок на прощанье — и конец всему.

Что ей драгоценности? Да у меня и денег столько нет, чтобы купить что-нибудь порядочное.

Я купил хорошенький кошелек и положил туда десять золотых.

X

Утром сегодня я провожаю Клотильду.

Я уклонился и ночь провел один у себя в бухте.

Чужой всему, спокойный и холодный, я еду на катере в город. На пристани я уже вижу вещи Клотильды.

Вот и она в окне гостиницы, спокойная, задумчивая. Увидев меня, она кивнула мне головой, слабо улыбнулась, все такая же равнодушная.

Я и теперь вижу ее в этом окне, в блеске воскресного утра — ее прекрасное детское личико, в рамке чудных волос, ее глаза задумчивые и грустные.

Когда я вошел в ее комнату, она все еще стояла в той же позе.

Лениво оглянулась, лениво, как уронила, сказала «пора», машинально надела шляпу, машинально пошла к двери, даже не поздоровавшись со мной.

Это обидело и еще более расхолодило меня: на что я ей и к чему, конечно, играть ей теперь со мной?

Я ехал с ней на катере чужой, чопорный, деревянный.

Она сперва не замечала ничего, о чем-то задумавшись, но потом, оглянувшись на меня, долго смотрела, ловя мой взгляд, и, не поймав, положила свою руку на мою.

— Матросы смотрят,— тихо сказал я, отводя ее руку.

Она покорно сложила свои руки у себя на коленях, и мы молча подъехали к пароходу.

— Перейдем туда на корму, где эти канаты,— торопливо сказала она.

Мы прошли туда. Перед нами как на ладони был Бургас, моя бухта: все чужое теперь, как чужая уже была эта Клотильда, которая через несколько минут навсегда исчезнет с моего горизонта, как и я исчезну с ее.

— Здесь никого нет...

Клотильда бросилась мне на шею. К чему все это? Я поборол себя, обнял, поцеловал ее и с неприятным для себя напряжением сказал, кладя приготовленный кошелек ей в руку:

— Клотильда... здесь немного... на твои дорожные расходы...

И только сделав и сказавши это, я почувствовал всю неловкость сделанного мною,— почувствовал в ней, в ее взгляде, ее движении, которым она не дала мне положить кошелек ей в руку.

Я совершенно растерялся, положил кошелек где-то на свертке канатов и, так как в это время уже раздавался третий свисток, торопливо поцеловав ее, бросился к трапу.

Она даже не провожала меня: все кончилось, и кончилось очень пошло и глупо.

Может быть, обиделась она, что я мало даю?.. Опытной рукой коснувшись кошелька, она, конечно, могла сразу определить, сколько там. Но откуда же я мог дать больше? Э, все равно...

Я в лодке, и пароход уже проходит мимо нас. Вот место, где мы стояли с Клотильдой... Клотильда и теперь там... она плачет?.. Слезы... Да, слезы льются из ее глаз. Она стоит неподвижная, она не видит меня, она смотрит туда, где моя бухта... Боже мой, неужели я ошибался и она любит?

— Клотильда!..

Поздно...

В блеске дня она стоит там на высоте и все дальше и дальше от меня. Только лазоревый след винта расходится и тает в безмятежном покое остального моря.

Все недосказанное, все проснувшееся — что во всем этом теперь?

И я могу еще жить, двигаться? И надо сходить с баркаса, идти опять по этой набережной, где только что еще лежали ее вещи,— видеть окно, где стояла она, окно, теперь пустое, как взгляд вечности на жалкое мгновение, в котором что-то произошло... жило... и умерло... умерло...

— Моя мать умерла,— встретил меня Бортов.

«Хорошо умереть»,— мертвым эхом отозвалось в моей душе.

— Хорошо для нее,— ответил Бортов, как будто услышав мою мысль. Бортов спокоен, уравновешен.

— Теперь не буду тянуть с делом,— в две недели все отчеты покончу.

Он меняет разговор:

— Проводили Клотильду?

— Проводил.

— Берта говорит, что она уехала в долгу, как в шелку. После той поездки к вам она ведь всю практику бросила: Берта все время кричала ей: «Дура, дура...» Зла она на вас и говорит: «Только я поймаю его, я ему все глаза выцарапаю за то, что испортил бедную девушку».

«Да не мучьте же меня»,— хотел я крикнуть, но не крикнул, стиснув железными тисками свое сердце, чтобы не кричать, не выть от боли. Я только бессильно сказал Бортову:

— Позвольте мне теперь уехать к себе,— вечером или завтра я приеду.

Я вышел, ничего не помня, ничего не сознавая.

К себе домой?.. Что там?!. Я не знал что... Может быть, в том домике я опять увижу Клотильду...

Я приехал. Я в своей спальне, той спальне, где была Клотильда, а с ней все мое счастье, которого я не понял, не угадал и потерял навсегда...

Я очнулся для того, чтобы теперь беспредельно понять это, чтоб упасть на кровать, где лежала она, в безумном порыве стремясь к той, которая уже не могла меня видеть и слышать.

Что мне жизнь, весь мир, если в нем нет Клотильды...

Пусть для всего этого мира Клотильда будет чем угодно, но для меня Клотильда мир, жизнь, все. Пусть мир не любит ее, я люблю. Это мое право. И все силы

свои я отдам, чтобы защитить это мое право, мою любовь, мою святыню.

— А что мешает мне?..

Я сел на кровать и, счастливый, сказал себе:

— О, дурак я! Это ведь просто устроить! Я женюсь на Клотильде.

С какой страстной поспешностью я сел писать ей письмо.

Я писал ей о своей любви, о том, что поздно оценил ее, но теперь, узнав все, оценил и умоляю ее быть моей женой. Через две недели я приеду к ней в Галац, и мы обвенчаемся.

Письмо я сам сейчас же отвез в город на почту, а оттуда отправился к Бортову.

— Что за перемена? — спросил Бортов, увидя меня веселого.

Я был слишком счастлив, чтобы скрывать, и рассказал ему все...

— Если хватит твердости наплевать на все и вся, будете счастливы, если только это все и вся не сидит уже и в вас самом.

Прежде чем я успел что-нибудь ответить, влетела Берта, бешеная, как фурия, и, круто повернувшись ко мне спиной, что-то зло заговорила по-немецки Бортову.

Не отвечая ей на вопрос, он спросил, показывая ей на меня:

— Знаешь, что он сделал?

Берта вскользь бросила на меня презрительный взгляд, выражавший: «Что эта обезьяна могла еще сделать?»

— Предложение Клотильде.

— Какое предложение? — переспросила такая же злая Берта.

Бортов рассмеялся, махнул рукой и сказал:

— Ну, жениться хочет на Клотильде...

— Он? — ткнула на меня пальцем Берта.

Она еще раз смерила меня и вдруг так стремительно бросилась мне на шею, что я чуть не полетел со стула.

— Это я понимаю,— сказала она после звонкого поцелуя,— это я понимаю.

Она отошла от меня в другой конец комнаты, сложила руки и тоном, не допускающим никаких сомнений в аттестации, сказала:

— Благородный человек.

Бортов рассмеялся и спросил ее:

— Может быть, и ты выйдешь за меня?

— Нет,— ответила Берта.

— Знаю,— кивнул ей Бортов,— у нее ведь жених есть там, на родине.

— Худого в этом нет,— ответила Берта. И опять, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну, я очень, очень рада. Клотильда такой добрый, хороший человек, что никому не стыдно жениться на ней.

Затем с немецкой деловитостью она осведомилась, когда и как сделано предложение и послано ли уже письмо.

Я должен был даже показать ей квитанцию. Удовлетворенно, как говорят исправившимся детям, она сказала мне:

— Хорошо.

Затем, попрощавшись, ушла совершенно в другом настроении, чем пришла.

XI

После подъема опять я мучаюсь. На этот раз не сомнениями, а тем, как это все выйдет там дома. Для них ведь это удар, и мать, может быть, и не выдержит его.

В сущности нравственное рабство: целая сеть зависимых отношений, сеть, в которой бессильно мечешься, запутываешь себя, других. И это в самой свободной области — области чувства, на которое по существу кто смеет посягать? Но сколько поколений должно воспитаться в беспредельном уважении этого свободного чувства, сколько уродств, страданий, лжи, нечеловеческих отношений еще создается пока...

Время идет скучно. Без радости думаю о свидании и с Клотильдой и с родными. Укладываюсь. Никита помогает мне, и я дарю ему разные, теперь уже ненужные мне вещи.

Вчера продал донца — на Дон и увели его.

Румынка здесь в городе уже возит воду.

Вчера с Бортовым мы отправили наш отчет по начальству.

Бортов, чтобы распутаться с долгами и пополнить наличность, продал свой дом, в котором жила его мать. Выслал уже доверенность, и деньги ему перевели.

Он показал мне толстый кошелек, набитый золотом.

— Три тысячи еще осталось.

XII

Проводили сегодня и Берту на пароход.

Я вошел к Бортову как раз в то время, когда Бортов передавал ей тот самый кошелек, который я уже видел.

Оба они смутились.

— Может быть, я не возьму,— сказала Берта и, скорчив обезьянью физиономию, быстро схватила кошелек.

Почувствовав его вес, она растрогалась до серьезности.

— О-о, это слишком.

— Прячь, прячь... до следующей войны, может быть, и не так скоро еще.

— Скоро: я счастливая...

Она спрятала деньги и сказала:

— Ну, спасибо.

Берта сочно поцеловала Бортова в губы.

— Хорошо спрятал мой адрес?

— Хорошо, хорошо.

— А о том не думай. Слышишь: не думай и лечись.

— Ладно.

— Не будешь лечиться, сама приеду, слышишь?

— Ладно! Пора — пароход ждать тебя не станет.

— Allons![1]

Берта была в духе и дурачилась, как никогда.

Ломая руки, как марширующий солдат, она шла по улице и пела:

Oh ja, ich bin der kleine Postillion.
Und Postillion, und Postillion,—
Die ganze Welt bereist ich schon,
Bereist ich schon, bereist ich schon...[2]

Когда мы возвращались назад с парохода, Бортов говорил:

— Каждому свое дело, а если нет аппетита к нему — смерть... Берта имеет аппетит. Год-два поработает еще, воротится на родину, найдет себе такого же атлета, как сама,— женятся, будут пить пиво, ходить в кирку, проповедовать нравственность и бичевать пороки... Творческая сила... Через абсурд прошедшая идея годна для

---

[1] Пошли! *(фр.)*

[2] О да, я маленький почтальон,
Почтальон, почтальон,—
Весь свет уже объездил я,
Объездил я, объездил я... *(нем.)*

жизни. Для этого абсурда тоже нужна творческая сила: Берта такая сила, здоровая, с неразборчивым, может быть, но хорошим аппетитом.

Бортов замолчал и как-то притих.

Он, по своему обыкновению, пригнулся и смотрел куда-то вдаль.

Чувствовались в нем одновременно и слабость и сила. Но как будто силу эту, как доспехи, он сложил, а сам отдался покою. Но и в покое было впечатление все той же силы — в неподвижности, устойчивости этого покоя.

Я думал раньше об этой его разлуке с Бертой. Зная, что и мне он симпатизировал, думал весь день провести с ним. Но теперь я как-то чувствовал, что никто ему не нужен.

Только в пожатии его руки, когда я уходил на почту за письмом матери, я как будто почувствовал какое-то движение его души.

Я шел и думал: «Он все-таки любит Берту».

Доктор Бортова открыл мне тайну: Берта и виновница его болезни. Болезнь, от которой он упорно не хочет лечиться. Сам запустил.

Во всяком случае это его дело. Что до меня, я всей душой полюбил и уважал этого талантливого, прекрасного, со всеми его странностями человека.

Я шел и мечтал: я женюсь на Клотильде, мы будем жить возле него, или он у нас будет жить, и мы отогреем его.

Мечтая так, я опять чувствовал и радость жизни и радость предстоящего свидания с Клотильдой...

Уже скоро...

На почту я шел за письмом матери, а получил какой-то конверт с незнакомым и плохим почерком.

Еще больше удивился я, когда на большом почтовом листе, на четвертой странице мелко и неразборчиво исписанного листа прочел: «вечно твоя Клотильда». Я не ждал от нее письма и тут же на улице, присев на скамью, стал читать. Я читал, понимал и не понимал! Клотильда отказывала мне.

Вот выдержки из ее письма:

«О, если бы я встретила тебя тогда, когда жила в нашем доме около Марселя... Я дала бы тебе счастье,— большое счастье, клянусь тебе. Но теперь... слишком невеликодушно было бы воспользоваться твоей наивностью, мой милый, дорогой...»

«Одно время я поверила, несмотря на всю свою рассудительность, в счастье с тобой... Но с отчаянием и смертью в душе я скоро поняла... поняла, что даже для меня, всенесчастной, наше сближение было бы венцом всех моих несчастий. Мой дорогой, это не упрек. Нет в моем сердце упрека и не за что упрекать тебя. Всегда ты останешься для меня, каким я знала тебя и любила...»

Вот конец письма:

«Прощай... Надо кончать, а я не могу, потому что знаю, что в последний раз говорю с тобой. Завтра я уезжаю отсюда навсегда. Не ищи: мир большой, и я затеряюсь в нем, как песчинка. О, как страдаю я, отнимая от себя самой все лучшее, о чем могла я только мечтать в жизни, что и дала мне теперь жизнь так поздно...»

— Не поздно. Завтра же я еду и найду тебя...

И с письмом в руках я бросился к Бортову.

— Нельзя... трохи повремените...— встретил меня растерянный, бледный Никита, заграждая своей фигурой и руками вход.

— Почему?

— Бо маленькое несчастие случилось: его благородие ранили себя.

— Как ранил?!

— Так точно: бо вже застрелились они...

Никита растерянно-недоумевающе уставился в меня.

Я уже стоял пред постелью Бортова.

Бортов неподвижно лежал на кровати вполоборота. Из красного отверстия его правого виска высунулась наружу какая-то алая масса, и с подушки на пол слилась небольшая лужа крови. На полу же валялся и револьвер, а правая рука, из которой, очевидно, выпал револьвер, вытянулась вдоль кровати. Бортов точно прислушивался к тому, что скажу я.

Я ничего не говорил, стоял ошеломленный, раздавленный. Ни письма, ни записки...

Напряжение точно слушающего человека понемногу сошло с лица Бортова, и лицо его стало спокойным, как будто задумчивым.

Эта задумчивость потом усилилась и все становилась сосредоточеннее и угрюмее.

На другой день мы отнесли его на кладбище.

Шли войска, играла музыка, но он оставался все таким же сосредоточенным и угрюмым, навеки отчужденным от всего живого.

XIII

Два дня еще — и я уже прощался с этими местами, стоя на отходившем в Галац пароходе. В этой умирающей осени, с желтым золотым листом, ярким солнцем и голубым небом я чувствовал пустоту, какую чувствуют после похорон.

Прощай, Бортов... Береги его прах, Болгария: он один из тех спящих в твоей земле, которые дали тебе лучшую, чем сами получили, долю.

Прощай, Болгария, отныне свободная, будь прекрасна навеки, как твои женщины, как твоя природа...

Я не нашел Клотильды в Галаце...

Пронеслись года. Жизнь моя сложилась иначе, чем я думал тогда. Я много пережил, понял, видел много зла в жизни...

И чистый образ Клотильды все ярче и ярче в моей душе...

Жгучей болью наполняется мое сердце каждый раз, когда я вспоминаю, как тогда в лодке я оттолкнул ее руку. О, если бы теперь я мог крикнуть на весь мир, чтобы услыхала она меня, я крикнул бы ей:

«Клотильда, дай пожать тебе руку! Тебе, властной, неведомой мне силой заставившей меня любить и вечно страдать за поруганную правду человеческого естества».

В КОНКЕ

Был холодный октябрьский вечер. Дождь уныло и однообразно барабанил в окна вагона невской конки, стоявшего у Адмиралтейства.

К сидевшим прибавилась дама. Она вошла, угрюмо огляделась и села у входа.

Это была, лет 35, интеллигентная женщина, большая, с усталым, апатичным лицом. Она села тяжело и бесцельно, никого, очевидно, не замечая, и уставилась в пол.

Кондуктор дернул звонок и отвинчивал тормоз, когда вошла еще одна дама, худенькая, быстрая, весело оглянула всех и весело вскрикнула, увидев полную даму:

— Марья Львовна!

Та, к которой относилось это восклицание, точно разбуженная подняла голову, некоторое время рассеянно смотрела на вошедшую и, сухо кивнув ей головой, равнодушно сказала:

— Здравствуйте.

Вошедшая, очевидно смущенная таким приветствием, робко присела возле своей знакомой. После некоторой паузы, большая дама неохотно, с каким-то раздражением в голосе бросила:

— А вы все по-прежнему мир спасаете? Не надоело?

Маленькая дама съежилась и робко, но в то же время обидчиво ответила:

— Было время, и вас, Марья Львовна, это интересовало.

— Было время... были мы молоды...

Марья Львовна не докончила и только махнула рукой.

— И что же мне другое делать? — тихо, недоумевая, спрашивала маленькая.— У меня никого и ничего нет,— мне и бог велел чужими делами заниматься. Хорошо, вы вот своей семьей обзавелись.

Марья Львовна с горечью подумала: «Да, вот я своей семьей обзавелась», но ничего не сказала и по-прежнему устало продолжала смотреть в пол.

Ее собеседница вдруг пристально посмотрела на нее и быстро спросила:

— Да что с вами?

— Ничего... Валя умер у меня.

Лицо большой дамы нервно передернулось.

— Марья Львовна, дорогая! Ваш маленький Валя?

Марья Львовна в ответ только могла кивнуть головой, в глазах ее задрожали крупные капли слез.

— Да с чего же?

Марья Львовна быстро вынула платок и некоторое время вздрагивала, плотно прижимая его к глазам. И много безутешного горя было в этой плачущей женщине.

— Господи, вот несчастие! — растерянно шептала ее знакомая.

Тускло освещенный вагон уныло громыхал по рельсам, промозглый серый воздух стоял в вагоне, а снаружи все сильнее барабанил дождь, крупным бисером унизывая стекла окон.

Марья Львовна перестала плакать, быстро отерла слезы и спокойно, слегка даже оживляясь, заговорила:

— Это такой поразительный был ребенок: ему и четырех еще не было, а соберутся вдвое старше его, и он всегда во главе всех. Где он, там и жизнь, там и возня... И добрый, добрый... Кто плачет, или там обидели — все свое отдаст, всегда сумеет так утешить, что самый капризный перестанет... И всегда ему доставалось: все непременно хотят делать то же, что и он... Отнимут у него все игрушки, бывало; он обидится, сядет где-нибудь на стуле, а через минуту, смотришь, он уже этот самый стул таскает за собою по комнатам и хохочет, и кричит, что это его лошадка; и всем уже ничего больше не хочется, все бегут за ним и кричат и хохочут, как и он. Вы знаете дочку брата, Моку, ровесницу Вали? Она ведь тоже была при смерти. Она осталась жива, а Валя вот... За день или за два до ее болезни они с Валей и с другими детьми играли. Валя, по обыкновению, остался без игрушек, а Мока и говорит: «Валя, я подарю тебе мою сталую коляску». Вот и подарила: сама выздоровела, а Валя уехал в ее коляске...

Марья Львовна опять прижала платок к глазам и долго плакала.

— Но скажите, что же за болезнь? — спросила ее подруга.

Она перестала плакать и опять спокойно заговорила:

— Мокочка заболела скарлатиной, осложненной дифтеритом, а Валя — кто его знает — так в один день сгорел. Всегда был такой огненный, быстрый, и так же быстро и исчез. Никого не захотел затруднять. Конечно, слава богу, что хоть Мокочка жива осталась; но Валя всегда был ее кавалером и так и пошел за нее... туда... Еще в обед он был совершенно здоров... Я пришла от Лозовых, знаете, у них девочка,— мой Валя все ее невестой зовет, ну и та его тоже... Прислала Вале коробочку... Я вхожу, знаете, в детскую, даю Вале коробочку и говорю ему: «Это твоя невеста...» А тот глупенький...— Марья Львовна быстро смахнула слезу — говорит: «А моя где невеста?» У меня было несколько цветочков в руках. Я даю ему и говорю: «Вот твоя невеста...» Он схватил цветочки и побежал по комнатам: «Цветочки моя невеста, цветочки моя невеста...» — Слезы обильно текли по большому лицу Марьи Львовны,— она уже не вытирала их.— А на другой день он уже лежал в гробу с этими самыми цветочками... Точно спит... Все сперва успокаивал меня: «прошло, прошло», а потом только: «мама, мама!..»

После долгой паузы спутница Марьи Львовны повторила вопрос:

— Да отчего же он умер?

Марья Львовна пожала плечами:

— Рвота, рвота и уж под самый конец, за четверть часа, может быть, страшный жар, судороги — и конец...

— Отравление?

— Не-ет... Доктора называли — я забыла... какой-то органический недостаток в строении желудка. Это еще хуже, чем болезнь... Ну, мне пора...

Марья Львовна тяжело встала, пожала руку своей знакомой и, продолжая говорить, двигалась к выходу.

— Теперь вот, как этот вагон качается, так и подо мной все качается... ничего прочного. Может быть и Дима с Мирой... И так страшно, страшно, такая тоска... А он как живой передо мной: «мама, мама!..»

Она говорила это, уже подходя к площадке, какими-то слепыми глазами горя смотря перед собой.

Дверь захлопнулась за ней; на мгновение в потном стекле окна, выходившего на площадку, обрисовалась ее большая тень и исчезла в серой дождливой мгле холодного вечера.

ГЕНИЙ [1]

I

Все в городе знали старого громадного еврея с длинными, всклокоченными, как львиная грива, волосами, с бородой, которая от старости была желта, как слоновая кость.

Он ходил в лапсердаке, в стоптанных туфлях и только тем разве и отличался от остальных евреев, что смотрел своими громадными навыкате глазами не вниз, как, говорят, смотрят все евреи, а куда-то вверх.

Проходили годы, поколения сменялись поколениями; неслись с грохотом экипажи; озабоченной вереницей торопились мимо прохожие, мальчишки, смеясь, бежали,— а старый еврей, торжественный и безучастный, все так же двигался по улицам с устремленным взглядом туда вверх, точно он видел там то, чего другие не видели.

---

[1] В основание рассказа взят истинный факт, сообщенный автору М. Ю. Гольдштейном. Фамилия еврея — Пастернак. Автор сам помнит этого еврея. Подлинная рукопись еврея у кого-то в Одессе. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.*)

II

Единственный человек в городе, которого старый еврей удостаивал своего внимания, был учитель математики одной из гимназий.

Каждый раз, заметив его, старый еврей останавливался и долго, внимательно смотрел ему вслед. Может быть, и учитель математики замечал старого еврея, а может быть, и нет, потому что это был настоящий математик,— рассеянный, маленький, с физиономией обезьяны, который ничего, кроме своей математики, не знал, не видел и знать не хотел. Засунуть в карман вместо платка губку, которою вытирают доску, явиться на урок без сюртука стало для него настолько обычным делом, а глумление учеников дошло до таких размеров, что учитель, наконец, вынужден был оставить преподавание в гимназии.

С тех пор он весь отдался своей науке и выходил из дома только для того, чтобы пообедать в кухмистерской. Жил он в своем собственном, доставшемся ему от отца большом доме, сверху донизу набитом квартирантами. Но почти никто из квартирантов ничего не платил ему, потому что все это был неимущий, бедный люд.

Дом был грязный, многоэтажный. Но грязнее всего дома была квартира из двух комнат в подвальном этаже самого учителя, вся заваленная книгами, исписанной бумагой, с таким толстым слоем пыли на них, что если бы поднять ее всю враз, то, пожалуй, можно было бы и задохнуться.

Но ни учителю, ни старому коту, другому обитателю этой квартиры, никогда и в голову не приходила такая мысль: учитель неподвижно сидел за своим столом и писал выкладки, а кот без просыпу спал, свернувшись клубком на подоконнике с железными решетками.

Пробуждался он только к обеду, когда наступало время встречать учителя из кухмистерской. И он встречал его улицы за две — старый, облезлый. Долгим опытом кот знал, что из тридцатикопеечного обеда полпорции отрезывались для него, завертывались в бумагу и выдавались ему, когда он возвратится домой. И, предвкушая наслаждение, кот с высоко поднятым хвостом, изогнутой спиной, весь в клочках слежавшейся шерсти, шагал по улицам впереди своего хозяина.

III

Дверь в квартиру учителя отворилась однажды, и в нее вошел старый еврей.

Старый еврей не спеша вынул из-за жилетки грязную, толстую, всю исписанную по-еврейски тетрадь и передал ее математику.

Математик взял тетрадь, повертел ее в руках, задал несколько вопросов, но старый еврей, очень плохо говоривший по-русски, почти ничего не понял, но математик понял, что в тетради речь идет о какой-то математике. Понял, заинтересовался и, найдя переводчика, занялся изучением рукописи. Результат этого изучения был необычный.

Через месяц еврей был приглашен в местный университет в отделение математического факультета.

В зале заседали математики всего университета, всего города, заседал и старый еврей, такой же безучастный, со взглядом вверх, и через переводчика давал свои ответы.

— Сомнения нет,— сказал еврею председатель,— вы действительно сделали величайшее из всех в мире открытий: вы открыли дифференциальное исчисление... Но, к несчастью для вас, Ньютон уже открыл его двести лет назад. Тем не менее ваш метод совершенно самостоятельный, отличный и от Ньютона и от Лейбница.

Когда ему перевели, старый еврей спросил хриплым голосом:

— Его сочинения написаны на еврейском языке?

— Нет, только на латинском,— ответили ему.

IV

Старый еврей пришел через несколько дней к математику и кое-как объяснил ему, что желал бы учиться математике и латинскому языку. В числе квартирантов учителя нашлись и студент-филолог и студент-математик, которые за квартиру согласились учить еврея: один — латинскому языку, другой — основам высшей математики.

Старый еврей ежедневно с учебниками приходил, брал уроки и уходил учить их на дом. Там, в самой грязной части города, по темной, вонючей лестнице взбирался он среди коростливых детей на свой чердак, пожертво-

ванный ему еврейским обществом, и в сырой, грибами поросшей конуре, присев у единственного окна, учил заданное.

Теперь, в часы отдыха, старый еврей, на вящую потеху ребятишек, часто шагал рядом с другим уродом города — маленьким, с лицом обезьяны, учителем. Молча шли они, молча расставались и только на прощание пожимали руку друг другу.

V

Прошли три года: старый еврей мог уже прочитать в подлиннике Ньютона. Он прочел его раз, другой, третий. Сомнения не было. Он, действительно, он, старый еврей, открыл дифференциальное исчисление. И действительно, оно было уже открыто двести лет тому назад величайшим гением земли. Он закрыл книгу, и все было кончено. Все было доказано, это знал он один. Чуждый волновавшейся вокруг него жизни, ходил старый еврей по улицам города с бесконечной пустотой в душе.

Застывшим взглядом он смотрел на небо и видел там то, чего другие не видели: величайшего гения земли, который мог бы подарить мир новыми величайшими открытиями и который пригодится только для того, чтобы быть посмешищем и забавой детей.

Однажды нашли старого еврея мертвым в его конуре. В застывшей позе, он, как изваяние, лежал, облокотившись на руки. Густые пряди цвета пожелтевшей слоновой кости волос рассыпались по лицу и плечам. Глаза его смотрели в раскрытую книгу и, казалось, после смерти еще читали ее.

БАБУШКА

I

Большое место. Больше остального города. И все огорожено высоким кирпичным забором. Забор окрашен красной краской и разделан белыми полосками под кирпич. Главный дом в два этажа, такой же кирпичный и с такой же разделкой, выдвинулся и угрюмо смотрит сверху на город, большую реку, широкой стальной лентой теряющуюся в мглистой дали синих лесов. Ворота тяже-

лые, с пудовыми скобами и с большими висячими замками. Калитка рядом. Она отворена, и виден мощеный двор, кругом двора строения,— тяжелые, прочные, все на замках. Дальше другой двор, где фабрика, ряд высоких труб, снует озабоченный народ, тянутся обозы кож — сырых, выделанных.

Сама бабушка осмотр делает. Заглядывает во все закоулки. Остановится, спросит, выслушает, сделает замечание и — дальше.

Сзади бабушки тяжело шагает желтый, как тесто, и такой же сырой внучек — Федя, двадцатидвухлетний парень. Глаза у него ласковые, задумчивые, шея короткая. Бабушка косится на него, на толпу приказчиков, идет и думает свою заветную думу.

Внук не в бабушку. Шестьдесят лет ей, а стройна, как девушка, лицом суха, глаза большие, черные, голова повязана черным платком. И теперь красота видна, а в молодости первой красавицей на две большие реки, Волгу и Каму, слыла.

Что красота! Так умна бабушка, как и мужик редко бывает, и твердо ведет большое, на пять губерний, кожевенное дело.

И ни одного худого слуха про бабушку не было и нет. Тверда в старинном благочестии, и без ее воли не то что попа — архиерея не посадят.

Уезжала бабушка и целый месяц была в отлучке: внуку невесту искала.

Приехала, в бане помылась, в часовне обедню отстояла, завод теперь осматривает, обедать сядет, после обеда поспит, а потом за внуком пошлет и объявит ему его судьбу.

Федя одет по-городскому, идет за бабушкой, добродушно посматривает на ее старомодный костюм и угадывает, что-то скажет она ему.

Со вчерашней гульбы с приказчиками голова его тяжелая, да и вообще неохота о чем-нибудь думать: пообедать да спать, а вечером, когда бабушка уляжется,— к ребятам... Эх, и весело же пожили без бабушки!

Подошли к дому, остановилась бабушка на крыльце, оглянула всех и сказала:

— Ну, хоть и не так-то в порядке, как надо бы, да бог с вами на этот раз: приходите все обедать — икорки, да рыбки, да соленьев из далекой стороны привезла.

Весело загудела толпа, угадывая истину.

Старший приказчик сказал:

— Дай бог, Анфиса Сидоровна, чтоб далекая да чужая сторона близкой да родной стала.

Все весело смотрели на Федю; а он, как девушка, покраснел и глаза потупил.

И бабушка смотрела на него.

— Воля божия...

Бабушка ушла, а по заводам молнией разнеслось: женят наследника. Свадьба, гулянье, женится — дети пойдут, обеспечится дело, а с ним кусок хлеба тысячам.

Проснувшись после обеда, бабушка позвала не внука, а няню покойного своего сына.

В низкой комнате, с большой изразцовой печкой и лежанкой, с божницей во весь угол, со столом, покрытым скатертью, поверх которой стояли теперь самовар, сушки, крендели,— пахло травами, лампадным маслом, свечами из чистого топленого воска,— пахло стариной, миллионами, десятками миллионов.

— Ну, садись, слушай,— все тебе выложу, и суди меня: умно или глупо я сделала дело. Первым делом в Елабугу я поехала к сводному брату. Два дня погостила,— примечательного ничего, и дальше. Ну, словом, Каму изъездила, Вятку изъездила, Белую,— там-то и вовсе опустел народ,— тут в Перми приметила одну, хотела уж было к ней ехать, да все слышу то тут, то там — про Кунгур мне шепчут...

— Коренного благочестия сторона,— вздохнула нянька.

— Дочь лесовика. И лесам счету нет, и деньгам и сама-то красавица писаная, и семья старого благочестия, хоть уж не очень так, не до дикости: дочка, как мой же, по-городскому одевается. Бежим мы по Каме пароходом,— я уж, значит, порешила было в Пермь ехать,— снится мне сон, что в лесу я. Ели высокие, до неба, мохнатые, иду я, оглядываюсь, без дороги...

— Страсти-то какие! — снова вздохнула нянька.

— А ты слушай, то ли еще будет... Вдруг прямо на меня медведь,— агромадный, на задних лапах, прямо на меня. Хочу я крикнуть — нет голоса, а он навалился на меня да мордой тычет в лицо, тычет, а морда мохнатая да мягкая...

— Это к добру: это свой же домовой по тебе соскучился.

— А тут человечьим голосом, да как из ружья: Федю.

— Вещий сон...

— Ну вот: пришла я в себя, стала соображать и проехала прямо в Кунгур... Ну, вот что я тебе скажу: живут проще нашего, а капиталов там, имущества не меньше, и одна, как перст божий... Матрена... Девка — не хуже, как я была...

— Ну, быть этого не может...

— Сама увидишь.

— И увижу, не поверю: не было и не будет красавицы против тебя...

— Ну, пустое толкуешь... Высокая, статная, коса, как канат якорный, шея длинная, кряжистая, лицом красавица, брови дугой, глаза серые,— диво, а не девка. В баню с ней ходила, все высмотрела. Бедра — во! Тройню и то не крякнет, родит... Ну, спеси маленько будет, нрав есть, да ведь я не такая ли была? Вахлаку-то нашему только польза. Так уж во всем роду ведется: бабы верховодят. В одном только и верх их: и мать его, и я, и мужнина мать — ведь всё бабы какие? Шеи длинные, а перебить не можем их род: как ни уродится, опять шея короткая... глядишь: опять к тридцати пяти годам, когда только и жить бы, нальется и лопнет, как гнилой пузырь.

— Бог милостив,— вздохнула нянька,— новая-то, может, и перебьет... Вишь, медведь тебя мял, у себя в лесу — вроде того, что на свою линию перевернул дело...

— Дай бог, дай бог. Ну, что ж, как, по-твоему: хвалить или ругать меня надо?

— Ну, ругать... этакую умницу: какое дело сделала. И своего девать некуда, а тут столько же еще, да и пава сама притом... И намучилась же, поди! устали тебе нет... по заводам пошла, туда, сюда: как молоденькая ровно... Фу, фу, чтоб не сглазить только...

II

Внук хоть и знал, что бабка ему скажет, тем не менее известие так на него подействовало, что не захотел он и к ребятам идти, а прямо от бабки прошел в свою светелку, сел там у окна и задумался.

И знал он, что все так и будет, и ждал, а как случилось, как будто и не ждал и не гадал. Все сразу переменилось, и он сам словно другой вдруг стал.

Солнце садиться хочет и точно остановилось вдруг, и все остановилось, как и в нем, и сидит он и, неподвижный, смотрит, как блестит в огнях река, как загорелись

прозрачные тучки в небе, как тихо стало и задумалось все вместе с ним... Песню где-то запели... Где он слышал эту песню? Он сам играл ее... Давно. Когда готовился в гимназию и жил у учителя.

Только тогда, когда играл он ее, был вечер. Весна была, цвели черемуха, сирень. Окна были раскрыты. Темно было в комнате, только месяц светил. Он играл, а племянница учителя Паша стояла перед ним и слушала. Играл эту песню, а потом свое заиграл и все смотрел ей в глаза, как в ноты, и играл.

Он умел играть, играл с детства: единственное его дарование.

Звуки лились, наполняли маленькую комнату, вырывались через открытые окна в сад, где стоял май; светлая пыль стояла над садом, и месяц сиял жгучий, такой жгучий, что будто таял вокруг него освещенный кусочек голубого неба.

Он перестал играть, и стало тихо, так тихо, что слышно было, как билось его сердце... В саду щелкал соловей, и, как пьяный, говорил он Паше:

— Хорошо ли играл я?

Паша тихо ответила:

— Хорошо.

Он взял ее руки, наклонил к ней лицо и еще тише спросил:

— А меня любишь ты? Хочешь быть моей женой?

— Хочу,— шепнула Паша.

На другой день Федя с рассветом укатил в свою деревню и написал оттуда два письма: бабушке и Паше. Бабушке он писал:

«Дражайшая бабушка, Анфиса Сидоровна! Уведомляю вас прежде всего, что молитвами вашими, слава богу, нахожусь в добром здравии. Уехал же я в деревню и экзамена не держал, так как всю грудь мою разломило, и доктора стали даже опасаться чахотки и велели мне все науки бросить, если не желаю скорой смерти. Так если за ученье надо в гроб ложиться, так лучше же хоть дураком, да жить на этом свете. А, впрочем, ежели вы непременно настаивать будете, то буду держать экзамены осенью. По хозяйству все благополучно. Сидорыч орудует здорово и мужикам в обиду себя не дает. Я тоже, как сумею, буду ему помогать. Нижайше кланяюсь вам и прошу вашего благословления и буду ждать здесь, в деревне, ваших дорогих писем. Вам известный внук ваш Федор Овчинников».

Второе письмо к Паше. Там, между прочим, писал он: «Паша, я люблю тебя, и ничего мне другого в жизни не надо. Я уже знаю, что и ты меня любишь. А любишь, так мы женимся и будем жить здесь в деревне. Ведь через два месяца исполнится мне 18 лет, и тогда я женюсь, и потом уж никакая бабушка ничего с нами поделать не может. Эти два месяца надо протянуть, только: храни бог, чтоб не узнала бабушка. Я для отвода написал уж ей письмо: вру там про чахотку и прочую канитель развожу насчет ученья. Какое уж тут ученье, Паша, любимая моя, дорогая, когда теленок кричит сейчас — мать зовет, а земля зовет, чтобы пахать ее, а мое сердце зовет тебя, а в сад выйду, соловей спрашивает: «Где Паша?» С горя сяду играть и забуду все».

Написав письма, он задумался и слушал, как блеяли овцы, мычали коровы, звонко кричали бабы и ребятишки, шумела весенняя вода по оврагам, пахло вспаханной землей.

Он положил письма в конверты и отправил их.

И вот до сих пор никакого ответа от Паши. Как будто во сне все это случилось.

Пропал и учитель и Паша: как в воду канули. Ездил он к ним и в город: уехали... Уехали куда? Почему? Сначала болело сердце, и плакал он, а потом изжилось. Бабушка не настаивала больше на ученье, стала исподволь к делу приучать его; начал он с молодыми приказчиками гулять,— так и пошло все своим чередом, день за днем, до сегодняшнего дня, до этой минуты, когда сидит он и смотрит в окно, как там за деревьями сада загорается вечерними огнями небо, сверкает красная, точно пожаром охваченная река, и стоят на далекой горе одинокие, будто черные, деревья. Смотрит он, и щемит сердце сладко и больно.

III

Свадьбу сыграли веселую. Денег бабушка не пожалела, и зажили молодые.

Даже нянька признала, что другой такой красавицы не сыщешь.

Не только нянька, весь город кричал о красоте молодой.

Ее богатство, бриллианты, наряды еще сильнее подчеркивали эту красоту. И везде она была желанной

гостьей, щедрой благотворительницей, замкнутая в себе, загадочная. Рядом с нею шагал добродушный, толстый, молодой увалень, ниже ее ростом — ее муж.

Как относилась она к нему? Он благоговел перед ней,— это все видели, а что она к нему чувствовала, того никто, даже сама бабушка не знала.

Бабушка, пытливо наблюдавшая свою невестку-внучку и дома и в обществе, качала головой и говорила своей наперснице:

— Умная, загадка-девка, недотрога. И думаю: Федюшке за ней горя не ведать.

Третий год проходил, а детей у молодых не было. Бабушка тоскливо думала: «Еще несколько лет, и лопнет Федюшка,— тогда что ж? Конец всему? Все эти фабрики, заводы, все, что столетним трудом наживалось, копилось,— пойдет прахом... Чужим достанется? И само имя ее унесет время, как ветер уносит засохший лист». И эта мысль буравила бабушку и холодом могилы охватывала ее. Все средства, какие знала, испробовала она; с кем ни советовалась — ничего не помогало. Жаловалась она няньке:

— Эх, захватило меня всю это дело. И чую: либо я его сломлю, либо оно меня в гроб загонит. Какие, казалось, дела были, шутя распутывала, а с этим что больше думаю, то больше запутываюсь!

— Вижу, вижу, что сохнешь ты,— тяжело вздыхала нянька.

Еще прошло некоторое время, и бабушка решилась. Она позвала к себе невестку, усадила ее в кресло, заперла плотно дверь и заговорила:

— Слушай, девка, полюбила я тебя, как дочку. Всем ты взяла, всем ты угодила мне, всего моего богатства наследница — ты. Но что ж ты внука мне не даешь? Внука хочу... Хочу внука! Откуда хочешь бери! Поезжай с мужем на богомолье, поезжай, куда хочешь... Внука, внука мне! Слушай: ты девка умная. Вот какое дело стряслось раз. Расскажу тебе то, что и попу на исповеди не рассказывала. Запутался мой покойный муж. И не велики деньги, да к сроку,— банков всяких не было еще тогда,— выходило полное разорение. На восемьсот тысяч векселей, завтра платить, а платить нечем. А была я в свое время не хуже тебя, девка, и знала себе цену, и того старика знала, у которого те векселя. Вечер пришел, ничего не придумали, значит, позор. Вот перед этими самыми

образами упала я на колени, помолилась, накинула платочек, да никому ни слова не сказав...

Бабушка наклонилась к молодой женщине и шепотом прохрипела:

— Все векселя и сейчас вон в том комоде... Вот как я спасла состояние роду... а теперь самый род надо спасать. Уж так, видно, на этом роду и написано, чтобы он бабами держался.

Бабушка кончила, а невестка, неподвижная, с опущенными глазами, как статуя, слушала и молчала. От ее молчания бабушке стало жутко и холодно.

— На богомолье поеду,— наконец, сказала она, встала и вышла.

Бабушка растерянно сметала крошки со стола, подходила к образам, оправляла лампадки, смотрела из окна на реку, на которую больше полувека смотрела, и мучительно рылась в своих мыслях. Лучше или хуже вышло и что там в скрытой душе ее внучки таится?

IV

Большой волжский пароход готовился к отплытию вниз по реке. В рубке первого класса сидела бабушка, провожавшая своих молодых в дорогу. Забрались на пароход спозаранку. У молодых был попутчик: ехал в свое именье товарищ внука, Петр Маркелович Сапожков. Тоже из купцов, из богатых, на своих ногах уже,— весельчак и кутила, которому бабушка потому многое спускала, что рос вместе с Федюшкой и в детстве, бывало, не выходил из ее дома.

С Сапожковым ехали еще двое, тоже попутчики: актер и актриса. Актриса ушла в каюту, а актер разговаривал с Сапожковым. Бабушка как увидала актера, так и впилась в него глазами: такого молодца еще и не видывала она.

Бритый актер, высокий, статный красавец, одетый с иголочки, с римским носом, красиво изогнутым ртом, говорил Сапожкову снисходительно мягким баритоном:

— Пойми же: совершенно невозможно...

—Нет, уж если ты приятель,— настаивал Сапожков,— то ты прямо говори, почему не можешь заехать ко мне в именье?

Актер с высоты своего роста снисходительно смотрел на красивого, но не вышедшего ростом Сапожкова и, усмехаясь, говорил:

— Чудак ты, и между приятелями не все говорится.

— Почему не все? — Сапожков заметил пытливый взгляд бабушки, обращенный на актера, скорчил лукавую физиономию и сказал вполголоса актеру: — Видишь эту старушку: эта молодая за ее внуком... Теперь два капитала их соединились,— всего миллионов шестьдесят.

Актер потерял на мгновение свое величие и даже пригнулся к Сапожкову.

— Не может быть?! Что ж они делают с деньгами?

— Ты думаешь — глаза им протирают?

— Ты за правило, любезный, раз навсегда возьми себе: думать только за себя. Я спрашиваю тебя: что они с деньгами делают?

— Что делают? Они сами по себе, а деньги сами по себе. Деньги работают. Фабрики, заводы, имения, лесное дело: оборот большой, денег много надо.

— М-да, это значит, не наличными?

— И наличными несколько миллионов найдется.

Актер вздохнул и равнодушно ответил:

— И это недурно.

— Ты бы их живо пристроил?

— М-да... в сторожа к своим деньгам во всяком случае не нанялся бы...

— Ха-ха-ха... Актер, так актер и есть: сразу такое слово скажет, что как бритвой... Чик — и нет бороды, чик еще — и усов нет, третий чик — и миллионы туда же.

И Сапожков заливался веселым смехом.

Актер смотрел на него снисходительно, смеялся мелким «хе-хе-хе» и говорил:

— Веселый ты человек, ей-богу...

— Нет, нет, ты смотри, как бабушка тебя меряет; я к ней побежал.

Он с эффектом опустился в кресло около бабушки, ушел совсем в кресло и даже ногу за ногу заложил.

Федя с женой сидели поодаль. Федя робко, с слегка открытым ртом, почтительно следил за товарищем и старался угадать, о чем он говорит с бабушкой.

— Что за человек будет? — спрашивала бабушка Сапожкова, указывая на актера.

— Столичных театров артист, Анфиса Сидоровна, и талант! Цветами его засыпали. Сколько подарков...

— Ну, это там его дело. Он что ж, по облику, ровно не русский; темный с лица?

— А не знаю я... Да можно самого его спросить... Эй, Александр Николаевич, пожалуйста,— а на движение ба-

бушки Сапожков успокоительно ответил кивком головы и шепотом прибавил: — мы с ним дружки, на «ты».

В это время подошел Александр Николаевич Сильвин.

— Вот, позволь тебе представить... это — бабушка моего товарища; Анфиса Сидоровна интересуется, откуда ты родом.

— Вам угодно знать мою родословную?

В это время вышла миловидная актриса Марья Павловна Львова, и Сапожков, бросив скороговоркой Сильвину: «садись на мое место», побежал к ней.

Сильвин, сев в кресло, как актеры сидят на сцене, когда изображают воспитанных из общества людей, говорил бабушке:

— Э-э... изволите ли видеть, моя фамилия, сударыня, собственно: Сильва... Э-э,— он выдвинул нижнюю губу,— я происхожу из венецианской семьи маркизов Сильва... Вы изволили быть в Венеции?

Бабушка сдвинула брови:

— Это где же?

— Это далеко отсюда, не в русской земле... Может быть, изволили слышать: венецианские кружева?

— Одним ухом слыхала.

— Ну, вот... кроме кружев, там есть дворец Дожей, в нем портреты всех дожей... Вот один из моих предков и висит там...

— Его за что же это?

— Э-э... Он вел очень удачную войну... с маврами...

— В этом городе ка́кой же народ живет?

— Итальянцы.

— Вы из них и будете?

— Собственно, мать моя из старинного русского рода... Э-э... И ростом с меня... сейчас жива, бабушка еще жива... я, конечно, уже русский. Крестил меня русский поп. Ну, сам я хоть в церковь не хожу, но все-таки православный.

— Что ж? В той стороне все такой же, как вы, народ?

— То есть как?

— Такой же крупный?

— Э-э, как вам сказать... Тут, знаете, много значит разная порода. Такие дети всегда будут и здоровее и крепче.

Бабушка вспомнила о своих коровах, выписанных из Англии, об отличном приплоде от них, который продавала по сто рублей за трехмесячного теленка, и сказала:

— Это ты верно говоришь... А далеко изволишь ехать?
— В Ростов. Но хочу по Волге прокатиться.
— Вот и мои тоже вниз бегут.
— А... По делу?
— На Илек — к старцам... по детскому делу... не дает бог детей.
— Гм... Странно: молодые, красивые люди...
— Вот, поди ты... Не дает господь... Не помогут ли старцы?

Александр Николаевич покосился на бабушку, хотел было сказать какую-то пошлость, но только вздохнул и заметил:

— Жалею, что я не старец.
— А что?
— Тоже молился бы, чтоб такой красавице бог детей дал... Вот зовет меня Петр Маркелович к себе в имение. Имение у него хорошее?
— Плохо ли имение: в одном парке заблудиться можно, оранжереи, персики, ананасы свои.
— Хорошо бы и вашим молодым заехать перед богомольем повеселиться.
— Их дело,— сухо ответила бабушка,— если позовет Петр Маркелыч да надумаются они...

Петр Маркелыч ушел на корму с Марьей Павловной, где их и нашел Сильвин.

— Вы уж извините, Марья Павловна, если мы вас оставим на минутку,— проговорил Сильвин, отводя Сапожкова в сторону.
— Я уж все заказал и шампанское велел заморозить,— начал было Сапожков.
— Не в этом дело,— перебил его Сильвин,— я бабушке сказал, что еду к тебе; тут молодые подошли, и, по-моему, как-то неловко выйдет, если ты и их не пригласишь.
— Ах, я телятина! Бегу...
— Постой. Видишь: ты тогда спрашивал меня, почему я не могу заехать... Я не хотел было говорить... Дело в том, что у меня в Саратове назначено свидание с одним господином, который должен мне передать две тысячи... Э...э... ты понимаешь: человек он ненадежный,— сегодня есть у него деньги, а завтра не будет. Не приеду я в назначенный срок — рискую остаться без денег.
— Так тебе дать их, что ли?
— В таком случае дай.
— Ты бы и сказал: дам, конечно. На какой срок?
— Ну, полгода.

— Идет... Побежал я звать молодых.

Сильвин же подсел к Марье Павловне, положил свою широкую руку на ее и сказал:

— Моя дорогая, вы мне можете очень и очень помочь... Э-э... дело в том, что этот Сапожков соглашается ссудить меня двумя тысячами... Эта сумма дала бы нам возможность после Ростова побывать за границей. Как вам улыбается эта перспектива?

— Очень.

— И прекрасно. Но для этого оказывается необходимым заехать к нему в деревню, так как он, как настоящий сын своего народа, деньги, очевидно, в кубышке держит или в каком-нибудь старом голенище. Что делать! Потеряем сутки... Имение, говорят, у него к тому же прекрасное.

Сильвин ласково сжал руку Марьи Павловны и, глядя куда-то вдаль, бросил:

— Будьте с ним поласковее.

Но Марья Павловна так энергично спросила: что это значит? — что Сильвин поспешил прибавить обиженно:

— О, господи, да решительно ничего не значит... Ну, внимание, разрешение поцеловать руку, ну, э-э... создать иллюзию человеку...

И уже совсем тихо и брезгливо прибавил:

— Не будем же хоть мы изображать из себя мещанский тип мужа и жены: кому надо знать о наших отношениях? Вы знаете, какого я мнения об этом: всякая огласка только пошлит, это должно быть так же сокровенно, как человеческая мысль. А такой флирт только отвлечет...

— Ну, согласна...

Он поцеловал ей руку и встал, потому что сверху уже несся третий свисток.

Бабушка, грустная, уже сходила на конторку.

— Не хотят мои ехать,— пожаловалась она Сильвину.

— Может быть, еще уговорим. Во всяком случае прощайте, милая бабушка, я буду очень рад и счастлив когда-нибудь еще раз встретиться с вами... Я простой человек и откровенно вам скажу, что в первый раз вижу такой тип... э-э... такой тип человека старых устоев... Ну, дай же бог вам всего хорошего: чтобы ваши заводы работали без перерыва и вдвое; коровы давали молока... ну, бочками там, что ли; чтобы радовали вас ваши внуки, правнуки, праправнуки...

— Ну, этак ты меня заговоришь, и я останусь на пароходе. Хорошим людям и мы рады, хоть ты там и вышел не из русской земли...

— Везде бог, и везде люди,— говорил своим ровным баритоном Сильвин вдогонку бабушке.

Бабушка стояла уже на конторке, и напряженная неотступная мысль буравила ее голову. Она глубоко вздыхала.

— О чем еще может вздыхать эта женщина? —говорил Сильвин, обращаясь в это время к Сапожкову.— Все судьба дала ей. Воображаю ее в молодости.

— Вот такая же была, как теперь внучка.

— О, внучка — это прямо чудо природы. Какое сочетание величия, женственности, красоты. И кто б мог думать, что из этих диких лесов может выйти такая фея. Я смотрю на нее и чувствую запах, аромат, свежесть этого леса (он возвысил голос)...— в майское яркое утро, когда еще роса сверкает на листьях, и нега кругом, и лучи золотой пылью осыпают там дальше непроходимую чащу, полную чар, манящих, неведомых, полных таинственной загадочности. О, с ума можно сойти!

Он повернулся к Матрене Карповне и сказал восторженно:

— Я удивительно люблю ваши леса, я обожаю их! Я готов дни, ночи напролет ходить там, думать, бог весть о чем мечтать. Удивительно! Вам не совсем хорошо видно: с тех мостков вы лучше увидите.

Матрена Карповна поднялась с Сильвиным по мосткам. Там на верхней палубе стояли они одни, высоко над всеми, над всей рекой, спокойной и плавной, над маленькой конторкой, уже исчезавшей за поворотом, где была еще бабушка и крестила их двуперстным крестом.

V

Обедали, шампанское пили, тосты провозглашали. Александр Николаевич был в ударе: декламировал, рассказывал в лицах и, по обыкновению, овладел общим вниманием.

Разошлись до того, что после обеда Сильвин и Сапожков стали прыгать через стулья. Сперва прыгали через один, а потом поставили стул на стул. Сильвин

перепрыгнул, а Сапожков вместе со стульями полетел на пол.

Пока обиженный Сапожков, растирая себе ногу, стоял у окна, Марья Павловна упрекала Сильвина.

— Но откуда же я знал? — говорил он с своей обычной интонацией.— Он же говорил, что брал уроки гимнастики.

Это обстоятельство на время расстроило компанию. Сапожков ушел к себе в каюту, ушла и Марья Павловна, а Федя сел за рояль. Стоило ему только дотронуться до клавишей, как полились звуки, и Федя, по обыкновению, забыл все на свете.

— Какой, однако, он у вас артист,— заметил Сильвин, присаживаясь возле Матрены Карповны.

Вышла Марья Павловна. Сапожков появился, и все вместе с Матреной Карповной и Сильвиным ушли на палубу.

Ровно, усыпляя, шумел пароход и мчал вниз по течению. Проносились берега, покрытые лесом; гористые, далекие поля, как шахматные доски с черными, зелеными, белыми и желтыми шашечницами. В высокой синеве парил орел, а из открытых окон рубки неслись нежные звуки мелодичной фантазии молодого артиста.

Он играл и машинально смотрел в окна, как вдруг глаза его остановились и дыхание захватило в груди.

Он увидел Пашу.

Паша, живая, стояла перед ним и смотрела, как смотрела тогда, в тот вечер.

Руки задрожали у Феди, он сбился было, но пригнувшись к роялю, опять заиграл, не отрывая больше своих глаз от клавишей.

А мысли, воспоминания бурно, с необычной быстротой проносились в его голове.

Паша... Откуда она взялась? И как смотрела! Как бы с ней хоть словом, другим перекинуться, узнать по крайней мере, что так и осталось для него навсегда загадкой?

Пароход между тем уже подходил к пристани, где надо было сходить Сапожкову, и они вдвоем с Сильвиным усердно уговаривали Матрену Карповну согласиться и поехать в имение.

— Ну, вот что,— настаивал Сапожков,— хоть на минутку заезжайте: пароход два часа стоит, а усадьба от города и версты не будет да до города не больше трех.

Вот и лошади,— на этой тройке тридцать верст в час уедешь. Ну, ради бога, ну, я на колени встану: Матрена Карповна, голубушка. Царица милостивая!

Сапожков действительно упал на оба колена и обе руки поднял к небу.

— Я тоже готов умолять.— И Сильвин картинно уже опускался на одно колено, когда Матрена Карповна милостиво изъявила свое согласие. Сапожков со всех ног бросился к Феде.

Сапожков возвратился скоро и принес удививший всех ответ: «Поезжайте сами, играть хочу».

— Что ж, господа,— сказал Сильвин, оглядывая всех,— не будем безжалостны: надо войти в положение артиста: эти муки и радости,— то, чем живем мы,— он так чудно передает звуками, что ему грех мешать.

VI

Федя остался один на пароходе и, играя, опять смотрел в окно. Но Паша больше не подходила.

Он перестал играть и встал.

Солнце село. День кончился, но свет электрических лампочек еще борется с последними отблесками вечерней зари. В противоположном зеркале отражается берег реки, охваченный бледным замирающим просветом запада, но из окна на юг уже глядит синего бархата темный вечер, теплый, мягкий.

Федя вышел на палубу.

Он шел и внимательно всматривался в сидящих на скамейках. Он издали узнал Пашу и долго стоял, не решаясь подойти.

— Здравствуйте,— чуть слышно раздалось над ухом Паши.

Она повернулась к нему, он подсел, и так же, как шесть лет тому назад, они опять сидели вместе и, казалось, никогда не разлучались.

Федя узнал то, что было для него до сих пор загадкой. Он перепутал тогда письма: бабушкино получила Паша, а Пашино — бабушка. На другой же день тогда к ним приехала сама бабушка, долго говорила с дядей, и через два дня, когда они уехали из города, дядя сказал Паше, что Федя отказался от нее.

Федя слушал, наклонив голову, и, когда Паша кончила, он не знал, о чем говорить... Все сделано, он женат

уже,— и такой далекой казалась Паша в своей скромной шляпке, темном платье. К тому же каждую минуту могла приехать жена...

— Эта высокая красавица — ваша жена? Дай бог вам счастья.

Но что это? Пароход уже отходит. Он бросился в рубку, в каюту — жены нет. Он выбежал опять на палубу: знакомые голоса кричали ему с конторки.

Это они: жена, Сапожков, актеры. Они кричали ему, что опоздали; кричали, чтобы со следующей пристани он ехал назад и тогда к четырем часам ночи приедет, что лошади будут ждать его у пристани, что захватил бы вещи актеров; еще что-то кричали, но он не слышал, потому что колеса уже хлопали по воде, и махина-пароход с сотнями разноцветных глаз в мягкой синеве ночи уже уползал на средину реки.

VII

Компания на берегу опять села в экипажи и уехала назад в усадьбу. Там ждали их с ужином, с иллюминацией; горели в саду и в парке фонари, жгли костры, и громадная усадьба, казалось, поднялась на воздух и качалась там, в волнах света и дыма.

— Но это очаровательно, это волшебно,— говорил Сильвин, стоя в красивой позе на террасе.— Господи, как живут здесь люди! Боже, как живут! Даже страшно подумать.— И он сделал страшные глаза и картинно поднял руки.

Тут же на террасе и ужинали.

За ужином снова пили шампанское и говорили тосты.

Говорил все тот же Сильвин.

— Я уже сказал двадцать тостов и, право, не знаю, милостивые государыни и милостивые государи, что еще сказать, чего еще можно пожелать счастливому обладателю этого волшебного замка... Я желаю разве, господа, чтобы настало, наконец, время, чтобы в таких же замках жила бы вся Русь.

— Ура, ура! — кричал захмелевший Сапожков.— Уважил... Спасибо тебе! Спасибо: русского человека не забыл! Господа, еще раз за здоровье высокоталантливого артиста!

Он обнимал за шею Сильвина, и тот, снисходительно мыча, наклонялся к нему и лобызался.

— А теперь, Александр Николаевич, благодетель, еще что-нибудь расскажи,— приставал к нему Сапожков.

— Кажется, все уже...

— Ну, все! Сто лет будешь говорить — всего не перескажешь...

— Гм... Ты думаешь?..

Сильвин задумался...

— Ну, уважь, пожалуйста!

— Изволь... Но я вперед прошу извинения у дам. Может быть, они извинят меня, приняв во внимание количество выпитого; может быть, если будут терпеливы и дослушают до конца, убедятся в чистоте моих намерений. Во всяком случае, рассчитываю на снисхождение... Я рассчитываю на то, наконец, что завтра мы расстанемся и, может быть, навсегда. При таких условиях люди иногда охотнее открывают друг другу свои души. Душа — та же книга... Раскрывать ее, перелистать несколько страниц... Если собранию не наскучило, я предлагаю рассказать одну из таких страниц моей жизни, без лжи, а так, как это действительно случилось. Это ведь только и интересно, а не фантазия писателя: самая яркая из них ничего не стоит перед оригиналом всякой фантазии — жизнью... Я ехал однажды на пароходе. Я не старик, господа, нет; я клеветал бы на себя, если бы утверждал противное, но тогда я был еще моложе... Под вечер на одной из пристаней села дама — молодая, интересная. Это ведь сразу чувствуется. В эту даму я влюбился мгновенно, после первого взгляда. Влюбился безумно, и вот почему я всегда смеюсь, когда читаю, что влюбиться можно, во-первых, не иначе, как исписав несколько печатных листов, и, во-вторых, только после выяснения всех вопросов по части этики, политики и социологии. Человечество, конечно, всегда создавало и будет создавать барьеры для любви, а любовь всегда брала и будет брать эти барьеры, и я тоже влюбился, не справляясь, как это там понравится маменьке, приятелю, науке или религии. Мне помог познакомиться с ней случай. А может быть, и что-нибудь другое: я фаталист — верю в предопределение... Ветром сдуло ее шляпу в реку, и я, не долго думая, если не вру, кинулся за этой шляпой, да, да... Это было ужасно, я выкупался, но шляпу поймал, хотя едва-едва не утонул. После этого ей нельзя было не познакомиться со мной: я переоделся, и мы провели один из тех вечеров, который, как и пере-

живаемый нами, не забывается; чудный вечер... И вот чем еще был замечателен тот вечер: он подтвердил то, что тогда было для меня только предположением, а теперь фактом. Дело в том, что общение людей идет двояким путем: путем наших слов, жестов,— внешним путем, и другим, внутренним, в котором мы не вольны. И вот, до чего эти внутри нас сидящие договорятся, это мы узнаем по нашим непроизвольным действиям. Так, когда мы разошлись в тот вечер, я ушел к себе и долго сидел, смотря в окно. А потом какая-то сила вдруг подняла меня, и я пошел: я знал, что дверь ее каюты не будет заперта... Я прошу извинения: я слишком долго говорил и неудачно — это я сам чувствую,— но цель всего этого рассказа та, чтобы предложить, милостивые государыни и милостивые государи, еще один тост,— тост, которым я всегда кончаю те пиршества, где участвую. Господа, я предлагаю тост за женщину!

— Ура! Ура! — кричал Сапожков.

— А затем, повторяя слова Пруткова: если у тебя фонтан, то заткни его, потому что и ему надо отдохнуть,— я умолкаю и не скажу больше ни слова,— объявил Сильвин.

— Да, пора спать,— сказала Марья Павловна.

— Ну, так рано,— запротестовал было Сапожков, но Сильвин перебил его:

— Дамы действительно устали. А мы с тобой проводим дам до их апартаментов и воротимся назад.

Так и сделали.

Сапожков настоял, чтобы Сильвин на прощание продекламировал еще что-нибудь. После долгих отказов Сильвин задумчиво стал тереть лоб рукой.

— Чудную вещь я собираюсь поставить в свой бенефис... Не помню только...

— Что помнишь!

— «Но, Беатриче, что ж я дам тебе?..» Нет, забыл...

— Ну, ради бога!

. Случится, может быть, что у тебя родится сын.
Так знай же: коль это счастье улыбнется нам,
Ему я все заветное отдам.
О, да! О, боже мой, чем глубже погружусь
Я взором в тайну прелести твоей...

— Нет, не могу.

Сильвин быстро поцеловал руку Матрены Карповны, так быстро, что она не успела отдернуть свою, и только вспыхнула вся, и так же быстро ушел на террасу.

За ним пришел и Сапожков.

Разговор не клеился.

— Деньги мне сегодня дашь? — спросил Сильвин.

— Нет, уж завтра: у приказчика надо взять, а он, пожалуй, уже спит.

— Вексельный бланк у тебя найдется?

— Найдется.

— Ну, прощай, отведи меня в мою комнату.

Сапожков проводил и на прощание еще раз расцеловался с Сильвиным.

— И засну же я сладко,— говорил Сильвин, потягиваясь и провожая глазами идущего по коридору хозяина.

— Ох, и я! — весело ответил Сапожков и, поворачивая за угол, послал рукой поцелуй Сильвину: — прощай!

Проснувшись на другой день, Сильвин долго лежал с закрытыми глазами.

Затем он стал ждать, не придет ли кто-нибудь, не принесут ли ему кофе, которое он привык пить, лежа в кровати, и в это время думать о чем придется. Но никто не являлся, и приходилось вставать без кофе.

От вчерашнего шампанского немного болела голова.

Умывальник был очень плохой, с тоненькой трубочкой, из которой едва выбивалась слабая струйка воды.

Вода пахла, и ее оказалось очень мало. Мыло тоже не пришлось по вкусу Сильвину: яичное. И платье не было вычищено. Заменяя щетку рукой и ворча, Сильвин кое-как оделся, вышел в коридор и, подойдя к комнате Марьи Павловны, постучался.

— Вы?

— Я.

Замок щелкнул, и Сильвин вошел.

— Вообразите, сегодня ночью кто-то подходил к моей двери, трогал ручку...

— Н... да...— неопределенно промычал Сильвин и, уныло оглядываясь, прибавил: — ну, я боюсь, что кофе нам сегодня не придется пить... во всяком случае надо повидать хозяина.

Сильвин вышел в коридор и оттуда прошел в комнату хозяина.

Сапожков лежал в кровати, пил содовую воду и думал о чем-то.

Гость и хозяин поздоровались сухо.

— Я хотел бы с Марьей Павловной уехать по железной дороге: поезд, кажется, через два часа уходит?

— Кажется. Что ж, лошадей?

— Пожалуйста, кстати то, что ты вчера обещал?

Сапожков не сразу ответил. Он посмотрел в потолок, посмотрел в окно, нехотя зевнул и сказал:

— Да, вот получил телеграмму: дело, на которое рассчитывал, не вышло. А пока не вышло, и я дать не могу, потому что могут понадобиться и самому деньги.

Сильвин встал и, угрюмо сдвинув брови, сказал:

— Но мне вчера было дано определенное обещание: я же объяснил, в чем дело.

— Что ж дело? Росли бы у меня деньги в саду, как цветы,— пошел бы да нарвал. Дело коммерческое,— не вышло, о чем говорить?

Сильвин помолчал.

— Так нельзя ли, по крайней мере, распорядиться насчет лошадей?

Сильвин пошел к двери.

— Сегодня не вышло, завтра, может, выйдет, до завтра подожди.

— Я сегодня еду и сейчас же,— ледяным голосом, не останавливаясь, ответил Сильвин.

Он заглянул к Марье Павловне:

— Поторопитесь одеваться: мы сейчас едем на вокзал.

— А вещи?

— Вещи приехали.

Когда Сильвин с Марьей Павловной вышли на подъезд, они увидели плетушку, запряженную парой кляч.

— Это что?

— Экипаж для вас.

— Э-э... не нужно... Вот что, любезный, вот тебе рубль, сбегай на село, найми там лошадей, пусть положат эти вещи и догонят нас: мы пешком пойдем к вокзалу. Дорога та, по которой приехали?

— Та...

Они под руку пошли пешком.

Они шли парком. Было утро,— ароматное, свежее. Солнце играло уже на дороге, пробиваясь сквозь листву деревьев, и дальше туда, где на лужайках, покрытых сочной зеленой травой, еще была тень и прохлада.

Марья Павловна прижималась к своему спутнику и восторженно говорила:

— Какое чудное утро, как хорошо здесь: рай!

— Да, и этот рай принадлежит какому-нибудь обгрызку мысли и чувства, а мы с тобой, которым рукоплещет и поклоняется толпа,— мы, как Адам и Ева, уходим изгнанниками.

— Маленькая разница на этот раз: Ева, изгоняемая до вкушения запрещенного плода, но результат, впрочем, тот же: изгнали.

— Сами изгоняем себя...

Наемная пара нагнала их у самого города.

Когда Сильвин и Марья Павловна сели, ямщик с веселым лицом, вздернутым носом обратился к ним.

— У Сапожкова в гостях, видно, были?

— Н-да...

— Уж такой негодяй,— сплюнул ямщик, подбирая вожжи,— такой сквалыга, не накажи господь. На вокзал, что ль?

— На вокзал.

— Но!.. Деньги в срок за землю ему не принесешь, сейчас к земскому,— неустойку, да судебные издержки... Скотина ступит на его землю,— опять три рубля штрафу... Такой негодяй...

Он помолчал.

— А уж насчет девок... где только застукает...

— Ну, дальше можешь не распространяться. Погоняй: хорошо получишь.

VIII

Три месяца ездили молодые.

И хоть, возвратившись, Матрена Карповна скрывала свою беременность, но всевидящая бабушка сразу сообразила, в чем дело.

Она и радовалась, и в то же время новые мучительные мысли не давали ей покоя: «Мальчик, девочка, с короткой шеей или длинной?»

Невестка была, как могила.

При всей своей неустрашимости и бабушка не решалась заговорить с ней.

«Узнаю все,— утешала она себя,— когда придет время...»

И действительно, когда пришло это время, все узнала бабушка.

Она смотрела с безумной радостью на эту, вдруг таинственно выглянувшую из бесформенной массы среди стонов и воплей головку, и руки ее дрожали, когда она творила крестное знамение.

Она бросилась в соседнюю комнату, где томился внук, и, притащив его за руку, исступленно говорила ему:

— В брата моего, весь в брата: такой же темный, с длинной шеей, и глаза его... и мальчик, мальчик... Ох, умница моя!.. Благодари, благодари! Земным поклоном! Так!.. Ноги ее мыть, воду ту пить должен!

IX

Бабушка еще двенадцать лет жила после этого.

Как-то незадолго до смерти она призвала к себе няньку и призвала утром, что не было у нее в обычае.

— Сон мне приснился,— сказала бабушка.— Третий такой сон вижу в жизни. Первый перед смертью мужа, второй, как ездила тогда за Матреной, а третий нынче ночью. Сижу я вот здесь, на этом месте, и жду чего-то: вот сейчас растворится дверь и узнаю я все. И тихо, так тихо сами двери растворяются, и тьма за ними непроглядная, и, гляжу я, из тьмы выходит мой муж покойный, и знаю я, что умер он, и знаю уже, зачем он пришел. И говорю ему: «За мной, что ли?» А он этак головой мне кивает. А черный кот на окне сидит...помнишь, который еще при покойнике извелся... поднял шерсть, окрысился на меня, а глаза, как угли, и растет он, растет... И проснулась я... Ну... вещий сон?

Няня молчала, смотрела в пол, и мутные слезы текли по ее лицу. Бабушка вздохнула:

— То-то же... Ну, и будет плакать: негоже это... Пожила, потрудилась, как умела, пора и в дорогу...

Стала бабушка готовиться. Хотела было церковь строить, да побоялась, что не поспеет: отказала в духовной на церковь, а для единоверческой церкви заказала колокол, какой только может поднять колокольня.

— Чтобы его медный язык напоминал обо мне, недостойной, перед престолом всевышнего.

Последнее желание бабушки было своими ушами услышать первый звон колокола.

Она уже лежала, когда провезли его по улицам.

— Ох, доживу ли? Позволит ли господь дожить, примет ли мою грешную жертву? — металась бабушка и на это время забыла обо всем земном.

Всю ночь уставляли снасти, натягивали канаты, к утру все было готово, и после ранней обедни начали поднимать колокол.

Радостное весеннее утро сверкало над землей.

И площадь, и улица, все вплоть до окна, где лежала бабушка, набилось народом с одной мыслью у каждого: успеют ли навесить колокол, примет ли господь бабушкину жертву?

Из уст в уста сообщали бабушке все, что делалось около церкви. Уж дело подходило к полудню. Надвигалась гроза. В последний раз из-под темной тучи выглянуло солнце, как грозное око творца, и под ним еще сверкала безмятежная даль золотистых небесных полей. В это мгновение раздался первый протяжный удар колокола. Вздох облегчения пронесся в многотысячной, обнажившей головы толпе, и стало тихо, так тихо, как бывает только во сне, и все взгляды устремились в окно, где вдруг показалось мертвенно-бледное лицо вставшей бабушки, с громадными черными глазами, с протянутыми руками туда, где сверкало еще из-под туч последними яркими лучами солнце, и губы ее вдохновенно шептали просившим ее лечь.

— Он сам, он, творец наш, здесь,— могу ли я лежать...

Безмолвно, страшно и радостно все смотрела она. Черные тучи уже охватили небо, закрыли солнце, сразу стало темно, а колокол гудел, и лились его медные звуки, торопясь и догоняя друг друга. Навстречу им уже неслись сверху раскатистые мощные удары грома: точно с высот с грохотом само небо валилось на землю...

Гром гремел, и молния бороздила небо, словно разрывая на части над самой землей опустившиеся тучи.

Полил дождь, как из ведра, сплошной, серой массой укрывший все, и сразу потекла река грязной воды по опустевшей улице; все выше поднималась она и кипела, покрытая пузырями.

А бабушка лежала удовлетворенная и смотрела на всех окружающих.

— Еще раз хочу исповедаться.

Перед исповедью бабушка подзывала всех, просила прощения, прощалась по очереди и каждому говорила: «Мою волю узнаешь».

Сейчас же после причастия бабушка прошептала:

— Тоска подступает... уходите все...

И когда выходили, она провожала всех долгим взглядом. Невестку она удержала последнюю, погладила ее по голове и тихо проговорила:

— Умница моя,— тебе передаю дом... Как уберут меня, зайди в мою горницу и там в комоде, в ларце, убери, что не надо.

К вечеру бабушка уже лежала на столе со сложенными руками, строгая, навсегда чужая всему живому, укрытая той самой парчой, которую выбрала для себя.

Наверху, в ее комнате, исполняя волю покойной, сидела у комода ее невестка.

В особом ларце лежали векселя, о которых говорила ей бабушка. Чернила пожелтели и уже с трудом можно было разобрать неуклюжую подпись: «Иван Овчинников».

А под этими старыми векселями лежал свежий, сравнительно, переводной купон на двадцать пять тысяч рублей от какого-то Иванова из Москвы в Петербург.

Матрена Карповна нагнулась ниже и прочла имя того, кому переводились эти деньги. И вдруг лицо ее,— как лицо человека, которого неожиданно поймали над тем, что считал он только своей тайной,— покрылось густым румянцем, и, быстро встав, она подошла к открытому окну.

Дождь прошел, солнце садилось и последними лучами золотило даль. Только там, далеко за рекой, как островерхие крепости, выдвинулись и застыли на горизонте синие тучи. Едва слышно, как грохот отъезжающего экипажа, доносились раскаты грома.






ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Карандашом с натуры

Глава I

Между Пермью и Тюменью.— Тобольская Обь.—
Коренные сибиряки.— Рассказы Ивана Владимировича.—
Остяки.— Томск.

Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди сотнями здесь пропадали с лица земли, о том повествуют летописи, знают бездонные погреба и кладбища. И те и другие — места последнего прибежища и жертв и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел здесь открыто. На упрек Екатерины Демидов добродушно ответил:

— И, матушка, о чем толковать! Все мы твои и с потрохами!

Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые железом зеленые крыши,— на весь этот уютный и манящий к себе вид в майской веселой обстановке, и невольно рисуются в контраст захлебывавшиеся когда-то в погребах, исковерканные ужасом и мукою лица. Дальше...

Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами, река Тура, маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег.

По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. Навозу масса, и берег завален,— значит, в поле не возят.

В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина.

— Какая же это Сибирь? — говорит, недовольно морщась, один из пассажиров, инженер с собакой.— И что тут покорил Ермак, когда и теперь никого нет?

— Это, батюшка, все от настроения зависит,— отвечает мрачный контролер.— У меня был знакомый, и, знаете, его послали на Кавказ от пьянства лечиться. Ну, водки, конечно, ни-ни. Так что бы вы думали: озлился. Встречаю его, спрашиваю: «Ну, что Кавказ, как?»—«Какой Кавказ? говорит, никакого Кавказа нет».— «Ну, как же, говорю, все-таки — виды...» — «Какие виды? никаких видов нет».— «Горы...» — «И гор никаких нет...» Вот до чего можно дойти.

Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей небольшой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири: эскимосы, самоеды, олени, медведи, упряжь, одежда, оружие, латы; но тут же поломанный нивелир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится и в свое время тоже стариной станет. По стенам портреты Ермака. Пять их, и сходства между ними никакого.

На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестантов. Идут, звенят кандалами; торчат рыжие голенища; серые халаты, на спинах по два бубновых туза; наполовину обритые головы по продольному направлению. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем следов злобы, отчаяния, преступления, но глаз утомляется на общих масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорадный, звериный взгляд тоски и горя. И все то же общее впечатление строго арестантского цвета: серого неба, серой реки и всей серой, однообразной природы, той Сибири, которую мы до сих пор видели.

Приехали на пароход. До отхода еще полчаса. Пьют пиво, разговаривают о городе, рассматривают покупки и угадывают цены. На пристани праздного народа масса. Стоят и смотрят. Молодой человек, в легком костюме, довольно грязном, больше, очевидно, думающий о материях высших, чем о том, что у него под ногами, споткнувшись на кем-то положенную палку, чуть было не растянулся на полу, но оправился и сел возле меня.

— Далеко-с?

— В Томск.

— Из Петербурга?

— Да.

— А я, позвольте представиться, здешний репортер. Может, слыхали о нашей газете? Не слыхали, конечно; двести пятнадцать экземпляров расходится. Сто восемь-

десят платных, тридцать пять даровых. При начале издания так и рассчитывали: городскими только ошиблись — считали восемьдесят, а набралось девяносто.

— Что ж вы не продаете отдельными нумерами? Вот бы и мы купили.

— Не разрешают.

— Как же? Ведь это мера наказания.

— Ну, и редактор то же говорит, а местная власть говорит, что она права не имеет на розничную продажу,ну, и не продает... Конечно, если бы чрез министра — можно бы добиться; но ведь тогда совсем зарез будет: вроде войны выйдет,— тогда и все бросай. Теперь и то уж... Дама одна... тут благотворительный спектакль нам расстроила. Ну и описали так слегка в газете, а муж ее, доктор, ведь редактору и залепил затрещину. Да еще как залепил,— сзади! А! Ну, хотели огласку дать — не разрешили.

— Дуэль была?

— Какая там дуэль... Так и пропало! А вы никакого материала не дадите нам?

— К сожалению, не имею... Да ведь у вас оного же матерьялу должно быть и здесь.

— Да его-то много, да не любит наш цензор, вычеркивает. Пишите, говорит, о чем хотите,— ну, о других губерниях; что вам непременно далась здешняя: забудьте о ней. Ну, о чем же писать? Кто его знает, как у других, свою знаешь...

— А можно бы было написать, если б позволили?

Молодой человек только рукой махнул.

— Пиво-то на пароходе у вас лучше нашего, сибирского? У нас вроде как будто не настоящее.

— Еще бы в Сибири захотели настоящего,— вмешался один из пассажиров, Иван Владимирович.— В Сибири уж такое положение... все исполняющие должность,— ну, и пиво тоже вроде того, что должность исполняет.

Рассмеялись. Репортер заглянул мне в глаза и тоже вдруг рассмеялся. Добрые голубые глаза, голая шея, порыжелые сапоги, желтое лицо.

Опять поехали. Берег все уходил, река шире да шире. Проснулись как-то: Обь. Куда глаз ни хватит, все вода да вода, а по ней, точно плавучие кусты, целые острова — голые, лишайные, с тонкими прутьями тальника, еле распустившегося. Чтобы сказать величественно было, поражало, подавляло — нет. Скучно просто...

— Чего смотреть? Идем в каюты. Там пиво, хоть выпить можно, а здесь на ветру...

И, не договорив, контролер молча стал спускаться с трапа.

Инженер с собакой еще постоял, скрючившись от «дыханья Ледовитого океана», или, говоря проще, от северного ветра; оглянул серую безжизненную гладь, пустую палубу и тоже ушел.

Поскрипывает пароход, иногда порядком покачивается от расходившихся на просторе волн; сверкают мрачные свинцовые тучи; ветер воет; оголенные деревья, когда к ним подойдешь поближе, свистят свою унылую осеннюю песенку. Кто бы узнал здесь, в этом костюме веселый месяц май во второй его половине?

В рубке все уютно сидят, все выползли из своих кают: кто играет, кто обедает, кто чай пьет. Никто не читает только. Дамы с работой чувствуют себя хорошо, уютно, не прочь от беседы,— умные слова, умные речи — товар лицом показывается. Только двое — контролер и инженер скучными, усталыми глазами обводят по временам общество и еще усерднее после того стараются забыть за картами все окружающее.

Иван Владимирович, толстый старик со вставными зубами, коренной сибиряк, как он сам себя аттестует, сидит на диване и рассказывает о сибирских делах и порядках. Рассказывает о том, как в Томске один полицеймейстер из беглых сидел несколько лет и ушел по доброй воле, а не уйди — и теперь бы, вероятно, сидел, о том, как один сибиряк пропал за то, что дневник вел.

— И ничего в этом дневнике, знаете, не было, кроме одной фразы, что вот, мол, какие бывают прекрасные люди. Ну, и рассказ при этом.

— Да за что ж тут пропадать? — окрысился инженер.

— А вот пропал же,— с злорадным торжеством проговорил Иван Владимирович и начал нюхать из табакерки табак.

— Да... — начал было инженер, вероятно, желая возразить, но посмотрел на рассказчика, на публику и пренебрежительно переглянулся с контролером, получил поддержку и молча уткнулся в карты.

— Вот и да... — тихо, самодовольно пробурчал Иван Владимирович,— вот и да... Надо сибирскую жизнь знать, понимать надо... вот тогда и будет да.

И опять новые рассказы про горного исправника. Иван Владимирович искусно обрисовал тип пройдохи-не-

годяя, которого тридцать раз прогоняли за воровство, но в критические минуты снова принимали на службу за распорядительность.

— Действительно, я вам доложу,— говорил Иван Владимирович, сидя степенно, опираясь одной рукой о сиденье дивана, а другой, в которой была тавлинка с табаком и платок с красным обводом, плавно проводя по временам по воздуху,— бывают такие случаи в приисковом деле, что хоть бери, а дело делай. А то ведь неопытный да нераспорядительный совсем зарежет. Да вот я вам скажу... Приняли одного... Ну, действительно честный,— ни-ни... Ну, хорошо... Приезжает на прииск... Речь рабочим говорит... объясняет им, что он взяток брать не будет и все у него будет по закону... Хорошо... Едет на второй прииск — и там то же... на третий... Объехал всех, воротился в свою резиденцию и руки потирает от удовольствия, какой он честный человек. Вдруг — трах! — Бунт на приисках, бунт на приисках, в одном, другом, третьем... Сразу раскусили, что за гусь... Туда, сюда... Да хорошо, что еще вовремя догадались убрать, а то наделал бы таких делов... Круть-верть: опять этого прощелыгу вернули... через месяц все тихо, спокойно. А так не видно: вор, вор, а вот как прогнали, вот тогда и оказалось... Ну, а вор действительно... грабитель просто...

— А в чем же польза от него? — спросил инженер.

— Ну, как в чем? Надо знать приисковое дело, тогда и польза понятна будет. Брал, вот и польза. Убился, задавило рабочего, сломало руку, ногу; норовят уйти рабочие — воротить их назад, обходиться без слова «бунт» — вот и польза. Где деньги добывают, там уж денег не жаль — бери, сколько хочешь, да дело делай.

Кто-то заметил, что теперь уж не те времена.

— Оно конечно, не те, да и я ведь не про царя Гороха говорю.

— Выведут эти порядки...

— Конечно, выведут...

Иван Владимирович самодовольно посмотрел в окно.

— Я человек старый, мне ничего не надо... Я прямо говорю...

Иван Владимирович чувствовал в себе прилив хорошего гражданского мужества и так смотрел, что ясно было, что он готов хоть сейчас положить свои кости за правое дело.

— Вот как на своей шее почувствуете: я, да я, да ничего знать не хочу,— вот тогда и загложет тоска... Точно

вот целая этакая, можно сказать, огромная страна ему в наследство досталась... лежала, лежала,— видите ли, дожидалась охотничка на своем горбу ум его испытывать. А ведь каждый-то с каким умом приезжает: он один все видит, все знает, все понимает... он один все рассмотрел, а там до него, как, что — все ерунда, все потемки, один он принес свет, он знает... А суньтесь к нему,— что, мол, как же, господин честной, мы для тебя или ты для нас? Ежели мы для тебя, ну — так как, а если ты для нас, так хоть послушай нашего глупого слова,— вот он вам и покажет тогда кузькину мать — тогда и узнаете, что такое эта самая Сибирь...

Ивану Владимировичу не мешали, и по стариковской болтливости он не думал себя удерживать.

— В городах, по трактам везде казенное клеймо, на каждом шагу. Вы чувствуете: если казенный вы человек — вам место, не казенный — вы так себе, терпеть вас только можно... вот вы кто... Это по казенному аршину... Это на первом плане. За казенной Сибирью идет коренная Сибирь: торговый народ и простой. Это опять особенная жизнь, особенный строй, которого никто не знает, всякий по-своему прицеливается, но никто колупнуть не может, и не понимает, да и не дорос... Это уж не в обиду... За этой Сибирью опять идет целая Сибирь: вольная, бродячая Сибирь. Это опять целое царство: тут опять надвое делится: бродячие народы, на законном основании — переселенцы и коренные бродяжки... Вот тут и разбирайся... Каждая жизнь свое ядро имеет и не сливается с другим, а только соприкасается. Вот в этих местах, где она прикоснулась, там и видна она, а ядро-то самое, что там в нем — это ни один из ваших писак никогда не видел, а видел, так не понял. Потому что, чтоб понять, мало родиться в Сибири, а от деда к внуку это пониманье идет.

— Ну, чем же у вас занимается, например, торговое сословие в Сибири? — спросил едко инженер.

— Как чем? — Торговлей... Золото, чай, пушной товар...

— Ну, вот про прииски мы слыхали... для чего вот вам воровство исправника нужно, а про пушное дело, водку и прочее расскажите нам; расскажите, кто развратил всех этих остяков, бурят и прочих?

Иван Владимирович тяжело встал.

— Стар я, отец мой, чтобы шутки надо мной шу-

тить,— проговорил он и с чувством собственного достоинства ушел в каюту.

— Гусь,— пустил ему вдогонку инженер,— коренной гусь...

— Какой он коренной,— пренебрежительно проговорил один из пассажиров,— это бывший управитель казенного завода, при Муравьеве в отставку вышел или должен был выйти... Ну, родился действительно в Сибири, но и отец был чиновником. Он лезет только в коренные. Вот видели, вместе с ним ушел старик, бритый, молчит все да слушает, вот этот из коренников... У этого вот десятка два миллионов наберется; ну так он и разговаривать не будет, а это только так... бесструнная балалайка, и говорит он, чтоб больше заслужить пред вот этим бритым.

В это время на палубу поднялся тот, о ком говорили,— бритый господин, и все смолкли.

С широким плоским лицом, плотный, бритый господин смахивал скорее на типичного актера-трагика, чем на коренной Сибири миллионера. Его поношенное пальто, скромный вид, скромная манера совсем не импонировали публике. Он подошел поодаль к играющим и заглядывал в карты. Он приятно улыбался ошибке игрока и напоминал собой скрягу, ищущего дешевых развлечений. За обедом ел только то, что было в карточке обеда, два раза чай пил и недоверчиво косился на тех, кто внимательно, сосредоточенно старался проникнуть в глубь этих безразличных скромных глаз.

А на палубе по-прежнему холодно — дует ветер, ходят по небу тучи, сердито скалится река своими белыми гребнями, то и дело появляющимися на волнах, уныло машут своими оголенными вершинами деревья, и только чайки среди этой всеобщей тоски сохраняют свой обычный бодрый, веселый вид.

Иногда мелькнет на берегу затопленная деревушка — иногда две-три избы, наполовину в воде — летнее пристанище остяков.

Иногда пароход пристает за дровами и провизией к такой деревушке, затопленной водой, где единственное сухое место — узкая полоса берега.

С одной стороны этой полосы необъятная Обь, а с другой — непроходимый лес. В этих деревнях население смешанное — русские и остяки. Собственно из русских две-три семьи: лавочник, содержатель кабака да поставщики живья на пароходы.

Остяки — низкорослый народ, на коротких ножках, которыми ступают неповоротливо, неуклюже, как водяная птица. Мы прошли в юрту одного такого остяка. Хозяин ее лет пятидесяти пяти, с длинными с проседью волосами, с бритым, на финна похожим, лицом. Он жил на даче, то есть в юрте, рядом с избой. Эта юрта, сделанная из березовой коры, искусно между собой сшитой, помещалась в нескольких саженях от постоянного его жилья, маленькой курной избенки. Кругом юрты и избы валялись кучи навоза; было грязно, сыро; воздух пропитан тяжелыми испарениями нечистот.

Хозяин сидел в юрте, по обычаю восточных народов, поджав под себя ноги, курил и ничего не делал. Рядом с ним в таких же позах сидели две женщины — маленькие уродливые создания. Одна вдобавок с провалившимся носом. Сифилис страшно развит у остяков, и, вероятно, он да безбожная эксплуатация покончат вконец с этой народностью.

На наш вопрос о позволении войти остяк-хозяин апатичным говором чухны ответил:

— Иди...

Мы вошли, и так как стоять было затруднительно, то сели на корточки. Мы сидели перед чем-то вроде ковра или скатерти, разостланной на полу. Перед нами висел на пол-аршина от пола образ; по бокам его расставлен был разный хозяйственный скарб: горшки, посуда и проч.

— Православный?

— Конечно, православный,— проговорил апатично-брюзгливо хозяин.— Русский шеловек может ли быть не православный? Православный, конечно... В бога верим... русский шеловек...

Русский «шеловек» сплюнул, сделав кислую мину, и уставился мимо нас в пространство.

— Это что ж, дача у тебя?

— Конечно, дача.

— Зимой в избе живешь?

— Конечно, в избе.

— А что делаешь?

— Все делаем.

Старик говорил как-то раздельно, по-детски, мягким однообразным голосом.

— Рыбу ловим, зверя бьем, медведя бьем, белку бьем, орех собираем.

— Хорошо живешь?

—Хорошо живем.

— Водку пьешь?

— Водку пьем.

Вышли из юрты. На дереве развешаны вещи: полушубки, теплые шапки, засаленное, в пятнах, триковое женское пальто, женские ботинки.

— Молодая жена?

— Молодая жена.

— Молодая обновку любит?

— Известно, что любит.

У дерева вертелись привязанные две среднего роста собачонки, по виду совершенно смахивавшие на волка.

— Хорошие собаки?

— Хорошие собаки.

— На охоту ходишь с ними?

— На охоту ходим.

— Медведя умеет искать?

— Медведя умеет искать.

— Порядочный автомат,— проговорил один пассажир.

— Знамо, порядочный,— так же флегматично ответил остяк.

Перед избой лежали нагруженные друг на друга сани на высоких полозьях, узкие для одного, и напоминали собой зимнюю работу остяка. В своем меховом коротком костюме, в своем меховом капюшоне едет он, затерявшись, в необъятной тайге, на этих санках. Прижавшись, сгорбившись, бегут по сторонам его собаки; привычная лошадь равномерно ступает по знакомой только ей тропинке; заносит их снегом, вверху пурга вертит, и свистят там и шумят, как море, высокие вершины деревьев. А на сотни верст ни жилья, ни стану, никакого намека на человека. Встретится берлога мишки, разбудит остяк хозяина берлоги — и пойдет неравный бой: кто чью шкуру сдерет, кто за чей счет пообедает сегодня. Бой с медведем у остяков оригинальный. Остяк говорит: «Медведь, который встал на дыбы — мой!» Такому поднявшемуся медведю остяк бросается прямо под ноги, и, пока медведь старается содрать кожу с ног остяка, тот, вонзив ему нож в живот, спешит, подвигаясь назад, добраться до сердца медведя. Кто первый успеет сделать свое дело — тот и победитель. Защищает остяка сплошная кожа, из которой сшиты его сандалии, штаны и куртка. Но беда, если медведь опытный и не хочет вставать на дыбы, а, напротив, бешено носится вокруг, стараясь сбить с ног

остяка. Напрасно будет ждать своего хозяина молодая жена.

Ближе к Томску расплывшаяся на десятки верст Обь начинает понемногу собираться. Появляются возвышенные берега, и мало-помалу теряется впечатление какой-то несформированности, впечатление страны какого-то будущего геологического периода.

И май месяц начинает входить в свои права. Деревья распустились, чувствуется запах черемухи, слышно изредка пение и чирикание птиц. И ночи потеплели.

Собственно ночей здесь почти нет. Читать все время можно. На полчаса слегка потемнеет, и уже опять горит восток. Это самый эффектный момент. Переливы цветов на воде: розовый, нежно-малиновый, у берега реки голубой, и на всем этом мягкие, нежные тоны непередаваемых красок. Природа, как человек, начало знакомства — никакого впечатления, узнаешь, ознакомишься — и уже другое впечатление. Присмотрелся я — и здесь явилась красота переливов, и оригинальность тонов, и яркость красок, и проч.

Вот начало восхода. Мы плывем точно в саду, сквозь редкие деревья словно задымилась вода, слегка розовая, прозрачная, вот-вот готовая вспыхнуть пожаром восхода. Стадо белых лебедей вспорхнуло в этом розовом фоне рассвета, среди аромата черемухи. Лебеди медленно потянулись низко над водой и потонули в пурпуре утра, в огне выплываемого из-за далекого леса красного большого ярко-золотого шара. Этот шар еще не дает света; по другую от нас сторону реки резкой чертой оттеняется неосвещенная даль, вся слившаяся в один темно-сизый с фиолетовым отливом цвет, и вода и небо; только лесной берег как поясок разделяет воду от земли. Здесь, по эту сторону парохода — разнообразие красок, поразительный эффект; там — однообразный сплошной колорит, мрачный и сильный. Но выше поднялось солнце, отразилось в воде и, слившись с своим отражением в общий сплошной ослепительный цилиндр, загорелось и осветило все округи.

Дико и величественно.

А вот и город Томск и гостиница, его сибирское подворье, где остановился я. Типичная казарма: белые низкие коридоры, висячие замки на номерах, запах махорки, запах чего-то старого, дониколаевского. В окно номера глядит кусочек серого неба, пустой косогор, ряд серых заборов, домики с нахохленными крышами, малень-

кими окнами и низенькими комнатами — это город Томск. В девять часов вечера на улицах уже ни души, спускают собак. Ни театра, никаких развлечений. В каких-то укромных углах свои люди — чиновники, купцы — играют в карты, сплетничают, задают тон... Провинция глухая, скучная провинция, колесо жизни которой перемололо все содержание этой жизни в скучное, неинтересное и невкусное мелево. Арестанты, ссылка, каторга — вот о чем говорит этот город, этот вход с дантовской надписью: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» [1].

Глава II

Уголок Сибири между Обью и Томью.— Из Томска в Талы.— Ямщик Иван.

Я не хочу ничего дурного сказать про русского крестьянина; но пальму первенства по развитию, незабитости, большей интеллигентности, открытости и доверию, по чистой совести, должен отдать сибиряку. В одном они схожи: у обоих никаких потребностей: сыт и ладно. Заботливости об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы — никакой. Что она сама, так сказать, добровольно дает — то и ладно. К тому и приспосабливаются, так и складывают свою жизнь. Между Обью и Томью [2] крестьяне живут земледелием. Земля родит хорошо, ее вдоволь, и кто сколько хочет, тот столько и сеет. Система посевов залежная: три, четыре, пять хлебов,— и земля бросается на пять-шесть лет, пока кто-нибудь не подымет ее снова, найдя, что она вылежалась и уросла. Постоянного посева на одной и той же земле нет, четвертый и пятый хлеб уже давит такая трава, о какой в России и понятия не имеют. Страшные здесь травы: чуть немного потное место — почти закрывают они человека. Спасение от них: выжигать их весной, «палы пускать». Это же спасает землю и от прорастания лесом. Крестьяне говорят, что если не пускать по пашне палов, то первую же весну березняк всходит, как сеянный. Такой же факт я наблюдал в Самарской губернии: там я бросил поле — пошел бе-

---

[1] Оставьте надежду, входящие сюда (*ит.*).

[2] Я говорю о треугольнике, вершина которого Томск, а база — село Кривощеково на реке Оби (где назначен железнодорожный мост через Обь) и село Талы на реке Томи (железнодорожный мост через реку Томь).

резняк, и теперь это прекрасная, как будто насаженная роща.

Но понятно, как палы губят лес. Нет никакого сомнения, что здесь, в местах, доступных хлебопашеству, весь лес обречен на гибель. Массу пахотей теперешних занимала прежде сплошная тайга. Остатки ее, переход от тайги к пашне, составляет колодник,— это поле, сплошь усеянное громадными, полусгнившими, лежащими на земле гигантами (сосна, кедр, ель).

Земля родит отлично в полосе между Обью и Томью, но хлеб больше соломистый, и надо обязательно парить и под яр и под озимь, иначе хлеб не выспевает. Все-таки с хозяйственной десятины (две тысячи пятьсот квадратных сажен) средний урожай сто пудов, а в Самарской губернии с десятины в четыре тысячи квадратных сажен средний — семьдесят пудов. Сеют понемногу, каждый обрабатывает, что ему под силу, наемного труда почти нет; этим и урожайностью и обусловливаются малые посевы. С землей обращаются небрежно: сплошь и рядом вспашет, а потом раздумает сеять,— так она и пойдет неборонованная под сенокос. А такое поле, представляя из себя застой для воды, при сырых здешних местах легко превращается в болотистое место.

Своеобразная особенность местности между Обью и Томью: вся она изрыта громадными глубокими оврагами, которые называются здесь логами (падями); пространства между этими логами, возвышенные, удобные для пашни места, называются гривами. В логах лес растет; на гривах (каждая представляет из себя довольно ограниченное пространство в пять-шесть десятин) ведется хозяйство (грива Власьевых, Елисеевых и проч). Крестьяне здесь живут неказисто, но и не нуждаются: пьют кирпичный чай, масло, яйца, молоко в каждодневном употреблении. Во всякой избе вам сварят хорошие щи, хороший суп, сжарят хорошо жаркое,— все это с уменьем и с привычкой обращаться с провизией. Попробуйте в России заказать в избе обед — наварят такого, что в рот не возьмешь.

Сейчас же за Томью, вне описываемого треугольника, далее на восток, характер местности и населения совершенно уже другой. Здесь уже лес, и главный доход населения — лес, извоз и охотничий промысел. Лес возят в город в виде, главным образом, дров на плотах по То-

ми. На этих плотах и хлеб идет. Извоз в Иркутск; редкий крестьянин не побывает там.

— Извозное дело — затяжное, как хозяйство: завел тройку — думаешь о пяти, пять завел — десятку норовишь; с десятки на тридцать кучишься; добился тридцати — нет ничего, все разошлось, опять начинай сначала.

— Отчего же?

— Так... подобьется извоз, корм вздорожает, туда-сюда, и не видал, как в такие долги влезешь, что и не развяжешься.

Еще дальше на восток (верст тридцать от Томи) — уже сплошная тайга верст на сто, и исключительный промысел — зверной: медведь, колонок, лисица, волк.

Ближе к городу Томску население живет исключительно городом: огород, масло, мясо, яйца, дрова, но живут неважно.

— Деньга не держится, водку любят, на город надеются...

Около самого Томска масса деревушек: десять — пятнадцать изб. Нужда, бедность поразительная: лачуги без крыш, одним словом,— самый нищенский вид.

— Так изо дня в день живут, только и знают, что в город все волочат, что попадет.

Мужичонка зануженный, с жадными ищущими глазами, усердно косит кислую болотную траву.

— На что она ему? Ее ведь лошади не едят.

— В город. В городе все съедят.

Как и везде, более зажиточные те, которые умеют высасывать сок, то есть кулаки.

В хлебородной полосе они занимаются скупкой хлеба, а ближе к городу они являются крупными поставщиками дров; они посредники между населением и городом — раздают деньги в зимнее время под работу: сам за дрова в городе берет 2 рубля 50 копеек, а сдает по 1 рублю 80 копеек. Торгуют скотиной.

За выпас 1000 голов, после снятия хлеба, с тем, чтобы скотина ходила везде, общество берет с них 30 рублей. Так быстро богатеют, и они, эти прасолы, всегда больше из российских.

— По этой части они умно живут и во всем толк понимают.

Я уже месяц верчусь по всевозможным направлениям этого треугольника между Обью и Томью, разыскивая и намечая будущую железнодорожную линию Сибирской дороги.

Магистраль назначил; очередь за вариантами, то есть частичными изменениями.

Еду сегодня для такого варианта из Томска в село Талы (на Томи, в девяноста верстах от города). Из Башурина[1] повез меня мой старый знакомый Иван.

И он и я рады тому, что опять свиделись.

На дворе начало июля.

— Вот и еще раз господь привел свидеться,— говорит Иван, выезжая со двора и приветливо оборачиваясь ко мне.

— Ну что у вас все благополучно?

— Все, слава богу.

Едем по берегу Томи. Татарская деревушка раскинулась на самом берегу. Гуси, скотина гуляют по зеленой лужайке. Обитатели всё бритые татары; сегодня у них праздник какой-то, и они праздничной кучей сидят на берегу, сонно смотрят на нас в своих бархатных тюбетейках.

— Чем занимаются?

— Извозом.

— Хорошо живут?

— Мало же... Больше в нужде.

— Рыболовством занимаются?

— Нет, по Томи мало рыбы. Прежде, говорят, было... воды большие пошли, доставать неудобно стало.

Навстречу едет, в широкой шляпе, широкоплечий, притиснутый мещанин в франтоватой притиснутой тележке. Рядом толстая, как бочка, нарядная баба. Мещанин степенно снял шляпу, я тоже.

— Это кто?

— А вот мельницу видел? Пять домиков? Это старший брат. Те, про коих сказывают, что от фальшивых денег жить пошли.

Я вспомнил о фальшивых деньгах, убийствах, о всех слухах, связанных с пятью домиками, и с любопытством оглянулся.

Я увидел только широкую спину старшего брата и курчавые русые волосы.

— Отличный мужик, дай бог ему здоровья,— все спасибо говорят. Если бы не он, наша бы деревня совсем

[1] Башурино — село в двадцати пяти верстах от Томска.

пропала в эти два года; хлеб дорогой, весной где деньгу зашибить? А он, спасибо ему, хлебом всю деревню кормил.

— Даром?

— Где даром?.. Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может, две-три гривны и дороже возьмет, да ведь даст народу помощь.

Иван сидит вполоборота, и, видимо, ему хочется продолжать разговор со мной.

— Это чья земля? — спрашиваю я.

— Отсюда к Томску пошла губернская, а к Кузнецку — кабинетская.

— Это что за губернская? Казенная?

— Казенная, мы государственные крестьяне.

— И у вас, как у кабинетских, земля неделенная?

— То же самое. Кто где знает, там пашет и косит.

— А если одно и то же место двое захотят в одно время?

— Этого не бывает. Кто-нибудь да упредит.

— И ничего вы за это не платите?

— Ничего. Подать только, конечно. На кабинет платят дань по шести рублей с души, а у нас нет.

— А если с другого общества соберутся к вам косить?

— Этого нельзя. Вся земля поделена между обществами.

— Ну, а есть такие, которые из года в год сидят на тех же землях?

— А как же? Кого сила берет да земля удобная, от отца к сыну идет, а ослабели — другой примет за себя.

— А лес?

— Лес весь казенный, а если кто облюбует рощу, к примеру, для пасеки, станет беречь ее от палов, чистить, ну, того и роща считается.

— И рубить ее можно?

— Для домашней потребности сколько хочешь руби. На кабинетской, там на душу положение, а у нас сколько хочешь, только в город не вези на продажу; у нас, впрочем, слабо насчет этого. Так, для примеру, возьмешь билет на сажень кубическую, рубль шестьдесят копеек отдашь и вози по нем целый год.

— А на кабинетской строго, там уж на лошадях не увезешь — поймают; надо билет брать, а брать билет, так уж расчету больше на плотах возить, так и возят. Кабинетские на плотах, а мы на лошадях, потому что нам вольготно.

— А совсем не брать билета можно?

— Если поодиночке али семейно—можно: дашь полесовому тридцать или сорок копеек, а артелью не пропустит и денег не возьмет,— свидетелей, значит, опасается.

Разговор оборвался. Мы едем по лугам, заливаемым Томью; мелкий березняк, тальник по бокам; Томь то здесь, то там сверкает.

Хотя июль, но холодно, как осенью. Солнце то выглянет, то прячется за тучи. Кругом яркая зелень. Летают чайки, мартышки.

В Яру перевоз через Томь. Паром на той стороне. Звали, звали, стрелял я два раза,— наконец, услышали, зашевелились, стали запрягать лошадей, и скоро воздух огласился шумом лопастей о воду. Здесь паромы приводят в движение с помощью лошадей. Лошади вертятся в кругу, устроенном в конце парома; колеса приходят в движение, и паром едет. На Томи две лошади, на Оби три.

В ожидании я хожу по живописному берегу Томи и ищу интересных камешков. Я хожу в сущности по золоту. В Сибири нет реки, где в песке не было бы золота; вопрос в его количестве, а следовательно в выгодности его добычи. Я нашел кусок кварца с блестящей золотой точкой. Неужели действительно золото? Я оглянулся к Ивану, но он куда-то ушел. Сидел только мой спутник, Михаил Осипович.

— Золото,— показал я ему.

Михаил Осипович посмотрел, отодвинул от глаз подальше и авторитетно проговорил:

— Нет.

Я не стал спорить, потому что знаю, что Михаил Осипович никакого представления о добыче золота не имеет.

Пришел Иван.

— Золото добывал? — спрашиваю.

— Бог миловал от греха. А вот какое золото добывал.

Иван вынул из пазухи кучу кедровых шишек.

— Где ты их достал?

— А вот, в поскотине.

Поскотиной называется отгороженное вокруг деревни поле и лес для пастьбы скота. Так как здесь весной палов не пускают, чтоб не сжечь самих себя, то лес в поскотине всегда густой, красивый и рослый. Настоящая роща кедров с массой орехов. Эти орехи составля-

ют целый промысел и требуют большого искусства для их сбивания. Надо влезть на самую верхушку дерева. Один будет сбивать целый день одно дерево, а другой пять таких деревьев успеет опустошить. Отсюда плата искусному работнику доходит до пяти рублей в день. Сбивают орехи между 15 августа и 1 сентября. В июле уже есть орехи, но они еще серные, липкие, и хотя сердцевина и вкусная, но добраться до нее можно не иначе, как обуглив на огне шишку: смолистые части выгорят и тогда не будут приставать к рукам и рту.

— А можно разве в чужой поскотине рвать?

— А пошто нельзя? Их бог садил на потребу всем, все одно, как траву, лес.

Вот страна, которая ближе всех подходит к мечтам о том, что когда-то будет и было.

Мы разговорились.

— Хорошо здесь у вас,— говорю Ивану,— умирать не надо.

— И у нас худое же есть. Три зла у нас: первое мороз, второе гнус, третье грех.

— Какой грех?

— Какой? А зачем в Сибирь ссылают? Вот от этих самых бродяжек и грех.

— А разве они донимают?

— Всякие бывают. Плохо положишь — позаботятся... Да не в том сила: сейчас содержи его, да отвечай, да подвода — замают. Хуже вот всех здешний же; они, к примеру, и не бродяжки,— только паспорта нет,— все вот и шляется. Придет в Томск и объявится, что без паспорта; ну, его сейчас в тюрьму, одежду арестантскую и назад в Каинск или куда там. Сидит себе на подводе, а солдат пешком должен идти. Он развалится себе, как барин, а ты вези...

— Какой же ему интерес?

— А такой интерес, что арестантскую одежду получит, потому что, как его доставят в Каинск, что ль,— окажется, что он тамошний,— его и выпустят. А закон такой, чтоб выпускать с одежей. Ну, сапоги, одежа восемнадцать рублей стоят, сейчас ему и найдено. В Томске побывал, одежу справили, привезли, да еще и с солдатом, чего ж ему? Посидит — айда назад в Томск. Вот эти и донимают; самый отчаянный народ. А те, что с каторги тянутся, те никого не тронут, потому что опасают-

ся, как бы не схватили; он так и пробирается осторожно до России, ну, там, действительно, ему не опасно.

— Отчего ж там не опасно?

— Да там поймают, первое — не бьют, потому что бьют только того, кого на месте, пока в Сибири еще, значит, поймали. Второе — опасно, как бы не признали, а в России — объявился бродягой, и концы в воду,— на поселение, а ему и найдено. Уж его тогда никто тронуть не может, будь он хоть сам каторжный.

— И много их, бродяжек?

— Тьмы кишат. Здесь им у нас, как в саду; первое — жалеют, подают; второе — работа. Так в настоящие работники его брать не приходится, а поденно поработал, получи и марш. Их ведь было порешили совсем прикончить, как у немцев; там ведь их нет: камень на шею и в воду; ну, вы сами знаете, пограмотней моего, а у нас царь воспротивел: пущай, говорит, бегают до времени,— из моей палестины никуда не уйдут, царь их жалеет. Оно, конечно,— несчастная душа; с каждым может приключиться. Как говорится — от тюрьмы да от сумы не зарекайся.

Иван замолчал и задумался.

— Со мной вот какой был раз случай. Еду я обратным из Варюхиной. Только выехал на поскотину,— выходит человек из лесу. «Свези меня, говорит, в Яр». Я гляжу: что такое, чего едет человек? Ни при нем вроде того что ни вещей, нет ничего. Я и говорю ему: «Как же это вы, господин, так едете в дорогу?» Так чего-то он сказал — не разобрал; я посадил его, да дорогой и пристал к нему: кто он, да кто. Ну, он было туда-сюда и признайся, что убежал из Варюхиной от солдата, пошел будто себе на задний двор, да и лататы. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехали в Яр, остановил я посреди деревни лошадей и крикнул: «Люди православные, ловите его, это арестант, убег из Варюхиной, да ко мне и пристал». Ну, тут его и схватили.

— Тебе не жаль его было?

— А как же он подводил солдата. Ведь солдат за него пошел бы туда же. Никак невозможно! Пропал бы солдат. И бил же его солдат, как привели назад. Ну действительно было отчаялся совсем. Уж тут так выходило: либо тому, либо другому пропадать,— друг дружку будто не жалеют.

Мы выехали на большую дорогу. То и дело тянутся обозы переселенцев.

— Много их?

— Конца света нет. Одни туда, другие назад шляются, угла не сыщут себе. Все больше свои, сибирские же, из Тобольской больше губернии. А чего шляется? Чтоб повинностей не платить; он ищет место до смерти, а мир плати за него. Непутящий народ, нигде не уживаются.

— Куда же они едут?

— Да так, свет за очи. Все больше за Бирск к белотурке... и у нас которые садятся, да не живут же,— все туда норовят: там белотурка родит.

— Ну, а у вас они могут, если захотят, осесть?

— Могут. Общество их не примет, а губернское правление отписывает, чтоб принять,— помимо, значит, схода. Вот в прошлом годе было такое дело. Пришли двое и просятся. Мир говорит: нам и самим тесно, мы вас не примем. Можете по другому закону сесть — садитесь, а от нас вам воли нет. Ну, они действительно отправились в город. Тут бумага из правления: принять таких-то и не принять, значит, а прямо зачислить без мира, значит, нельзя отказывать: иди кто хочет.

— И что ж, поселились?

— Живут.

— Что ж мир?

— Так что же мир? Как разрешили, так и живите с богом; взяли с них повинности,— паши, где хочешь, сей, где хочешь, как, одним словом, всё прочее.

— И не обиделся мир?

— Какая же тут обида, когда закон такой.

Иван замолчал, повернулся к лошадям и погнал.

В Сибири особенная езда: едет, едет, вдруг гикнет, взмахнет кнутом, и помчались лошади во весь дух — верста-две и опять ровненько. Этот марш-марш такая прелесть, какой не передать никакими словами: тройка, как одна, подхватит и мчится так, что дух захватывает, чувствуется сила, для которой нет препятствия. На гору тоже влетают в карьер, какая бы она крутая ни была. Понятно, что для лошадей это зарез, и только вольные кормы да выносливость сибирских лошадей делают то, что с них это сходит, как с гуся вода.

Когда опять поехали ровно, Иван стал вполоборота и ждал, чтоб я снова заговорил с ним.

Иван толковый парень, услужливый; он уже ездил со мной целый месяц и, несмотря ни на какие дебри, ни перед чем не останавливается,— смело лезет, куда угодно.

Его молодое красивое лицо опушено маленькой бородкой. Воротник бумажной рубахи высокий и плотно облегает шею; вся его фигура сильная, красивая, с той грацией молодого тела, которая присуща двадцати — двадцати пяти годам.

Он старший заправила в доме; отец, кроме пасеки, ни во что не вмешивается. Практичность его и деловитость чувствуется и проглядывает во всякой мелочи. К нему все относятся серьезно, то есть с уважением.

— Серьезный парень, умственный мужик, всякое дело понять может.

Жена ему под стать, и, несмотря на ласковые улыбки, чувствуется в ней практичная баба, хорошо познавшая суть жизни.

Я люблю говорить в дороге. Я вспомнил о распространенном здесь поверии о змеях.

— А скажи мне, Иван, змеи залазят в рот человеку?

— Залазят,— ответил Иван и повернулся.

— У вас в деревне залазила к кому?

— У нас нет, а в прочих залазила. Много примеров. В прошлом годе в Пучанове одному залезла. Вынули. Может, приметили мельницу на Сосновке,— вот там невдалече и живет знахарка, которая их вытаскивает наговором ли, как ли, я уж не знаю. Этот, которому залезла, чего-чего не делал, к доктору даже ездил. Доктор говорит: «Может ли это быть, чтоб живу человеку змея могла в горло влезть? Никогда этому поверить не могу».— «Верно, говорит, ваше благородие, действительно залезла».— «Ты сам видел?» — «Никак нет, говорит, я спал на траве, а только сон мне приснился, будто я пиво студеное пил, ну, а уж это завсегда, когда она влазит, такое пригрезится».— «Не могу поверить, говорит, свидетелей представь». Ну, действительно сродственники, кои привезли его, удостоверяют, что действительно, значит, верно. «Сами, говорят, видели, как влазила?» — «Ну, действительно сами то есть не видали».— «Так я поэтому не могу»,— говорит доктор. Туда-сюда, ну и выискался такой, который видел, значит. Привезли его к доктору, а то и лечить ведь не хочет. «Видел?» — говорит. «Видел, ваше благородие, своими глазами!» — «Как же она влезла?» — «А вот этак, говорит, только хвостиком мотнула»,— и показал, значит, пальцем, как мотнула. «Доказывай, говорит, крепко доказывай».— «Так точно, говорит, доказываю».— «Сам видел?» — «Так точно, говорит, видел».— «И под присягой пойдешь?» —

«Пойду». Ну действительно, если, значит, видел, так ему и присяга не страшна. «Ну, хорошо, говорит, значит, тому, к которому змея заползла,— должен ты нам теперь расписку дать, что согласен, чтоб мы тебе змею вынули, а мы тебя натомить станем, потрошить, значит».

Ну, действительно не согласился он и от лечения отстал и поехал к этой самой знахарке. Знахарка вникла и баит: «Ох, паря, нехорошее дело. Испытать надо». Дала ему порошков таких, чтобы уснул он маленько. «Мне, говорит, допрежь того увидать ее надо. Уж если она есть, не может она, значит, против меня, беспременно должна показать голову», Ну действительно только он это заснул, чего уж она сделала, вдруг рот у этого человека раскрывается, и показывается она самая. Высунулась и вот этак головой повиливает на все стороны. «Тебя, говорит, нам и надо». Разбудила мужика: «Есть говорит. Теперь она, говорит, от меня никуда не уйдет, потому должна мне повиноваться. Теперь настояще уж стану лечить».

Истопила это она печку жарко-нажарко, дала ему еще порошка, положила его вплоть к себе, а сама голову, значит, обзанавесила, чтобы не видно змее, значит, было. Вот только он это уснул, сейчас опять рот раскрывается, и вылазит она. Раньше только голову показала, а теперь четверти на полторы вылезла. А сама уж кровяная, красная, как огонь, толстая, действительно, кровью уж упилась. Как она это вылезла, а знахарка ее за шею, да в печку, в самый жар. Тут она и свернулась в кольцо; свернулась и закипела. Закипела, закипела и стала черная да узкая... да вот, как этот кнут, этакая стала. Разбудила она тогда мужика: «Вставай, говорит, молись богу — вот твой мучитель»,— и кажет ему. Ну, действительно к доктору посылали эту самую змею.

— Что ж доктор?

— Что ж, уж ему деться некуда: змея, так змея и есть.

— А зачем она его не разбудила, как только вынула?

— А нельзя. В то самое время никак невозможно никому, кроме знахарки, видеть ее. Сила в ей такая, значит, что должен тот погибнуть, кто ее увидит, кому ж надо?

— А знахарка не погибает?

— Действительно не погибает, потому слово такое противное знает. Много ведь случаев. В прошлом году

старик в соседней деревне здоровый такой был из себя, соснул тоже так, на гриве, а с того дня стал сохнуть, сохнуть, через год помер. Ну, так и смекают, что не иначе, что влезла к нему. Вредная ведь она: прямо к сердцу присосется и пьет из него кровь; пьет, пьет, пока всю не выпьет, ну, и должен человек помирать от этого. А то еще ощенится, дитенышей разведет штук двенадцать, да они примутся сосать, вытерпи-как тут, когда тринадцать ртов к сердцу присосутся. Не дай бог никому, врагу, не то что...

— Неправда все это...

— Непра-а-вда? — озабоченно протянул Иван и повернулся ко мне всем лицом.— Нет, господин, правда,— проговорил он убежденно, и нотка сожаления к моему невежеству послышалась в его голосе.— Неправда? Весь народ в один голос говорит,— значит, правда. Да вот со мной какой случай был. Подростком я еще был; отец отлучился, а я и вздремнул — пахали мы. Только вот точно кто меня толкнул. Открыл глаза, а она вот этак возле моего локтя свернулась, подняла голову и смотрит на меня, высматривает, значит. Так холод этак меня схватил — не могу ни рукой, ни ногой пошевельнуть, лежу и гляжу, а она на меня глядит. После спустила головку и поползла прочь; уж как ушла в траву,— я как вскочу да крикну! Отец прибежал: что, что такое, а я кричу, а сказать ничего не могу. Это уж верно,— хочешь верь, хочешь не верь. Доктор, он, конечно, по-своему толкует, спит себе, к примеру, на постели, так действительно не влезет, а поспи-ка на траве: даром что доктор,— в лучшем виде залезет, потому что, значит, дозволено ей. И станет залезать, и ничего, и ничего не поделаешь,— предел ее такой. В ней тоже ведь своей воли нет же. Доктор тоже ведь...

Вот и станция Варюхина.

— Отчего деревни у вас грязные такие? В избах хорошо, цветы у всех, а на улице грязь?

— Действительно против российских у нас погрязнее будто, ну, а жить можно.

Нашел чистоту!

Село, как все здешние. Издали это потемневший склад всякого лесного хлама: тес сквозит, сруб без крыши, покосившиеся избы, иная совсем запрокинулась, а внутри чисто, цветы, пол обязательно устлан местной работы ковром.

Глава III

Вариант по берегу Томи.— Встречи.— Пахом Степанович.

Вечером приехали и в Талы. Переночевали и с утра с партией на работу. К вечеру кончу и назад в Башурино. Работа то в поле, то в лесу, по берегу Томи. Запах полевых васильков, июльское солнце. Вчера была осень, сегодня — настоящее лето. Нежится земля; трава лениво качается; деревья сонно шумят, убаюкивая негою лета. Иван уехал, вместо него Степан Павлович. Громадная русская телега, громадная лошадь, громадный хозяин Степан Павлович, лет шестидесяти, рыхлый, пухлый, добродушный и мягкий. Со смекалкой, хорошо, толково объяснил, что мне надо было. Любопытный, но спрашивает очень осторожно и, видно, много думает, прежде чем спросить. Рабочие новые, но, по наслышке, пошли охотно. Ненадолго: всего один день. Кстати, воскресенье: заработают на гулянках.

Все парни в красных рубахах, в высоких сапогах, веселые, беззаботные и праздничные. Грызут орехи кедровые, острят втихомолку и хихикают. Работают споро, вообще держат ухо востро. Очень заботливо отнеслись к вопросу о воде, так как в степи взять негде. Взяли два лагуна,— будет из чего чаю напиться. Тянемся шаг за шагом по косогору. Попали в лесок; солнце морит, ветер шумит где-то по деревьям, а книзу мало доходит; аромат спелой травы приятно щекочет ноздри. Пасека внизу косогора: тихо в ней, не шелохнет; благовест несется с противоположной стороны Томи; пахнет медом; дед в чистой рубахе. Везде праздник. В небе ни тучки, и ветер подувает так, точно делает праздничную добровольную работу. Все располагает к неге, к ничегонеделанию. Тяжелые сухие сапоги, теплая куртка кажутся еще тяжелее; ноги горят, жарко, а снять нельзя: заест гнус. Все он отравляет, хуже всего сознание, что никуда не уйдешь от него, убьешь одного — их тысячи новых. Здесь так и говорят: до Ильина дня убьешь одного — решето прибавится, а после Ильина убьешь одного—решето убавится. Жарко и в порядке мучений теперь овод и слепень наслаждаются; комару, напротив, тяжело, жарко,— «он изопреет».

— А чему преть-то,— презрительно замечает рассказчик.

Вылетела целая семья тетеревей; молодые еще, плохо летают.

— Лови, лови! Бей, бей!

Замахали руками, бросились за ними. Один прямо на меня: я тетрадью... Мимо, конечно... Тетрадь подняли, а карандаша нет. Все-таки нашли, хотя провозились с четверть часа. Трофей есть — одну тетерьку убили.

Как заманчиво синеет Томь! Мартышки белые летают взад и вперед. Красивая будет дорога! Немного поля, и опять лес, мелкий березняк, комар, слепень... К вечеру мошка подымется; ночью клопы и блохи есть будут.

Заяц выскочил.

— Лови! Бей!

Нет, не работается... Ничего не хочется,— лег бы и лежал; глядел бы в голубое небо, прислушивался к ветру и ничего не думал бы. Морит солнце: все точно разваренные; дышишь не воздухом, а прямо горячими лучами раскаленного ядра. Даже в лесу трава — могучая, сильная, сочная — как-то свяла. Ну и контраст: градусов сорок жары, а вчера осень была.

— Змея!

— Вот эта вот самая и залазит человеку в рот.

Змея, узкая, короткая, черная, как смоль, лежит, свернувшись клубочком. Прижали ее топорищем.

— Я те отучу лазить,— говорит парень.

Вынул трубку, собрал оттуда, какой был, сок на палочку, придавил ногою ей шею и, когда она открыла рот, сунул ей содержимое далеко в горло. Змея мотнулась, вытянувшись, околела.

— Готово! Сдохла!

Никотин действует на змей мгновенно.

Нет, не работается: все интересно, кроме работы.

Наткнулись на ягоды и рассыпались, забыв про линию; главное начальство, я — во главе. Чтобы замаскировать скандал, приказал привал делать и завтракать.

Нет, я русский человек. Много работы — летит она, час за день идет; а станет убавляться,— все тише да тише. Такова уж натура русского человека: навалился и пооcлаб; пооcлаб, силы набрался — опять навалился.

Рабочие мои все из одной деревни — Басалаевки. Особенность этой деревни та, что все носят одну фамилию Басалаева. Вся она пошла от солдата екатерининских времен. В ней изб пятьдесят.

— И еще наш род все от того же старика пошел в других местах. Прежде ведь много таких было. Поселится, а теперь целая деревня стала.

Коснулись значения будущей дороги.

— Российские говорят: где пройдет она, там урожаю меньше будет.

— А наши которые старухи толкуют, что как пройдет она, так и свету конец.

— А которы бают, что в ней дьявол сидит.

— С иконами ежли против нее выйти,—она не устоит.

— Ну, а все-таки хуже же станет после нее, коней хоть ешь тогда.

Лениво, но добросовестно ввожу их в курс дела. Слушают, по обыкновению, с охотой и понимают.

— Глупый ведь мы народ. Тут как-то один на двух колесах (велосипеде) проехал,— так которые со страху на землю попадали: антихрист, дескать едет.

— А что, ваше благородие, ты тоже из чиновников же будешь?

— Какой я чиновник!

— И мы-то тоже баим: неужели чиновник станет деньденьской на своих ногах ходить! Из наших же, поди: подучили маненько и пустили, а чиновнику где уже!

Рассказчик пытливо смотрит на меня, но, видя, что я улыбаюсь, говорит сомнительно:

— Известно, темный народ; чего мы знаем. Не было того примеру, ну, всяк в свою дудку и задул.

Мой старик подводчик поел хлебца, перекрестился, испил водицы. Остальные лениво жуют. Я сижу на громадной телеге; старик зевает во всю свою богатырскую мощь и крестит рот.

— А поедешь в Варюхину? — обращается он ко мне.

— Поеду.

— Нынче мы же свезем, пожалуй.

— Ладно.

— Наша деревня Тальская — охотники возить, на тракту живем — завсегда заработок. А вот Поломошная, к примеру, всего в пяти верстах, а за рекой, негде взять копейку: колотятся. А мы, слава тебе господи,—нельзя гневить бога: кто с умом да с толком — можно жить ладно.

Подошли двое.

— На перепутье! — так здесь здороваются.

— Мир вам.

Молчат, и мы молчим, смотрим друг на друга.

— Планируете? Линию, значит, наводите?

— Планируем.

— Резев, поди, большой будет?

— Нет, не очень.

— Когда не больно большой,— бойко, убежденно проговорил разбитной парень,— я ведь это дело хорошо знаю. Пойдут это будки, станции,— очень даже большой.

Я не стал возражать этому специалисту.

— Ты кто? — спросил я лениво.

— Мы так...— сухо, с достоинством ответила мне неопределенная личность.

Помолчали и разошлись.

Еще трое. Эти типичные. Средний — громадный мужик с неимоверно большим лицом. Мягкие, толстые губы сложились в такую гримасу, какую часто встретишь в окнах, где висят разные комичные маски с исполинскими ртами. Широкий нос мясисто и тяжело уселся над верхней губой; нижняя челюсть выдвинулась, широкие карие глаза смотрят как-то остро и напряженно. Всклокоченная борода, курчавые черные волосы,— все массивно, крупно и с запахом. Лет ему за пятьдесят. Товарищ его среднего роста, полный, самодовольный, с бегающими глазками, средних лет. Третий — бесцветный, белобрысый, с белой бородой, все время молчал.

Говорят двое.

— На перепутье!

— Мир вам!

Маска смотрит так, как будто вот-вот ухватит меня за горло с воплем: «Держи его!» Так большая мохнатая собака свирепо бежит, и думаешь: вот разорвет. Но что-то доверчивое в ней останавливает руку, взявшуюся за камень. Собака без страха подходит и оказывается глупой доверчивой собакой и вместе с тем симпатичной.

Вот такое же впечатление производит и маска Пахома Степаныча.

— Всё ли живеньки-здоровеньки? — проговорил мужик с бегающими глазками, обращаясь к моему старику.

— Живем, поколь господь грехам терпит.

— Ну, и слава богу,— пропел в ответ крестьянин.— Счастье вам, тальцам, как погляжу,— проговорил он,— все ямщина — лопатой гребете деньгу.

Он подмигнул на меня и посмотрел вбок.

— Хоть бы нам этакое счастье. Мы ведь, ваше благородие, все здешние места с завязанными глазами знаем.

Ввиду почти всякого отсутствия карт потребность в опытных руководителях никогда не прекращается.

— Так что ж, послужи, если охота.

— С нашим мы удовольствием, со всей охотой.

Маска с завистью посмотрела на пристроившегося товарища.

— Ну, для начала скажи: заливает Томь вон эту лужайку?

— Какую? Вон энтую? Редко же; так сказать в сорок лет раз, никак не больше.

— Пошто? — выпалила маска.

— Так будто, Пахом Степаныч,—мягко проговорил он.

— Пошто? — опять выпалил Пахом Степаныч.— Бабка Нечаиха коли умерла?

— Ну коли?

— Коли? А телку-то, эвона, бурую-то у меня коли увели?

— Я что-то не припомню.

— Не припомнить? А Никитка, хоть он тебе и дядя, будь он проклят, мое сено коли уволок?

— Ну, и уволок уж!

— Не уволок? Я в тюрьме сижу? Слышь ты, твое благородие,— эвона какое дело вышло, ты только послушай, и тут тебе такие дела откроются. Ну вот, хоть тебя взять,— ты как считаешь: можно человека без вины, без причины валить на землю да нещадно драть розгами?

Пахом Степаныч не то что громко говорил, а прямо кричал.

— Да ты что его благородию шумишь-то?

— Постой,— досадливо перебил его Пахом.— Ты послушай только, господин, какие у нас дела творятся. Рассказать, поди, так не поверишь. А все право. Вот хоть, к примеру, он. Ну что, нешто не били меня?

— Мало били,— шутливо ответил крестьянин.

— Не валили, как быка, на землю? Ну?

— Ну что ж? Валили.

— Валили? — с горечью переспросил Пахом.— А по закону это?

— Стало, по закону.

— По закону? Человека обесславили,— я вор, что ли?

— Кто же говорит?

— Так за что ж меня били?! — вскипел вдруг Пахом.

— Да отстань ты, ну тебя... я тебя, что ли, бил? Мировой назначил.

— Мировишка ваш такой же, как и вы все. А за что, ваше благородие, спроси. Банишка паршивая сгорела; она, значит, не сгорела, а хотели за нее деньги получить, будто сгорела, так, ветхая... пять рублей. Назначили меня в осмотрщики. Гляжу я: что такое, где она горелая, когда она вся тут?

— А тебе надо долго было мешаться? Свои деньги платили, что ли?

— Постой! — сделал страшную гримасу Пахом, открыв свою бегемотовскую пасть,— не за свое дело стоял, за мирское.

— Ну, вот тебе и мирское,— ехидно хихикнул крестьянин.

— Постой... Ладно. Что ж я худого сказал, твое благородие! Только всего, что старшине, как он свой приговор постановил, так что баня сгорела, ну действительно сказал, что все вы — одна сволочь — и верно!

— Ну, вот тебе и вышло верно.

— Паастой!.. Ну вот, призывают меня после того в правление и без суда и спроса, так и так, пятнадцать розог. Не желаю. «Вали его!» Дай, говорю, месячный срок обжаловать. Дай двухнедельный, дай недельный, дай три дня!

Голос Пахома перешел в какой-то воющий рев.

— Навалилось десять человек народу, что я поделать могу?! Один хватает за руки, другой ноги, третий рубаху рвет...

Пахом Степанович замолчал на мгновение.

— Уперся я,— начал он снова,— в первый раз тихо этак рванул: раз-другой,— ну, сила, можешь видеть,— посыпались кто куда... Опять насели... опять таскали-таскали — брякнули на скамейку ребром, так и сейчас вышибленное. Ну, уж там дальше, как в тумане. Повалили, уселись на само на ребро, били-били,— я уж не помню. Ну, отлили, отошел. Я в ту же минуту прямо в город. Пришел к губернатору и прямо ему так и говорю: «Ваше высокопревосходительство, глядите», да и поднял рубаху; поднял рубаху, а там все тело так и запеклось. Взял его пальчик да и вожу по ребру, а ребро-то: трик-трик. «Это что ж такое?» — говорю. Ну, меня сейчас в госпиталь на излечение. Следствие...

— Ну?

— Ну и ничего: кому надо?

— Да не слушайте вы его, ваше благородие, утомит он вас, а толков никаких ведь не добьетесь... пятнадцать лет вот мотает и себя и мир,— уж его и на высидку присуждали — совсем супротивный человек стал.

— Супротивный? — Пахом плюнул и быстро ушел. Отойдя, он остановился, как будто рассматривая что-то, а сам слушал.

— Вина не в старшине тут была, а в мировом. Вы-

шел приказ, старшина взял да и выпорол. А мировой-то смекнул, что дело неладно, и водил его все это время,— ну, а теперь действительно ушел, и дело открылось. Так ведь сколько лет же ушло. Да и дело он свое сам же испортил. «Не стану, говорит, подати платить, когда так». Совсем отбился,— до сих пор и не платит. Ну, нынче велено продавать у него сено и дрова.

— И не буду платить! — гаркнул издали Пахом,— по какому такому закону меня калекой сделали? Кто бил, тот и плати.

— Совсем пустой мужичонка. Жил хорошо; все смотал, все бросил, все перевел на кляузу,— ничего не стало; вся изба завалена — все черновиками да прошениями,—сосут с него, конечно, а он все собирает их. Чуть что и сейчас: «а черновик?», а что такое черновик, и не расскажет, поди. И так уж он иссутяжничался, что чуть что кто, сейчас тянуться. Семена ему тут богатый мужик продал, так ведь что выдумал? «Не всхожи»,— баит. И ведь суд затеял на пятьдесят рублей. Мужик-то богатый, взял да и вынес ему пятьдесят рублей. «На вот тебе, говорит, я такой же человек и останусь, а ты все такой же прохвост будешь». Право, так и сказал, так и отрезал. Пустяшный человек, разговоров не стоит. А теперь, прямо сказать, умом тронулся,— хихикнул крестьянин, заглядывая мне в глаза.— В город опять идет: прослышал, князь какой-то едет. Кто едет — он сейчас же торбу на плечи, айда пошел...

— Сволочь! — плюнул Пахом Степанович.— До смерти буду ходить, а правду-матку найду. Из-под земли ее вырою!..

Так и запечатлелась эта громадная, тоскующая, точно в кошмаре каком, фигура с своими черными курчавыми волосами, которые, как змеи, обвились вокруг громадной его головы.

ПО ЗЕМЛЕ СИБИРИ

Карандашом с натуры

Село Конево.— Егор Иванович Конев.—
Староверы.— Яков Платонович.

Село Конево — в горах, место глухое, спускаться к нему надо чуть не с отвесной крутизны. А в самом селе грязь невылазная. Яков Платонович, мужик ближней де-

ревни,— умный, с большой широкой бородой,— рассказывает мне, что знает о коневцах. Вот история их села. Жил-был здесь когда-то раскольник Конев с двумя братьями. Братья жили бедно. Умер старший, остались двое младших. Сначала тоже не шибко жили, а тут стали богатеть не по дням, а по часам. Завели извоз в Иркутск, за полторы тысячи верст, и что ни поездка, то тысячу-другую отложат. Другим убыток, а им все польза. Дело в том, что Коневы сбывали фальшивые деньги, которые им делал человек, проживавший тайно в избушке у них на пасеке. Пасека помещалась в глухом месте, и люди только мельком иногда видали этого человека. Потом избушка сгорела, человек, делавший деньги, пропал без вести, а Коневы пошли в гору. Братья давно уже умерли, а род их разросся в деревне, и живут хорошо. Лошадей держат помногу; извоз в Иркутск не бросают и продолжают хвалиться выручкой. Тесно в деревне, на улице вечная грязь. И раньше Коневых это место известно было. Тут было коренное гнездо знаменитого разбойника Тюменева. Имел он партию человек в пятнадцать и с ними верхом разъезжал. К кому приедет, спросит: «Слыхал про Тюменева?» Обомлеет человек, а он ему: «Я к тебе в гости. Угощай». Ну, и начнут его уважать вином, пищей, деньгами. Доволен останется — уедет, нет — прикончит всех. Умер он от случая.

— Гнались за ним лесом,— говорит Яков Платонович,— а он бежит. В него пулями стреляют, а он их назад оборачивает; повернется, бросит и крикнет: «Може, вам пригодится». Палили, палили: тут у одного солдатика все пули вышли, а он и догадайся медную застежку с шеи сорвать. Этой застежкой и убили. Олово-то Тюменев заговорил, а медь не заговорил,— этим себя и погубил.

Кончил Яков Платонович и сам же говорит:

— Сказки все это!..

Не для одного Тюменева Конево было теплым уголком. В свое время здесь был коренной бродяжнический притон. Бродяжки, как мотыльки на огонь — тянулись к Коневу. Дед Якова Платоновича держал здесь неподалеку пасеку, и приходилась она как раз на бродяжьем тракту. Вот дед и рассказывал внуку, что, бывало, задолевали его бродяжки: то и дело шасть в избушку. «Где дорога на Конево?» Вот чтоб его не мучили, он на сосне, разделявшей дорогу в Конево от дороги в пасеку, стесал краешек, сделал стрелку и написал: «Здесь доро-

га в Конево». С тех пор как ножом отрезало: то ли они все грамотные, то ли друг по дружке, но уж дедушку больше не тревожили.

Славились коневцы своей доморощенной водкой без акциза. Как придет распутица, когда никаких дорог не станет (а к ним и подавно), и начнут они свои заводики раскуривать.

— Пьют, шельмецы, да добрых людей угощают,— прибавлял Яков Платонович.

— А это что там в сосняке? — спрашиваю я.

— Кладбище.

Там похоронены и те, от которых пошло все богатство. С ними зарыта тайна этого богатства и тайна исчезновения безвестного бродяжки, делавшего коневцам фальшивые деньги. Все скрыли могилы, и безмолвно выглядывают они теперь из-за могучих кедров, лиственниц да елей.

— А теперь подделывают деньги? — спрашиваю я.

— Не слыхать. Нынче ведь трудно. Машина одна тысяч двести будет стоить. Вот раньше двадцатипятирублевые были,— ну, те хорошо делались. Тут вот недалеко от нас и мельница эта самая.

— Знаю. На большой дороге?

— Вот-вот. Было же, сказывают, дело у них. Они-то сухи вышли, а тут другой мужичок был,— захотелось тоже ему, ну и влопался вместе с мастером. Тут мастера возле Батурина и схватили. А уж так чисто, так чисто работал,— уж надо лучше, да некуда.

Яков Платонович с сожалением вздохнул.

— И с лица красивый был. Руки белые, великолепные, не нашим мужицким чета. И глупо так попались. Пошел мужичок для опыту в город, зашел в магазин, сунул бумажку, купил чего-то там. Ну и не подумали даже, дали сдачи, все как следует. Только погодя немного заходит опять. «А не разменяете ли еще мне двадцать пять рублей?» — Пошто не разменять. Взял хозяин и сличил ее с прежней, а номер-то тот же самый; ну и попались. В каторгу обоих. Мастера-то уж нашли у Нефедовых. В тюрьме и он сидел. Много ведь в прежние времена этим делом занимались. Я так смекаю, что все старинное богатство у нас в Сибири от этой торговли деньгами пошло.

Остановились мы на квартире у Егора Ивановича Конева. Хороший дом. Вход в обширные темные сени. Особым крылечком, широким, в три ступени, входишь в дру-

гие сени — светлые. Налево кухня в четыре аршина высотой, с большим окном. Направо — чистые комнаты: столы, деревянные диваны, буфет, плетеные стулья-табуреты. Тут же громадная кровать, много перин и подушек. Обои и картины. А дальше еще комната пустая, с лавками вдоль стены. Тоже обои. Потолок чистого теса. Русская печь красиво обделана лиственницей. Рамы оконные тоже из лиственницы. Пол застлан коврами. Хорошо живут коневцы, глядеть весело. Пью я чай с Яковым Платоновичем.

— Коневцы староверы? — спрашиваю я Якова Платоновича...

— Все старой веры,— отвечает Яков Платонович,— попа нет: баба и та может исповедать,— все со своей посудой... Приедет к нам на праздник пьяный и в карты играет и тары да бары; а как водку пить, сейчас свой стаканчик вынимает из-за пазухи: пожалуйте... Все заботятся, чтоб не измирщиться.

— Говорю я им,— объясняет Яков Платонович: «Вы что же это, и пьяны, и в карты играете, и с чужими бабами тары да бары; а выпили из своей посудинки и оправдались? Это бы уж больно просто было, господа. Я так считаю, что этим лукавством никого вы, окромя себя, не обманете,— царство-то небесное не дураки же стерегут». Сердятся... а мы смеемся. У них какое дело вышло. Есть у них баба, теткой же мне доводится,— молодая, красивая; она да муж, больше никого. Люди с достатком; крепко соблюдают там это, чтоб из одной посуды не пить, и прочее такое. Ну, ладно. А у них старичок жил — ихней же веры, тоже твердо жил. Бывало, на пашне ни за что из чужого лагуна не черпнет; пять верст пройдет, а принесет воды в своем. Жил он у них так, для веселья,— будто вот хозяин все по делам, а он в помощь бабе. В помощь — в помощь, и стал мой старичок подбираться к бабенке. Той сначала и невдомек, а уж тут ночью раз все дело раскрылось. Она ему: «Что ты, что ты, дедушка?» А тот запыхался, говорит: «Матушка, говорит, Василиса, я ведь не то чтобы... я ведь о том только и забочусь, как бы мне с чужой бабой не измирщиться...» Она и расскажи подружкам,— моей бабе рассказала, та мне,— и пошло дело! Я раз на празднике и пустил: «Вот, говорю, как у вас всё строго соблюдают: я знавал одну Васильевну,— не говорю прямо, значит, а так, будто не на нее,— так к ней один очень приставал, все просил, чтоб не измирщиться с чужими,— вот как блюдут, де-

скать, твердо». А она-то, Василиса, как мак стала. Сначала и виду не показала, а там и говорит бабенкам: «И откуда он только сведал про это?»

— Ну, а муж узнал?

— Известно, узнал, да что со старика-то возьмешь? Ветхий старикашка: «Лукавый спутал»,— говорит. У них все лукавый, а сам опять прав.

— Все-таки что ж со стариком?

— Отпустили — неловко, как-никак... Вот так и заботятся всё, чтоб не измирщиться. Беда насчет этого у них. Я раз водицы испить вздумал. Думаю себе: не курю я, лагуна не измараю,— и выпил. Так что ты думаешь: старуха так на стену и полезла. Бранит. Я ей говорю: «Матушка, я ведь тоже не курю».— «Да мне что с твоего куренья, когда ты с мирскими якшаешься». И стала она парить эту посуду: раз десять кипятком да песком, а потом принесла распятие, положила в посуду, облила водой и стала ею брызгать по стенам — значит, вода святая, уж стол и посуда очистились.

Яков Платонович мотнул головой.

— Вот она ересь у них и есть. В каких книгах писано простой бабе святить воду? — их выдумка. Сами ересь создают, а нас еретиками, никоновыми антихристами величают. Так все это — невежество одно. Вот так вчера я вам про соседку рассказывал, которая будто прядет по ночам, а либо душит, как домовой,— ну так и это: все это языческое тянется от владимировых времен, а они думают, что спасаются. Да книги их взять: и по книгам их во всем собьешься; потому что дичь больше, несуразность одна. Чтоб раскинуть умом — нет, а уткнется носом в одну точку, ну и не видит уж кругом себя ничего. «Неужели,— говорю я им,— только от того, что каким перстом крестишь себя — быть нам спасенным или нет? Ну, а кисть оторвет,— каким перстом оторванные пальцы сложить?»

— Ну, а коневцы народ хороший? — спрашиваю я.

— Жестокий народ, гордый... Наши вон рабочие ходили-ходили — опять назад пришли, не пускают... Дождь, ведь собаку добрый хозяин на улицу не выгонит, а они знай свое: «Сгинь, пропади, проклятый еретик». Неужели же мы хуже и собаки? Скупой народ... Только вот и есть на селе хороший, вот этот вот,— где мы сейчас, Егор Иванович, да хозяйка его: ну, эти, прямо сказать — другой народ... Ну, у этих другая беда: запивает Егор Иванович. Какой человек был, а теперь никуда не годится!

— С чего же это он?

— Господь его знает... Как жили прежде: первый дом. С женой лад да согласие. Жену и сейчас, как ни пьян, а и пальцем не тронет.

Жену Егора Ивановича я уж видел: высокая, чинная, лицо доброе, но строгое. Видел утром мельком и хозяина на покосе. Он только что тогда приехал было из города, где пропил все деньги, и скрывался в своем летнем помещении — в избушке; какой-то косматый, страшный. Вечером дочь привезла его. Он был трезвый, сейчас же вошел ко мне и сел с ухватками совершенно дикого человека. Короткие ноги, очень короткие мясистые руки, длинное толстое тело; громадная всклокоченная голова с плешью как раз на макушке; весь рыже-бурый; в мохнатой широкой рубахе, широких штанах, босой и неуклюжий — настоящий дикий. Лицо крупное, бородатое, вздутое от пьянства. Глаза бегают — водки ищут. Вся его фигура, вся его утроба тянет его теперь к водке, и весь остальной мир уж не существует для него. Водка — он оживлен и готов действовать. Нет водки — он угрюм, мрачен и сварлив.

— Ну,— проговорил он,— как же так? Яшка, к примеру, купеческий сын; ну так что же, что он купеческий, его разве нельзя по сусалам?

— Хозяин? — спрашиваю я в ответ.

— Ну, хозяин.

— Ты что же, пьешь, говорят?

— Есть маненько.

— Жил хорошо раньше?

— Плохо ли жил: пятьдесят лошадей держал.

— Теперь сколько?

— Пять осталось.

— И то ведь хорошо. Дом какой — жить можно.

— Когда нельзя... Дай-ка бы водки... Рабочим все выдали твоим: и пищу и квартиру... Окромя нас, хоть на улице ночуй. Народ у нас...

Хозяин замотал башкой.

— Корят меня, а мне что? Пусть им всем пусто будет... Мы, слышь, каины все... Ну давай, что ли, водки!

Подал я ему стаканчик,— схватил, выпил и ушел, тяжело, по-медвежьи ступая. Рабочие мои попросили водки. Я вышел в кухню, даю денег и говорю, чтоб и хозяину подали.

А старуха его строго говорит:

— Не пьет хозяин.

А хозяин смотрит на хозяйку свою,— только чешется. Потом осмелился и говорит:

— Пью же.

Смеются все.

Пока я стоял — он молчал, а вышел я — он стал ругаться громко и неприлично. Обе двери плотно затворила заботливая рука хозяйки, чтоб не слышал я домашнего срама. Зачем-то вышел я и мельком опять увидел косматую фигуру хозяина: сидит на скамье, отвалился головой на косяк окна, вытянул ноги и сидит, и сам не знает, куда его качнет, в ухо ли запалить кому попало, схватить ли что-нибудь и марш в кабак...

Утром проснулся я, вижу в окно: проехал хозяин верхом. Сидит без шапки, лысина сверкает, мохнатая одежда раздувается; дождь льет.

У хозяйки без него приветливое, веселое лицо, при нем — вытянутое, глаза смотрят прямо пред собой, а губы тесно сжаты колечком: видно, только и ждет от муженька какого-нибудь нового колена.

Однажды утром понадобилось мне с Яковом Платоновичем съездить в одно место поблизости от Конева. Поднялись мы в гору и поехали кедровым лесом. Такой лес называют здесь тайгой. А кругом тихо-тихо. Лес точно спит. Солнце светит между деревьями: все небо синее, чистое — высоко над нами. Чиркнет где-нибудь в лесу птичка или сучок обломится — и звонко разнесется звук далеко кругом. Высоко-высоко на кедрах шишки, а в них орешки кедровые. Скоро уж и снимать их станут: бери кто хочешь — всем на требу господь создал их.

Говорим мы с Яковом Платоновичем об нашем хозяине.

— Только водка и держит его... Совсем как дите какое малое... Ляжет на печь и начнет колотить ногами в потолок. А то сам с собой говорит: «За меня пойдет молоденькая?» И сам другим голосом говорит: «Пойдет!» Опять: «Красивая-красивая». А вчера встретил меня. «Слышь, ты, говорит, я теперь ваше благородие стал, снимай шапку».— «А тебя кто сделал?» — «У меня чиновники теперь стоят».— «Ну что ж, говорю, водку пьешь теперь?» — «Нет, на свои»,— говорит. «Ну, деньги с них берешь?» — «Нет еще, возьму». Гляжу, подъехал опять к другому окну, опять чего-то врет. Опять меня встретил: «Стой, говорит, сегодня какой день?» — «Да четверг»,— говорю. «Ну и ладно, брат, и разговаривать нам больше нечего». Да вдруг: «Эх, паря, охота ударить тебя».— «За что?» — «Да вот так».

Проехали еще, смотрим: трое оборванных темных людей под деревом.

— Бродяжки,— говорит Яков Платонович,— с каторги откуда-нибудь на родину пробираются. А там опять поймают, а все охота родные места повидать.

А вот и лес кончился, и пошли сенокосы коневские.

— У нас в Сибири,— говорит Яков Платонович,— земли много: косишь, не видишь друг дружку, пашешь — не слышишь. Выбирай кто какую хочет гриву.

Гривой зовется удобное для пашни место. Бросит гриву один — другой сядет; будет тогда не Власова грива, а Гришина. И Власова и Гришина — а все та же вольная, неделеная, далекая сибирская сторона.

Тут дорога наша повернула, и поехали мы прямо на летнюю избушку Егора Ивановича.

— Вот это самое его место, куда он, Егор Иванович, убегает, когда что с ним неблагополучно,— говорит мне Яков Платонович.— Он и сейчас тут — с вечера еще убег; вчера хозяйку свою-таки бил... Эх, женщина хорошая... Стой-ка, надо посмотреть, чего он тут делает.

Яков Платонович пошел к избушке, а я остался. Смотрю, кричит Яков Платонович. Я к нему — что такое? Добежал, да так и замер на пороге: висит на веревке в углу Егор Иванович, глаза разошлись и смотрят, точно еще не смекнули, что это он задумал... А сам синий, вздулся, напыжился. Посмотрели-посмотрели мы с Яковом Платоновичем: холодный, закоченел уж,— и поехали назад в деревню народ звать.

Едем, и говорит Яков Платонович:

— С чего запил? С чего погубил себя? И человек был хороший, и жена первая баба, и богатство, и земли и лесу вдоволь: как бы не жить, кажись человеку? А на вот тебе!..

ИЗ ОКНА ВАГОНА

От Петербурга до Триеста

3-го апреля. Сегодня наконец мы выезжаем прямым поездом на Вену, а оттуда в какой-нибудь уголок Адриатического моря, где тепло уже, где солнце, свет, жизнь.

На вокзале произошла какая-то путаница, места наши заняли другие, и мы чуть не остались. Только за ми-

нуту до отхода мы получили места во вновь прицепленном вагоне. Мы швыряем вещи, вскакиваем сами, третий звонок, крики, поцелуи, забыли сак, уже на ходу сак летит в окно, еще что-то ... смех, пожеланья... Что-то кричат, но уже не слышно. Свет после сумрака вокзала врывается в окна, пред нами мелькают здания, стрелки,— быстрей, быстрей.

4-го апреля. Варшава. В этом году весна поздняя, и так и уснули мы со снегом на полях. Сегодня утром снегу больше нет. Но поля грязные, леса еще пустые и голые: холодно и неуютно.

Природа напоминает только еще отделывающуюся квартиру: везде грязь, серый фон, но высота комнат, разделанные потолки и плафоны уже говорят о будущей роскоши и красоте. Нежно-голубое небо, все в разорванных туманных облаках, все в блеске молодого солнца.

А вот и Варшава в своем средневековом стиле, со своими костелами, Саксонским садом, Лазенками и Вилляновом. Правда, везде еще лужи воды, но в них уже отражается нежное небо весны.

Я люблю Варшаву. На улицах ее жизнь, движение. Нарядная толпа, экипажи, польская упряжь.

Проездом на Венский вокзал жадно ловишь впечатления, всматриваешься в эту толпу,— хочешь что-то понять, почувствовать, схватить. Вот идет стройный задумчивый почти юноша. Его мечтательные голубые глаза уже разочарованно ищут чего-то. Может быть, свое потерянное детство и юность, когда так же ходил он здесь и в просвете узких улиц видел голубое небо, готический костел. Замирая от звуков своих шагов, входил он под его своды, туда, где в блеске голубого грота в светлой одежде стояла, точно воздушная, неземной красоты Вечная Дева. Пламенный и страстный молился он ей тогда до забвения, до галлюцинаций и увидел ее однажды идущую к нему. И болела долго душа о чистом видении. Потом утихла боль и погас прежний огонь, и уже мертвы и неподвижны для него теперь изваяния костелов и не будят больше его души. Иная, может быть, любовь — земли уже зажгла его сердце и разочаровала. А может быть, все та же идеальная в его душе любовь — к людям, их благу и счастью — ищет выхода? Вот другой идет, тоже молодой, франт. Длинный, длинные ноги, рот большой, как у галчонка, прекрасный цвет лица, длинные руки, трость с набалдачником, длинный редингот, взъеро-

шенные кверху усы, галстук во всю грудь, булавка и цилиндр на голове. Навстречу ему еще более, чем он, изысканный щеголь, более небрежный в своих манерах, и фигура первого щеголя съеживается и изображает из себя вопрос; проходит красивая дамочка, и щеголь номер первый уже весь восклицательный знак, прошла дама — он у широкого окна магазина рассматривает книги, гравюры... Кто он? Его общественное положение? То, что мы, русские, называем: его паспорт?

А вот молодой ксендз: бритый, в перчатках, наверно, и надушенный. Что такое бедный закорузлый русский попик в сравнении с ним.

Два маленьких оборванца обгоняют ксендза: один целует руку, другой, забежавший было уже вперед, возвращается, снимает шапку, тоже быстро целует руку, и оба убегают.

Чем-то знакомым веет? Сенкевич... Точно едешь и читаешь его. Все и средневековое,— про шляхту, ксендзов,— и все новое — с героями последних формаций западной жизни, нам непонятных, как будто чужих.

А может быть, только не хотим понимать, не хотим замечать действительных образов жизни. И только кажется нам, что Сенкевич и отстал и шокирует нас, идеалистов чистой воды. Нас, все еще гордящихся реализмом своей литературы.

Дальше, дальше. Мы уже мчимся из Варшавы.

Новые вагоны, громадные окна, масса света.

Уже там и сям зеленеют поля, нежнее небо, ярче солнце, и все это как будто здесь, в вагоне. Нет деревень, все хутора, все беленькие домики-особнячки, при них садик, прудок, речка, и так до самой границы — все зажиточно, уютно как нарисованная картинка.

Чем дальше, тем больше городов, фабрик. Чем больше труб, тем зажиточнее эти фермерские беленькие домики. Нет и следа нашей скученной, серой и грязной, из дерева, навоза и соломы деревни.

Но где же бедные в этих полях? И я жадно ищу, куда спряталась здесь в этой нарядной жизни нищета. Или ее нет, или она искусно, очень искусно замаскирована.

Вот поезд остановился как раз около фабрики, и видно из окна вагона, как толпа рабочих валит из ее ворот. Но и здесь оборванных, забитых, угнетенных не видно. Это хорошо одетая толпа, их лица независимы, свободны, уверены. А несвободные, забитые, голодные и

угнетенные навязанными полурабскими формами жизни? Неужели все там назади, в грязных, серых деревнях из соломы, дерева и навоза?

Прозрачные сумерки, и пахнет первым весенним дождем. Уютная дорожка прихотливо убегает в зеленые поля. Тепло, окна вагона открыты, мы стоим на станции и слушаем песню савояра. Звуки разливаются и тают в воздухе, как тает там в небе нежный просвет заката.

5-го апреля. Скоро Вена... Мы жадно смотрим в окно. Зеленые поля, солнце, весна в полном разгаре. Изредка только красные полосы земли только что вспаханы: нашего чернозема нет больше. Отдельные фермы и города с белыми высокими домиками, гонтовыми или черепичными кровлями — черными, в готическом стиле костел. Все красиво, чисто, уютно.

В солнечном утре весны, в дымке тумана начинающегося дня старая Вена с высокими готическими, точно потемневшими от времени зданиями, с собором святого Стефана в его ажурной высоте, с памятниками Моцарту, Гайдну, множеством других памятников.

Сколько конок,— электрических, паровых, с лошадиной тягой, омнибусов. Последних миллион. Экипажи в шорных запряжках, кучера в пиджаках, шляпы котелком, с длинными бичами, которыми так искусно управляют они, погоняя лошадей и предупреждая задних.

Мы в кофейне,— таких множество,— за десять копеек вам подают прекрасное венское кофе со сбитыми сливками, вкусными маленькими булочками, вам подают социал-демократическую газету, где на первой странице крупным шрифтом напечатано: «предупреждение». Предупреждение о том, что такой-то хозяин, не желающий сокращать рабочий день на своей фабрике, подлежит бойкотированию с такого-то числа. Тут же извещение о 1 мае, указание дешевых помещений, столовых, адреса больных и нуждающихся.

Я читаю газету и пью кофе у окна кофейни, а мой кучер там на улице, сидя на козлах, читает ту же газету и пьет из граненого бокала пенистое пиво, которое по его требованию подали ему из той же кофейни.

Кучера типичны здесь. Это не рабочие; это собственники: и экипаж и пара сухих венгерских лошадей его, об этом говорит вся его уверенная фигура, его взгляд на прохожих.

Этот же кучер и чичероне наш, и так как сегодня воскресенье, то он везет нас на Пратер.

Что такое Пратер? Бесконечный загородный парк, местами уже сплошь застроенный кофейнями, тирами, каруселями, ресторанами, балаганами, громадным, в несколько сажен в диаметре, колесом, которое вращается и к которому прикреплены вагончики для публики, желающей смотреть на Вену с птичьего полета.

Масса народа, и преобладает, как везде в больших городах, среднебуржуазная толпа. Все и приспособлено для такой толпы: все дешево и доступно. Множество военных в своих узеньких черных, синих, вишневых формах, без погон, со стоячими воротниками, с микроскопическими на них различиями по роду оружия, чинов и рангов.

Вечером мы в опере. Идет «Волшебная флейта». Пьеса старая, сезон заканчивается, народу очень мало: все какие-то старички и старушки, и все это усиливает отрицательное впечатление. Чем-то старым-старым веет: нюхательным табаком пахнет от всех этих доживших до столетнего возраста Фаустов и Маргарит,— раскаявшихся, конечно, и требующих теперь и от других посильного их почтенному возрасту целомудрия.

Старый лакей, немец, угадавший в нас туристов русских, шамкает, что в мае предстоит празднование юбилея их престарелого императора. Он сообщает нам, что помнит императора еще с 48-го года, когда тот делал смотр славным русским войскам. Я при этих словах торопливо оглядываюсь на одевающуюся рядом с нами в коридоре венгерскую семью — старик, двое молодых людей, барышня, высокая, стройная, в кофточке, обшитой дорогими соболями,— все они угрюмо слушают и внимательно всматриваются в нас.

Я добродушно киваю старому лакею головой и говорю:

— Не будем вспоминать старых ошибок.

— С кем не бывает,— что-то, по своему понявший, соглашается со мной немец.

И венгерская семья и мы смеемся и расходимся.

6-го апреля. Сегодня понедельник, и пред нами деловая Вена. По улицам грохочут громадные фуры, запряженные гигантами-клейдесдалями, першеронами,— пара таких везут 300—400 пудов. Новые условия жизни создают и новые породы скота, лошадей, как создается и новый тип людей — рослых, сильных телом и духом. Для мелких же перевозок остались собаки, запряженные в маленькие тележки: особенность Вены и Швейцарии.

Масса народа, громадное движение, экипажи, масса магазинов, с большими зеркальными окнами, со всевозможными приманками в них. Все это изящно, красиво, со вкусом и дешево: процентов на пятьдесят дешевле, чем в России, но и здесь все приспособлено для вкусов большой толпы.

7-го апреля. С восьми часов утра мы едем по железной дороге из Вены через Земмеринг в Триест. Мы поднимаемся в горы, туда, где в голубом небе нежно вырисовываются их вершины, перевалим через них и спустимся к синему, как ляпис лазурь, Адриатическому морю.

Дорога — собрание чудес. С ее высот вы видите бездну под вами и такую же над вашей головой. Вы будете и там вверху, вы были и там внизу, не дай только бог прямой дорогой назад. От этого ощущения, особенно на крутых поворотах, с размаху вылетая из тоннеля на карниз отвесной скалы,— трудно отделаться; вот-вот, кажется, уже сорвался и летит поезд с грохотом и треском прямо туда в головокружительную бездну. Эта дорога — основательница всех таких смело выстроенных дорог.

Как красиво в прозрачном воздухе громоздятся и эти иззубрины гор и все эти зеленеющие бездны, сплошь застроенные курортами, пансионами, санитарными станциями, куда спешат обитатели всего света. Счастливая Австрия: много денег привозят ей туристы. Мало ли и помимо этого у ней денег, благодаря богатству почвы, климату, благодаря свободному труду и связанному с ним процветанию промышленности и вообще всей той культуре, которой обязана Австрия, несмотря на все свои политические неурядицы, своим богатством.

— Что такое политический строй? — Это, жестикулируя, говорит мой сосед, француз, какой-то фабрикант. Он спрашивает и с циничной гримасой отвечает: — На моей фабрике заготовлены все три знамени: Vive la republique! Vive le roi! Vive l'empereur! [1]. Тут только опасно, как бы не спутаться, а влияния на жизнь это не имеет...

Он снял свою шелковую шапочку и протянул ее ко мне:

— Это меняется, как шапка...

Не всегда, впрочем, и примеров больше, чем надо. Китай, Турция, Бухара... Есть примеры и обратного: тысячелетия спавшая непробудным сном Япония, с пере-

---

[1] Да здравствует республика! Да здравствует король! Да здравствует император! *(фр.)*

меной своих политических форм, с небывалой в мире сказочной энергией, в тридцать лет всего, достигла высокой культуры.

В живой и мягкой темноте вечера огни, шум и запах моря: Триест.

— Hotel au bon Pasteur!

— Hotel Imperial!

— Hotel d'Europe!

— Hotel d'Europe?

Но носильщик энергично качает головой и голосом, не допускающим возражений, говорит нам:

— Hotel Imperial[1].

И вот мы уже в этом отеле: большое новое здание в несколько этажей, новые комнаты, новая светлая ясеневая мебель с сиденьями из красного бархата, такие же ясеневые кровати, мраморные умывальники. Все свежо, ново, итальянский язык.

На ужин всевозможные рыбы Адриатического моря: рыба святого Петра, дантелла, дорадо, барбуля.

8-го апреля. Утро. Солнце пробивает сквозь закрытые жалюзи, я открываю жалюзи и окно, и в комнату врывается свет, воздух, аромат утра, говор, мягкий шум, какая-то музыка теплой прекрасной весны. После Петербурга, скованного льдом, за двойными окнами которого теперь еще молчание сырой могилы, проснуться вдруг в этом утре с живительным ароматом цветущих персиков...

Я смотрю из окна своего второго этажа вниз, и впечатление не улицы, а какого-то плитняками вымощенного большого двора, жители двора этого дома теперь гуляют в этом дворе, все знакомые друг с другом, все ласковые, все оживленные теплым утром весны, спокойные и уверенные за прочность и тепла, и солнца, и всех радостей долгого-долгого лета. Без накидок и шляп проходят женщины: идут с корзинами на рынок, возвращаются, останавливаются, говорят и расходятся. Спешат школьники, носильщики и прохожие. Посреди улицы проходят стройные мулы; громадные, прекрасные, в прекрасной, блестящей, медью украшенной запряжке, быки, а в легких фаэтонах все те же сухие венгерские лошади.

Две девушки тихо идут, упоенные утром, дружбой, встречей, может быть, воспоминаниями. Стройный молодой итальянец с засученными рукавами выливает из бо-

[1] Отель доброго Пастера! Отель Империал! Европейский отель! Европейский отель? *(фр.)*

чонка воду в резервуар и звонко перебрасывается с приятелем. Проходят молодой человек и девушка без шляпки с книгой в руках.

Нет суеты, резких движений, все спокойно и налажено, как сон, все неподвижно и так ярко в голубом небе, перспектива улицы с ее зданиями и тот канал, покрытий римскими красными, желтыми, белыми парусами.

Все и вас располагает к покою, неге, вы забываете о спешке и сутолоке вашей обычной жизни там на родине, где всегда что-то очень надо, до зареза надо спешить, торопиться...

Здесь и у вас такой же длинный, как и этот день, день весны, и вы ходите в этой толпе такой же мирный и праздничный, отдаваясь весь dolce farniente[1].

Где-то за ажурной оградой поют мелодичную песню, на вас сыплются розовые лепестки цветущего персикового дерева, нежный аромат сильнее подчеркивает прелесть яркого утра.

Какой-то магазин художественных принадлежностей,— глубокий, прохладный, весь в картинах, новых и старых; у дверей магазина с симпатичным благородным лицом худой старик-итальянец. Жадности нет в его лице, позе. Это поза честного хорошего человека, который много видел, пережил, не боится оставаться с собой, своими воспоминаниями.

Все эти картинки, статуэтки — не только ремесло для него,— это часть его самого, он сроднился со всем этим и рад посетителю, которому он расскажет много интересных и трогательных историй из жизни богемы искусства.

Вот автор этой картины уже прославился, хотя по этой картине и не обещал того, что дал потом.

— Труд, упорный, благородный труд разбил жесткую скорлупу его таланта...

А вот из этого ничего не вышло,— его дар легко дался ему,— и он не умел работать, и так же легко он потерял его в веселой жизни.

А вот... Он показывает потемневшую палитру, на ней грубо набросанное старое лицо. Написано ярко, сильно, с размахом.— Это как-то под пьяную руку, на память набросал портрет своего отца... Его картин очень мало: он сгорел до конца... Сразу... Такие натуры не поддаются укрощению дружеской руки, а любовь женщины и спасает и губит: он погиб...

---

[1] Приятное ничегонеделание (*ит.*).

Я слушаю, сидя в глубине темного магазина, в блеске радостного утра там в дверях, мелодичные, замирающие здесь звуки улицы. Мне кажется, что мы уже давно знакомы с этим стариком. За какую-то мелочь я купил у него палитру с нарисованным лицом старика, но мне не хочется уходить еще, и я говорю хозяину, что для моей больной маленькой дочери нужен теплый уголок где-нибудь на Адриатическом море, и мы не знаем, на чем нам остановиться: Фиуме или Рагуза?

— Фиуме,— говорит он и делает гримасу,— слишком нарядный и... слишком австрийский уголок. Это так скучно всегда видеть направляющую руку, хотя бы и в рай она вас вела...

Он качает головой и продолжает уже другим голосом, вдохновенным, как будто все лучшее было связано с тем, что он говорит дальше.

— Рагуза! На четыре градуса она теплее Ниццы. Это вся написанная история, начиная 500 лет до рождества Христова. Это панорама всего прошлого. Там она в золотой пыли солнца, над синим морем, под голубым небом, в серых скалах, таких же серых от времени домах и башнях старинных стен... Рагуза! Убаюканная морем, она спит теперь, сильная республика когда-то, и в ней дворец дожей. Там выбросило на остров Лакрима Ричарда Львиное Сердце. Там любил проводить свое время несчастный Максимилиан,— это был очень популярный человек, прежде чем стал жертвой политики старика. Рамки всего прошлого, как тяжелый воз с горы, заставляют его, последнего в роде, быть палачом своего рода, всех своих близких, и он живет, живет, переживая всех, самого себя. Синьор был в Мирамаре, дворце покойного Максимилиана? Это всего несколько верст от Триеста, и дорога так живописна! О, надо непременно туда поехать. Это memento mori[1] для всех, кто думает, что сегодняшний день похож на вчерашний.

Мы едем берегом моря в Мирамаре. Море кажется выше нас, поднимается еще там на горизонте, сливаясь в нежно-прозрачной опаловой мгле с небом. Оно тихо, и спускающееся к западу солнце золотыми блестками сверкает в его мягкой синеве. У берега, где мы едем, широкие мелкие волны одна за другой равномерно, как биение пульса, рассыпаются о гравий. Шумящий мерный звук ласкает ухо, убаюкивая или неспешно рассказывая что-то забытое. На самом берегу, на небольшом

[1] Напоминание (*лат.*).

выступе, уже виден дворец Мирамаре. Архитектура его напоминает дворец в Алупке,— напоминает и снаружи и внутри.

Старый придворный лакей, слуга покойного императора, седой и скорбный; высокие комнаты с отлетевшей в них жизнью; все эти вещи, пережившие своих хозяев,— все скоро настраивает и заставляет живее чувствовать прошлое. Картины, портреты... Габсбургский род, портреты, личные подарки царственных особ: Наполеона III, Александра II, Рудольфа.

Вот портрет самого Максимилиана: молодой блондин во фраке с гладким прямым пробором, с громадной желтой бородой, расчесанной надвое; вот рядом портрет его жены, красавицы несчастной Шарлотты, сошедшей с ума в день, когда мексиканцы расстреляли ее мужа; все такая же сумасшедшая, она живет и теперь в Бельгии.

Вот картина, изображающая приглашение Максимилиана в Мексику: в этом дворце и в этой же комнате.

Депутация в черных фраках: один читает адрес, остальные смотрят на Максимилиана. Максимилиан вполуоборота стоит у стола. Он внимательно слушает, напрягаясь проникнуть в суть и смысл этих людей, того, что они читают, всего того, что составит отныне его вторую родину. Глаза одного депутата пренебрежительно смотрят на него: «Не проникнешь, будешь делать, что мы велим тебе».

Он, Максимилиан, за плечами которого висят все портреты его предков, он, Габсбург! Что-то скорбное в его лице, какая-то борьба. Неужели все то, что создало его, что составило его «я» еще до рождения его, и явится тем непреоборимым препятствием, о которое разобьется жизнь его, безумно любившей его жены...

Портреты обоих висят уже теперь в ряду их предков, и мученическая жизнь их будет еще одним новым обязательством, последующим... роковым игрушкам своего прошлого.

А вот другая картина: отъезд Максимилиана из замка. Восторженная толпа провожает его на пристани, машут шляпами, протягивают цветы...

Император стоит в лодке, рядом с ним прекрасная молодая его жена. Сколько блеска, радости, торжества.

— Он больше не возвращался в замок? — тихо спрашиваю я...

Старый слуга нехотя, гордо отвечает:

— Нет.

Он мог возвратиться: ему предлагали. Для чего? Жить в своем замке, не понимая, для чего живешь? Пусть лучше скажут: «Их род умел жить и умирать, если так жить, как понимают они жизнь, нельзя больше».

Тихий вечер, ярко горят огни заката, золотится море, и мерно плещет волна о берег. Вот та маленькая пристань прямо из дворца, откуда отбыл когда-то несчастный Максимилиан...

ВОКРУГ СВЕТА

I

НА ПАРОХОДЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Скрылись из виду берега прекрасной Японии. Наш путь на Сандвичевы острова.

Кругом все тот же беспредельный, тот же и в бурю синий Тихий океан. Едва заметные широкие волны равномерно поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равномерны и потому не чувствительны.

Солнце светит, греет палубу и ярко блестит, переливая изумрудом и бирюзой след нашего парохода.

То низко-низко опускаясь, то взвиваясь к небу, за нашей кормой день и ночь несутся без устали какие-то странные коричневые птицы, с длинными и узкими, как ножи, крыльями, с длинными шеями, с большими тяжелыми головами. И в такт крыльям старчески трясутся и качаются их головы, как бы говоря: «Да, да, всё мы видели, всё мы знаем».

Тихо в этой водной пустыне, ни паруса, ни дыма на горизонте. И только со звоном отбивает такт машина парохода: что-то и могучее и в то же время усталое, жалующееся в этом звоне.

Время идет однообразно, я знакомлюсь со своими спутниками.

Там, на суше, все эти люди будут опять и сухи и деловиты. Вся проза будничной сутолоки опять четко выпишется на их лицах и складках их лиц, но теперь у нас у всех — месяц обреченных мерно качаться на этих волнах, покой и праздничный отдых. Мы не хотим прозы, мы избегаем поглубже заглядывать в душу друг дру-

гу; мы верим на слово, что мы все таковы, какими хотим казаться.

Каждый день в семь часов утра высокий и тонкий американец, мистер Фрезер, уже меряет быстрыми большими шагами палубу. На нем фланелевый утренний костюм и белые штиблеты. К завтраку он переоденется, к обеду наденет смокинг; погуляв, он примет ванну, будет опять гулять, спустится затем в свою каюту и появится снова уже к утреннему чаю. Он систематично и умеренно будет есть апельсин или яблоко, бифштекс, сочный, кровавый, яйца, еще что-нибудь и запьет все это чашкой чая. Полчаса, час после чаю сидит на палубе рядом с кем-нибудь и разговаривает; затем он отправляется в библиотеку, пишет там письма, читает и за полчаса до завтрака опять быстро ходит по палубе. Так как таких делающих свой моцион очень много, то ходят все по часовой стрелке, обгоняя или нет друг друга.

После обеда мы собираемся в столовую, и Фрезер играет нам на рояле. Играет он выразительно, у него красивое мягкое туше, он знает и любит музыку.

Однажды он заиграл «Лето» Чайковского и, улыбаясь, обратился ко мне.

Я плохой музыкант, но на этот раз вспомнил и назвал.

Музыка как-то идет к Фрезеру,— она ярче подчеркивает его.

Есть люди, которые производят на вас такое же гармоническое впечатление, как музыкальная мелодия. Их поступки, слова дополняют друг друга, все усиливая нарастающее впечатление.

В Фрезере постоянно чувствуется и правдивый, и очень деликатный, и очень вежливый в то же время человек. Он был солдатом американской армии и, заболев на Филиппинах злокачественной лихорадкой, возвращается теперь, по окончании войны, домой. Он принимал участие в нескольких сражениях и отзывается о победах американцев очень скромно.

— Борьба была очень неравная... Но положение там создалось очень тяжелое для американцев, и вряд ли можно было избегнуть этой войны.

Несколькими штрихами он иллюстрировал порядки испанских колоний, с их заносчивой администрацией, не брезгавшей всевозможными несправедливыми поборами. Еще хуже влияло на жизнь католическое духовенство. Влияние насильственное, распространявшееся не

только на католиков; так, например, производились поборы в пользу католических монастырей и с лютеран. А если кто упрямился, того бойкотировали — у таких ничего не покупают, ничего им не продают и вконец подрывают им торговые дела. Этим не ограничивались: унижали и издевались, пользуясь безвыходностью. Епископ, например, идя по улице, протягивает руку, как бы невзначай, какому-нибудь некатолику купцу. Не поцеловать протянутую руку значит поставить крест над собой и над всей своей деятельностью в тех местах. Словом, все то же, что было и в семнадцатом столетии.

Всевозможные запретительные пошлины, с неустановленной, постоянно изменчивой системой притом, вконец тормозили как производительность местного населения, так и торговлю. Из всего извлекала выгоды только кучка людей, причем за каждый такой рубль выгоды этой кучки и население и торговля платились тысячными убытками.

— Положение и американцев и англичан,— говорил Фрезер,— таково, что ценой всей своей культуры, всего своего существования они должны добиваться свободных рынков. Свободный рынок без захвата страны выгоднее для нас, потому что с захватом связывается множество расходов. Но для данной страны наш захват выгоднее, потому что с ним вместе мы приносим и нашу культуру, и нашу свободу, и нашу организацию, и наши школы.

Фрезер много читал, знаком хорошо с французской, немецкой и нашей литературой и выше всех ставит английскую, а в ней его слабость — Киплинг. И главным образом за то, что, прожив всего четыре года в Америке, Киплинг так понял и описал американцев, как до сих пор никто из своих, даже американских писателей не описывал. Из русских Фрезер читал Л. Н. Толстого, Тургенева, Достоевского. Он преклоняется перед беллетристическим гением Л. Н. Толстого и перед его вечно молодой энергией в искании истины.

От Тургенева он в восторге:

— Что-то девственное, чистое, ароматное, как дыхание весны. И столько родственного! Кто читал Тургенева, не может не симпатизировать вашей нации: она рисуется грустной молодой девушкой, сидящей в своем тереме и мечтающей о суженом...

И Фрезера и всех наших пассажиров, англичан и американцев, очень трогало то обстоятельство, что я усердно каждый день по нескольку часов занимался

английским языком. Видя мои затруднения с выговором, Фрезер предложил мне свои услуги, и каждый день мы с ним читали авторов пароходной библиотеки. Труднее других читался Киплинг, герои которого говорят не литературным языком, а жаргоном. И обороты и слова всех этих американских, индийских и английских жаргонов — прямо тарабарская грамота.

В числе пассажиров «Gaelig'a» едет немец А. Это плотный, лет сорока господин, очень добродушный человек, но очень щепетильный и обидчивый политик. У них с французом Н. столкновений множество на почве политики,— они постоянно ссорятся, а мы, остальные, мирим их.

Раз дошло до того, что они несколько дней не говорили между собою. Ссора произошла из-за Бисмарка.

Н. сказал, что Бисмарк, кроме величайшего зла, ничего не принес с собой на землю. Немец вскочил.

— Вы должны доказать это?!

— Нет ничего легче: это Бисмарк праву противопоставил силу,— после него и другие перестали стесняться и дошли до цинизма наших дней.

Немец говорил:

— Идея национализма, без которой человечество не может прогрессировать,— гений Бисмарка этой идее служил, и как мог он на право смотреть с иной точки зрения?!

И немец доказывал, что и Бисмарк великий человек и их теперешний император, который сказал знаменитую фразу, что промышленность — кровь в организме,— тоже великий человек.

Француз не стал слушать, сказал что-то резкое и ушел.

— Blut, Blut (кровь),— повторял немец.

Фрезер утешал его, говоря, что их императора очень и очень уважают в Америке, что Англия, Америка, Япония и Германия всегда будут одно в прогрессе...

Н.— француз и довольно легкомысленный. Ему лет тридцать. У него прекрасные белокурые волосы, красивые равнодушные глаза, холеные усы. Что-то детское в нем, капризное, беспечное и скучающее. Он уже перезнакомился со всеми.

Старика одного, американского сенатора, за любовь его к звездам называет инспектором звезд. Слушает его почтительно и, отходя, тем же почтительным голосом говорит нам по-французски, считая, что сенатор не понимает его языка:

— Он очень беспокоится: Great Dog (созвездие Большого Пса) пропал.

«Great Dog» Н. произносит так, точно давится.

На замечание, что он, Н., резок с немцем, Н. отвечает:

— Я ему еще не то наговорю. С какой благодати я этой немецкой сосиске, начиненной шовинизмом прусского солдата, буду потакать? Пусть убирается в свои казармы и кричит там: «Да здравствует Бисмарк!» А здесь его Бисмарк только разбойник. И пусть это хорошо знает немецкая свинья.

Немец злобствовал и каждому из нас тихо доказывал, что Н. человек малообразованный, выродившийся, как все латинские расы: французы, итальянцы, испанцы, что будущность принадлежит не им, а англосаксам, германцам.

II

МИ-ХО-ТО

В одиннадцать часов вечера мы уже все в своих койках. Н., переодевшись в свою пуджаму — из легкой материи куртка и широкие на шнурках шаровары,— заходит еще раз ко мне в каюту и говорит:

— Вы мне позволите, cher maître[1], посидеть у вас четверть часа? Может, мы выпьем по стакану сода-виски? Это хорошо перед сном.

Мы выпьем сода-виски и разговариваем еще четверть-полчаса.

Один на один Н. симпатичнее. Виден в нем человек, наблюдающий жизнь, обобщающий факты, человек сердца, наконец. У него какие-то осложненные личные дела, он почему-то должен был очень быстро уехать из Иокогамы. Однажды вечером он зашел в мою каюту, держа в руках простой, но красиво сделанный деревянный ящичек.

— Сегодня я немного грустен, cher maître. Не хотите ли вы съесть со мной это печение и выслушать историю той, которую вы никогда не видали, а я не увижу больше. Да,— вздохнул он,— пока так живешь изо дня в день, все кажется таким обычным, будничным, малоинтересным, но потом, когда это уже прошлое, получается иная

[1] дорогой учитель *(фр.)*.

окраска, и с иным чувством уже смотришь в окошечко, туда, где остался кусочек твоей навсегда ушедшей жизни. Я хочу рассказать вам о той, которая подарила мне этот ящик с печениями. Это моя японская жена Ми-хо-то, с которой я расстался в Иокогаме. Это печение она принесла, провожая меня на пароход, и, по обычаю, спрятала его у меня в каюте так, чтобы я не заметил его, и я только сегодня совершенно случайно нашел его и вспомнил обычай. Я был тронут. У них такое поверие, что если бы я, найдя, съел это печение один, то это значило бы, что я опять вернусь к ней. И вы поверите, может быть, мне, что я колебался, не поступить ли мне именно так, чтобы исполнить желание бедной Ми-хо-то. Увы, это невозможно, конечно,— вы понимаете? Мы год были мужем и женой...

— Скажите,— перебил я его,— правда, что в Японии на любой девушке можно жениться на месяц, на два?

— Можно, но, конечно, не на любой: на девушке из чайного домика.

— Только?

— Да. И моя Ми-хо-то была оттуда же. Но, хотя они и девушки из чайного домика, но на такой брак они смотрят так же серьезно, как и на обыкновенный. Ми-хо-то даже хотела и зубы себе почернить в знак вечной любви, но я категорически запретил и поклялся, что в тот день, как она это сделает, сбегу от нее. Ах, вы себе представить не можете, что за преданное, верное существо японская жена. Как она покорна, робка! О, до какого иногда бешенства доходил я от этой вечной покорности, приниженности, поклонов и приседаний! И чем больше я бешусь, тем больше боится она — забьется в угол и дрожит, сидя на корточках, и смотрит, не сводя с меня глаз. Но зато, когда подзовешь ее и погладишь, как она ласкалась! Каким гением считала меня! Нет такой глупости, в какой я не мог бы ее убедить. Не было ничего такого, чего я не мог бы сделать, по ее мнению. Если бы я сказал ей: «Ми-хо-то, завтра я уничтожу Иокогаму и всю Японию»,— она поклонилась бы и сказала: «Ши, мой повелитель».

Когда она узнала, что я еду,— я, конечно, сказал, что уеду на время,— она потеряла аппетит и сон. Проснусь иногда и вижу, что она сидит надо мной и плачет. «Спи».— «Ши, мой повелитель»,— свернется клубочком

и лежит без движения, пока я не засну. А что я ей давал? Свою душу? Между нами ничего не было общего,— люди двух разных миров, разных понятий,— вы понимаете? Давал иногда, раз в полгода, двадцать—тридцать долларов, чтобы угостила своих родных и сделала им подарки. И какое счастье, восторг... Каким святым она ни молилась, провожая меня в дорогу: к одному побежит, к другому, опять исчезнет; бегала еще к тому на горе, который бурю посылает... Каждую мою вещь, укладывая, целовала и шептала ей что-то: это она просила вещь напоминать мне об ней... А какое счастье было, когда я позвал ее с матерью провожать меня на пароход. Она только об одном печалилась, что нет от меня сына с волосами богов: белокурые волосы — принадлежность богов, по их мнению. «Ах, если бы у меня был сын,— говорила она,— мне легче было бы перенести разлуку с тобой».

Н. начал раскупоривать ящичек с печением, и когда раскрыл его, то сверху печения оказался лист, исписанный по-китайски.

Н. внимательно разбирал сперва сам, а потом перевел.

— Это ее стихи, вот их смысл: «Каждое утро я буду вставать и кланяться солнцу, чтобы оно передало тебе, как я люблю тебя. Я буду шептать ветру, чтобы он передал тебе, что вся моя душа летит к тебе. Где бы ты ни был, я всегда буду с тобой, я буду ждать тебя терпеливо, а когда не хватит больше сил — я умру, и ты тогда опять увидишь меня: я прилечу к тебе птичкой и все буду петь о своей любви».

Н. растроганно смотрел на меня и говорил:

— Нет, конечно, это очень трогательно... Правда? Я сказал ей, что приеду, но как же иначе?..

Я слушаю Н., пробую вкусное печение и вспоминаю маленькую робкую фигурку Ми-хо-то, когда она торопливо пробиралась среди пассажиров в момент, когда надо было провожающим оставить пароход. Я вспоминаю и фигуру Н., со смущенной торопливостью шедшего впереди Ми-хо-то и ее матери. Он последний раз кивнул им головой, когда они были уже в лодке, и потом долго сидел один на палубе. Потом мы познакомились, он стал острить. Теперь, окончив свой рассказ, он сидел с таким же, как тогда на палубе, лицом и, лениво встав, говорит нехотя:

— Пора спать, cher maître.

III

ГОНОЛУЛУ

Приятно увидеть опять землю, а тем более такой исключительно счастливый уголок вечной весны, как Гонолулу.

То, о чем читал только, что снилось, может быть, вечная весна, вечное тепло, то я вижу теперь собственными глазами. Великолепные пальмы, ананасы, бананы... Весь в зелени тропической растительности тонет плоский берег Гонолулу. Из-за зелени уютно выглядывает город. Праздничное тихое утро. Солнце греет своими лучами, и нежно плещется маленькая голубовато-зеленая волна о сваи набережной. Это волна все того же Тихого океана, но сам он, гигант, во всем своем великолепии там, на горизонте, а здесь, у берегов этого вечнозеленого с прекрасным климатом Гонолулу,— это залив, такой глубины, однако, что наш корабль подошел к самому берегу.

Там, на берегу, стоит толпа в самых легких костюмах: лица смуглые, загорелые. Вот бронзовое лицо малайца, вот черное негра, оливковое испанца, метиса, японца. Вот веселая свадебная группа местных колонистов: веселые, крикливые, сухие, длинноногие, все увитые гирляндами цветов. Яркая, пестрая картинка юга в блеске радостного южного утра земли. Мы все на палубе. Н. стоит в летней шляпе с тюрбаном, в костюме из легкой фланели, в цветной рубахе, с поясом, без жилета.

Вышла дама нашего стола, опять в новом, двадцать первом костюме, легкая и воздушная, в тон всей остальной праздничной обстановке.

Мы спешим на берег.

Красивый малаец предлагает нам свой парный экипаж.

— Нет, идем пешком,— говорит Н.

— Куда идем?

— Купим фрукты, пойдем прогуляемся, потом отправимся завтракать в ресторан, а потом обсудим, за город поедем, вообще узнаем...

Прямо от пристани громадное длинное стеклянное здание: это рынок. На его прилавках играет в лучах солнца и зелень, и фрукты, и рыба. Глаза разбегаются,— так ярко, красиво, свежо. Рыб целая коллекция: серебряные, золотые, белые, синие, и многие из них странных, невиданных форм.

Мы ходим по улицам. Маркизы, дома, как дачи, масса зелени, гигантские пальмы, все опять и непрерывно говорит о радостях постоянного тепла. Такой уютной, налаженной кажется жизнь. Идет громадная малайка с мясистыми, но приятными чертами добродушного лица,— род широкой блузы свободно колыхается на ней, и сквозь легкую материю проглядывает ее смуглое тело. Проходят сухие американцы, скромные, деловитые, такие же сухопарые, но чопорные англичане...

Вот городская ратуша. На ней развевается американское знамя. Три года назад эти острова были Гавайской республикой и царили здесь испанцы. А еще год назад умер последний гавайский король Каракао. Последнее время он потерял всякий престиж и жил и умер в Сан-Франциско.

Он путешествовал как-то в Европу, облюбовал в ней Бельгию, в Бельгии — Брюссель, в Брюсселе один из кабачков, где и проводил все свое время.

После завтрака в красивой, богатой, но страшно дорогой гостинице (здесь, впрочем, все дорого, американский доллар равняется нашим двум рублям, но ценность его, по-моему, меньшая, чем наш рубль: за стрижку волос я заплатил полтора доллара, то есть три рубля) мы отправились в местный музей. Очень хорошенькое здание с яркой картиной здешнего вулкана Мауна-Лоа (такая же картинка в гостинице), с множеством портретов разных Каракао, когда-либо здесь царствовавших. Один из них был таким же преобразователем, как наш Петр.

Вот красивое лицо молодой малайки,— это дочь одного из Каракао, бросившаяся в кратер в начале нынешнего столетия. Тогда был страшный голод, и жрецы требовали человеческой жертвы, и, чтобы спасти свою родину, она бросилась в вулкан. Память народная навсегда увековечила ее,— дух ее считается покровительницей всех этих островов. Я опять подхожу к картине здешнего громаднейшего в мире вулкана. Он имеет в окружности несколько миль, и в период сильных извержений от него течет огненная река в Тихий океан. Это море огня бывает, впрочем, ярким и красивым только в исключительные мгновения, когда вулкан не спокоен, в обыкновенное же время это серо-стальное, лишенное жизни, как бы застывшее озеро. Оно далеко, верст за восемьдесят, среди гор, оголенных и лишенных растительности. Наш пароход стоит только до вечера, и нам никак не попасть туда.

В большой зале музея,— зала в два света — во весь потолок растянулось чучело рыбы-дьявола [devil-fish] — та пьевра, которую описывал Виктор Гюго в «Тружениках моря». Здесь в Тихом океане он вместе со своими щупальцами достигает нескольких сажен в диаметре. Самое тельце ее небольшое, круглое, серо-коричневое, и от него уже идут безобразные длинные лапы-крючья. Над тельцем возвышается величиной с небольшой арбуз шар, наполненный черной жидкостью. Когда эта дьявол-рыба хватает свою жертву, она в то же мгновение выпускает эту жидкость, отчего вода делается темной и мутной, в ней и исчезает это страшное видение со своей жертвой. Одной минуты достаточно, чтобы пьевра высосала всю кровь, всю влагу из схваченного ею человека. При такой быстроте, конечно, спасение немыслимо.

Рядом с музеем помещается такое же, как музей, и даже более красивое здание.

Думая, что это тоже отделение музея, мы вошли в пустую переднюю, поднялись по лестнице во второй этаж и только там убедились, что попали в школу.

Громадные классные комнаты, роскошные скамьи, расположенные амфитеатром, шкафы, доски.

В открытую дверь мы невольно залюбовались шедшим уроком. Молодой учитель что-то благодушно говорит, а ученики в самых разнообразных позах слушают его. Ученики и ученицы — подростки, от двенадцати-пятнадцати лет. Вот сидит красивый смуглый юноша-малаец, с глазами черными и яркими: он откинулся на руку и смотрит куда-то в пространство перед собою,— вряд ли он слушает.

Мы ездили за город в бамбуковый лес, видели финиковые деревья, видели, как поспевают бананы и ананасы,— одни поспевают, другие зацветают только, и так всегда в этом царстве весны. Мы видели шалаши из травы, в которых живут аборигены, видели голых, только с поясом из длинной сухой травы аборигенов и аборигенок. Говорят, аборигенки танцуют какой-то свой местный танец. Но нам пора уже на пароход. Кажется, что едешь в громадной оранжерее с тропическими растениями,— так же тепел и своеобразно ароматен воздух.

Мы приехали на пароход к закату. Солнце садится, золотя даль синего океана. Океан горит в закате и кажется прозрачным — то ярко-красным, то темно-синим. Все небо громадными полосами освещено всеми цветами радуги,— вот снопы палевых лучей, вот пурпур, тот

угол весь фиолетовый, а там на севере отливает синею сталью. Грандиозные тучи на горизонте, грозные, как бастионы, огненно-дымчатые, золотисто-палевые, с прозрачно-зеленой лазурью в них, а в центре, к которому тянется все, яркое ядро недремлющего ока, короткими, собранными лучами освещающее в последний раз уже надвигающийся мрак быстрых южных сумерек.

И уж кончено все, уже темно, и вспыхивают светлые, яркие звезды в темно-синем бархатном небе.

Южная ночь, мягкая, ароматная, сразу охватила и небо, и землю, и океан, и какое-то жуткое, таинственное ощущение, точно что-то движется или дышит что-то громадное, точно говорит или шепчет что-то, это море охватывает и плещет о борт парохода.

В каком-то очаровании красиво сливаются в этом прозрачном мраке огни города и блеск звезд. Где-то в темноте равномерный плеск весел. Плеск стихает, и из темноты несутся мелодичные песни.

Прильнув к борту, мы, все пассажиры, слушаем пение, а когда оно стихает, на нашем пароходе раздаются аплодисменты и крики «бис» и снова нам поют.

Наш пароход уже движется, незаметно мы поворачиваемся и, став лицом к открытому пред нами в блеске звезд океану, мы идем уже полным ходом вперед. Замирает песнь, тонет берег в темной дали и постепенно исчезают огни милого, сразу очаровавшего нас Гонолулу.

IV

САН-ФРАНЦИСКО

Там назади осталось безмятежное небо Гонолулу. Спят в нем синее небо, берега вечнозеленые и воздух ароматный, нежный, как дыхание весны.

Нет яркого солнца, летних костюмов, южной толпы, темно-синих атласных ночей с крупными теплыми звездами.

Иная картина. Холодно, как в Севастополе в декабре, и чем ближе к Сан-Франциско, тем холоднее.

Мы уже в пальто гуляем по палубе, дует холодный ветер, и беспокойнее океан.

Все такой же он синий, может быть, еще синее и прозрачнее, но теперь холоднее уже, и что-то злобное в нем, чуждое нам. Стоя у борта, уносишься мыслью от него к Сан-Франциско.

Иногда мы заглядываем в отделение, где едут бедняки — европейцы, японцы, китайцы. Всюду чистота, порядок. Китайцев множество,— все они переселяются в Сан-Франциско; весь Китай переселился бы, если бы не запрещение со стороны Америки, не выдержавшей конкуренции дешевых рабочих.

— Но как же так? — говорю я Фрезеру.— Свободная страна, во имя свободы и права доступная всем, ведущая войну с Китаем...

Фрезер говорит:

— Для капиталистов было бы выгодно допустить китайских рабочих: они так некультурны, потребности их так ограничены, что они могут работать в десять раз дешевле американца. Но это поставило бы американского рабочего в безвыходное положение, понизило бы всю культуру страны. Таким образом, на устранение китайских рабочих надо смотреть, как на победу американского рабочего над своими капиталистами.

С одной стороны, это, конечно, так, но с другой... с другой — это такой сложный вопрос, которому не место в набросках карандашом.

Китайцам готовится их кухня, и преобладающее в ней — во всех видах рис. Когда погода хорошая, китайцы группами сидят на палубе и в большинстве случаев играют в какую-то, вроде костей, игру. Так же азартно играют они и здесь, как везде.

Сегодня наш последний обед на пароходе: обед исключительный по количеству и разнообразию блюд.

Все довольны, хорошо настроены, все благодарят администрацию парохода и пьют за здоровье славных моряков-англичан.

Правда, они два раза делали водяную тревогу, но если бы сделали и четыре раза, вряд ли кто был бы в претензии.

Администрация парохода,— все англичане,— как будто и не возилась с пассажирами, но в конце концов чувствуется в каждой мелочи, что все делалось исключительно в интересах всех. Ни одного столкновения, ни одного повода к неудовольствию. Больше месяца мы провели вместе, а время пролетело так, что, кажется, и недели не прошло.

В последний вечер мы дольше обыкновенного сидим в столовой. Фрезер меня заставляет рассказать содержание только что задуманной тогда повести «Клотильда» [1].

[1] Напечатано в журнале «Начало». *(Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)*

Когда я кончил рассказывать (я рассказывал по-французски), Фрезер говорит:

— Я не знаю, как у вас выйдет на бумаге, но если бы вышло так, как вы рассказали нам, это был бы шедевр.

Я сижу и думаю, что Фрезер угадал мой недостаток: я говорю лучше, чем пишу.

Америка...

Наш громадный пароход «Gaelig» стоит у пристани, и, глядя сверху, видишь там внизу, как в колодце, узкую полоску открытой набережной, крыши пакгаузов, крытых платформ.

Видневшийся в утреннем тумане город, мыс тюленей, громадные, на оранжереи похожие, прачечные — все теперь исчезло. Мы уперлись с одной стороны в гору, закрывающую город, а с других сторон окружены, как лесом, мачтами таких же гигантов, как наш «Gaelig».

Запах пеньки, смолы, моря. Какая-то деловая проза и скука. Надо сходить с парохода, делать что-то в таможне.

Мы спустились туда вниз, в колодезь. Прошли, подняли головы, в последний раз увидели там, наверху, часть борта нашего «Gaelig'а» и исчезли в темном громадном сарае, в первое мгновение произведшем на меня впечатление крытого двора громадной корчмы.

Вот и наши вещи. Мы отпираем сундуки, ящики, и, несмотря на то, что я показываю свой билет до Петербурга, с меня взыскивают пошлину, и очень большую, за все японские безделушки: сумма пошлины равняется стоимости вещей.

Все это быстро, коротко, деловито.

— Оль райт (очень хорошо)! Можете брать свои вещи.

Мы в городе.

Американский город так не похож на наш европейский, так в нем отсутствует вчерашний день, разнообразие, так полон он разного рода техническими чудесами, весь каменный, закованный в железо и сталь, что на первое время теряешь способность воспринимать и удивляться.

Вот мчится по улице электрический трамвай; там, под вторым этажом, несется паровой; такой же — с другой стороны; еще один — под улицей.

Вот дом в 27 этажей; почему не в 57? Наш отель «Палас» в 17. Двор его больше любой площади, но и то и другое могло бы быть еще больше.

По подъемной машине мы поднимаемся в какой-то наш этаж.

С нами дама, и мы все без шляп и все стоим: это Америка, и мы уже знаем, что женщине здесь всегда, везде и во всем первое место. Двенадцатилетняя девочка может свободно путешествовать днем и ночью из конца в конец своей страны под покровительством всех мужчин ее родины.

Мы в отведенных нам номерах. Яркая чистота комнат, светлая ясеневая мебель, зеркала, широкие кровати, камины...

Внесли вещи, и мы, Н., Б. и я, торопливо разбираем их, чтобы, переодевшись, идти завтракать, осматривать город, получить по переводам. Стук в дверь, и перед нами стоит высокий широкоплечий молодой человек, с открытым веселым лицом...

Он называет мою фамилию. Я выступаю, кланяюсь. Я отвратительно коверкаю английский язык, он — французский; нам помогают Н. и Б. Он интервьюер газеты «On Call». Он узнал, что я русский писатель, и пришел познакомиться со мною и моими друзьями.

Откуда я еду? Куда? Названия моих сочинений?

— «Гимназисты»?

На мгновение он задумывается, но уже встряхивает головой:

— O, oui, je comprends [1],— он энергично размахивает руками.— «Les gymnastes» («Гимнасты»)?

Мы смеемся и объясняем ему.

Он быстро заглядывает в свою книжку, просит наши портреты,— их у нас нет,— кланяется и уходит.

Мы кончаем наш туалет и тоже уходим.

Мы берем чичероне — худенького, тощего, с остатками приглаженных волос на голове француза, двадцать лет живущего в Сан-Франциско.

Он попал сюда случайно, без знакомых, без связей, женился здесь и теперь живет, получая 12 тысяч долларов в год (24 тысячи рублей) за свое комиссионерство.

— На наши деньги жалованье министра,— говорю я.

— Здесь в Америке это среднее жалованье,— отвечает он.

Мы идем по улице с домами в десятки этажей, корпус которых — железо, облицовка — камень; и таких гигантов домов, закованных в железо и камень, в перспек-

---

[1] О, да, понимаю *(фр.)*.

тиве улицы столько, сколько хватает глаза, а в них множество громадных магазинов, лавок, контор, ресторанов.

Вот еще отель в 17 этажей. Никогда, ни на мгновение, ни днем, ни ночью, ни в будни, ни в праздники вот уже двадцать четыре года не запирающийся отель. В нем лучший ресторан. Здесь весь торговый мир в одиннадцать часов утра пьет свой кок-мартин (стаканчик напитка, приготовляемого из разных специй с вишней на дне; сквозь ароматную горечь чувствуется и некоторая сладость,— это вместо нашей рюмки водки); множество кабинетов, подъемных лестниц, непрерывная вереница входящих, выходящих, деловые свидания, дамы друг с другом, кавалер с дамой, целое общество, собравшееся пикником,— всех поглощает этот громадный отель, все исчезает за его таинственными волнующимися портьерами.

Вечером мы в театре.

Перед театром мы заходим в наш отель. В своих номерах мы находим множество визитных карточек, просунутых под дверь. На карточках фамилия их владельцев, их фотография, их специальность и адрес. Многого мы не понимаем, и наш чичероне объясняет скрытый для нас смысл. На одной из карточек физиономия в цилиндре представительного господина,— он предлагает к нашим услугам содержимый им дом с неприличными увеселениями. Наш чичероне начинает сообщать нам интересные, по его мнению, подробности.

После этого сообщения одинаково впечатление гадливости и от изображенного на карточке господина, владельца предлагаемого увеселительного заведения, и от нашего чичероне.

По дороге в театр я делюсь впечатлениями с Н., который деловито говорит:

— Что вы хотите? Это его специальность: в каждом месте, куда он приведет нас, он получит свой процент.

Большой театр сгорел в Сан-Франциско, а с ним сгорела опера, и мы едем в оперетку, уплатив кебу (извозчику) два доллара за один конец (четыре рубля).

Оперетку неуклюже, но весело разыгрывают американцы, и публика хохочет и довольна. Непосредственность публики, ее оживление, битком набитый театр далеко оставляют за собою безжизненную игру в пустом наполовину театре у нас. Бросается в глаза пуританизм в постановке, избегают скабрезностей, канканов, но хо-

хочут громко, от души всякой политической остроте или остроте на злобу дня.

Театр кончен, мы идем по залитым огнями улицам с таким движением, как и днем: Сан-Франциско — центр с постоянным приливом населения всего океанского побережья, никогда не спит.

На другой день мы в гостях у Фрезера в его клубе.

V

АМЕРИКАНЕЦ ОБ АМЕРИКЕ

Клуб Фрезера — очень красивое снаружи и очень уютное внутри здание: общие комнаты, комната для еды, для игр, для гимнастики, для занятий, великолепная библиотека.

Таких клубов множество, каждый американец — член какого-нибудь клуба и любит его не меньше своей Америки.

Вот стол у окна, за которым занимается Фрезер. Комфортабельный, уютный уголок, из зеркального окна которого открывается далекий вид на красивую улицу с громадными домами, трамваями и железною дорогою вдоль вторых этажей.

И так как клуб в верхней части города, то не закрывается вид и на весь город и на бухту со всем ее лесом мачт.

Фрезер показал нам газету с образцом американской рекламы: громадными буквами от имени Зола объявлялось о распродаже в принадлежащем ему магазине разных вещей. Реклама объясняет, кто такой Зола: знаменитый писатель, защитник Дрейфуса.

На прощанье Фрезер подарил мне один из томов Киплинга, где на первой странице рукой Фрезера были написаны следующие стихи Киплинга:

«Когда настанет страшный суд и воскреснут мертвые, бог каждому воздаст по делам его.

Он призовет тогда писателей и художников, и посадит их в золотые кресла, и даст им золотые доски и большие золотые кисти и карандаши.

И они будут писать, что чувствуют, и никто больше не будет стеснять их, потому что оскорблявшие их палачи уже будут брошены в бездну забвения».

Я не хотел огорчать тогда поклонника Киплинга. Гений его кто не признает, но несомненно и то, что наряду

с таким стихотворением, какое приведено выше, у Киплинга имеются стихотворения и проза, где проводится много нетерпимого, узкобуржуазного и даже шовинистского.

— У вас вчера был рецензент? — спросил Фрезер.

Я рассмеялся.

— Вы думаете, это я его послал? Они сами разнюхали: это их хлеб. Вот статья о вас и ваших друзьях.

Фрезер вышел вместе с нами из своего клуба, чтоб показать нам еще один образчик американской рекламы. Он повел нас в ювелирный магазин.

Огни уже горели, когда мы вошли в него.

Громадная сводчатая зала, и по ней на белом фоне в человеческий рост фигуры — красивые женщины, писатели, люди истории. Все эти лепные фигуры усыпаны бриллиантами с ног до головы — крупными прекрасными бриллиантами.

Перед этим ослепительным поражающим блеском ничто вся эта груда бриллиантовых брошек, колец, браслетов, лежащих под стеклами прилавков.

Смотришь ошеломленный; первый вопрос, когда возвращается способность говорить:

— Что же сто́ят эти стены?

— Три миллиона долларов — шесть миллионов рублей.

И какое множество здесь этих магазинов, и сколько богатств в них!

— Завтра я покажу вам один банк и его устройство.

И, благодаря любезности Фрезера, перед нами открылись скрытые богатства и устройство одного из американских банков.

Нечто тоже ошеломляющее. План банка напоминает наш русский для внешней торговли банк на Морской. Но, конечно, в масштабе, в несколько раз увеличенном и притом в десять этажей.

С каждого этажа вы видите все тот же центральный зал внизу, где происходят сношения с публикой.

Каждый этаж имеет свое особое значение.

Вот целый ряд кладовых со всевозможными автоматическими приспособлениями — против воров, против пожаров: каждая кладовая может мгновенно наполниться водой, весь банк может мгновенно осветиться огнями, каждая отворенная не в урочное время дверь производит резкую тревогу во всем банке. И если отворенная дверь затворится, новая тревога. Оставшийся внутри вызыва-

ет новую, тоже автоматическую тревогу, и нужен какой-то секрет, чтобы выйти назад.

Словом, вся техника призвана на помощь, чтобы оберечь все эти груды наваленного во всех этих этажах золота.

— И в результате,— спросил я Фрезера, когда мы вышли из банка,— воровства действительно нет?

— Есть,— рассмеялся он,— один росчерк пера... Сумасшедшие и голодные не так страшны. Страшнее богатые люди, пользующиеся доверием, кредитом, те, которые, не взламывая, одним росчерком пера могут вынуть все богатства банка. Сегодня богаты они — и богатства банка к их услугам, а назавтра они бедны — и богатства банка нет, несмотря на весь гений современной техники. Вот слабое место всех банков, искупающееся их силой; страна работает, возделывается по последнему слову техники земля, строятся дома, фабрики, города, стучат машины, и рынки переполняются товарами, и надо искать новых и новых рынков. Если нельзя найти мирно, надо завоевывать их.

— Для войны нужны войска,— перебиваю я,— и вот та Америка, которая благодаря своей свободе только и достигла апогея, заводит теперь эти войска, облагается пошлинами, ограничивает переселенцев, имеющих менее пятисот долларов не пускает,— словом, Америка начинает ограждать себя стеной разных, и несвободных, и неравноправных мер. Теперь вы пошли еще дальше: вы начинаете свои завоевания, словом, выбрасываете совсем уже другое знамя: Америка для американцев, собственно, такой же регресс, как и везде. Может быть, торжество реакции тем более сильное, чем ближе конец ее и с ним начало новой жизни...

— Вопрос очень сложный,— отвечает Фрезер,— как ни силен будь корабль, но своя предельная вместимость для каждого существует, и раз она достигнута... что тут делать? Что касается ломки буржуазного строя, уступки места иному...

Фрезер отрицательно покачал головой.

— Об этом не думает американец, иначе он никогда не был бы тем, что он теперь. Американец не философ...

— Да, американец не философ,— продолжал далее размеренно Фрезер.— По свойству своей натуры, по своему образованию и воспитанию каждый американец работает или желал бы работать исключительно на почве накопления богатств и мало думает о равномерности их

распределения. Я этим не хочу сказать, что на этой последней почве нет работы в Америке. Она есть, и громадная, но источник ее все тот же: накопление. Иллюстрацией сказанного мною могут служить очерки и повести нашего нового американского писателя Hamlin Garland'a. Гарланд сам прошел весь тяжелый путь американского фермера, находящегося в невыносимой кабале капитала. Он сам тип буржуа, со всей практикой этого буржуа не мешающей, однако, ему служить любимой идее, хотя бы эта идея и шла в полный разрез со всем строем его собственной буржуазной жизни... Но всю продуктивность своей работы в то же время видит он в работе, в своем строе, ни на мгновение не выходя из его рядов, твердо веря в творческую силу только этого капиталистического буржуазного строя, потому что это почва, сойти с которой нельзя, если не заниматься самообманом, как нельзя, в силу законов притяжения, уйти с земли или поднять самого себя за волосы. Гарланд и не унижается до обмана себя и других. Таков герой его романа, понятный и вызывающий симпатии у нас в Америке. Но не герой вашего русского романа! Ярко, талантливо, с той силой, которая имеется только у человека, который сам плоть от плоти тех, о которых он пишет, Гарланд рисует сильных, закаленных в разного рода невзгодах людей, с мозолями на руках, не выпускающих из рук плуг, топор, лопату, ружье наконец, в борьбе с двуногими и четвероногими хищниками... В прекрасно рисующем быт романе «The spoil of office»[1] рассказывается, как эти люди, руководимые девушкой поразительной энергии, сплачиваются в одно для противодействия и борьбы с угнетающими их капиталистами. И эти союзы, цель которых облегчить всем дорогу к богатству, дают блестящие результаты, достигающие одинаково обеих целей: и цели накопления и цели более равномерного распределения. Путь достижения единственный — свободный труд, самый напряженный труд человека, задавшегося очень эгоистичной целью обеспечить свое и ближних своих благосостояние. Но сколько добра и красоты вырастает на этой разумной, эгоистичной, жизненной почве: союзы рабочих, союзы фермеров, громадная благотворительность, громадная заработная плата... И вот в результате трудно жить у нас только рантьеру из Европы, потому что здесь миллион его франков превращается в неполных двести тысяч долларов, причем

[1] «Порча службой» («Доходное место»).

несмотря на то, что доллар теоретически равняется семи франкам, на практике для богатого он немногим разнится от франка во Франции. Что до рабочих, то их заработок два-три-четыре доллара в день. Но благодаря организации жизнь такого рабочего обставлена здесь совсем иначе, чем жизнь богатых. У них свои дешевые столовые, больницы, клубы, организованные жилища, в которых электричество везде, и даже на кухне при приготовлении пищи. И это электричество благодаря громадному употреблению очень дешево. Осветить пять комнат, считая и приготовление пищи, стоит в месяц пятнадцать рублей на ваши деньги. При такой организации жизнь семейного рабочего обходится в день до двух долларов. Он два раза в день ест по два мясных блюда, пьет кофе, пиво и вино. Вот вам результаты с виду несимпатичного меркантильного эгоизма людей наживы...

Фрезер вздохнул и продолжал:

— Вы, русские,— идеалисты, я знаю. Вы, как титаны, все строите новую Вавилонскую башню, чтобы, добравшись до неба, изменить там сразу все законы человеческой жизни... Или, как помните, я сравнил на пароходе русских с девушкой в терему: она мечтает, не зная жизни, и в этой жизни ждут ее одни только разочарования... Я ничего дурного не хочу этим сказать,— кто выше, благороднее Дон-Кихота!

Но сила вещей сделает свое дело, и в следующем поколении русские передовые люди будут такие же, как и у нас, как и везде: чистокровные буржуа, и не будут больше обманывать себя, и будут работать, как буржуа, для скорейшего достижения небуржуазных целей... А идеализм останется, и у нас он есть, но более продуктивный, чем ваш, более реальный. Эта самая девушка — героиня романа «Дюлонг и его товарищи»... Вы помните?

— Так что-то, в общем...

— В нескольких словах я позволю себе напомнить вам эту великую смерть Дюлонга и его спутников. Как известно, корабль Дюлонга «Жаннета» погиб во время его экспедиции на север у устья Лены, и Дюлонг разделил тогда свой экипаж на два отряда. С одним пошел по левому берегу Лены, а другой направил по правому. Когда надежда на то, чтобы встретить жилье, исчезла, Дюлонг отрядил передовой отряд из двух человек, отдав им весь имевшийся у него спирт, прося их в интересах своих и их оставшихся товарищей выпивать ежедневно по три наперстка спирта. Тогда его им хватит на

двадцать дней. Выдал он двум передовым еще по ружью, настаивая, чтобы они ни под каким видом с ними не расставались. В двадцатый день своего путешествия эти двое увидели, наконец, жилье на другом берегу Лены. Был полный ледоход. С опасностью жизни, прыгая с льдины на льдину, они перешли реку и приблизились к жилью. Жилье оказалось летним кочевьем чукчей, но уже пустым. На их счастье, забывший что-то туземец как раз в это время возвратился в свое кочевье. Но, увидев двух пришельцев, испугался и повернул было назад своих оленей. Тут и пригодились этим двум передовым их ружья: под страхом быть убитым чукча остановился. Жестами передовые объяснили ему о бедственном положении их товарищей. А чукча тоже жестами объяснил им, что товарищи их уже спасены. Нервная напряженность прекратилась, и обоих несчастных чукча доставил в город уже в горячке. И только когда они пришли в себя после болезни, выяснилась роковая ошибка: спасен был не их левый, а правый отряд. Дюлонг же и его товарищи погибли. Они умирали один за другим, и оставшиеся в живых хоронили своих скончавшихся товарищей. Последним погиб сам Дюлонг. Когда он не мог от истощения больше идти, он сложил весь ценный научный багаж своих наблюдений и с записной книжкой, где было записано все до мельчайших подробностей, пополз на четвереньках. Последний день, отмеченный им, был 23 октября. Но он не мог больше писать, и перед этой датой стояла только длинная черта. Его нашли замерзшим с поднятой вверх рукой, чтобы легче нашли его. Эта рука, торчавшая из-под снега, и указала искавшим его труп. Так погибли великой святой смертью Дюлонг и его отряд, до последнего мгновения думавшие о других, до последнего мгновения двигавшиеся вперед. Это тоже величайшие ведь альтруисты и в то же время плоть от плоти всех нас, меркантильных людей, которые называются американцами.

Фрезер кончил, и мы уже молча продолжаем нашу прогулку. Я рассеянно смотрю в перспективу улицы и думаю, что эта одна улица с поразительной техникой, с многомиллионной стоимостью ее домов, со всем, что заключается в них, богаче всего, что я видел в Японии, Китае и Корее, вместе взятых. Это действительно родина колоссальных, нигде в других странах не виданных богатств,— они здесь все налицо. Конечно, богатство и техника — первое, что так ярко здесь в Америке бросается

в глаза. Вторичный процесс в полном ходу, и богатства эти громадному большинству дают уже возможность устраивать жизнь как можно лучше, и нищеты почти нет здесь. Громадные филантропические учреждения достаточны, чтобы дать место у себя слабым, неспособным, отработавшимся. И все это на почве труда с исключительно эгоистичной целью накопления, при строгом до жестокости разделении двух сфер — коммерческой и благотворительной.

Мы идем дальше, и я думаю, что для того, чтобы оспаривать такую постановку вопроса, какая у Фрезера, надо ему противопоставить нечто такое же, как и у американцев: сытого, здорового, интеллигентного работника. И если его нет, если есть только нищий, истощенный, изъеденный болезнями, круглый в своем невежестве дикарь, то все доводы в пользу этого дикаря будут такими же неубедительными и дикими, как и сам этот дикарь.

Что противопоставить, например, смерти хозяина Дюлонга и его рабочих.

Гениально описанную смерть нашего хозяина и его работника?

VI

НА АМЕРИКАНСКОЙ ФЕРМЕ

Сегодня я еду по железной дороге к графу П.— рекомендация одного знакомого Фрезера,— в его имение, в ста верстах от Сан-Франциско.

Имение графа около ста десятин. Высокий и узкий трехэтажный голубой дом далеко виден. Осень, деревья сада обнажены, и сквозь них видны и остальные хозяйственные постройки с красными железными крышами. Воскресение — и граф и его пять работников дома. Из рабочих один только дежурный в рабочем костюме, остальные в пиджаках, крахмальных рубахах, и только руки графа и рабочих выдают людей физического труда.

Граф — крепкий, лет шестидесяти старик, сухой, неразговорчивый, с бритым лицом, и только из-под подбородка торчит у него седой клок волос. Нас провели в читальную, где в это время двое рабочих сидели с ногами выше головы и читали газеты.

Мы познакомились, пожали друг другу руки; один из рабочих вслед за тем сейчас же ушел к себе в комнату, а другой,— светлый блондин, громадный, с высоким пристегнутым воротником, с узкими до невозможности, как

у большинства американцев, брюками, с бритым, как у актера, лицом,— смотрел на нас своими светлыми глазами и нерешительно вертел газету.

Мой чичероне переводил ему мои вопросы и мне его ответы.

Вскоре, впрочем, вошел сам хозяин, и работник ушел.

Собрались опять все за завтраком из двух блюд: вареная ветчина и жаренный в масле вареный картофель. Ветчина была очень и очень соленая, да и масло в картофеле также. Ели все молча, не торопясь и очень много, после завтрака подали кофе с молоком и сухарями из пресного теста. В сухарях, наоборот, соль уже совершенно отсутствовала.

Граф жил один. Дочь его была замужем за таким же фермером, как он, и жила с мужем и тремя детьми верстах в шестидесяти. Муж ее — бывший работник графа. Сам граф много лет тому назад начал свою карьеру здесь в Америке тоже с рабочего.

— Каждый рабочий делается фермером?

Наивность своего вопроса я сообразил, когда уже задал его.

— Разве каждый подмастерье, каждый приказчик открывает свой магазин и делается мастером, купцом? Каждый моряк — капитаном? Для всего нужно свое призвание, а для земледельца больше, чем для других. Земледелие не только ремесло, но и искусство, потому что требует, кроме знания, любви, потому что только любовь не считает жертв. А если начать их считать, кто же останется здесь?

На вопрос мой, как велик средний размер здешних хозяйств, граф ответил:

— От пятидесяти до ста десятин.

— То же, значит, что и в той части Китая, где я был,— сказал я.— И такое хозяйство устойчиво, хорошо сводит концы с концами?

— Как у кого,— лучше все-таки, чем большие хозяйства. Два тут было на больших акционерных началах, и оба лопнули.

— Почему?

— Чужими руками хотели разбогатеть, а земля не любит этого и умеет разбирать, где чужие, где свои руки.

Мы обошли с графом его хозяйство. Везде образцовый порядок, но ничего нового я лично не встретил: те же рядовые сеялки, сенокосилки, жатвенные машины.

— Сколько у вас работников?

— Для поля три человека, один для двора и один для откорма скота.

В Китае на такое количество земли потребовалось бы человек шестьдесят, а здесь во всем труд человека заменен машинами, и благодаря этому один может обрабатывать тридцать десятин.

У нас в России, если б даже всю землю, удобную для пашни (250 миллионов десятин), разделить на 100 миллионов нашего сельского населения, то на душу пришлось бы всего $2^1/_2$ десятины. Другими словами, и в идеальном случае даже, заработок одного американца пришлось бы разделить на двенадцать русских ртов.

В деле же перевозки, по количеству железных дорог, одну порцию здешнюю пришлось бы делить уже на сотни русских ртов.

Вывод из сказанного слишком ясен, чтобы распространяться о нем, и к тому же все это давно известно.

А как обставлены здесь торговля, сбыт сельскохозяйственных продуктов — хлеба, скота!

Среднее удаление сельскохозяйственной фермы от пункта сбыта 7—8 верст.

На каждом таком пункте прием хлеба с элеватором, с выдачей 75 процентов ссуды, с заменой громоздкого хлебного товара квитанцией, которая свободно поместится в любом вашем жилетном кармане.

Квитанция, которую вы можете перевозить в любой конец мира и продать там хлеб в любой наивыгоднейший для вас момент, точно зная в каждый данный момент всю наличность хлеба в стране, регулируя этим посевы того или другого хлеба.

Этим путем завладели американцы мировым рынком, благодаря этому они и хозяева его и сбывают всегда свой хлеб по наивысшим ценам.

И как умеют они компенсировать все новыми и новыми приспособлениями все убытки от перепроизводства. Уже теперь доставка из любого пункта Америки в любой Европы не превышает 22 копейки за пуд.

Я вспоминаю довод одного государственного человека у нас против того, что для успешной конкуренции нам необходимо делать то же, что делает Америка.

— Ну, тогда еще больше только собьем цену,— ответил он.

Далеко бы ушли люди, руководствуясь такой своеобразной, выгодной только для конкурентов логикой.

А приспособления при перевозке и хранении фруктов,

мяса, рыбы, птиц, масла! Вагоны-холодильники, склады, ледники... Общество таких вагонов и складов дает и теперь 50 процентов дивиденда, а начало с 400 процентов. Начало с 200 вагонов и нескольких складов, а теперь у них 80 тысяч вагонов и склады везде.

Как приспособляются, как торопятся приспособиться железные дороги к жизни! Попробовали бы заправилы дорог здесь разыгрывать из себя таких невменяемых, таких не желающих считаться с требованиями окружающей их жизни, таких даже не понимающих совершенно этой жизни, каковы наши заправилы. Здесь это было бы, впрочем, немыслимо так же, как если бы приказчик стал палкой разгонять своих покупателей или стал бы для своего удовлетворения гноить товары своего хозяина. А мы гноим товары, пропускаем все сроки доставки, и если и вынуждают нас платиться за это, то ведь не из своего же кармана платим, хотя в этом и кроется одна из главнейших причин, почему наши дороги и так плохо и так убыточно работают, почему вся наша торговля несет такие убытки, почему, между прочим, теряем все больше и больше заграничные рынки.

Мы переходим с графом в отделение для откорма скота.

Откорм здесь — это целая наука, и не в теории, а на практике определено и проверено точно, в какое именно количество сала и мяса должен превратиться каждый съедаемый фунт пищи. Можно откармливать так, что животное будет откладывать свой жир поверх мяса; можно слоями распределить жир. Всю роль в распределении этого жира играет сахар. Если, например, желают жиром равномерно пропитать мясо, начинают откорм с сахара и т. д.

Мы возвращаемся в дом, и граф показывает мне образцы семян. Я слышу о сельскохозяйственных обществах, клубах, образцовых фермах и агрономических станциях.

Словом, о чем бы ни зашла речь, видишь и слышишь не одного человека, а сплоченный союз целой группы, тесно связанной между собою одною и тою же общею целью. И все это при полной индивидуальной свободе.

Так, конечно, можно работать или, впрочем, только так и можно работать.

Я еду назад в Сан-Франциско, мысленно полемизируя с идеалистами своей родины.

Вот сущность моей полемики.

Все высоты своей культуры Америка достигла только совершенно свободным, ничем не стесняемым трудом.

Кажется, так логична эта свобода и равноправие труда, в силу которых следует признать за крестьянами такое же право выбирать себе любой вид труда, каким пользуется и пишущий эти строки. И если я не хочу пахать землю, хочу быть моряком, не хочу сидеть в общине, а хочу продать свой участок и писать, то и всякий другой в государстве должен иметь такие же права. В этом только залог успеха, залог прогресса. Все остальное — застой, где нет места живой душе, где тина и горькое непросыпное пьянство все того же раба, с той только разницей, что цепь прикована уже не к барину, а к земле. Но прикована все тем же барином во имя красивых звуков, манящих к себе идеалиста-барина, совершенно не знающего и не желающего знать, а следовательно, и не могущего постигнуть весь размер проистекающего от этого зла.

VII

ИЗ КОНЦА В КОНЕЦ АМЕРИКИ

Прощай, Сан-Франциско.

Мы мчимся со скоростью 90 верст в час через всю Америку в Нью-Йорк. Шесть дней пути, но как облегчен переезд!

Вагоны, о которых мы и понятия не имеем по роскоши и удобствам. С моей точки зрения, прямо безумная роскошь. Штофная мебель, атлас, шелк, бронзы, инкрустации, хрусталь. Библиотека, читальная, курильная, парикмахерская, разговорная, вагон-столовая. Громадный вагон, каждое утро сменяющийся новым, с новым рестораном, новой кухней, новыми блюдами.

Я вспоминаю наш бедный сибирский поезд, все с тем же воздухом, закусками и блюдами от Москвы и до Иркутска,— от испарений одного пива противно войти в наш вагон-столовую. Мой компаньон Н. уже начал знакомство с окружающим нас обществом.

Две барышни. Одна — доктор философии и писательница, другая акушерка.

Н. начал знакомство обменом книг.

Доктор философии — хорошо осведомленная в литературе особа. Она владеет французским и немецким языками, свободно читает на них книги, но говорит отвратительно. Тем не менее мы понимаем друг друга, прибегая иногда и к английскому языку.

Она очень любит русскую литературу и находит, что русские женщины похожи на американок.

Французскую литературу и пустую французскую женщину она не уважает.

Я читал в дороге «Quo Vadis?» Сенкевича в английском переводе.

Она полюбопытствовала и с гримасой отдала назад мне книгу:

— Я люблю Сенкевича «Семью Поланецких», «Без догмата», потому что эти романы реальны,— я люблю все реальное, а «Quo Vadis?» я не люблю, потому что это все фантазия, его выдумка, ничего общего с действительностью не имеющая: написал своих же поляков. Я не люблю таких романов.

Она помолчала и с некоторой иронией сказала:

— Хотя и пишу сама такие же романы.

— Зачем же вы их пишете?

Она пожала плечами.

— Потому что журналы платят мне за них деньги...

Доктор философии, за исключением последней черты, очень напоминает мне наших курсисток, прямых, щепетильных, простых в то же время и требовательных, брезгливых ко всякому поползновению на ухаживание.

Н. со своими манерами вежливого кавалера-француза, который считает грубостью, если не дать почувствовать даме, что она производит на него впечатление, ей неприятен, и она, не стесняясь, говорит:

— Мне не нравится ваш компаньон: он или думает, что все в него влюблены, или он влюблен во всех: я не люблю таких...

Ровно в одиннадцать часов вечера доктор философии задергивает свою занавеску, и все там тихо до девяти часов следующего утра. В девять часов занавеска отдергивается, доктор философии заглядывает сперва в окно, поворачивает затем голову в нашу сторону и, строго окидывая нас глазами, кивает нам,— женщины первые кланяются в Америке.

В ответ мы оба почтительно ей кланяемся, а она удовлетворенно и задорно на нас смотрит: то-то, мол, а то я и иначе сумею с вами разделаться.

Я не сомневаюсь в этом. Где-где, а в Америке женщина чувствует почву под ногами. Это она — мать или будущая мать всех этих свободных людей. Только свободная женщина и может дать свободного и свободолюбивого гражданина. Только такая мать готова жертвовать

и своей жизнью и детей своих научить любить эту свободу больше жизни.

Другая соседка наша ехала с нами только сутки.

Я познакомился с ней: она акушерка.

— Выгодно ваше ремесло?

— Роды — нет: десять долларов. Прекращение беременности — сорок долларов.

— Это разрешено законом?

— Как в каком штате, но везде на это смотрят сквозь пальцы.

И она показала, как смотрят сквозь пальцы.

— Это... не считается безнравственным?

— Но за что же несчастная одна обречена нести все последствия того положения, при котором для нее в сто раз окажется более безнравственным естественный ход событий? И чем я поручусь, что, не получив от меня помощи, она не покончит и с собой и с будущим ребенком? Лучше уж кого-нибудь спасти, и если выбирать: кто там еще будет, а уж эта есть.

В вопросах любви доктор философии и акушерка расходятся.

Акушерка жалуется, что в числе рутины и обломков прошлого, завезенных со старого материка, находятся и вопросы любви, свободного чувства, которые далеко не на высоте. Даже развод, хотя и с неизмеримо меньшими затруднениями, чем у нас, сопряжен все-таки и здесь с хлопотами. Акт венчания необходим: без этого остановившаяся в гостинице вместе с мужчиной женщина, если она не записана под его фамилией, получает билет проститутки. И все дело опять-таки сводится, следовательно, к соглашению двух, потому что паспортов нет же. Энергичная проповедь Вудгол изменила, впрочем, за последнее время отношение ко всем этим, отжившим свое время, формам.

Доктор философии, заложив рука за руку, говорит безапелляционно:

— Любить надо раз и навсегда. Если разочаровалась — бросить и больше не унижаться. Неужели всегда кокетничать, строить глазки? Я ненавижу это...

Мы проезжаем необитаемыми пустынями, но и здесь телефоны и электрический свет на самой маленькой станции.

Изредка видишь громадные фургоны, пару крупных, как дом, лошадей и сидящего на высоких козлах госпо-

дина, в вязаной куртке, с трубкой в зубах, в шляпе котелком.

Зима, все голо. Мы все время извиваемся у подножия невысоких, не закрывающих горизонта гор, напоминающих наше преддверье Крыма.

Пустыня осталась позади, и мы проезжаем множество городов и ферм с желтыми, голубыми и красными, узкими, высокими домами.

— Скорей, индейцы,— кричит мне Н. на одной из станций,— ведь это их родина.

Я захожу за угол какого-то сарая и вижу там несколько темных, с красным отблеском тела женщин в ярких костюмах. Они очень напоминают наших цыганок.

Но ни одного мужчины. Так за всю дорогу и не увидел я ни одного индейца. Оригинальное право принадлежит здесь индейцам: ездить бесплатно по всем железным дорогам Америки. Это они, как хозяева страны, выговорили себе. Но никогда этим правом не пользуются и никуда они не ездят.

— Вот резиденция мормонов—Святое озеро и храм—гроб, в котором помещается десять тысяч человек.

То и дело проходят разносчики с местными продуктами: фруктами, лакомствами. Между прочим, индейское лакомство: печеная кукуруза в сахаре.

А вот и Чикаго.

Между двумя поездами мы успеваем осмотреть знаменитые здесь бойни, на которых ежедневно убивают несколько тысяч крупного скота и до 15 тысяч свиней; бойни устроены за городом, их окружают изгороди, и в них множество скота всякого сорта и вида. Мы едем узким и грязным переулком из этих изгородей. Мимо нас проносятся или неподвижно стоят джентльмены верхом на красивых высоких лошадях, оседланных мексиканскими седлами. У джентльменов в руках громадные бичи, которыми они хлопают, когда какой-нибудь бык не хочет идти туда, куда его направляют.

Мы осмотрели только отделение свиней. Вот их громадное стадо во дворе. Это стадо непрерывно пополняется из соседних дворов. К стене под навес в небольшое, загороженное с трех сторон пространство, привлекаемые едой, спешат свиньи. Там их одну за другой подхватывает за ногу крюк и вздергивает на громадное колесо.

Уже подхваченная, свинья все еще ест и старается не замечать невзгоду, но, вздернутая наверх, она уже вопит благим матом.

Достигнув высоты помоста над колесом, она продолжает двигаться головой вниз уже по горизонтальному направлению.

На помосте стоит джентльмен, весь в белом, розовый, бритый, с белым колпаком, с длинным острым ножом в руках.

По мере прохождения мимо него свиньи, все тем же движением, спокойным, ровным, без напряжения, он вонзает ей в горло свой длинный нож. Несколько мгновений после этого свинья, все двигаясь вперед, бьется еще торопливо, вместе с черной кровью изрыгая последние звуки. Но она уже погружается в кипяток, а через несколько шагов дальше опять поднимается кверху, попадая в новые руки, эти руки мгновенно снимают с нее щетину, и уже непрерывной вереницей тянутся ряды белых свиных туш.

В одном месте разрезывают им животы, в другом отрезывают задние ноги, в третьем середину, передние ноги, голову.

Мы спускаемся из одного этажа в другой, и на наших глазах ходившая во дворе свинья уже в виде всевозможных консерв, сосисок и колбас поступает в магазины, в громадные укупорочные, откуда и рассылается во все концы Америки.

Так отвратительно впечатление от всего этого, от ужасного запаха, что долго еще после того смотришь на все с точки зрения этих боен, этого равнодушия, этой вереницы движущихся мертвых белых трупов, а в центре их — фигура, распространяющая всюду эту смерть, вся в белом, спокойная и удовлетворенная, с длинным острым ножом.

— Оль райт!

Нью-Йорк.

И все-таки самое сильное впечатление произвел на меня Сан-Франциско. Нью-Йорк в пятнадцать раз больше, в нем дома в 36 этажей, но именно вследствие его необъятности общее впечатление теряется.

Больше представляешь себе, чем чувствуешь, всю эту громаду.

Ясно одно: в тот короткий срок, который имеется в моем распоряжении, не то что ознакомиться — и объехать его не успеешь.

Остановился я в скромном с виду «Hôtel Martin».

Но отель первоклассный — центр французской колонии.

Французы здесь такие скромные, маленькие. Неудачи с Фашодой в полном разгаре, и все они, легко падающие духом, ходят печальные и пришибленные.

И Н. стал какой-то грустный и задумчивый. Кажется, причиной этому и его личные дела.

Мы были с ним в опере, заплатив по двенадцати рублей за двадцать четвертый ряд кресел. Все мужчины во фраках, а дамы декольте. Из театра дамы и кавалеры поехали, по здешнему обыкновению, в ресторан ужинать и пить чай.

Там лучше можно было рассмотреть их роскошные туалеты, их белоснежные, хорошо вымытые шеи и руки, их румяные, здоровые и красивые лица. Наконец, их завидный аппетит, с каким они ели громадные, сочные от крови бифштексы. Их прекрасные белые зубы ярко сверкали, и энергично работали их челюсти.

— Что вы хотите,— меланхолично-устало объяснял мне маленький Н.,— ведь это все дочери тех мясников, свиней которых мы видели с вами в Чикаго. У них много денег, но вчерашнего дня у них нет. Они так же необразованны и невоспитанны, как их свиньи: я ведь их хорошо знаю,— у нас в Париже они в моде и считается дозволенным жениться человеку из Сен-Жерменского отеля на такой... Прикрываясь оригинальностью и модой, эти господа женитьбой поправляют дела. А как падки американцы до титулов!..

Н. презрительно свистнул и продолжал:

— И ничего пошлее нет этой нью-йоркской аристократии — ни вкуса, ни оригинальности: что это за костюмы, что за опера? Какая-то солдатская выправка, каждое движение заученное,— тяжело пахнет потом...

И все «оль райт».

И Н. со звуком, напоминающим лай бульдога, повторяет, опустив голову: «All right».

В театре меня поразила дисциплина толпы после окончания спектакля.

Верхнее платье выдавали из одного окошечка, за которым возились всего два человека. Когда хлынула вся эта громадная толпа в вестибюль, я подумал, что и ждать придется очень долго и давка будет.

Но и платье свое я получил гораздо скорее, чем у себя на родине, где десятки капельдинеров, и давки никакой не было. Без всяких полицейских толпа так педантично соблюдала права друг друга, что и в голову не приходило ринуться впереди других. Такой же порядок

царил и при разъезде. Чувствовалась в этой толпе дисциплина культуры. Я поделился своими мыслями с Н.

— На этот счет они молодцы,— согласился Н.— В их толпе не может быть паники нашей толпы, они привыкли к опасностям, сильны, находчивы, всегда в сборе. Я, проездом в Японию, попал в прошлом году в театр здесь. Вдруг раздался какой-то странный шум, публика подняла головы, кто-то крикнул: «Огонь!» В одно мгновение все были на ногах, но никто не двигался. В следующее мгновение уже все аплодировали, успокаивая друг друга, и один за другим под эти аплодисменты, без всякой давки, соблюдая очередь, стали выходить. Но в это время на сцене появился какой-то господин, что-то сказал, и все опять сели на свои места, спектакль продолжался; никакого пожара не оказалось.

Нам подают счет нашего ужина: одиннадцать долларов. Завтрак, обед, ужин, номер, кеб, театр, мелкие расходы — и почти ста рублей нет в день. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что Нью-Йорк — самое дорогое в мире место.

Да, уже здесь рантьеру из Европы делать нечего, и надо очень и очень много свободных денег, чтобы путешествовать с удобствами по Америке. Это не Франция, Швейцария, Италия, где франк и лира почти то же, что здесь доллар.

VIII

В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ

Свистит уныло холодный ветер. Скрывается в тумане громадный, как этот туман, Нью-Йорк со своими шестью миллионами жителей, со своим семидесятиверстным пространством, со своими узкими и высокими до неба домами, со всей своей роскошью и чудесами техники.

Неимоверных размеров, многоэтажный пароход «Лукания», самый большой в мире, с ходом до пятидесяти верст в час, уже полным ходом выбирается в открытый океан.

Мрачно, тихо, торжественно.

Там, на пристани, еще виднеется группа провожающих, но что до них? Все это уже отрезано, все это уже осталось назади и уже в прошлом, но еще рельефнее встает в памяти вся новая, как с иголки, богатая Америка.

В отдельности все там и не поражает, может быть, но совокупность впечатлений сламывает и заставляет признать, что действительно эта страна — царство богатства и техники, единственных в мире. Господство на мировом рынке этой страны, законодательство и власть ее в экономической области становится и понятнее и неизбежнее. Можно, конечно, с гордым видом отворачиваться и говорить: «Что техника, что богатства?» Но ведь миром руководит не тот, кто скажет так. Можно говорить, что Америка — страна рекламы, что в Америке столько машин, что она сама не что иное, как одна большая машина, машина, которая делает свою неумолимую работу, как бойни в Чикаго; что в Америке много денег, но мало поэзии, мало искусства, нет вчерашнего дня; что американец — человек без тени, которая не успела еще вырасти; что вся сущность Америки в туго набитых карманах выбившихся в люди мясников; что даже в искусстве их — техника все того же мясника, который одна за другой колет свиней с спокойствием и верностью машины, и так и слышится после каждого взмаха, верного и спокойного, любимое в Америке: «All right». Будь это певец, мясник, дама. Он заколол, тот взял ноту, принял позу, та вымыла шею, руки, грудь, съела кровяной бифштекс, надела великолепное декольте...

И несомненно, известная ремесленность чувствуется и шокирует, скучно за прошлым, и мало философии у этих деловых людей. Но все это наживное и второстепенное в сравнении с тем, что уже есть; и то, что есть, красноречиво говорит, что и остальное так же пышно и быстро расцветет, как уже расцвели здесь общественная жизнь, свобода женщин и мужчин, как расцвели техника и экономическое благосостояние этой великой страны.

Все быстрее идет вперед наш громадный пароход. Вот назади скрывается уже в дымке тумана громадная, манящая к себе статуя Свободы.

Прощай, Америка! Буду счастлив, если удастся еще раз увидеть тебя!

Шумит и бушует Атлантический океан: декабрь — самое бурное время его.

Легкие зелено-бутылочные волны его с белыми гребнями торопливо, беззвучно, одна за другой убегают в мглистую, пеной покрытую даль.

Злее налетит вихрь, сорвет верхушки волн и обдаст брызгами сверху донизу наш пароход. Несмотря на размеры (12 тысяч тонн вместимости), нашу «Луканию» ка-

чает: если бы не эта качка, то потерялось бы и впечатление парохода. Это скорее многоэтажная гостиница, и моя каюта, например, ни одной из своих сторон не соприкасается с бортом корабля.

Чем дальше, тем качка сильнее. Однажды мы сидели в курительной на четвертом, самом верхнем, этаже. Туда никогда не достигали раньше волны. И вдруг — это произошло мгновенно — вместо пола мы увидели там внизу бездну и весь сразу открывшийся перед нами бешено мечущийся, мглистый, весь в пене горизонт океана.

В открытую дверь к нам уже хлынул этот океан, зеленый, растрепанный старик, и ужаснее всего было то, что наша «Лукания», легши набок, точно очарованная, раздумывала: подниматься ли ей назад. Продолжалось это, вероятно, несколько мгновений, но я и, вероятно, многие пережили такое ощущение, как будто мы уже окунулись в эти легкие зелено-прозрачные волны. И весь тот день налетали эти волны, разбивались, как выстрелы пушек, удары о борт нашей «Лукании». Не было и тени того величия, с каким Тихий катит свои синие густо-плавкие волны.

Меня не укачивало, но и удовольствия никакого я не испытывал от этой непрерывной качки. Особенно ночью. Сна почти нет, потому что от качки постоянно ездишь туда и сюда по койке. И пока едешь от полу — еще ничего, а когда наклоняет к полу, надо задерживаться, а иначе упадешь. Эти четыре ночи без сна взвинтили мою нервную систему до очень болезненного раздражения.

Пассажиров сравнительно мало было — около семисот человек, и неинтересные. Большинство — англичане, да и сам пароход принадлежал английской компании.

Мой спутник из Нью-Йорка и мой сосед за столом — англичанин лет тридцати пяти, здоровый и румяный, сообщил мне, что, вероятно, приехав, мы уже услышим об объявленной французам войне.

— Эта война неизбежна,— говорил он, глотая шампанское,— у французов должны быть отняты их колонии, потому что они не годятся для этого дела... Латинские расы обречены на вымирание и должны уступить место нам, американцам, немцам и даже японцам. Испания не хотела сознать это и поплатилась: такая же судьба ждет и французов,— их флот через две недели после войны не будет существовать.

Англичанин говорил со мною по-французски. Он обратился ко всему столу и то же сказал по-английски. Ему

сочувственно закивали головами все и, перебивая друг друга, горячо заговорили на тему о необходимости и неизбежности войны. И всю дорогу все говорили о том же постоянно, горячо и настойчиво. Несколько французов, ехавших с нами, сторонились и держались угрюмым особняком.

— О, это выродившаяся нация,— говорили англичане,— чтобы убедиться в этом, достаточно привести процесс Дрейфуса. Мировое правосудие в руках каких-то капитанов. Это позор...

— Вы думаете,— кричал отчаянно другой,— они примут вызов? Они пойдут на все уступки и никогда не посмеют драться с нами.

— Весьма вероятно: это люди прошлого, их песенка спета,— это сплошь теперь только мелочные лавочники, которые умеют думать только о себе...

Грозный океан был уже назади, мы проплыли и зимой зеленую Ирландию, плыли теперь по гладкой, как зеркало, поверхности моря, к вечеру мы подойдем к Ливерпулю, а раздражение против французов все росло и росло.

Раздражение неприятное, тяжелое.

Вообще все это общество, несмотря на то что между ними были и ученые и люди пера, производило сильное впечатление самодовольства до пошлости чем-то обиженных людей. Это были хозяева, ни на мгновение не забывающие, что все это, начиная с парохода, кончая последней безделушкой,— их, принадлежит им и им не надо идти ни к кому и ни у кого ничего не надо просить,— все лучшее в мире у них. Они дадут и другим, но дадут заносчиво, зная хорошо цену того, что дадут.

Эти люди энергичны и жадны к жизни. Они чистятся, переодеваются и моются несколько раз в день, всякими способами укрепляют свое тело, едят свои громадные, кровью пропитанные бифштексы с аппетитом, не уступающим дикарям. Поэзии нет в этом обществе. Интересы коммерческие, узконациональные.

Знамя, под которым двигалась некогда политика,— религия, теперь заменено другим: промышленность, национализм. Промышленность — кровь организма, кровь английского организма, немецкого, каждого в своем национальном мундире.

Перед самым приходом в Ливерпуль, за обедом, мой сосед по столу сказал мне:

— Вероятно, будет и с вами война у нас, мы вам го-

товим большой счет. Вы, конечно, друзей своих, французов, поддержите?

Другой сосед мой, старичок, лукаво подмигнул и сказал, рассмеявшись:

— Теперь, пожалуй, и не поддержат.

— Почему?

— У французов деньги взяты уже: политика ведь дело коммерческое.

— Война с русскими будет не легкая для вас,— заметил я,— потому что русские соединяют в себе свойства и диких и культурных наций. Вооружением мы, вероятно, не уступим вам, а как нация менее культурная, мы храбрее вас. У нас есть одна дикая песня, припев которой лично для меня отвратителен, но характерен, по-моему:

Жизнь наша копе-е-ейка...

— Посмотрим,— пожал плечами англичанин,— флот мы ваш, как и французский, уничтожим скоро, и военный и торговый, Порт-Артур отнимем, а там что же останется у вас на Востоке?

— А Индия? — спросил я.

Англичанин рассмеялся:

— Меньше всего в Индии мы о вас думаем. Ведь это вам Индия представляется страной в двести миллионов, ждущих и не могущих дождаться вас, а мы-то ведь знаем, что Индия страна культурная, мы знаем эту культуру, потому что мы создали ее. Кроме Англии, нигде нет такого самоуправления, таких законов, таких школ, как в Индии. Индию надо отрывать зубами от Англии, надо побороть прежде всего сопротивление двухсот миллионов людей. Идите в Индию, там вас хороший сюрприз ждет.

— Много заслуг у англичан,— покачал я головою,— но кружат они вам головы.

— Нет, не кружат,— американцы, немцы, японцы будут с нами, а остальной весь мир нам не страшен, да его и надо победить и прежде всего пропеть «De profundis» [1] латинским расам.

Я большой поклонник английской культуры, вносящей действительное равенство всех и для всех, признаю все их заслуги пред человечеством, но этот тон раздражал до желания невзгоды этой нации в ее же интересах. Желание, впрочем, признаю, вполне несправедливое и мимолетное.

[1] «Из глубины» *(лат.)* — начальные слова заупокойного католического гимна.

IX

В ЕВРОПЕ И ДОМА

Под влиянием общества на пароходе «Лукания» и его настроения я изменил первоначальный свой план остановиться на несколько дней в Лондоне, в этом центре современного культурного мира, и решил приехать сюда когда-нибудь в более спокойное время, когда не будет портиться впечатление от диких воплей этих вдруг пожелавших крови и смерти людей...

Лондон поэтому я видел только в тумане только что начинающегося прекрасного розового утра. Я ехал проездом на вокзал по Пикадилли, пустой, безлюдной, и видел только, как в первых лучах солнца женщины мыли подъезды и тротуары.

На вокзале я успел выпить кофе, купил какой-то юмористический журнал, и мы поехали.

Карикатура: молодая женщина, в трауре, с легкомысленной заплаканной физиономией, сидит на террасе над морем, а старый англичанин отчитывает ее за легкомыслие. Он постоянно повторяет: «Вы молчите? Вы растерялись до неприличия,— вот до чего вы себя довели...»

Это было как раз в период тех трех недель, когда Франция молчала на ультиматум англичан, а потом покорилась и приняла все их требования.

Это был тяжелый период унижения для французов.

Бедные французы — их много в поезде, и все они точно чего-то горького съели.

Я смотрю в окна вагона.

Все еще предместья Лондона — живописные, с уютными домиками, все в зелени. И дальше, за Лондоном, почти сплошь дома, селения, зеленые поля — люцерна, клевер, парки, речки, леса. И все живописно, уютно, богато.

Переезд через Ла-Манш занимает всего сорок минут, но такой качки нигде не было.

Маленький дрянной пароходик подбрасывало, как мяч. Было много трагикомичных сцен во время этого переезда.

Толстый француз, важно и жадно евший на берегу у плохого буфета бутерброды, теперь сидел на палубе у борта, без шляпы, растерянный, бледный. Напрасно матросы уговаривали его сойти вниз или отодвинуться,— он только бессильно мотал головой. Каждую минуту его окатывали брызги с ног до головы, а он только вздраги-

вал на мгновение и снова погружался в свое летаргическое состояние.

Какая-то дама выскочила из каюты, поскользнулась и села посреди палубы и так и сидела, не желая никуда уходить. И ее окачивали и брызги и волны, и она тоже каждый раз только нервно всхлипывала.

Оба страдали морской болезнью.

Какой-то господин подошел к толстяку, с любопытством рассматривал его, наклонился, и вдруг как раз в эту минуту ему сделалось дурно, и все это попало в корзину толстяка, стоявшую у его ног.

— Monsieur!!! — с отчаянием закричал толстяк, но новый приступ морской болезни не дал ему договорить, и толстяк, перегнувшись за борт, тянул только мучительное: «А-а».

Хотел что-то в свою очередь объяснить толстяку виновник, начал,— и мгновенно его голова за бортом. И оба они: то кричат что-то друг другу, то головы обоих исчезают.

Но все быстро и сразу меняется, как только пароход подходит к пристани на французском берегу: качки нет больше, желто-грязный пролив назади, толстый господин еще мокрый, как губка, уже ест что-то. Дама, сидевшая посреди палубы в луже, уже веселым голосом кричит приветствия стоящим на берегу.

Через полчаса мы уже мчимся по железной дороге в Париж.

На этот раз я в Париж попадаю случайно, уговорил меня ехать один из французов, доказывая, что это кратчайший путь. Из-за этого я потерял лишние сутки, как потом оказалось, и, конечно, ругал легкомысленного француза. Ни англичанин, ни американец так не поступили бы; уж если стали бы давать советы, то дали бы на совесть.

Со мной в купе ехало еще трое, все трое французы, все трое едущие в Париж, очевидно, встречать Новый год.

Новый год во всех отношениях для них не из удачных.

До сих пор было тепло, но часов с четырех пошел снег, разыгралась такая метель, что в Париже на улицах ничего не было видно.

Мои спутники, в нарядных легких платьях, с зонтиками, с подкатанными панталонами, озабоченно смотрели в окно...

Разговорились мы под самый конец с пожилым французом, все время читавшим газеты.

— Ужасно, ужасно,— проговорил он, отодвигая газеты.— И чем все это кончится? Неужели будет война? Это ужасно.

Узнав, что я русский, он с тоской спросил:

— Неужели русские нам не помогут?

Двое остальных слушали наш разговор молча, удрученно или безнадежно смотря в окно.

Я вырос с убеждением, что французы великая мировая нация. Теперь, после кругосветного своего путешествия, я уже без интереса смотрю на них. Я видел там их значение. Дрейфус, Фашода, позорная гибель «Бургон», позорный пожар на балу, где мужчины ножами и палками били женщин,— я представляю себе того изысканного, блестящего, вежливого кавалера, который, когда началась сумятица, ударом палки прокладывая себе дорогу, свалил с ног прежде всех свою невесту.

Я не думаю отпевать, как англичане, нацию, но период упадка этой нации сильно чувствуется. Это бывало и раньше, впрочем, старый буржуазный строй отживает, и нигде это умирание, разложение заживо не чувствуется так, как в Париже.

Мне пришлось в другой раз побывать в этом городе, познакомиться ближе с работой людей будущей культуры, с их руководителями: Жоресом, Гедом. Я увидел, каким ключом бьет эта будущая жизнь там, видел свежесть, силу и веру этих людей.

Я не сомневаюсь больше теперь, что французы, оправившись от своей теперешней позорной реакции, опять первые отворят дверь в земной рай будущего человечества.

Что до Парижа, то этот город, после городов Америки, напоминает большую деревню. И везде какая-то растерянность, опущенность, угнетение.

Только в ресторане, где я обедал, я встретил общество дам и мужчин, которые были веселы и которым, очевидно, никакого дела не было до унижения, переживаемого их родиной.

Повезли меня из Парижа дальше на Кельн и Берлин, в скверном, дребезжащем, с отвратительными рессорами, вагоне.

Опять светло и солнце, от снега и следа не осталось.

Я сидел у окна и смотрел на сплошь заселенные места, обработанные поля.

Вот и Кельн и чудный, как дорогое кружево, собор его.

На вокзале я услышал русский говор и скоро познакомился с дамой и ее кавалером. Она оказалась русской женщиной-врачом. Живет она постоянно в Париже, а муж ее в Петербурге. Она едет теперь с братом навстречу к нему в Берлин.

— Да, Париж,— говорит она,— так и есть большая деревня, очень удобная для жизни, и только... Какой уж там центр мира... Французы страшно измельчали, опошлились и выветрились... Теперь разве только перестанут носиться со своим «Alliance Franco-russe» [1].

А вот уже и Берлин, и поезд мчится на высоте вторых этажей по его улицам.

Громадный, какого я нигде не видал, вокзал. Грохот и шум ежеминутно отходящих и приходящих поездов.

Какой-то особый грохот, как шум движущихся батарей, солдат и штыков, какой-то особый шик и выправка: полный контраст с Парижем. Там люди точно потеряли что-то. В прекрасном экипаже я успеваю объехать город. Широкие улицы, красивые здания с каким-то однообразным казенным стилем, памятники королей, императоров, военных.

Живые военные с выправкой, размеренным шагом, грудь колесом.

В общем красивый и богатый город, больше других напоминающий мне Петербург.

Праздник, и везде множество гуляющих. Но это не американская толпа, где и в толпе вы чувствуете каждого американца отдельно от толпы. Здесь толпа — еще не вполне живущая своей собственной жизнью, привыкшая не сама заботиться, а получать свой свет и тепло извне, этим светом и окрашена эта толпа, про которую так и хочется сказать: все кошки серы. Мощь и сила здесь не в этой толпе, хотя Бебель и его армия делают и сделают свое великое дело и здесь: машина уже в полном ходу. Я кончаю читать записки Волкенштейн. Как раз вовремя: Вержболово.

Разменял деньги, получил паспорт и иду завтракать уже на русский вокзал. Но по привычке обращаюсь к лакею по-немецки, хочу поправиться и говорю по-французски. Лакей отвечает и по-немецки и по-французски. По-английски — тоже отвечает.

— Сколько же всех языков вы знаете?

— Двенадцать.

---

[1] Франко-русский союз *(фр.)*.

— Вот это так. И все это знание пригодилось только для того, чтобы поступить сюда лакеем?

— Да ведь что же делать? Русский я человек: потянуло на родину.

Лакей ушел; молодой человек, сидевший против меня, простодушно, как старый знакомый, сказал мне:

— Это бессознательная черта настоящего русского человека.

— Именно какая? — спросил я.

— Да вот такая, что по складу своему русский человек совершенно не подходит к узким рамкам Запада... Русский человек прежде всего философ. А там — никаких философских обоснований,— все сводится к самому мелкому, отвратительному торгашеству.

— Вы думаете, в нашей деревне к этому не сводится? — спросил я.

— Ах, конечно же, нет! Существо русского человека совершенно иное.

— Но позвольте, вот я читаю в газетах, что восток и юг охвачены опять голодом. Скажите мне, о чем думает человек, когда он хочет есть?

Молодой человек с ласковым упреком посмотрел на меня.

— При чем здесь это? — тихо, укоризненно сказал он,— я ведь тоже протестант, но это совсем не то: не о хлебе едином сыт будет человек.

Молодой человек встал и, обходя стол, пошел ко мне. По дороге пуговица его от поношенного пальто оторвалась и покатилась по полу, он остановился было, но только махнул вдогонку рукой и, подойдя ко мне, сел возле.

Мы так разговаривали до звонка. Сев в поезд, мы продолжали разговаривать. Еще двое примкнуло к нам. И в интересных разговорах незаметно проехали наш путь до Петербурга.

Философская складка русского человека сказалась: за один день я услышал на своей родине философских обобщений больше, чем за все свое кругосветное путешествие.

Подъезжая уже к Петербургу, каждый, стоя уже с вещами в руках, еще раз резюмировал свои положения.

Господин с густой растительностью и в золотых очках, рассказывавший нам о своих аскетических опытах, которые он проделывал над собой, борясь с животной стороной своего организма; самодовольно повторял на прощанье:

— Так-то-с, протестант и я, но помните вы Достоевского: «в бесформенности наша сила», а не в той или другой там политической форме,— все эти формы ничего не стоят, поверьте мне...

Другой господин, уже с седеющей бородой, меланхолично и блаженно качал головой и говорил:

— Протестант и я, но и у нас есть что беречь: община — это святыня, зародыш всего лучшего в будущем.

Господин закрыл глаза, набрал полной грудью воздух и долго стоял, не дыша.

— Случай, только случай — вот наше спасенье! — говорил третий.

Молодой человек в поношенном пальто мягко, нравоучительно и горячо говорил:

— Протестант, повторяю, и я, и прежде всего протестую против идеала — «сытое брюхо». Тьфу это — и больше ничего. И плевка даже не стоит. Так-то. Прощайте, оригинальный поэт неблагородных сюжетов! — пожал мне он руку на прощанье.

Какой-то молодой светлый блондин, с выдвинутыми, как у черепа, зубами, все время молчавший, проходя мимо меня, тихо, едко спросил:

— Не производит ли это все на нас некоторое впечатление палаты душевнобольных в тюремном замке?

И, не дождавшись ответа, он прошел к выходу и скрылся в густой толпе приехавших пассажиров.

ПО КОРЕЕ, МАНЬЧЖУРИИ И ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ

Карандашом с натуры

9 июля 1898 г.

С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы прибыли в Москву.

Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали из Москвы.

Наш путь далекий: чрез всю Сибирь, чрез Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай, Японию, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез Европу, обратно в Петербург.

Перед самым отъездом явилось предложение — ознакомиться с производительностью мест между Владивостоком и Порт-Артуром. Я с величайшим удовольствием

вместе со своими товарищами принял это попутное для меня предложение посетить Корею и Маньчжурию и посмотреть.

11 июля

Сегодня Самара.

Опять неурожай, и мне сообщают печальные подробности. В общем ожидается такой же, как 91 год.

Память о нем читаешь на испуганных лицах встречающихся крестьян.

Итоги урожая налицо: мелкорослые, чахоточные, занесенные пылью хлеба мелькают в окнах. Уже кое-где приступили к их уборке. Скоро кончится жатва, и потянется длинная пустая осень среди черных полей. Кончится осень, и белым саваном покроется земля. Там, за сугробами снега, исчезнут все эти испуганные крестьянские лица, будут сидеть там, в своих задымленных логовищах, в смраде и голоде, до тех дней, когда снова растворятся ворота мастерской, когда снова они, оголодалые, истощенные и изнуренные, с такой же скотиной, примутся опять за свое пустое дело.

«Пустое дело» — слова теперешнего моего соседа, одного местного деятеля.

Он говорит, как заученный и в то же время намозоливший ему самому язык урок:

— Мировые конкуренты сбили цены,— в урожайный год хлеб не оправдывает больше расходов примитивного производства, а в голодный, в силу тех же примитивных условий, втридорога обходится доставляемый хлеб... Все так ясно, и кто этого не знает? Мы теперь ведь все знаем...

С размаху останавливается поезд у станции, мой сосед озабоченно вскакивает, и, стоя у окна своего вагона, я уже вижу сгорбленную его фигуру на станционном дворе у плетушки.

Дальше мчится поезд, и опять поля,— изможденные, чахлые, как больной в последнем градусе чахотки.

13 июля

В окне вагона Уфимская губерния, с ее грандиозными работами Уфа-Златоустовской железной дороги, с ее башкирами, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открывается беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима,

Юрезани с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозеленых гор Урала.

В этой мглистой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина.

В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их, прячется фанатик отшельник, бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых денег.

И здесь и в Сибири эти запрятанные в дебрях делатели фальшивых денег положили основание многим крупным состояниям, получая сами в награду всегда смерть,— от ножа ли, от удара топором сзади, или во сне, а то дверь одинокой кельи,— мастерская несчастного мастера,— подопрут снаружи, обложат келью соломой и зажгут солому.

— О, какой перекос! О, как страшно! А смотрите, смотрите, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни... Ничего хуже этой дороги я не знаю... А вот на ровном месте зачем понадобились все эти извороты... мошенничество очевидное, чтоб больше верст вышло... Ведь они, все эти инженеры, как-то от версты у них: чем больше верст... понимаете? Ужасно, ужасно...

— Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная техника, смелость приемов.

— Вы, вероятно, тоже инженер?

— Д-да.

Веселый смех.

Поезд гулко мчится, и притихли навек загадочными сфинксами залегшие здесь насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы рек... Смирялись камнем и цементом скованные реки,— не рвутся больше и только тихо плачут там, внизу, о былой свободе.

А в окнах все те же башкирские леса — в долинах ободранные от коры береза и липа, на горах — сосна и лиственница; те же вымирающие башкиры.

Станция Мурсалимкино.

Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами.

Башкиры смущенно говорят:

— Наши леса...

— Ваши, так почему же,— раздраженно возражают им крестьяне,— казенные полесовщики?

— Чтоб никто не воровал,— отвечают не совсем уверенно башкиры.

— Да ведь воры-то кто здесь, как не вы? Первые воры и жулики... Палец об палец не ударят: «я дворя-

нин», а свести лошадь да в котле сварить — первое его дворянское дело, сколько ты их ни корми и ни пои.

Смущенные, худые башкиры спешат уйти от нас, а Василий продолжает с той же энергией:

— Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай чаю, дай хлеба, дай денег... «Да ведь ты все деньги взял уже?» — Ну, снимай еще на пять лет вперед... Чего же станешь делать с ним? И снимаешь...

— Дорого?

— Да ведь как придется... Уж, конечно, за пять лет вперед больше двугривенного на десятину не приходится платить.

Я смотрю в веселые глаза говорящего со мной.

— Худого ведь нет,— говорю я ему.

Усмехается довольно:

— Да ведь не было б, коли другой народ был...

— Вас-то, русских, много теперь?

— Пятьсот в нашей деревне. Вот только эти хозяева донимают...

— Выморите ведь их скоро,— утешаю я.

— Дай бог скорее,— смеется крестьянин, смеются другие, окружающие нас крестьяне.

— А я вот слышал,— говорю я,— что у башкир землю отберут и из вас и башкир одну общину сделают.

Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают сиять.

— Бог с ней, и с землей тогда: уйдем... От своих ушли, а уж на башкир еще не заставят работать... Уйдем, свет за очи уйдем...

— Но ведь башкиры тоже люди...

— Ах, господин хороший, а мы кто? Довольно ведь мы и на барина и на нашу бедноту поработали,— пора и честь знать. В этакой работе и путный обеспутится, а беспутный и вовсе из кабака не выйдет.

— Хоть путный, хоть беспутный,— деловито перебивает другой,— а уж где нужно, к примеру сказать, тройку запречь, а он с одной клячей — толков не будет... Книзу пойдет. Он те одной пашней загадит землю так, что без голоду голод выйдет... земля как жена — по рукам пошла, дрянью стала. Из-за чего же ушли? Чего пустое говорить: отбилась земля, народ отбился. Люди башкиры, кто говорит... Все люди, да не всякий к земле годится. У другого топор сам ходит, а я вот, золотом меня засыпь — не столяр, хоть ты что.

— Это можно понять,— уткнувшись в землю, поясняет третий.

— Вы вот здесь так говорите,— отвечаю я,— а в России скажи крестьянам, что общину уничтожат, разрешат продавать участки,— я думаю, они запечалились бы.

Светлый блондин неопределенных лет, нос кверху, Василий, задорно тряхнул кудрями:

— Так ведь с чего же печалиться? Нужда придет, погонит — также уйдешь... Нас погнало... Тридцать лет за землю платили,— кому досталось? На обзаведенье пригодились бы теперь денежки наши... кровные денежки от детей отнимали, а чужим осталось.

Последний звонок, и я спешу в вагон.

Там, в России, я не слыхал еще таких речей, там пока только меткие характеристики: «пустое дело», «бескорыстная суета».

15 июля

Все дальше и дальше. Вот и Сибирь... Челябинск...

Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в 91 году, когда только производились изыскания.

Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда николаевская глушь,— полосатые шлагбаумы, желтые казенные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, старинный суд и весь распорядок николаевских времен.

Тогда еще, как последняя новость, сообщался рассказ об исправнике, который, скупив у киргиз ветер, продавал киргизам же его за большие деньги (не позволяя веять хлеб, молоть его на ветрянках и проч. и проч.).

Я помню наше обратное возвращение тогда.

Была уже глубокая осень. Мы ехали по самому последнему колесному пути. По двенадцати лошадей впрягали в наш экипаж, и шаг за шагом они месили липкую грязь: уехать тридцать верст в сутки было идеалом.

Надвигалась голодная зима 91 года, и деревня за деревней, которые мы проезжали, стояли наполовину с заколоченными избами; это избы разбежавшихся во все концы света от голодной смерти людей.

Редкий крестьянин, торчащий тогда у своих ворот, имел жалкий, растерянный вид, провожая пустыми глазами нас, последних путников.

Один растерянно подошел к нашему экипажу, когда мы выезжали из грязной околицы его деревушки.

— А вы постойте-ка...— Мы остановились.— Вы чиновники? Это что ж такое?

Так и замер этот крик, вопль, стон в невылазных лужах далекой Сибири.

Им не привозили хлеба — это факт. На чем было везти за сотни и тысячи верст? Подохла скотина от бескормицы, и на оставшихся в живых, никуда не отшатившихся мужиках и бабах пахали они весной свою землю.

А теперь уже прошла здесь железная дорога, и мы мчимся в вагонах. И в каких вагонах: вагон-столовая, вагон-библиотека, ванная, гимнастика, рояль. Почти исчезает впечатление утомительного при других условиях железнодорожного пути. Тогда, при проектировке только дороги, едва-едва натягивали одиннадцать миллионов пудов возможного груза. Так и строили, в уверенности, что не скоро еще дойдет дело до этих одиннадцати миллионов пудов.

И в первый же год тридцать миллионов пудов.

Факт, с одной стороны, очень приятный, но с другой — несомненно, что дорога, в теперешнем своем виде, совершенно несостоятельна.

И сколько, сколько еще не перевезенного груза в одном Челябинске.

16 июля

Все та же ровная, как ладонь, степь, прямая по сто пятьдесят верст, вода отвратительная до самой Оби. До Омска солено-горькая, в Барабинской степи — родина сибирской язвы — отвратительная на вкус и запах.

Там и сям, около станций, уже видны поселки переселенцев. Конечно, пройди дорога южнее верст на двести, она захватила бы более производительный район, и в эти два-три года там эти поселки успели бы уже разрастись в большие села.

Здесь же только сравнительно узкая полоса кое-где годна под посевы, все остальное, налево к северу — тайга и тундры, направо верст на сто — солончак и соляные озера.

Вот и Омск с мутным Иртышом.

Я сижу у окна и вспоминаю прежние свои поездки по этим местам.

Помню этот бесконечный переезд к северу, вниз по течению Иртыша.

Иртыш серый, холодный, весь в мелях. Ночи осенние, темные. Пароход грязный, маленький.

На его носу однообразно выкрикивает матрос, измеряющий глубину:

— Четыре! Три с половиной! Три!

И команда в рупор:

— Тихий ход.

— Два с половиной!

— Самый тихий ход.

— Два с половиной... Три... Пять!.. Не маячит!.. Не маячит!..

— Полный ход.

— Два?

— Самый тихий ход.

Поздно: пароход уже врезался с размаху в неожиданную мель, мы уже стукнулись все лбами и будем опять сидеть несколько часов, пока снимемся.

Мрачный контролер, наш тогдашний спутник, когда и водка вышла, упал совершенно духом и не хотел выходить из своей каюты.

— Сибирь ведь это,— звали его на палубу,— сейчас будем проезжать место, где утонул Ермак.

— Какая Сибирь,— мрачно твердил контролер,— и кого покорял здесь Ермак, когда и теперь здесь ни одной живой души нет.

И чем дальше, тем пустыннее и печальнее этот Иртыш, а там, при слиянии его с Обью, это уже целое море мутной воды, в топких тундрах того, что будет землей только в последующий геологический период.

Там и в июне еще голы деревья, там вечное дыхание Ледовитого океана.

Иные картины встают в голове, когда вспоминается Иртыш к югу от Омска.

Частые, богатые станицы иртышских казаков. Беленькие домики, чистенькие, как зеркало, комнатки, устланные половиками, с расписанными печами и дверями. Рослый красивый народ, крепкий патриархальный быт. Чувствуется сила, мощь, веет патриархальной стариной, своеобразной свободой и равенством среди казаков.

Здесь юг, и яркие краски юга чувствуются даже зимой, когда земля покрыта снегом.

Что это за яркий свет и какими переливами играет он, когда солнце начинает спускаться с безбрежно голубого неба к своему закату.

Тогда снежная даль отливает всеми цветами радуги: там она нежно-лиловая, здесь зеленоватая, где выступает жнива — окраска золота. К северу потянулись холодные голубоватые тона и стальными переливами на горизонте напоминают уже безбрежную поверхность какого-то оледеневшего моря. К западу еще богаче краски, еще ярче подчеркивают красоту неба и земли. Небо кажется выше, и весь купол его вылитый из лазури, наполнен искорками яркого света — золотистыми, бирюзовыми, нежно-прозрачными.

Со скоростью двадцати четырех верст в час, по ровной, как скатерть, дороге мчит вас тройка, хотя и мелкорослых, но поразительно выносливых лошадей. Звон колокольчика сливается в какой-то сплошной гул. Этот гул разливается в морозном свежем воздухе и уже несется откуда-то издалека назад, напевая какие-то нежные, забытые песни, нагоняя сладкую дрему. Иногда разбудит вдруг обычный дикий вопль киргиза-ямщика, с головой, одетой в характерную меховую шапку, с широким хвостом сзади,— откроешь глаза и сразу сообразишь и вспомнишь, что это иртышских казаков сторона, что старается на облучке работник казака — киргиз.

Туда, к Каркаралинску, там сам киргиз хозяин.

Там вгоняют в хомуты (надо ездить с своими хомутами,— у киргизов их нет) совершенно необъезженных лошадей, вгоняют толпой, с диким рычаньем, наводящим звериный страх на лошадей, и, когда дрожащие, с прижатыми ушами, лошади готовы, вся толпа издает сразу резкий, пронзительный вопль. Ошеломленные кони мнутся на месте, взвиваются на дыбы, рвутся сперва в стороны и, наконец, все, оглушаемые воплями, стрелой вылетают в единственный, оставляемый им среди толпы проход по прямому направлению к следующему кочевью.

Так и мчатся они по прямой линии, ни на мгновенье не замедляя ход, а тем более не останавливаясь.

Раз стали,— конец, надо новых лошадей.

Будь овраги, горы, и гибель с такими лошадьми неизбежна, но худосочная, солончаковатая степь ровна, как стол, и нет опасности опрокинуться.

Хлебородна только полоса верст в пятнадцать у Иртыша, вся принадлежащая казакам.

Эта земля да киргизы — все основание экономического благосостояния казака. Земля хорошо родит, киргиз за бесценок обрабатывает ее.

Зависимость киргиза от казака полная.

И казак, не хуже англичанина, умеет соки выжимать из инородца. Но казак ленивее англичанина, он сибарит, не желает новшеств.

Казак здесь тот же помещик, а киргиз его крепостной, получающий от своего барина хлеб и работу.

Киргиз при казаке забит, робок и больше похож на домашнее животное.

Очень полезное животное при этом, и не для одного только казака, так как без киргиза эти солончаковатые, никуда не годные степи пропали бы для человечества, тогда как киргиз разводит там миллионы скота и не только всю жизнь свою там проводит, но и любит всей душой свою дикую голодную родину.

Один киргиз, ездивший на коронацию, говорил мне:

— Много видал я городов, и земли, и людей, а лучче наших мест что-то нигде не нашел.

Зимой киргизы перекочевывают ближе к населенной казаками полосе и строят там свои временные, из земляного кирпича, юрты-зимовки.

Скот же пасется на подножном корму, отрывая его ногами из-под снега.

В юртах темно, сыро, дымно и холодно. Есть, впрочем, и богатые юрты, сделанные срубами без крыш, устланные внутри коврами, увешанные одеждами и звериными шкурами.

Иногда ряд юрт-зимовок составляет целое село-зимовье.

С первыми лучами весеннего солнца киргиз со своим скотом и запасами хлеба откочевывает в степь, вплоть до китайской и даже за китайскую границу.

Часть же мужского населения отправляется на все лето на звериную охоту, в горы.

Отправляется без всякой провизии, с своими ножами, ружьями и стрелами.

Там они едят зверей, неделями обходятся без воды, а к зиме уцелевшие возвращаются домой, со шкурами оленей, медведей, коз, изюбров, а иногда и тигров.

Киргизы большие мастера по части насечки из серебра, и учителя их — сарты, от которых и заимствована вся киргизская культура.

Киргиз высок, строен, добродушен и красив.

Темное лицо и жгучие глаза производят сначала обманчивое впечатление людей, легко воспламеняющихся.

Но загораются они легко только в пьяном состоянии, и пьянство, к сожалению, становится довольно распространенным между ними пороком.

Прошлая зима 1897—1898 года для киргиза была особенно тяжелой: выпало много снега, и скот не мог доставать себе корма.

— У кого было четыреста голов, осталось сорок.

Совершенно опять новую картину представляет местность от Семипалатинска к Томску.

Это — кабинетские земли, до 40 миллионов десятин.

Земля здесь сказочно плодородна. Урожай в 250 пудов с десятины (2400 кв. саж.) — только хороший.

Качество пшеницы выше самых высоких сортов самарской.

Там, южнее, еще выше сорта могут произрастать, но, за отсутствием железной дороги, продажная цена такой пшеницы — 8 копеек за пуд, что даже при урожае в 300 пудов не оправдывает расходов производства.

Не только пшеница, лен, подсолнух, здесь произрастает рис, и цена его здесь 45 копеек за пуд, в то время как у нас он 3, 4, 6 рублей пуд.

Несомненно, что с проведением здесь железной дороги все эти миллионы десятин, теперь праздно лежащих, наводнили бы рисом, и масличными продуктами, и хлопком мировой рынок, и из Туркестанского края и этого создалась бы одна из самых цветущих колоний мира.

На кабинетских землях живут кабинетские крестьяне.

Они имеют 15 десятин на душу; могут еще арендовать до 50 десятин, по 20—30 копеек за десятину.

Живут очень зажиточно, но тип крестьян иной, чем соседи их, иртышские казаки. Казак не торопится гнуть свою спину, в то время как здешний крестьянин и не ленится кланяться, и не скупится величать проезжающих «ваше превосходительство».

Как киргиз у иртышских казаков, так здесь беглые каторжники являются главным подспорьем их зажиточности.

Каторжник по преимуществу бежит сюда и живет здесь, по местному выражению, как в саду.

Житье, впрочем, мало завидное: зимой на задах где-нибудь, в банях. Летом на свежем воздухе, в тяжелой, очень плохо оплачиваемой работе.

Отношение к этим беглым, как к полулюдям: с одной стороны, конечно, люди — «несчастные», но с дру-

гой — живи себе там в лесу или бане, но в избу не смей порога переступить, не смей с бабой слова сказать и т. д.

Достаточно посмотреть на белье этих несчастных; оно всегда черно, как земля, и с отвратительным запахом.

Где-то, между Барнаулом и Томском, живет в глуши какой-то крестьянин.

Ежегодно в день благовещенья, 25 марта, он раздает этим беглым хлеб и разные вещи.

Говорят, в этот день приходят к нему, этому крестьянину, за сотни верст несколько тысяч бродяг.

Они получают кто рубаху, кто шарф, кто сапоги, кто пуд-два хлеба.

Очевидно, из-за этого одного, за сотни верст, рискуя замерзнуть или попасться в руки правосудия, не пошли бы эти холодные, голодные, передвигающиеся только ночью, а дни проводящие где-нибудь на задах или в банях, если пустят.

Тянет этот обездоленный люд ласка этого жертвователя, видящего в них таких же, как и он, людей, тянет свидеться друг с другом и узнать все новости таежной жизни.

Как-то раз я проезжал здесь перед благовещеньем, и ямщики наотрез отказались везти меня ночью:

— Никак нельзя: ни узды, ни креста нет на нем,— как-никак, бродяжка, бродяжка и есть.

Я знаком с этими темными фигурами бывшего большого сибирского тракта.

По два, по три бредут они, сгорбленные, с котомкой за плечами, с чайником, с громадной сучковатой палкой.

То стоит и смотрит на вас, а то вдруг неожиданно покажется из лесной чащи.

В блеске солнца и веселого дня он вызывает сожаление, и ямщик, вздыхая, говорит:

— Несчастная душа.

Но ночью страшна его темная фигура, и рассказы ямщика об их проделках рисуют уже не человека, а зверя и самого страшного — человека, потерявшего себя.

И сколько их стоят и смотрят — темные точки на светлом фоне, загадочные иероглифы Сибири.

«Да-с, батюшка,— вспоминаю я слова одного сибиряка,— надо знать и понимать Сибирь. Во многих футлярах она: казенная, чиновничья Сибирь, купеческая, крестьянская, переселенческая и раскольничья и глубже и глубже, до самой коренной, бродяжнической Сиби-

ри. Вот она какая, эта вольная, неделенная Сибирь. И что в ней, в самой коренной, того никто еще не знает и не ведает, и если б нашелся человек, который поведал бы да смог бы рассказать о том, что там, тогда бы только узнали, где предел силе и мученичеству русского человека, какими страданиями и горем вышивает он любовь свою к воле-волюшке вековечной».

Кабинетская земля граничит с Алтаем, и, когда едешь из Семипалатинска в Томск, он все время на правом горизонте гигантскими декорациями уходит в ясную лазурь неба. В нем новые сказочные богатства — богатства гор: золото, серебро, железо, медь, каменный уголь.

Пока здесь вследствие отсутствия капиталов, железных дорог все спит или принижено, захваченное бессильными и неискусными руками, но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет еще здесь, на развалинах старой — новая жизнь.

16 июля

Низко нависли тучи, заходящее солнце придавлено ими и, словно из пещеры, ярко смотрит оттуда тревожно своим огненным глазом. Несколько отдельных деревьев залиты багровыми лучами, и далекая тень от них и от туч заволакивает землю преждевременной мглой.

Напряженная тишина.

Какое-то проклятое место, где низко небо, низки деревья, где словно чуется какое-то преступление.

Это Каинск.

Население его почти все ссыльные. И ремесло странное. Говорят, в какой-то статистике, в рубрике «чем занимаются жители», против Каинска стоит отметка «воровством».

Несомненно, что и до сих пор часть ссыльного населения города Каинска исключительно занимается тем, что, отправляясь в Томск, заявляет о себе. Из Томска такого сейчас же отправляют обратно в Каинск, выдавая, по положению, ему халат, одежду, сапоги... За все это можно выручить пятнадцать — двадцать рублей. Несколько таких путешествий, и человек на год обеспечен. Зато местные крестьяне, на обязанности которых лежит везти таких обратно, в Каинск, и конвоирующие солдаты ненавидят ссыльных.

Еще бы: они сидят на возах, а желеющие своих лошадей крестьяне и солдатики, при своих ружьях и ранцах, все время маршируют возле, пешком.

17 июля

Река Обь, село Кривощеково, у которого железнодорожный путь пересекает реку.

На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое узкое место разлива — у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки — двенадцать верст, а здесь — четыреста сажен.

Изменение первоначального проекта — моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена.

Я с удовольствием смотрю на то, как разросся на той стороне бывший в 91 году поселок, называвшийся Новой Деревней. Теперь это уже целый городок, и я уже не вижу среди его обитателей прежней кучки смиренных, мелкорослых вятичей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь.

За Обью исчезает ровная, как скатерть, Западная Сибирь.

Местность взволновалась, покрылась лесом и глубокими падями (оврагами), повалилась вдаль, открывая глазу беспредельные горизонты.

Здесь и тайга, и пахотные места (гривы), государственная земля и общественники-крестьяне.

Села зажиточные, но грязные. В избах гнутая мебель, цветы, особенно герань; всякая баба приготовит вам и вкусные щи и запечет в тесте такую стерлядь, какую только здесь и умеют готовить. Но не обижайтесь, если рядом со стерлядью очутится и черный таракан, а то и клоп, которых множество здесь и которые особенно любят (или не любят?) иностранцев.

Не обижайтесь, если летом, кроме клопов, вас заедят комары, слепни, овода, мошкара — все, что называется здесь «гнусом», зимой 50-градусный мороз отморозит вам нос, а ночью нападут бродяги.

Так и говорят здесь сибиряки:

— Три греха у нас: гнус, мороз и бродяжка.

Все остальное хорошо:

— Пашем — не видим друг дружку, косим — не слышим, мясо каждый день.

Здешний сибиряк не знает даже слова «барин», почти никогда не видит чиновника, и нередко ямщик, получив хорошо «на водку», в знак удовольствия протягивает вам, для пожатия, свою руку.

Здесь нет киргиза, не прививается к оседлости бродяжка, и место их в экономической жизни местного населения заменяет свой же брат победнее, и эксплуатация бедного богатым здесь такая же, как и везде.

Иногда бедные уходят на заработки, а богатые скупают их участки, платя им гроши за это.

В общем же все-таки, и это несомненный факт, что отношение к беднякам здесь неизмеримо более гуманное, чем в русских деревнях, и благотворительность в Сибири крупная.

Что до отвратительных сцен грабежа,— попавшего ли в лапы мира бедняка, осиротевшей ли матери семейства, у которой за долги миру покойного мужа, отнимают все, несмотря на то, что земля, за которую покойный всю жизнь выплачивал, поступает тому же миру,— то здесь, в Сибири, и помину о них нет.

И это понятно: оголодалые волки злее рвут.

Другое дело — задетое самолюбие, и здесь сибирский мир не уступит русскому: выскочку, талантливого ли человека заест так же, как и русский, без сожаления и остатка.

В последнее время распорядки пошли иные, и богатеи угрюмо ворчат:

— Доведут, как в России: ни хлеба, ни денег не станет.

Вообще о России осталось впечатление сбивчивое.

Говорят с уважением:

— Рассейский плуг, рассейский пахарь...

А, поджав руки, баба кричит мне:

— А что в глупой России умного может быть?

Впрочем, что до баб, то отношение к ним тоже смешанное: иные хозяева иначе не называют своих домачадцев-женщин, как средним родом: «женское», но в то же время говорят «вы».

— Женское, насыпьте чаю!

— Женское, плесните гостю!

Насыпьте — налейте, плесните — дайте умыться.

18 июля

Вот и станция Тайга, откуда идет ветка на Томск.

Заведуя в этом районе участком сибирских изысканий, я навлек на себя тогда гнев томских газет за то, что провел магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему.

Но дело в том, что ветка вышла короче удлинения магистрали, если бы она прошла через Томск. При таких условиях, принимая во внимание транзитное значение Сибирской дороги, не было никаких оснований заставлять пробегать транзитные грузы лишних сто двадцать — сто пятьдесят верст.

Основное правило идеальной дороги — кратчайшее расстояние и минимальные уклоны.

В этом отношении — образец, как это ни странно, наша первая Николаевская железная дорога.

Затем мы точно разучились строить, и Московско-Казанское общество дошло в этом отношении до обратного идеала, умудрившись накрутить между Москвой и Казанью лишних двести верст.

19 июля

Средне-Сибирской железной дороге делают упреки за то, что она с крутыми уклонами.

Это, конечно, большой недостаток, но не надо забывать, что такие уклоны допущены только для скорейшей прокладки железнодорожного пути.

А затем неизбежно будет сейчас же приступить к дополнительным работам по уменьшению этих уклонов.

Последние знакомые еще мне места.

Коренная тайга, напоминающая хлам старого скряги, гиганты-деревья, поросшие мохом, лежат на земле, тонкая же непролазная чаща, давя друг друга, тянется кверху: сухая уже там, вверху, и подгнившая от стоялого болота здесь, внизу: запах сырости и гнили.

Но ближе к сухим пригоркам попадается поразительной красоты лес, ушедший вершинами далеко в небо. Желтые стволы сосен, там вверху заломившие, как руки, свои ветви. Нежная лиственница с своим серебряным, стройным стволом. Могучий кедр темно-зеленый, пушистый. Целая картина нарядных кедров: больших, стройно поднявшихся кверху, маленьких, как дети, окружившие своих отцов. Между ними сочная мурава, и яркие солнечные пятна на ней, и аромат, настой аромата в неподвижном, млеющем воздухе. Поднимешь голову и, где-то там, наверху, в беспредельной высоте, видишь над собой кусочек яркого голубого неба. Все притихло и спит в веселом дне. Но треск ветки глухим эхом разбудит вдруг праздничную тишину, и проснется все: какой-то зверек прошмыгнет, отзовется редкая птица,

а то, ломая сухие побеги, прокатит и сам хозяин здешних мест — косолапый, проворный и громадный мишка.

А то зашумит иногда там, вверху, как море в бурю, тайга, но по-прежнему все тихо внизу.

22 июля

До Иркутска мы не доехали по железной дороге всего семьдесят две версты, хоть путь уже и был уложен до самого города. Но приходилось ждать поезда до утра, и мы решили проехать это пространство на лошадях.

За это мы и были наказаны, потому что ехали эти семьдесят две версты ровно сутки, без сна, на отвратительных перекладных, платя за каждую тройку по сорок пять рублей... На эти деньги по железной дороге в первом классе мы сделали бы свыше трех тысяч верст.

А впереди таких верст на лошадях свыше тысячи: если так будем ехать, когда приедем и что это будет стоить?

В Иркутске мы останавливаемся на два дня, так как для такой большой лошадиной дороги, какая предстоит нам, надо запасти многое: экипажи, телеги, провизию.

Иркутск, третий большой сибирский город, который я вижу. Первый, несколько лет тому назад, я увидел Томск, и он произвел на меня тогда очень тяжелое впечатление: вся Сибирь представлялась тогда каким-то адом мне, а Томск, через который я вступал в Сибирь, достойным входом с дантовской надписью: lasciate ogni speranza... [1]

Когда я поделился этим впечатлением с одним своим приятелем, он сказал:

— Слишком громко для Томска и Сибири,— просто российская живодерня.

Помню это ужасное, с казарменными коридорами и висячими замками на дверях номеров, «Сибирское подворье», эти домики с маленькими окнами и дверями, которые и летом имеют такой же нахлобученный вид, как и зимой, когда снег засыпает их крыши.

В девять часов вечера уже весь город спит, темно на улицах, и спущены собаки с цепей.

Обыватель, погрязший в расчетах, прозаичный, некультурный, ничем посторонним не интересующийся. Сплетни, как в самом захолустном городке.

---

[1] оставь всякую надежду (*ит.*).

Развлечений никаких; везде грязь; молодеческие рассказы о похождениях исправников и становых; торговля краденым золотом и всякой гнилью московской залежи.

Словом, за две недели жизни в Томске тогда я так истосковался, что, когда выехал, наконец, из него и увидел опять поля, леса, небо, я вздохнул, как человек, вдруг вспомнивший в минуту невзгоды, что наверно за этой невзгодой, как за ночью день, придет и радость.

Эта радость заключалась в том, что я больше не в Томске и, вероятно, никогда больше не увижу его.

Может быть, этому скверному впечатлению содействовало и то, что все время я был под тяжелым впечатлением нападок местной прессы на меня, за обход Томска.

Другой большой город Сибири — Омск, я увидел, возвращаясь в Россию, и своим открытым видом, широкими улицами он очень понравился мне.

Впрочем, здесь тоже нужно сделать оговорку: я возвращался в Россию.

Один мой приятель, наоборот — попал в Сибирь через Омск и возвратился в Россию через Томск. Омск ему очень не понравился, а Томск произвел очень хорошее впечатление.

Что до Иркутска, то это такой же городок в шубе, как и все сибирские города.

Маленькие здания, деревянные панели, деревянные дома, грязные бани и еще более грязные гостиницы с их нечистоплотной до последнего прислугой.

Из интеллигентного кружка города видел только П. (остальные вследствие лета в разъезде), который и показал нам интеллигентную работу города: музей, детский приют.

Вопрос, занимающий теперь жителей Иркутска: останется ли у них генерал-губернаторство.

Ввиду теперешнего, уже не окраинного положения генерал-губернаторства прежнее его значение несомненно утратилось.

25 июля. Озеро Байкал

Выехали из Иркутска. Тянемся, как на волах.

Железная дорога кончилась, а с ней сразу, как ножом отрезало и от всех удобств. Почтовые станции не в состоянии удовлетворять и третьей части предъявляемых к ним требований.

Ожидающие очереди пассажиры всех видов и оттенков.

Вот сидит купеческая семья: он, она и несколько подростков детей,— сидят, пьют чай с горя, в ожидании. Напряжение на детских лицах. Маленький ребенок, с заботой взрослого в глазах. Единственный выход — двигаться дальше на вольных. Но и их скоро не сыщешь: сенокос. За перегон в двадцать верст — пять — десять рублей, то есть в пятьдесят раз дороже, чем по железной дороге. А сколько времени пропадает: два часа ищут, два едут, и опять такая же история. В результате скорость три версты в час, а на все сутки и того меньше, потому что дни и недели в дороге нельзя же проводить совсем без сна.

Переехав Байкал, разбились на два отряда: Б. и С. уехали, а я, К. и А. сидим и ждем лошадей.

Темный вечер. Монотонно и однообразно барабанит в окна мелкий осенний дождик. Все небо обложено сплошными низкими тучами. В памяти встают картинки пережитого дня. В общем, впрочем, бедные и несодержательные. Многого ждали от Байкальского озера — говорят о его бурях, таинственных волнениях без ветра, объясняя их вулканическими или иными подземными причинами; но при нашем переезде озеро было тихо, был туман, шел дождь и впечатление от переезда через Байкал получилось не большее, как от переезда на пароме через любую холодную лужу-реку.

В каюте дрянного парохода, или, вернее, в черный цвет окрашенной баржи, холодно и сыро, как в подмоченном погребе, тускло освещенном верхним окошечком.

Вода в Байкале с постоянной температурой около двенадцати градусов. Такая же температура и в красивой Ангаре, вытекающей из него, вдоль которой вчера всю ночь мы ехали.

Красивая, но холодная, с своими ледяными туманами. Каждый раз, как спускались к ней, нас обдавало туманным холодом глубокой осени. Иногда часть реки обнажалась и ярко сверкала, но остальная река и крутой противоположный берег, поросший лесом, все время были окутаны облаками непроницаемого тумана. Молчаливо, быстро несет река свои зеленовато-прозрачные воды.

Пустынно: поросшие лесом косогоры, никаких посевов, малонаселенные, с нищенскими постройками. Среди жителей много сосланных с Кавказа.

И холод севера не охлаждает этих южан: бьют, режут друг друга и чужих. Самые сильные разбои и грабежи всегда дело их рук, и другие народности только их неискусные ученики.

Физиономии нехорошие: рассказов много об их делах,— не только, впрочем, о кавказцах,— все Забайкалье кишит теперь всяким бродячим народом.

Железнодорожные работы подходят к концу, приближается зима, денег нет, нет жилья и крова, и идет сплошная облава по большим дорогам.

Ценности жизни — никакой.

Топором рассекает головы трем за то только, что те улеглись на его полушубке.

На днях повешенный здесь разбойник, Бен-Оглы, поражал своими цинично равнодушными ответами на суде и, наконец, заявил, что и таких не намерен больше давать.

Спит душа, и не человек, а зверь, самый страшный из всех, рыскает здесь по этой трущобе.

Плохо и местному населению: у них голод, и пуд овса доходит до двух рублей, сено до рубля восьмидесяти копеек.

Мы слушаем рассказы из местной жизни, а дождь льет и льет.

Мы в номере: столик, кровать, два деревянных стула. Я сижу и думаю, как остроумно я распорядился. В вагоне было жарко, и вот теплые вещи я отправил с багажом, а теперь на дворе холод и дождь. В своих прюнелевых ботинках и с кушаком вместо жилета — хорош я буду. С багажом же уехало и оружие мое, бог весть для чего купленное, обычная, впрочем, судьба таких моих покупок. Потом я все это раздарю. Бекиру подарю карабинку Маузера.

Бекир — кавказец,— наш слуга. Он был сперва в восторге от встречи со своими здесь. Радостно удивлялся и говорил:

— Все земляки и близко от нашей деревни.

При его протекции эти земляки вздули нас самым безбожным образом: за провоз шестидесяти верст на шести тройках взяли сто двадцать рублей, под всякими предлогами выудили еще пятнадцать рублей, пользуясь моим отсутствием, сорвали еще семь рублей, всучили за тридцать рублей уже поломанную телегу, стащили купленную для экипажей мазь, и, если б мы не уехали, на-

конец, на пароходе, то, вероятно, не отпустили бы нас до тех пор, пока брать было бы нечего.

При всем желании быть терпимыми, мы все разочаровались в здешних восточных людях. Один Бекир еще отстаивал их. Но они умудрились и у Бекира стащить его узел с револьвером. Узел и вещи — пустяки, но с потерей револьвера Бекир не мог примириться.

— Двенадцать лет,— твердил он,— двенадцать лет. Я пристрелял его к себе, я знаю его, как себя...

И как не отговаривали мы его, он уехал назад за своим револьвером, с тем, чтобы нагнать нас где-нибудь. Глаза Бекира мечут искры, и кто знает, чем кончится у них там. Я предсказывал ему худой конец, но он твердил одно:

— Мне только револьвер...

2 августа

Вот и Сретенск.

Сретенск — что такое Сретенск? Сретенск — село на одной параллели с Харьковом, на реке Шилке. Шилка впадает в Амур и т. д. Утро. Тихо и ясно. Я сижу в тени террасы; не смущайтесь названием,— терраса простая, сколоченная из леса, под тон всей остальной простой и деревянной сибирской архитектуре.

В нескольких саженях от меня пристань амурского пароходства, и в настоящую минуту снизу ползет пассажирский пароход: род арестантской барки, с красным колесом сзади; он пыхтит и шумит, плохо подвигается вперед.

А на той стороне, в тесноте, между нависшими камнями надвинувшихся холмов, видны здания железнодорожной станции.

Самого Сретенского еще не видел и даже не справлялся в календаре о значении и истории его.

Мы в гостинице «Вокзал». Привезли нас в эту гостиницу ночью, после тысячи верст перекладных, и мы моментально уснули на грязных донельзя матрацах.

И. Н. осведомился у прислуживавшего бойкого мальчугана:

— Клопов хватит на каждого?

Подмываемый ласковым тоном, мальчик фыркнул и в тон, лукаво ответил:

— Хватит...

Засыпая я думал: какой в сущности грязный и неопрятный народ мы, русские.

Чуть выедешь из Петербурга или Москвы, и уже начинается эта непролазная грязь везде: и в роскошных вагонах первого класса, и в залитых отвратительной карболкой третьего, и на станциях, и в городах во всех этих гостиницах.

Иркутск — большой город, столица Восточной Сибири, а какая грязь, опущенность в лучшей из ее гостиниц, «Деко». А Чита? Теперь этот «Вокзал»? А в избах крестьян, несмотря на цветы, ковры, гнутую мебель?

Во дворах вонь, и негде в селах вздохнуть свежим воздухом.

Но эта же баба, которая вытащила только что из вашего стакана таракана, обтирая палец о свой пропитанный салом сарафан, с пренебрежительным выражением лица говорит об аборигенах здешних мест, бурятах:

— Грязно живут... Падаль у них первое блюдо... Вот от язвы лошадь и скот валятся — жрут. Другая собака рыло отвернет, а ему все бог дал...

Перед падалью, конечно, и клоп и таракан — идеал гигиены. И. Н. говорит:

— Я раз как-то студентом от нечего делать в одной деревне начал практиковать, а по воскресеньям публичные лекции читать...

— С разрешения?

— Кто бы мне позволил? Без всякого, конечно, разрешения. Приходит баба: нога, вот! Оказывается порезала и лечила жженым навозом да навозной жижей — это у них первое лекарство — ну, вздуло, конечно: во. И заметьте, к фельдшеру ходила, и фельдшер ей хорошее лекарство прописал,— бросила лекарство, и вот свой способ. Я отказался ее лечить. Что ж лечить такую? Все равно не послушает. Как раз в это же время одна девочка тоже порезала ногу, и в три дня я залечил ее рану. Приходит воскресенье. На лекции и девочка и баба с своей вот этакой ногой... «Вот, говорю, смотрите, господа, леченье навозной жижей и чистой водой». Ну, факт налицо. «Известно, говорят, что вода чистая, что грязь... Дура баба...» Сами же ругают. Баба оправдывается: «Так мы ведь откуда знаем, теперь вот сказал...» Приходит опять на другой день: «Лечи». То-то. Сейчас чикчик, прорезал, обмыл, чистой тряпочкой перевязал, присыпал слегка йодоформом — через неделю опять человеком стала.

И. Н. еще говорит, но я уснул, как убитый, без слов, движенья.

Я не могу сказать, чтобы не было у меня впечатлений в этот переезд на лошадях от Иркутска до Сретенска, но на перекладных нельзя их записывать.

Теперь сижу и вспоминаю.

Забайкалье резко отличается от всего предыдущего. На нашем горизонте почти везде хребты гор. Высота их колеблется между 50 и 200 саженями. Вернее, это еще холмы, но уже с острыми, иззубренными иногда вершинами. Они так и застыли, неподвижные, при закате розово- и фиолетово-прозрачные, а всегда темно-синие, далекие, рассказывающие вам сказки из далекого прошлого.

Да, эта необъятная, малонаселенная местность, с плохой почвой, с богатейшим лиственным лесом, пораженным безнадежным червем (все, что видел глаз, на две трети уже посохшие, никуда не годные, дырявые деревья), хранящая в своих землях много минеральных богатств, но пока, с точки зрения культуры вообще и переселенчества в частности, не стоящая, как говорит Тартарен, ослиного уха, в свое время изрыгнула из недр своих все те орды монголов, которые надолго затормозили жизнь востока Европы.

Здесь река Онон — родина великого Чингиз-хана.

Откуда взялись тогда эти толпы? Все пусто здесь, тихо и дико. Шныряет голодный волк, шатается беглый каторжник, да медведь ворочается в этих лесных трущобах. Все вразброс, в одиночку, каждый сам для себя, каждый враг другому.

Только ближе к тракту жмутся поселки, а там, в глубь... Никто не был там, и никто ничего не знает.

Часть этой полосы занимают бурята — остаток того же монгола из 200-тысячного войска Чингиз-хана. Трудолюбивый, воздержанный народ, очень честный. Оставляйте ваши вещи на улице и спите спокойно. Их одежда, их косы, темные лица делают их похожими на китайцев.

В их храмах Будда с тысячью руками и тринадцатью головами. Это значит, что надо было бы, чтоб исполнить все задуманное, чтоб одна голова превратилась в тринадцать, и нужно тысячу рук, чтоб успеть делать то, что думают эти тринадцать голов.

Ламы бурят для отвращения от зла надевают в особые праздники уродливые маски и так появляются перед народом. Помогает и молитва от этого, и бурята не скупятся вертеть каток с написанными молитвами, что равносильно тому, как будто бы они их читали.

Бурят тих, покоен и большой дипломат с администрацией. Но во внутреннюю жизнь никого не пускает и умеет заставить уважать себя.

Когда русские рабочие нагрянули на строящуюся здесь железную дорогу, а с ними и всякий сброд, бурята быстро дисциплинировали их при первом удобном случае. Этот случай представился очень скоро. Рабочие поймали двух бурятских коров и зарезали их. Двое резавшие коров исчезли бесследно и навсегда. Это нагнало такой панический ужас на рабочих, что воровство прекратилось сразу, а вера во всеведение бурят дошла до суеверного страха.

Источник этого всеведения — сплоченность и хорошая внутренняя организация бурят. Они, как и китайцы, склонны к тайным союзам и разного рода тайным обществам.

Несомненно, бурята — народ способный к культуре. Между ними и теперь не мало людей образованных. Эти люди — общественное мнение страны, и наивно думать, что бурята не поймут смысла и значения разного рода административных мер за и против них. Из числа таких предполагаемых мер больше всего пугает бурят возможность земельных ограничений (они владеют землями по грамоте Екатерины Великой), воинская повинность и отчасти православие. Страх перед последним, впрочем, после успокоительных действий генерал-губернатора, барона Корфа, значительно ослабел.

Чтобы закончить с проеханным краем, надо сказать несколько слов о почтовом тракте.

Откровенно говоря, вся почтовая организация никуда не годится. Несколько станций, например, подряд с количеством лошадей в пятнадцать пар (пара не меньше трех лошадей), и вдруг перерыв, и две-три станции с пятью парами. Если и пятнадцать пар не удовлетворяют, то можно судить, что делается на таких, еще более ограниченных станциях: ожидания по неделям, отчаянные проклятия и брань ожидающих.

Вот одна из обычных картинок. Ночь. В сенях и двух маленьких комнатках так тесно на диванах и на полу от лежащих, что пройти нельзя. Воздух ужасный,— здесь дети, женщины, мужчины,— семьи офицеров переселенцев, едущих по казенной и частной надобности.

Мы приехали и сидим в писарской. Присланный из Читы чиновник (а на другой станции, вместо чиновника, полицмейстер города Читы) объясняет нам положение дела и свое бессилие:

— Девять суток ни минуты не сплю, перестаю понимать...

Слушаешь и думаешь: зачем прислали сюда этого мученика, когда надо было прислать сюда тех недостающих десять пар, из-за которых и загорелся весь сырбор.

А нет этих десяти пар потому, что охотников на назначенную почтовым ведомством цену не нашлось. Ну, не нашлось, заводи казенных лошадей, но не решение же и это вопроса, вместо лошадей чиновников посылать.

В писарскую доносятся ворчанья и жалобы. Один, как потом оказалось, старый священник долго говорит и горько жалуется. Он бедный человек, он не может платить по 15 рублей за каждые двадцать верст, он едет с семьей, и, ожидая очереди, они сидят уже седьмой день. Раздраженный и в то же время основательно, справедливо раздраженный голос его резко нарушает тишину ночи.

— Но зачем же,— говорит он,— бросать нас всех на грабеж?

Чиновник шепчет мне:

— Совершенно верно все это...

Голос священника:

— За фунт хлеба двадцать копеек, поросенок семь рублей... Но я нищий поп, откуда я возьму? Я месяц три станции еду... Я с ума, наконец, сойду...

Священник обрывается.

Мертвая тишина. Очевидно, теперь никто больше не спит и с жутким ощущением прислушивается.

Чиновник шепчет:

— Верно, все верно... В нервах расстроился... А тут еще сибирская язва, падеж, ямщики возить не хотят, голод, кони истощенные, такие и падают больше от язвы— запряжет, и пала дорогой. Овес два рубля, как их тут кормить? Ну и выпустили лошадей в поле,— говорят: «Везите на нас, а лошадей морить не дадим...» Вот почта второй день лежит.

После всех таких доводов остается одно: вольные, по какой угодно цене!

Так среди этого сплошного грабежа и воплей отчаяния мы как-нибудь подвигаемся все дальше и дальше.

Что здесь осенью будет во время распутицы?!

Через год, два, конечно, пройдет железная дорога, и весь этот ужас отлетит сразу в область тяжелых, невозвратных преданий, но дорога дойдет только до Сретенс-

ка, а там остается еще две с половиной тысячи верст, где дорога не предполагается. Там ли только нет дорог у нас?!

А какие цены! Прислуга 20—30 рублей в месяц, мясо 20—25 копеек, хлеб ржаной 2—3 рубля пуд. И это в маленьком, захолустном, сибирском городке Чите. Порция цыпленка (половина) — рубль, десяток яиц 60 копеек.

Как же живут здесь мелкие служащие, все эти несчастные телеграфисты, почтовые чиновники, лесничие, доктора, мелкие железнодорожные служащие? Это мученики.

На железной дороге, да и везде, плата поденному доходит до 2 рублей. Этим еще лучше других было, но и у них уже явился конкурент — китаец.

Появление китайцев здесь в больших массах связано с началом постройки Забайкальской железной дороги. Маньчжурская дорога, конечно, усилит движение китайцев к нам.

Уже с Иркутска появляются китайцы; но там их, сравнительно, мало еще, они нарядны. Их национальный голубой халат, длинная, часто фальшивая коса там и сям мелькают у лавок. Движения их ленивы, женственны, их лица удовлетворенны, уверенны.

Но чем дальше на восток от Иркутска, тем реже видишь эти нарядные фигуры и взамен все больше и больше встречаешь грязных, темных, полунагих обитателей Небесной Империи.

Русский рабочий говорит:

— Вот и тягайся с ним: тут и одетому не знаешь, куда деваться от комара, слепня и паука, а ему и голому нипочем.

И цену китаец берет, что дадут.

Мы смотрим на их бронзовые грязные тела, заплетенные косы, обмотанные вокруг головы. Это здоровое, красивое тело, и, когда оно питается мясом, оно сильно и работает лучше русского.

Китайца здесь гонят все, и в то же время здесь, в Восточной Сибири, китаец неизбежно необходим, и этого не отрицает никто.

Чревато событиями переживаемое здесь мгновение.

Со включением Маньчжурии в круг нашего влияния и занятием Порт-Артура широко растворились ворота, веками, со времен Чингиз-хана, запертые. В них уже хлынула волна чернокосых, смуглолицых, бронзовых ки-

тайцев, и с каждым часом, с каждым днем, месяцем и годом волна эта будет расти.

Китаец мало думает о политическом владычестве, но экономическая почва — его, и искуснее его в этом отношении нет в мире нации.

Пока это еще какие-то парии, напоминающие героев «Хижины дяди Тома». Их вид забитый, угнетенный. Завоевание края на экономической почве дается не даром, и они, эти первые фаланги пионеров своего дела, как бы сознавая это, отдаются добровольно в какую угодно кабалу.

Где-то сделанное определение, каким-то бродягой рабочим, стихийного движения китайцев постоянно вспоминается:

— Он ведь лезет, лезет... Он сам себя не помнит: на то самое место, где товарищу его голову отрубили,— лезет, знает, что и ему отрубят, и лезет. Ничего не помнит и лезет. Одного убьешь — десять новых...

Может быть, через десять лет китаец будет так же необходим на Волге, как необходим он здесь в Восточной Сибири. Это дешевый рабочий, честный, дешевый и толковый приказчик, прекрасный хозяин и приказчик торгового магазина, кредитоспособный купец, образцовый мастеровой, портной, сапожник; самая толковая, самая честная и самая дешевая прислуга.

Нет экономической почвы, на которой можно бороться с китайцем. Сонный казак-абориген тупо воспринимает переживаемое мгновение. К гнусу, морозу, бродягам прибавились и эти желтокожие, оспаривающие его право получать поденщину — 1, 2, 5, 10 рублей — все, что угодно. Зачем стесняться? Там всплывает тело пристреленного китайца, там, изуродованного, его находят в лесу...

В Сретенске в этом году взорвали целый барак, где спали китайцы рабочие. Вчера в Сретенске же нашли под другим бараком, тоже китайским, пятнадцать фунтов динамиту и уже горевший фитиль.

Но сам казак мрачно, как с похмелья, безнадежно говорит:

— Проклятая сила: одного прикончишь — десять новых вместо него...— и сам же казак пользуется дешевкой китайца и нанимает его на свои работы.

Китаец жизнью не дорожит: он равнодушен к этим покушениям,— если он умрет, ему ничего не надо, но если он жив, то он получит свое.

Недавно, буквально из-за недополученного пятака, толпа китайцев чуть не убила железнодорожного техника и его защитников. Китайцев было пятьдесят человек, у техника — двадцать пять, и часть из них вооруженная револьверами и ружьями, тогда как у китайцев огнестрельного оружия не было. И тем не менее победителями оказались китайцы, хотя раненых у них оказалось больше, и был даже убитый.

Это не говорит во всяком случае о беспредельной трусости китайцев.

— Китаец робок, а озлится — нет его лютее,— определяют здесь китайца.

— Проклятые дьяволы... сатана вас из пекла прислал к нам.

Китайцы, живущие в России, подчиняются какой-то своей внутренней организации, они очень зорко следят друг за другом и с каждым деморализующимся своим сочленом быстро сводят счеты:

— Кантоми...

То есть рубят голову. Или в лесу повесят. Обыкновенно признаком такой расправы служит то обстоятельство, что китайцы при обнаружении такого трупа не жалуются и молчат.

На одном из приисков здесь произошло на днях загадочное преступление.

На прииске между прочими работали и китайцы (и там они, конечно, заменят всех других). Нашли убитым маленького, лет одиннадцати мальчика. Подозрение пало на двух китайцев. Их пытали, насекая им тело от шеи до живота.

Китайцы не выдержали и заявили то, что требовали от них их палачи. Тогда их отправили в Сретенск, но, придя туда, они сказали, что неповинны в смерти мальчика и сделали на себя поклеп, только чтоб избавиться от дальнейших пыток.

Много толков вызвало это происшествие. Казаки, да и не одни казаки, уверяют, что китайцы убили мальчика с целью сварить и съесть его.

— Это первое блюдо у них: православных детей есть.

(Замечательно, что китайцы, у себя, в том же обвиняют иностранцев.)

Нет сомнения, что это ложь, но такая же ложь относительно евреев жила веками и делала свое страшное дело.

Местное население здесь — казаки. Это крупный в большинстве народ, причем подмесь бурятской и других кровей ощутительна; женщины некрасивы.

Казаки зажиточны; имеют множество немереной земли, на которой и пасутся их табуны лошадей и скота.

Хлебопашество процветает менее. Сеют рожь, пшеницу, овес.

Но главный доход их от скотоводства...

Начиная от Читы, к востоку, эти казачьи поселки тянутся непрерывно. От самого маленького мальчика до самого старого, все жители поселков в шапках с желтым околышем и в штанах с желтыми лампасами. Вместо же мундира большое разнообразие: от рубахи до пиджака. В костюмах значительная щеголеватость: шелковые рубахи, у женщин даже корсеты, ботинки в двенадцать рублей не редкость, шляпы.

Читая здешние газеты, надо прийти к заключению, что нравы, однако, несмотря на эти внешние признаки цивилизации, дики и грубы: пьянство, поединки, кулачные бои. Грамотных мало, и никому грамота не нужна. Казак ленив, суеверен и апатичен.

В свое время казачество здесь сослужило большую службу. Без них, конечно, нельзя было бы России удержать в своих руках весь этот край.

Но наступают другие времена, и, по Гете, счастье одного поколения — страдание последующих — казаки являют уже в теперешнем виде серьезные тормозы дальнейшей культуре края.

Это и само собой делается. Мы уже видели, как труд их парализирован китайцами. В этом отношении казацкую силу можно считать уже сломанной.

Но в борьбе с переселенцами казаки пока имеют сильный перевес. Вся хорошая земля оказывается принадлежащей им, и переселенцев пускают только в такие трущобы, откуда нельзя не бежать. Этих обратных переселенцев много встречается.

На одной из станций с нами ночевали двое из них. Это собственно ходоки. Они уроженцы Киевской губернии, поселились на Кавказе, а оттуда товарищи послали их в Сибирь и главным образом на Амур. Теперь они возвращаются назад с отрицательными ответами. Толковые, уверенные.

— Ничего не стоит Амур для нашего хозяйского дела. Первое, казаки оттирают, что получше, поближе к реке и к городам,— в их руках. Второе — земля. Ар-

шина два копнул, и уже мерзлота. В самую уборку — дожди. Да и уборка в сентябре, в мороз.

— Как же молотят?

— Зимой на льду, когда градусов сорок морозу. В рукавицах жать, какое уж тут хозяйство? Опять овощь всякая: яблоки, груши, арбузы, дыни или что там: ничего нет. Так, что-то вроде тюрьмы. Не годится для нашего брата крестьянина... Девки и парни перемрут с тоски.

— Но селятся же все-таки?

— Мало же. Неприютная сторона, казаки неприютны... Бог с ними, земли не размежеваны — все захватили.

Жалуются на казаков и города.

В Сретенске, например, несмотря на всю наличность города — село, принадлежащее казакам. Право селиться, строиться — все от казаков. Аренда высока и, кроме того, гнет неграмотной и алчной администрации несносен.

— Помилуйте, будь Сретенск городом, в три года удесятерился бы, а так, кто порядочный сюда пойдет.

Теперь же это улица вдоль реки Шилки с целым рядом магазинов.

— А теперь для кого же эти магазины?

Вам шепчут на ухо:

— Магазины эти только для виду; главная же торговля здесь тайным золотом.

Это тайное золото, промываемое хищниками. Золото в этом крае везде, а с ним везде и воровство, и грабеж, и убийство, и тайная торговля этим золотом.

Оно сбывается в Китай. Сколько его сбывается — неизвестно, но вот факты, по которым можно кое-что сообразить.

Из Маньчжурии в Китай официально (помимо, следовательно, наворованного китайскими чиновниками и хищнического добывания,— оно существует и там) ежегодно идет до четырехсот пудов золота[1]. Частная разработка золота до последних дней не разрешалась в Маньчжурии. На казенных приисках добыча его ничтожна.

Путешественники по Маньчжурии (Стрельбицкий и другие) удостоверяют, что хищническая добыча там ничтожна и едва оправдывает нищенское существование

[1] «Описание Маньчжурии», издание Министерства финансов. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.*)

искателей. Откуда же эти четыреста пудов на сумму до восьми миллионов рублей?

Непричастные здесь к делу люди того мнения, что это наше золото. Если к этому прибавить до пяти миллионов официальных, которые составляют излишек в нашей торговле по амурской границе с Китаем, в пользу Китая, то очевидно, что, пока мы заберем еще китайцев в руки, они во всех отношениях хорошо от нас пользуются.

Город Кяхта, половина которого русская, а другая китайская, несмотря на барьеры, бойко и легко торгует этим запрещенным товаром. Как анекдот, рассказывают, что там устроены даже особые кареты китайцами, в которых купцы их возят к себе в гости русских чиновников, и в этих же каретах едет в Китай золото, а из Китая шелк, или переносят ночью, перебегают и днем, рискуя выстрелами даже.

Чтобы кончить с проеханным путем, два слова о Нерчинске. Утром, часов в восемь, мы подъехали к реке Нерче. Все еще было окутано серым, как солдатское сукно, туманом. Едва виднеется тот берег — пустынный, голый, неуютный, такой же, как и вся природа здесь.

Этот же берег крутой, скалистый. Молча, угрюмо, торопливо и озабоченно убегают волны реки мелкими струйками, обгоняя друг друга.

Холодно и неуютно.

Встают фигуры декабристов.

Они тоже переплывали эту реку, сидели, как и мы, на пароме, смотрели в воду и думали свою думу.

Вот и другой берег; пологой степью исчезает в тумане даль...

В этом тумане, там где-то, Нерчинск.

По этой степи шагали они, и в мертвой тишине точно слышишь лязг их цепей.

Может быть, будь здесь жилье, не так вспоминалось бы, но это безмолвие и одиночество сильнее сохранят память о них.

Самый Нерчинск поражает тем, что среди серых, бедной архитектуры домиков, вдруг вырастает какой-то белый оригинальный дворец в средневековом стиле, с громадным двором, обнесенным красивой решеткой.

Тюрьма? Нет, здания какого-то купца. Здания, которые украсили бы и столицу.

Бедный купец, впрочем, уже разорился, и здания эти приобретает тюремное ведомство.

4 августа

В Сретенске мы просидели дня три.

Можно было бы умереть с тоски, если бы не товарищ мой С. Г. К. Он строитель 12-го участка Забайкальской железной дороги. Его участком и кончается эта Забайкальская железная дорога, и дальше, от Сретенска к Хабаровску и Владивостоку, единственным путем служит река Шилка и Амур: летом на пароходе, зимой на санях. Почтовые лошади содержатся, впрочем, круглый год, и в мелководье эти лошади перевозят почту и пассажиров в лодках. Лодка плывет по реке, а лошади тянут ее вдоль берега. Когда попадаются скалистые берега, а их здесь очень много, принимаются за весла, а лошадей вплавь перегоняют на другой, более пологий берег или гонят их в обход скал.

В период весеннего и осеннего ледоходов ездят сухим путем, так называемой тропой. Эта тропа вьется тут же вдоль реки, там где-то, на обрывах скал, высота которых достигает до 1500 футов. На этой головокружительной высоте тропа суживается иногда до аршина. Привычная верховая или вьючная лошадь осторожно шагает, а непривычный путник, сидя на ней, сбивает ее своими нервными движениями, и иногда летят они оба вниз, на острые камни, разбиваясь, конечно, насмерть.

Лучше уж пешком идти, но и то при условии, если не кружится голова. В противном случае лучше всего сидеть в Сретенске и терпеливо ждать прохода льда: весной, в конце апреля, несколько дней, осенью больше месяца,— от половины октября до конца ноября.

На это время таким образом вся остальная Восточная Сибирь остается отрезанной от своего центра. Положение неудовлетворительное и даже, с точки зрения политической, опасное.

Выбирая между шоссе и разными типами железных дорог, самый дешевый будет, конечно, узкоколейная железная дорога. Если где она уместна, то, конечно, здесь, среди этих неприступных скал, занимая место не более $1^1/_2$ сажен в ширину, тогда как для ширококолейной нужно $2^1/_2$, а для шоссе не меньше $3^1/_2$. А количество земляных работ на этой дороге имеет решающее значение в смысле стоимости ее. Так на Забайкальской железной дороге, близ Сретенска,— на версту, земляных работ приходилось 4 тысячи кубических сажен при цене 6 рублей за куб. Здесь же место более трудное, и надо

считать их не менее 6 тысяч кубических сажен, при цене 8 рублей (больше скалистых работ). Для узко же колейной железной дороги потребуется 2 тысячи кубических сажен (она уже, и радиус ее, вместо 150, может быть 35 сажен, вследствие этого является возможность обходить многие скалы). И таким образом на один излишек земляных работ (32 тысячи) хватит выстроить рельсы, шпалы, подвижной состав и проч.

Что касается до провозоспособности этой узкоколейной железной дороги, то она не уступит ширококолейной здесь, так как уклоны ее по реке будут незначительны, а при таких условиях и разницы нет в силе тяги.

Благодаря, как я сказал, любезности С. Г., мы не только не скучали, но провели наше время незаметно в Сретенске.

С С. Г. мы старые приятели, лет двенадцать назад работали вместе на постройке одной дороги. Тогда мы оба были еще молодыми строителями. Теперь С. Г. занимает большое, ответственное место самого трудного участка дороги.

Среди гостей С. Г. крупный золотопромышленник, уже глубокий старик, но энергичный, бодрый, сухой, как мумия, с длинной как у Черномора, седой вьющейся бородой.

Он помнит основание Благовещенска, Владивостока, он знает всю эту Сибирь, как себя, и пользуется большим значением здесь. Его зять из молодых технологов. Он устроил здесь цементный завод, на миллион пудов выделки в год, и в один год пустил его в ход. Что это для Сибири, какая энергия нужна для этого, поймет и оценит только здешний житель.

Завод в пятнадцати верстах от Сретенска, и я, Н. А., доктор и С. Г. ездили на этот завод.

Громадное четырехэтажное здание из дерева, с железной обшивкой, все в удушливой едкой пыли от глины, песка, размолотого камня и угля. В этом аду все работники только китайцы. Грязные, потные, с косой, обмотанной вокруг головы, полунагие, они лежат каждый около своей печи, и их поднимает владелец завода резким криком: «Хэ!»

И это «хэ», как эхо бича из «Хижины дяди Тома», тяжело режет ухо.

Владелец — экономный, расчетливый человек. Он напоминает тип героя из «Паяцев» Леонковалло в первом действии, когда торжествующий хозяин выезжает на

сцену: он бьет в барабан и смотрит, бьет и опять смотрит, словно считает: и эта телега, и этот осел, и этот весь цирк, и жена в тележке — все это его и только его. И все это даст ему денежки: круглые, золотые, и все они будут его и только его.

Дом владельцев со всеми удобствами и даже электричеством, но впечатление опять: все это так, между прочим, как и сама жизнь в доме, а главное там, в этой пыли и вони, где затрачен миллион, и все к нему приспособлено, и самой жизни нет, не чувствуется.

Не хочется ни миллионов этих, ни всей этой прозаичной жизни. Доктор привез было свою гитару, но она так и пролежала на пароходике.

Две женские фигурки — миловидные — мелькали перед глазами. Но это как-то так, как второстепенное.

Тоже «женское», как величал сибирский ямщик своих женщин.

У рабочего человека, без капитала, С. Г. куда теплее и веселее.

9 августа. Село Покровское

Месяц, как мы выехали из Петербурга, а до Владивостока еще дней пятнадцать. Вот и короткий путь. Думали сделать его меньше месяца, но он вышел длиннее всякого другого. А что он стоит, этот путь... При всех лишениях, с отсутствием горячей пищи включительно обойдется до тысяч рублей на человека. Тогда как на пароходе пятьсот рублей со всеми удобствами культурного пути. Сколько вещей уже разворовано, попорчено, во что превратились наши новенькие чемоданы! Все подмочено, отсырело. А ощущение своего полного бессилия в борьбе со всеми случайностями и непредвиденностями этого пути, где в лице каждого писаря, содержателя почтовой станции, ямщика, пароходчика является какой-то неотразимый фатум, с которым нельзя бороться, спорить... Изломанные, измученные, разбитые ужасной дорогой, нелепыми препятствиями, вы, наконец, погружаетесь в какое-то кошмарное состояние с одной надеждой, что кончится же когда-нибудь это.

Проснулся в семь часов. Туман густой, серый, сплошной, висит кусками какими-то. Пронизывающая сырость. Все спят еще. Не хочется спать: горечь бессилия грызет,— лучше вставать. Встал, оделся и вышел. Наши вещи уже вынесены на берег. Идет нагрузка муки на

пароход. Рабочие все китайцы. Работают сегодня по четыре копейки с пуда.

— А казаки?

Спят казаки.

Носят крупчатку. Вся крупчатка здесь до Читы из Америки. В Николаевске она 2 рубля 75 копеек (за 55 фунтов), в Сретенске — 4 рубля 50 копеек. Крупчатка соответствует нашему второму сорту.

Пью чай на палубе. Туман расходится. Усть-Стрелка верстах в четырех выглядывает уютно на своей косе. Казаки просыпаются. Целый ряд на берегу маленьких лодок-душегубок. На них ездят по реке на ту сторону. Ребятишки гурьбой соберутся и плавают в этой валкой и ненадежной лодочке: вот-вот опрокинется она — звонкий их смех несется по реке.

Душегубка побольше пришла с той стороны: в ней трое. Казак постарше, в шапке с желтым околышком, серой куртке с светлыми пуговицами, с желтыми нашивками, казак помоложе и третий, какой-то рабочий: у них в лодке таинственный бочонок — водка китайская.

Привезли с той стороны барана нам. Баран худой, и в России красная цена ему 4 рубля, здесь 9 рублей и шкура хозяину. Пуд мяса выйдет. Сейчас же на берегу зарезали его. Снимают шкуру, вынимают внутренности.

Ноги, голову и часть барана подарили команде, половину передка — капитану, внутренности забрали китайцы. Они бросили работу и, присев на корточки, моют эти внутренности в реке.

Доктор выглянул. Прошел на берег, осмотрел барана:

— Дорого...

— В покупке участвуете?

Доктор экономен.

— Нет.

— Порциями будем отпускать. Сколько дадите за порцию?

— Тридцать копеек.

Бекир, уже догнавший нас, смеется. Бекир очень рад барану, называет его не иначе, как барашек, и хвалит.

Но кухарка нашего парохода, старенькая, как запеченное яблоко, говорит:

— Дрянь баран: тощий, смотреть не на что.

Бекир не унывает:

— Ничего, хорош будет.

Н. Е. проснулся. Ему хочется сегодня поохотничать.

Надо распаковывать оружие: кстати, увидим, что с ним сделалось в дороге. Н. Е. и доктор занялись этим на берегу. Остальные пьют чай на палубе.

— Ну, все пропало,— кричит Н. Е.,— промокло, заржавело, все рассыпалось.

— Глупости,— кричит доктор,— разве могут патроны промокнуть?

Мы идем все смотреть. Промокнуть не промокло, но вид некрасивый: плесень, ржавчина.

— Надо скорее чистить,— говорит доктор.

Он чистит, разбирает. Кругом казаки. В ружьях они понимают и любят их. Хвалят магазинку с разрывными пулями на медведей и тигров. Хвалят охотничьи ружья, но в восторг приходят от карабинки-револьвера Маузера.

— Эх, и ружья же нынче делать стали.

Прицениваются, рассматривают.

— Не продаете?

— Нет.

— А то продайте: пользу дадим.

Китайская фелюга прошла. Широкая черная лодка, сажени в четыре, с парусиновым навесом посреди... Четыре китайца на веслах, два на руле, один выглядывает из-под навеса. Посреди мачта, и к ней прикреплен римский парус.

— Что они везут?

— Водку свою казакам, а то опиум.

Подальше от берега стоит более нарядная раскрашенная фелюга, тоже китайская. Посреди устроена деревянная будочка, раскрашенная, узорно сделанная.

По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более нарядно. В костюме смесь белых и черных цветов. Туфли подбиты толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо поматывая головой, выдвигая манерно ноги.

— Кто это?

— Так, писарь какой-нибудь...— говорит наш капитан.— А называет себя полковником... Казаки спрашивают: «А сабля твоя где?» Мотает головой. Так думает, что если скажет полковник,— важнее будет. На пароход ихнего брата много придет. «Я полковник, мне надо отдельную каюту...» В общую с людьми его, конечно, не посадишь...

— Почему?

Наш старый капитан смотрит некоторое время недоумевающе на меня.

— Так все-таки же он нечистый... Кому приятно с ним?

— Злые китайцы?

— Когда много их и сила на их стороне,— люты... А так, конечно, ниже травы, тише воды... умеют терпеть, где надо.

В час дня пароходик наш «Бурлак» ушел назад в Сретенск, а мы переселились в слободу.

Наш домик в слободе из хорошего соснового леса, сажен шесть в длину, с балкончиком на улицу. Обширная комната вся в цветах (герань, розмарин), прохладная, вся увешанная лубочными картинками.

После жары улицы здесь свежо и прохладно, но на душе пусто и тоскливо, и с горя мы все ложимся спать. А проснувшись, пьем чай. После чая доктор с Бекиром принялись за разборку своих вещей, а мы, остальные, сидим на балконе и наблюдаем местную жизнь.

Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, дети, взрослые, едут верхом, едут телеги.

В перспективе улицы, в позолоте догорающего дня, получается яркая бытовая картинка. А на противоположной стороне улицы огороды — в них подсолнухи, разноцветный махровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные лозы.

Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сложенный, но оставляющий очень много желать в отношении красоты. Главный недостаток скуластого, продолговатого лица — маленькие, куда-то слишком вверх загнанные глаза. От этого лоб кажется еще меньше, нижняя часть лица непропорционально удлиненной. Это делает лицо жестким, деревянным, невыразительным. Напоминает слепня — что-то равнодушное, апатичное.

— Просто заспанные лица,— язвит Андрей Платонович.

На балконе появляется доктор и Н. Е. Молодое лицо Н. Е. Все такое же бледное, слегка опушенное русой бородкой, добродушные большие серые глаза. Сегодня он проходил верст десять на охоте.

— Надо пристреляться к ружью.

Улица стихла. Вечереет. Потянуло прохладой и ароматом лесов. Бекир приготовляет все для шашлыка из баранины.

— Ну вот выискалась долинка, вы живете здесь,

а там за этими горами что? — спрашиваю я хозяина, старого казака. Я показываю на север, где в полуверсте уже встают горы.

— Там горы да камни.

— И далеко?

— По край света.

— Не сеете там?

— И не сеем и не косим. Медведь там только да коза. Здесь насчет посева...

Казак машет рукой.

— Ну, вот вы говорите, что на каждого рожденного мальчика наделяется сейчас же сорок десятин,— вероятно, уже немного свободной земли?

— Где много. Если б не умирали...

— Давно живете здесь?

— Сорок лет, как основались здесь.

— У вас старинных женских одежд нет или всегда ходили так?

— Как так?

— Да вот в талию?

— Прежде рубахи да сарафаны больше носили, а нынче вот мещанская мода пошла.

Мода очень некрасивая: громадное четвероугольное тело слегка стиснуто уродливо сшитой талийкой, а между юбкой и талией торчит что-то очень подозрительное по чистоте. Нет грации, нет вкуса, что-то очень грубое и аляповатое. Нет и песен. Прекрасный предпраздничный вечер, тепло — где-нибудь в Малороссии воздух звенел бы от песен, но здесь тихо и не слышно ни песни, ни гармонии.

Молчит и китайский берег. Мгла уже закрывает его, потухло небо, и река совсем темнеет, и безмолвно пуста улица — спит все. Иногда разносится лай громадных здешних собак. Пора и нам спать. И спится же здесь: сон без конца. Прозаичный, скучный сон, без грез и сновидений. А зимой-то что здесь делается?..

10 августа

Хотели вчера пораньше лечь спать, но увлеклись приготовлением шашлыка и засиделись долго.

Учителем был Бекир, конечно. Жарили во дворе, у костра. Шашлык вышел на славу. Было ли действительно вкусно, или нравилась своя работа, но он казал-

ся и сочным и вкусным, таким, словом, какого мы никогда не ели.

— Заливайте красным вином, обязательно красным,— дирижировал доктор, последним отставший от шашлыка.

Мы уже давно пили в комнате чай, когда со двора раздался его отчаянный вопль:

— Тащите меня от шашлыка, а то лопну.

Он и сегодня с сожалением вспоминает:

— Много хороших кусков пропало: жир все.

— Жир разве полезен для желудка?

— Для моего и гвозди полезны.

Конкурент доктору в еде Н. Е. Мы им обоим предсказываем паралич.

Ночью спалось плохо: много уж спим. Ночь мягкая, теплая, с грозой и дождем. Пахнет укропом и напоминает Малороссию с ее баштанами, свежепросоленными огурцами, арбузами и дынями.

Пробуждение утром неприятное: сразу сознание бесцельного торчанья в каком-то казацком селе.

Но так как ждать придется, может быть, и несколько дней, то решил забрать себя в руки.

Встал, умылся, напился чаю и отправился в соседний дом заниматься: сперва английским языком, затем чтением о Корее и Китае.

Сижу и занимаюсь под аккомпанемент визгливой ругани моих хозяев-казаков.

Как они ругаются! И мужские и женские голоса...

Старухи голос:

— Я тебе не молодуха, и не имеешь надо мной больше закона.

Или:

— Ах ты, пьянчужка, вредный старик, поперечный...

Мужскую ругань, к сожалению, по совершенной нецензурности, привести нельзя: грубая, плоская, с громадной экспрессией.

Ясно мне во всяком случае, куда девают избыток своей энергии и с кем они воюют в мирное время.

А между тем разгар жнитва, и с вечера собирались уехать. Но так как-то не поехалось. Послали молодуху с китайцами жать, а сами вот и отец, и сын, и мать, и сестра здесь не наругаются.

Заглянул и ко мне старый, всклокоченный, нечесаный казак — очевидно, до нового праздника чесаться не бу-

дет. Ходит страшилищем. Бекир предложил было ему под машинку остричься у него, но казак только зрачками сверкнул на Бекира.

Отворилась дверь и вошел Н. А., а за ним тонкий, молодой, потертый походом морской офицер.

— Позвольте познакомить вас, господа: лейтенант Р.

Лейтенант простой, симпатичный, в белой тужурке, уселся, и мы заговорили сразу обо всем: и о Порт-Артуре, откуда он едет, и о Корее, о японцах и Маньчжурской дороге, о Русско-Китайском банке, о Гинцбурге, неофициальном поставщике флота и армии там, на Востоке.

— Замечательный человек этот Гинцбург,— рассказывает нам моряк, то подбирая со стола крошки, то вертя что-нибудь в руках (признак деятельной натуры),— начал свою карьеру простым разносчиком, в конце шестидесятых годов, бегая с корабля на корабль. Теперь у него громадный кредит в Китае, Японии, Америке, у англичан. Бывший дезертир наш,— теперь уже его простили,— Станислава имеет, разрешен въезд в Россию. Весной было как прижали нас с углем! Нет угля — англичане весь скупили: семьдесят шиллингов за тонну. А Гинцбург по тридцати дал, и пароходы оказались зафрахтованными, все вовремя доставил. В убыток себе доставил.

— Что же его побуждает?

— Надеется, вероятно, контракт когда-нибудь на поставки заключить... Англичане давали ему шестьдесят шиллингов, началась американо-испанская война, американцы предложили семьдесят, а он нам по тридцать.

— Большое количество?

— Тогда мы взяли сто двадцать тысяч пудов.

— Только скажите название корабля — «Александр Иванович командир». И он уже знает, как этого Александра Ивановича уважать, какой провиант он требует, что особенно любит. Без него плохо пришлось бы. Он и Русско-Китайский банк — два всесильных человека на Востоке.

— Банк силен?

— Все в его руках.

— Как постройка Маньчжурской дороги?

— Не знаю... Кажется, хорошо.

Входит доктор. Рубаха красная, лицо расстроенное, с энергичным движением бросает фуражку.

— Нет, это черт знает что такое! На почтовом пароходе, который завтра придет из Сретенска, ни одного свободного места.

Зачем же мы, отказавшись от удобств пассажирского парохода без еды, прорвались сюда? Чтоб из первых стать последними? Вот где понимаешь русскую пословицу: «Тише едешь, дальше будешь».

Но так нельзя. Держим военный совет, и в результате Н. А., моряк и я идем на почтовый пароход, с которым приехал г. Р. и который ждет пассажиров из Сретенска, чтобы пересадить их к себе и ехать в Благовещенск.

Очень любезный капитан разводит руками и показывает телеграмму агента о точном количестве пассажиров. После энергичных переговоров получаем наконец согласие его на пять мест.

Только что сошли с парохода, подходит капитан другого стоящего здесь буксирного парохода и говорит:

— Получил телеграмму ехать назад в Благовещенск. Через два часа еду. Если хотите, могу вас взять с собой.

Хотим ли мы?!

Пусть опять буксирный и без буфета, только бы ехать.

Спешим домой. Новая беда: Н. Е. неизвестно куда ушел на охоту.

Беда с молодыми охотниками. В час дня какая охота?

Ищи его теперь. Назначили пять рублей тому, кто его найдет, а сами принялись укладываться и обедать.

Три часа мы уже на пароходе «Михаил Корсаков» и едем до Благовещенска без Н. Е.

Любезный лейтенант Р. взялся доставить ему записку и устроить его на пассажирском пароходе.

Пароход наш в 400 сил, сидит 3 фута, на ходу $3^1/_2$ фута, а при полной скорости, когда заливает от хода палубу, опускается до 4 футов. Мы едем со скоростью двадцати семи верст в час, но скоро начнутся перекаты, и тогда пойдем тихо.

Собственно, пароход несравненно больше «Бурлака», но помещение наше хуже. Нам уступили столовую — небольшую каюту. Она внизу, с двумя небольшими круглыми окошками. Бросили жребий, кому где спать. Мне с Н. А. пришлось на скамье, доктору на столе, А. П. под столом. Впрочем, оба они устроились на полу. Кормить нас взялись, чем бог пошлет, и с условием не быть в пре-

тензии. После двадцатидневного сухоядения о каких претензиях может быть речь?

Большая часть команды — китайцы. Нам прислуживает подросток китайчонок Байга. Он юркий, живой, полный жизни и веселости. Говорит, как птица.

У китайцев множество горловых и носовых звуков, чрез разные наши «р» они прыгают, и поэтому в их произношении наш русский язык немногим отличается от их китайского.

Перед самым отходом появился на берегу чиновник-работник. Сегодня он трезв и задумчив. Лицо интеллигентное и испитое.

Я спросил его:

— Как ваши дела?

— Сегодня была работа.

— Много заработали?

— За полдня три рубля.

— Хороший заработок.

— А много ли его? И пароходы не каждый день приходят, а через два месяца и конец всему, а зимой и копейки негде добыть здесь. Здесь казаки своим хлебом и не живут, да и на Аргуни в этом году хлеба нет.

— На Аргуни большие посевы?

— Аргунь весь Амур кормит.

— А здешние казаки чем кормятся?

— Да вот дрова для пароходов, а зимой извоз — это два главные их промысла.

— Охота?

— Нет, это уж на любителя.

Тон чиновника-работника мягкий, ласковый, смущенный. Мы постояли еще немного и расстались. Не легка здесь жизнь такого.

Мы плывем, и опять зеленые горы по обеим сторонам. Старый лес весь срублен и сплавлен, молодой зеленеет.

Мы, русские, рубим и на своем, и на китайском берегу, но за свой и за китайский лес наша казна берет ту же таксу: восемьдесят копеек с сажени.

— Так ведь это китайский лес?

— Китайский.

— А китайцы берут что-нибудь за свой лес?

— Ничего не берут.

Оригинально во всяком случае.

Мы уже верст семьдесят отъехали от Покровского, было около шести часов вечера, самое приятное время,— время, когда от гор уже спускается на реку тень, когда

прохладно, но солнце еще на небе и золотит еще своими яркими лучами, и небо прозрачное, нежно-голубое, и даль воды, и зелень гор.

Я и доктор сидели на палубе и работали, когда торопливо спустился с своей рубки капитан и слегка взволнованно обратился к нам:

— О Желтуге вы слыхали?

— Ну, конечно.

— Вот она.

— Где, где?

Мы жадно поднялись с своих мест, всматриваясь в китайский берег. Между двух гор, в незаметном сразу ущелье показались какие-то домики, обнесенные забором. Это и есть устье Албазихи, в которую впала Желтуга. На берегу китайский городок. Верстах в двадцати выше по этой реке и был центр знаменитой Желтугинской республики. Там и добывали хищническим образом китайское золото жители всех стран, но по преимуществу китайцы и русские.

Население республиканской Желтуги достигало до 12 тысяч жителей. Основатель ее — наш интеллигент из судебного мира. Каждые двадцать человек имели своего выборного, и этот выборный имел свое ближайшее начальство.

Во главе стоял выбираемый общим собранием старшина. Старшина этот получал 12 тысяч. Жалованья у всех были крупные: было из чего платить — вырабатывали на человека до 20 золотников, то есть до 150 рублей в день.

Наш капитан сам был и работал в Желтуге. За шесть месяцев он вывез чистых 8 тысяч рублей. При этом за фунт сухарей приходилось платить золотник золота: других денег там не было.

— Вы сами работали?

— Но там все сами работали.

Состав был самый разнообразный: беглый каторжник, студент университета, чиновник, он — наш капитан — жили и работали вместе. Нарытое золото оставляли в незапертой лачужке, и не было случая воровства. Порядок был образцовый. Содержалась громадная полиция из конных маньчжур. Законы Линча — короткие и суровые. За смерть — смерть. За воровство — наказание плетьми и вечное изгнание из республики.

— Вот, вот на этом месте, на льду, и происходили все экзекуции.— Капитан показывает рукой.

Мы вплоть проходим около китайского городка. Он постройками не отличается от наших сел: окон только больше и окна больше, из мелких рам, с массой маленьких стекол. Много решетчатых и резных украшений, но редкий дом открыт. Большинство же с улицы скрыто за забором из частокола. Стоят китайцы: рослые, крупные, уверенные. Ни одной китаянки ни в окне, ни на улице. Русских не видно, а в наших селах китайцев больше иногда, чем русских.

— Вся Желтуга в золоте, от самого устья.

Теперь китайцы там машины поставили. Во главе предприятия Ли-Хун-чан.

Сколько таких приисков, где русские разыщут золото, а китайцы потом работают. Весь китайский берег золотой, а на нашем ничего нет. Вот долинка перешла и на нашу сторону — прямое продолжение, а золота нет.

Я говорю капитану:

— А теперь есть какая-нибудь новая Желтуга?

— Нет, следят. Вот проведем дорогу, будет Маньчжурия наша, бросаю опять капитанство и иду.

— В новую республику?

— Обязательно.

— Понравилось?

— Забыть нельзя.

— Нам дайте телеграмму,— говорит доктор,— тоже приедем.

Капитан красивый, лет тридцати пяти, среднего роста человек: очевидно житель Сибири, по-американски готовый всегда взяться за то дело, которое выгоднее или больше по душе.

— А отчего вы ушли оттуда, капитан?

— Начались преследования. Сперва мы дали было отпор китайским войскам, а затем, когда и китайские и русские войска пришли, решено было сдаться. Я-то раньше ушел: кто досидел до конца, тот должен был оставить и имущество и золото китайцам. Уходили только, в чем были. Золото китайцы взяли, а дома сожгли. Русские войска паспортов не требовали и всех отпустили, а китайцы своим порубили головы (до трехсот жертв). Некоторые китайцы, чтобы спастись, отрезали косы себе, но, конечно, это не помогало. Где-то есть фотографии расправы китайских войск со своими подданными: целыми рядами привязывали их к срубленным деревьям и потом рубили головы. По одну сторону дерева головы, по другую — тела. Там насчет этого просто.

— По поверью китайцев, он без косы и в свой рай не попадет,— тащить его не за что будет?

— Хотя косы, собственно, не религиозный знак, а признак подданства последней маньчжурской династии. А это поверье относительно рая у китайских масс действительно существует.

Мы плывем и плывем. Горы все меньше и меньше. Это уже не горы, а холмы. Все больше и больше низин, поросших мелким лесом. Вероятно, почва годится для культуры, но та же пустыня у китайцев и у нас.

Настал вечер, и мы остановились у сравнительно высокого и скалистого берега. В нежном просвете последних сумерек, на фоне бледно-зеленоватого неба, видны в окна на выступе берега отдельные деревья, две-три избы, сложенные дрова.

Мы берем дрова, и треск и грохот падающих на железную палубу дров гонит нас из каюты.

На берегу горят костры, освещающие путь носильщикам дров. Русские и китайцы носят. Русские несут много (до полусажени двое), китайцы половину несут. Из мрака вырисуется вдруг, при свете костра, такое лицо китайца, желто-бледное, с широко раскрытыми от напряжения глазами, и вся фигура его, притиснутая непосильной тяжестью. Но в конце концов китайцы кончили свой урок раньше русских: они быстрее носили...

Доктор, Н. А. и А. П. взобрались на верх утеса, развели там огонь и сидят. Свет костра падает на их лица, и лица эти рельефно и мертвенно вырисовываются во мраке ночи... Встал доктор и запел «Проклятый мир» и «...и будешь ты царицей мира» эффектно, сильно и красиво, но вряд ли доступно уху аборигенов. Китайцы, впрочем, любят пение, и глазенки нашего Байги каждый раз разгораются, когда доктор берется за свою гитару. Ужинать позвали. С выезда из России первый раз ем порядочно. Было два блюда всего — суп и котлеты, но и то и другое по крайней мере можно было есть: просто и вкусно. Готовила какая-то простая кухарка, средних лет, с красивыми, но уже поблекшими глазами. В этих глазах какая-то скорбь, что-то надорванное и недосказанное. Когда доктор поет, она замирает где-нибудь за углом и вся превращается в слух.

Байга счастлив и носится. Угостил Н. А. вместо воды водкой, и на его обычный отчаянный вопль, точно его режут (вероятно, ребенком он так закатывал на каждый

довод своей няни), Байга только корчит ему свои уморительные рожи.

Капитан сообщил неприятную новость: на ближайшем перекате нас пересадят на другой буксирный пароход «Адмирал Козакевич» — родной брат, впрочем, по конструкции с нашим.

Неприятность в том, что придется простоять по этому поводу до утра.

Так и случилось: пришли на перекат, где ждать нам пароход, часов в пять вечера, и бросили посреди реки якорь.

С горя занялись стрельбой в цель: бросали в воду бутылки и стреляли в них. Карабин Маузера оказался вне конкуренции. Получили, как и у казаков, так и здесь, несколько предложений продать его. Оказывается, что во Владивостоке цена ему семьдесят рублей, тогда как я заплатил в Петербурге тридцать шесть рублей. Если и во всем такая же разница, то, несмотря на порто-франко[1], вплоть до Иркутска от Владивостока, расход на перевозку купленного, пожалуй, оправдается.

Странное это порто-франко, на протяжении четырех тысяч верст в глубь страны: тут ли не быть дешевой жизни, а между тем нет в мире более дорогого уголка.

— Дорого, как в игорном доме, в этой Сибири,— отозвался как-то о здешней Забайкальской Сибири один чиновник,— сторублевка — не деньги.

Чей-то товар выгружается, какого-то злополучного, отсутствующего хозяина. Не ждать же его.

— Эй, кто желает за счет хозяина выгружать?

— Давай,— неторопливо встает с бревна казак, представитель артели, дожидавшейся давно настоящего случая.

— Сколько слупите? — завистливо осведомляется у него команда.

— Небось не ошибемся.

— Копеек десять?

— Да, а кто меньше ему сделает?

Прогрессирует ли жизнь при таких условиях?

Выдерживает, конечно, только скупщик и сбытчик краденого или хищнического золота. Да китайцы.

Мы разговариваем с капитаном о перекатах и мелях, препятствующих судоходству по Амуру.

---

[1] Беспошлинный провоз *(ит.)*.

Деятельность в этом отношении министерства путей сообщения только начинается. В прошлом году пришли две землечерпальные машины (что значат эти две машины на тысячи верст?), но все лето простояли где-то на мели. В этом году они приготовляют себе зимний затон.

Расставили было створы, наметили фарватер, но прошлогоднее, совершенно исключительное наводнение весь фарватер изменило, и теперь никто уж не руководствуется установленными сигналами.

— Теперь все старые лоцмана насмарку,— вся наука теперь яйца выеденного не стоит.

Целый класс людей насмарку! Хорошо, кто вновь успеет пройти эту науку, а для многих это уже отставка, и без пенсии.

В этом году особое мелководье, и пароходчики после хороших лет льют теперь горькие слезы.

Мелководье и полноводье чередуются здесь, по наблюдениям местных жителей, пятилетием: пять лет полноводных, за ними пять мелководных.

Если хорошенько во все это вдуматься, то, пожалуй, что во всех отношениях, и политическом, и экономическом, и военном, железная дорога необходима для этого края протяжением две с половиной тысячи верст от Сретенска, с Владивостоком в конце, где теперь сосредоточивается столько интересов наших.

И как бы ни противились сторонники центра, но в интересах того же центра железная дорога в наши дни нужна так же окраинам, как и центру, как нужны солнце, воздух всем...

Вопрос здесь только в том, как на те же деньги выстроить как можно больше дорог. И более, чем когда бы то ни было убежденный, я говорю, что в глубь Сибири надо строить узкоколейную дорогу — мы ничего не потеряем в провозоспособности и силе тяги, а истратим денег много меньше. И, конечно, все это было бы более чем ясно, если бы у нас существовал общий железнодорожный план, а не сводилось бы всегда дело к какой-то мелочной торговле — к покупке фунта сахара только на сегодня.

Ошибка, простительная людям сороковых годов, когда была принята у нас не более узкая колея, подходящая более к карману, а более широкая, подходящая более к крепостнической ширине тех времен, повторяется и в наши дни, когда, при желании решить правильно во-

прос, есть все данные из теории и фактов для рационального его решения...

Довольно.

Синее небо — мягкое и темное — все в звездах, смотрит сверху. Утес, «салик», обрывом надвинулся в реку, ушел вершиной вверх; там вверху, сквозь ветви сосен, еще нежнее, еще мягче синева далекого неба.

Все на палубе приникло и слушает нашего певца. На этот раз репертуар подошел ближе и захватил слушателей.

Новые и новые песни. Вот тоска ямщика, негде размыкать горе, и несется подавленный, сжатый тоской отчаянья припев: «Эй, вы, ну ли, что заснули? шевелись живей,— вороные, золотые...»

Все слушает больше молодой, сильный народ, со всяким бывало, и песня, как клещами, захватила и прижала их: опустили головы и крепко, крепко слушают.

Доктор кончил, и из мрака вышел какой-то рабочий. Протягивает какие-то ноты и говорит:

— Может быть, пригодится: Шуберта...

— Благодарю вас,— говорит доктор и жмет ему руку.

Ответное пожатие рабочего, и он уж скрылся в толпе.

Кто он? Да, в Сибири внешний вид мало что скажет, и привыкший к русской градации в определении по виду людей сильно ошибется здесь и как раз миллионера золотопромышленника примет за продавца тухлой рыбы, а под скромной личностью чернорабочего пропустит европейски образованного человека.

14 августа

Молодой капитан неутомим. Всю ночь возился и теперь носится по палубе, своими длинными ногами делая громадные шаги. Совсем было выправил нос «Игнатьев», но опять оборвался канат, и мы, как-то перевернувшись на 180°, врезались опять в ту же мель. Ну и канат...

Плохо. «Просьет» прошел мимо на всех парах. А должен нас взять: во-первых, у нас авария, во-вторых, оба парохода того же общества. Не взял... Что ж? С горя работать. Спустились в каюту и засели кто за что.

И вдруг, когда, казалось, всякая надежда исчезла, что-то произошло, и неожиданно всунулась в каюту голова капитана.

— Снялись...

Это было так хорошо, что вопрос, как снялись, был второстепенным.

Мы бросились наверх. Прекрасный день, светит солнце, покачиваясь уже на глубине, стоит наш пароход, а подальше «Игнатьев».

— Поздравляем вас, капитан.

— Это не меня — это капитана «Игнатьева» надо поздравить: таких товарищей, как он, редко встретишь.

«Игнатьев» скоро ушел. А часа через три, починившись кое-как, пустились и мы в путь.

Правый берег — маньчжурский. Хотя победителями всегда были маньчжуры и всегда китайцев били, но китайцы шли и шли, и теперь культуру маньчжур бесповоротно сменила китайская стойкая, все выносящая культура. Последние вольности маньчжуров отбираются одна за другой, и некогда всесильная родина последней династии, теперь она только ничтожная провинция в сравнении с остальным громадным Китаем.

Маньчжуры напоминают наших казаков Сечи. Такие же бритые, с длинными усами, мужественные и мрачные. Но их теперь уже так же мало, как и зубров Беловежской пущи. Все проходит...

Кучка матросов разговаривает.

Все это уже знакомые люди: вот стоит кузнец, в светло-голубой грязной куртке, таких же изорванных штанах, жокейской шапочке, громадный, с крупными чертами лица, с умными большими глазами. Другой матрос, тоже громадный, в плисовых штанах, рубахе навыпуск, высоких сапогах, с большой окладистой рыжеватой бородой. На матроса не похож: скорее на русского кучера, когда, отпрягши лошадей, свободный от занятий, он выходит погуторить на улицу.

Третий, маленький, тоже русый, в пиджаке и высоких сапогах, с лицом, испещренным оспой, и мелкими, как бисер, чертами.

— Это что за горы — гнилье, этот камень никуда не годится,— говорит кузнец,— так и рассыпается... Горы за Байкалом... Идешь по берегу, и нельзя не нагнуться, чтобы поднять камешек, набьешь полные карманы, а впереди еще лучше. Высыпешь эти, новые начнешь набирать...

Это мирное занятие не подходит как-то ко всей колоссальной и мрачной фигуре кузнеца.

Разговор обрывается.

Переселенцев вовсе мало нынче: только и плывут на плотах. То и дело мимо нас плывут такие плоты, большие и маленькие. Стоят на них телеги, живописные группы мужчин, женщин, детей, лошади, коровы. Огонек уютно горит посреди плота.

Наш пароход разводит громадные волны для таких плотов, и их качает, и усиленно гребут на них.

Эти плоты дойдут до Благовещенска, где и продадут их переселенцы, выручая иногда за них двойные деньги.

— Что, второй пароход всего с переселенцами. А назад едущих довольно...

— Земель мало? — спрашиваю я.

— По Зее есть... не устроено... кто попадет на счастье, а кто мимо проедет, никто ничего не знает...

Это бросает, как бьет молотком, кузнец.

— У вас ввели мировых? — спрашиваю я.

— Ввели.

— Довольны?

— Если не испортятся, ничего.

— Как испортятся?

— Как? Взятки станут брать... Русскому человеку, бедному, дохнуть нельзя, а китайцам — житье. Закона нет им жить в Благовещенске, а половина города китайская... Грязь, как в отхожем месте, у них: ничего...

— Нечистоплотны?

— Падаль едят, конину, собак — грязь... тьфу... Водкой своей торгуют.

— Тайком?

— А так... дешевле и вдвое пьянее нашей... Сейчас напейся,— сегодня пьян, а завтра выпей натощак полстакана простой воды, и опять пьян на весь день... ну и тянется народ за ней... Китаец всякому удобен... Положим, не торопи его только — он все дело сделает. А против русского втрое дешевле... Опять русскому должен — надо отдать... Если по шее ему, и он сдачи умеет дать; а китайцу дал по шее да пригрозил полицией,— уйдет без всякого расчета и не заикнется...

Молчание.

— И вот какое дело,— говорит кузнец,— совсем нет китайских баб. Китайцев, ребятишек — все мальчишки, а баб нет; штук десять на весь Благовещенск... Не может же десять их такую уйму народить? И вот я в ихней стороне пробирался и чуть под пулю не попал,— у них это просто,— и в фанзах ихних мало баб...

— Прячут от нас, боятся обиды,— глубокомысленно вставляет с мелкими чертами лица матрос.

— Положим,— говорит кузнец,— нельзя и нашего брата хвалить. Не то, что уж на своей стороне, а на ихней без всякого права заберется к ним, а то за косу дернет, то толкнет, то к бабам полезет... А ведь китаец, когда силу свою чует,— его тоже не тронь...

Кузнец мотает головой.

— В какую-нибудь ночь да выйдет же от китайцев резня в Благовещенске: все счеты свои сведут... И откуда они только берутся: батальон, два в другой раз вышлют на облаву, всех к реке их, прочь на свою сторону, а на другой день еще больше их...

— Ну, так как же? Чем бы полиция кормилась? Для этого и гонят, чтоб потом опять пустить.

Все те же щи из тухлой солонины на обед и та же, жаренная на горьком масле, солонина.

— Яиц нет?

— Нет.

— Молока?

— Ничего, кроме солонины и сухарей.

Вечером пристали к деревушке. Нашли две курицы, пять бутылок молока. Больше во всей деревне ничего.

— Как же вы живете?

— В прошлом году наводнением все смыло, нынче посохло, да вот падеж... Год без падежа редко же пройдет... Где бы и посеяли и увеличили бы пашню, что ж поделаешь без скотины? То и дело наново, дочиста обзаводись...

15 августа

Сегодня пошли с четырех с половиной часов утра; тумана почти не было. Идем хорошо и хотим, кажется, на этот раз без приключений добраться до Благовещенска.

Доктор лежит и философствует.

Я смотрю на него и думаю: тип ли это девятидесятых годов если не в качественном, то в количественном отношении. Он кончил в прошлом году. Практичен и реален. Ни одной копейки не истратит даром. Ведет свой дневник, педантично записывая действительность. Ест за двоих, спит за троих. Решителен в действиях и суждениях. Знаком с теорией, симпатии его на стороне социал-демократов, но сам мало думает о чем бы то ни

было. Вообще все это его мало трогает. То, что называется квиетист.

— Да-с, господин хороший,— рассуждает он на своей койке,— как у швейцарцев? Восемь часов работы, восемь отдыха... Ну-с, так вот и мы нашу жизнь устроим: семь, ну, черт с ним, девять месяцев работы, а три мои... Пожалуйте, отец диакон, денежки на кон — в Италию... Хорошие места... в Венеции: часовенка на Пиаццете... Этак лежишь, а публика проходит... Пансионерочка какая-нибудь пустит бумажку в тебя и бежит... Из сорока — тридцать красавицы. Песни, воздух: хорошо...

— Ура... Благовещенск! — кричит сверху Н. А.

Мы бросаемся на палубу.

Оба берега Амура плоские, и горы ушли далеко в прозрачную даль.

Благовещенск как на ладони,— ровный, с громадными, широкими улицами, с ароматом какой-то свежей энергии: он весь строится. Впечатление такое, точно город незадолго до этого сгорел. И как строится! Воздвигаются целые дворцы. Люди, очевидно, верят в будущность своего города.

Положим, в сорок лет город дошел до сорока тысяч населения, являясь центром всей золотой промышленности.

На слиянии Амура и Зеи, против того места Маньчжурии, где наиболее густо население ее.

Пока дела Маньчжурии минуют Благовещенск, но говорят, что с окончанием постройки Маньчжурской дороги вся торговля перейдет в руки русских купцов. Все во всей Сибири рассчитывают на эту Маньчжурию, от купца до последнего рабочего, и кузнец нашего парохода говорит:

— Вот бог даст... Эх, золотое дно...

21 августа

Мы выехали из Благовещенска 19-го.

Пароход наполнен пассажирами, которых раньше мы всех обогнали на лошадях. Теперь они удовлетворенно посматривают на нас: «Что, дескать, обогнали?»

Мы в роли побежденных покорно сносим и приветливо смотрим на всех и вся.

Впрочем, редко видим их, заняты каждый своим делом.

Редко видим, но знаем друг о друге все уже. Кто об

этом говорит нам? Воздух, вероятно, пустота Сибири: народу мало, интересов еще меньше, и все всё знают друг о друге.

Как бы то ни было, но я знаю, что рядом, например, со мной в такой же, как и моя, двухместной каюте едут две барышни. Одна в первый раз выехавшая из Благовещенска в Хабаровск. Она робко жмется к своей подруге и краснеет, если даже стул нечаянно заденет. Известно, что при таком условии все стулья всегда оказываются как раз на дороге, и поэтому здоровая краска не сходит с ее щек.

Это, впрочем, делает ее еще более симпатичной.

Вторая — бестужевка. Она едет из Петербурга в Хабаровск учительницей в гимназию. Большие серые глаза смотрят твердо и уверенно. Стройная, сильная фигура. Спокойствие и уверенность в себе и в своей силе. Она одна проехала всю Сибирь: для женщины, а тем более девушки,— это подвиг.

— Где счастье? — спрашивает ее кто-то на палубе.

— Счастье в нас,— отвечает она.

Я слышу ее ответ и смотрю на нее. Она спокойно встречает мой взгляд и опять смотрит на реку, берег.

Широкая раньше и плоская долина Амура опять суживается. Снова надвигаются зеленые холмы с обеих сторон. Это отроги Хингана. Здесь уже водятся тигры, и взгляд проникает в таинственную глубь боковых лощин. Но старого леса нет и здесь: не защитили и тигры, и всюду и везде только веселые побеги молодого леса.

Садится солнце и изумительными переливами красит небо и воду. Вот вода совершенно оранжевая, сильный пароход волнует ее, и прозрачные, яркие, оранжевые волны разбегаются к берегам. Еще несколько мгновений, и волшебная перемена: все небо уже в ярком пурпуре, и бегут такие же прозрачные, но уже ярко-кровавые, блестящие волны реки. А на противоположной стороне неба нежный отблеск и пурпура, и оранжевых красок, и всех цветов радуги. И тихо кругом, неподвижно застыли берега, деревья словно спят в очаровании, в панораме безмятежного заката.

За общим ужином молодой помощник капитана рассказывает досужим слушателям о красоте и величине местных тигров, барсов, медведей.

Медведи здешних мест, очевидно, большие оригиналы: перед носом парохода они переплывают реку; однаж-

ды во время стоянки один из них забрался даже в колесо парохода.

— И что же? — с ужасом спрашивает одна из дам.

Доктор грустно полуспрашивает, полуотвечает:

— Убили?

Смех, еще несколько слов, и знакомство всех со всеми завязано.

Потерянное время торопятся наверстать. После ужина доктор поет, Н. А. играет, он же по рукам определяет характер и судьбу каждого. Он верит в свою науку и относится к делу серьезно. Одну за другой он держит в своих руках хорошенькие ручки и внимательно рассматривает ладони. Чем сосредоточеннее он, чем больше углубляется в себя, тем сильнее краснеют его уши. Они делаются окончательно багровыми и прозрачными, когда одна из дам, у которой оказался голос и которой он взялся аккомпанировать, совсем наклонилась к нему, чтоб удобнее следить за его аккомпанементом.

После пения он встал, как обваренный, поводит плечами и тихо говорит кому-то:

— Жарко...

Раз уже зашла речь об обществе, долг автора представить его читателю.

Оно состоит из четырех дам, двух господ и нас.

О двух дамах я уже говорил. Прибавить остается, что учительница оказалась тоже сведущей в трудной науке хиромантии и читает по рукам судьбу человека. Но Н. А., очевидно, опытнее ее и с своим обычным деловым видом сообщает барышне разные тонкие детали этой науки. Такой-то значок указывает на то, что человек утонет, а такой-то — удар в голову. Барышня слушает его внимательно, вежливо, с какой-то едва уловимой улыбкой.

Две других дамы...

Я боюсь погрешить. Из своей каюты я слышал разговор каких-то дам: эти ли, другие — я не знаю.

Речь шла о выкройках, кружевах, вязанье. Долго говорили... энергично, бойко, с завидной энергией жизни... В другой раз я слышал их: лениво одна из них... как бы это выразиться поделикатнее... ну, разбирала, что ли членов своего общества.

Мелко, все это мелко, как зернышки проса, которые сытая курочка поклевывает. И, опять повторяю, я слышал, но не видел и не знаю, кто были эти дамы. Может быть, заходившие к нам иногда пассажирки второго класса.

Те же две дамы нашего общества, с которыми я познакомился, были несомненно очень милые дамы, именно «нашего общества».

Одна постарше и посановитее по мужу, уже десять лет проживающая в Сибири, другая, совсем молоденькая, приехавшая прямо с юга — Крыма или Кавказа,— попала сюда два-три месяца всего назад, никогда не видала зимы и ждет ее. Ждет так же пассивно, как смотрит на весь божий мир.

Двадцать два года, хорошенькая, но уже располнела и, вероятно, будет и дальше полнеть.

Обе дамы очень дружны, и их звонкий смех то и дело несется то с палубы, то из столовой... Каждый день эти дамы в новых костюмах, причем от простых искусно переходят к более и более сложным. С костюмами меняются и духи.

Здесь, в Сибири, масштаб большой, и тяжелый запах духов пропитал столовую и гостиную парохода.

Младшей даме кажется, что она еще никогда никого не любила, а между тем по руке выходит, что ей трижды, с большими треволнениями, предстоит познать эту любовь. И лицо ее в это мгновение, когда Н. А. усердно ей гадает,— типичное лицо Кармен, когда по картам той выходит смерть и она мрачно смотрит и повторяет: «Смерть, смерть».

Старшая дама тоже интересуется своей судьбой. Она верит всяким гаданьям. Однажды тетя возила ее к гадалкам. В первый раз они не застали гадалку дома, во второй застали, и она все, все рассказала, и все так верно... У гадалки совсем не страшно: иконы, свеча и никакой, решительно никакой, как говорится чертовщины.

Она протягивает свою все еще красивую ручку Н. А.

Н. А. сосредоточивается:

— Ваша жизнь раздвоена...

— То есть как?

— В смысле чувства.

— Что? что? Ха-ха... Вот сообщу мужу...

Дама все-таки, кажется, обиделась и рано ушла спать. Сегодня она, впрочем, уже опять гуляет мимо окон моей каюты, улыбается и возбужденно что-то рассказывает учительнице.

Та вежливо слушает эту даму.

Вчера вечером мы с учительницей немного поговорили,— она верит в жизнь, в свою энергию, верит в воз-

можность производительной работы, будет работать для других, для себя, через три года поедет за границу.

Свободная вакансия оказалась только по немецкому языку, который она и взялась преподавать. Будет преподавать язык, а вместе с тем литературу, историю литературы и новейшую.

Все те же зеленые безжизненные берега. Они то сходятся в складки и отдельными зелеными холмами, как наросты, жмутся к реке, то вдруг раздвинутся и уж где-то далеко, в сизой дали, иззубривают горизонты. Тогда сюда, ближе к реке, подходит плоская равнина, низменная, поросшая разной негодной зарослью.

Впала Уссури. Амур стал шире Волги у Самары и грозно плещется.

Китайцев все больше и больше. Здесь они старинные хозяева. Они уже однажды владели этим краем и бросили его. Возвратились вторично теперь, потому что в нем поселились те, у которых есть деньги. Эти «те» — мы, русские. Откуда наши деньги? Из России: за каждого здешнего жителя центр приплачивает до сорока рублей. Китайцы требуют эти деньги, без семейств приходя сюда и в том же году отнеся эти деньги туда, в Чифу, на свою родину, опять возвращаются в Россию с пустыми уже карманами, но с непреоборимым решением снова набить эти карманы и снова унести деньги домой.

Все идет, как идет.

Вчера за обедом местный интеллигент говорил:

— Китаец, Китай... Это глубина такая же, как и глубина его Тихого океана... Китаец пережил все то, что еще предстоит переживать Европе... Политическая жизнь? Китаец пережил и умер навсегда для этой жизни. Это игрушка для него, и пусть играет ею, кто хочет,— она ниже достоинства тысячелетней кожи археозавра-китайца: его почва — экономическая и личная выгода... С этой стороны нет в мире культуры выше китайской... То, что человечеству предстоит решать еще,— как прожить густому населению,— китаец решил уже, и то, что дает клочок его земли, не дают целые поля в России... Что Россия? Китай — последнее слово сельской культуры, трудолюбия и терпения... Мы не понимаем друг друга. Мы моемся холодной водой и смеемся над китайцем, который моется горячей. А китаец говорит: «Горячая вода отмывает грязь,— у нас нет сыпи, нет накожных болезней, а холодная вода разводит только грязь по лицу». Платье европейца его жмет, и китаец гордится своим

широким покроем. Китаец говорит: «Европеец при встрече протягивает руку и заражает друг друга всякими болезнями,— мы предпочитаем показывать кулаки».

Известно, что китайцы здороваются, прижимая кулаки к своей груди.

Интеллигент продолжал:

— Китаец культурнее и воспитаннее, конечно, всякого европейца, воспитанность которого сводится к тому, что, если вы ему не представлены и если вы тонете, а ему стоит пошевельнуть пальцем, чтоб спасти вас,— он не пошевельнет, потому что он не представлен. И поверьте, у китайца свободы больше, чем где бы то ни было в другой стране. Несносного администратора вы не имеете средств удалить, а у китайцев, чуть лишнее взял или как-нибудь иначе зарвался, быстро прикончат: выведут за ворота города: «Иди в Пекин...» И назад таких никогда не присылают.

— А что вы скажете насчет рубки голов там? Кажется, довольно свободно проделывается это у них? — спросил я.

— Только кажется: попробуй судья отрубить несправедливо голову...

— Правда, что когда случаются возмущения и европейцы требуют казней, то китайские власти за десять — пятнадцать долларов нанимают охотников пожертвовать своими головами?

— Что ж из этого: китаец не дорожит своею жизнью,— чума, холера, голод и даром съедят...

— Возможен факт, сообщаемый одним туристом, что на вопрос, кого и за что казнят, ему отвечали, что казнят воинов, отбывших свой срок и не желающих возвращаться в свои семейства?

— Вполне возможен: очевидно, мошенник-командир не уплатил им жалованья. Все это тем не менее в общем ходе жизни только пустяки...

22 августа

Виден Хабаровск. Где-то далеко-далеко, в зелени, несколько больших розовых зданий — красиво и ново.

— Розовый город,— сказал кто-то.

— Деревня,— поправил другой,— только и есть там, что казенные здания.

Подъезжаем ближе, значительная часть иллюзии отлетает: это действительно большие кирпичные здания —

казенные здания, а затем остальной старенький Хабаровск тянется по овражкам рядами деревянных, без всякой архитектуры построек.

На пристани множество парных телег, парных крытых дрожек, в пристяжку. Китайцев еще больше: здесь они всюду — на пристани, у своих лавочек, которые двойными рядами, сколоченные из досок, тянутся вверх по крутому подъему. В этих лавочках на прилавках грязно и невкусно лежат: капуста, морковь, арбузы, дыни, груши и яблоки, синие баклажаны и помидоры. Названия те же, что и на нашем юге, но блеска юга нет, нет и существа его — это отбросы скорее юга, все эти бледные, чахлые, жалкие и невкусные фрукты.

В городе музей, и так как до отхода поезда оставалось несколько часов, то мы успели побывать там. Музей хорош, виден труд составителей, энергия. Прекрасный экземпляр скелета морской коровы. Скелет больше нашей обыкновенной коровы с точно обрубленными ногами и задней частью, переходящей в громадный хвост. Как известно, это добродушное животное уже совершенно исчезло с земного шара. Еще в прошлом веке их здесь, у берегов океана, было много, и они стадами выходили на берег и паслись там. А люди их били. Но коровы не боялись, не убегали, а, напротив, шли к людям и поплатились за свое доверие. Даже и теперь в этом громадном, закругленном, тяжелом скелете чувствуется это добродушие, не приспособленное к обитателям земли.

Чучела тигров, медведей, барсов и рысей, чучела рыб, земноводных, допотопных. Дальше костюмы и чучела всевозможных народностей.

Смотришь на эти фигуры, на эти широкие скулы, втиснутые щелками глаза, дышишь этим тяжелым воздухом, пропитанным нафталином, и переживаешь ощущения, схожие с ощущениями при взгляде на скелет морской коровы: многие из них, собственно, такое же уже достояние только истории. Он и живой с застывшим намеком на мысль в глазах кажется только статуей из музея. Я вспоминаю самоеда Архангельской губернии, когда впервые, в дебрях северной тундры, я увидел его, вышедшего вдруг на опушку своей тундры. Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молчание могилы. Не жизнь и не смерть, не сон и не

бодрствование, не конец и не начало — какая-то мертвая полоса, и в ней вымирающий народ. Их тысяча или две, и не родятся больше мальчики...

— Надо, надо мальчиков,— говорит тоскливо самоед.

Но мальчиков нет, а рождающиеся изредка редко выживают: и мальчики и девочки — все умирают от той же черной оспы, и напрасно в опорожненную меховую торбу мать сует новое свое произведение — оно заражается.

Но кто выживает, тот вынослив и водку пьет с годового возраста. Тяжело и уморительно видеть, как, почуяв запах этой водки, маленький уродец высовывает голову из своего мешка. И, если ему вольют глоток в рот, он мгновенно исчезает и уже спит.

В передвижениях этот мешок с его обитателем самоед привязывает к своим саням, и прыгает мешок по снегу, догоняя сани.

Я вспоминаю другого вымирающего инородца, остяка, и его Обь, страну за Томском к северу, необъятную и плоскую, глухую страну, обитатель которой свое жалкое право на существование оспаривает у грозной водной стихии, у хозяина глухой тайги — медведя; где-нибудь, за сотни верст от жилья, встречаясь, они решают вопрос, кого из них двух будут сегодня ожидать дома.

— Если медведь встал на дыбы,— говорит остяк,— медведь мой,— и бросается медведю под ноги.

И пока этот медведь начинает своего врага драть с ног, остяк порет ему брюхо и торопится добраться до сердца. Ничего, что клочьями на ногах висит мясо, медведь уже мертвый лежит на земле.

Но пропал остяк, если умный медведь не встанет на дыбы, а бегает проворно на всех своих четырех лапах,— он сшибет тогда своего врага и задерет его. Не воротится остяк домой, и напрасно будут ждать его голые, с толстыми животами дети, истощенная жена, все голодные, изможденные, все в сифилисе, все развращенные негодной по качеству водкой.

Это люди культуры взамен шкур принесли обитателю свои дары...

Хабаровцы, впрочем, пожалуй, могут обидеться, что по поводу их города, лежащего на сорок восьмой параллели, я вспомнил вдруг о белых медведях и о всей неприглядной обстановке тех стран.

Что еще сказать о Хабаровске? Он основан всего в 1858 году, а назван городом всего в 1880 году. Жителей пятнадцать тысяч. Но, очевидно, это не предел, и го-

род, как и Благовещенск, продолжает энергично строиться. Торговое значение Хабаровска передаточное — это пункт, от которого с одной стороны идет водный путь, а с другой — к Владивостоку — железнодорожный. Самостоятельное же значение Хабаровска только как центра торговли пушниной, получаемой от разных инородцев. Самый ценный товар — соболь, лучший в мире.

В смысле жизни, в Хабаровске все так же дорого, как и в остальной Забайкальской Сибири...

Жизнь общественная, насколько удалось почувствовать ее, приурочивается к чиновничьим, военным центрам. Памятник графу Муравьеву стоит на самом командующем месте города, виден отовсюду и останавливает на себе внимание своей сильно и энергично поставленной фигурой. Фигура эта с протянутой рукой всматривается в сизую даль той стороны, где граница Китая. И, несмотря на эту твердую решимость, хорошо переданную художником, чувствуется... чувствуется то, что должно чувствоваться в таких случаях, когда смотришь вперед и хочешь увидеть все до конца: чисто физический предел, дальше которого конструкция глаза не позволяет ничего больше видеть.

Это не намек на что бы то ни было — это ощущение художника. Как ни решительна фигура, но необъятная даль захватывает сильнее, и фигура пасует перед ней.

А если мы начнем говорить о понятной аллегории, оставим физику и перенесемся в мир духовный, мир будущих перспектив и последствий содеянного, то даль еще необъятнее.

Один дал это, другой то — все вместе снова растворили ржавые ворота Чингиз-хана, и теперь уже нет преграды этому желтому типу. И что несет он с собой? Низшие ли это исполнители высшей воли той культуры, которая недоступна им, выродившимся для нее, желтым, вечным рабам новой цивилизации — исполнители на вящую славу прогресса этой культуры, или и сами они способны воспринять эту культуру, или же, наконец, не способные к ней, но устойчивые в своей, они растворят в себе всех, без остатка, как растворили маньчжуров, монголов, корейцев и других?..

В лице китайца, каковым мы видим его теперь, всеми силами своей души, всеми помыслами обращенного назад, к своему Конфуцию, мы, очевидно, не имеем дело с прогрессистом. Но способен ли китаец отрешиться от старины, повернуться и уйти вперед? Кто ответит на

этот вопрос в виду имеющегося в лице Японии факта, доказывающего эту способность? И способность выдающуюся, ошеломляющую, к которой только и можно вводить поправки вроде того, что у них денег не хватит, или что японцы только способные обезьяны, но без всякого творчества... Поправки, требующие серьезных доказательств, во всяком случае.

В вагоне большое общество: военные, разного рода служащие, искатели счастья, изредка, очень изредка какой-нибудь местный негоциант; отдельный вагон-буфет, в нем все общество и оживленные разговоры о китайцах и японцах, о судьбе Востока. Горячие споры, и каждый говорит свое совершенно особое мнение, только его и считает верным, с презрением выслушивая всякое другое.

Вывод один: вопрос, очевидно, большой и жгучий, имеющий множество сторон, и каждый, видящий свою, говорит об единой открытой истине. И ясно, что изучение всех сторон и связанный с ним общий вывод еще дело большой работы будущего. И если теперь все это — темная бездна, освещенная сальными огарками, десятком-другим поверхностных исследователей, то во времена тех, кому строят здесь памятники, бездна эта и этих освещений не имела.

Но если нет знаний — много апломба, легкомыслия, цинизма, с одной стороны, полного подобострастия и приниженности — с другой.

— Китаец — труп, который и расклюют, кто поспеет...

— Китаец? Один русский на тысячу китайцев — и Китай наш: вот что ваш китаец...

— Я шесть месяцев прожил в Китае... Китаец? Что ему нужно? Третировать его en canaille... [1] При англичанине китаец не смеет сидеть, не смеет входить в тот вагон, где сидит англичанин,— тогда Китай действительно будет наш... А то, помилуйте, безобразие: во Владивостоке извозчик — русский человек — сидит на козлах, а вонючая манза, со своей косой, развалился на его фаэтоне... Позор.

Рядом с такими взглядами говорят:

— Надо проникнуть и понять, что такое китаец... Его коса, халат, бамбуковая трость и другие комические внешности закрывают пред вами сущность... Китаец — глубокий философ: он смотрит со своей пятитысячелет-

---

[1] как сброд *(фр.)*.

ней точки зрения... И в шестилетнем ребенке вы уже чувствуете эту пятитысячелетнюю мысль... Культурную мысль...

— В чем культура?!

— Как в чем? Решен величайший вопрос прокормления человека на такой пяди земли, на какой у нас собака не прокормится...

— Что такое японец? — несется с другого конца,— японец годен к культуре только в своих условиях,— голый, на берегу моря, где он наловит каждый день на обед себе рыбы, где на шестидесяти квадратных сажен родится сам-шестьсот рис... А русский человек треть своей силы тратит на борьбу только с холодами...

— Вы хотите знать, кто такой японец? Это француз, англичанин и тот выработанный этикетом Востока воспитанный человек, который даже горло вам перережет, сюсюкая и потирая себе колени...

— Но вашего японца, обезьяну, презирает китаец и основательно говорит, что японец новому миру так же мало дает, как и мало он дал китайской классике... Что японец? Китаец — глубочайший философ, классик... «Пиши от классика»... Наши писаки у них...

И так далее. Всего не передашь.

А в контраст с этим разнообразием мнений нашей интеллигенции здесь простой народ на протяжении от Иркутска до Владивостока точно сговорился в однообразном своем мнении.

— От китайца не стало житья: работает, а что ест? Деньги наши все перетаскает на свою сторону...

Разноречие в отзывах понятно. Простой человек исходит из факта, интеллигент же, как выразился один возвращающийся переселенец по поводу переселенческого дела,— от своего большого ума.

23 августа

Из окна вагона я вижу все ту же долину Уссури, поросшую болотной травой, вижу далекие косогоры, покрытые лесом.

— Хороший лес?

— Лесу здесь нет хорошего и пахоты нет, растительный слой ничтожен, подпочва, видите... да и болотиста...

Резервы, из которых взята земля для железнодорожного полотна, знакомят хорошо с строением почвы — вершка два чернозем, дальше белая глина.

— Год-два колоссальный урожай девственной почвы, а затем удобрение...

Кругом все так же пустынно и дико,— нет жилья, нет следов хозяйства.

— Да, здесь нет ничего... Верст за триста, не доезжая Владивостока, начнутся поселения, да и там пока плохо...

Относительно сельского хозяйства здесь два диаметрально противоположных мнения.

Одни говорят:

— Здесь особенная природа: один год в сажень, полторы вырастет пшеница, и одно зерно в колосе, а на другой год баснословный урожай, весь сгнивший от дождей, или соберут, начнут есть — судороги и все признаки отравления... Так и называются наши пшеницы — пьяные... Вы видите, что здесь природа и сама не выработала еще себе масштаб: о каком серьезном переселении может быть речь... Да надо сперва привезти сюда пятьсот тысяч и все их оставить на этих сельских опытах... Донских казаков, несчастных, переселили... Два года побились: пришли во Владивосток, поселились табором — везите назад... Второй год живут: женщины проституцией занимаются... А там, где как-нибудь устроились, еще хуже: захватили все к речкам, а полугоры и горы, отрезанные от воды, обречены, таким образом, на вечную негодность: участки надо было наделять не вдоль реки, а от реки в горы,— тогда другое и было бы...

— Да там болота...

— Осушите.

— Разве это посильно переселенцу?

— Это работа не переселенца... И без этой работы ни о каком серьезном заселении края речи быть не может...

Рядом с этим:

— Ерунда! Чудные места! Богатейшие места! Свекла, сахарные заводы, винокуренные, пивные заводы, табаководство... Земли сколько угодно...

— На сколько человек?

— По крайней мере на шестьдесят тысяч.

— Что вы? шестьсот тысяч.

— Тысяч сто двадцать,— решает авторитетно третий.

Во всяком случае для прироста стомиллионной России все эти три цифры, если даже сложить их вместе, не составят особенной находки.

Что касается до того, действительно ли чудные ме-

ста, лучшие для свеклы, табаку, то, судя по внешнему впечатлению, сопоставляя рядом с этим заявлением о невыработанном-де еще и самой природой масштабе, казалось бы следовало усомниться. Но уверяют здесь так энергично...

Положим, здешние обитатели всегда, что бы ни заявляли, заявляют энергично и категорично... Некоторые злые языки говорят, что обитатель здешний попросту любит приврать. Без всякого дурного умысла.

Один в порыве откровенности так аттестовал себя и других:

— Врем; такого вранья, как здесь, не встретите нигде... Это специальное, особенное вранье: род спорта... Мы охотно отдаем залежавшийся хлам приезжему или выменинаем на интересное для нас... А если так, настоящий разговор, так ведь ничего мы, в сущности, не знаем, потому что едим, пьем — хорошо и едим и пьем — разговариваем, но ничего, кроме получений в разных видах денег от казны, не делаем. Прежде хоть на манз (китайцев) охотились, когда они с наших приисков хищнически возвращались к себе на родину: теперь и это запрещено... Теперь оправдываем хунхузов и ждем, когда благодарный китаец сам придет и скажет: «За то, что ты оправдал меня на суде, я покажу тебе уголь...» А другому покажет золото, а третьего надует: деньги выманит и ничего не покажет.

24 августа

Верст за пятнадцать — двадцать перед Владивостоком железная дорога подходит к бухте и все время уже идет ее заливом. Это громадная бухта, одна из лучших в мире, со всех сторон закрытая, с тремя выходами в океан.

Ничего подобного тому, что произошло в Сант-Яго с испанским флотом, здесь немыслимо.

Отрицательной стороной Владивостокского порта являются туманы и замерзаемость порта с конца ноября по март.

Для льда существуют ледоколы; туманы то появляются, то исчезают, и во всяком случае и лед и туманы не являются непреоборимым злом.

Все остальное за Владивостокскую бухту, и принц Генрих, который теперь гостит во Владивостоке, отдавая ей должное, сказал, что порт этот оправдает и в будущем свое название и всегда будет владеть Востоком.

Город открывается не сразу и не лучшей своею частью. Но и в грязных предместьях уже чувствуется что-то большое и сильное. Многоэтажные дома, какие-то заводы или фабрики. Крыши почти сплошь покрыты гофрированным цинковым железом, и это резко отличает город от всех сибирских городов, придавая ему вид иностранного города.

Впечатление это усиливается в центральной части города, где очень много богатых, и изящных, и массивных, и легких построек. Большинство и здесь принадлежит, конечно, казне, но много и частных зданий. Те же, что и в Благовещенске, фирмы: Кунст и Альберс, Чурин, много китайских, японских магазинов. Здесь за исключением вина на все остальное порто-франко.

На улицах масса китайцев, корейцев, военных и матросов. На рейде белые броненосцы, миноносцы и миноноски. В общем, своеобразное и совершенно новое от всего предыдущего впечатление, и житель Владивостока с гордостью говорит:

— Это уже не Сибирь.

И здесь такая же строительная горячка, как и в Благовещенске, Хабаровске, но в большем масштабе.

Со всех сторон лучшей здешней гостиницы «Тихий океан» строятся дома массой китайцев, и от этого стука работы не спасает ни один номер гостиницы. С первым лучом солнца врывается и стук в комнату, и мало спится и в этом звонком шуме и в этом ярком свете августовского солнца. Особый свет — чисто осенний, навевающий покой и мир души. Беззаботными туристами мы ходим по городу, знакомимся, едим и пьем, пробуя местные блюда. Громадные, в кисть руки, устрицы, креветки, кеты, скумбрия, синие баклажаны, помидоры — все то, что любит и к чему привык житель юга. Не совсем юг, но ближе к югу, чем к северу.

А вечером, когда яркая луна, как в волнах, ныряя то в темных, то в светлых облаках, сверкает над бухтой, когда огни города и рейда обманчиво раздвигают панораму гор, все кажется большим и грандиозным, сильным и могущественным, таким, каким будет этот начинающий карьеру порт.

Ходим мы по улицам, ходят матросы наши, русские, немецкие, чистые, выправленные щеголи, гуляют дамы, офицеры, едут извозчики, экипажи-собственники. Это главная улица города — Светланская; внизу бухта, су-

да. Садится солнце, и толпы китайцев и корейцев возвращаются с работ.

Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах, таких же широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, подбитые в два ряда толстым войлоком. Нижний ряд войлока не доходит до носка, и таким образом равновесие получается не совсем устойчивое. Китайская толпа оживлена, несутся гортанные звуки, длинные косы всегда черных, жестких и прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос не хватает, тот приплетает ленту.

Корейцы — противоположность китайцу: такой же костюм, но белый. Движения апатичны и спокойны: все это, окружающее, его не касается. Он курит свою маленькую трубку, или, вернее, держит длинный, в аршин, чубучок с коротенькой трубочкой, и степенно идет. Шляпы нет — на голове его пышная прическа, кончающаяся на макушке, так же как и модная дамская, пучком закрученных волос, продетых цветной булавкой. Лицо корейца широкое, желтое, скулы большие, выдающиеся; глаза маленькие, нос картофелькой; жидкая, очень жидкая, в несколько волосков, бородка, такие же усы, почти полное отсутствие бакенбард. Выше среднего роста, широкоплечи, и в своих белых костюмах, с неспешными движениями и добродушным выражением, они очень напоминают тех типичных хохлов, которые попадают впервые в город: за сановитой важностью и видимым равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и страх.

Много японок, в их халатах-платьях в обтяжку, с открытой шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы, в своей прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазывая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на неустойчивых деревянных подставках. Упасть с ними легко, чему мы и были свидетелями: японка загляделась, потеряла равновесие и, подгибая коленки, полетела на землю. Японки низкорослы, с лицом без всякого выражения. Не крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные, жесткие, как хвост лошади, волосы.

Китайцы — каменщики, носильщики, прислуга; японцы — мастеровые. Высший класс китайцев и японцев захватил и здесь торговлю. В руках у русских только извозчичий промысел.

Среди японцев множество отставных солдат, резервистов, запасных унтер-офицеров и офицеров.

— Эти желтые люди обладают четвертым измерением: они проходят чрез нас, а мы не можем...

Это говорит местный житель.

Мы в это время подходим к какой-то запрещенной полосе, и нам говорят:

— Нельзя!

— Секрет от нас, своих,— поясняет местный житель,— а эти, с четвертым измерением, там: каменщик, плотник, слуга, нянька, повар,— они проходят везде, без них нельзя. Они знают все, их здесь в несколько раз больше, чем нас, русских, и среди них мы ходим и живем, как в гипнозе.

Все здесь, действительно, в руках желтых. Пусть попробует, например, думающий строиться домовладелец выжечь кирпич на своем заводе, а не купить его у китайца. Такого собственного кирпича рабочий китаец изведет хозяину почти вдвое против купленного у китайца.

— Плохой кирпич — бьется.

Если хозяин начнет ругаться, китайцы бросят работу и уйдут, и никто к этому хозяину не придет, пока он не войдет в новое соглашение с их представителем.

Представителем этим называют одного китайца, который искусно руководит здесь всем китайским населением, облагая их всякого рода произвольными, но добровольными поборами. Частью этих поборов он кое с кем делится, часть остается в его широких карманах. Но зато все вопросы, касающиеся правильности паспортов, для китайцев не страшны, и свободно процветает азартная игра в китайских притонах.

Терпеливый, трудолюбивый китаец оказывается страстным игроком и зачастую в один вечер проигрывает все, накопленное им. Проигрывает с сократовским равнодушием и опять идет работать.

В китайских кварталах грязно, скученно, и в доме, где русских жило бы двести, их живет две тысячи. Такое жилье в буквальном смысле клоака и источник всех болезней.

Теперь свирепствует, например, сильнейшая дизентерия.

Китайцам все равно, играют... каждый притон платит кое-кому за это право по сто рублей в день. Таких три притона, итого — сто тысяч в год... Разрешить их официально и улучшить на эти деньги их же часть го-

рода: строить гигиеничные дома для них, приучать к чистоте...

Я был в домах, занятых китайцами, задыхался от невыносимой вони, видел непередаваемую грязь, видел игорную комнату и грязную, равнодушную толпу у обтянутого холстом стола. При нашем появлении раздался какой-то короткий лозунг, и толпа лениво отошла, и какой-то пронырливый китаец с мелкими-мелкими чертами лица подошел к нам и заискивающе объяснял:

— Так это, так, на олехи иглали...

Я познакомился с одним очень интересным жителем.

— Все это на моих глазах,— говорил он,— совершилось уже в каких-нибудь пятнадцать лет, что хозяином стал китаец. Откажись он сегодня от работ, уйди из города,— и мы погибли. Задумай Варфоломеевскую ночь, и никто из нас не останется. Вот как, например, они вытеснили наших огородников: стали продавать даром почти, а когда всех русских вытеснили, теперь берут за арбуз рубль, яблоко семь копеек. А вот как они расправляются с вредными для них людьми. Один из служащих стал противодействовать в чем-то главе здешних китайцев. В результате донос этого главы, что кому-то дана взятка, и в доказательство представляется коммерческая книга одного китайца, где в статье его расходов значится, что такому-то дана им взятка... А на следствии, когда следователь заявил, что этого недостаточно еще для обвинения и нужны свидетели, этих свидетелей была представлена дюжина... Китайцу, когда нужно для его дела, ничего не стоит соврать... Вот вам и китаец... А так, что хотите, с ним делайте... Маньчжуры их били, били, а теперь от маньчжур только и осталось, что династия да несколько городовых... Да-с,— мрачно заключает мой знакомый,— мы вот гордимся нашей бескровной победой — взятием Порт-Артура, а не пройдет и полувека, как с такой же бескровной победой поздравит китаец всю Сибирь и дальше...

Поздно уже. Ночь, южная ночь быстро берет остатки дня. Небо на западе в огне, выше дымчатые тучи нависли, а между ними там и сям светятся кусочки безмятежной золотистой лазури.

— Будет ветер.

Ночь настоящая южная: живая, тревожная, темная и теплая.

Множество огней и сильное движение по Светланской улице. Едут торопливо экипажи, снуют пешехо-

ды, из окон магазинов свет снопами падает на темную улицу. Темно, пока не взойдет луна. Кажется, провалилось вдруг все в какую-то темную бездну, в которой снизу и сверху мигают огоньки. Там, внизу, море, там, вверху, небо, но где же эти огоньки? Между небом и землей? Да, там: они горят на высоких мачтах белых, не видных теперь броненосцев. Там между ними теперь и германских три судна. Принц Генрих угощает гостей обедом, и лихо пьют, говорят за его столом и хозяева и гости.

Принц, кажется, хочет ехать до Благовещенска.

Одного из адъютантов наших, приставленных к нему, он спросил:

— Стоит ли ехать в Благовещенск?

Адъютант замялся: сказать «не стоит» казалось ему неловко как представителю своей страны, с другой стороны, и соврать не хотелось.

— Жители Благовещенска будут счастливы видеть ваше высочество.

— Ну, я не для громких китайских фраз приехал сюда.

Принц любит немецкий язык и настоятельно требует употребления его в разговоре с ним не только от мужчин, но и от дам. Передают, что на благотворительном гулянье здесь, на предложение на французском языке одной красивой продавщице шампанского, он сказал:

— Сейчас я не буду пить, но вечером у вас в доме выпью, если вы будете говорить со мной по-немецки.

— Но я говорю совсем плохо.

— У вас есть время выучить.

Было четыре часа дня.

Дама покраснела, подумала и тихо ответила:

— Я выучу...

— Но принц шутит,— по-русски резко проговорила одна из более старших дам своей растерявшейся подруге.

— Но и madame шутит,— отвечал принц на этот раз тоже по-русски,— и в несколько часов нельзя выучить язык.

Кстати, о благотворительном гулянье. Это благотворительное гулянье устраивается ежегодно и дает до десяти тысяч чистого сбора. Оно продолжается весь день. Публика, по преимуществу, китайцы. Они страшно раскупают билеты аллегри, кричат от удовольствия, глядя на японский фейерверк, и, когда из лопнувшей в не-

бе ракеты вылетает то бумажный китаец, то бумажный корабль, они как дети бегут к тому месту, куда он должен спуститься. Надутый бумажный пузырь, искусно изображающий нарядного китайца, не спеша спускается, а толпа жадно вытянула руки, весело хохочет, кричит и ждет не дождется, когда опустится фигура настолько, чтоб схватить ее сразу всем.

Еще пример китайской азартности: торги.

На всякие торги китайцы жадно стремятся, набивают цены, и на этот раз даже не помогает во всех остальных отношениях строгая, выдержанная, корпоративная организация.

30 августа

Все эти дни прошли в окончательных приготовлениях: покупаем провизию, разные дорожные вещи.

В свободное же от покупок время знакомимся с местным обществом, и жизнь его, как в панораме, проходит перед нами. Один драматический и опереточный театр действует, лихорадочно достраивается другой — там будут петь малороссы; работает цирк.

Мы были и в театре и в цирке. Что сказать о них? Силы в общем слабые, но есть и таланты. В общем же житье артиста здесь сравнительно с Россией более сносное, и здешняя публика относится к ним хорошо. Хорошо относится и печать.

Первого сентября выходит еще одна, новая, третья газета здесь. Дело издания в руках бывшего политического ссыльного, с которым я познакомился у бывшего его тюремного начальства на Сахалине.

Это был интересный обед, с разговорами о Кеннане и всем пережитом.

Один горячо настаивал на том, что все дело было сильно раздуто, другие, напротив, доказывали, что раздутого ничего не было. Я лично склонялся к доводам последних, так как у первых было больше азарта в нападении, чем фактов...

Речь заходит о побывавших здесь литераторах: Чехове, Дедлове, Сигме, Дорошевиче.

— Да что литераторы,— говорит хозяин дома,— это в прежнее время было что-то особенное, а теперь? Из всех сидящих здесь кто не литератор? Каждый из нас пишет в газетах — я, он, они, в столичных... Все умеем

и мысли свои высказать, и литературно изложить их, и... приврать.

— Кстати, проверить один факт,— говорю я,— про одну даму на Сахалине, которая будто бы секла заключенных.

— Кто такая?

Я называю фамилию и говорю, что она жаловалась мне на пароходе на то, что на нее так жестоко наклеветал Чехов.

— Сечь она не секла, но по лицам била сапожников, портных...

Со всех сторон следуют энергичные подтверждения. И на этот раз кажется все настолько достоверным, что я решаюсь этот факт занести в свой дневник и тем восстановить репутацию своего коллеги.

Может быть, в свое время она так же горько будет жаловаться кому-нибудь и на меня. Но при чем тут я? И если говорят все, что дама эта действительно была нехорошая, злая дама, злоупотреблявшая своим, и даже не своим, а положением своего мужа, то пусть и знает эта дама, что все, конечно, можно сделать: и злоупотребить своим положением и не стесняться своим человеческим долгом, но потом для всякого наступает история, которая и клеймит каждого его клеймом.

Я не называю имени этой дамы потому, что имя это — звук пустой для всего русского общества, а для ее общества достаточно и сказанного, чтобы безошибочно узнать, о ком идет речь.

Вечером я ужинал с несколькими из здешних обитателей, а после ужина один из них позвал меня прокатиться с ним по городу и его окрестностям.

Это была прекрасная прогулка. Мой собеседник, живой и наблюдательный, говорил обо всем, с завидной меткостью определяя современное положение дел края.

— Вот это темное здание — военного ведомства, а напротив, вот это, морское: они враги... Они только и заняты тем, как бы подставить друг другу ножку. Это сознают и моряки и сухопутные... И случилось осложнение здесь, мобилизация там, что ли, если не будет какой-нибудь объединяющей власти... А вот ведомство путей сообщения и контроля: опять на ножах. Опять постановка вроде того, что кто зеленый кант носит, тот мошенник, кто синий надел, тот непременно честный: я так, а я так, а в результате, что стоит рубль, обходится в сотни. Терпит казна...

— Это не только в Сибири.

— Знаю... И средство от всего этого и там одно: объединенные министерства с министром — ответственным главой.

— Скажите мне откровенно: что представляет из себя собственно ваш край? Способен он к самостоятельной культуре или вечно так будет, что, сколько Россия приплатит здесь, столько за исключением жалованья остальное унесут китайцы?

— С какой стороны,— раздумчиво начал мой собеседник,— взять вопрос. Во всем этом крае прежде всего что-то роковое и такое же неизбежное, как роды, что ли... Пришло время, и взяли Порт-Артур, хотя отплевываются и отплевывались от него все... Но все-таки край мог бы быть несомненно не той пиявкой, какой он является теперь для остальной России... с нашествием сюда китайцев, то есть рабочих рук, одна сторона таким образом решается, но другая сторона остается открытой: у нас денег нет... Надеялись мы на Русско-Китайский банк, но... банк в коммерческом отношении стоит очень хорошо. Но предприятия, которые могли бы здесь развиться, не создаются: деньги дают на краткосрочный кредит... на несколько месяцев... на такой кредит предприятия не создашь и с таким кредитом только запутаешься... А дела много, но и денег надо много... Это не Россия: здесь для дела надо весь капитал сполна, и если хоть десятой части его не хватает, то дело будет сорвано: кредита нет... Совершенно нет... А есть и золото, и каменный уголь, и руды: свинцовая, железная, соль каменная есть. Можно и сельскохозяйственную культуру вести и скот, и сахар, и табак, и пиво пойдет... Да как не пойти? Вы посмотрите, какие цены: бутылка пива рубль, фунт сахару двадцать пять копеек, хлеб, мясо... На все ведь безумные цены... Лес... Но вот лес наш: при разработке в один год с ним не провернешься, а таких здесь, которые могли бы затратить капитал на два года — нет... Возьмите другое громадное дело — рыба... Ведь такого изобилия рыбы нет на остальном побережье земного шара. Три осенних месяца, когда идет кета, чтоб метать свою икру в Амур, ее столько, что руками можно ловить. А ведь это та же лососина... За ней стадами плывут акулы, кашалоты... Два года тому назад убили в бухте кита... В лове пуд рыбы обходится копейка... Но для организации сбыта нужны пароходы-ледники, во всех европей-

ских центрах склады-ледники... Солить рыбу? нужна соль, а ее нет: немецкая соль у нас стоит семьдесят копеек, с Сахалина пятьдесят, но и не годится, и оба эти сорта соли не годятся,— они получаются вываркой, а следовательно в них и йод и натр, и все это дает негодный для продажи товар... Нужна комовая соль... Японцы здесь вертятся, но народ безденежный... Все, на что хватает их,— это удобрительными туками увозить эту рыбу к себе... Миллиона два пудов вывозят... Иностранные капиталы сюда бы... Но не идут в такие сложные дела...

— Почему?

— Положение неопределенное — боятся произвола, взяточничества...

1 сентября

Сегодня вышел первый номер новой, здесь третьей газеты — «Восточный вестник». Редакция газеты, очевидно, чистоплотная. Лучшая будущность — пятьсот подписчиков, и, следовательно, людей собрала к этому делу не его денежная сторона.

Сегодня вечер я провел в их кружке, и вечер этот был один из лучших здесь проведенных вечеров.

Хозяйка дома, госпожа М., она же секретарь редакции, из числа тех беззаветных, которые своей любовью к делу, любовью особенной, как только женщины умеют любить дело, перенося на него всю ласку и нежность женской натуры,— греют и светят, вносят уютность, вкус, энергию...

Выхлопотать разрешение, получить вовремя случайно запоздавшую телеграмму и таким образом прибавить интерес номеру, не спать ночь, чтобы номер вышел вовремя, выправлять корректуру и огорчаться от всего сердца, если какая-нибудь буква выскочила-таки вверх ногами,— вот на что проходят незаметно дни, годы, вся жизнь...

2 сентября

Сегодня вечер в морском собрании в честь принца Генриха. Мужской элемент представлен на вечере и в количественном и в качественном отношении эффектно. Большинство военных, всех сортов оружия. Из штатских налицо вся колония немцев. Налицо и весь деловой

мир города. Большинство — это люди, своими руками сделавшие себе свое состояние. Многим из них пришлось начинать снова в жизни, после выслуженной каторги, ссылки. Но здесь, на крайнем Востоке, мало обращают внимания на прошлое, руководствуясь немецкой поговоркой: за то, что было, еврей ничего не даст: важно то, что есть.

Зато дам мало, молодых и того меньше, барышень и совсем наперечет. Костюмов особых не было. Выдавалась одна жившая очень долго в Париже и, очевидно, прекрасно усвоившая все приемы великих франтих Парижа. Костюм ее бледных тонов, с нежно-лиловыми цветами, низенький корсет, лиф, схваченный на оголенных плечах маленькими бархатками, вся фигура изящная и в то же время декадентски небрежная, несколько дорогих камней, небрежно брошенных по костюму, делали ее на мой по крайней мере взгляд и взгляд моих знакомых царицей вечера.

В ее движениях, манерах — свобода парижанки, к которой, очевидно, плохо привыкает местное общество.

На первых порах, говорят, ей особенно трудно пришлось здесь; но затем все вошло в колею. Много помогло то обстоятельство, что виновница толков мало обращала на них внимания и, молодая, с оригинальной, хотя, может быть, и некрасивой наружностью, окружила себя блестящей молодежью морских офицеров.

Это ее штат, и за ужином симпатичные хозяева вечера в значительном числе откочевали за ней наверх, оставив своих гостей-немцев на попечение своих старших членов да сухопутных представителей наших войск.

Один из немецких гостей сидел и за нашим столом. Он хорошо говорил по-немецки, но ни на каких других языках не говорил, в то время как кругом его русские офицеры бойко перебрасывались на французском, английском и немецком языках. Не удалось немецкого гостя вызвать на более широкую тему в разговоре: все сводилось к его кораблю, его форме и ближайшим поездкам. Зато уверенность и снисходительность этой боевой единицы были поистине завидны. Очевидно, всех нас он считал чем-то неизмеримо ниже его стоящим. Все это чувствовали и с добродушием русских относились к своему гостю, усердно подливая ему шампанское.

Когда коснулись китайского и японского вопросов, гость-немец категорически заявил, что и тех и других надо так держать. Он при этом показал на свой кулак

и наивно улыбнулся. Поддержку он нашел в одном господине, который взялся, очевидно, научно обосновывать этот вопрос. Он заговорил о желтой расе, о том, что, как известно, раса эта имеет совершенно отличную от нас культуру, и затем искусно перешел к немецкому, русскому и английскому кулакам, так же необходимым желтой расе, как воздух, пища, сон. Немец улыбался, кивал ему головой и постоянно чокался с ним. И так как задача и заключалась в том, чтобы гость-немец пил, то господин и заслужил в конце концов признательность хозяев. Я уехал сейчас после ужина, но до шести часов утра ублажали моряки своих гостей. Многие из хозяев не выдержали этого винного боя, тогда как немцы, выпив неимоверное количество вина, все-таки на своих собственных ногах дошли до извозчика.

— О, дьяволы, как здоровы они пить,— говорили на другой день,— нет возможности споить их.

Впрочем, отдавая должное, и между нашими были молодцы в этом отношении.

3 сентября

Возвратился с вечера в час ночи, а в семь часов утра пароход, на котором я уезжал из Владивостока, уже выходил из бухты в открытый океан.

Еду я до бухты Посьета, а оттуда сухим путем в Новокиевск, Красное Село и далее, в Корею.

Утро, солнце лениво поднимается из-за хребтов бухты, еще окутанной молочно-прозрачным туманом.

Маленький пароход наш стоит на рейде, к нему подплывают лодки со всех сторон, с разного рода пассажирами: военные с дамами, японцы, китайцы. Китайцы-лодочники, китайцы-носильщики, китайцы-пассажиры, и звонкий гортанный говор их резко стоит в просыпающемся утре.

Неподвижно и безмолвно вырисовываются грозные, громадные броненосцы, со своими высоко задранными белыми и черными бортами.

Что-то типично южное во всей этой картине — краски юга, южное разнообразие наречий, говоров, цветов костюмов. На борту парохода бытовая сценка.

Полицейский осматривает паспорты китайцев: каждый приезжающий и уезжающий китаец должен платить пять рублей русского сбора. Отметка делается на паспорте. Тех китайцев, у которых отметок этих нет, поли-

цейский не пускает на пароход. Крик, шум, вопли. Китайцы, прогнанные с одной стороны, уже взбираются с другого трапа. Очевидное дело, что одному не разорваться. Некоторые уплачивают половину, третью часть, отделываются мелочью.

Полицейский пожимает плечами, жалуется нам на свое безвыходное положение и усердно в то же время прячет деньги в карман. На лицах слушающих и наблюдающих большое сомнение, кому достаются эти деньги, получаемые без всяких расписок и отметок. А денег собирается все-таки не мало с двух-трех сотен китайцев.

Возле меня моряки и военные. Речь о судах, на которых приехали к нам немцы.

— Такая же разнокалиберная дрянь, как и наши,— говорит степенный солидный моряк.

Но вот третий свисток, и заключительная картинка: полицейский спускается с трапа, а по другому стремительно бросаются на пароход массы точно из-под воды появившихся китайцев.

Полицейский уже в лодке, кричит, на минуту из-за борта выглядывает к нему капитан и машет рукой: дескать, довольно с тебя — набрал.

Полицейский — человек русский, и вся фигура его говорит, что оно, конечно, что набрал, и все довольно благополучно и благовидно вышло, он машет рукой и, обращаясь к нам, невольно сочувствующим китайцам, говорит снисходительно:

— Что прикажете делать с этим народом?

Кто-то сзади убежденно говорит:

— Хороший человек...

А пароход уже идет, лязгает якорная цепь, мы смотрим на город, склоны гор, окружающих бухту. Дальше и дальше горы спят в ясной синеве прозрачного осеннего утра.

— Будет качать?

— Пустяки...

— Ну-с, не говорите — в море мертвая зыбь.

Дамы испуганно смотрят вперед, где за береговыми теснинами еще прячется открытая даль. И долго еще пароход пробирается между этими извилистыми берегами, между островами. Там и сям взрытые кучи земли, скрытые постройки — это все батареи, телеграфные сигналы, укрепления, настолько сильные, что Владивосток считается неприступным со стороны моря.

Вот и остров, на котором два дня охотился принц Генрих. Немцы в восторге от охоты, единственной в своем роде. В моей памяти сохранилась цифра убитых оленей — сорок два.

— Это чисто немецкая манера — бить все и вся до последнего: не поедят...

Говорит офицер с манерами гвардейца, изысканно пренебрежительно бросая слова. Он тихо выпускает:

— Хамовье... Единственный граф, но и тот хуже нашего сапожника. Это ведь традиционная манера Гогенцоллернов — окружать себя исключительно низкопробной публикой... Единственно верный взгляд на китайцев и всю здешнюю сволочь...

Генерального штаба полковник, военный инженер, несколько дам и штабных офицеров замыкаются в свой кружок. Речь о Петербурге, штабе, военных делах, скандалах и скандальчиках. Грузно, по-медвежьи, в стороне сидят несколько армейских офицеров. Костюмы их трепаные, лица потертые, сильно задумчивые. Речь о командировках, прибавочных, о детях, воспитании, корпусах, и это все надо и надо.

— Гам-гам надо...— показывает штаб-офицер на свой рот.

Дамы, тоже задумчивые, прикрывают свои стоптанные ботинки и толкуют о выкройках, шляпках, модистках. Тут же денщики-няньки, носящие детей их на руках, играющие с ними, пока супруга офицера не позовет и не прикажет ему что-нибудь принести.

Звонят к завтраку,— одни идут, другие остаются.

Армейских офицеров и жен их мало за обеденным столом. Ни китайцев, ни японцев за столом тоже нет. Прислуживают проворные «бои» — китайские подростки, в синих коротких кофточках, с длинными косами. Есть поразительно красивые, мало похожие на общий тип китайца, с раздвоенными глазами. Это смуглые красавцы, напоминающие итальянца, древнего римлянина. Во Владивостоке, как раз против гостиницы «Тихий океан», строится какой-то дом, и масса китайцев работают, голые, только слегка прикрывая середину тела. Это здоровые, сильные, темно-бронзовые тела. Каждый из них прекрасный материал для скульптора. Собственно тот тип китайца, к которому привык европейский взгляд — только урод, который и здесь существует, как таковой. Но если взять другой тип китайца, то красотой форм, лица, руки, ноги, изяществом движений и манер,

тонкостью всего резца — он, если не превзойдет, то и не уступит самым элегантным представителям Европы.

Кончился завтрак, и волна уже открытого моря весело подхватила пароход и понесла на себе. Другая на смену,— хочет перехватить, не успевает, и пароход неловко падает на бок. Летят брызги во все стороны, что-то замирает в груди, пароход уже поднялся и взбирается на новый гребень волны, но, капризная, она уклоняется, и опять тяжело и неуклюже валится пароход в открытую бездну.

Что это? Качка настоящая, большая?

Да, тайфун гулял.

Еще никто никогда не спасся из тех, кто попадает в середину тайфуна. Все искусство при встрече правильно определить его центр и уходить от него... Немцы, неопытные еще мореплаватели в этих морях, чаще других платят дань грозному бичу здешних морей.

Меня не укачивает, но зато аппетит громадный. После завтрака, уже в двенадцать часов я обедал и жадно ел, мало обращая внимания на то, что из каюты несутся неприятные звуки страдающих морской болезнью. Народу мало за столом. Какой-то бедный армейский офицер, на которого качка производила, очевидно, такое же действие, как и на меня, не выдержал и сел за стол. С каким наслаждением ел он, пока жена его мучилась в соседней каюте.

А в два часа мы уже были в бухте Посьета, последней нашей русской бухте, и сразу исчезла и качка и все страхи открытого моря. Тихий залив бухты говорливо, нежно ласкаясь, расступается, сверкает переливами морская вода, и мы быстро подходим к противоположному берегу.

Вот остров — маленький сплошной утес, и миллион пеликанов, робко вытянув свои шеи и уродливые головки, смотрят на нас с острова, шумно взлетают и опять садятся: близко, и, будь ружье, сколько бы их стало жертвой скучающего охотника.

Вот и берег, ряд казенных кирпичных построек, а на одном из холмов, на черной взрыхленной поверхности, из белых камней выложен громадный двуглавый орел.

Какой-то толстый господин, из тех практиков и бывалых людей, которые везде и всегда чувствуют себя так же свободно, как в своем кабинете, подсаживается ко мне и, пока пароход медленно подвигается и бросает якорь, говорит с деловым пренебрежением:

— Я знаю, куда и зачем вы едете, здесь мы все знаем... Я ведь знаю и Корею и Китай вот как... В Корее я скупаю скот, в Шанхае у меня несколько домов...

И он сообщает мне массу полезных и практичных сведений о пока совершенно неизвестных мне странах.

О проеханных местах он говорит:

— Нет ничего, ничего и не будет здесь: относительно сельского хозяйства, убивает все туман, который здесь от июня до августа. Верст пятьдесят дальше, у китайцев, уже другое дело, там ни туманов, ни морской соли нет.

— Леса вырублены или никогда не росли?

— Были кустарники — мало... Подпочвы совсем нет...

— Скотоводство?

— Чума, сибирская язва... Маньчжур ведь и шкуру с больной скотины снимает, а скотину или съест, или так бросит, так что рассадник всегда готов, оттого и в Сибири и здесь скотоводство — одно разорение...

Пароход остановился.

— Ну прощайте... Смотрите, никакого оружия не берите,— все это глупости там насчет разбойников, а население обидите... Обращайтесь с ними, как с людьми, не кричите по-солдатски... Охота хорошая: козы есть, тигры, барсы: не дай бог с ними встречаться...

Влево и вправо идут разветвления залива, я еду двенадцать верст на лошадях до Новокиевска, и все тот же залив Посьета. Самые ничтожные работы, сравнительно, могут создать из него одну из лучших и громаднейших бухт в мире.

Все время по пути попадаются здесь и там, отдельными городками, солидные кирпичные постройки; это все наши войска — пехота, артиллерия.

Новокиевск — центр этих войск. На каждом шагу здесь лихорадочная постройка новых и новых зданий. Китайцы, корейцы, японцы — все те же исполнители. Новокиевск имеет вид настоящего городка: в нем и лавки и магазины, даже отделение Кунста и Альберса. Город военный, весь в низине и разбросался на далекое расстояние. В конце его, на дворе одного окраинного дома, расположился и наш экспедиционный отряд.

Во дворе стоят палатки, а вдоль заборов двора расположены лошади. Лошади маленькие, корейские, то и дело схватываются между собой, а корейцы-конюха

то и дело вскрикивают на них, издавая короткие, резкие звуки.

Всю компанию застал я в палисаднике за едой. Стол был устроен из ящиков, поверх которых было настлано по две доски. Еда в походных жестяных тарелочках, чай в таких же чашках.

С моим приездом экспедиция была вся налицо. Когда выступаем — еще неизвестно: паспорта не готовы, нет людей, нет ответа относительно запасных солдат, которыми предполагается пополнить кадр, нет, наконец, еще и полного комплекта лошадей. Хорошо, если выступим пятого. [...]

15 сентября

Род нашего переводчика Петра Николаевича тоже из Когнского округа. И он рассказал нам историю своего рода. Собственно, род его из старого города Коубе, где мы сегодня ночевали. Дед его был очень богатый человек. Но однажды дед его по торговым делам переплыл Туманган, то есть перешел границу. Об этом узнали, и он был приговорен к смертной казни. Тогда он бежал. Сына его высекли и потребовали, чтобы он разыскал отца, угрожая и ему в противном случае смертной казнью. Тогда и сын с семьей однажды ночью вплавь и вброд, все голые перешли границу. Имущество их конфисковали. В их доме жил камни, но с упразднением его развалился и дом.

Остальной род П. Н. Кима продолжает жить в Корее, главным образом в Когнском округе, и так как родовые связи очень сильны в Корее, то и встречают его здесь как близкого родственника.

Родовые отношения и родовая месть (еман-аман) во всей силе в Корее. Корейская пословица говорит, что жизнь одного корейца стоит иногда тысячи человек. Эта месть идет из рода в род.

П. Н., возвратившись от камни, сообщил, между прочим, следующее: он, П. Н., попросил у камни толкового проводника, который умел бы все рассказать. Камни обещал и назначил такого, который хорошо понимает по-русски. Затем проводнику строжайше запрещено было говорить что-нибудь действительное; он должен был все нам врать; не сообщать ничего из прошлого, не передавать легенд и проч.

Придумал наконец камни такую вещь. Когда спросят проводника, что нового, он должен сказать:

— Ничего нового нет, только в одной деревне собака родила кошку.

Но хуже всего было то, что проводнику были даны инструкции и дальнейшее наше путешествие обставить такими же проводниками. Родные П. Н. и сообщили ему обо всем этом.

П. Н. сердится.

— Ну, я ему и отомщу же! — говорит он.

Мы хотели осмотреть тюрьму, побывать у шамана, но все это под вежливыми предлогами было отклонено находившимся здесь полицейским. Покормив еще два часа лошадей, мы отправились дальше, по направлению к Хериону. Новый проводник наш одет по-европейски: в клетчатом желтом пиджаке, металлические пуговицы, шляпа котелком, но ноги обуты по-корейски, то есть в белые, мягкие на легкой вате чулки и туфли, которые кореец снимает при входе в комнату. Это высокий худой субъект, который весело щурится на нас и о чем-то болтает с товарищем.

— Вы говорите по-русски? — спросил я его.

Он отрицательно замотал головой.

Сели на лошадей и поехали какой-то невозможной грязной тропой в гору, на юг от города, вдоль городской стены. В глубоком овраге бежит ключ. Слабой силой его корейцы пользуются очень остроумно, устраивая толчею для обдирки проса. По лотку бежит вода в деревянную в три четверти аршина ложку. Когда ложка наполняется водой, она, перевешивая свой длинный конец, опускается и выливает воду. Затем ложка опять поднимается, а другой ее конец опускается. К нему приделан идущий к земле стержень. Когда стержень опускается, он ударяет сосуд, наполненный просом. От каждого удара часть шелухи отделяется и уносится в сторону. Таких толчей на небольшом протяжении до десяти. Они работают механически — никого возле них нет, и хотя незначительна сила ручья, но она таким образом вся использована. Чтобы дождь не мочил зерно, над толчеей устроен навесик.

У восточных ворот устроена часовня, где два раза в год камни проводит официальное богослужение. Он молится небу: перед ним ставятся три чашки рису, а вместо ладану служит ароматное дерево.

Сведения эти нам сообщает сам переводчик, что до проводника, он молчит.

Проехали верст пять, и П. Н. приводит в исполнение свою месть.

— Что у вас нового? — спрашивает он у проводника.

— Нового у нас только и есть, что собака родила кошку.

— А по-русски вы не умеете говорить?

— Не умею.

П. Н. смеется и говорит:

— Я же слышал, как вы говорили.

Проводник смущен и молчит.

— Ну,— говорит П. Н.,— поезжайте назад и передайте камни, что у нас в России еще больше чудо есть: там блоха тигра родила. Вот вам сто кеш (20 копеек) — мы одни дальше поедем.

Проводник совершенно растерялся, он поехал было назад, но потом опять поехал за нами. Мы остановились и предложили ему уезжать.

— Я боюсь ехать один назад.

Так как вблизи была деревня Даури, то мы ему и предложили ехать туда и там ночевать, дав ему еще сто кеш. Он так и сделал, а мы поехали дальше.

Дорога поднимается на утес, и мы в последний раз любуемся долиной Тумангана, затем дорога сворачивает в долину речки Камуры, приток Тумангана, и на два дня с Туманганом мы расстаемся, обходя прямой дорогой луку, которую он здесь делает.

Мы присели на утесе и смотрим на панораму гор. Солнце близко к горизонту, ярче даль дорогих, золотой пылью заката осыпанных ковров, и точно замер в воздухе последний вздох ясного безмятежного дня. Тихо кругом, природа, закат и даль гор, как нежная музыка, навевает покой души. Как будто уже был когда-то в этих горных теснинах, видел эту даль и краски ее и снова переживаешь прелесть былых ощущений.

Подсели к нам корейцы из деревни Даури. Мы их расспрашиваем. Они говорят нам, что там вон, к югу, виден уже Херионский округ; вон, вон за той горкой. А вон за той и озеро Хан-шондзе-дути, где жил родоначальник маньчжурской династии в Китае.

— Но ведь гробницы китайских императоров в Мукдене.

— Гробница там, а род отсюда, и китайцы живут за счет корейского счастья. Вот как было дело.

И пожилой кореец, в белой кофточке и черной волосяной, с большими полями и узким донышком шляпе, сидя на корточках и раскуривая свою маленькую на длинном чубуке трубочку, рассказывает нам новую легенду.

Несколько корейцев, также присев, внимательно слушают. Иногда поправляют, иногда сам рассказчик советуется с ними. Прост рассказ, трогательно наивна вера в него.

Так же верят, что это было, как то, что сидим мы теперь на высоком утесе, что у ног наших как расплавленный в огнях заката Туманган, а кругом горы, беспредельная даль их, и там дальше, куда идти нам, они все выше и выше, пока молочными очертаниями не сливаются с небом. А на горах ковры с фиолетово-золотым отливом, а там внизу в долинах уже тень и прячутся в ней уютные фанзы мирных корейцев. И все тихо, неподвижно, и только изредка в засыпающем воздухе раздастся вдруг мычанье громадного корейского быка.

И кажется минутами наше пребывание здесь каким-то сном, очарованием, в котором мы все вдруг перенеслись в неведомую глубь промчавшихся тысячелетий.

Или вдруг вошли под какие-то своды и увидели иные горизонты, иную жизнь, память о которой даже исчезла. Взрослые, как дети, весь досуг свой отдают сказкам, верят в них, возбуждая зависть к этой своей непоколебимой вере, верят в богатырей, в покойников, возможность найти счастливую могилу, всю жизнь ищут ее. Тигр, барс, тысяченожка последняя — все это те же превращенные люди. Фетишизм на сцене: луч горы, луч Большой Медведицы, оплодотворяющий женщин. Самый вид корейца — темно-пепельный, похожий на мумию, иконописный, говорит о промчавшихся над ним тысячелетиях. Кажется, коснется к этим ископаемым свежий воздух — и рассыплются они в прах.

А пока не рассыпались еще они или пока всесокрушающая культура не переработала еще их, я, пионер этой культуры, жадно слушаю и спешу записать все, чем так доверчиво делятся со мной эти большие дети.

Догорели огни заката, и в неясном просвете надвигающегося вечера исчезают волшебные очертания этого замка природы — из гор, неба, дали, дорогих ковров осени.

Сладко зевают рассказчики, предвкушая близкий безмятежный сон.

— Корейцы любят деньги? — спрашиваю я.

— Жили три брата на свете и захотели они нарыть жень-шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли они корень ценою в сто тысяч кеш. Тогда два брата сказали: «Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю». Так и сделали они. А потом каждый из них, оставшихся в живых, стал думать, как бы ему убить своего другого брата. Вот пошли они к селу. «Пойди,— сказал один брат другому,— купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя». А когда брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему его брату, тот сказал: «Если я теперь убью своего брата, мне останется и вся суля и весь корень». Он так и сделал: брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому что ею хотел убитый отравить брата. И все трое они умерли, а дорогой корень жень-шень сгнил. С тех пор корейцы не ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев [1].

16 сентября

Накрапывает дождь, обозы ушли, я работаю у двери или окна фанзы. Прямо от нее идет кукурузное поле. Немного дальше выглядывает темно-красная, камышеобразная яр-буда (просо, из которого корейцы пекут свой хлеб), еще дальше такой же камышеобразный высокий гоалин. А подъезжая, мы попали в болотистое рисовое поле, хотя здесь для рису, собственно, слишком еще холодно и урожаи его бывают очень плохи.

Я сижу, и ветер сырой, пропитанный запахом травы, гладит мне лицо. Перед фанзой наши лошади мирно жуют кукурузу. Немного в стороне Бибик, высокий хохол, солдат, для нас варит эту кукурузу и в золе жарит дикого гуся. Прямо перед дверью навесик, и под ним сидит привязанный за ногу коршун.

Хозяин фанзы с этим коршуном ходил на фазанов. Но теперь коршун меняет перья и для охоты не годится. Время его охоты с октября по апрель. В помощь ему берется собака лайка, она делает стойку, отыскивает потом коршуна с его добычей, которую он, не теряя времени, клюет.

[1] Обычай побратимства широко распространен у корейцев и очень чтится. *(Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)*

Хозяин нашей фанзы — староста здешней деревни. Это очень почтенный старик, мягкий, с пробивающейся сединой в редкой бородке. Он сам будет провожать нас, но извиняется, что не может раньше часу, так как у него суд.

Суд над беглой женой. Муж бил ее, и она убежала. Ее поймали где-то далеко и привели назад. Теперь ее будут судить.

Нельзя ли посмотреть? Нет, нельзя. После долгих переговоров мы уславливаемся так. Староста уйдет судить, а немного погодя я с П. Н. подойдем к той фанзе, где он судит, и скажем ему, что у нас к нему есть дело. Он извинится, что занят, и попросит нас подождать здесь же, в фанзе.

Так мы и сделали. Сперва отправились гулять. Улиц никаких, кривые тропинки из фанзы в фанзу, и каждая из них род дачи.

Подошли к строящейся фанзе.

Поставлен только деревянный корпус из рам полуторавершкового леса. Затем эти рамы заплетут тонким ивняком и смажут глиной с соломой. На крышу кладут плетни из конопли. С внутренней стороны крышу, служащую потолком, смазывают глиной. С наружной же стороны поверх плетня кладут овсяную солому. Ее опять смазывают глиной, а сверху кладут мелкий камыш, который и покрывают веревочной сеткой.

Посреди фанзы, ниже пола, устраиваются печные борова; они идут под всей фанзой, а затем выходят наружу, в высокую деревянную трубу, отстоящую от строения аршина на два.

Осмотрев постройку, мы пошли к фанзе, где происходил суд. Но мы пришли слишком рано. Привели только женщину, муж же ее еще не пришел.

Нас пригласили внутрь фанзы. Там уже сидели восемь судей и девятый староста — все старики деревни. В другой комнате сидела обвиняемая, на вид уже старуха, маленькая, уродливая, с выражением лица, напоминающим заклеванную птицу.

Мы вошли, извинились, что не можем снять сапоги, и сели у стены, как и другие, на корточки.

Один из корейцев предложил мне мешок для сиденья. Я снял было шляпу, но П. Н. объяснил мне, что надо надеть ее.

Лица корейцев смуглые, широкие, с редкими бородками, выглядывают ласково и добродушно. Есть и не-

красивые, но есть и очень правильные, напоминающие итальянские лица. Они стройны, высоки. Я назвал бы их даже изящными.

Мы посидели немного, встали, поблагодарили и ушли.

Хозяин расскажет нам в дороге о самом суде.

В нашей фанзе мы застали старого китайца, разносчика-торговца. У него два ящика, желтых полированных. В этих ящиках товары. Открыл один, и мы увидели тесьмы, бусы, деревянные гребешки, мундштуки, японские спички. В другом — бумажные материи, наши русские — кумач, коленкор, корейская бязь, очень недурное пике, из которого шьют себе зажиточные люди платье.

— Все? — спрашиваю я у китайца, осмотрев весь его несложный товар, вплоть до яиц, на которые корейцы выменивают у него товары.

— Самого главного он вам не показал,— сказал П. Н.,— китайскую водку — ханшина, как называют ее русские, или ходжю, как говорят китайцы, или танусцур по-корейски. Этой водкой он больше всего торгует. В Корее продажа водки разрешена беспрепятственно и не обложена акцизом.

Я попробовал этой водки — очень сильный сивушный запах, горьковатый вкус.

— Она очень крепкая,— говорит П. Н.,— если зажечь спичкой, будет гореть.

Я зажигаю, но спичка тухнет, и водка не хочет гореть.

— Воды много налил.

Китаец улыбается.

— Это дешевая водка,— говорит он.

Возвратился староста с суда. Мы застали его сидящим, по обыкновению, на корточках с своей трубкой, задумчивого и грустного.

Суд кончился. Та старуха, которую мы приняли за обвиняемую, была просто из любопытных. Обвиняемая же была женщина шестнадцати лет. Ее поймали в этой деревне и дали знать мужу. Когда муж приехал, устроили суд.

Мужу двадцать лет.

Его приговорили к десяти ударам розг, которые он тут же и получил. Одни держали за ноги, другие за голову, а помощник старосты отсчитывал удары. С десяти ударов они сняли ему несколько полос кожи.

Староста, когда били, спрашивал:

— А что, больно?

И тот благим матом кричал:

— Больно!

— Ну, в другой раз не теряй жену и не беспокой соседей твоими делами.

Староста очень жалел, что мы не досидели до конца и не были свидетелями наказания, так как чем больше свидетелей, тем это назидательнее выходит.

— А жене ничего?

— Это дело ее мужа.

— И она присутствовала при наказании?

— Да. Затем они уехали оба к себе домой. Он не мог сидеть и лежал в арбе, а она правила.

— Но если она убежит?

— Тогда еще больше накажем: не убежит.

— Но он из чужой деревни?

— Это только честь ему. Если б начальник чужого города наказал его, это переходило бы, как заслуга, из рода в род.

«Вот оно откуда идет,— подумал я,— эта проповедь некоторых из наших культуртрегеров об отсутствии позорности в телесном наказании».

Дождь опять. Мы едем узкой долиной, тучи легли на горы и все ниже и ниже опускаются прямо на нас.

Это уж и не дождь, а что-то мокрое, и вода бежит с наших дождевых плащей. Плащи корейцев из концов конопли, искусно связанных концами вниз. Они похожи в них на колючих дикобразов.

Все выше и выше долина, все уже, уже, все каменистее почва. Груды камней лежат в кучах — это камень с полей, но и на полях его еще больше, и все наши плуги изломались бы здесь.

А вот и перевал Капхарлен, на высоте семидесяти сажен. Дорога почти отвесно лезет в гору, вечереет, совсем темнеет, и проводник наш наконец заявляет, что дальше не пойдет, так как его лошадь чует «его».

— Кого «его»?

— Не к ночи сказать — тигра. Здесь никто никогда не ездит ночью, и днем ездят только партиями.

Мы почти силой увлекаем проводника.

— В таком случае дайте мне хоть помолиться.

С каким усердием он молится перед кумирней. Он совсем влез в нее и кланяется, кланяется.

Мы едем дальше и после двухчасовой переправы спускаемся благополучно в глубокую долину.

17 сентября

Я сижу в фанзе Ким-хи-бой деревни Баргаири. У самой фанзы несется теперь разлившаяся в большую реку Пансани-ханури.

Мы у подножья перевала Капхарлен.

Мелкий дождь и туман закрывают ущелье.

Ущелье, которому позавидует и любое кавказское. Вода гулко шумит, и под ее гул я слушаю прекрасные рассказы здешних горцев. Доверчиво, как дети, они сидят на корточках — человек десять — и внимательно, серьезно объясняют моему переводчику.

Очень сложный вопрос мы обсуждаем. Вопрос их религии.

Будда, Конфуций, шаман, обожание гор — все это смешалось и составило религию простого человека в Корее.

Миллион вопросов с моей стороны — прямых, перекрестных, и полдня ушло, пока получилось нечто связное, передаваемое бумаге.

Здесь же проводник из Ауди, почтенный старик Ким-ти-буан. Здесь и житель Южной Кореи, Ан-кугуни из провинции Пиандо. И когда все они кивают головами, осторожный и пунктуальный П. Н. Ким переводит мне. Многое он и сам знает, но не доверяет себе и, по моей усиленной просьбе, по нескольку раз переспрашивает.

Вот сущность и результат всех вопросов.

У человека три души. Одна после смерти идет на небо (ханыр); ее несут три ангела (бывшие души праведных) в прекрасный сад (син-тён). Начальник сада Оконшанте спрашивает ее, как жила она на земле, и в зависимости от греховности или чистоты этой жизни, чистосердечности передачи всех грехов определяет: или возвратиться ей обратно на землю в оставленное тело, или оставаться в прекрасном саду, или переселиться в тигра, собаку, лошадь, осла, свинью, змею.

Есть души, обреченные на вечное переселение: это убийцы и разрушители династий.

Вторая душа остается при теле и идет с ним в землю (ее несут тоже три ангела), в ад, к начальнику ада, Тибуану.

Третья душа остается в воздухе, близ своего жилья — ее несет один ангел.

О первой душе забота живущих заключается в том, чтобы дождаться распоряжения начальника сада, на случай, если он возвратит душу назад в тело.

Это может случиться через три дня, пять, семь — всегда в нечетные дни.

Шаман, или вещун, или предсказатель — тоин, или просто составитель календаря счастливых дней и празднеств саат-гуан в точности называют этот день похорон. У богатых не хоронят иногда до трех месяцев. Тело тогда кладут в парадную комнату фанзы, кладут туда же и пищу и замуровывают эту комнату. Вообще торопиться с похоронами не следует — это неприлично, это неуважение к памяти усопшего.

Заботы о второй душе — душе тела — заключаются в том, чтоб выбрать телу счастливую гору. Корейские горы представляют из себя множество отдельных вершин, холмов. Все эти холмы и вершины утилизируются для кладбищ. Найти счастливое место — большой труд. По нескольку раз приходится вырывать тело и переносить его на новое место.

Вчера в дождь и в непогодь мы встретили по дороге таких мучеников, несших уже сгнившее тело. На двух жердях они несли тело, обернутое в корейскую, маслом пропитанную бумагу. От трупа невыносимо разило.

— Почему вы несете его на новое место?

— В нашем доме заболел ребенок, и шаман приказал перенести тело его деда на другое, более счастливое место. А сегодня именно тот счастливый день, когда назначен перенос.

Счастливая гора, выбранная для покойника, дает все — счастье, удачу, служебную карьеру. Он богат, потому что выбрал удачную гору отцу, он министр по той же причине.

Есть святые горы. Кто умеет найти их для своих предков, в роду того когда-нибудь будет богатырь.

Забота о третьей душе[1] никогда не прекращается: то ее надо покормить, и шаман назначает зарезать свинью, сварить рису и нести на гору, где стоят молельни — кучи камня под навесом, то тот или другой предок обиделся, и опять надо его умилостивлять той же свиньей (чушкой) и вареным рисом. Вообще эти души воздуха — беспокойный народ, и возни корейцу с ними выше головы. Блудливые в жизни, они остаются такими же и после смерти, являясь таким образом точным снимком с того, кто жил когда-то.

---

[1] У китайцев тоже есть нечто подобное: душа дыхания. *(Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)*

Над жизнью и смертью распоряжается идол ада, Тибуан. По своим спискам он вызывает с земли чрез свою администрацию очередных. Но оказывается, что и там возможны подтасовки. Так, однажды умер некто Пак из Менгена. Внук этого Пака, умерший значительно раньше и успевший попасть в администрацию Тибуана, сейчас же узнал деда, но, не показав и вида, сказал Тибуану:

— Вот произошла ошибка: мы требовали Пака из Тангена, а пришел из Менгена.

— Исправить ошибку,— сказал Тибуан.

Таким образом Пак из Менгена возвратился в свое тело и потом рассказывал, при каких обстоятельствах увиделся он со своим внуком.

Дождь все идет, вся фанза протекает. Платье, промокшее вчера в дороге, промокло за ночь еще сильнее, спички отсырели.

— Давно в этой фанзе был покойник?

— Два года назад. Только что сняли траур.

— Будут его еще переносить?

— Будут.

— Сколько времени его держали в фанзе?

— Семнадцать дней.

— В какой комнате?

Показывают, где стоит моя кровать.

— От какой болезни умер?

— От оспы.

— Может быть от черной?

Долгие переговоры.

— Они не знают,— говорит П. Н.

— А что он спросил вдруг о наших покойниках? — встревожились робкие корейцы.— Может быть они ему снились? А если снились, то что говорили?

Но я поспешил успокоить их и объяснить, что заговорил о покойниках только потому, что вообще зашел разговор о загробной жизни.

Затем, так как все было готово к отъезду, мы простились с ними, поблагодарили и уехали.

Река бушует и рвется. Коротенькие волны с белыми гребешками с стремительной быстротой мчатся, догоняя друг друга.

Туман и тучи рассеялись, видно голубое небо, собирается солнце выбраться из последних туч. А кругом теснятся горы, здесь уже поросшие мелким лесом.

Говорят, прежде здесь рос когда-то большой, высокий лес. Историю его исчезновения можно наблюдать и сейчас. По скату гор там и сям уже идет распашка.

В других местах к ней подготовляют только поля, выжигая кустарник. Такие распашки замечал я здесь на склонах очень крутых, не более двойного откоса. Выше этих распашек места только для коз да их спутников — барсов и тигров.

Проехав версты две, мы начали переправляться на другой берег. Бытовая картинка. Завтра у корейцев годовой праздник в честь урожая. Сегодня они поминают родных и готовят мясо для завтрашнего дня.

Большие группы, человек в тридцать корейцев, на этой и на той стороне. Многие из них до пояса голые, и их бронзовые тела сильны и мускулисты. Они все вокруг разрезанных кусков свежего мяса.

Эти тела, длинные волосы, завитушки на голове напоминают одну из картин Эмара или Купера с краснокожими.

Началась очень неудачная переправа: у Н. Е. лошадь вдруг легла или споткнулась посреди реки. Вследствие этого они оба на мгновение скрылись с глаз. Затем сейчас же опять показались и оба возвратились назад. Н. Е. ни на мгновение не потерял своего философского спокойствия и сейчас же принялся просушивать записные книжки, паспорта, револьвер, ружье, барометр, шагомер. Одного из наших корейцев свалило водой хуже, на более глубоком месте. Лошадь скоро оправилась, но корейца понесло вниз. Кое-как выплыл он к берегу и, ухватившись за ветви, взобрался на другую сторону.

Все-таки перебрались, но подмочили весь обоз. Поэтому, разбив палатки, принялись сушиться. Корейцы окружили нас, и вот мы теперь в их обществе. Они деликатны, вежливы, принесли (за деньги, конечно) снопы кукурузы, чумизы, ячменя.

Узнав, что на горах у них растет дикий виноград, я попросил принести его, и теперь возле меня большая корзина черного, сладкого, но мелкого винограда.

Н. Е. ушел на охоту за козами. На всякий случай он взял и дробовик и винчестер. С ним пошел один из наших корейцев, а другой, здешний, показывает места.

П. Н. долго вызывал охотников.

— Не идут,— объясняет он нам,— боятся Н. Е.

— Скажите им, что это нам надо их бояться,— нас, русских, пять, а их сколько.

Наконец, согласились, когда я предложил и нашего корейца.

На берегу реки, повалив лошадь, два корейца подковывают ее. В другом месте группа корейцев сидит на корточках и курит свои трубки. Через реку голые корейцы переносят наши вещи. Все это картинки, и надо идти за аппаратом. Я снимаю все группы, а П. Н. объясняет им, что я делаю. Они смеются и все хотят попасть на изображение.

После съемки я раздаю детям сахар.

Маленький мальчик, грустный и миловидный, уже с закрученным наверху хохолком — признак женатого человека: он уже женат.

Так уютно разбился наш лагерь под группой деревьев, так живописна река и округа. Вот подходит кореец в волосяной шапке, вроде нашей камилавки, с широким раструбом кверху — это дворянин. Вот идет другой, в белой шапке, вроде тех, которые когда-то надевали в школах — ослиные уши: это шапка неглубокого траура. При глубоком же — весь костюм от шапки до башмаков должен быть белого цвета. Вообще белый цвет национальный и любимейший у корейцев.

Сегодня вечером у меня опять собрание корейцев из соседней деревни. Во главе их дворянин. Он, оказывается, и староста у них. По требованию П. Н. я оказываю ему особый почет: жму, как и он, двумя руками его руку, посадил его на походный стул, подарил ему какую-то безделушку, а главное, угостил всю компанию коньяком. Немного, но достаточно для того, чтобы развязать им языки. Дворянин недоволен современным положением дел.

— Прежде в Сеуле за звание давали должности, потом эти должности покупали, а теперь их никак не получишь: пришли *другие* люди и все взяли. Наша страна бедная, только и были, что должности — должности отняли: что остается корейцу?

Он спросил:

— Отчего другие народы богаты, а корейцы бедны?

Я отвечал, что у корейцев много естественных богатств, но нет технических знаний. Без таких же знаний в наше время нельзя быть богатым. Эту мысль и развил ему примерами вроде моего путешествия со скоростью двадцати верст в сутки в сравнении с железной дорогой, с тысячеверстной скоростью в то же время.

— Да мы уж строим такую дорогу, но без знаний мы не будем и пользоваться.

Я ответил, что корейцы народ способный и раз начнут заниматься, то так же скоро, как и японцы, догонят европейцев.

— Северная Корея от России примет науку.

— Если Корея этого захочет, Россия считает корейцев братьями.

— Мы хотим, а как другие — мы не знаем.

После коньяку речь зашла об обычаях, преданьях, религии. Произошла таким образом проверка и прошлого, услышали мы и три новых рассказа.

В этих рассказах характеристика бонз (монахов) как распутных людей и пьяниц.

Вечер закончился генеральным осмотром наших вещей.

Между прочим выяснилось, что дворянин знает только китайскую письменность, а корейской женской не знает, что делает его, живущего среди простого населения, неграмотным человеком. Но уж так принято, что дворянину неприлично знать женскую грамоту простого народа.

К дворянину остальные относятся с большим уважением: подают ему двумя руками, спрашивают каждый раз разрешение принять от меня угощение. Сыну своему, женатому, лет двадцати, он не разрешает ни вина, ни коньяку.

Выкурив свою трубку, он опять набивает ее, и сын идет к костру, принимая каждый раз и подавая отцу трубку двумя руками.

Почему-то все эти отношения, и эта длинная трубка, и даже аромат табаку напомнили мне самое раннее мое детство в доме моего деда, типичного дворянина и помещика Малороссии.

На прощанье дворянин взял мою левую руку, перевернул ладонью вверх и стал рассказывать мне мою судьбу. Я буду жить до девяноста лет — об этом говорит линия, уходящая к кисти руки. Это же говорит на основании хиромантии Н. А. Линия к третьему, безымянному пальцу говорит о способностях, чем она больше, чем больше разветвлений, тем больше и способностей.

И это сходится с тем, что говорит Н. А.

— Вот приедем в Херион, — говорит П. Н., — там настоящие предсказатели: они вам все расскажут...

19 сентября

Сегодня назначена в Херионе дневка, и потому мы с Н. Е. надеялись поспать лишнего, но не пришлось.

В шесть часов раздались где-то близко какие-то мелодичные завывания, ближе, ближе, и наши двор, комната наполнились вдруг этим странным восточным пением, завыванием.

Неумытый П. Н. просунул взволнованное лицо и шепнул:

— Начальник города.

— Скажите, что мы очень извиняемся, что мы еще в постели, что не пришел обоз, где наши вещи. Когда придет, мы сами будем у него.

Опять заглядывает П. Н.

— Начальник счел своим долгом, ввиду того, что такие знатные иностранцы посетили его город, осведомиться об их здоровье и спросить, довольны ли помещением.

— Мы очень довольны и от всей души благодарим.

Некоторая пауза, и затем крик десяти голосов, что-то вроде нашего «ура», и затем опять мелодичное завывание.

Мы высунули голову и смотрим вслед. На носилках сидит высокий, старый уже человек. Он в белом костюме, черной волосяной шляпе, а поверх белого костюма фиолетовая туника. Носилки устроены с возвышением, покрытым барсовой шкурой, на которой и сидит начальник (кунжу). С двух сторон его идут двое с алебардами, впереди разноцветный фонарь, около него молодой мальчик, его адъютант, передает распоряжения старшему палачу, этот же в свою очередь громко выкрикивает то же своим исполнителям — младшим палачам. Вся свита кунжу человек десять, которые и идут гуськом за ним.

Завывания уже далеко, но сон пропал.

— Что они кричат?

— Кричат, чтоб все давали дорогу. Когда идет начальник, надо уходить или, пригнувшись, давать дорогу, проходить не смотря.

Начальник едет в громадных китайских очках. При встрече с ним все остальные должны снимать свои очки. При встрече и поклонах друг с другом они тоже обязательно снимаются.

Напились чаю, я сел за работу, все наши отправляются посмотреть город, кроме Бибика.

— Что там еще смотреть? У нас в Томской губернии...

Он не договаривает, что у них там, в Томской губернии. Да что и договаривать, когда все и без того ясно: Бибик ложится спать, поэтому и спит весь день.

К двум часам приходит обоз, мы одеваемся и идем к кунжу. Его чиновник ждал нас и теперь ведет к своему шефу. За нами идут дети, корейцы, выглядывают корейки. Одни стыдливо, другие уверенно. Одна стоит с большими глазами, с совершенно белым, здоровым лицом, красивая даже с нашей точки зрения. У нее в глазах уверенность и некоторое даже презрение, пренебрежение.

— Веселая вдова,— говорю я П. Н.

П. Н. осведомляется, и оказывается, что веселая вдова попросту проститутка.

— Как вы догадались? Она была у прежнего кунжу фавориткой, а этот новых набрал, эта недовольна.

— Откуда набираются проститутки?

С тем же вопросом П. Н. обращается к толпе корейцев, долгий разговор, поправки и затем перевод П. Н.

— Проститутки набираются со всех сословий...

— Я считал, что собственно танцовщицы поставляются исключительно сословием городским — среднее нечто между крестьянами и дворянами.

П. Н. перебрасывает вопрос в толпу, и энергичный крик в ответ:

— Это неверно. Вот как это бывает в каждой семье. В три года предсказатель, по-вашему шаман, по-корейски тоин, определяет будущность девушек. Бывает так, что девушке назначено умереть, а проституткой она останется живой, такую и назначают... Только это последнее дело...

П. Н. делает соответственную гримасу. Он переводит свою мысль толпе, толпа делает такие же гримасы, сочувственно кричит и отплевывается.

— Вот еще проститутка.

Тоже белолицая женщина, рыхлая, с неприятным лицом, стоит и громко разговаривает с толпой.

Но с ней разговаривают, и пренебрежения к ней не видно.

Я сообщаю это П. Н.

— Ну, конечно,— говорит он,— тоже человек, чем она виновата.

Мы проходим через целый ряд памятников кунжу, прежних пусаев, и подходим к дому с затейливыми, на китайский образец, черепичными крышами. Деревянная арка, на ней громадный барабан, в который бьют вечернюю зорю.

Там, на этой арке, сам кунжу со свитой... Увидев нас, он поспешно идет во двор.

Перед нами отворяют средние ворота, в которые входит только кунжу.

Мы входим во двор и поднимаемся по ступенькам под большой навес. В стороне лежат корейские розги: длинные, гибкие линейки, аршина в два, с ручками. Здесь происходят судбища.

К нам идет навстречу начальник, мы жмем друг другу руки, он показывает на дверь. Мы входим в комнату сажени полторы в квадрате. Посреди ее накрытый белой скатертью стол, по бокам четыре табурета: два из них покрыты барсовыми шкурами. На них садят меня и Н. Е. На два других садятся кунжу и П. Н.

Начинается разговор, как высокие гости доехали? Как нравится им страна и люди?

Мы хвалим и страну и людей, благодарим за гостеприимство. С введением технического образования предсказываем спокойную и безбедную будущность народу корейскому.

— Образование необходимо,— говорит старик,— мой сын третий год уже в Петербурге. Корея может жить, если другие великие народы не уворуют их страну. Кореец может сопротивляться, но это будет большой грех. Слава богу, избавились от китайцев, но теперь японцы захватывают: они жадны, корыстолюбивы, двуличны. Мы за их доллар даем пятьсот кеш, а между тем это уже вышедшая из употребления монета, и во всем остальном мире стоимость ее то серебро, которое в ней. На сто кеш не будет. Три миллиона нищий корейский народ бросает так японцам.

Он не любит японцев. Его, вероятно, за это прогонят скоро, но он говорит то, что думает.

Предполагать двуличие нельзя было, хотя бы потому, что в дверях и окнах стояло множество народу, который внимательно слушал. Удивительно в этом отношении жизнь на людях здесь проходит. К этому приспособлено все вплоть до этих домов, где в одном конце слышен шепот с другого, эти бумажные двери. Затворите их, про-

делают дырки пальцами, и десятки глаз опять наблюдают каждый ваш шаг.

— Вот это мой второй сын, это третий, от наложницы,— говорит начальник города.

— Прежде и в Корее были законные и незаконные дети, но вот,—это уже было давно,—с каких пор все изменилось. У одного министра не было законного сына, и согласно обычаю он должен был усыновить кого-нибудь из своего законного рода, чтоб передать ему свои права и имущество. Выбор его пал на племянника. В назначенный для церемонии день, когда собрались для этого в дом министра все знаменитые люди и прибыл сам император, вышел к гостям незаконный десятилетний сын хозяина, держа в руках много заостренных палочек. Каждому из гостей он дал по такой палочке и сказал: «Выколите мне глаза, если я не сын моего отца».— «Ты сын».— «Тогда выколите мне глаза, если мой двоюродный брат сын моего отца».— «Но он не сын».— «Тогда за что же вы лишаете меня, сына, моих прав?» — «Таков закон»,— ответили ему. «Кто пишет законы?» — спросил мальчик. «Люди»,— ответили ему. «Вы люди?» — спросил мальчик. «Мы?» — Гости посоветовались между собой и ответили: «Люди».— «От вас, значит,— сказал мальчик,— и зависит переменить несправедливый закон». Тогда император сказал: «А ведь мальчик не так глуп, как кажется, и почему бы действительно нам и не переменить несправедливого закона?»

И закон переменили, и с тех пор в Корее нет больше незаконных детей.

— Это так,— кивают в окнах и дверях серьезные корейцы, и беседа наша продолжается дальше.

— Правда ли, что дворянство уничтожено в Корее? — проверяю я сообщенные мне сведения.

— Дворянство осталось, но в правах службы все сословия сравнены в тысяча восемьсот девяносто пятом году.

— А рабство?

— Собираемся и его уничтожить.

На стол поставили, справившись о том, что мы уже обедали, корейские лакомства: белые и красные круглые конфетки (мука с сахаром), род фиников, китайские пряники темного цвета, сладкие, из рассыпчатого теста. Подали чай и коньяк. Этот коньяк я узнал по бутылке — это дар наших, уже побывавших здесь.

— Это мне подарок.

Тогда и мы принесли ему свои подарки: полсотни сигар, сотню папирос, подносик с приспособлениями для сигар.

— Очень, очень благодарен.

— Не хочет ли начальник сняться?

— О да, очень хочет. Можно со всеми наложницами, проститутками и служащими?

— Можно, можно.

Н. Е. берется за это дело, а я ухожу.

Н. Е. по возвращении передает впечатления. Кунжу снимался один и со всеми вместе, но двух жен не показал: старшая жена в имении, а другая не совсем здорова. Вечером он еще раз придет к нам.

П. Н. нашел нового проводника — он знает много рассказов, хорошо читает. Мы купили большую, в семи частях, корейскую повесть. Будем читать ее в дороге.

Новый проводник и толпа корейцев сидят в моей комнате, и я задаю разного рода вопросы.

Больше всего идет проверка прежних сведений.

Наш китайский переводчик, Василий Васильевич, ходил к своим.

— Хорошие люди?

— Все хунхузы (разбойники),— уныло сообщает В. В. Он больше всех боится этих хунхузов и трепещет при мысли, что мы идем в самое их логовище — Пектусан.

Смерклось, и скоро раздались заунывные звуки — начальник идет. Когда пение неслось уже со двора, я вышел, мы пожали друг другу руки, и он пошел в комнату.

Мы усадили его на походном стуле и стали угощать икрой, ветчиной, сардинками, а главное, коньяком.

— Это наш предводитель дворянства,— указал кунжу на одного из стоявших.

Это с полным лицом средних лет человек, в своем длинном костюме похожий на доминиканского монаха. Лицо его льстивое и подобострастное.

Я попросил его присесть. Но он так и не сел.

Каждый раз, подавая ему коньяк, П. Н. спрашивал разрешения у начальника.

Предводитель дворянства кланялся, брал рюмку, как-то уморительно выворачивал в сторону шею и лицо и выпивал все, что ему давали. Принимал двумя руками

закуску и, отворачиваясь, ел. Остальным начальник запретил пить.

В конце концов начальник заговорил по-русски.

Рассказал, как бывал он во Владивостоке, как ездил по железной дороге.

— Мне везло в жизни,— говорил он своему предводителю,— я обедал со всеми знатными людьми: во Владивостоке — с губернатором, в Хабаровске — с генерал-губернатором, на Камне-Рыболове — со становым.

Просил нас очень скорее строить железную дорогу, показал образцы каменного угля в двух верстах от Хериона в горе Саа-гори.

Я предложил ему попробовать вермуту, а он добродушно сказал:

— На сегодня довольно, а лучше оставьте мне эту бутылку, завтра, скучая и вспоминая о любезных гостях, я выпью ее. Это мой адъютант,— показал он на юношу,— и я его очень люблю, и он всегда спит со мной.

Принесли сладкое: халву, карамели.

— Нет, я не ем сладкого, лучше выпьем на прощание.

Он заставил выпить меня, и я сказал:

— Я пью за гостеприимный, ласковый народ корейский, я желаю ему блестящей будущности и желаю, чтоб никто не мешал ему развиваться.

Все корейцы приветливо закивали головами, а начальник сказал:

— Мы хотим русских,— у которых денег много, а японцы еще беднее нас.

— Возьмите вашим детям,— дал я на дорогу начальнику конфет.

— Вот мои дети,— показал он на толпу, стоящую у двери.

И он отдал им все конфеты.

— Сладкое я им позволяю: не позволяю вино, но курить и сидеть нельзя при мне.

Затем мы простились.

Ночью еще эффектнее эти завывания, разноцветный громадный фонарь и белая гуськом стража.

После их ухода мы стали есть приготовленный нам корейский обед, состоящий из семи закусок (на юге девять),— чиртеби, курица варенная с бульоном, жаренное в чесноке мясо, нечто вроде бефстроганов, и чашка рису вместо хлеба. Все съедобно и вкусно.

20 сентября

Шесть часов, но уже заглядывает в дырочки десяток детских глаз. К сожалению, дети грязны и запах от них тяжелый, иногда прямо нестерпимый. Воздух комнаты отравлен этим запахом. Лучше скорее вставать да отворить бумажную дверь — по крайней мере проникнет и свежий воздух.

После вчерашнего пиршества много покраж: пропали чайные ложечки, много консервов и разных мелких вещей. Хуже всего, что исчезла часть патронов,— могут наделать себе массу зла.

Нигде до сих пор ничто не пропадало у нас. Правда, случаи мелкого воровства в Корее подтверждаются и другими путешественниками, но где их не бывает? И в уличной толпе Лондона разве их меньше?

Пока укладываются, сходил в город и снял несколько видов: лавок, улиц, харчевен с их лапшой, женщин, носящих сзади на спине своих детей. И девочка лет десяти тащит такой непосильный груз, обмотанный тряпкой. В открытые двери фанзы видны работающие, наполовину голые женщины.

Вот у лавочки стоит миловидная женщина в своем костюме — белая юбка, кончающаяся белым поясом, открывает голую спину, и пока ей отвешивают, она стоит со связками кеш в руках.

Вот во дворе раскинута палатка. Это годовщина смерти, и все знакомые идут к ним с визитом в этот день.

Едят, пьют и поминают.

У лавок сидят, поджавши по-турецки ноги или на корточках.

У здешних такой же, как и у наших купцов, уверенный вид и презрение ко всему, кроме денег.

Перед нами южные ворота, и через них то и дело проходят женщины, неся на головах высокие кувшины с водой.

За ними толпа ребятишек и всякого народа. Все приветливы, вежливы и расположены.

Слышится ласковое «араса» (русский).

Подходит старик и горячо говорит что-то П. Н., тот смеется.

— Что он говорит?

— Говорит, что араса хорош, только солдат араса нехорош.

Старик с сожалением кивает мне головой.

Чтоб кончить о Херионе, следует сказать, что в нем 1000 фанз, 6300 жителей, 100 быков, 50 коров, 30 лошадей и 1000 свиней. С трудом достали семь пудов продажного ячменя, нашли только пять продажных яиц.

Сборы кончены. Один из наших рабочих, кореец Сапаги, длинноногий, худой, в пиджаке и котелке, под которым корейская прическа, уже сидит на лошади и что-то горячо кричит.

П. Н. переводит. Он заступается за корейцев по поводу мелких пропаж. Их просто привлекает блеск и цвет.

— Это нет карапчи,— весело кричит он мне.

Словом «карапчи» он определяет воровство.

— Ну, с богом.

Бибик не готов. У него стащили обороть и нечем увязать вьюки.

— Як начну сшивать вас...— ворчит он.

— Что значит сшивать? — спрашиваю я.

— По шее бить,— нехотя отвечает он.

— Нет уж, пожалуйста, если не хотите лубенцовской истории, которую знает всякий кореец,— говорит П. Н.

— Да вы что обижаетесь,— говорю я Бибику,— у нас в России больше крадут.

— Так в России хозяин отвечает, а тут напустят всякого сброду...

Мы тронулись наконец и, извиваясь в узких улицах города, идем к южным воротам.

Идет красивая бледнолицая корейка. Она несет на голове кувшин, и походка ее какая-то особая, сохраняющая равновесие.

Лицо Бибика расплывается в самую блаженную улыбку. Весь гнев сразу пропал.— «Красива, проклятая...»

А через несколько верст я спрашиваю его, как обошелся он без недоуздка.

— А украв ихний. А що ж вони будут таскать, а мы... и мы будем.

И он въезжает в самую середину их посевов, чтобы лошади поели чумизы.

— Бибик, а в России хозяин за такую потраву что сделал бы?

— А хиба ж мы в России? — успокаивается Бибик.

Верстах в двух от Хериона стоят два высоких деревянных столба с перекладинами. На них герб города Хериона — два диких гуся и между ними вилы, вернее, трезубое копье.

Эти ворота поставлены от лучей злой горы. Это копье пронижет этот луч. Гуси же —эмблемы весны и тепла.

Часто на воротах фанзы есть такие надписи: «Пусть в эти ворота скорее войдут весна и лето, несущие с собой все радости».

Недалеко от дороги памятники какого-то родового кладбища: мраморные доски в три четверти аршина длиной, пол-аршина шириной. По обеим сторонам две плиты с выпуклыми изображениями человеческих фигур — это рабы по двум сторонам,— они были у покойного при жизни, будут и после смерти.

Иногда на таких кладбищах стоит высокая балка с райской птицей на ней. Птица вроде цапли, на длинных ногах. Это те, которые при жизни получили от императора похвальный отзыв на красной бумаге.

Вот деревня в пятнадцати ли от Хериона — Пикори, что значит деревня памятников.

Здесь, при сменах, старый начальник города встречает нового и вручает ему государственную печать.

Здесь же множество памятников бывшим начальникам, и дальше по дороге все такие же памятники. На одном из них что-то написано.

— Что это?

— Здесь написано, какое счастье отдохнуть здесь и полюбоваться видом этой долины. Это не относится к памятнику, это так написал какой-нибудь отдыхающий кореец,— объясняет П. Н.,— устал, вот и понравилось ему.

— А то что за памятник на горе?

— Это памятник добродетельной женщине. Это очень почтенный памятник,— об нем у императора просят все жители округа.

— Чем она знаменита, эта женщина?

— Она была добродетельная жена.

— Это первый памятник, который мы встретили; разве только одна и была до сих пор добродетельная жена, и кто удостоверил ее добродетель? — недоверчиво спрашиваю я.

И мне рассказывают прекрасную, глубоко альтруистическую сказку о добродетельной жене.

На двадцать третьей версте бывшая застава — Капунсам.

Она обнесена серой каменной стеной. Время наложило на нее свою печать,— она развалилась, от прежнего

города осталось всего тридцать фанз, зелень пробралась в стену, в черепицу, и это соединение зелени и серого камня при солнечном блеске ясного осеннего дня, при остальных общих красно-желтых, золотистых тонах, составляет ласкающий и манящий глаз контраст.

Но боже сохрани взобраться на такую стену и доверчиво лечь в ее зелени.

Множество ядовитых змей ужалят, и через несколько минут наступит смерть.

Так умерла здесь красавица девушка, когда родители насильно заставили ее выйти замуж за нелюбимого.

Она надела свое свадебное платье и в нем ушла. Никто не смел за ней следовать, а она шла по стене, пока не дошла до густой ее зелени, и легла там.

Все время дорога идет живописной долиной речки Чон-кан-мун. Те же горы, та же кукуруза, чумиза, но больше лесу, и широкие ветлы низко склонили свои ветви к волнам быстрой прозрачной, как хрусталь, холодной реки.

Под этими ветлами там и сям поэтичные фанзы. Юноши-корейцы в косах, в женских костюмах, мечтательные и задумчивые, как девушки.

Мы ночуем в восьмидесяти ли от Хериона, в деревне Чон-гор, в том ущелье долины, где, кажется, горы совсем преградили ей путь.

Весело вьется синий дымок костра в синее небо, колеблется его пламя и неровно освещает группы сидящих кругом нас корейцев.

— Пришел рассказчик,— пронеслось по деревне, и все собрались и слушают молодого двадцатилетнего только что женатого юношу.

Он в своем беленьком дамском костюме и шляпе, как институтка, застенчивый, говорит свои сказки. Иногда они поют их.

Времена еще Гомера у корейского народа, и надо видеть, как любовно и серьезно они слушают. Лучшие рассказчики на устах у всех, и П. Н. безошибочно делает свой выбор.

Сказки о предках, о счастье.

Для счастья кореец носит своих покойников с места на место, меняет чуть не каждый год название своей деревни, ищет счастливый день в календаре, у предсказателей.

И на склонах гор его растет дикий виноград, в долинах дикие яблони, вишни и сливы, в горах золото, желе-

зо, серебро, свинец и каменный уголь. Но ничего этого не надо корейцу: ему нужны сказки о счастье. И сказки о счастье дороже ему тяжелых денег, тощей пашни.

22 сентября

Опять мы движемся.

Спустились с гор. Опять долины шире, но горы выше, уютные фанзы в долинах, и на неприступных скатах гор — пашня.

— Но как они снопы оттуда спускают?

— На волокушках.

На привале мы осматриваем корейскую соху. Род нашей сохи, и пара быков в запряжке. Прежде земледельческие инструменты корейцы сами делали, теперь все больше и больше привозят их из Японии, где работают их лучше.

Едем дальше... Попадаются опять редкие арбы парами в ту и другую сторону. Из Мусана везут березовую кору, в которую обертывают переносимого из одной могилы в другую покойника. При любви корейцев возиться со своими покойниками это видная отрасль торговли — в березовой коре не гниют кости.

Спрашиваю я проводника корейца:

— Кто сотворил небо, землю?

— Землю создал человек, а небо Оконшанте.

— А Оконшанте кто создал?

Выходит так, что тоже человек. Что-то не так.

Мы останавливаемся в деревне, собираются корейцы и горячо спорят. Понемногу побеждет один почтенный кореец.

— Земля сама создалась, а небо создал Оконшанте, да и человека тоже Оконшанте.

Невдалеке монастырь женатых бонз. Они сеют хлеб и живут сообща.

К закату показался Мусан, весь окруженный безлесными, фиолетовыми от заката горами.

Лес кончился, как только спустились с последнего перевала.

Мусан — значит запутанный в горах. Гор действительно множество самых разнообразных и причудливых форм: вот громадный крокодил глотает какого-то зверя поменьше. Вот тигр изогнулся и присел, чтобы прыгнуть... А в розовом пожаре облака дорисовывают фантазию гор, и не разберешь, где сливаются горы земли с горами неба.

Сумерки быстро надвигаются, и скоро ничего не будет видно.

Но город уж близко. Он уютно расположился на скате долинки, окруженный стеной, с четырьмя китайскими воротами, с деревянными столбами для отвода лучей злой горы.

— Отчего в корейских городах нет монастырей?

Проводник устал и отвечает: «Нет и нет».

Вот и Мусан.

Какую чудную фанзу нам отвели. Под черепичной крышей четыре чистых комнатки все оклеенные корейской серо-шелковистой бумагой.

Шум, крик, восторг толпы и ребят.

Скорее есть и спать. О, как приятно лечь и вытянуться. Но много еще работы, пока заснешь: технический журнал, дневник, рассказы, астрономические наблюдения, английский язык, и надо еще послушать после ужина собравшихся корейцев: расскажут, может быть, что-нибудь, дадут сведения о таинственном Пектусане, об ожидающих нас там хунхузах, о тиграх и барсах.

Ив. Аф. докладывает:

— Пять лошадей расковались, две лошади спины набили, вышел ячмень, нет крупы и мяса... устали лошади, к тому же время надо, чтобы новые подводы найти, люди хотели бы белье помыть, да и самим обмыться, пока еще можно терпеть воду...

— В воде девять-десять градусов.

— Стерпят.

Все, словом, сводится к дневке.

— Хорошо...

— Дневка?

По голосу И. А. слышу, что это за удовольствие. Положим, и у меня накопилось письменной работы.

Ну, дневка, так спать,—завтра и наемся, и напишусь вволю. Кстати с начальником округа повидаюсь и запасусь его распоряжением для свободного прохода и содействия местных властей до самого Пектусана.

Да и Пектусан как будто ближе, чем предполагали: вместо 500 ли — 300. Впрочем, никто ничего точно не знает. Да и ли до сих пор не выясненная величина... По нашему определению ли — это треть версты, а не половина.

Никто: ни торговый человек, ни администратор, ни простой смертный не могут определить, что такое ли.

23 сентября

Сегодня дневка в Мусане.

Я уже послал свои визитные карточки к начальнику города и получил такие же от него. Он ждет нас к себе в гости.

Об этом начальнике отзываются с большим уважением. Прежде всего, говорят, он не берет взяток, затем беспристрастно судит и человек с тактом.

Личное мое знакомство с ним только подтвердило это впечатление. Это тридцативосьмилетний, очень сохранившийся, сильный и высокий человек.

Сила его скрадывается пропорциональностью и стройностью. Довольно густая черная бородка, красивые большие глаза: в них какая-то ласка, задумчивость, скромность.

Обстановка его фанзы скромная. Нет стульев, и мы сидим на очень простеньком ковре.

Нам подали вареную курицу, корейскую лапшу и корейские пикули. Все это, очевидно, не каждодневная пища. Чаю и сладкого нам не предлагали.

Он очень смущен нашими мелкими подарками и просил передать, что будет, смотря на них, вспоминать о нас. Он уже распорядился о дальнейшем нашем путешествии, послал предписания и нас снабжает ими.

Кстати сказать, дороги его округа являются идеалом в сравнении с остальными дорогами Кореи. Даже мосты почти везде имеются.

Мы говорим с ним о политике.

Корейцы совершенно не годятся к войне, по его мнению. Это кроткий, тихий народ и теперь по-своему очень счастливый, потому что умеет довольствоваться малым.

— Деньги не всегда дают счастье.

Он смеется, его белые зубы сверкают, глаза ласково смотрят. Японцы одно с ними племя, но они испортились, стали двуличны и жадны. Но денег нет и у них. «Араса» — это сильный, могущественый народ. «Араса» храбр, и ему здесь никто не страшен. «Араса» богат, и вся Северная Корея живет заработками в России. Для Кореи не надо солдата, нужна ласка. Для хунхузов нужно солдат.

У них в городе 400 фанз и 1500 жителей, 200 быков, 100 коров, 100 лошадей. Население города наполовину занимается земледелием. Часть служит, часть торгует, остальные бездельничают. В нашем путешествии к вер-

ховьям Тумангана и Ялу предстоит много затруднений: нет жилья, становится холодно, бродяги, хунхузы, тигры, барсы. Небо сохранит нас...

Мы встали и откланялись.

24 сентября

Весь день вчера прошел в работе — писал, осматривал город. Такие же грязные улицы, грязные маленькие фанзы, маленькие лавочки с дешевыми материями и необходимыми принадлежностями несложного корейского хозяйства.

Часов в семь пришел с визитом начальник города. Его несли на носилках и не кричали при его проходе. Он шел уже по новому закону. Такой же скромный, тихий, обстоятельный.

Вследствие вчерашней моей просьбы принес подлинную меру пути. Я наконец добился, что такое ли. В ли 360 тигачи. Тигачи составляет 0,445 сажени. Следовательно ли равняется 162 саженям и составляет треть версты. Мы торжествуем таким образом точность нашего измерения.

Начальник города принес подарки: на корейской бумаге китайские надписи: «Начинающийся свет», «Красная каменная гора».

— Это приносит счастье.

Начальник выпил рюмку коньяку и больше пить отказался.

Мы сняли с него фотографию и, пожелав друг другу всего лучшего, расстались.

Он ушел скромно, с опущенной головой, точно в раздумье о чем-то.

— Корейский народ, может быть, будет богат и образован, но таким счастливым он уже никогда не будет,— вздохнул он, прощаясь.

Это не протест: корейцы не способны ни к какому протесту — это... вздох о проносящемся детстве.

Все готово.

С сегодняшнего дня весь транспорт идет уже не разделяясь. Причина — китайская граница и хунхузы.

Пора ехать: запах от набившейся толпы ребятишек несносен. Перед самой дверью ужасное лицо прокаженного. Сколько безнадежной скорби в его глазах. Я даю ему деньги — что ему деньги?

Опять Туманган перед нами, но это уже речка не более двадцати пяти сажен. Крутые берега его иногда не пускают нас, и тогда мы взбираемся на боковые перевалы. По обеим сторонам мелкий лесок, цветы осени. Чудная погода, шумит Туманган, и несется шум в синее чистое небо, где спят горы, спят и точно дышат в своих бархатных коричневых коврах.

На той стороне китайский берег, обработанные поля. Это работа корейцев, а поля китайцев, и берут с них китайцы из 10 снопов в свою пользу 6. Это указывает на громадную нужду в земле. Надо вспомнить при этом, что такой работающий на китайской стороне кореец постоянно рискует попасть в руки хунхузов, которые или убьют его, или возьмут выкуп. И при корейской робости нужда все-таки гонит их на китайский берег.

— А если б пришел «араса»,— он храбрый и прогнал бы хунхузов.

— Мы так хотим «араса»...

Так страстно говорит каждый поселянин этих мест.

Нам предложили сразу, как вышли из Мусана, переправиться на китайский берег, как более пологий, но мы решили идти корейским. Однако после двух головокружительных перевалов в конце концов предпочли иметь дело с хунхузами, чем рисковать лошадьми. Тропа, по которой двигались мы на высоте 50—60 сажен над Туманганом, буквально вьется по карнизу, наибольшая ширина которого два аршина, наименьшая же просто промытая пропасть, через которую и проходят по выступающим камням.

Нога пешехода скользит, но положение вьчной лошади с шестью пудами колеблющегося на ее спине груза невыносимое.

Одна из лошадей потеряла равновесие и уже съехала было задними ногами в пропасть, и мы часа два провозились, пока спасли ее.

Хуже всего на поворотах, которых корейцы совсем не умеют устраивать: или приткнут другу к другу под острым углом с почти отвесными скалами, или совсем не соединят, предоставляя лошадям и пешим прямо прыгать.

Зато виды непередаваемо хороши. Тем не менее пришлось отказаться и от видов. И, хотя наступает вечер, мы все-таки перешли ночевать на китайский берег, где и устроились в какой-то брошенной китайской фанзе.

Проводник очень усердно уговаривал нас хоть переночевать для безопасности на корейском берегу. Он и корейцы там и ночевали. Кончив свои работы на реке, я первый перебрался на другой берег и, пока возились с перевозкой вещей, присел там, наблюдая группу из корейских женщин, которые в ожидании парома — длинной и узкой лодки с бревнами по бокам — сидят на берегу. Подходят новые: одна с мешком, другая с корзинкой на голове, почти каждая с ребенком на спине. Сидящие предупредительно помогают пришедшей снять мешок. Все они стройны, в них много грации, но лица некрасивы. Костюм похож на наш дамский — баска, широкий пояс, юбка-колокол. Изящные манеры, прическа — это группа наших дам. Они так и сидят, в противоположность своим мужчинам, не обращая на нас никакого внимания.

Уехали кореянки, и я иду к одинокой фанзе, месту нашего ночлега. Все это время приходилось проводить в шумном обществе корейцев, от любопытства которых нет спасенья, приходилось и есть, и спать, и работать на глазах толпы. Так они и все живут, и в чужой монастырь не пойдешь со своим уставом: приходилось поневоле покоряться. В первый раз здесь я был один лицом к лицу с здешней природой. Точно первое свидание, с риском дорого поплатиться за него. Я замечтался и сижу. Сама осень, ясная, светлая, навевает особый покой и какую-то грусть. Точно задумались все эти горы и даль в своем праздничном наряде и грустят о промчавшихся лучших днях.

Так уютен уголок, где эта хижина...

Целый лабиринт отдельных гор странно закружился, и потерялась в них эта долинка с хижиной и сверкающей речкой.

Шум реки словно стихает под влиянием вечера, а косые лучи солнца, уже не попадая в долину, скользят там выше и теряются в синеющей мгле.

Окраска гор — волшебная панорама всех цветов. В одном повороте бархатная даль отливает ярким пурпуром, там великолепный фиолетовый налет, а на западе, в бледной позолоте неба, как воздушные, стоят иззубренные группы гор.

И река полосами отражает эти тона, и все кругом замерло, неподвижно, все охваченное очарованием свежести и красоты.

А потом почти сразу наступает ночь, потухли горы, тьма легла и охватила мягкое, бархатное синее небо.

Холодно. 3° всего. Принесли корм лошадям.

Десяток-другой корейцев, ободренные нашим присутствием, не спешат на свой берег.

— Оставайтесь здесь всегда,— наивно предлагают они нам.

— Но ведь это не ваш берег.

— Нет, наш,— еще на сто пятьдесят ли наш, но мы не успели сделать пограничных знаков, и хунхузы захватили нашу лучшую пашню себе.

Они говорят, вероятно, о нейтральной 50-верстной полосе, которую бесцеремонно захватили себе китайцы.

Эти корейцы сообщают первые сведения о Пектусане, высочайшей здесь вершине — цели нашей поездки, с таинственным озером на ней, питающим будто бы три громадные реки: Туманган, Ялу и Сунгари.

Несомненно, это бывший вулкан.

Один из очевидцев этой горы (Белая гора — Пек-тусан), проезжавший около нее в десяти верстах, слышал шум, похожий на гром, исходивший из недр земли.

— Это волны озера так шумят,— объясняет он по-своему,— озеро там глубоко и видеть его можно, поднявшись на самую вершину, но подняться туда нельзя, потому что сейчас же поднимается страшный ветер, хотя кругом и тихо, и мелкая пемзовая пыль выедает глаза.

— Почему же ветер поднимается?

— Дракон, который живет в этом озере, не хочет, чтобы смотрели на его жилище.

Хорошо, что дракон запасся такой пылью, а иначе набились бы к нему любопытные корейцы, как набивались к нам, когда мы ночевали у них.

— А Туманган из этого озера действительно вытекает?

— Говорят.

Что значит Туманган? Туман — неизвестно куда скрывшийся, Ган — река.

Зачем ходят на Пектусан?

— Ходят собирать в его окрестностях жень-шень, цена которому дороже золота.

— Корейцы ходят?

— Не корейцы.

30 сентября

На Пектусан!

Выступили в шесть часов, как раз в тот момент, когда солнце собиралось всходить. Мы остановили лошадей на пригорке и видели всю волшебную панораму этого восхода.

К востоку, на необъятном пространстве, громоздятся горы. Все эти горы подернуты синей прозрачной занавеской. Сквозь нее уже виден розовый отблеск поднимающегося солнца.

Все еще в полусвете, но Пектусан уже в лучах и, весь прозрачный, горит пурпуром. Здесь можно определить относительную высоту каждой горы по очереди их освещения восходящим солнцем.

Вот осветились еще две и обе кроваво-фиолетовые. У каждой горы свое одеяние, и только царь гор Пектусан — в пурпурной мантии. Но парад скоро кончается — убраны нарядные костюмы первых лучей, и освещенный полным солнцем Пектусан уже выглядит опять неказисто: серо-грязный, с полосами в оврагах белого снега. Та же мягкость форм, что и в остальных корейских горах, и нет нависших грозных скал Кавказа. С виду так же мирно и спокойно, как и все предыдущее.

Напротив, гораздо красивее Пектусана хотя бы эта длинная гора, вершина которой представляет из себя профиль покойника-богатыря. Вот лоб, немного широкий нос, острый рот, грудь в латах, ноги. С боку шлем. Или вот священная гора — туловище без головы — луч Пектусана.

Даже Малый Пектусан интереснее, потому что его коническая фигура видна сразу, тогда как здесь, у подножья, Пектусан долго производит впечатление чего-то широкого и расползшегося.

Таким образом, первое короткое, но очень сильное, совершенно своеобразное впечатление быстро сменяется прозой чего-то обыкновенного и даже мизерного.

Равнодушные, мы поднимаемся выше.

Лес редеет. Исчезла и изумрудно-зеленая жесткая травка, одна в желтой осени не побитая еще морозом. Вот пошли мхи, ковры из мхов, по которым беззвучно ступают ноги лошадей, оставляя вечный след. От колес прежней, 1894 года, экспедиции след совершенно свежий и теперь.

Как красивы эти ковры мхов: изумрудно-серые, темно-красные, нежно-лиловые, затканные серым и белым жемчугом. Перо не опишет их красоты, не передаст фотография; нужна кисть, и я вспоминаю К. А. Коровина, его прекрасную картину архангельской тундры с иными, чем эти, мхами.

Все выше и выше. Нет деревьев, нет мхов: мелкий пемзовый серый песок, да изредка там и сям мелкорослая березка.

Иногда поднимается ветер, подхватывает этот мелкий песок и бросает его в лицо. Лицу, рукам больно. Больно и глазам, так как песок этот ест глаза и вызывает воспаление век.

С лошади — впечатление морского песка, но при более близком рассмотрении это что-то совершенно особенное: там, на берегу моря, и видно, что работало море, здесь же работал огонь. Здесь характер песка легкий, перегорелый, между тем как море, не изменяя естества, только шлифует песок. Здесь химическая, там, у моря, только механическая переработка. Преобладающий цвет здешнего песку грязно-серый.

Этим пемзовым песком засыпано все. Ветер и вода свободно переносят его с места на место, и поэтому вся поверхность изрыта буграми и оврагами.

В одном из таких оврагов, где не было воды, но был снег, перемешанный с пемзой, мы остановились и стали готовиться к предстоящему подъему на вершину.

Развязываются: лодка, геодезические, астрономические инструменты, веревки, лот для промерки глубины озера. На привезенных с собой дровах кипятится чай, разогреваются консервы гороховой похлебки. Сторожей в лагере остается довольно много, так как корейцы, привезшие груз, ждут обратного, который освободится после подъема. Обратно я отправляю все палатки, часть инструментов, часть вещей.

Напились чаю и тронулись на вершину.

Посреди перевала оглядываюсь — идут за нами и все девять наших корейцев, оставленных сторожить лагерь.

Оказывается, они, увидев дымок на месте нашего последнего ночлега, решили, что это хунхузы, и пошли, бросив наших и своих лошадей.

Они подошли и горько сетуют на меня, зачем я тогда тех двух хунхузов не убил или не арестовал.

— Да ведь они не хунхузы.

— Они хунхузы. Если бы они были местные жители,

они знали бы по-корейски название Шадарен (селение у верховьев притока Ялу, куда мы пойдем), а они знали только китайское «Маньон». А между тем сорок хунхузов теперь есть в лесах,— они пойдут и скажут им, уже сказали, что горит то костер хунхузов, и мы все заперты теперь на Пектусане, как мыши в ловушке.

— Что могут делать сорок человек в это время года в лесу? Что они есть будут: зима подходит, дожди, снег, где спать будут?

— Мы всю правду вам расскажем, и вы узнаете, что им делать. Весной шайка в двадцать три хунхуза поймала двух корейцев и отвела в одну, здесь недалеко, китайскую фанзу. Там их пытали и они сознались, что у них дома деньги есть. Одного хотели задержать, а другого отпустить, но оба были из разных деревень. Тогда хозяин фанзы поручился, что корейцы заплатят по пятьсот лан каждый. Их отпустили. Поймали их в четвертую луну, а долг обещали отдать в седьмую, теперь восьмая кончается, а те долг все не отдают. Вот хунхузы и не уходят, все дожидаются и хотят мстить всем корейцам. В этом году уже было нападение на Тяпнэ, и все на месяц убегали. А теперь мы пойдем домой, и хунхузы нас схватят.

— Откуда же хунхузы знают, что вы пойдете домой, а не с нами?

— Они все знают: они, наверно, и теперь видят и слышат, что говорим мы. И хунхузы нас убьют, а потом дадут знать в Шадарен, там хунхузов еще больше, и те вас убьют.

— Так что лучше назад с вами, на Тяпнэ?

— Э-ге, э-ге,— радостно закивали корейцы.

Смотрю на них, и невыразимо жаль их за те страдания, которые причиняет им их мучительный, унизительный страх.

Надо заметить, что и за нами идти не радость им. Ведь там, на этой святой горе, в спрятанном от всех озере, живет суровый дракон, суровый и страшный: то он гремит, то облаком взлетает, то посылает такой ветер, что стоять нельзя. Стоит только рассердить его, так и не то сделает. А такого дикого, своевольного и сам не знаешь, как рассердишь. Наши корейцы стоят совершенно растерянные.

Кончили тем, что В. В. (китайский переводчик) и маленький кореец идут с нами обратно. Маленький кореец в европейском платье, а издали это все равно, что рус-

ский, а В. В. свой человек для хунхузов. Успокоились корейцы и пошли назад.

В зависимости от ограниченности наших припасов — и необходимость, следовательно, все закончить в день-два; работа разделена между Н. Е. и мною. Он с И. А., Бибиком, Бесединым, Хаповым и Сапаги спускаются к озеру. Я, поднявшись на вершину, обхожу ее до места предполагаемого истока Ялу (Амнока-ган) и Сунгари, а к вечеру мы все собираемся в лагере.

Мы разлучаемся: Н. Е. со своей партией и двумя вьючными лошадьми идет налево, я, П. Н. и проводник — направо, Н. Е. таким образом пошел к западу, я — к востоку.

Почти до самой вершины Пектусана я ехал на лошади.

Затруднения были только в овражках, где лежал плотный примерзший снег. По этому снегу скользит нога и лошади и человека и легко упасть.

В одном месте, у самой вершины, я неосторожно заехал с лошадью на такой ледяной откос. Осматриваясь, куда дальше ехать, я оглянулся назад, и кровь застыла в жилах. Поднимаясь, я не замечал высоты, но теперь, глядя вниз, я решительно не понимал, как держалась лошадь, да еще со мной над всеми этими обрывами, которые мы, поднимаясь, обходили и которые теперь зияющими безднами стерегут мою лошадь и меня там, внизу.

Прежде всего я соскочил с лошади, но тут же поскользнулся и поехал было вниз,— если бы не повод, за который я держался, то далеко бы уехал я и хорошо если б отделался только ушибами и даже поломами костей.

Попробовал было я поворотить назад лошадь — скользит. Попробовал было я снять сапоги и босиком пройти — тоже нельзя. Тогда прибегли к последнему средству: проводник и П. Н. с той стороны оврага я — с этой принялись рыть траншею, потратив на эту работу около часа.

Но вот, наконец, и верх, и весь грозный Пектусан с иззубренным жерлом своего кратера сразу открылся.

Картина, развернувшаяся перед нами, была поразительная, захватывающая, ошеломляющая. Там, внизу, на отвесной глубине полуторы футов сверкало зеленое версты на две озеро. Как самый лучший изумруд сверкало это зеленое, прозрачное, чудное озеро, все окруженное

черными иззубренными замками или развалинами этих замков. Темные, закоптелые стены снизу поднимались отвесно вверх и причудливыми громадными иззубринами окружали кратер.

Какая-то чарующая там на озере безмятежная тишина. Какая-то иная совсем жизнь там.

Очень сильное впечатление именно жизни.

Кажется, вот-вот выйдут все эти живущие там, внизу, из своих замков, в каких-то нарядных костюмах, раздастся музыка, поплывут нарядные лодки, и начнется какая-то забытая, как сказка, как сон, иная жизнь.

И в то же время сознание, что этот уголок земли — смерть, полная смерть, где на берегу того озера Стрельбицкий нашел из органического мира только кость, вероятно занесенную мимо летевшей птицей.

Смерть! Сам вулкан умер здесь, и это прозрачное озеро его чудная могила, эти черные отвесные, копотью, как трауром, покрытые бастионы — стены этой могилы.

И стоят они грозные, охраняя тайну могилы. Я устал смотреть туда, вниз и любуюсь причудливыми выступами скал, окружающих кратер.

Вот гигант-медведь опустил свою большую голову и притих. Вот башня с остроконечным шпицем. А вот на скале чудное и нежное, как мечта, изваяние женщины. Одной рукой она оперлась о край и заглядывает туда, вниз, где озеро. В этой фигуре и покой веков и свежесть мгновенья. Словно задумалась она, охваченная сожалением, сомнением, колебанием, и так и осталась в этом таинственном уголке не вполне еще сотворенного мира.

Что-то словно дымится там, внизу, как будто заметалось вдруг озеро, вздрогнуло и зарябило, и с каким-то страшным ревом уже приближается сюда это что-то.

— К земле, к земле лицом,— кричит проводник.

Я пригибаюсь, но все-таки смотрю, пока можно: прямо со дна озера летит вверх облако, в котором все: и мелкие камни, и пыль, и пары, которые там, на озере как в закипевшем вдруг котле пробежали по его поверхности. Нас обдало этим страшным паром-песком. А через мгновение еще и нежное, белое облако уже высоко над потухшим кратером поднялось в небо в причудливой форме фантастического змея. Старик проводник поднял было глаза к облаку и сейчас же, опустив голову, сложив руки, начал качаться.

— Что такое?

Проводник вскользь, угрюмо бросил несколько слов.

— Молится,— перевел мне П. Н.,— говорит, дракон это, не надо смотреть и лучше уйти. Рассердится — худо будет.

— Скажите ему, что я очень извиняюсь перед драконом, но мне необходимо снять фотографию с его дворца.

Старик кончил молиться, успокоился, покорно развел руками и сказал:

— Дракон милостив к русским,— у них счастье, а нас, корейцев, он убил бы за это. Но и русские приносили жертвы,— тот, который был с баранами, зарезал здесь одного барана.

— Скажите ему, что у нас не приносят жертв.

— Здесь дракона законы.

И опять все тихо кругом. Сверкает озеро в глубине, а кругом необъятная, сколько глаз хватит, золотистая даль лиственничных лесов, а еще выше — и над этой желтой далью, и над белым Пектусаном — безоблачная лазурь неба, голубого, как бирюза, сверкающего и еще более голубого от позолоты желтой дали лесов.

И опять смотришь вниз, туда, где сверкает это волшебное зеленое озеро. И опять очарование, ощущение заколдованной жизни. И новый страшный вихрь.

Сделав нужные работы, определив положение кажущейся вдали расщелины, откуда вытекает, по словам туземцев, приток Сунгари, я занялся выяснением истоков двух других рек: Тумангана и Амнокагана.

С этой высоты видно все, как на ладони. Здесь водораздел всех этих трех рек: к западу Амнока, к востоку Туманган, к северу и северо-востоку Сунгари. Мне видны все овраги Амноки. Я уже видел их снизу, и все они сухие.

Такие же овраги идут по направлению и к Тумангану — тоже сухие.

Таким образом вне сомнения, что истоки Тумангана и Амноки не имеют никакого непосредственного сношения с озером.

Остается дело за истоками Сунгари.

Мы отправляемся к той части Пектусана, на северо-восток, где видна эта как будто расщелина.

Уже час дня.

— И зачем идем, когда я говорю вам, что там щель,— ворчит проводник.

— Он сам видел ее? — спрашиваю я П. Н.

Он сам не видел, но товарищи охотники были в том китайском лесу и видели, как сверху падает вода из глубокой и высокой щели.

— Надо идти,— говорю я.

Мы идем. Новые, периодичные, минут через пять, вихри все более и более сильные, от которых вздрагивает земля.

Иногда, когда мы идем, под нами слышится гул пустоты.

Мы идем до щели три часа, все время любуясь озером, снимая фотографии и делая засечки на новые открывшиеся места.

Вот последний подъем, и там должна открыться щель: сердце бьется от усиленного подъема, от напряженного ожидания, лошадь давно оставлена с проводником, который, спустившись вниз, ведет ее и едва виден.

Щели нет...

Такой же грозный и неприступный бастион и здесь, в углублении, как и везде. Отсюда виден весь Пектусан, и везде все шире обнаженная и неприступная стена. Я смотрю в бинокль и вижу внизу под нами, где идет наш проводник с лошадью, воду. Щели нет, но вода есть. Где, на какой высоте ее источник? Чтоб узнать, надо спуститься. Нам предстоит очень тяжелый спуск вниз по карнизу одного из крыльев этого гигантского бастиона, чтоб найти начало источника. Лучше не смотреть ни вверх, ни вниз, лучше бы и совсем не спускаться.

Но вечер приближается; морозит; страшные вихри все сильнее; темные тучи ползут из кратера, и уж не видно озера.

Прощай, прекрасное! Всегда останешься ты в моей душе, как чудная мечта, как сон, который трудно отличить от действительности. Несмотря на короткие мгновения, проведенные здесь, я уже сжился с тобой: мне близки и безмятежная тишина твоя и твои дикие вспышки; кажется, что привык я к тебе, что уже давно-давно знаю тебя.

Я не люблю круч.

С мужеством труса, с мужеством отчаяния, стиснув зубы и умертвив все в себе, я зверем, дорожащим только своей жизнью, цепляясь руками и ногами, проворно, как по лестнице, спускаюсь по уступам камней. Камни надежные, твердые, на шаг расстояния друг от друга, но как тяжело делать этот шаг! Ноги, как сросшиеся, не хотят ступать! Ступай, ступай, несчастный!

Вот где опасность! Что перед ней хунхузы, барсы, тигры? Вот настоящие владыки этих мест — эти утесы, эти вихри, которые вот-вот сорвут и бросят туда вниз; эта надвигающаяся ночь, которая закроет скоро все эти бездны, и не будешь знать, куда ступить, а морозный холод ночи пронижет насквозь легкое пальто. Что-то с Н. Е. и его спутниками? Скорей, скорей же!

А когда остается сажен тридцать до пологого откоса, я уже беспечно и весело, как самый отважный ходок, шагаю и даже прыгаю с камня на камень.

Гоп! Последний прыжок, и опять я на ногах, на твердой земле — хочу стою, хочу иду; опять живой и здоровый.

О боже, неужели мы с П. Н. были там? Здесь, снизу, вся обнаженная вершина Пектусана еще более напоминает гигантские грозные бастионы, круглые башни, обстреливающие все выступы.

Но некогда: скорей, пока светло, окончить осмотр оврагов.

Что это шумит?

А! Вот откуда пробирается вода!

Барометр! Разница высоты — 1630 футов. Ниже, следовательно, поверхности озера на 330 футов. Это и возможная глубина озера. Подземный ход из озера сюда. Вода красивым узким ручейком стремительно падает вниз, и чем ниже, тем круче.

От этого оврага дальше, среди желтого леса, тянется темная полоса и уходит на северо-запад. Сколько видит глаз кругом — везде беспредельная равнина.

С правой стороны, стоя лицом к Сунгари, вьется еще одна темная полоска среди желтого леса и соединяется с тем оврагом, у которого мы стоим.

Так как направо и дорога наша, то мы и спешим осмотреть уже пройденный другой овраг.

В трех верстах от спуска, по обратному направлению, пришли мы и к этому второму истоку. Он значительно больше первого — если там силы три, то здесь их около пятнадцати. Я определяю силы на глаз, руководствуясь опытом предыдущих лет.

Солнца уже нет, ночная мгла на всем, и только две-три вершины во всем округе видят еще опустившееся солнце.

Последний подход к оврагу был очень неудачный: мы взбирались полчаса на какую-то вершину для того, чтобы спуститься назад по той же дороге. Совсем стемнело.

— Проводник говорит, что он здешних мест не знает.

— Плохо. Ну, не знает, так ночевать надо здесь: благо вода и корм для лошадей есть, а вот и несколько деревьев, следовательно и дрова есть.

Я повел свою лошадь к ручью.

Странная вещь, вот уже третий день лошадь моя стала спотыкаться на каждом шагу, точно слепая.

— Да она и есть слепая,— говорит П. Н.

Осматриваем и убеждаемся, что несчастная лошадь действительно слепая.

Тянем ее к деревьям, где корм, и там в овраге устраиваемся.

Все устройство заключается, впрочем, в том, что мы рубим ножами ветки, ломаем их руками, собираем сухостой и разводим костер. Лошадь выпускаем на поляну, она жадно ест сухую траву. П. Н. пригнулся и ищет голубицу. Уже почти сухая, сморщенная голубица все-таки пища и лучше, чем ничего. Несколько ягод съел и я, но я не любил их никогда и теперь не люблю.

Да и не хочется есть — ни есть, ни пить. Я очень устал. Вот разгорелся костер, тепло, сидишь и хорошо. Я так устал, что даже рад наступившей темноте: на законном основании можно сесть и не идти дальше. По горам трудно ходить: воздух разреженный, и тут еще эти леденящие вихри. Как-то Н. Е.?

Шесть часов, но уже совершенно темно.

Там из вулкана все еще клубятся темные тучи: курятся. Ветер рвет и мечет, и нет от него спасенья. Огонь и искры, и дым бьют то в лицо, то летят в противоположную сторону и опять бешено возвращаются к нам.

Все темнее, и дрожь пробегает по телу.

— П. Н., лошадь бы привязать.

— Пусть поест,—куда она уйдет, несчастная, слепая.

И П. Н. ложится, ложится и старик, я принимаю на себя караул.

Пошел к лошади,— жадно ест. Пусть поест, часа через два привяжу.

Хуже всего, что папиросы вышли.

Долго ждать до света. Смотрю на часы: половина седьмого. Полчаса всего прошло с тех пор, как эти заснули.

Что-то делает Н. Е.? Может быть, где-нибудь, как и я, сидит теперь. Но там нет ни воды, ни дров. Воды им и не нужно, так как согласно уговору лошадей Сапа-

ги должен был отвести в лагерь. А без дров трудно им будет, если опоздают. Плохо я рассчитал время — в этих горах изменил глазомер.

Что-то мокрое?! Дождь? Это нехорошо, надо будить.

Проснулись, пошли, сломали две молодые лиственницы и устроили род шалаша. Легли и опять заснули оба.

Дождь свободно проходит сквозь шатер и мочит нас. Вода понемногу пропитывает окружающую вечнозеленую траву, протекает мелкими струйками под намокшие пальто, сапоги, шапки — уже мокры шея и руки, а резкий ветер сильнеет, и не перестает дождь, несмотря на костер.

Нет, надо идти хоть сучья ломать. Надо, но нет охоты шевельнуть пальцем: словно нет меня, я отделен от себя, и теперь я другой, уже непосильный для себя груз. Этот груз с неимоверным усилием, а все-таки подвигаю кое-как ближе к огню. Лицу жарко и ногам жарко, кажется, сожгу себе сапоги. Но спине все-таки холодно. Лошадь надо бы привязать. Ах, это П. Н., он идет за лошадью, ну спасибо, а то я устал.

Все это уже сон — я, согнувшись перед костром, сплю.

Просыпаюсь от нестерпимого холода. Дождь как из ведра, костер почти потух, смотрю на часы: десять часов.

— П. Н., П., вставайте же, пропадаем все.

— Голова болит.

— Будите проводника, идем в лес и за лошадью.

Встаем, идем, но лошади не видно.

— Легла,— говорит П. Н.,— не найти теперь.

Наломали сучьев, кое-как развели опять костер. Перестал было дождь, и вдруг пошел снег. Кто-то воет. Это проводник?!

П. Н. смущенно слушает.

— Что он говорит? — спрашиваю я.

— Говорит, что дракон очень сердится, и он боится, что мы пропадем, потому что пошел снег. А снег пошел, он не остановится — это зима — и завтра будет столько снегу, что если мы не вытерпим, то все равно пропадем без дорог.

— Скажите ему, что во сне приходил ко мне дракон и сказал, что если я отдам ему лошадь свою, то он перестанет сердиться.

Проводник быстро, оживленно спрашивает: что я ответил?

— Я сказал, что я согласен.

Старик удовлетворенно кивал головой. Через несколько минут снег перестал, и над нами совершенно чистое небо.

Старик радостно говорит:

— Дракон перестал сердиться.

Костер ярко горит. Но опять туча и дождь. Старик убежденно говорит, что теперь скоро все пройдет, потому дракон умилостивлен.

Оба, П. Н. и проводник, лежа чуть не в луже, засыпают.

Туча проходит, небо звездное, но дождь идет. Ветер еще, кажется, злее и ножами режет тело и руки, и дым летит в лицо. Часть земли из-под костра освобождается; я ногами отгребаю пепел и ложусь: сухо и тепло. Разбудив П. Н. на дежурство, я моментально засыпаю.

Я открываю глаза. Час ночи. Костер ярко горит. П. Н. и проводник не спят. Вызвездило и ясно, хотя темно. Небо усыпано звездами. Большая Медведица так близка к горизонту, что кажется рукой достанешь.

Еще пять часов до дня. Начинает просыхать понемногу.

Старик совсем повеселел.

— Дракон спит.

Но ветер надоедливый нагло рвет и мечет по-прежнему.

Покурить хорошо бы, но есть и пить не хочется.

А все-таки истоки всех трех рек исследованы.

Но само озеро только красивая игрушка и ничему в деле улучшения судоходства помочь не может... Теперь это ясно, как день.

Я вспоминаю Тартарена, когда он в отчаянии кричал:

— Алла, алла, а Магомет, старый плут, и весь Восток и все девы Востока не стоят ослиного уха!

Я прибавлю:

— И леса его, и золото его, которых у нас в Сибири во сто раз больше, и все богатства, которых у нас на Алтае во сто раз больше, ничего не стоят в Корее.

Остается одна чистая наука, да здравствует она!

Пойти посмотреть лошадь. Нигде не видно ее. Где-то возле леса резкое кошачье мяуканье. Наконец и я если не вижу, то слышу господина. А может быть, где-нибудь в этих кустах уже крадется барс.

Нет, лучше идти к костру. Вот хорошее дерево, начну ножом рубить его, часа на два работы — согреюсь и время пройдет.

— Кто идет?

— Вы что тут делаете? — спрашивает П. Н.

— Да вот дерево рублю.

— Давайте нож, идите спать, я больше не буду спать...

— Да у вас голова болит?

— Прошла.

— А у меня горло прошло,— говорю я,— ну, спасибо, рубите...

«Хорошо бы дома в теплой кровати теперь»,— думаю я и с отвращением сажусь, как приговоренный, в свою тюрьму: с одной стороны, пламя в лицо, с другой — ветер с ножами, мокрая земля, мокрое платье — насквозь мокрое.

Все это пустяки, одна ночь, и перед нансеновскими испытаниями стыдно и говорить об этом.

Измучен, устал, сколько впереди еще... И ни заслуг, ни славы... Нет, что-то есть... есть... есть... что же? А Сунгари и выясненный вопрос истоков... По новой дороге пойдем, где не была еще нога европейца, да и здесь, в этих дебрях, не была, у этих мнимых щелей впервые тоже стоит человек.

Пусть сердится дракон, тайна вырвана у него.

Рассвет. Я просыпаюсь.

П. Н. уныло говорит:

— Пропала лошадь...

— Господи, как холодно. Ну, пропала, что же тут сделаешь?

— Я все-таки еще пойду искать ее.

— Где проводник?

— Ушел дорогу искать.

П. Н. ушел, я остаюсь один.

Жуткое чувство одиночества в этой мокроте. Все промокло — седло, попоны, сам. Брр... какая гадость! Поднялся на ноги: не хотят стоять ноги, тело тяжелое. Но костер тухнет, и надо идти за сучьями. Иду, ломаю, смотрю — нигде не видно лошади... Вспоминаю ее: какая несчастная она была, слепая, покорная... Если тигр ее схватил, проиграла ли она что-нибудь? Все-таки жалко ее.

П. Н. пришел и, сказав угрюмо: «Нет лошади» — повалился и уже спит.

Солнце взошло. Где же проводник? Сел дневник писать, но руки окоченели, окоченели и слова: тяжело, неуклюже, и одна фраза отвратительнее другой.

Странно, отчего есть не хочется? Восемь часов, и ровно двадцать четыре часа, как я не ел уже.

Выше поднялось солнце, такой же ветер, но солнце и костер сушат и греют.

Все спит. Как-то голо и уныло смотрит с своей вершины Пектусан и вся неприступная твердыня его, все так же вылетают облака оттуда, и, сидя здесь, я чувствую пронизывающий холод его вершины.

Все та же желтая скатерть лесов перед глазами и синяя даль гор. Все подернуто какой-то мглой, точно не выспалось, как и я, и не ело больше суток.

Чей-то голос! С горы спускаются пять лошадей, и впереди Н. Е.

— Все благополучно? — кричу я.

— Какое благополучно: трех солдат нет.

— Как нет?! — вскакиваю я.

— Пока вылезали с озера наверх, нас сразу захватила ночь, ну и сбились, куда ни пойдем, везде кончается кручей. Спускались, поднимались, опять спускались, дождь пошел, намокли. Главное лошади — без лошадей все-таки как-нибудь бы справились.

— Какие лошади?

— Две вьючные, которые были с нами...

— Но почему же этих людей не отправили в лагерь, как ведь и было предположение?

— Ну, вот, Сапаги... Не понял или побоялся идти. Вылезаем наверх, а он тут и с лошадьми... Лошади и зарезали... Я просто выбился из всех сил... Полушубок намок, тяжесть, словно сто пудов на плечах, идти вверх прямо не могу, не передвигаются ноги, могу только вниз двигаться. Подошли опять к какому-то спуску — нельзя спускаться, надо опять идти вверх, назад. Главное, вижу, что я их задерживаю, пройду два шага и упаду, лежу, не могу встать. Ну, думаю себе, я пропал, за что же другие пропадать будут, говорю им: «Подождите здесь, я попробую спуститься и крикну вам снизу, есть ли выход. Если со мной, не дай бог, что случится, старшим назначаю Беседина. Если устанете, имеете право бросить лошадей». Ну и полез вниз... лез... лез... Я уже не знаю, как только и не убился... Сегодня посмотрел, откуда спустился...

— Какие распоряжения вы оставили относительно розыска людей?

— Послал Ив. Аф. и сам вот ездил. Ив. Аф. послал на прежнюю стоянку. Там был пожар, и светилось, ког-

да мы были наверху... Если они пропустили лагерь, то, наверно, попадут на Буртопой.

— Дайте папиросу и едем...

— Ах, Ник. Георг., ну где там еще мне было думать о папиросах: вот взял красного вина, несколько сухарей.

— Да вы сами курите же?

— Да теперь не курил, не ел и не спал.

— Что вы делали?

— Всю ночь звонил в колокол, стрелял, жгли костер, так как глухой он,— одна только светлая сторона,— ну и вертели его, как маяк... Я только и попал на фонарь... Буря — выстрелов в нескольких шагах не слышно... Корейцы разбежались... Корму лошадям нет, воды нет, дров нет.

— Здесь и вода, и дрова, и корм,— показал я на свою ночевку, которая теперь была уже далеко под нашими ногами,— надо сейчас же перевести лагерь сюда, потому что не уйдем же, пока людей не разыщем.

— Я думаю, они уже погибли.

Н. Е. оборвался и замолчал.

Только теперь я заметил, как изменился он за ночь. Осунулся, складки на лице, напряженный взгляд, и вся фигура и лицо отжившего, высохшего старика.

— Полно вам. Три солдата, чтоб погибли...

— Замерзнут...

— Да ведь мороз всего градус, два.

— Ну и обледенит — все ведь мокрое, спички размокли, выбьются из сил...

— Ну выбьются, остановятся, начнут драться, наконец, чтоб согреться. Я ведь мокрый, и П. Н., и проводник: сели, просохли, силы появятся, опять за дровами...

— Да ведь у вас они есть...

— Да не такой же холод... Ну, они вместо дров, пойдут... Не беспокойтесь, человек такое живучее животное... Как же вы попали в лагерь?

— Я и не знаю. Слез я в овраг, осмотрел, крикнул им: «Обходите вправо». Ответили: «Идем», и все смолкло. Я лег и думаю, ну хоть не задержу их. Спать хочется, знаю, что засну — пропал, а сам уже засыпаю... Слышу, что-то камни около меня шевелятся: упало на меня... «Кто?» Сапаги. «Ты как попал?» — «Моя капитан пошла? Айда, ходи».— «Не могу».— «Надо ходи, лежать нет надо». Пошли мы... Идем, идем и ляжем. «Надо ходи». Вдруг свет фонаря... Оказывается, я лежал в последний раз в десяти саженях от лагеря... Прихожу, спрашиваю:

«Солдаты пришли?» — «Нет»,— говорит. Повернулся к палатке, кричу: «Н. Г., солдат нет!» — «Да и Н. Г. нет»,— говорит И. А. Ну, тут я совсем... Я ведь думал, что и вы задрогли...

— Все трое?

— Да ведь ночь же какая... Чем еще кончится? Не можем мы не простудиться.

— Ну, у меня вчера, когда выступали, горло так болело, что глотнуть не мог, теперь все прошло... Ну, едем скорей.

Вот и лагерь. Полное разрушение: кроме В. В. все разбежались, палатки сломаны, вещи разбросаны.

Ив. Аф. уже приезжал с Буртопоя — солдаты там! Ура! послал им спирту и пищу И. А., а сам уехал в горы разыскивать лошадей, которых солдаты упустили.

— Как упустили?

В. В. не мог объяснить.

— Ну, в таком случае сниматься и отступать на Буртопой... Папирос дайте.

— Моя чай варила...— говорит В. В.

В. В. в маленькой китайской шапочке с красной шишкой и обмотанной вокруг головы косой.

— Ну, давайте ваш чай...

— Моя щи варила...

— Давайте щи.

— Я вчера,— говорит Н. Е.,— три раза пробовал есть, три раза вырвало.

Совсем другой человек стал опять Н. Е.: повеселел.

— Верно, значит, я рассудил, что на Буртопой послал,— говорит он.

Н. Е. говорит и уплетает щи.

Я съел три ложки — тошнит.

— Давайте чаю.

Чай с каким-то салом. Заставил себя выпить, и сейчас же все назад.

Китаец, Сапаги и маленький урод Таани укладывают тюки.

— Лошадей поили?

— Воды нет.

— Снег кипятите, Сапаги, бросьте укладку, берите снег и варите.

Напоили кое-как лошадей. И. А. подъехал.

— Нет... Главное, с тюками ведь. Так все-таки им легко бы было, а с тюками пропадут... Главное, Серый слепой ведь.

— Другая какая лошадь?

— Маленькая белая, самая умная, положим, и колокольчик на шее, слепому-то и слышно...

— Ну, укладывайтесь, едем.

Все тот же ветер и холод, и во всей своей неприступности перед нами великолепный Пектусан, сегодня весь покрытый снегом.

— Скажите старику,— говорю я,— дракон молодец, задал нам трепку.

— Он говорит, что это за то, что лодку спустили.

— Ну, рассказывайте, Н. Е.: что же вы делали вчера?

И Н. Е. рассказывает, пока мы укладываемся.

— Рассказывайте все с самого начала.

— Ну вот, пришли мы...

— Хороший спуск?

— По камням. На глаз — почти отвесно, а дальше россыпь... Ведь мы потеряли лот... Ну, ищу я глазами камень... Смотрю, внизу на берегу озера лежит камень, ну так, с три кулака... Ну, думаю, камень, значит, есть, и полез вниз. За мной остальные, лодку разобрали, я надел на плечи пробки.

— Голова не кружилась?

— У меня не кружится...

— У людей?

— Ни у кого... И. А. как кошка лазит... У Хапова камень оборвался, слышу: «Берегись, берегись». Смотрю, прямо на меня летит. Я стою — одна нога на одном камне, другая на другом: куда беречься? Только вправо или влево туловище наклонить. Ну, я, положим, так и приготовился... все равно, как из ружья целит: нацелился прямо на меня, я влево, да спину повернул и схватился за камень... Как хватит по пробкам на спине... Ну цел и удержался... Так и спустились. Стали лодку собирать. Камень мой, в три кулака, оказался скалой саженей в пять. Снизу вверх смотреть, так просто не веришь себе, как спуститься тут можно. Когда мы спустились, озеро слегка волновалось, вода прозрачная, такая, что не видишь ее. Ключ падает с горы. Пока падает, едва заметно, а где-нибудь в лощинке воды не видно... Пока собирали лодку, приготовляли лот, поднялась такая буря, что стоять нельзя. Снизу рвет, камни поднимает вверх... Спустили лодку, поехал сперва И. А. — не может выгрести... прибило назад. Потом И. А. полез вверх, назад в лагерь, а я с Бесединым сели в лодку, гребем, на шаг

не подвигаемся... Тут как-то стихло было, мы двинулись сажен на двадцать, и сразу такой порыв, что полную лодку налило: маленькое озеро, а волны полтора аршина. Положим, лодка хоть и полная воды, но держится...

— Сколько градусов?

— Семь.

— А в воздухе?

— Три... Промокли... ноги не терпят и грести нельзя: тут и пароходом не выгребешь, прямо так и выбросило на берег... Бились-бились, все по очереди пробовали, то же самое... Зальет лодку и выбросит... Глубина страшная, это прямо видно: от берега мелко, а там сразу обрывается и уходит в глубину обратным откосом, почти везде так... Контур снял.

— Инструменты благополучно спустили?

— Благополучно... Ну, пока работали, смотрим, солнца уж мало видно. Промокли, продрогли, да и делать больше нечего... Вытащили лодку, опрокинули ее, веревки для лота положили под нее, весла и полезли назад.

— Лодку не унесет в озеро? Вода в озере, не заметили, опускается, поднимается?

— На полсажени высоты заметно как будто понижение. Может быть, это волны, может быть, усыхает. Ключи есть — бьют из скал.

— Трещина есть в озере?

— Когда я выехал на лодке, видно было, что на северо-востоке нет, а на западе какая-то бухта. Я не рассмотрел...

— Я стоял перед этой бухтой на восточной стороне, как раз напротив, такие же стены отвесные, как и везде.

— Ну, значит, нет выхода. Впечатление, собственно, от озера — игрушка... И опасная игрушка... В смысле же питания рек...

— Об этом и говорить нечего — горсть воды.

Все уложено, и мы покидаем негостеприимную гору. От нее веет холодом и неуживчивостью. Какой-то взбалмошный, больной дракон. Дурит, как только может. Вот уже опять летят облака из него, и даже здесь качает ветром нас.

— Нет, подыматься было трудно,— говорит тихо весь поглощенный рассказом Н. Е. и, по обыкновению, улыбается,— назначили скалу, половину дороги, а доползли — оказывается и пятой части не прошли еще. Вдруг туча подошла к краю, и вдруг всю ее втянуло в озеро, и сразу темнота. Как только закрыло тучей, озеро бук-

вально черное стало, а потом все исчезло. Я уж думал ночевать, где-нибудь на полдороге, да негде было. Уж и не знаю, как долезли, через каждые три-четыре сажени — отдых... Я последним полз. Камни летят из-под ног тех верхних: один по колену так хватил, что думал, свалюсь... Вышли наверх, просто как выкачали все из меня: ноги дрожат, дышишь уж не легкими, легкие как будто лопнули, а так как-то всем телом... Тошнит, голова кружится, упал бы, кажется, и заснул, умереть согласен, что хотите, только дальше не идти. А тут дождь как из ведра, сразу намочил, промокли и хоть что хочешь... Сто лет проживешь, а не забудешь этой ночи... Тьма, дождь, рев такой, что голосов не слышно: господи, что уж это такое. Я уж так и думал: ну, конец.

Между тем, пока мы ехали и Н. Е. рассказывал свои впечатления, наступил вечер, и опять сразу тьма, мы сбиваемся с дороги, благодаря проводнику, который хотел пройти покороче, попадаем в овраг истоков Тумангана, валимся, падаем, теряем вьюки, разыскиваем их и уже собираемся с лошадьми, вконец изморенными, вторично ночевать в какой-то трущобе, когда на два сигнальных выстрела услышали наконец где-то далеко-далеко ответные выстрелы. Заметили звезды и пошли напрямик. Выстрелы ближе, ближе, затем свистки, огонь костра, и мы над оврагом Буртопоя. Где-то там, в бесконечной глубине.

Спустились. Тепло у костра — солдаты, корейцы рассказы и суд над всеми.

Корейцы на каком основании бросили лагерь? — Не было дров, не было корму и воды.

Виновник проводник. Он сам не знал, что есть вода на Пектусане. Никто не виноват.

Очередь за солдатами.

— Вы поступили правильно, что бросили лошадей, но зачем вы, во-первых, не развьючили их: жаль несчастных животных, а во-вторых, почему вы не привязали лошадей?

Выступает Беседин.

— Позвольте объяснить... Когда Н. Е. крикнул нам: направо — мы так и пошли. Шли-шли — приходим, такой же овраг. Что делать? Назад пошли, поднялись на самый верх, опять на то место, откуда начали спускаться, опять запутались, опять назад... Стали выбиваться на вашу дорогу — Павел днем ходил за вами,— ну, так и пошли, дошли до того места, где проводник вас через

овраг проводил, стали делать ступеньки, сошли сами и лошадей, господь помог, спустили. Тут обессилели, попали в какой-то овраг — трава. Надо покормить лошадей, а самим отдохнуть. Пустили лошадей, сами сидим. Мокрые, давай греться: стали бороть друг друга, возиться, вроде как будто тащим в плен друг дружку. Сколько времени прошло, так и не знаем. Спохватились — и нет лошадей. Туда, сюда — нет лошадей. А темно, ревет, как в трубе, и не видно и не слышно. И вещи, которые сняли с себя, не найдем. Ну, что же? — поискали-поискали, а уже все мокрые, коченеем, сами пошли... Куда идти? Огонь в лесу горит: знаем, что это Буртопой, наше же пожарище. Компас у меня. Я хоть и не умею читать, а стрелку, как стоит, заметил и звезды заметил. Спустились в овраг и пошли по стрелке. Шли-шли, тут светать стало, видим, и Буртопой под нами. Спустились, от горящего пня огонь достали, наломали сучьев, огонь развели. Отогрелись, тут корейцы приехали, погодя и И. А.

— Ну, молодцы, значит. Не простудились никто?

— Господь миловал...

— Ну, спать.

— Ужинать будете? — спрашивает И. А.

— Мне только чаю и спать.

Хорошо в балагане. Горел и он, но не сгорел весь,— одна стена прогорела. Да, вот расследовать, кто не залил огонь...

Расследование ни к чему не приводит,— последние ушли, оказывается, корейцы. Все собрались в балагане и сидят вокруг костра. Рассказы о проведенных двух днях.

Корейцы все время дрожали от страха и холода. Они очень извиняются, что, убедившись, что здесь на Буртопое нет хунхузов, ушли сюда. Я говорю им, что я не в претензии,— другое дело, если бы мы остановились там, где есть вода, корм лошадям, дрова.

— Конечно, конечно,— соглашаются корейцы.

Старик кореец, наш проводник, с детским добрым лицом, незлобивый и кроткий, мужественный охотник на тигров, первый стрелок из лука, за что в свое время и получил от императора похвальный отзыв, и на его могиле поставят, когда он умрет, высокую палку, и на ней райскую птицу или дракона, а при жизни его все называют его полным именем Дишандари (стрелок, получивший похвальный лист).

Я спешу оправдать выносливого старика и говорю:

— Я сказал Дишандари, что мы в тот же день снимаемся с лагеря — он поэтому и заботился выбрать стоянку, наиболее попутную для наших будущих целей. А если б он знал, что будет, то выбрал бы ту, где мы ночевали.

Дишандари очень смущен, тронут моими словами, а корейцы радостно кричат со всех сторон:

— Так, так...

Я смотрю в его прекрасное лицо, ласковые, не уверенные в себе глаза и говорю П. Н.:

— Скажите ему, что у него ноги заячьи, глаза волчьи, сердце тигра, а душа женщины. И он недаром Дишандари.

П. Н. передает — среди корейцев восторг. Дишандари на мгновение становится героем на пьедестале своих подвигов. О них теперь энергично говорят. П. Н. слушает их разговор и весело смеется.

— Они говорят, что каждое ваше слово как золото падает, что вы все понимаете, каждого человека знаете, что он думает. Что если б их начальники так все понимали, то Корея не хуже бы других была, а их начальники такие же глупые, как и они, и только бьют и грабят их не хуже хунхузов.

Разговор переходит к результатам наших исследований.

Они очень разочарованы в том, что из озера нет выхода. Никто из них этого выхода не видел и там не был, но так уж говорят у них из рода в род.

Относительно Ялу (Амноки), откуда она вытекает, покажет завтрашний и послезавтрашний день, которые мы посвятим исследованию южной и западной стороны Пектусана.

Я говорю им, что Пектусан был прежде кратер, показываю лаву, объясняю все лежащие перед нами инструменты. Несмотря на поздний час, интерес у корейцев и наших не ослабевает.

Речь опять заходит о таинственном озере — есть ли там жизнь?

Н. Е. и его спутники говорят, что голубицы там множество, видели одну птичку.

Я спрашиваю Дишандари, что это за тропки внутри вулкана, по отсыпям,— вероятно потоки воды?

— Нет, это изюбры ходят туда в шестую и седьмую луну, когда много оводов, а в озере нет их. Он и другие охотники тогда стерегут их у выхода, и он, Дишандари,

таким образом убил на своем веку пять пантов, продал рога каждого от 200—300 рублей, по оценке начальства, которое другую половину таким образом украло у него.

— А если б вниз озера спуститься и там их подстеречь?

— Там, конечно, совсем другое бы дело. Пока они лезут на откос, их всех перестреляешь, а они ходят табуном, голов в тридцать — пятьдесят.

— Ох ты, боже мой,— говорит Беседин,— нас бы вот так, русских, которые не боятся в озеро лазить — враз это сколько же денег? По пятьсот рублей — полторы, нет, пятнадцать тысяч.

— А теперь там и лодка есть,— говорю я.— Вот, действительно, вам, русским людям, составить артель, человек в десять, и в мае приходить сюда: женьшень, изюбры, тигры, барсы — богатыми людьми все сделаетесь. Человека три спустились бы в озеро, а семь проходы стерегли бы. А то, если все спуститесь, вас будут стеречь, как изюбров.

И Беседин, и Бибик, и молчаливый Хапов оживленно начинают обсуждать возможность такой артельной организации.

Я с своей стороны увлекаюсь и назначаю, если такая экспедиция составится, дать им двести рублей на обзаведение с тем, чтоб они сделали промер озера.

Вот компас, вот его употребление — все новые дорожки, все входы и выходы в этой трущобе, все поселения — кто их знает? А узнав, они могут сообщить о них и получить хорошие деньги. Быть в случае надобности проводниками. Вот образец простейшего журнала, простейшей съемки,— они люди грамотные.

Но, конечно, прежде всего надо научиться уважать хозяев здешних мест. У каждого своя религия, и нельзя смеяться над ней. О женщинах тоже надо забыть. Надо уметь и с хунхузами дружить,— они научат и корень искать, и звериные места покажут, и золото.

Два часа ночи, однако. Вот что я предлагаю корейцам: не хотят ли они поискать наших лошадей — за каждую лошадь я заплачу по пятнадцати рублей.

Корейцы согласны и сейчас же идут. Солдаты тоже решили идти искать растерянные вещи: предложили сами,— вчера они выспались и тоже сейчас идут.

3 октября

Семь часов, яркое солнце, тепло, ветру нет.

Сегодня я умываюсь. Все руки исцарапаны, в нескольких местах содрана кожа,— это результаты прошлой ночи, когда ломал ветви для костра.

И. А. возится с перекладкой вещей — отсюда мы идем уже налегке: лодку оставили на озере, палатки отправляются с корейцами обратно — изломало их, да и громоздки и мало пригодны.

По лесу несутся радостно отчаянные вопли возвращающихся корейцев:

— Гей! Ги! Ги, ги!

Гонят наших двух лошадей: слепую и белую. Вот они уж на опушке, а за ними радостные белые корейцы. Впереди, с колокольчиком на шее, умненькая белая лошадка, сзади нее, как слепой кобзарь за своим поводырем, плетется серая слепая лошадь.

Трогательная картинка.

На их спинах вьюки, их нашли в укрытой долинке, где была трава и снег.

Белая, вероятно, водила своего слепого товарища на водопой к снегу, а затем они возвращались опять в долинку.

Когда подошли к ним корейцы, белый тихо, приветливо храпнул, а серый остался таким же равнодушным, поникшим, каким был всегда.

Чтоб выбраться в эту долинку, им пришлось спускаться с очень больших круч, и как слепого учил белый ставить куда надо ногу — осталось их тайной. Но результат этой тайны — трогательная дружба между ними: они не расстаются. Белый пошел пить, и серый за ним — пили, пили. Затем белый смело подошел к мешку с овсом и рванул его зубами, серый подошел и то же самое проделал. Насыпали им овса, стали есть они, и все корейские лошади стараются присоединиться к ним. Серый с покорностью слепого равнодушен, но белый прижимает уши и ляскает зубами на все стороны, как только приближаются чужие лошади.

Моей лошади не нашли, а может быть, и не искали.

— Дракон себе взял одну, а этих сам снес в долину — лошади не сошли бы своей силой. Этих лошадей посылает дракон, посылает с ними и счастье начальнику экспедиции, ждет его большое счастье.

С какой глубокой верой и даже завистью говорится это.

Мы поели с Н. Е. и отправляемся на исследования истоков реки Амноки.

Возвращаемся мы в Буртопой засветло, выяснив, что все овраги по направлению к Амноке сухие.

— Амнока вон где берет начало,— показывает проводник на Малый Пектусан.

Это верст пять к югу от Большого.

Остаток дня мы проводим в приятном ничегонеделании.

Возвратились солдаты, принесли кой-какие потерянные вещи, видели медведя,— черного, небольшого,— стреляли, но не попали.

Корейцы собираются в дорогу, мы тоже завтра на рассвете выступаем: поесть и спать пораньше.

Сапаги предлагает рассказать сказку, имеющую отношение к здешнему месту. И, пока пища варится в котлах, мы все усаживаемся и после пережитых треволнений благодушно слушаем высокого длинноногого Сапаги в его полуевропейском костюме, с дамской прической на голове.

Кончил Сапаги свою сказку, я закрыл глаза, и опять в фантастически иззубренных, почти отвесных стенах кратера, там, в глубине, сверкает предо мной озеро ярко-изумрудное, представляя из себя со всей окружающей на сотни верст местностью и самим Пектусаном что-то до того ошеломляющее, что не можешь забыть и, как очарованный, точно видишь это все опять наяву. Кажется, опять стоишь и смотришь на близкое голубое небо — беспредельно нежно-желтую, как золото, даль лиственных первобытных лесов! Смотришь на эту белую гору, на иззубренные, как башни, как старинные замки, вершины кратера. Смотришь туда, в глубь его, где этот безмятежный изумруд озера, где так тихо, так уютно, где все эти повороты в черных стенах, точно улицы заколдованного города с его дворцами и башнями. Первые впечатления сменятся другими, потрясут, может быть, до основания вашу душу все эти явления неуспокоившегося еще вулкана, этого, не вышедшего еще из периода сотворения мира, клочка земли. А какая охота! Здесь изюбры, здесь тигр и более кровожадный, чем он, барс; здесь не торопится бросать свое лакомство — голубицу при виде человека черный медведь; стада серн, антилоп и горных козлов. Здесь первобытно все: трава в рост всадника и первобытный лес. Здесь фазаны, лебеди, гуси, утки, речная и болотная дичь. Здесь произрастает

лучший и драгоценный женьшень, целебный корень, продающийся на вес золота.

Эти девственные места ждут еще своих охотников, своих Эмаров и Куперов! Охотники, мы должны прибавить, забегая вперед, должны быть в обществе не меньшем, чем двадцать человек, потому что разбойники хунхузы, как оказалось,— такая же реальная величина здесь, какою некогда были индейцы в свое время в Америке. Ждут эти места и художников! Сколько найдут они своеобразного очарования во всей этой дикой, чисто фантастической азиатской красоте! Одна Сунгари чего стоит! Сунгари со своими берегами, какими только может представить фантазия,— блестящая, коварная, изменчивая, но всегда поразительно прекрасная. Это отсюда кристально прозрачным каскадом падает она туда, вниз, в это беспредельное море желтого, золотого леса, в голубом небе.

Корейцы уложились и уезжают.

Мы прощаемся.

Я даю им обещанную премию, плачу за простой, и корейцы быстро собираются в обратный путь.

— Итак,— говорю я на прощанье,— мы с драконом теперь друзья?

— О, да, да,— радостно кивают головами корейцы,— вон какая погода.

Тихо, и в безоблачной синеве угрюмо, неподвижно нахохлился спокойный теперь Пектусан. С невольным уважением я смотрю на него: страшного врага уважаешь.

— Он, верно,— говорю я,— покатался сам сегодня на лодке, и ему понравилось...

Корейцы смеются.

— А вы сами на нас никакой претензии не имеете? Может быть, вас в деревне кто-нибудь обидел?

— Никто не обидел.

— Спросить: довольны ли переводчиком? — спрашивает П. Н.

— Спросите.

— Довольны, всем очень довольны.

— Спросите: может я с них взятку взял?

— Не брал, не брал.

Каждый кореец подходит ко мне, складывает обе руки и посылает ими приветствие мне.

Я говорю:

— Азунчано! благодарю!

Они делают последнюю попытку уговорить меня ехать назад. Я смеюсь, машу рукой и говорю:

— Пусть только едут, не останавливаясь,— груза нет, лошади вытерпят; на рысях к утру, пока проснутся хунхузы, они уже будут дома.

— Е, е,— кивают корейцы в знак согласия.

Один за другим на своих маленьких лошадках они скрываются в лесу. Последние лучи — и опять горит Пектусан.

Где-то там теперь моя бедная лошадь?

Впрочем, я не очень жалею о ней: слепая, она свалила бы меня где-нибудь с кручи.

5 октября

Страшный грохот и треск заставил меня открыть глаза. Ночь темная, что-то сыплется сверху: глиняная штукатурка. Залпы выстрелов?! частые, громкие, новый и новый треск, какой-то злобный, жужжащий, ищущий в кого впиться свист. И опять залпы: то трескучие, то глухие — бум... бум...

Хунхузы?! Где ружье?! Где хунхузы?! В фанзе уже перерезали всех, и только я почему-то еще жив? Стреляют в бумажные двери, стоя перед нами? Ночь хоть глаз выколи. Зажечь свечку? Откроешь им все... Откроют и так... Так вот как это все кончается... Что ж, как-нибудь да должно же когда-нибудь кончиться... Поздно, поздно... Теперь одно мужество смерти...

Тихий голос Н. Е.:

— Вы живы?

— Я ищу свое ружье, нашел... Не зажигайте свечку... Ружье, кинжал с вами?

— Со мной.

Какой-то шорох.

— Кто это?

— Я, П. Н.

— Где солдаты?

— Здесь.

— Все?

— Беседина нет.

Н. Е. поймал кого-то за длинные волосы.

— Кто?

Молчание.

— Молчит и только гладит меня по колену,— говорит Н. Е.— Что-то говорит.

Это Дишандари, оказывается; он говорит, что хозяин фанзы уже убит.

— Где корейцы?

— Убежали в лес.

— Подползайте к двери и сядьте по стенам,— говорю я.

Я сажусь с левой стороны двери, с правой Н. Е.

Прорвали дырку в бумаге и смотрим.

Залпы не прекращаются, но, очевидно, стреляют сзади, и мы защищены от выстрелов капитальной стеной. Только там, вверху, в соломенной крыше без потолка, по временам какой-то блеск, и точно сыплется что-то оттуда.

— Сколько же их стреляет?

— Ох, много,— говорит удрученно П. Н.,— человек двести.

— Сорок,— поправляет Дишандари,— это та партия, которая уходила к Тяпнэ: у них две пушки,— вот это светлое там на крыше мелькает,— это ядра.

— Который час?

На мгновение я зажег спичку: половина пятого.

— Скоро рассвет. Только бы дня дождаться, чтоб увидеть что-нибудь.

Стреляют все сзади. Что с лошадьми?

Заглядываю на мгновение в дверь: при свете костра видны лошади,— они стоят совершенно равнодушные ко всей этой трескотне. Начиненные бомбы из ружья-пушки иногда разрываются и огненными искрами тухнут во мраке.

— Сперва с этой стороны летели, а потом перешли назад...

— Отсюда не стреляли; это бомбы перелетали и разрывались, и казалось, что отсюда стреляют. Они в лесу засели и оттуда палят.

Ночь, не видно ничего, а с вечера на все окружающее здесь не обратили внимания. Но недалек и рассвет. Ах, дождаться бы свету. Плохо, если зайдут с этой стороны и начнут стрелять в бумажные двери. Они, очевидно, ошибочно предположили, что мы заняли ту сторону фанзы, иначе кто им мешал зайти с этой стороны — лес там и здесь.

Мне холодно, я замечаю, что я не одет. Кто-то подает мне меховую рубаху.

Шорох в соседней комнате.

— Кто там?

— Беседин.

— Откуда вы?

— Сапаги взял мое ружье, бегал искать его: пропало... думал, это вы уже там в лесу завязали перестрелку...

— Тише... голоса...

Близко против нас разговор: несколько голосов.

— Что они говорят?

— Говорят, что тихо; убиты все или убежали.

— Без команды, пока не увидите людей, не стрелять.

Голоса уже перед нами.

— Что еще говорят они?

— Та,— это значит: стреляй, говорят.

Я быстро растворяю дверь: залп!

— Пробежал, пробежал! другой на четвереньках... вот, вот...

Н. Е. выбегает и заглядывает за угол — никого.

— Ну, теперь знают, что мы живы, и сюда не полезут, а выстрелов их, очевидно, не хватает, чтобы прострелить заднюю стену и ранить нас.

— Почему так светло?

— Кажется, фанза горит.

Н. Е. опять выскакивает и возвращается.

— Горит фанза сзади, но ветер в противную сторону,— все-таки горит хорошо... Хотят при свете горящей фанзы, сидя в лесу, как куропаток, нас расстрелять, когда мы выскочим.

И залпы прекратились,— ждут нашего появления. Негодяи ничем не хотят рисковать. Но хоть бы увидеть их и дороже продать свою жизнь. Какая-то злоба закипает, и картины прошлого ярко встают в голове. Ах, скорее бы свет.

Светает! Перед нами овражек; ясно, что надо перебежать туда и залечь.

— Готовы все?

— Готовы.

— Дайте папиросы, часы, портсигар.

Я надеваю сапоги, засунул в них часы, портсигар, спички и три пачки патронов.

Я вперед и все за мной, пригнувшись, быстро перебегаем в овраг. Залп, но мы все целы... Мы сейчас же отвечаем залпом: теперь видно, куда стрелять,— фитильные огоньки, огоньки их выстрелов обнаруживают цель.

Очень скоро, впрочем, после наших залпов выстрелы

в лесу прекратились. Было уже настолько светло, что можно было разглядеть местность.

Вскоре пришли В. В., китаец и Таана. Они все сидели в какой-то яме. Под моим и Н. Е. прикрытием стали переводить лошадей в овраг.

— Две лошади убиты наповал, две ранены...

Беленькая лошадка, проводник слепого, убита пулей в лоб. Слепой жив, идет и, по обыкновению, тяжело стонет.

Когда лошади были переведены, принялись спасать вещи. Время было,— пламя уже охватило крышу.

И вещи перенесены. Светло. Фанза догорает. Хозяин ранен двумя пулями: одна в ногу, другая в пах.

У В. В. прострелена шуба. В. В. совершенный молодец: спокоен, как будто все делается так, как и должно — все предопределено за много миллионов лет.

— Моя думал, больше домой не будет.

Он и китаец-проводник водят лошадей, носят вещи.

— Ружье нашел,— кричит радостно Беседин.

Немного подальше от ружья полушубок Сапаги и тут же китайская материя. Сапаги, следовательно, бежал от них, они догнали его и увели. Почему он бежал не к нам в фанзу, а мимо? Было приказано раньше всем собраться ко мне. Почему не стрелял? Почему не кричал? Очевидно, тогда еще не стреляли? Стрелять начали, когда схватили Сапаги.

Думали, что от залпов мы выскочим, и тогда, при свете костра и горящей фанзы, они перестреляют нас. Бедный хозяин поплатился за гостеприимство.

— Скажите ему, что он получит за все убытки.

— Он говорит, что исполнил свой долг гостеприимства, денег не надо, лишь бы жить: он просит полечить его.

Полечить? У нас была маленькая аптечка — хина, иноземные капли, несколько мудреных названий, карболка, бинты.

— Пули надо вынуть...

— Мы не доктора...

Солдаты качают головами.

— Умрет: попало в пах...

Животный эгоизм: я думаю, какое счастье, что из наших никто не ранен, какое счастье, что еще восемь лошадей есть.

Прибежали корейцы из леса.

— Большое, большое счастье, всем нациям счастье, только корейское счастье пропало, нет у корейцев счастья.

Дишандари говорит:

— Вчера у меня была лошадь, сегодня она уже мертвая лежит. Вчера наш хозяин был живой, здоровый и самый богатый человек в деревне; сегодня он умирает, все добро его сгорело, и семья его самая нищая из всех.

Сколько естественного благородства, простоты в этом умирающем. Строгое, черной бородой окаймленное честное лицо, большие глаза. Умирающий вдруг тихо заплакал. О чем он плачет?

О прожитой жизни, о потерянном богатстве, о тщете всего земного?

Никто не знает, тихо и торжественно было кругом.

Жена прильнула к его ногам и тоже плакала слезами истинного горя без криков и воплей.

Молодой сын двенадцати лет, принявший нас вчера в отсутствие отца, посчитавший сперва нас за хунхузов, стоял теперь такой же бледный и трепещущий, как и вчера стоял перед нами.

— Позовите его.

Он подошел ко мне и напряженно вслушивался.

— Пусть скажет фамилию отца и свое имя. Мы сообщим обо всем китайским властям, сюда придут войска. Ему с матерью пришлем триста долларов. Пусть уйдут назад, в Корею. Там вырастет он, найдет хорошую жену и будет счастлив.

— Он тоин? [1] — быстро показал мальчик на меня,— отец будет жить?

— Оконшанте не сказал еще свою волю. Пусть спрячет эти деньги — это золото; оно пригодится ему с его матерью, пока другие придут.

— Говорит, не надо деньги. Хунхузы узнают, опять придут.

— Никто не видит, пусть он спрячет.

Громкие крики несутся по деревне. Это более храбрые, возвратившись, вызывают из леса своих робких родственников.

Иногда громко, настойчиво кто-нибудь кричит одно и то же имя. И вдруг где-нибудь близко, в кустах, раздается ответ. Очевидно, спрятавшийся все время слы-

[1] Предсказатель. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.*)

шал. И теперь отвечает, что он идет. Начинаются целые переговоры, пока, наконец, покажется еще один белый лебедь в лесу.

Постоянно около нас собирается толпа. Опять они спокойны, удовлетворены, ласковы. Они узнали, что хунхузы опять уйдут за нами и оставят их в покое.

Хунхузы идут на соединение с другой партией, которая действует на Ялу, чтоб совместно уничтожить нас. Они определяют эту партию в 40 человек, но им помогают временные, все эти бароны, которым корейцы отдают половину своих доходов, своих женщин. Пушки у них от баронов.

Я уже убедился горьким опытом, что кореец никогда не лжет и, сообщая нам, не гнет никакой линии.

Не страшны в открытом бою и сто китайцев,— это гнусные и в то же время робкие гиены,— но страшны они ночью, когда кругом глухой лес, страшны в засаде в этих лесах.

Оказывается, что с того времени, как мы вышли из Тяпнэ, они ловят нас, но все время так выходило, что они получали неверные сведения. Единственный раз, когда им удалось догнать и перегнать нас, это когда мы ночевали у скупого рыцаря. Там они не решились напасть и предпочли устроить засаду, в полной уверенности, что мы пойдем по их дороге... Сведения о том, что мы свернули на корейскую дорогу, пришли к ним настолько поздно, что они только к трем часам утра успели подойти к деревне и таким образом почти потеряли ночь. Тем не менее, потеряв терпение и надежду еще раз захватить нас врасплох, они решили воспользоваться оставшейся ночью и произвести нападение.

Огонь нашего костра, лошади и сообщники китайцы из местных баронов указали им безошибочно нашу фанзу.

К счастью нашему, дорога их идет по тому косогору,— иначе, приди они по нашей дороге, пальба была бы в наши двери.

Вероятно, скупой рыцарь объяснил им, что по ночам мы не спим, и тем объясняется то, что они не смели сделать нападение прямо на фанзу и перерезать и перестрелять нас, пока мы еще спали.

Все это только показывает, как трусливы их хунхузы и какая разница между ними и такими же хунхузами на Кавказе, где во время постройки Батумской железной дороги, когда я только что кончил курс, пяте-

рых, служивших в моей дистанции десятников, перестреляли и перерезали местные турки. Они тоже дали несколько залпов, но затем ворвались в балаган, где были десятники, и дорезали, кто еще был жив.

Точно так же могли бы и должны были распорядиться и эти хунхузы, но очевидно, что и китайская храбрость недалеко ушла от корейской. Они хунхузы, но они ничем не хотят рисковать и добычу свою — тигров, барсов, медведей, нас, корейцев, богатых китайцев выслеживают и бьют из засады, устраивают западни...

Во всяком случае характер врага нам ясен теперь...

Опасны засады и ночи. Выгода наша в том, что теперь мы впереди: нам подниматься на ближайший косогор, им же обходить верст десять. Мы эту ночь все-таки спали, они нет. У нас лошади, и, попеременно то верхом, то пешком, мы безостановочно можем двигаться по крайней мере вдвое дальше, чем они. Не теряя времени, наскоро поев консервов, мы стали собираться в поход. Четырьмя вьюками убавилось у нас, да кроме того и все остальные лошади должны быть так облегчены, чтоб все могли сесть верхом, а Дишандари и Таани двое на одной лошади...

Пробовали было мы нанять вьючных быков, но корейцы объявили, что только силой их можем заставить.

К силе я, конечно, и не думал прибегать.

Оставалось одно: облегчить себя до последней степени.

Там, в Шанданьоне, таким образом оставили мы все наши консервы, запасы, великолепные постели, сумки, брезенты, оставили наши чемоданы, вещи. Я, как старший, показывал пример, и летели прочь полушубки, сапоги, теплые куртки, кожи, все белье, лишнее платье.

Кое-что все-таки сгорело. Из инструментов уцелели: барометр, шагомер, компас.

Что делать со всем оставляемым?

Пусть возьмут и сохранят корейцы.

— Но как мы сохраним? Придут хунхузы и отнимут.

— Тогда отдайте им.

— А в огонь, чтоб проклятым не досталось?—говорит Бибик.

Я не мог решиться на это. Жечь прекрасные вещи? Нет, и вещи требуют уважения.

Это одна сторона, а вот другая.

Эти вещи задержат здесь хищников, а мы в это время далеко уйдем.

В восемь часов мы выступили, все верхом с пятью ружьями, которое каждый, сидя верхом, держал на правом колене.

Так как приходилось несколько сот сажен пройти под правым косогором, где засели хунхузы, то для безопасности я приказал дать два залпа, чтобы обстрелять и обезопасить предстоящий проход... Н. Е., к которому возвратилась вновь вся беспечность русского человека, смущенно говорил:

— К чему же? Ясно, что днем они не нападают.

Но я настоял, и мы дали сперва один залп вдоль леса, а погодя второй. А затем, перейдя брод, скрылись в лесах левого берега реки. Все это открытое пространство мы прошли на рысях,— чтоб показать возможную быстроту нашего движения,— в расстоянии друг от друга в десять сажен.

Прием, практиковавшийся у нас при постройке Батумской дороги, припомнившийся мне теперь. Благодаря такой растянутой линии труднее засада, труднее перебить всех.

Но когда мы вошли в лес, то пришлось опять идти шагом — перед нами извивалась узкая тропинка, вся заваленная лесным хламом веков. К тому же перед нами было несколько тропинок, они шли частью в ближайшие китайские фанзы, частью в корейские.

Теперь эти фанзы брошены, вокруг зданий растет высокий бурьян, а некогда разделанные поля уже зарастают лесом, и дикий зверь, дикий человек могут любоваться делом своих рук.

Дишандари запутался в этих дорожках, и если б не три корейца, встретившихся нам, из которых двое за двадцать долларов согласились вывести нас на Ялу, то хоть назад возвращайся.

При этом они обязались не отставать от лошадей. Они шли даже быстрее, так как иначе, как шагом, ни лошади, ни люди идти не могли.

До сколько-нибудь безопасных мест нам надо было идти с лишком сто верст, имея сзади шайку атаковавших нас хунхузов и спереди такую же, идущую на соединение с первой.

В час дня мы пришли в маленькую корейскую деревушку, уже по ту сторону Ченьбошана.

Эти тоже впервые видели людей другой расы и сперва испугались, но потом очень радушно приняли нас.

Мы сварили себе пять куриц с картофелем и капустой, чумизы, лошадям дали столько овса, сколько они могли съесть, и в три часа выступили дальше.

Здешние корейцы сообщили нам, что вчера хунхузы Ялу были в сорока верстах от них, и потому сегодня на ночь они уходят в горы, так как ждут их прохода.

Перед нами были две дороги: корейская, глухая, без всякого жилья, и китайская, с баронскими фанзами по ней.

Для военного человека здесь, очевидно, и был решающий момент кампании: выступить по корейской дороге, пройти несколько верст по ней и затем, по компасу, перейти лесом на китайскую дорогу.

Таким образом жители деревни невольно обманули бы преследовавших нас, которые по китайской дороге спешили бы обогнать нас. Нам же засесть в засаду и перестрелять как идущих с Ялу, так и пектусанских.

Но так как лавры воина не мои лавры, и вся забота моя, выполнив научные задачи,— а они уже были выполнены,— сберечь доверившихся мне людей, то я, поделившись своими мыслями, несмотря на усиленные просьбы Н. Е., солдат, настоял на том, чтоб безостановочно идти дальше. Но наступили сумерки, и чуть заметную тропинку проводники очень скоро потеряли.

— У меня есть огарок,— пискнул из темноты И. А.

Зажгли огарок и дорогу нашли.

С огарком в руках мы шли, пока он не догорел. Тогда корейцы зажгли березовую кору.

И вот, при прекрасных факелах, мы идем, как днем. Своими спинами корейцы закрывают свет, и сзади нашим преследователям его не видно.

Да и где теперь эти преследователи? Полил дождь как из ведра, и уверенные, что темной ночью, да еще в дождь не пройти нам там, где и днем с огнем еще никто не ходил, они спят теперь в замке какого-нибудь своего барона.

В три часа ночи мы спустились в корейско-китайскую деревню Таснухан на реке Сагибудон-Мурри, притоке Ялу, сделав девятнадцатичасовой переход, пройдя пятьдесят верст.

И лошади и люди шатались от усталости. Н. Е. как ребенок упрашивал несколько раз остановиться и ночевать.

—Ну, я упаду с седла,— капризно говорил он.

— Мы вас привяжем.

Что до меня, я не чувствовал никакой усталости, но понимал в то же время, что без отдыха нельзя.

— Ну, господа воины, какая фанза в лучшей позиции в военном отношении?

Я бы пригласил на этот военный совет компетентных людей полюбоваться, как толково обсуждали три отставных солдата этот вопрос.

Наконец была выбрана стоявшая посреди открытого поля одинокая фанза. Мы тихо пошли к ней, тихо разбудили хозяина, успокоили его, дали лошадям овса, не разводя костра, а в фанзе занавесили их сквозные двери так, чтоб свет не проникал наружу. Затем попросили двух корейцев в помощь караулу, и предупредили, чтоб никто не выходил из фанзы.

Беседин, Хапов, два корейца засели в прикрытых местах. Бибик варил суп, Н. Е. спал, я писал дневник, остальные возились с лошадьми, кроме И. А., который готовил чай с последним сахаром, так как весь сахар при последнем переходе растаял.

Таким образом мы переходили совершенно на корейскую пищу.

И опять повторяю: с этого и надо было начать, а кто хочет сохранить здесь свои привычки и вкусы, пусть лучше не ездит сюда. Истратит много денег и все-таки не сохранит.

11 октября

Вторая ночевка на воде. Я, впрочем, ушел в фанзу и в отношении удобства проиграл: ночь была теплая, и спать в шалаше было хорошо. В фанзе же от горячего пола было душно, кусали тараканы, плакал ребенок за перегородкой, стонал и кашлял девяностолетний старик.

Вчера, когда мы вошли в фанзу, он сидел и ел. Он даже не повернулся к нам. Старое дряблое тело с сохранившимся желудком. Как величайший мудрец и философ, нашедший истинную суть естества, или как бессознательное животное, он сидит перед своей пищей, смотрит на нее во все глаза и жадно ест.

Я думал, что он глух, но сегодня утром, услыхав, что внук (сын его давно умер) продает нам курицу, он прокряхтел:

— Курицу не надо продавать.

Со мной рядом спали китайцы, корейцы, по обычаю, голые; их бронзовые темные тела покрыты миллионами тараканов; иногда во сне они делают сонное движение — слабую попытку избавиться от своих врагов, и опять спят богатырским сном в тяжелой, душной атмосфере.

Вечером набилась полная фанза корейцев. Говорили о политике, о текущих делах и делишках...

Я проверял прежние сведения. Некоторая разница уже чувствуется между южным и северным корейцем. Южане темнее, глаза строже, зажигаются огоньками, речь быстрая, страстная...

Но так же гостеприимны и благожелательны.

— Новое время идет, новая цивилизация входит в Корею,— что ж, надо жить, как другие живут. Через двадцать лет не узнают нас наши деды.

Не сомневаюсь, что раз серьезно поставится вопрос дальнейшей культуры корейца, способный народ быстро наверстает пройденный культурным человечеством путь.

Будет ли лучше им?

Праздный вопрос, на который не стоит отвечать. Думаю, впрочем, по мягкости характера, кореец и в культуре будет во власти других.

Сегодня утром наблюдал, как корейцы делают свою прическу.

Они чешутся раз в месяц. Остальное время они, проснувшись, руками приглаживают кверху свою прическу, туда, к макушке, где она шишкой закручена. Более франтоватые смазывают волосы маслом, сваренным с воском, кладут в масло ароматные травы, по преимуществу гвоздику.

У каждого корейца обязательно есть маленькое зеркальце, которое продают разносчики китайцы.

Недаром костюм корейца напоминает костюм девушки. Он и наряды любит, любит и в зеркальце посмотреться, движения его женственны, а проходя мимо женщины, он совсем превращается в какую-то девушку.

А настоящая девушка? Некрасива, мала. У нее очень некрасивая и неграциозная походка с каким-то выворачиванием вперед себя ног. Так ходят и богатые и бедные,— очевидно, так принято, это хороший тон.

В шесть часов утра свету нет еще, но в просвете будущего дня видно далеко...

Прозрачная стальная вода реки усиливает свет и рельефнее подчеркивает спрятавшийся другой берег.

У серой скалы приютилась фанза, среди коричневых

и серых тонов зеленые сосны взбираются вверх по скале.

И все так рельефно в этом полусвете, как вырисованная до мельчайших деталей картинка.

А тут же, за поворотом, новый перекат с громадными камнями, вода бурлит, кипит и бешено несется у громадных, отвесно нависших над рекой скал, и кажется, не река уже это, а скалистый берег моря в разгаре шторма, и нет спасенья попавшему сюда кораблю.

Наша «Бабушка» танцует на волнах, скрипит и жалуется на старость, молит о вечном покое, но железный колосс, наш капитан, гигантским рулем с страшной силой загребает воду и заставляет и «Бабушку» и воду повиноваться себе, и извивается шаланда между то спрятавшимися под водой, то торчащими скалами.

Совсем близко подойдет к береговой скале, вот, кажется, подхватило и несет нас, и нет спасенья...

— Шкпрво!

Несется резкий, дикий окрик капитана, и четыре китайца, как мчащиеся собаки, с прижатыми ушами, все стоя, всей силой налегают на весла, и мчится вода, мчимся мы, мчатся все эти из бронзы вылитые статуи, фигуры матросов китайцев.

А как добродушно, радостно, по-детски смеются они, когда опасность миновала, и подмигивают нам.

Это мужественные, сильные люди, и они храбрее собратьев своих — хунхузов. Те действуют только ночью и в лесу, прячась за деревьями, эти при свете дня, грудь с грудью, схватываются беспрестанно с опасным и свободным врагом. Враг, которого любят, больше друга.

— Там в И-чжоу,— говорят они,— вас повезут по морю на настоящем парусном судне сажен в десять. Там матросы не нам чета,— там всегда над головой смерть.

Бытовая картинка: вверх по реке толпа китайцев матросов тянет шаланду. Их человек двадцать, но издали это какие-то клубочки. Все они изогнулись и пригнулись к реке, упираясь ногами, хватаясь руками за камни почвы. Вся поза их, натянутая, как струна, бечева, говорит о крайнем их напряжении. Так будут они тащиться еще сто верст, делая в день по пять-шесть верст, на каждом перекате выгружая и нагружая снова шаланду.

Неудивительно, что пуд муки после этого стоит 4 рубля, а пуд соли 80 копеек.

Таких матросов хозяева нанимают по 40 долларов в год.

Поднявшись к месту назначения, они отправляются в леса и там будут готовить лес для сплава.

Весной шаланда, нагруженная хлебом, при двух-трех матросах, беспрепятственно спустится по реке, а остальные матросы пойдут на плотах.

И у них есть своя «дубинушка» короткая, заунывная. Слышатся сперва повышающиеся, затем спускающиеся с замиранием звуки:

— Ганги! Эйлей-лей!

— Ганги! Эйлей-лей!

Что-то покорное, безнадежно терпеливое.

Тяжела жизнь корейца.

С виду, впрочем, мало это заметно, а на расстоянии даже получается отрадное впечатление.

Действительно, приютилась красиво и уютно маленькая фанза; поля около нее. Счастливый кореец, сам хозяин своей земли, не знает никакой круговой поруки, платит за десятину пашни 40 копеек подати да с каждой фанзы 30 копеек, довольствуется своим, обходится без денег, самые ограниченные потребности свои — соль, зеркальце, тесемки, для нарядного платья бумажную материю — выменивает на чумизу, кукурузу, рис,— и счастлив.

Но когда подойдешь поближе, то происходит нечто подобное тому, что мы видим на Пектусане: издали — равнина, а спустишься — миллионы скрытых, как западня, глубочайших оврагов.

Много таких оврагов у корейцев — рабство (в голодные года родители продают своих детей), хунхузы, несправедливое, жаждущее взяток, ищущее только предлога, чтобы схватить провинившегося и начать мотать из него жилы,— его начальство, начиная от ничтожного пудни (староста), уже облеченного очень большими правами (розга, легкая пытка). И это каждого, кто только провинится или подозревается только в преступлении. А предрассудки старины, вяжущие корейца по рукам и ногам!

За своими предками, святыми горами, имеющими способность оплодотворять избранных женщин, за всеми этими драконами, куреями, тиграми, тысяченожками, с переселенными в них человеческими душами, со

всеми своими тоинами (предсказателями), бонзами и ворожеями, с убеждением, наконец, что все дело в том, чтобы удачным выбором могилы найти, как клад, свое счастье, и тогда не надо ни образования, ни ума, ни способностей — всем этим, как веревками, опутан кореец уже много тысячелетий, за всем этим ничего он не видит, не слышит и слышать не хочет или не может уже.

Это какое-то состояние вечного детства, вечных сказок того возраста, когда дети верят еще в сказки, когда ребенок смотрит на каждого и сомневается — кто перед ним: такой же, как он, обыкновенный житель земли или пришелец иного мира.

Надо бежать от злого человека, злой горы, тигра, барса, начальства, господина, надо бояться всех и вся...

И вся прелесть этой первобытной жизни сводится, в сущности, к заячьим ногам.

Но это уже не человек, а заяц.

А возьмите года невзгод: года эпидемий без докторов, голодные года без путей сообщений.

Поистине надо быть свихнувшимся человеком, чтоб в этой первобытной идиллии находить какую бы то ни было прелесть...

А какая грязь, какие насекомые...

Я уже не говорю о положении людей другой расы, привыкших к кое-каким удобствам и совершенно, как теперь мы, лишенным их.

А ужасная проказа: в деревне Ходянби, в пятьсот фанз, семь прокаженных. Они живут вместе с остальными; эти остальные пьют с ними, едят. И так по всей той Корее, которую я прошел.

А сколько калек, уродов, какая смертность!

Спросите в каждой деревне, и везде вам скажут, или что то же количество, что и прежде, народу живет теперь на свете, или убавляется.

Убавление на севере очевидно: брошенные фанзы, деревни, упраздненные города, теперь жалкие деревушки — на каждом шагу.

Один большой оригинал нашего времени, больной недостаточной культурностью, говорит:

— Я еду отдыхать сюда от тяжести нашей культуры.

На вкус и цвет товарищей нет. Оригинал таким и останется, но все человечество не живет жизнью оригиналов.

Ему нужны безопасные, обеспечивающие его жизнь и потребности условия существования, и никто не станет спорить, что где-нибудь в Бельгии они обеспеченнее, чем здесь.

Я по крайней мере, спасенный чудом от диких хунхузов, не буду спорить и думаю, что уничтожить этих хунхузов можно только с помощью общечеловеческой культуры, и я думаю, что пример здешней пятитысячелетней культуры, выработавшей людям маленькие, отупевшие головы и заячьи ноги,— хороший пример.

Оставим все эти вопросы,— они раздражают только.

Заблуждения, как эпидемии, горячечный бред, приходят и уходят. Горячечного не убедишь, а выздоровевшего убеждать не в чем. Да и безобидны эти заблуждения: не переменятся законы жизни от того, что тот или другой желал бы так или иначе повернуть жизнь. Жизнь идет по своим законам, и людьми достаточно прожито, чтобы при желании нельзя было уяснить себе истинный смысл этих законов.

Часа через два после встречи с китайцами бурлаками мы уже сами бурлачили, таща нашу «Бабушку» по каменистому мелкому перекату.

Китайцы, голые, в воде, мы все, захватив веревку, тащились, пригнувшись и напрягаясь, по берегу.

Часа в три протащили сажен сто. Несчастные китайцы посинели, несмотря на весь свой бронзовый цвет, и щелкали зубами, как волки. Чем дальше, тем ниже и мельче река. Так будет еще верст пятьдесят, до впадения большой реки справа.

Все те же горы футов в пятьсот, отдельные, частью покрытые желтой и красной листвой кустарника, виноградника, редкого, никуда не годного леса.

Крайне только редко попадаются обнаженные скалы и по преимуществу у обрывистых берегов.

Тогда вверх уходят каменистые террасы, поддерживаемые точно колоннами; цвет этих скал серовато-розово-красно-темный. Косые лучи солнца просвечивают их, и тогда кажутся они точно своим цветом окрашенные, прозрачные.

Сегодня пришли на ночевку в корейскую деревню Минтоцанкари и в первый раз встретили негостеприимное отношение со стороны одной корейской фанзы.

П. Н. не только не впустил хозяин, но и ругался очень энергично. Его черные глаза с красными белками метали искры, он не говорил, а кричал, темный, черный, взбешенный.

— Что он говорит?

— Он говорит: вы все прокляты, другие народы, я до сих пор вас не видел и не хочу никогда видеть.

— Скажите ему, что мы пришли сюда не ссориться, что мы считаем корейцев братьями и до сих пор везде нас встречали гостеприимно, как следует встречать гостей. Когда он к нам придет, мы встретим его гостеприимно. А затем оставьте его и спросите, кто желает нас принять.

— Все желают, кроме этого; его все ругают и извиняются; говорят, что он сули выпил.

Пришел какой-то старик и стал кричать на строптивого хозяина фанзы.

— Что он кричит?

— Он упрекает этого хозяина, что он до сих пор полагающихся с него дров не доставил для школы, а гостям умеет грубить.

Хозяин после этого ушел к себе, и мы больше не видели его.

Деревушка в восемь дворов, а школа есть.

Конечно, школа — это еще только звук пустой.

Школа и школа. Татары и корейцы тысячелетия обучают в своих школах, да толку мало. Чему учить и как учить?

— Чему учат в школах?

— Женской грамоте, древним словам, как почитать предков, небо, ад, святые горы.

— А знание, ремесло дают в этих школах?

Что-то такое заговорили: бурум, бурум, бурум. Смеются.

Смеется и П. Н.

— Ничего этого, говорят, нет у нас.

Я вспоминаю нашего предводителя дворянства Чеботаева, он тоже настаивает, что школа должна обучать древнеславянскому церковному пению, но отнюдь не оскверняться разными ремеслами и знаниями: для какого-нибудь англичанина туриста слова нашего Чеботаева так же звенят в его ухе, как в моем звенят эти безнадежно добродушные бурум, бурум, бурум...

12 октября

Сегодня, только что выехав, мы засели на самом перекате и так прочно, что, пробившись часа три, вылезли из воды и греемся теперь на солнце. Послали за лодкой, переедем на берег, будем тащить волоком.

Всю замазку из «Бабушки» выбило, и течет теперь она, как дырявое ведро.

Течь увеличивает осадку; прежде сидела она три четверти аршина, теперь сидит аршин.

Доедем ли и когда?

Наше сидение на мели кончилось тем, что мы послали за корейцами той деревни, где ночевали, и они, за исключением ругавшего нас, поголовно явясь и раздевшись, полезли в воду и протащили нас по мелкому месту.

Так как денег у нас теперь очень мало, то восемнадцати человекам, помогавшим нам и потерявшим полдня, мы дали только пять долларов, причем около двух долларов из них отходило к китайцу, у которого купили мы канаты, пилу, топор.

Я извинился, что даю мало, а корейцы ответили, что они и этих денег не хотели бы брать, так как пришли помочь своим гостям.

— Скажите им, что я их очень, очень благодарю.

Лодка отходила.

— Скажите, что я желал бы когда-нибудь еще раз увидеться с ними.

— Они просят вас к себе в гости.

Корейцы смеются и смотрят на нас.

— Скажите, и я зову их к себе в гости.

— Придем, говорят,— говорят, северные корейцы стали уже постоянными гостями России и они на будущий год тоже хотят идти на заработки к русским. Очень хвалят русские заработки. Говорят, у русских денег много, а у японцев нет. И что японец иногда несправедливо делает,— обманывает, значит.

— Скажите, что, когда мы прощаемся, мы снимаем шляпу.

Когда П. Н. перевел, я снял шляпу, а корейцы руками выражали мне свои приветствия.

— Кричат: счастливой дороги!

— Асинчандо!

— Хе, асинчандо,— весело повторяет толпа, а мы в палящих лучах нашего летнего солнца уплываем вниз туда, где, кажется, горы сошлись и нет выхода.

Я сижу на корме, смотрю туда и думаю под мирный плеск весел: «Не то же ли и в жизни,— вот, кажется, заперло что-то все входы и выходы, и конец всему,— темная ночь, залпы; кажется, ворвались уже ищущие смерти и крови с зверскими выражениями лица...»

Все это уже назади. Только картинка в памяти: в рамке темной ночи горящая фанза и темный лес, освещаемый молнией залпов, и всеми своими изворотами, перекатами и глубинами, берега и горы, притоки и деревни попадают на бумагу.

Я думаю, что если б случилось здесь строить дорогу железную, например, то организация дела должна быть такова: год на изыскания. В этом же году закупка и сосредоточение зимой, в период перевозки, нужных для работ лошадей, скота и запасов: чумизы, кукурузы, рису, ячменя, гаоляна, овса, соломы (сена здесь нет). Закупка постепенная, по пудам, так как запасы ничтожные, да и те кореец ни за что не продаст все сразу. Немножко сегодня, немножко завтра.

Как закваска и школа русский рабочий необходим. Корейцы с большим трудом могут до некоторой степени явиться перевозочной силой. Остальные рабочие в громадном большинстве будут, конечно, закаленные в работе китайцы.

Так как все дело в правильном начале, то, казалось бы, в таком новом деле не следует здесь торопиться и следующий за изысканиями год посвятить этому неспешному началу. А затем нахлынут рабочие руки, форсированная работа сама собой явится.

Кра-кра-кра! Это затрещала наша «Бабушка» по камням и так, что я уже думал, что ничего от нее не останется.

Она уцелела, но сваренный для всех суп — на дне лодки, подбирают куски мяса, но дно лодки грязно.

— В холодной воде обмыть — можно есть; чумиза осталась.

Чумиза все: она заменяет и кашу и хлеб. Суп с чумизой, чай с чумизой, завтрак — чумиза.

Иногда кукурузная каша, но ее едят не так охотно, и холодная она отвратительно тяжела и безвкусна.

Под вечер Н. Е. подстрелил утку, и мы подплыли за ней к корейскому берегу.

Вдруг слышим — на китайском берегу пальба и свист пуль мимо.

Наши китайцы подняли отчаянный крик, но, пока кричали, еще несколько раз выстрелили. К счастью, никого не задели.

Оказывается, это солдаты китайские, приняв нас за высаживающихся хунхузов, открыли огонь по нас.

Хорошо еще, что не начали палить из двух ручных пушек, которые вынесли на берег и из которых уже угощали нас раз в этих гостеприимных местах.

Уже, когда мы подъехали к ним на голос, китайцы все еще сомневались и, с сожалением наконец, что так и не успели разрядить своих пушек, понесли их назад в фанзу.

— Где старший?

— Старший уехал в город. Вчера на том самом месте, где высаживались вы, высадились ночью хунхузы, мы и считали, что вы их оставшиеся товарищи.

— Ну хорошо, сообщите вашему начальству, что в Шанданьоне, это ваши места, на нас напали хунхузы и убили четырех лошадей и одного корейца, другого в плен захватили. Имя пленного — Цойсапаги. Запишите, мы делаем вам официальное заявление.

— Его туда не ходит,— его здесь,— переводит В. В.

— Пусть передадут своему начальству.

Военный пункт китайский, откуда в нас стреляли, называется Ян-юн-тоу и находится в Амноке, в сорока верстах выше, вверх по течению от Виверса.

Итак, ночью хунхузы, днем китайские сторожевые пункты.

— Вы должны были кричать издали нам,— говорят они нам.

Я вышел к ним с маузером и приказал переводить следующее:

— Их десять выстрелов не сделали нам вреда, потому что они не умеют стрелять, потому что их ружья никуда не годятся, но я и мы все умеем стрелять, и наши ружья каждое выстрелит в десять раз скорее, чем они все вместе, и каждая пуля попадет в цель на полтора вершка.

И, сказав, я прицелился и выстрелил в доску десять раз, на что потребовалось не более десяти секунд.

— И мы уже имеем право уложить вас всех, потому что вы по ошибке первые открыли огонь. Советую поэтому не ошибаться, потому что не всякий отнесется так добродушно, как я.

Впечатление от маузера было громадное: быстрота, сила выстрелов, меткость.

Восторг выражался по-детски: кричали, визжали, хохотали и совершенно не слушали, что переводит В. В.

18 октября

Последний день в Корее. Мы в городе И-чжоу. С виду это самый чистенький богатый город из тех, которые мы видели.

Множество черепичных фанз с китайскими крышами на четыре ската с приподнятыми вверх, точно улетающими в небо краями. Края эти изображают из себя иногда драконов, змей, священных птиц. На макушке крыш еще маленькая на столбиках крыша, точно корейская шляпа на голове. Цвет черепицы черный. Черный и белый цвет извести — два господствующих цвета, что придает городу мрачный вид. Все те же бумажные двери, окна, и только в очень богатых фанзах кусочки стекла.

Город до войны процветал и насчитывал до 60 тысяч жителей. Но война разорила его. Сперва китайские войска заняли брошенный почти город и, не стесняясь совершенно, захватывали имущество, ловили скот, насиловали женщин, жгли на дрова фанзы. Затем явились японцы и до появления главной квартиры, по отзыву всех, держали себя нехорошо. Но с приходом главной квартиры безобразия прекратились и стали платить за все.

Теперь в городе насчитывают не более 15 тысяч жителей и 4 тысячи фанз из бывших 20 тысяч. Жители не возвращаются в город, так как живущие на той стороне китайцы упорно стоят на том, что будет скоро новая война с Японией.

Корейцы по-прежнему любезны до бесконечности. Начальник города, кунжу, прислал к нам цуашу (предводитель дворянства) с вопросом, не надо ли нам чего.

Нам надо было разменять японское золото, за которое давали здесь половинную стоимость японскими долларами. Кончилось тем, что кунжу разменял нам все золото по курсу.

Кстати, предупреждаю туристов, думающих путешествовать по северной части Кореи: лучшие деньги здесь японские доллары, которые идут здесь по 500 кеш. От устья Тумангана до Хериона по тому же курсу шли у нас и серебряные рубли и бумажки. Мексиканские доллары идут на 20—30 кеш (4—6) (копеек) дешевле. Золото же и японские бумажки нипочем не идут.

Любезность кунжу этим не ограничилась. Он первый сделал нам визит и на наше замечание, что он предупредил нас, сказал:

— Имя русского в Корее священно. Слишком много для нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтобы мы не ценили этого. Русский — самый дорогой наш гость. Мы между двумя открытыми пастями: с одной стороны, Япония, с другой — Китай. Если нас ни та, ни другая пасти не проглатывают, то, конечно, благодаря только России.

Мы остановились в обширной сравнительно фанзе с потолком, оклеенными обоями стенами, с бумажными дверями, на которых нарисованы разные небывалые звери, птицы, с стеклами в середине дверей и окон. На теплом полу, устланном циновками, стоит грубоватое подражание японской ширме, туалетный японский столик с зеркалом и разными банками. Но двор микроскопически мал, грязен.

Улицы чище и шире других городов, есть даже канавы, но грязи и вони все-таки очень много, так много, точно все время вы идете по самому неряшливому двору какого-нибудь нашего провинциального дома. Сегодня как раз ярмарка. В маленькой, узенькой улице много (сот пять) народа, открыты лавки, лежат на улице товары: чумиза, рис, кукуруза, лапша, посуда, сушеная рыба, дешевые материи, пряники (на 20 кеш мы купили фунта два их: тягучие, клейкие, мало сладкие). Толпится рабочий скот. Попадаются иногда прекрасные экземпляры быков, пудов до сорока живого веса. Но коров хороших нет: аналогия с людьми. Корейцев много красивых, с иконными темными лицами, но кореянки некрасивы: скуласты, широколицы, с маленькими лбами, с маленькими неизящными фигурками.

Но лица их добрые, ласковые. Особенно у пожилых женщин, у которых нет страха за свою молодость, и они уже спокойно смотрят на вас. Благодаря нарядной прическе в этом взгляде что-то знакомое — так смотрит чья-нибудь тетушка со двора своей усадьбы где-нибудь в глухой деревушке, бедно одетая, но которую вы сейчас же отличите от крестьянки по ее стародавней прическе,— смотрит спокойно, добродушно ласково, все изведавшая на своем веку.

Впрочем, и таких женщин мало. Все женщины где-то прячутся в задних комнатах своих фанз, а редкая, если и показывается на улице, то здесь, на юге, под такой большой шляпой, каких на севере Кореи я не видал. Это не шляпа даже, а большая плетеная корзина, у которой вместо плоского дна конус. Диаметр такой корзи-

ны больше аршина, и такая корзина закрывает женщину ниже плеч. Смотрят же обладательницы таких шляп через щели соломенного плетения. Исключение составляют только танцовщицы — класс официально уже упраздненный, но еще продолжающий функционировать. Их лица открыты, набелены, взгляд смелый, уверенный, костюм нарядный — цветные шелка, около них запах мускуса, гвоздики.

Возле таких танцовщиц всегда несколько молодых людей в изысканно белых костюмах, нередко из шелка, в своих черных из волоса с миниатюрными тулками и громадными полями шляпах.

Очевидно, тонкостью своего обращения они хотят импонировать львице и всем окружающим, подражая во всем своим старшим по культуре братьям — китайцам.

— Тут что... А вот в Сеуле... Там образованные танцовщицы, там они не хуже китайских умеют играть и перекидываться острыми словами.

Сказать острое словцо, подобрать тут же рифму с особым смыслом, с намеком на политику, общественную жизнь, на какой-нибудь наделавший шуму эпизод — это верх образования.

Мы праздно продолжаем ходить по ярмарке. Один кореец купил горсть рису, другой тащит мешочек кукурузы, чумизы, а тяжелая связка кеш болтается у него сзади, привязанная к поясу. На самом маленьком нашем деревенском базаре и товару больше и крупнее торговля.

А вот похороны. Большие парадные похороны. Умерла жена — уже старуха — богатого корейца. Процессия с воплями и плачем медленно проходит.

Впереди всех верхом на лошади, по-мужски, женщина в сероватом из тонкого рядна халате, повязанном веревкой. Женщина эта покрыта каким-то прозрачным серым мешком.

Это любимая раба, на обязанность которой лежит оплакивать покойницу. Почетная роль. Радостное сознание этого почета заглушает в ней печаль, и хотя она и усердно взвизгивает, но озабоченно и со страхом оглядывается, боясь пропустить момент, когда надо остановиться. Ее уродливое лицо с несвойственной для кореянки живостью, то и дело оглядывается назад. Видно, что для нее это событие на всю остальную жизнь и честь выше головы.

Все войдет опять в колею, опять будут ее неволить и бить, но этот день, как солнце всей ее жизни, будет светить ей до последнего шага ее жизненного пути. Будет о нем она рассказывать внукам и правнукам своих господ и в ясный весенний день, когда отдыхать будут ее старые кости, и в угрюмый осенний вечер, когда от ломоты места живого не будет в них, так же рассказывать, как и у нас еще рассказывают барчукам старые нянюшки, видевшие еще и барщину и всю неправду крепостной жизни.

За рабой тянется ряд хоругвей: на шестах доски с изображениями людей и невиданных зверей, громадные кольца золоченой и красной бумаги. Это деньги — деньги для ада, которые там будет платить покойница. Их положат с ней в могилу. Она и здесь уже платит,— идут двое и разбрасывают такие деньги по дороге. Это умилостивляет духов ада, и, следуя теперь за телом, они ни покойнице, ни ее родным, ни всем тем, мимо домов которых проносят тело усопшей, не будут делать зла. Но для верности женщины каждого дома выносят на порог горсть сухих листьев, хворосту, ельнику и жгут его. Дым еще лучше денег отгоняет злых духов и во всяком случае гигиеничнее.

Ближе подходит процессия, и нестерпимый в неподвижном солнечном воздухе трупный смрад. Неудивительно: тело покойницы держали три месяца на дому прежде погребения.

Вот и катафалк — громадные закрытые носилки с балдахином, закрытым со всех сторон. Стенки его разноцветные, поверху изображения страшных лиц, драконов, змей, священных птиц.

Впереди катафалка дети, родные, друзья. Сзади носилки: в передних сидит подруга покойной и громко плачет — это ее обязанность.

Процессия останавливается на перекрестке, где дорога сворачивает уже за город, и происходит последнее поминание в городе.

Перед катафалком. устанавливается богатый корейский стол с рыбой, но без мяса, так как это был пост, с чашками риса, с восковыми свечами.

Впереди этого слова не выше (полуаршина) полусидят на коленях все мужчины, одетые в траур (такой же, как у рабы).

Муж покойной читает какие-то бумаги, сын покойной, лет шестнадцати юноша, стоит перед столом, ли-

цом к катафалку, и кладет частые земные поклоны или, складывая руки, поднимает и опускает их.

Чтение нараспев, и иногда все подхватывают и повторяют припев. Какой-то, очевидно, сильный момент, потому что все заметались, припали к земле, и несколько искренних рыданий сливаются с страстно тоскливым напевом.

Ощущение какого-то всеконечного конца, горя, пустоты.

Кончилось, все встают, обед несут дальше, и вся процессия опять приходит в движение, медленно скрываясь где-то за городом в ярких лучах осеннего дня.

Так же как и у нас, точно тише вдруг стало, и громче там и сям пение петухов.

Пора и к начальнику города с визитом.

Маленький начальник в лиловом шелковом халате, с маленькой в три волоска бородкой уже ждет нас на высоте своего навеса.

Для нас открыты средние ворота, нас ведут по средней лестнице — это высший почет. По этой же лестнице спешит сойти навстречу к нам кунжу.

Мы жмем руки друг другу и идем внутрь его помещения. Комната без стульев, ковер: жестом руки нас просят садиться.

Я уже привык и сажусь свободно, поджимая под себя ноги, но Н. Е. никак не может усесться, и, наконец, ему приносят какое-то высокое сиденье.

Нам подают маленькие столики с закусками, рисом и супом, но мы только что поели и едим плохо.

Хозяин дарит мне два листа с надписями, сделанными известным поэтом Кимом. На одной из них говорится о городе И-чжоу в таких словах: «Где кончаются горы, где долина и зелень, где гладь воды, где синее небо да белое облако в небе, там город И-чжоу».

Этот Ким был когда-то начальником здесь, любил город и оставил по себе очень хорошую память.

Мы сидим; я осматриваю маленькие высокие комнаты здания, с вертикальными рядами китайских знаков. Мы уже переговорили обо всем; несколько раз повторяет хозяин уже высказанное сожаление, что мы так скоро, сегодня же, покидаем его город; мы хотим вставать и прощаться уже, когда что-то докладывают хозяину, и он, сделав гримасу, что-то говорит и неохотно встает, направляясь к порогу.

Там стоит он и ждет, а во дворе какой-то шум. Немного погодя показываются китайский офицер и несколько его солдат.

У порога хозяин и гость кланяются.

Китайский офицер с красивым римским лицом, бритый, высокий, стройный, с изящными манерами, в костюме, напоминающем римские туники, входит в комнату, уверенно, но вежливо кланяется нам и по приглашению хозяина садится на ковер.

Я делаю движение встать, но П. Н., из нескольких фраз понявший, в чем дело, говорит:

— Не уходите, очень интересно. Это начальник китайского города. Он пришел с жалобой на корейцев. Будто бы триста корейцев его плот ограбили. И плот не его, и триста корейцев никогда не бывало: все врет...

Если б офицер понимал, что говорит П. Н.! Но он сидит величественно и спокойно, слегка поводя своими большими, красивыми, подведенными глазами. Видны были его красивые, длинные руки с громадными отточенными ногтями, с широким из цветного камня кольцом на большом пальце.

Он, очевидно, знает, что все на нем дорогое и сидит хорошо, и умеет он держаться, знает, что он красив и строен и может быть и очаровательным поклонником, и суровым, беспощадным судьей, и жадным хищником, не пропускающим удобного случая. Таковым был он в эту минуту, и лицо его словно говорило: «Если я в данный момент и обнажаюсь, может быть, с этой стороны, то мне все равно: остальное при мне, и я добьюсь своего».

Маленький корейский начальник, полный контраст своего гостя, болезненно и раздраженно мнется.

Он обрывает речь своего гостя и раздраженно обращается к переводчику:

— Спроси: разве вышел новый закон, по которому китайские солдаты тоже могут входить в мою комнату, и притом не снимая обуви?

Солдаты в своих синих кафтанах, с красными и желтыми щитами и обшивками, действительно явились без церемонии за своим начальником и, кажется, только ждут распоряжения, чтоб броситься на тщедушного хозяина.

Переводчик дипломатично обращается не к офицеру, а шепчет что-то солдатам. Те нехотя и обиженно выходят не только за дверь, но и совсем на двор.

Выслушав гостя и приняв его заявление, хозяин говорит переводчику:

— Всегда китайцы жалуются, что их грабят корейцы, и маленькие дети даже не верят и смеются над этим. Их хунхузы грабят. И всегда лес оказывается начальника, но всегда без документа. Начальник говорит, что и деньги были отняты у его сплавщиков леса. Когда у сплавщиков бывают деньги?

Хозяин устало опускает голову: ему обидно и стыдно и за гостя и за себя. Офицер просит вызвать на суд виновных. Хозяин отдает распоряжение.

Мы встаем и откланиваемся. Такой же великолепный поклон со стороны римлянина китайца. Мало того, он встает и совершенно по-европейски жмет нам руки. Я жму и с радостью соображаю, что он сегодня в свой город не попадет, а я буду там ночевать, а завтра утром, прежде чем он приедет, я уже выступлю и таким образом избавлюсь от визита к нему.

Хозяин с видимым удовольствием оставляет своего гостя и, несмотря на усиленные наши просьбы, провожает нас до ворот.

Мы спешим в свою фанзу. Наши китайцы матросы с своим гигантом капитаном уже ждут нас. Итак, мы отправляемся по восточному побережью Ляодунского полуострова в Порт-Артур. Лошадей наших, идущих из Мауерлшаня с Бесединым и Таином, еще нет. Так как в Порт-Артуре у меня и Н. Е. есть дело, которое задержит нас там на несколько дней, то я решаю ехать с Н. Е. вперед, чтобы воспользоваться тем временем, пока будет проходить наш обоз для нужных работ в Порт-Артуре.

Во главе обоза остается И. А. При нем солдаты: Бибик, Беседин, Хапов и кореец Таин. С ними же остается китайский переводчик В. В. Последнего оставляю с величайшим сожалением, заменяя его корейцем, говорящим по-китайски. Этот будет переводить П. Н., а последний нам. Таким образом, передовой отряд составляется из меня, Н. Е., П. Н. и корейца, жителя И-чжоу.

При нас два револьвера и мой маузер с последними девятью зарядами. Все остальное вооружение мы оставляем обозу.

Обоз — громкое название: семь верховых лошадей, одной больше против числа всадников. Эта лишняя повезет кастрюлю и четыре уцелевшие чашки — вот и весь наш теперешний обоз.

Капитан и матросы ручаются за безопасность нашего пути до Порт-Артура.

— Есть морские пираты, но сухопутных хунхузов мано (нет). Все время вы будете ехать густонаселенными пахотными местами.

Этого довода для меня достаточно, чтоб не думать больше о каких бы то ни было хунхузах. Потому что, если я видел там в горах эти уродливые язвы китайской цивилизации в лице хунхузов, то успел уже увидеть и культурный земледельческий класс. Познакомился наконец и с другим классом людей в лице моего капитана и его моряков — пролетариев, рабочих, которые честным путем хотят заработать свой хлеб.

Я не мог не проникнуться к тем и другим глубоким уважением: я видел тяжелый труд земледельца по притокам и по самой Амноке, видел тяжелый и мужественный труд моряков. Я видел этот облагороженный свободным трудом взгляд и понимал, и чувствовал, что при внешнем сходстве этих людей с хунхузами (грязный костюм, нечистоплотная коса, закоптелый таежный вид) разница по существу неизмеримая, такая же, как между нашим лесным бродягой и оседлым населением.

Все это, торопливо укладываясь, я растолковываю маленькому, но храброму И. А., который высказал некоторое сомнение относительно риска предстоящего путешествия.

Все готово.

— Ну-с, господа, до Порт-Артура. Помните постоянно, что вы в гостях и, следовательно, ничего требовать не можете. Хороший гость старается, напротив, сделать что-нибудь приятное хозяину.

Мы опять в нашей «Бабушке». Она довезет нас по реке до китайского городка Сохоу, а оттуда завтра на лошадях мы поедем дальше по Ляодунскому полуострову.

Сохоу в тридцати пяти ли от И-чжоу. Отсюда до Татонхоу, морской пристани у устья Амноки, главного пункта лесного, тридцать ли.

Солнце садится, и в последний раз мы видим его с корейского берега: оно уже за горами, и светятся далекие теперь горы, охваченные фиолетово-золотистою дымкой. Тишина, покой, мир. Горит река, и все неподвижно и тихо, как сладкий, но чуткий сон усталого человека. Он спит, видит грезы, но весь чувствует свой сон.

Усталый человек — это я. В первый раз за время своего путешествия я ощутил, вернее, позволил себе ощутить, ввиду близкого уже конца, утомление. В первый раз только на одно мгновение я позволил себе посмотреть на все окружающее с точки зрения моих обычных удобств. Я, тот прежний, увидел вдруг со стороны себя — грязного, в этой окружавшей меня классической грязи и специфическом китайско-корейском аромате: «Бабушка», пропитанная салом, с прилипшими к ее бортам и сиденьям маленькими, вечно секущимися, жесткими, черными волосами, грязные китайские чашки, грязные косы, сальные спины, грязные фигуры наших бравых матросов. И вся эта грязь, пахучая, с каким-то удручающим национальным ароматом, с насекомыми, которых кореец не торопится уничтожать, потому что они приносят счастье.

О, сколько этого счастья в Корее, в головах этих несчастных, в их длинных волосах, закрученных на макушке узлом, проткнутым булавкой...

Ощущение этой грязи почувствовалось так сильно вдруг, что, если б я мог, я, конечно, выпрыгнул бы даже из самого себя, чтоб бежать без оглядки.

Но выпрыгнуть нельзя, бежать некуда, растравлять самого себя даже опасно, так как дорога впереди еще большая и преждевременное отвращение могло вызвать и соответственное истощение, так как известно, что отвращение побеждает голод, расстраивает питание, а о нервной системе, о спокойном восприятии не могло бы быть и речи.

Да, наконец, и матросы китайцы при всей своей грязи проявляли столько трогательного радушия, привязанности, внимания, что нельзя было оставаться равнодушным.

В. В., провожавший нас до города, радовался, как ребенок, что мы наконец едем в китайскую сторону, в китайский город. Это его сторона, его город — эти матросы и он будут нас там принимать.

— Что Корея,— добродушно машет он рукой,— вот Китай наша посмотри... Что Корея...

Он радостно говорит что-то капитану. Капитан несколько раз кивает ему головой и, в свою очередь, выпускает несколько горловых и носовых звуков. В. В. торопливо переводит:

— Сахар есть, чай есть, булки есть... Ну? Что Корея... Яблоки вот какие... Ну? Пряники — все есть... Дом большая.

— И лошадей можно завтра же утром нанять?

— До Лиушаня (Порт-Артур) сразу наймем... Лошади хорошие: мулы... Разве, как в Корее, одного быка на всю деревню не найдешь. Тут и быка, и лошадь, и мула, и осла, сколько хочешь найдешь... больше, как во всей Корее... Шибко богатый... гостиница, ужин, завтра днем театр...

В. В. обращается опять к капитану, тот быстро что-то кричит, глаза его разгораются..

— Его хочет вас угощать завтра, хочет вести театр, китайским обедом кормить... Хочет на своя деньги угощать: ваша хороша ему показалась.

Я очень благодарю капитана и очень жалею, что должен торопиться. Капитан тоже жалеет, и мы молча едем дальше. И каждый думает свою думу.

Взошла луна и льет свой свет на воду, ушедшую в глубь берега. В неясном просвете причудливые бледные горы сливаются с такими же бледными облаками.

Скоро конец всего путешествия. Мысль эта настойчиво лезет в голову, хотя впереди еще больше четырехсот верст по стране совершенно неизвестной.

Веришь в культуру, в безопасность среди культурного населения, но эта вера так скоро и легко разбивается. Какой-нибудь хунхуз, какой-нибудь взрыв непонятного негодования, и все быстро становится и непонятным и чужим, и сознание бессилия двух-трех путников в чужой стране, где все-таки нет-нет и происходят всякие расправы: то миссионера убьют, то восстание поднимется и там бьют подвернувшихся под сердитую руку европейцев.

И что лучше, как путешествовать здесь,— обращаясь за содействием к начальству китайскому или, доверяя гостеприимству народа, с ним только и иметь дело?

Прежде всего всякое начальство — начальство. Допустим даже, что оно окажется любезным и гостеприимным. Но, во-первых, при сношении с ним неприятна потеря времени. Во-вторых, всякое начальство пожелает доказать разумность своего существования. Какой путь в данном случае изберет китайское начальство? Навяжет, может быть, нам солдат, которым надо платить, а у нас так мало денег. А может быть, задержит нас до получения уведомления из центров, что нас действительно можно пропустить. И сделано ли еще такое уведомление?

А если допустить нелюбезность, то осложнений мо-

жет быть множество вплоть до подстрекательства населения, запрещения везти нас, что-либо продавать нам.

Так как такие случаи бывали уже с другими путешественниками, то во всяком случае получается некоторый риск в том и другом случае. Но за путешествие помимо начальства была большая скорость путешествия и связанная с ней психология: пока люди будут только успевать раскрывать рты при виде нас, мы уже будем далеко. На ночлегах же, приезжая поздно и уезжая рано, мы опять-таки никому не дадим опередить себя и всегда первые и сами повезем весть о своем прибытии.

Тихо на лодке. Мерно стучат весла в уключинах. Присев на корточки, посматривает капитан и напевает какую-то китайскую песенку. Ухо мое уже привыкло к этим песням. Много носовых и металлических звуков, как будто подражание ударам медных тарелок. Много диссонансов, а заключительные аккорды все не в тон и не в такт. Все пение с какими-то выкриками, часто резкими и неприятными, но местами улавливается и речитативная мелодия, наподобие некоторых мало музыкальных французских шансонеток. Иногда это похоже на вагнеровскую музыку, и уже думаешь, а вдруг слух наш будет прогрессировать именно в этом направлении и будущие поколения в этих диссонансах и нестройных воплях будут находить и мелодию и прелесть, как это находят, очевидно, китайцы.

Я вспоминал берлиозовского «Гибель Фауста» и «Фауста» Гуно. Ста лет еще не прошло, когда впервые обе вещи появились на сцене: Гуно вознесли до неба, а Берлиоза освистали, осмеяли и прокляли.

Один автор получил все счастье жизни, на долю другого досталась вся горечь ее. Оба теперь спят вечным сном, а людское музыкальное чувство уже, очевидно, другое: не перед Гуно преклоняется. Гуно — ребенок перед Берлиозом. На наших глазах прошел Вагнер с своей непонятной музыкой и уже победил. Может быть, и эта музыка китайцев победит? Будут находить в ней такой же глубокий смысл, какой видят поклонники Китая во всей пятитысячелетней китайской культуре.

Наш будущий переводчик кореец в своем белом костюме присел на корточки и ежится от холода.

Холодно всем: пронизывающая сырость реки пробирает насквозь.

— П. Н., не расскажет ли он сказку?

— Говорит, что сказок не знает.

— Неужели ни одной не знает?

— Да в И-чжоу никто не знает,— говорит П. Н.,— сказки все уже назади остались.

Кореец что-то говорит.

— А, вот видите... Он говорит, что теперешняя династия царствует лишнее, оттого все так плохо и пошло в Корее. Что против предсказаний она уже двадцать пять лет больше царствует, а должен бы царствовать Пен.

— А где же этот Пен?

П. Н. спрашивает, слушает и переводит.

— А этот Пен на острове живет, а только верно это или нет, он не знает, и никто не знает, потому что, кто до сих пор попадал на этот остров, назад больше не возвращался: задерживают там... в солдаты, что ли, берут?.. Ему ведь тоже войско надо, чтобы прогнать старую династию.

— Да вы не смейтесь сами, а то он подумает, что мы не верим, и сам несерьезно будет говорить.

— Нет, это ничего... Позвольте, он еще говорит... А, видите, вот что он говорит. Он считает, что корейцам иначе надо начать жить: бросить старое платье, волосы, веру старую бросить...

— А много корейцев так думают?

— Здесь, говорит, много. Да и я сам знаю, что много. Им только неловко самим так сказать, а если б ктонибудь приказал...

— Ну, вот второй сын короля,— говорю я,— который в Японии, женится на дочери японского микадо, вступит на престол и прикажет...

— Он говорит, что этого нельзя, чтоб он женился на японке,— этого никогда еще не бывало.

— Так ведь и новое, что хотят они заводить, тоже не бывало.

— Это, говорит, верно.

— А любят они своего короля?

— Никто, говорит, не любит,— глупый и несчастливый, а старший сын совсем идиот,— женили, с женой не знает, что делать, сидит и молчит, ни тятя, ни мама. У него был брат, не этот, что в Японии,— другой, очень умный,— от любовницы. А жена приказала его зарезать, чтобы все-таки ее сыну достался престол. Она бы и этого, который в Японии, прирезала,— тот тоже от любовницы,— если бы могла достать.

Кореец опять что-то говорит.

— Говорит, что теперешний король и его министры только и знают, что мотать да продавать корейское добро, а то и даром раздавать, чтобы только не трогали. Всю Корею продадут, пока их выгонят. Продавать только уж нечего.

Я смотрю в ту сторону, где осталась Корея. Ее не видно больше, она исчезла, растаяла в молочном просвете тусклого лунного блеска.

Единственный кореец, оставшийся еще с нами — наш проводник,— неясным белым пятнышком светлеет на носу «Бабушки».

Ближе и ближе зато огоньки китайского берега, и из бледной дали уже выдвигаются темные силуэты бесконечного ряда мачт.

Впечатление какого-то настоящего морского порта. Ночь увеличивает размеры судов, и кажутся они грозной флотилией кораблей, пароходов. В сущности же, это такие же, как и «Бабушка», шаланды, или побольше немного, ходящие, впрочем, в открытое море, где и делаются часто жертвами морских разбойников, морских бурь.

Вот выступила и набережная, дома и лавки, огни в них.

Мы уже на пристани, и при свете фонарей нас обступила густая и грязная толпа разного рабочего люда: матросы, носильщики, торговцы. Их костюмы ничем не отличаются ни по грязи, ни по цвету, ни по форме от любых хунхузских: синяя кофта, белые штаны и, как сапоги, закрывая только одну переднюю сторону, надетые на них вторые штаны, обмотанные вокруг шерстяных, толстых и войлоком подбитых туфель. На голове шапочка или круглая, маленькая, без козырька, с красной, голубой или черной шишечкой, или такая же маленькая и круглая, наподобие меркуриевской шапочки с крылышками.

Толпа осматривает нас с приятной неожиданностью людей, к которым среди ночи прилетели какие-то невиданные еще птицы. Птицы эти в их власти, никуда от них не улетят, и что с ними сделать — времени довольно впереди, чтоб обдумать, а пока удовлетворить первому любопытству.

Подходят ближе, трогают наши платья, говорят, делятся впечатлениями и смеются.

Мы тоже жадно ловим что-то особенное, характерное здесь, что сразу не поддается еще точному определению.

Это все китайцы,— не в гостях, а у себя на родине,— эти лица принадлежат той расе, которую до сих пор привык видеть только на чайных обложках да в оперетках. И там их изображают непременно с раскошенными глазами, толстых, неподвижных, непременно с длинными усами и бритых, непременно в халатах.

Конечно, по таким рисункам нельзя признать в этой толпе ни одного китайца. Это все те же, что и во Владивостоке, сильные, стройные фигуры с темными лицами, иногда поражающими своей правильностью и мягкой красотой. Вот стоит сухой испанец, с острыми чертами, большими, как уголь, черными глазами. Вот ленивый итальянец своими красивыми с переливами огня глазами смотрит на вас. Вот строгий римлянин в классической позе, с благородным бритым лицом. Вот чистый тип еврея с его тонкими чертами, быстрым взглядом и движениями. Вот веселый француз с слегка вздернутым толстым картофельным носом. Нет только блондинов, и поэтому меньше вспоминается славянин, немец, англичанин. Но массу китайцев одеть в русский костюм, остричь косу, оставить расти бороду и усы, и, держу какое угодно пари, по наружному виду его не отличишь от любого русского брюнета. Старых китайцев, уже седых, которым закон разрешает носить усы и бороду, даже в их костюме, вы легко примете за типичных немцев русских колоний...

Окончательно и бесповоротно надо отказаться от какого бы то ни было обобщенного представления типа китайца, а тем более карикатурного, которых считают долгом изображать на своих этикетках торговцы чайных и других китайских товаров.

От толпы глаза переходят на улицу, дома.

Отвык от таких широких улиц, от больших из камня и из кирпича сделанных домов. Тут же и громадные склады с громадными каменными заборами — все это массивно, прочно, твердо построено. Слегка изгибающиеся крыши крыты темной черепицей, и белые полоски извести, на которой сложены они, подчеркивают красоту работы.

Так же разделаны швы темного кирпича, цвет, достигаемый особой выкладкой с заливкой водой (очень часто, впрочем, в ущерб прочности).

На каждом шагу стремление не только к прочности, но и к красивому, даже изящному...

Эти драконы, эти сигнальные мачты, красные столбы, красные продольные вывески с золотыми буквами, с птичьими клетками, магазины с цветами.

Н. Е. сделал нетерпеливое движение, и сейчас же от него отошли все любопытные.

В ожидании капитана, который ушел разыскивать гостиницу, мы подошли к фруктовой лавке: громадные груши, правда, твердые, но сочные и сладкие, каштаны, вареные, печеные... Боже мой, да ведь это, значит, конец всем тем лишениям, о которых непривыкший и понятия себе не составит.

— А завтра свежие булки, сладкие печенья,— повторяет восторженно В. В.— В гостинице ужин, хороший чай.

Гостиница, ужин, булка, хороший чай, груши, каштаны, эти прекрасные постройки, эти широкие улицы, вся эта оживленная ночная жизнь пристани с ее людом, фонари — и все это после темной, нищей, холодной и голодной Кореи, после всех этих в тихом помешательстве бродящих по своим горным могилам в погоне за счастьем людей. Здесь контраст — энергия, жизнь, какой-то громадный, совсем другой масштаб.

Вся виденная мною Корея перед этим одним уголком какая-то игрушка, с ее игрушечными домиками, обитателями, с их игрушечными, детскими, сказочными интересами.

Конечно, попади я прямо в Китай, все это показалось бы мне иначе: их груши я сравнил бы с нашими, их одноэтажные дома — с нашими до неба этажами, их гавань — с нашей.

Но теперь с масштабом Китая я проникаюсь сразу глубоким сознанием превосходства китайской культуры и сравнительной мощи одного народа перед другим.

И я точно слышу из туманной лунной дали бессильный шепот милого корейца:

— Да, да, и все потому, что китайцам досталось наше счастье.

В своих сказках кореец облагодетельствовал и Китай, и Маньчжурию, и Японию — все богаты и счастливы за его счет, только он беден и ничего не имеет.

Но он честен, добр, трудолюбив и жизнерадостен среди своих святых гор, своих предков, могил, среди скудных нив, среди невозможных политических условий своего существования: хунхуз, китаец, его собственное правительство — гнетущее, с проклятой думой только о себе.

Только о себе, так как нет уже сил поддерживать даже какие-нибудь отдельные классы: и дворяне, и купцы, и крестьяне все спасение свое видят только в государственной службе. Кто там, тот спасен, кто за флагом, до тех никому никакого дела.

Теплая ночь южного города, силуэты юга на каждом шагу,— южные типы, уличная жизнь юга, запах жареных каштанов.

Мы ходим по широким улицам города, отыскивая себе пристанище, мимо нас быстро мелькают с корзинами в руках и что-то кричат китайские подростки. Это пища, каштаны. Проснувшись, какой-нибудь китаец крикнет его к себе, поест и опять спит.

Это называется будить голодных.

Все гостиницы полны посетителями, громадные дворы их полны лошадьми, быками, мулами, ослами.

Сладострастные блеяния этих ослов несутся в сонном воздухе, несутся крики продавцов каштанов, усталость, сон смыкает глаза. Мы идем дальше, и кажется все кругом каким-то сном, который где-то когда-то уже видел.

Вот наконец и гостиница, где-то на краю города, после целого ряда громадных каменных оград.

В. В. смущен тем, что гостиница не из важных, но нам все равно, и мы рады какому-то громадному сараю, где нам отводят помещение. Очень скоро нам подают «беф а ля строганов» на масле из бобов, рис, чай и сахар.

Все кажется роскошным, поразительно вкусным. Мы сидим на высоких нарах, задыхаемся и плачем от едкого дыма затапливаемых печей, но довольны и едим с давно забытым удовольствием.

— А интересно спросить,— говорит Н. Е.,— из чего этот бефстроганов? Может быть, собачки...

— Не все ли равно, вкусно?

— Вкусно-то вкусно...

5—8 ноября

Оригинальный и в своем роде единственный уголок мира — Шанхай. Это большой красивый город. В нем живет тысяч тридцать европейцев и тысяч пятьсот китайцев.

Китайский город отделен от европейского и тянется на громадном расстоянии. Не довольствуясь сушей, он захватил и воду, и на реке против китайского города

вы видите массу плавучих, наскоро сколоченных домиков.

Оригинальность и исключительность европейского Шанхая в том, что он не принадлежит никакому государству. Здесь нет и не может быть поэтому никаких политических преступлений. Надо убить или украсть, чтобы суд консулов мог судить вас.

В этом громадном торговом пункте есть русская икра, английские вещи, французские вина, американская мука, польская клепка, но русского, поляка, американца, француза, как мы привыкли понимать эти слова в их политическом значении, нет.

Конечно, где же в другом месте и появиться этой первой звездочке далекого будущего, как не здесь, на Востоке, в Китае, пережившем уже, в сущности, свою государственность. В этом смысле — lux ex oriente [1].

В торговом отношении здесь господствуют, конечно, англичане.

Мы меньше других. Мы отказались добровольно, тридцать лет тому назад, от предложенного нам китайцами, наряду с англичанами и французами, места. Теперь это место стоит миллионов сорок рублей.

Я остановился в «Hôtel des Colonies», хорошем отеле, где говорят не только по-английски, но и по-французски.

В ожидании парохода я пробыл в Шанхае пять дней. Меня навещал мой спутник — француз; я познакомился с нашим, очень любезным и внимательным консулом, благодаря которому, между прочим, и директору наших тюрем, генералу Саломону, видел китайские тюрьмы. Но главным моим спутником и здесь был любезный и образованный начальник нашей почтовой конторы. С ним мы перебывали везде и в городе и за городом, посещали театры — европейский и китайский, покупали вещи, наводили справки относительно моего дальнейшего путешествия, знакомились со всем окружавшим нас.

Мы почти не разлучались с ним эти пять дней. Наш день распределялся так: до завтрака он работал в своей конторе, а я занимался английским языком. Кто-нибудь из нас заходил за другим, и мы отправлялись завтракать то в мою, то в его английскую гостиницу.

Время между завтраком и five o'clock (пять часов, время, когда пьют чай или кофе) мы ходим по городу,

---

[1] свет с востока (*лат.*).

то покупая, то просто осматривая из любопытства китайские магазины.

Вот магазин шелковых изделий. Китаец приказчик говорит нам:

— Это не японская работа с нашивными узорами, это ручная китайская работа.

И работа и материя прекрасны и оригинальны.

Вот магазин, где продаются разные работы из камня и дерева.

Всевозможные игрушки, рисующие быт китайцев, с отделкой, поражающей своей тщательностью и микроскопичностью. В этих игрушках вся бытовая сторона китайской жизни: вот везущий вас дженерик и его колясочка, вот китаянка, вот свадебный обряд, вот суд, вот всевозможные наказания: голова, просунутая сквозь бочку, голова и руки, когда человек не может лежать: две-три недели такого наказания, и нервная система испорчена навеки. А вот представления о загробной жизни; суд и наказания грешников: одного пилят пополам, другому вырывают язык, третьей вырезают груди, а четвертого просто жгут на костре. Как красивы работы из камня, который называется мыльным камнем: разноцветный мягкий камень.

Иногда, напившись чаю, мы едем кататься за город, любимое место прогулки high life'a[1]. Здесь вы встретите и нарядные кавалькады, и группы велосипедистов, и богатые выезды с китайцем кучером и двумя лакеями-китайцами на запятках. Остроконечные шляпы их, их косы, длинные, под цвет обивки экипажа одежды с пелеринами — все это производит сильное впечатление и переносит вас в сказочную страну роскоши и богатства, страну английских колоний.

Затем мы обедаем: два раза обедали у консула, в обществе наших симпатичных моряков. Шли разговоры о флоте.

— У японцев флот хорош, первый после английского, у немцев плох, у французов много деревянных и старых судов.

— А наш флот?

— У нас есть прекрасные боевые единицы, но ничего цельного нет. Англичане, например, раз строят — строят того же типа не менее четырех судов. Эскадра из таких четырех судов имеет и скорость одинаковую, одинаковые

---

[1] высшего света (*англ.*).

запасные части — словом, все хозяйство одинаковое. А у нас из четырех судов, составляющих транспорт, все, конечно, разного типа: одно имеет скорость двадцать узлов, другое — двадцать пять, третье — пятнадцать, а четвертое — каких-нибудь восемь; ну и идут все со скоростью восьми узлов в час.

Я упоминал уже о посещении нами тюрем. Тюремное китайское начальство было заранее уведомлено о том нашим консулом. Нас встретил главный судья, угостил нас чаем, очень долго на прекрасном английском языке разговаривал с генералом Саломоном, но показал нам, в сущности, очень мало: один деревянный флигель с чистыми комнатами. В этих комнатах на нарах сидели какие-то китайцы, с очень благодушными лицами, не похожими на лица преступников или по крайней мере людей огорченных. Да и было их очень мало. Кто-то из бывших с нами сделал предположение, что нам показывают стражу тюремную.

— Сегодня, если хотите, мы поедем в китайский монастырь,— предложил мне как-то после завтрака мой любезный компаньон.

И вот мы едем туда китайским грязным городом, едем берегом мутно-желтой реки, несколько верст едем дачами и, наконец, останавливаемся перед высокой каменной стеной. Мы сходим с экипажа и в отворенные ворота видим широкий двор, посреди которого высится круглое, с невысоким куполом, здание: это храм Будды, пáгода.

За нами увязывается какой-то китаец проводник, хорошо говорящий по-английски. Два китайских монаха в грязных балахонах, подвязанных веревкою, с обнаженными, низко остриженными головами, делают попытку отогнать от нас нашего проводника, но тот, в свою очередь, энергично отгоняет монахов, и те уже робко где-то сзади плетутся за нами.

— Однако монахи здесь очень робки,— говорю я.

— Поневоле, в Китае нет привилегированной религии, и все имеют право свободного входа во все храмы, да к тому же эти монахи плохо говорят по-английски, а наш проводник — хорошо.

Мы входим в большой, плохо освещенный храм; посреди — громадный, во весь храм, красной меди, Будда. Кругом его множество маленьких фигурок — тоже будды: будда трехголовый, тринадцатиголовый, будда с тысячью рук, будда на лотосе и без лотоса. Вдоль стен

статуи и других божеств: войны, мира; множество других фигур: этот помогает от такой-то болезни, тот — от другой, этот защищает от неприятеля, от того зависит урожай.

— И этим уродам молятся? Господи, какие они глупые,— весело говорила молоденькая дамочка своему кавалеру.

Новый двор и новый храм.

— Обратите внимание на украшение крыши.

Там, вверху, по карнизам и на коньке крыши, всевозможные фигуры из мира фантазии: драконы, зверье, люди. Прекрасная работа по силе и выразительности.

Мы проходим несколько дворов и храмов и подходим к последнему. У входа доносится какая-то музыка воды: мелодичная и однообразная. Двери храма тяжело затворяются за нами, и мы остаемся в едва освещенном полумраке. В темноте перед нами все та же гигантская фигура Будды на лотосе. Лицо его без желания, никаких чувств на нем из знакомых нам, кроме чувства покоя, подавляющее спокойствие.

С остриженными головами, спущенными на спину капюшонами, сидят на полу два китайца монаха: они бьют в такт металлическими угольниками и что-то напевают. Эти переливающиеся, как вода, мелодичные однообразные звуки льются без перерыва, наполняют храм, вливаются в вашу душу, усыпляют ваш слух. Вы ловите мотив и теряете себя в лабиринте охватывающих вас звуков. Кажется, что вечно стоишь здесь, убаюканный этой мелодией, темнотой храма, покоем того, кто смотрит на вас. Точно и на вас сошел этот бесстрастный покой, и живете вы уже только отвлеченным сознанием, что вы живы. Как-то осязательно чувствуешь, как и вся окружающая меня теперь жизнь застыла, как несутся над ней века, тысячелетия.

И долго потом вы все еще слышите этот переливающийся мелодичный звон, видите громадного Будду перед собой, эти головы стриженых монахов, вечно сменяясь, по очереди, день и ночь выбивающих все тот же однообразный, мерный ритм.

— А сегодня,— сказал мне в другой раз как-то мой любезный собеседник,— мы пойдем в китайскую часть города: в Чайную улицу и китайский театр.

Мой спутник случайно или умышленно никогда не предупреждает о том, что мы увидим, и вследствие этого сила и свежесть впечатления не разбиваются.

Было часов девять вечера, когда мы вышли из дому.

— Пойдем пешком.

Мы идем частью города, принадлежащею англичанам. По обеим сторонам прекрасно вымощенной улицы красивые, с зеркальными окнами дома, сады, зелень. На каждом перекрестке — неподвижные, как статуи, индусы стражники: белые тюрбаны, длинная черная борода, оливковые лица, длинный взгляд черных, каких-то сонных, точно загипнотизированных глаз.

А вот предместье, жилище метисов — помесь португальцев с разными аборигенами Востока. Тесные улицы, скученные бедные дома.

Когда-то португальцы были здесь такими же хозяевами, как теперь англичане. Потомки их, метисы, занимают более скромное общественное положение: это писаря, счетчики, третьестепенные приказчики.

Эти все сведения, пока мы идем, сообщает мне мой спутник, а я тороплюсь запечатлеть в памяти и прочесть что-то во встречающихся мне метисах.

Вот идет усталый, задумчивый, бесцветный брюнет, с желтым лицом, с жесткими волосами на голове. В фигуре нет силы, упругости, красоты — что-то очень прозаичное и бездарное.

Вот она — в европейском платье от плохой модистки, без корсета, без желания нравиться, вся озабоченная какими-то прозаическими соображениями, вероятно, о хозяйстве, о дороговизне жизни. Скучная жизнь, когда надо тянуться за тем, «что принято, что скажут?». Не стоит выеденного яйца.

А вот и китайская часть города, и вас уже охватывает какой-то теплый и неприятный аромат китайских улиц.

Горят огни в китайских магазинах, в раскрытых настежь дверях сидят их хозяева, на улицах оживленная толпа: серая, грязная толпа в голубых кофтах, в косах, и грязный след от них на спине, масса мелких, жестких, секущихся волос на плечах. Запах грязного, но здорового и сильного тела. Много тел, и все они энергично идут туда же, куда идем и мы.

Вот и Чайная улица в красном зареве заливающих ее огней. Этот красный отблеск сливается там вверху с глубокой ночью, и прозрачной голубой пеленой окутывает ночь эту фантастическую улицу.

Она много шире других и своими ажурными балконами вторых этажей, своими висящими на красных полосах, золотом исписанными вывесками, с миллионом

разноцветных фонарей, освещающих все это на фоне красного зарева, она имеет какой-то воздушный, сказочный вид. Гул, звон, пение. Вы плывете в громадной густой толпе этих сплошных грязных тел,— тепло, душно, звонче литавры и дикая музыка под теми балконами вторых этажей. Там толпа, мелькают женские фигуры, гул движения.

Пока вы смотрите туда вверх, здесь, внизу, вас давят, толкают, там у входа разрисованные женские фигурки, которые зазывают к себе толпу эту, и в то же время то и дело на вас налетают с торопливым резким окликом то носилки с фонарями, то конный экипаж, то дженерик, то, наконец, просто носильщик, который с товаром своим на высоко поднятой руке несется стремительно вперед и что-то кричит благим матом. Кричат все — энергично, резко, и везде — в носилках, в каретках конных и ручных, у носильщиков все тот же товар — китайские женщины. Их множество, и все они на одно лицо: набеленные, накрашенные, с замысловатой прической черных волос, блестящих и жестких, как лошадиная грива, все в ярких, дорогих длинных одеждах. Эти маленькие, как дети, которых носильщик несет на одной руке, они действительно дети, им восемь, десять, двенадцать лет.

— Куда их несут? — спрашиваю я своего спутника.

— Требуют.

— Кто?

— Китайцы.

И я слушаю отвратительные, ужасные рассказы о том, как с раннего детства эти несчастные жертвы подготовляются к своей нечеловеческой участи: растление в восемь лет, а в пятнадцать уже выброшенное за борт, с уничтоженным человеческим естеством отребье.

— Что за здание?

— Род кафешантана; войдем?

Мы входим; единственные европейцы среди этого моря китайцев. На нас смотрят холодно, равнодушно а иногда и враждебно. Зная, как ненавидят китайцы европейцев, зная, как особенно щепетильны они в женском вопросе, невольно приходит мысль в голову о риске с нашей стороны. Но мы уже уплатили за вход и за другими проходим в широкое нижнее помещение.

Вдоль стен, сплошь, род открытых лож с мягкими скамьями. На них в разных позах лежат люди: опершись на руку, лежа, один приготовляет что-то. Малень-

кая ручная лампочка тускло освещает его наклонившееся бледное, точно водой налитое, бритое лицо. Вот другой: он быстро, жадно, из длинной трубочки втягивает в себя несколько глотков дыма. Третьи лежат неподвижно, как мертвецы, на боку и стеклянными выпученными глазами бессмысленно куда-то смотрят.

— Что это за люди?

— Курильщики опиума. Этот вот, с остановившимися глазами, уже готов: он видит теперь то, что хочет: богатство, почести, женщин. Это одиночки: они только курят. Если они с женщинами, они и курят и глотают внутрь — и мужчины и женщины, доводя себя до самых исступленных форм разврата.

В этой толпе грязных тел, в тяжелом угаре опиумом и испарениями насыщенного воздуха, мы поднимаемся в верхний этаж в каком-то мучительном возбуждении, чувствуя, что не успеваешь схватывать всей этой массы новых и новых впечатлений. Мысль и фантазия невольно приковываются к отдельным образам, жадно проникают их и опять отвлекаются к новым. Мы стоим наверху, перед открытой эстрадой. В громадной низкой зале множество столиков, за ними сидят китайцы, а вдоль стен такие же, как и внизу, ложи с такими же фигурами. Садимся и мы за столик, нам подают в маленьких чашечках с тяжелым ароматом зеленый чай, мы пьем его и смотрим на ярко освещенную эстраду.

Посреди эстрады стол, вокруг стола разрисованные фигурки китаянок, на столе чай. За столом, в глубине эстрады, несложный оркестр: визгливая скрипка, барабан и литавры. Барабан дико ухает, литавры бьют, скрипка все время визжит на самых высоких нотах.

Каждая из китаянок по очереди поет или, вернее, выводит неимоверно высокие, металлические, режущие ноты. Кажется, искусство здесь — слить свой голос с пискливым голосом скрипки. Иногда слышится что-то очень заунывное и тяжелое,— в общем же, впечатление дикое, грубое, совершенно примитивное.

Проблески нашего кафешантана чувствуются: у каждой певицы свои поклонники, свои завсегдатаи, игра в любовь, а может быть, и действительно любовь. Толпа не стесняется самым циничным образом выражать свои впечатления.

Нам постоянно подают салфетку, обмоченную в горячую воду и слегка выжатую. Ею надо вытирать лицо, вероятно, чтоб не так чувствовалась жара.

Жарко очень и все душнее. Все резче, страстнее возгласы. В этой тяжелой, душной атмосфере точно и сам растворяешься, сильнее чувствуешь царство этого грязного тела, в этой страшной, фантастичной, красной улице. Там как будто еще больше толпа, глуше, но возбужденнее гул.

Мы опять в этой толпе, опять тянутся сплошные кафешантаны по обеим сторонам, все переполнено там, а новые и новые массы народа, как потоки вливаются из боковых улиц.

— Сегодня праздник у них?

— Каждую ночь так и круглый год.

В этот же вечер мы побывали в театре: что сказать о нем?

Самого низкого пошиба балаган, где не играют, а ломают какую-то нелепую, ходульную, совершенно нереальную комедию. Неэстетично до последней степени в этом карикатурном прообразе европейских театров. Все та же непролазная грязь, те же серые, грязные тела. В громадном деревянном сарае амфитеатром расположен партер, первый и второй ярусы,— везде за столами сидит публика, пьет чай, жует фрукты, вмешивается в ход пьесы, то угрожая, то одобряя.

Из театра мы опять прошли в Чайную улицу. Было часов двенадцать ночи. Все та же толпа, то же возбуждение, так же с дикими криками несли и везли куда-то эти разрисованные женские фигурки. Сильнее зловоние, чад, и угар, и испарения этих грязных тел. В кровавом просвете улицы фантастично и кошмарно движутся эти тела. А выше голубая прозрачная ночь так нежна, так красива, таким мирным покоем охватывает китайский город. Тем ужаснее все то, что творится здесь, под ее прекрасным покровом.

— Все это только цветочки,— говорит мне мой спутник, когда мы возвращаемся домой.— Никакая фантазия европейца не может представить себе, как развращен и циничен Восток... Как реален он, как разбита здесь вся иллюзия чувства одного пола к другому. Со стороны смотришь, и уже теряется всякая ценность какого бы то ни было чувства. Восток — это вертеп, гниющая клоака, это дряхлое старое тело, требующее нечеловеческих средств возбуждения, это цинизм, пред которым мы, европейцы, с нашими иллюзиями о чувстве только еще маленькие дети, которым говорят, что их нашли в капусте и которые этому верят. Вот пусть этот

водянистый китаец, который смотрит на нас с апатией и цинизмом своей пятитысячелетней культуры,— пусть он возьмет перо в руки и передаст осмысленно свои ощущения, свои мысли, все извращение своего человеческого естества,— что будут тогда пред ним все наши пессимисты, Мопассан, сам Мефистофель Гете?

Во всяком случае, чтобы постигнуть или, вернее, что-то почувствовать, прикоснуться к чему-то бездонному и страшному Востока, надо побывать ночью в Чайной улице Шанхая.

Тяжелым лишением, трудом, нечеловеческой воздержанностью, месяцами и годами скопляемые деньги прожигают там беззаветно, с размахом не знающей удержа широкой натуры на игру в кости, на женщин, мальчиков, девочек, на опиум. И попасть сюда — радость жизни, мечта, заветная святая святых каждого китайца, всех этих одурманенных жизнью китайцев.

Но слишком, мне кажется, все-таки не следует преувеличивать значение этого. Это избыток сил, никуда не направленных, жизнерадостность ребенка. Посмотрите на другого китайца, который сидит в банках, который завладевает уже почти всеми предприятиями Шанхая: сами англичане в ими же созданных учреждениях теперь только этикетка, а работают китайцы. Через двадцать лет здесь все дело перейдет в руки китайцев, и конкуренция с ними будет немыслима, и особенно для англичан, которые все слишком сибариты, слишком на широкую ногу ставят дело,— немцы более чернорабочие, но и тем непосильна будет конкуренция с китайцем.

Да, Восток — сочетание догнивающего конца с каким-то началом, какой-то зарей той жизни, о которой только может еще мечтать самый смелый идеалист наших дней.

Громадные, во много этажей, узкие и высокие плавучие здания на реке — все это склады опиума, все это принадлежит самому культурному народу в мире, все это, дающее сотни миллионов дохода.

Как-то в клубе я выразил одному англичанину упрек за торговлю опиумом.

Он сделал гримасу.

— Принцип свободной торговли; начать с того, что почти вся эта торговля теперь фактически в руках самих китайцев... Ни вы, ни я, конечно, мы не станем торговать опиумом,— вам и мне его и запрещать не надо... И суть здесь не в запрещении, а в тех условиях

жизни, в каких одним опиум необходим, а другим он не нужен. Сегодня уничтожьте продажу нашего опиума, китайцы будут курить свой доморощенный,— и курят и всегда курили,— более дорогой, худшего качества, следовательно, и более вредный.

— Но и тот и другой — яд.

— Меньший, чем ваша водка: они курят свой опиум и доживают до глубокой старости. Умственные способности помрачаются, конечно, но их скотская жизнь и не нуждается в них: они только бремя в условиях этой жизни, только несчастие, от которого чем скорее избавиться, тем легче тому несчастному, кого природа одарила ими. При таких условиях вопрос об опиуме равносилен вопросу: что лучше — пытка под хлороформом или без?.. Повторяю при этом, что как у вас порядочные люди, вероятно, не торгуют водкой, так и у нас этого занятия избегают уважающие себя люди.

В Шанхае есть французская колония. Есть несколько магазинов французских, за городом устроен большой католический монастырь ордена иезуитов, при нем коллегия, в которой обучаются китайцы христиане. При монастыре же прекрасная обсерватория. Дисциплина и дрессировка в монастыре доведена до поразительного. Так дрессировать человеческую натуру умеют только иезуиты. Монахи ходят в китайских платьях. Я видел китайцев христиан: китайский костюм, борода — сочетание того и другого здесь производит очень странное впечатление. Китайцы к своим собратьям-христианам относятся очень недружелюбно, и избиение миссионеров всегда начинается с этих китайцев христиан.

Французская газета в Шанхае клерикального направления: много пафоса, фарисейства и тенденциозного извращения фактов. Один американец, бывший солдатом на Филиппинах в американской армии и теперь возвращающийся в Америку, Mr. Frazur, худой, высокий, лет тридцати, очень деликатный и очень осторожный, говорит, улыбаясь:

— Вот такие же газеты и в испанских колониях.

Внизу, в приемной комнате гостиницы, появилось извещение, что завтра, 9 (21) ноября, отойдет в Америку через Японию и Сандвичевы острова тихоокеанский пароход «Gaelig»; на этот пароход у меня уже был взят билет с платой до Парижа, в том числе и по железным

дорогам, за пятьсот рублей в первом классе, то есть почти за ту же плату, какую взяли бы с меня на нашем пароходе Добровольного флота «Ярославле» до Одессы, причем я не получил бы и десятой доли тех удобств, какие имел в своем путешествии через Америку.

Пароход принадлежит английской компании. Английскую компанию я выбрал по общему настоянию. Вот вкратце доводы в пользу такого выбора.

В длинном путешествии, а нам предстояло в одном Тихом океане прокачаться больше месяца, меньше других приедается мясная английская кухня. На английском пароходе я мог рассчитывать на практику в английском языке. Наконец на английском пароходе безопаснее, чем на других. Иллюстрацией последнего приводится два ярких случая: один, бывший у французов, другой — у англичан.

Французский пароход «Bourgogne», погибший два года тому назад в Атлантическом океане. В момент столкновения на пароходе и пассажиры и офицеры парохода веселились,— французский экипаж отличается своим уменьем веселиться, своей любезностью, особенно к дамам. Уже когда столкновение произошло, публику успокоили сперва. Но через четверть часа после этого капитан «Bourgogne», доблестно погибший на своем посту, крикнул роковое:

— Sauve, qui peut! [1]

Тогда произошло нечто отвратительное и ужасное: малодушный экипаж, за минуту до того рассыпавшийся в любезностях пред дамами, бросился прочь от них и, в лице шестидесяти трех человек, сбежал с трапа в спущенную лодку. Бежавших за ними они отталкивали, сбрасывали с трапа. В последнее мгновение несколько женщин бросились в воду и хватались руками за их лодку: они ножами рубили им руки, те самые руки, которые, может быть, еще сегодня утром целовали, приветствуя их с начинающимся днем — последним страшным днем, когда несчастные потеряли и жизнь и веру в человека. Те пассажиры, которые оставались еще на пароходе, обезумевшие от ужаса и паники своих руководителей, бросились по лестнице вверх, туда, где над палубой на изогнутых кронштейнах качались на страшной высоте привязанные лодки. Несчастные все расселись в них и сидели так, потому что никто из них не знал,

---

[1] Спасайся, кто может! *(фр.)*

как спустить эти лодки на воду. Оттуда последним взглядом они могли еще раз увидеть, как размахнулся их пароход и вместе с ними пошел ко дну. От дикого их вопля не разорвались сердца уплывавших малодушных негодяев, и они благополучно спаслись. Из пассажиров спаслись только двое: один английский профессор и его жена. Не потеряв головы, в последнее мгновение он успел принести из каюты плавательный пояс для себя и жены. Надевать их было уже поздно. Схватив поперек свою упавшую в обморок жену, плавательные пояса в другую руку, он бросился с своим багажом в океан. Три дня их носило по волнам, жена его несколько раз падала в обморок, пока он поддерживал ее; наконец их взяли на проходивший мимо пароход.

Аналогичный этому случай произошел на английском пароходе в том же океане, в то же время года, с разницей в два-три дня во времени. Был такой же туман произошло такое же столкновение, и английский пароход получил такую же пробоину. Была сделана немедленно водяная тревога. Немедленно же весь экипаж, который на английских пароходах не входит во время пути ни в какие сношения с пассажирами, был на своих местах. Прежде всего публика была заперта кто где был, и началось сортирование ее: семейные отдельно, потом дамы, потом господа кавалеры. Несколько человек из публики, оставшихся на палубе, в то время когда соответственная часть команды экипажа спускала шлюпки, бросились к трапу, капитан с своего мостика крикнул им, чтобы они возвратились в каюту и что в первого, кто ступит на трап, он будет стрелять. Кто-то вступил и, простреленный, упал в воду, а остальные возвратились назад, в каюты, в указанные им места. Через четверть часа после столкновения все пассажиры, вся команда, касса и архив парохода были в лодках; последним сошел капитан; а пароход так же быстро, как и «Bourgogne», пошел ко дну. Все спаслись, потому что хотя и был туман, но океан, как и во время гибели «Bourgogne», был совершенно тих.

Все это факты, которых не отрицают и французы, но англичане с особым раздражением и высокомерием подчеркивают, вспоминая в то же время и благотворительный бал парижский и дело Дрейфуса. И они презрительно говорят:

— Все это признаки вырождения.

Мой спутник по Шанхаю иного мнения. Как русский,

он питает слабость к французам, вырос в убеждении, что французы — первая в мире нация, и, не отрицая теперешнего упадка и обмеления французской нации, считает это явление и временным и, как это всегда бывает у французов, предшествующим эпохе крупных социальных переворотов.

Я передал это его мнение Mr. Frazur, и деликатный американец энергично согласился с ним:

— Несомненно, французы прежде были центром мира, и весьма возможно, что социальный вопрос и назрел у них прежде других. Во всяком случае нигде, конечно, так не опошлилась буржуазия и весь ее строй с ее литературой, как во Франции. И нигде, как во Франции, так не ясно, что какие-нибудь паллиативы оздоровления на той же буржуазной почве уже недействительны. Выход для нее — идти вперед, если ее пустят другие народы. В этом безвременьи и трагизм и источник еще большего опошления.

Если англичане говорят презрительно о французах, то и французы платят англичанам тем же,— инцидент с Фашодой не остался здесь без влияния на взаимные отношения.

Мой знакомый француз говорит:

— История скоро выбросит за борт англичан: слишком они разбросались, слишком белоручки, слишком рутинны — рутины столько же, как и у китайцев, а фальши больше в их этике... О, как они лицемерны! Он за столом не выпьет рюмки вина, но вечером в своем клубе так напьется, что двое поведут его, поддерживая, и все-таки у него будет такой вид при этом, точно он собирается читать лекцию о воздержании...

9 ноября

Сегодня встал рано и тороплюсь укладываться. Совершенно самостоятельно, но с самым варварским произношением объясняюсь по-английски с прислугой, портным, прачкой, фотографом, извозчиком, телеграфной станцией, пароходной конторой. Язык как деревянный, и знакомые слова постоянно убегают, и все время с растерянной, напряженной физиономией ловишь их. Понимать еще труднее, чем говорить, хотя если говорить раздельно, то оказывается, что я понимаю уже почти все — все-таки три тысячи слов уже выучено. Недостает только навыка. Теперь в длинном путешествии будет и он.

Час дня. Сильный ветер, переходящий в шторм. Мы с моим спутником К. Н. стоим на пристани bund'а и ждем маленького пароходика, который отвезет меня на взморье.

Солнца нет, тучи, холодно даже в осеннем пальто. Желто-мутная поверхность громадной реки вздулась и короткими напряженными волнами хлещет в пристань.

Сегодня как раз принц Генрих открывает памятник погибшему в 1896 году экипажу «Этлиса».

Мне виден отсюда этот памятник. Он стоит тут же на bund'е (набережная—лучшая улица Шанхая). Памятник очень простой, но много говорящий. Из зеленой меди сломанная мачта и приспущенный флаг. Флаг широкими складками обвивает нижнюю часть мачты и сиротливо лежит на пустой скале. Два часа тому назад здесь было большое торжество: играла музыка, маршировали, громко отбивая такт и энергично с силой вытягивая ноги, немецкие солдаты, принц Генрих говорил речь энергично, громко, так, что казалось, он ругал кого-то. Он не ругал: он воздавал должное мужеству погибших. Когда фрегат понесло на скалы и гибель была очевидна и неизбежна, весь экипаж запел веселую, бравурную песню... Два-три очевидца из оставшихся в живых были тут же. Тут же в гостях у немцев были английские, русские, австрийские, итальянские войска,—словом, все нации, суда которых находились в это время в Шанхае, прислали своих матросов. Не было только французов.

— Прощайте! — кричу я, и, уже ныряя, как чайка, наш пароход «Самсон» несется по желто-грязным волнам.

Новые лица кругом: одни провожают, другие едут в Японию, третьи дальше, в Америку. Некоторым дамам уже дурно, дурно детям, и маленькая девочка, с побелевшим лицом и судорогой отвращения и ужаса кричит в отчаянии:

— Мама, мама...

На взморье волны сильнее, злой ветер рвет их верхушки, и наш «Самсон» то энергично взбирается на верх волны, то стремительно летит с нее вниз: так и кажется, что вот-вот он, не рассчитав, и совсем нырнет в желтую преисподнюю. На палубе стоять совершенно невозможно: все время окачивает так, как будто гигантский насос работает непрерывно...

Мы мчимся мимо «Ярославля»: он тоже сегодня уходит в Одессу, но я на три дня буду раньше его.

Только не на Добровольном флоте, где несчастная идея начальственности и глупой — есть умная — дисциплины убивает всякое удовольствие поездки, неустанно держит вас в сознании, что над вами бодрствует чья-то рука высшего порядка: рука бухарского отца-командира и его приспешников.

Нет, уж хоть здесь подальше от них.

А вон на мглистом горизонте черной точкой показался и наш «Gaelig». Издали скрадываются его размеры, но когда наш «Самсон» подходит вплоть, взлетая и ныряя так, что мы едва стоим на ногах, а гигант «Gaelig» не шелохнется, и надо высоко вверх поднимать голову, чтобы видеть его черные, высоко вверх поднятые борта, тогда только видишь, что это за громадина.

Я уже сверху смотрю в последний раз на привезшего нас пигмея «Самсона». Среди китайских и английских матросов, среди канатов, разных блоков и шканцев я пробираюсь в свою каюту. В окна видны мне курительная зала, читальня, мы спускаемся в нижний этаж, где громадная столовая, спускаемся ниже, и длинным коридором я прохожу в свою каюту. В ней две койки, два иллюминатора, умывальный прибор, зеркало, красного дерева висячая этажерка, в отверстиях которой — стаканы с воткнутыми в них полотенцами, графин. Пассажиров мало, и я буду один в своей каюте. Я еще раз внимательно оглядываюсь в своей новой квартире, в которой придется прожить больше месяца. Никакой роскоши, все прочно, солидно, везде безукоризненная чистота, койки с двойными мягкими светлыми одеялами, с приготовленными постелями.

Хочется прочесть в книге будущего, каким-то верхним чутьем почувствовать, угадать, будет ли благополучно путешествие, что случится в длинной дороге. Все едут, и все надеются, что все будет благополучно, но тем не менее не всегда ведь благополучно и кончается, и кому-нибудь да надо попадать в неблагополучные рубрики статистики — праздные мысли, которые всякому, вероятно, в свое время приходили в голову.

Доносятся свистки, звук цепей, просовывает голову лет сорока японец, в европейском платье и прическе, говорит что-то, кивает головой, показывает свои крепкие зубы. Я улавливаю слово «бэгедж». Японец опять

исчезает, а я остаюсь в недоумении, где же действительно мой багаж — его еще в Шанхае отобрали у меня, и ручной и тяжелый, часть которого идет прямо в Париж.

Но вот и багаж, и мы уже плывем: надо посмотреть.

Все тот же ветер на палубе, те же тучи в небе, то же желтое взморье и черная полоска на горизонте, от которой мы со скоростью сорока верст в час уходим в Нагасаки. Послезавтра, значит, будет опять тепло, солнце, и это будет так хорошо. Целый месяц впереди оригинальной, обособленной жизни на пароходе, куда не ворвется сутолока суши, деловая проза, забота не проспать, поспеть к сроку.

Целый месяц — это какой-то громадный капитал никуда еще не израсходованного времени. Могу ничего не делать, могу отдыхать, спать, и все на совершенно законном основании, как человек, правда неожиданно, но совершенно законно получивший вдруг наследство и считающий себя отныне совершенно обеспеченным человеком.

Сколько я напишу, как подвинусь в английском языке, прочту все закупленные в Шанхае книги!..

Забегая вперед, я должен сознаться, что десятую долю я едва успел сделать из задуманного и в моем свободном от всех обязательств и дел месяце, увы! оказалось столько же часов, сколько их во всех остальных уголках мира. Впрочем, я клевещу: на этот раз судьба сжалилась и действительно подарила мне осязательно по крайней мере лишние сутки: два дня подряд у нас был понедельник, 6 декабря нового стиля,— это те лишние двадцать четыре часа, которые мы накопили, двигаясь все время на восток...

Вот во что превратилось все казавшееся мне богатство моего свободного месяца.

Этот процесс разменивания месяца на дни, дней на часы и минуты начинается мгновенно, и чем дальше, тем глаже идет дело.

Пока там разбирались другие пассажиры, нас трое русских очутились в столовой. Все мы одинаково интересовались распределением дня на пароходе в отношении еды. Право, уже не помню, кто из нас сделал первое открытие, что мы все одной национальности, но случилось это как-то сейчас же, и сразу мы заговорили на своем родном языке и отрекомендовались: один оказался В. И. Д.— директор Русско-Китайского банка, преж-

де в Порт-Артуре, а теперь назначенный и Иокогаму, а другой — Иван Тихонович Б., единственный русский, ведущий торговлю в Японии, в Нагасаках.

В. И. Д. оказался тем самым красивым блондином с длинными усами, которого я видел в китайском монастыре с дамой. Он прекрасно владеет английским языком и быстро, деловито выяснил все пароходные порядки. В девять часов утра чай и первый завтрак, в час — ленч — второй завтрак, в четыре — чай, в семь — обед. В промежутки также можно требовать еду и питье, записывая свои требования в ярлычную книжку лакея (вся прислуга, кроме старшего лакея-японца,— китайцы). К концу путешествия все эти ярлыки при общем итоге препровождаются каждому для оплаты. Содержание без вина: вино оплачивается отдельно. В одиннадцать часов вечера все огни в столовой, курительной, библиотеке гасятся. Курить можно только на палубе и в курительной. Белье в стирку принимается только в Иокогаме, где пароход стоит двое суток,— вопрос очень важный, если принять во внимание, что каждый день надо надевать к обеду смокинг.

— Это значит, что, например, чтоб быть совершенно корректным,— воскликнул я в ужасе,— надо иметь запас белья в двадцать четыре рубахи, и это в путешествии, где стараешься брать как можно меньше багажа.

— Да, что-нибудь в этом роде придется вам сделать,— сказал В. И. мне в утешение,— англичане... они по три раза в день костюмы меняют.

— Да наплевать на них,— сказал Иван Тихонович,— я всегда в сюртуке, и смокинга у меня и в заводе нет.

— А курить действительно нельзя в каютах? — спросил я его.

— Насчет этого строго.

— Ну, курю я, что они со мной сделают?

— Оштрафуют — до ста долларов штраф. Мера предосторожности против пожара... Горят они и от папироски, а одна возможность этого в открытом море, где месяцами и парохода встречного не увидишь...

— Ну, бог с ними, не будем курить в каютах.

Так как с В. И. нам еще неделю ехать, а с И. Т. два дня, то я пристал к нему вплотную, как к аборигену здешних мест.

До обеда он уже сообщил мне все о своих делах.

В Нагасаках он два с половиной года торгует, и до сих пор дела его шли хорошо. Он продает русский

табак, русские вина, водки, ликеры, русские сахар и конфеты.

Сахар местный 14 копеек за фунт, русский, пиленый, И. Т. продает 18 копеек за фунт, головой — по 15 копеек, а оптом даже по 4 рубля 50 копеек пуд. Качество русского сахара гораздо выше местного. Местный желтоватый, скорее в комьях песок, легко рассыпающийся, с каким-то запахом.

Лучше всего идет торговля русскими конфетами. И на них, и на водку, и на одесские консервы, и на сахар спрос энергично растет. Клиенты: англичане, японцы, китайцы.

И. Т. взялся за мануфактуру: фирма Коншина выслала ему уже свои товары, а японцы через него в этом году выписали русской мануфактуры на десять тысяч рублей.

И. Т. считает, что это дело могло бы пойти здесь, на Востоке. Мечта его — распространить свою торговлю и в Маньчжурию, и в Корею. Но собственно в Японии придется бросить дело, так как с нового года все русские товары будут обложены пошлиной в 40%. Это только русские; французские, например, вина будут обложены только 10% пошлиной. И. Т. и ездил в Шанхай с целью отыскать себе новое место. Лично он пришел к заключению, что в Шанхае дело должно пойти, но наш консул предсказывает ему неудачу.

— Я обращусь к английскому консулу.

Время покажет, конечно, кто из них прав.

И. Т. огорченно говорит:

— Неужели мы, русские, только и годимся здесь, чтоб жить на готовые деньги или быть городовыми чужих богатств?

В. И. пришел из каюты уже переодетый к обеду.

Время и мне переодеваться: половина седьмого, и уже несутся мерные, заунывные удары металлического гонга.

Ровно в семь китаенок вторично быстро проходит с гонгом по коридору, и звуки, дрожа и завывая, мерно расходятся во все углы парохода.

Пассажиров немного: всего два стола ярко освещены и покрыты приборами.

Распорядитель — стюарт — встречает всех у дверей, справляется, какой ваш номер, и указывает ваш прибор. На половине пути — таков обычай — места опять изменятся.

Мое место к наружной стене спиной. Против меня В. И. (по обоюдной нашей просьбе), сбоку, с одной стороны, молодой англичанин, с которым я ехал до Шанхая, а с другой — почтенный американец, сенатор и ученый астроном.

В то время как за вторым столом несколько дам, за нашим всего одна. Спутник ее — пожилой, безукоризненный англичанин. Дама молода, красива и стройна, одета элегантно, с богатыми, с красноватым отливом, каштановыми волосами.

В. И. выясняет мне тут же по-русски этот маленький дипломатический прием, к которому прибегла в данном случае администрация парохода. Дело в том, что дама не была обвенчанной женой, и чтобы остальные обвенчанные и потому очень щепетильные английские дамы не протестовали, ее посадили за тот стол, где, кроме нее, дам не было.

В. И. кончает:

— Во всяком случае, мы не в убытке, потому что наша дама одна стоит больше, чем все те, вместе взятые.

Мистер Фрезер тоже за нашим столом vis-a-vis с дамой. Он весело кивает мне головой, молодой англичанин, мой сосед, шумно высказывает радость, замечая мои успехи в английском языке, В. И. уже ведет оживленный разговор с американским сенатором. Он единственный, который не признает никаких этикетов: он сидит в грязном потертом сюртуке, в мягкой рубахе, без галстука.

Капитан парохода, толстый, свежий капитан, в куртке и в кепи, которое теперь лежит на диване, осматривает все общество и, встречаясь глазами, кивает каждому головой и говорит:

— Good evening! (Добрый вечер!)

За нашим столом сидит его помощник, лет тридцати пяти, блондин, умытый и приглаженный. Он тоже кивает головой, и мы обоюдно говорим то же приветствие.

Мы приступаем к еде.

У каждого свой лакей-китаец, который и подает нам меню.

Пока я не навострился, меню подавалось мне в каюту, и с словарем в руках я предварительно изучал его.

За другим столом сидят молодой метис с женой, оба тихие, симпатичные. Молодой пастор с женой и с их маленькой дочерью: они несколько лет жили

в Китае и теперь едут за сбором пожертвований, так как в том районе, где они живут, свирепствует страшный голод. Еще две дамы с мужьями за тем же столом: одна пара грубая, малосимпатичная, хозяева большого галантерейного магазина в Сан-Франциско, другая пара — жители Нью-Йорка, богатые коммерсанты,— она в бальзаковском возрасте, сохранившаяся, но с налетом задумчивости осени на лице, хотя прекрасной, ясной, тихой осени.

Затем несколько джентльменов английских, в высоких воротниках, гладко причесанных, немецких и японских.

Японцы все в европейских костюмах, все маленькие, худые, с туго обтягивающей их лицо темной кожей. Этой кожи поскупилась отпустить им природа, и их зубы торчат из точно приподнятых страдальчески губ. Растительности на лице никакой, на голове много, но волосы жестки, как хвост лошади. Из маленьких щелок смотрят на вас уверенно и спокойно глаза.

За третьим отдельным столом сидят три китайца и с ними два мальчика: один в китайском платье, другой — в европейском. Это родные братья; и полный симпатичный китаец, их отец, в национальном костюме, добродушно смотрит на своих детей. У мальчика, одетого по-европейски, такая же, впрочем, коса, как и у остальных китайцев.

Китайцы сидят за отдельным столом по установившемуся здесь, на Востоке, отвратительному обычаю.

— Почему же отвратительный? — переспрашивает меня В. И.— У них свои обычаи, от которых они не желают отказываться; у них свой запах, они нечистоплотны. Они неаппетитно едят, нечистоплотны или так уж просто пахнет от них,— вполне законно и нам сторониться их. Японцы надели европейское платье и сидят с нами. И за что я обречен смотреть, как он, китаец, будет выплевывать из своего рта пищу, класть назад ее на тарелку, опять в рот... И на суше стошнит, а здесь, в море, от одной мысли, брр... Нет, уж бог с ними, пусть обедают отдельно.

Китайцы едут в Сан-Франциско, и с ними их семьи.

С двумя китаянками я каждый день дружелюбно раскланиваюсь,— мать и дочь,— мы стоим иногда несколько мгновений, каждый желая что-нибудь сказать, но между нами барьер — наши языки, и, кивнув друг другу еще раз головой, мы расходимся.

Сегодня качка, и уже нет впечатления, что наш «Gaelig» — гигант, которого не укачает никакая волна. Иногда нас швыряет, прямо как негодную скорлупу, и тогда пароход наш стонет и скрипит так, что, кажется, вот-вот он рассыплется.

Из разорванных облаков выглянуло солнце и холодно смотрится в желтую, мутную воду. Вода вся в судороге от порывов ветра и мечется и бьется в наш корабль. И каждый раз после такого удара несутся раскаты будто выстрелившей пушки, и фонтаны воды заливают иллюминаторы.

Я беру книги — русские, английские, французские — и отправляюсь в библиотеку.

Там много столиков с чернилами, перьями, бумагой, на которой изображен наш «Gaelig» и трехцветное знамя. В библиотеке уже сидит пастор с худым, измученным, молодым лицом и делает какие-то выписки из толстой английской книги, испещренной цифрами; на диване полулежит какой-то молодой англичанин, очевидно, франт, в клетчатом костюме, с брошкой в галстуке, с длинным лицом, большими зубами, на гладко причесанной голове маленькая шелковая шапочка, штаны, конечно, подкатаны.

Я погружаюсь в работу. Проходит час, кто-то что-то крикнул, и все из библиотеки спешат вниз. Я спешу за всеми, и все мы останавливаемся на площадке перед столовой, рассматривая только что вывешенную карту. На ней уже обозначено: сколько миль мы сделали до двенадцати часов сегодняшнего дня, какова была погода. Сила ветра обозначена десятью баллами,— следовательно близко к шторму. Часы уже переведены, и мы все переводим свои, каждый день приблизительно на полчаса вперед.

Выхожу на палубу. Мистер Фрезер делает свою обычную прогулку перед завтраком. С ним какой-то господин, лет пятидесяти пяти, с загорелым мужественным лицом, в шляпе с широкими полями. Тонкий и худой, мистер Фрезер внимательно слушает его, а потом делится со мной услышанным:

— Это знаменитый король одной из групп Гавайских островов. Лет тридцать тому назад он поселился на этих островах, выбросил английский флаг и с тех пор живет там,— у него теперь несколько взрослых детей

и тысяча человек подданных малайцев. В первый раз он едет теперь в Англию.

— Он англичанин?

— Да. Он известен своею деятельностью, его колония в цветущем состоянии, прекрасные школы, кофейные плантации, заведены сношения с остальным миром, пароходы останавливаются в его бухте. Я познакомлю вас с ним, но, к сожалению, он ни на каком другом, кроме английского языка, не говорит.

Я знакомлюсь с королем, и мы ограничиваемся несколькими самыми обиходными фразами. Он мне говорит, что один из его сыновей тоже инженер и что они теперь строят у себя маленькую дорожку. Мистер Фрезер переводит мне, что король случайно попал на эти острова: буря разбила корабль, на котором он плыл, а его выбросило на один из берегов тех островов, где он теперь король. Я прошу передать королю, что очень счастлив увидеть современного Робинзона Крузо и в тысячный раз убедиться, что по самостоятельности и энергии англичане первая нация в мире. Мистер Фрезер переводит мои слова и, обращаясь ко мне, говорит:

— Я прибавил к вашим словам, что и мы, американцы, того же мнения.

На лице короля спокойное удовлетворение человека, создавшего людям своего острова иную жизнь: таково должно быть лицо Фауста, когда, в предвкушении созданной им жизни, он говорит: «Мгновение, ты прекрасно, остановись».

Десять часов вечера: я уже лежу, с удовольствием потягиваясь, в постели. Там, за тонкой стальной перегородкой бушует море, неистово стучится в борта нашего корабля, а в каюте тепло и мягко разливается матовый электрический свет. Там, где-то далеко-далеко, за этим буйным морем, и родина и дорогие сердцу люди, но пока я отрешен от всего этого, и думай, не думай, а придется еще полтора месяца так качаться. И хорошо еще, что хоть не укачивает. Но сон плохой: кренит так, что, того и гляди, свалишься с койки,— падают книги, ездят чемоданы по полу. Иногда раздается особенно оглушительный удар,— не столкновение ли? Или что-нибудь лопнуло: вал, руль, винт, переборка? И я прислушиваюсь: не одеваться ли и бежать наверх? Но если крушение это, зачем же одеваться, зачем бежать наверх? Ворвется и сюда грозное море. И опять ничтожной скорлупой кажется мне наш гигант «Gaelig».

11 ноября

А сегодня мы уже входим в Нагасакскую бухту,— море синее, спокойное; солнце приветливо заливает нас своими лучами; ветерок лениво тронет лицо и полетит туда, где спят в солнечном блеске высокие берега, то голые и серые, то покрытые зеленой растительностью. Вот Папенберг — скала у входа в бухту, с которой японцы, сорок лет назад, столкнули в море десять тысяч европейцев и своих крещеных японцев: многие из очевидцев еще живы и теперь в той толпе японцев, которая стоит на берегу и смотрит на нас. И здесь внизу, у бухты, и там выше, в зеленой горе, и на самом верху, где храм какой-то, домики хорошенькие, как игрушка, с большими навесами японские домики,— это Нагасаки.

Тепло и тихо, и по изумрудной поверхности бухты уже плывут к нам с навесом от дождя лодки, гребут в них японцы, часто голые, то стриженые, то в затейливой национальной прическе. Подъехав голые, набрасывают торопливо халаты и, размахивая энергично руками, зазывают пассажиров.

Вот мы уже и на берегу, и я жадно вдыхаю в себя мягкий теплый воздух, любуясь этой негой, спящей в золотых лучах осени южной земли. Кажется, уже видел все это когда-то: эти горы, этот город в них, этот ясный солнечный день, и в нем зелень осени, то желтый, то красный лист, светящиеся в блеске лучей, как прозрачные. Следы жаркого лета кругом на всем этом, сухом и пыльном; видел и эту толпу — в японских халатах, в европейских костюмах и смешанных, одни остриженные, другие в прическах, те с непокрытой головой, эти в шляпах котелком, но в халате, из-под которого выглядывает голое тело. У одного на ногах род сандалий, или деревянные подставки, которые громко стучат о плиты мостовой; другой в ботинках. Видел и эти женские фигурки с прической, в халатах, опоясанных широким поясом, с громадным бантом сзади, их смуглые лица с прорезанными глазами смотрят приветливо, но как-то ничего не выражают. Мы поднимаемся в верхнюю часть города, доходим до самого верха, широкая, в несколько этажей лестница пред нами, там наверху храм,— видел и это. Но, кажется, тогда была ночь, и в глубокой ночи ярко горели огни фонариков всех этих, как портики, домов игрушечного города, огни отра-

жались в бухте и дрожали там, когда проплывала, бороздя поверхность воды, лодка...

Пьер Лоти! Хризантема! Этот почтенный маленький старый японец в своем халате и прическе, который приседает, кланяется и скалит зубы,— ведь это почтенный родитель Хризантемы, а вот и сама она подает нам кофе в этом самом храме, наверху горы. И я долго не могу отделаться от навязанного мне Лоти впечатления, и все кажется мне, что это так, не люди, а фигурки — фигурки, снятые на время с полок художественных магазинов, где стояли они, выточенные из желтой слоновой кости,— фигурки людей, их домиков, отблеск той конфетной природы с розовым отливом, которой так много в прекрасных альбомах цветной японской фотографии.

Но, читая Лоти, можно было разве угадать, что так скоро случилось в жизни японского народа — войну Японии с Китаем, выдвинувшую Японию сразу в ряд культурных наций? Войну, которая показала всем, что такое Япония и в смысле техники и в смысле политического развития форм ее жизни.

Читая Лоти, можно было разве предполагать ту нечеловеческую энергию, с какою нация в ничтожный промежуток тридцати лет догнала и перегнала многие культурные нации, культивирующиеся столетиями?

И когда писал уже Пьер Лоти свою Хризантему, весь этот процесс небывалого в мировой истории прогресса уже был в полном разгаре...

И ничего этого не заметил или, вернее, не дал заметить и почувствовать французский «бессмертный». И почувствовал это наш Гончаров в то время еще, когда японцы напрягали всю свою энергию, чтобы сбросить с скалы Папенберг не десять тысяч, а если бы могли, то и всех европейцев.

Как бы то ни было, я стараюсь отделаться от невольных предвзятых впечатлений и ищу непосредственных.

Вот японская улица, и сильно бросается в глаза подвижность и стремительность в движениях японской толпы. В то время, как фигуры корейца и китайца рисуются в воображении в состоянии покоя, японец вечно напряженно подвижен: идет ли он, он идет как-то судорожно спеша, вас ли везет в своей ручной колясочке, он напрягается изо всех сил, чтобы как можно скорее доставить вас к месту назначения. Даже в массе своей японская толпа сохраняет свои индивидуальные особен-

ности: она напоминает синематограф с его нервными дрожащими фигурами или же толпу, вырвавшуюся из сумасшедшего дома и по дороге кое-кого ограбившую. Вот следы грабежа: один захватил шляпу, другой стянул пиджак, остальное его не стесняет, одет, полуодет, совсем голый, с накинутым халатом — не все ли равно? Точно это или помешанные, или люди, поглощенные чем-то таким большим, и вопрос о костюме — такая мелочь, о которой и говорить не стоит. Всмотритесь в эти сухие, взвинченные, напряженные лица. Как все это бесконечно далеко от покоя всего того Востока, который остался позади! Хочется спросить, какая муха их кусает?

Это напоминает период наших шестидесятых годов, тоже большого подъема и прогресса. Но у нас действовала только часть общества, самая интеллигентная, самая незначительная, а здесь, в этой японской массе,— все, весь народ, в каком-то бессознательном порыве торопятся сбросить с себя всю ту рутину, которая сковывала их до сих пор.

Как-то коснулись похорон, и японец проводник говорит мне:

— Японцы теперь сжигают умерших.

— Давно введено сжигание трупов?

— Не больше пяти лет.

— И так сразу все стали сжигать?

— Все. Разве у кого нет тридцати долларов, ну, так за тех полиция сожжет.

Что до меня, я был поражен этим новым ярким доказательством нешаблонности японцев, отсутствием у них всякой рутины. У нас в Петербурге, где благодаря болотистой почве этот вопрос назрел гораздо больше, чем в Японии, несколько лет тому назад раздался было в печати голос о сжигании трупов, но так и замер. И пройдет, конечно, еще не один десяток лет, когда наши даже интеллигентные люди будут завещать своим потомкам сжигать свои трупы. А здесь пять лет— и вся нация, как один человек, прониклась уже сознанием пользы.

Мы в магазине художественных вещей: прекрасные художественные вещи: черепаховые, слоновые, клуазоне. Хотя бы этот слоновой кости старик — на коленях у него книга, сбоку тянется к нему и протягивает ручку такой же лысый, как и старик, ребенок. Старик оторвался от своей книги и поверх ее, поверх очков, смот-

рит на ребенка. Сколько мысли, силы и чувства в прекрасном выполнении фигурок!

— Нет, вы вот обратите внимание на эти две вазы клаузоне.

Пред нами две вазы почти в рост человека, металлические, эмалированные, с блестящею узорною поверхностью. Это не эмаль, а особая работа по проволоке. Надо быть очень большим знатоком, впрочем, чтобы понять, в чем тут дело.

— Эти вазы мне самому стоят девятьсот рублей, но теперь их и за две тысячи нельзя достать, теперь нельзя так работать; это можно было, когда японец жил голый и ел свои ракушки, и ему ничего не надо было, и никто ему не давал ничего, тогда ему и копейка заработка в день и то была находка, а теперь у него и заработок другой и потребности другие. Оттого так и падает качество выделываемых японских вещей: дешевизна осталась, а добросовестность в работе пропала.

— Вот,— говорю я,— часто слышу от здешних противников японской нации, что у японцев нет творческой силы, что способны они только, как обезьяны, воспринимать, а между тем вот наш магазин весь наполнен самостоятельным и прекрасным японским творчеством.

— Но что вы хотите,— говорит хозяин,— говорят из зависти, говорят об ученике, который вчера только начал учиться. Тридцать лет — что такое в жизни народа? Нет, я другого боюсь для Японии: большие разбойники уже поделили мир между собою, и, как ни вооружаются теперь японцы, этим воспользуется только Англия. Они легкомысленно готовы брать деньги у англичан без конца — на флот, великолепную технику, электричество,— японцы, когда берут деньги, не думают долго, а когда вязнут по шею в долгах у англичан, их судьба будет не лучше Египта.

На пароходе застали мы несколько новых пассажиров. Один из них русский, поверенный какого-то большого торгового дома.

Фамилия этого человека Б. Несмотря на свою молодость, он уже имеет маленькую лысину и носит очки. Наружность его не похожа на русского. Лицо худое с тонкими чертами, с бородкой à la Henri IV, с манерами, уверенными в себе. Он умеет сбрасывать с себя деловую внешность и тогда хочет казаться человеком, которому море по колено, разбитным, веселым и даже гулякой.

Первое впечатление получалось даже пошлое. Услыхав наш русский говор, он крикнул:

— А, русские!

Подошел к нам, представился и поздоровался.

— Какая досада, что так мало удалось пожить в Нагасаках, но все-таки успел свести знакомство с одной японкой, муж которой уехал куда-то по делам. Вы заметили, у японок у всех холодное тело, а эта и на японку совсем непохожа. Прелесть...

Он поцеловал кончики своих пальцев и опять продолжал уже на новую тему:

— Вы знаете, отчего японцы так худы и такие нервные? Они страшно любят горячие ванны,— каждый день часами просиживают в них, там и кофе пьют, и газеты читают, и гостей принимают.

Вспомнив новое, он вскрикивает:

— А как японцы ненавидят нас, русских!

Он свистнул, присел и выкатил свои карие, красивые молодые глаза.

Мы рассмеялись, а он продолжал:

— А в чайных домах вы были? Нет?! И джонкина не видали?! О! Это танец,— его танцуют молодые японки: начинается с того, что все должны делать такие же движения, какие делает первая; кто сделал не так — штраф: сбросит ленточку, бантик, дальше и дальше, пока не сбросит с себя все... И все так... Музыка быстрее, быстрее: джон-кина! джон-кина!

И молодой коммерческий человек в английском клетчатом костюме, в шелковой, на затылок сдвинутой шапочке энергично пляшет на палубе танец джон-кина. Из-за угла в это время неожиданно показывается обедающая за нашим столом дама. Тогда он бросается со всех ног в курительную, а когда дама проходит, возвращается и говорит радостно, возбужденно:

— Послушайте, что это за дама? Неужели пассажирка нашего парохода? О! черт возьми...

И он крутит свои усики.

— У нее муж есть,— говорю я.

— Молодой? Старый?

— Немолодой.

— Отобью!

— У него сто миллионов,— говорит В. И.

— Сто миллионов? Ах, черт его возьми! Это нехорошо, потому что у меня...

Он вынимает из кармана золото и говорит:

— Долларов двести наберется. При готовом билете доеду до Сан-Франциско?

— Как поедете,— отвечает В. И.

— Господа, удерживайте, пожалуйста, меня: мое положение ведь совсем особенное, я ведь жених, через месяц свадьба, понимаете.

Но через полчаса он уже уславливается с В. И. побывать с ним во всех интересных местах в Иокогаме.

— А невеста? — спрашиваю я.

— При чем тут невеста,— говорит В. И. и двумя руками энергично вытягивает свои мягкие красивые усы.—Здесь, на Востоке, лучше не употреблять этих слов: невеста, жена, если для кого-нибудь они еще сохраняют какой-нибудь аромат; здесь все это так просто... И кто жил на Востоке, тот навсегда потерял вкус ко всему этому. Здесь женщина потеряла всякую цену и интерес,— неделя-две и прочь.

И, обращаясь к Б., он с покровительством Мефистофеля говорит:

— Пойдем, пойдем, молодой человек, все покажу.

— Пойдем, конечно,— задорно отвечает Б.,— о чем еще там думать?.. А вот что, господа, как здесь обедают: во фраках или смокингах?

Вечер охватил бухту и берега, и, кажется, выше поднялись горы, и горят где-то там, в недосягаемой высоте, крупные, яркие звезды, горят огни города; множество их, ярких, разноцветных, освещающих игрушечные домики, и от света их темнее кажется вода бухты. Кажется, что провалился пароход наш, и только видны там высоко-высоко края темно-синей бездны. Ночь теплая, мягкая, как где-нибудь в Италии, но тех песен нет здесь: никаких песен.

12—14 ноября

Сегодня мы плывем в Японском Архипелаге. Немного напоминает езду по Адриатическому морю — такое же воздушно-синее море, такие же скалистые серые острова, так же спят они в прозрачном золотистом воздухе, так же нежны краски и моря, и неба, и дали. А может быть, здесь еще нежнее в какой-то, точно действительно розоватой дымке здешнего воздуха. Только пароход мерно шумит, все же остальное: и те паруса лодок и те далекие жилища на берегах — все точно сковано дремой и негой прекрасного дня, и, кажется, спишь и сам ви-

дишь во сне эту прекрасную идиллию. Синей пеленой стелется пред глазами море, горы Японии поднялись до неба и застыли там в неподвижной красе. Мягкий теплый ветерок ласкает лицо, трогает волосы — и опять тихо и солнце опять заливает своими горячими лучами палубу.

Б. сегодня плохо настроен, жалуется, что нет интересных дам и даже про нашу говорит, что в ней ничего в сущности интересного нет. Может быть, он немного сердится на нее, что она не кивнула ему головой за завтраком, как кивает она нам, всем остальным, после чего мы приподнимаемся и почтительно кланяемся ей: таков обычай и здесь и в Америке, и только после такого кивка дамы мужчина имеет право снять свою шляпу и поклониться ей.

В. И. утешает Б.:

— Ну, ничего, завтра она вам тоже поклонится.

Но Б. обижен вконец.

14—18 ноября

Сегодня утром мы проснулись в Иокогаме. Большая бухта с незапертым горами горизонтом. Горы там, где-то далеко, и выше их всех вулкан Фузи-яма, рельефный и неподвижный в своем белом одеянии на фоне голубого неба.

Город весь в долине, и передовые здания закрывают остальные.

Уже толпятся лодки, катера вокруг нашего парохода. Мы переезжаем на эти три дня в город.

Так как в Иокогаме таможня, то, пристав к берегу, ведут нас и несут наши чемоданы в красивое остроконечное здание таможни.

Очень вежливо, конфузясь, маленький ростом японец, в европейском платье, задает нам несколько вопросов и, не осматривая чемоданов, пропускает нас. Довольны мы, довольны наши дженерики, доволен и сам японец чиновник.

Мы едем по красивой набережной, встречая много экипажей в таких же, как в Шанхае, запряжках, только вместо китайцев кучера здесь японцы. А вот и наша гостиница — светло-серое двухэтажное легкое здание, с зелеными жалюзи.

Японская прислуга деловито, приветливо и быстро берет наши вещи, на ходу сообщает цены номеров,

и вот мы во втором этаже, в красивой комфортабельной комнате с камином, по два доллара в сутки.

Б., уже опять раздумавший следовать за В. И. в его похождениях, поселяется в моем номере, а В. И. устраивается совершенно отдельно от нас.

18 ноября

По новому стилю — декабрь, самое бурное время в Тихом океане, но пока в большой Иокогамской бухте, защищенной к тому же и брекватером, тихо и спокойно. Наш громадный пароход неподвижно высит в небо свои мачты и трубы. Так же неподвижно стоит множество других пароходов, наполняющих бухту. Тут английские, американские пароходы, а больше японские — военные и торговые. Нарушают покой бухты только лодки да катера, беспрерывно снующие от пароходов к пристани.

Ясное утро отражается в голубой глади залива, отражается в ней город, горы, все еще зеленые, несмотря на декабрь; только там дальше, на самом горизонте, в опаловом тумане нежно вырисовывается гигантский усеченный конус вулкана, весь покрытый молочным снегом.

Быстро промчались три дня, проведенных в Иокогаме и Токио, и опять сижу на палубе, разбираясь в сложных впечатлениях.

Я видел Японию, страну хризантем, страну черепаховых изделий, статуэток из слоновой кости, ваз клуазоне, цветных фотографий, страну игрушечных деревянных домиков.

Я ездил по их железной дороге, такой же игрушечной (узкоколейной, дешевой), с которой, однако, они делают прекрасные дела.

Из окна вагона я видел их поля с игрушечными участками, с поразительной обработкой этих участков. Ни одной четверти земли, за исключением откосов скал, не осталось невозделанной. И на всем протяжении, куда ни кинешь взгляд, везде из-за густой зелени апельсиновых и лимонных деревьев, из-за пальм кокетливо выглядывают маленькие двухэтажные, с крышами причудливой китайской архитектуры домики. Хотя вблизи иллюзия пропадает: вследствие постоянных землетрясений домики выстроены очень легко, чуть не из апельсиновых ящиков, но издали это красиво.

И надо отдать справедливость японцам, они не хуже французов умеют бить на эффект. Посмотрите на их

раскрашенные фотографии, которые снимают они в момент цветения персикового дерева,— самый воздух кажется розовым. Или все эти красивые, эффектные безделушки: разные веера, черепаховые и слоновые вещи, шелковые материи и шитье по шелку. Электрическое освещение, прекрасно шоссированные дороги, прекрасный коммерческий и военный порт, множество фабричных труб, торчащих на горизонте.

В сравнении с безнадежно замотанным опекой своего правительства, всей старины корейцем, в сравнении хотя и с жизнеспособным, но пока в таких же тисках китайцем, японец — вырвавшаяся на свободу сила, поражающая нас своею стремительностью, энергией, размахом.

Но в то же время в нем что-то если не отталкивающее, то во всяком случае — с чем надо свыкнуться, сжиться. Худая, изможденная, темно-желтая фигурка, открытый рот, торчащие зубы, кожа лица, как будто ее стягивают на затылок, отчего выше поднимаются углы глаз и сильнее торчат скулы плоского лица,— все вместе делающее это лицо поразительно похожим на великолепный экземпляр орангутанга, который я видел в зоологическом саду в Токио: такой же маленький лоб, весь в складках, и движущаяся, из жестких густых волос, растительность на голове.

В сравнении с иконописной смуглой фигурой корейца, в сравнении с богатыми и разнообразными красивыми типами китайцев, японец — жалкий поскребок, выродок по телу между своими братьями, что-то в то же время холодное, если не злобное, в этом некрасивом лице, что-то таинственное и даже страшное. Хочешь верить, когда говорят:

— Бойтесь японца, не верьте его низким поклонам, улыбке, сюсюканью с захватываньем воздуха, с потиранием рук; так же улыбаясь, он всадит вам кинжал и будет сюсюкать и улыбаться.

Я закрываю глаза и вижу такую же, как в Шанхае, улицу ночи в Иокогаме, такая же голубая, прозрачная от света огней ночь. Но тихо, неподвижно, безмолвно все в японской улице. По обеим сторонам тянутся ряды деревянных клеток, ярко освещенных; в этих клетках вдоль столов сидят безмолвными неподвижными рядами набеленные японки в своих национальных костюмах. Разница только в цветах — в этой клетке цвет красный,

дальше голубой, там черный. Они неподвижны, как статуи.

Для кого же выставлены все эти тела в этих нероновских клетках? Кого ждут все они в этой мертвой тишине пустой улицы?

И с жутким чувством тоски торопишься пройти эту бесконечную, страшную, как вход в ад, улицу. Да, это ад, и какой-то холодный, мефистофелевский расчет в нем.

Там, в Шанхае, отвратителен его открытый цинизм, но в нем и бесшабашный размах, и удаль, и, главное, жизнь. Добродушное толстое лицо китайца смотрит на вас задорно и беспечно, как ребенок, который сам не знает, что творит. Здесь, в Иокогаме, нет жизни, нет японского лица в складках, этого стриженого, гладко обритого старика сатира в этой улице: расставив для кого-то сети, он сам ушел. Мефистофель, одинаково холодный и к ядовитой приманке, выставленной им, и к жертвам ее.

И страшная мысль забирается в голову: может быть, этот орангутанг-старик, который тридцать шесть лет тому назад толкал с своей Тарпейской скалы европейцев в воду, а теперь в халате, надетом на голое тело, и в шляпе котелком, являющийся в всеоружии технического прогресса, все тот же смеющийся над всем и вся, как тогда, так и теперь торговавший своими женщинами, дикарь-сатир.

И невольно я вспоминаю опять все другие неблагоприятные отзывы об японцах: японец скрытен, холоден, фальшив, расчетлив.

И так трудно мне, мельком видевшему эту страну, проверить эти «говорят».

Вот толпа, в своем одеянии действительно странная толпа, торопливая, судорожная. Лицо какого-нибудь старика, холодное, в складках, с неприятным выражением, хорошо запечатлевается, но продолжайте всматриваться — и рядом с таким лицом вы увидите удовлетворенное, спокойное лицо рабочего человека.

Этот дженерик, который так усердно вез меня и теперь вытирает пот с своего лица,— пять, через силу десять лет, и самый сильный из людей этого ремесла умирает от чахотки,— в лице этого человека нет злобы, кусочками своей жизни он заплатил за сегодняшний свой тяжелый кусок хлеба, и лицо его дышит спокойствием и благородством сознательно обреченного.

Вот из телеграфного окошечка смотрит на вас меленькая козявка — японский чиновник и педантично считает слова моей телеграммы, внимательно, несколько раз перечитывает каждое слово, исправляет, записывает ваш адрес на случай телеграмм и здешний и тот, куда вы едете. Я благодарю его, говорю, что в этом нет надобности, он настаивает, говорит: на всякий случай. И благодаря только этому я успеваю получить одну запоздавшую, но очень важную для меня телеграмму. Любезность, за которую я даже не успел поблагодарить рассыльного, так как телеграмму получил уже на пароходе.

Поступили бы так же вежливо и деловито с вами на нашем русском телеграфе? Принял ли бы русский телеграфист ваши интересы ближе к сердцу, чем вы сами?

Я вспоминаю любезную администрацию зоологического сада; куда попали мы в неурочное время, и достаточно было заявить, что мы туристы, как один из распорядителей сада сам повел нас. И при этом туристы — русские, туристы той нации, к которой японцы не могут питать добрых чувств.

Вот еще факт. В книжном японском магазине меня заинтересовали английские издания на оригинальной японской бумаге с прекрасными японскими рисунками. Я пожелал узнать стоимость их, где они издаются, можно ли издавать и русские произведения таким образом. Объяснение мне давала одна из хризантем — по внешнему по крайней мере облику своему. На прекрасном английском языке эта маленькая козявка-хризантема в своем национальном костюме и прическе, водя миниатюрным пальчиком по книге, давала мне такие толковые и обстоятельные ответы, каких в русском книжном магазине я не получил бы.

Я слушал ее и думал: уверяют, что японские женщины продажны. Но зачем такой, например, девушке торговать своим телом, когда у нее и без того есть ремесло, которое кормит ее. И, конечно, ее положение более гарантирует ее от торговли телом, чем любую из наших барышень из тех, ремесло которых только и заключается в том, чтобы путем законного брака обеспечить за собою и впредь сытое прозябание.

Девушка в книжной лавке говорит, и чем больше я ее слушаю, чем больше всматриваюсь в нее, тем сильнее действует на меня ее полная достоинства манера, ее увлечение возможностью задуманного мною издания

именно в Японии: говорит в ней только ее патриотическое чувство, и как всякое альтруистическое чувство, высшее во всяком случае, чем личное, оно еще более облагораживает девушку и далеко не дает впечатления хризантемы.

Я видел молодых японок и в европейском костюме, скромных, интеллигентных, в обществе таких же молодых людей — таких же, как наши студенты, студентки.

Я был, наконец, на заводах и в мастерских железных дорог и уже как специалист мог убедиться в поразительной настойчивости и самобытной талантливости японских техников, мастеровых. Как рационально приспособились они ко всему своему железнодорожному делу, на какую коммерческую ногу поставили его. Без обиды для всех наших техников-инженеров, с чистой совестью скажу, что в сравнении с японскими техниками, мы плохо обученные техники и притом без всякой самобытной инициативы. И не техники даже, а до сих пор еще все те же трусливые и забитые ученики, которые все свое спасение видят в том, чтобы ни на шаг не отступать от всякого хлама рутины, осложняющего и удорожающего простое коммерческое дело.

В этом частном деле особенно виден и прогресс японцев, и гениальная нерутинность их, и хотя я завидую им от всей души в этом, но и признаю их полное превосходство над нами, утешаясь при этом тем, что хоть этим не хочу походить на тех из наших, с противным апломбом невежества высокомерно третирующих тех, до которых им очень далеко.

Мы уже снимаемся с якоря, лодки, катера и провожающие уже там, внизу, мы, пассажиры, сбившись у борта, смотрим туда, вниз. Наш гигант, среди целого ряда таких же гигантов, медленно поворачивается и пробирается к выходу.

Вот мы проходим мимо нашего четырехтрубного гиганта броненосца «Россия»; страшные пушки его скрыты, как скрыты в таинственных недрах его и все остальные ужасы разрушения: ядра, порох, динамит.

Одного такого страшилища довольно, чтобы весь этот цветущий мирный уголок земли превратить в развалины. Но и одной маленькой вертлявой миноноски больше чем достаточно, чтобы уничтожить такое чудовище. И как бы в ответ на эту мою мысль четыре японских миноноски несутся к нашему крейсеру, на мгнове-

ние останавливаются у самого его борта и снова скрываются в бухте.

Не дай бог ни того, ни другого.

Мы уже идем полным ходом. Вся даль лазурного моря покрыта белыми парусами; это лодки рыбаков. Голые, они ловят свою рыбу, там на берегу у каждого из них посеяна полоска рису, и все несложные потребности жизни удовлетворены этим. Всю жизнь будут они так работать, а когда умрут, их сожгут в этой стране панорам туманных гор, синего безмятежного моря, дремлющих на нем белых парусов. Негой, грезой, лаской дышит все здесь, и берет окончательно верх доброе чувство, и от всего сердца шлешь этим людям труда, этим чудным берегам свое последнее прости.

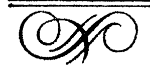
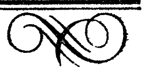
Прости, Япония, скоро опять станешь для меня ты далекой и чужой страной, но память о тебе, прекрасной, о твоем мощном, как в сказке, пробуждении и возрождении будет для меня одним из лучших воспоминаний моей жизни, будет большим, будет вновь забившим источником веры в чудеса на земле.





ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ



Н. В. МИХАЙЛОВСКАЯ

Когда я выходила замуж за молодого инженера путей сообщения Николая Георгиевича Михайловского, я, конечно, не предполагала, что он станет со временем известным писателем Н. Гариным. Наша свадьба состоялась 22 августа 1879 г. в г. Одессе. Николаю Георгиевичу было 27 лет, а мне 20.

С семьей Николая Георгиевича я познакомилась раньше, чем с ним. В 1877 г. я приехала из Минска, где жила у отца, в Одессу погостить к моей сестре Аделаиде Валериевне.

Сестра жила с семьей в нижнем этаже двухэтажного дома на Михайловской ул. В верхнем этаже над нами жила семья Михайловских. Эта семья была очень многочисленная: она состояла из матери-вдовы и девяти человек детей [...] Старший сын, Николай, студент, учился в Петербурге в Институте путей сообщения и приезжал домой только на рождественские и пасхальные каникулы.

В верхнем этаже было всегда шумно и весело. У меня не было подруг моего возраста, я скучала и с интересом и завистью прислушивалась к доносившимся сверху громким молодым голосом, смеху, пению и игре на рояле.

В тот же вечер я пошла с сестрой и зятем к Михайловским.

Переступая порог их квартиры, я не знала, что иду навстречу своему счастью, что знакомилась с семьей моего будущего мужа.

Вся семья отнеслась ко мне ласково, приветливо, и как-то устроилось так, что я все вечера стала проводить у Михайловских. Особенно подружилась с Ниной,

красивой брюнеткой со строгими правильными чертами лица. Мы с нею часто ходили вдвоем гулять на Ланжерон и, беседуя, долго сидели там на берегу моря.

В этой семье я нашла тот семейный уют, которого мне так недоставало с детства. Бывало, зайдешь к Михайловским в сумерки, они любили сумерничать, долго не зажигать огней, и застаешь такую картину: одна из дочерей, обыкновенно Нина, сидит у рояля, подбирает, а затем красиво аккомпанирует какую-нибудь малороссийскую песню, а остальные дети, окружив мать, сидящую в кресле, поют хором. Так красиво звучат молодые голоса, так хороша и задушевна песня, которую они поют, что у меня на душе становится мирно и радостно, и в такие минуты мне кажется, что нет на свете ничего приятнее и уютнее этой старомодной гостиной с ее поблекшим персидским ковром и ее милых хозяев.

Приближались рождественские праздники, и вся семья с нетерпением ожидала приезда старшего сына, Ники, как его звали в семье. Я, заражаясь общим настроением, тоже с интересом ждала его, тем более, что Нина, любившая брата, часто во время наших прогулок говорила о нем. Портрета его я не видела и почему-то воображала, что он красивый брюнет, похожий на Нину.

Наконец, он приехал. Вечером, в день его приезда, когда я услышала условный звук вальса, которым Нина давала мне знать, что меня ждет, я, не без волнения, надела свою драповую тальму, взяла рабочую шкатулку и поднялась наверх. [...]

Вдруг Нина мне говорит: «Надя, позвольте вам представить моего брата Нику». Я обернулась и увидела перед собой... изящного молодого человека с красивыми, слегка вьющимися темно-русыми волосами и прекрасными синими, выразительными глазами. Мне сразу все в нем понравилось. [...]

Теперь я каждый вечер с особым интересом ожидала звука условного вальса, чтобы подняться наверх. Вечера проходили очень приятно. Николай Георгиевич читал нам вслух роман Альфонса Додэ «Маленький человек», а мы работали. Затем пили чай, разговаривали, пели, играли на рояле,— моя игра очень нравилась молодому студенту. Часто засиживались до часу. Когда я вставала и прощалась, Николай Георгиевич брал свечу, подавал мне мою тальму и шкатулку и провожал меня до двери

моей квартиры. Эти вещи — тальма и шкатулка, как воспоминание о первом периоде нашего знакомства, и после нашего брака были дороги мужу. Он просил меня их беречь и при наших частых переездах и путешествиях всегда настаивал, чтобы они были уложены в сундук с самыми нужными, дорогими вещами.

[...] 5 мая Николай Георгиевич и я стояли друг против друга робкие, смущенные и молча смотрели друг другу в глаза.

Семейная обстановка была неподходящей для объяснений, и Николай Георгиевич предложил мне поехать с ним на могилу его отца, я согласилась.

...Николай Георгиевич, впоследствии писатель Н. Гарин, описывает в своей книге «Инженеры» пережитую нами сцену на кладбище. В «Инженерах» он выводит себя под именем Карташева, а меня под именем Аделаиды Борисовны...

[...] Домой мы вернулись женихом и невестой. Все нас обступили, поздравляли, целовали. Мать Николая Георгиевича назвала меня своей белой голубкой и сказала, что теперь спокойна за счастье сына и благодарит бога, что он послал ее сыну такую жену.

[...] 22 августа Одесса ежегодно праздновала свое основание. В этот день дома расцвечивались флагами, от собора по городу проходил крестный ход, на Соборной площади устраивали парад войскам, музыка играла весь день на бульваре.

В такой праздничный, торжественный день состоялась наша свадьба. Перед венцом пришли ко мне мои подружки с Ниной во главе и начали с песнями одевать меня к венцу. Пели красивые грустные песни об уплывающей лебедушке и т. д. Невесте полагалось быть грустной и даже всплакнуть, но я сияла счастьем, и мне было очень весело. Наша свадьба состоялась в 4 часа дня в Михайловском монастыре. По обычаю того времени родители не присутствовали при венчании в церкви, они встречали молодых дома и благословляли их иконой и хлебом с солью.

Мать Николая Георгиевича осталась дома, мой отец тоже сказал, что останется дома, но все же пошел в церковь на хоры. Мы об этом узнали только вернувшись домой, когда отец обратился ко мне со следующим замечанием: «Николай Георгиевич держал себя хорошо под венцом, серьезно, как подобает жениху, а ты вела себя легкомысленно,— все время улыбалась». Отец оши-

бался — это было не легкомыслие с моей стороны, а просто душа моя была переполнена счастьем.

[...] Весной Николай Георгиевич был зачислен на вновь строящуюся дорогу от Батума до ст. Самтредиа Поти-Тифлисской ж. д. [...] В декабре поехали в Батум, куда Николая Георгиевича назначили помощником начальника участка на первый строящийся от Батума участок. [...]

Теперь Батум большой культурный город с прекрасным бульваром и знаменитым ботаническим садом, а в конце 1881 г., когда мы туда приехали, Батум, недавно присоединенный к России после турецкой войны, был небольшой турецкой деревней с двумя-тремя улицами, одной мечетью и небольшой площадью перед ней. [...]

Жизнь в Батуме была небезопасна. Турки, очевидно, плохо мирившиеся с отнятием Батума, делали набеги вооруженными шайками на Батум, убивая и грабя русских. Николай Георгиевич для большей безопасности нанял для нас квартиру на площади против дома, где помещался вице-губернатор. Наша квартира состояла из трех комнат,— все комнаты, по обычаю турецких построек, имели выход во двор, не сообщаясь между собой.

Однако местоположение нашей квартиры не оказалось таким надежным, как мы предполагали. На третий день, после нашего переезда в нее, мы утром узнали, что ночью была ограблена квартира вице-губернатора, а его и прислугу нашли связанными. Если в городе было мало защиты от разбойников, то еще опаснее было ездить, как приходилось Николаю Георгиевичу, одному по диким горам, лесным дорогам. Участок мужа, протяжением в 10 верст, начинался в Батуме и кончался в Цихисдзири. Посредине участка находились бараки для рабочих и подрядчиков. Однажды, приехав туда, Николай Георгиевич узнал, что в предыдущую ночь большая партия вооруженных турок окружила бараки рабочих, турки вставили дула ружей в окна бараков и не выпускали никого, пока их товарищи грабили подрядчиков [...]

После этого случая инженер Политковский, начальник Николая Георгиевича, потребовал конвой для охраны инженеров во время их поездок по линии. В Батуме русских солдат было мало, и конвой инженерам был дан из нанятых местных ингушей [...]

В первый же день начальник конвоя через переводчика передал Николаю Георгиевичу, что ему с ним бояться нечего: главный разбойник — его брат, он будет всегда знать, когда и где его брат будет переходить границу и потому сумеет избежать встречи с ним, если же они все-таки попадутся ему на пути, то брат дал слово, что не убьет Николая Георгиевича, а только возьмет его в плен, чтобы взять за него выкуп. И действительно, ингуши оказались прекрасной охраной, впрочем, вскоре имя Николая Георгиевича стало настолько популярным между турками, что он часто разъезжал один без конвоя и мог никого не бояться.

У Н. Гарина есть рассказ «Два мгновения», в котором он описывает два случая, бывших с ним во время его пребывания в Батуме, когда ему пришлось стать лицом к лицу со смертью и как он в обоих случаях совершенно различно отнесся к грозившей ему опасности.

Первый случай. После целой недели работы на линии Н. Г. и его сотрудники собрались ехать к семьям в Батум. Кратчайшая дорога из Цихисдзири, где они работали, до Батума была морем, всего верст семь, а берегом верст пятнадцать. Лошади, чтобы ехать в город, были поданы, когда подъехал грек на лодке и предложил под парусами довезти их до Батума в четверть часа. Сговорились и поехали. Вдруг налетел шквал, и всем ехавшим грозила гибель. Николай Георгиевич в эти минуты пережил страх за свою жизнь и ужас сознания, что он бессилен бороться с ним.

Через несколько дней был второй случай. Там же, в Цихисдзири Николай Георгиевич со своими рабочими завтракал на вершине горы и смотрел на плывущий по морю плот с четырьмя турками. Опять налетел шквал и разбил плот, а четыре турка оказались в море. Николай Георгиевич, заметив приставшую к берегу лодку, бросился к ней и с двумя рабочими поплыл спасать турок. Опасность была так же велика, как и в первый раз, но при этом риске для других страха уже не было. «О, если б в такое мгновение умереть!» — заканчивает Н. Гарин свой рассказ.

Все четыре турка были спасены и на следующий день пришли к нам благодарить Николая Георгиевича. Они низко кланялись, прикладывая ладонь ко лбу и сердцу, и просили принять от них курицу, яйца и домашние сладости. Сказать они ничего не могли, не зная

русского языка, но их сияющие счастьем лица были красноречивее всяких слов.

Недели через две Николай Георгиевич, задержавшись дольше обыкновенного на работах, возвращался один, без конвоя, ночью в Батум. Приходилось ехать через лес, шел дождь, и было очень темно. Николай Георгиевич сбился с дороги и поехал по какой-то тропинке. Вдруг перед ним открылась поляна, горящий костер и вокруг него человек десять вооруженных турок. Вероятно, он наткнулся на шайку разбойников. Отступать было некуда, его заметили, двое пошли навстречу и схватили его лошадь под уздцы. Турки окружили Николая Георгиевича, и между ними начался оживленный разговор и спор. Наконец, державшие лошадь отпустили ее, турки стали отходить к костру, а один из них, благообразный старик в чалме, показывая ему на море и небо, жестами объяснил, что благодарит за спасение турок и что он свободен. [...]

В то время дороги не строились казной, а постройка дорог сдавалась правительством с подряда крупным концессионерам. Чтоб постройка обходилась дешевле, концессионеры заинтересовывали инженеров в барышах, сдавая им, в свою очередь, работы с подряда.

Результатом такой погони за дешевизной была недоброкачественность постройки, благодаря которой происходили частые крушения поездов.

Одна из таких катастроф, вызвавшая общее возмущение, произошла на Курской ж. д., когда поезд свалился с Кукуевской насыпи, причем было много убитых и раненых. После этого в печати стали ругать подрядчиков и инженеров, называя последних «кукуевцами». Тогда в печати заговорили о необходимости перейти к казенной постройке дорог. Батумская дорога строилась еще концессионерами. Участок, на котором работал Николай Георгиевич, был сдан его начальнику инженеру Политковскому с подряда. Когда Николай Георгиевич поступил на службу, Политковский предложил ему принять участие в подряде, но Николай Георгиевич отказался. Он хотел добросовестно строить, принося своей работой посильную помощь родине, сделаться же подрядчиком, по его мнению, значило ставить целью своей работы — личное обогащение в ущерб делу.

При таком различии взглядов на работу между начальником и его помощником столкновения были неизбежны. В июне между ними произошел следующий кон-

фликт. Николай Георгиевич, представив Политковскому образцы горных пород, доказывал, что ввиду ненадежности грунта в одном месте для прочности пути необходимо поставить отводную трубу. Политковский не хотел делать затраты на это искусственное сооружение и стал явно против очевидности утверждать, что грунт прекрасный и делать трубы не надо.

Николай Георгиевич возмутился таким недобросовестным отношением начальника и стал с ним спорить. Убедившись, что Политковский своего решения не изменит, Николай Георгиевич заявил ему, что в таком случае он не считает возможным продолжать свою службу и сегодня же подает прошение об отставке.

Конечно, нелегко было бросать такое хорошее место, какое имел Николай Георгиевич в то время, когда так трудно было молодому инженеру попасть на постройку дороги. Он сознавал, что его уход не только лишает его хорошего жалованья и возможности на практике применять свои знания, что было для него ценно, но испортит ему его инженерную карьеру. Ведь в министерстве путей сообщения заседали такие же дельцы, каким был его начальник, и они, узнав об его уходе, составят себе о нем мнение, как о человеке непокладистом и неуживчивом, которому не следует давать хода.

Однако все эти соображения не поколебали решения Николая Георгиевича подать в отставку. Он решил бросить инженерное дело до тех пор, пока при казенной постройке железных дорог не явится возможность работать, руководствуясь только интересами дела, а не хозяев подрядчиков. Вот как Н. Гарин в первой главе своего рассказа «Несколько лет в деревне» объяснил свой уход: «По специальности я был инженером путей сообщения, но бросил службу за полной невозможностью сидеть между двумя стульями: с одной стороны, интересы государства, с другой, личные, хозяйские. Казенных железных дорог тогда еще не было».

Наши сборы были недолги. Через три дня после столкновения Николая Георгиевича с Политковским мы уже сидели на пароходе, чтоб ехать в Одессу, а оттуда в Самарскую губернию. Узнав каким-то образом об отъезде Николая Георгиевича, четыре спасенных им турка пришли на пароход проводить его. Они опять низко кланялись, прикладывая руку ко лбу и сердцу, ласково глядели на него и просили принять принесенные ими домашние сладости.

В течение зимы Николай Георгиевич знакомился с условиями хозяйства в Самарской губ. и был поражен, на каком низком уровне оно находилось.

Его возмущало, что люди, имея под рукой неисчислимые богатства в лице природы, направляют свою деятельность не на эксплуатацию природы, а на эксплуатацию своих ближних, на вымогательство у более слабых.

[...] Нашлось и для нас вполне подходящее именье в Бугурусланском уезде, вполне годное для полевого хозяйства, с двухаршинным черноземом. Именье находилось в глуши в расстоянии 70 верст от ближайшей железнодорожной станции, но это обстоятельство нас не смущало — мы оба всей душой стремились в деревню и радовались перспективе независимой свободной деятельности.

Когда я поехала с Николаем Георгиевичем осматривать наше новое именье, местность мне понравилась, но вид усадьбы произвел на меня удручающее впечатление. Это был небольшой старый дом из шести комнат, построенный из срубов осинового леса. Тесовая крыша и отчасти потолки провалились, полы и рамы в окнах от сырости сгнили. Балкон был совсем разрушен.

Николай Георгиевич уверил меня, что он, как инженер, быстро сумеет привести усадьбу в надлежащий вид. И действительно, когда мы через полтора месяца совсем переехали с детьми в Гундуровку — мы так назвали наше имение по имени деревни, прилегающей к нему,— я не узнала дома. Он был оштукатурен снаружи и побелен. Теперь, подъезжая к усадьбе, я увидела на фоне зеленого сада хорошенький белый домик с железной зеленой крышей и зелеными жалюзи-ставнями на окнах. Дом напоминал загородную дачку где-нибудь на юге. Дом, двор и сад были обнесены изящной деревянной решеткой, выкрашенной в зеленый цвет. Балкон был исправлен, высокие кусты сирени в цвету красиво обрамляли его, перед балконом были разбиты клумбы. Дом внутри был также неузнаваем. Стены были оклеены красивыми обоями, новые крашеные полы и рамы окон блестели. В этом уютном уголке началась для нас новая жизнь, полная интереса ко всему окружающему.

Крестьяне деревни Гундуровки, после освобождения крестьян, поверив слухам, что всех, получивших полный надел, опять повергнут в крепость, вышли на сиротский

надел и переписались в мещане. Скоро, но уже поздно, они осознали свою ошибку. Половина деревни переселилась на новые места. Когда мы приехали в Гундуровку, в деревне было всего пятьдесят дворов. Пять семей из них были зажиточные «богатеи, кулаки», как их называли, все же остальные крестьяне жили очень бедно, беднее всех окружающих деревень, имевших полный надел.

Ознакомившись с положением гундуровских крестьян, Николай Георгиевич принял их интересы близко к сердцу и задался целью поднять их благосостояние: вернуть их к земле, к общине, научить более культурной обработке земли, чтоб поднять ее доходность. Меры, которые Николай Георгиевич считал необходимым принимать для достижения этой цели, и помощь, оказываемая Николаем Георгиевичем крестьянам, встречали со стороны нескольких богатых семей, привыкших эксплуатировать своих бедных односельчан, отпор и недовольство. Во главе недовольных стоял Чичков с семейством [...]

Николай Георгиевич не жалел, что променял свое более широкое поприще на несравненно более скромное. Он считал, что для служения миллионам найдется много других, а для служения крестьянам деревни Гундуровки, кроме него, никого нет. И заветной мечтой его было хоть под конец жизни увидеть счастье этих трех, четырех сотен заброшенных несчастных гундуровцев.

В то время как Николай Георгиевич со свойственной ему энергией, с широким размахом отдавал свое время и силы хозяйству, вводя улучшенную культуру и у себя в имении и в крестьянском хозяйстве, я увлекалась работой в нашей школе. Когда мы приехали в Гундуровку, нас поразило то, что во всей деревне нашелся только один грамотный — отставной солдат — и мы тогда же решили устроить школу, в которой я буду сама учить гундуровских детей, чтоб по крайней мере молодое поколение стало грамотным.

С осени все дети школьного возраста Гундуровки стали посещать мою школу. Опыта педагогического у меня не было, но любовь к ребятам, сознание, что, кроме меня, некому их учить, придавали мне смелость, и дело быстро пошло на лад.

Зимой к гундуровским ученикам присоединились человек десять из соседней деревни Садки, находящейся в трех верстах от нас. Чтоб облегчить этим детям посе-

щение школы, мы утром посылали за ними лошадь и после занятий отвозили их домой.

Я любила ранним утром выходить навстречу своим садковским ученикам. Так бодро чувствуешь себя на морозном, чистом воздухе! Кругом снежная долина блестит от лучей восходящего солнца. Из деревни доносится скрип журавля у колодца, блеяние овец, мычание коров, постепенно все эти звуки замирают, я одна в тишине необъятной снежной пустыни. Но вот на пригорке показались большие сани-розвальни, битком набитые деревенской детворой. Дети едут и поют разученную ими в школе песню «Уж мы сеяли, сеяли ленок, приговаривали». Звонко раздаются детские голоса в неподвижном морозном воздухе, и от этих свежих голосов еще бодрее и радостнее делается на душе.

Я спешу обратно в усадьбу, откуда уже доносится звон школьного колокола, созывающего детей к занятиям. Вхожу в жарко натопленную школу. Дети шумно рассаживаются по местам. Шум и беспорядок меня не смущают, я знаю, что, когда я скажу «Дети, слушайте, что я вам буду рассказывать», в классе наступит мертвая тишина, и, как подсолнухи поворачивают свои головки к солнцу, так и все русые, черные, белые головки повернутся в мою сторону и с напряженным вниманием будут ловить каждое мое слово.

Прошло три года. За это время Николаю Георгиевичу удалось поставить свое хозяйство на твердую почву [...].

Положение крестьян деревни Гундуровки тоже улучшилось за эти три года. Их деревня уже не выглядела такой нищей и обездоленной: все ветхие избы были заменены новыми. Каждый двор имел необходимое для него количество посевной земли, и, кроме того, как мужчины, так и женщины имели постоянный хороший заработок при нашем хозяйстве. Николай Георгиевич значительно поднял цены на рабочие руки, чем вызвал неудовольствие соседних помещиков. Они в общем скептически смотрели на все новшества, вводимые Николаем Георгиевичем в его хозяйстве.

Несколько семей «богатеев», недовольных заведенными Николаем Георгиевичем порядками, с Чичковым во главе, переехали на новые места. Сначала переселенцы чувствовали себя счастливыми в новых условиях,

но через год они, разочарованные, вернулись в Гундуровку. Брать землю сообща с гундуровскими крестьянами у Николая Георгиевича они не хотели. Он же на сдачу земли на особых для них условиях не соглашался, и они стали арендовать землю у дальних помещиков. Жили они тихо, ничем себя не проявляя, и Николай Георгиевич считал, что они перестали быть его врагами.

Весной 1885 года были первые выпускные экзамены в моей школе. На экзаменах присутствовал член земской управы заведующий школьным делом. Мои ученики хорошо выдержали испытания и к радости их и их родителей получили такие же свидетельства, как и окончившие земские школы, сокращающие на два года отбывание воинской повинности. Мне была прислана земством благодарность за мою школу.

В июне 1885 года Николай Георгиевич сделал опыт обойтись при продаже хлеба без посредничества местных акул.

Николай Георгиевич вернулся домой веселый, довольный и привез гундуровцам 500 р. лишних против того, что они получили бы, продав хлеб в Самаре.

Дома его ожидало неприятное известие: во время его отсутствия от неизвестной причины сгорела наша мельница и водяная молотилка. Предположение, что пожар произошел от поджога, казалось нам невероятным. Почему стали бы жечь нас, когда не было поджогов у таких, как С., который всячески эксплуатировал крестьян и донимал их штрафами? Мы решили, что произошел несчастный случай, но все-таки после этого пожара осталось на душе какое-то неясное неприятное чувство. Сгорело тысяч на десять. [...] После пожара мельницы Николай Георгиевич уже не мог заставить себя застраховать что-либо, ему казалось, что, страхуя теперь, он этим покажет недоверие к крестьянам, а такое чувство шло вразрез со всей его деятельностью в деревне. Конечно, это было очень непрактично, но Николай Георгиевич считал, что не мог иначе поступить.

После этого пожара прошло два месяца. Урожай в 1885 году был прекрасный. У нас было посеяно более ста десятин подсолнухов, и мы надеялись собрать пудов двести с десятины. Для подсолнухов Николай Георгиевич выстроил недалеко от усадьбы громадный сарай и покрыл его соломой по малороссийскому спо-

собу. [...] Каждый день он любовался на свою красивую клуню, напоминавшую ему его далекую родину.

Настал день, когда последний пуд подсолнухов был обмолочен и свезен в сарай — их оказалось 18 тысяч пудов. Это было на девятый день после рождения моего сына Сергея, в день его крестин. Только что мы сели ужинать, как вдруг зловещее зарево осветило окна. Из мрака рельефно выдвинулись залитые кровавым светом двор с его постройками, сад, пруд. Ярко пылал сарай с подсолнухами. Громадный столб пламени со страшной силой поднимался сначала вверх, затем, под напором ветра, загибался по направлению к усадьбе, осыпая дом, сад, постройки мириадами искр. Первой заботой Николая Георгиевича было отстоять усадьбу от огня. Когда это было сделано, он пошел к месту пожара. Сарай сгорел, от подсолнухов, горящих очень быстро, остались одни обугленные кучи.

Тоскливо и пусто было на душе. Гости из деликатности не говорили прямо, что пожар произошел от поджога, но, уезжая, от души советовали Николаю Георгиевичу ехать служить, говоря, что с нашим народом трудно иметь дело, что вся работа его при наших некультурных условиях сойдет на нет и т. д. Нам приходилось допустить мысль, что пожар произошел от поджога, но мы терялись в догадках, кто и почему мог это сделать.

Прошел месяц, я плохо поправлялась после родов, и Николай Георгиевич решил со мной уехать на время куда-нибудь на юг. Хотя наши денежные дела значительно ухудшились благодаря двум пожарам, но мы имели еще несколько десятков тысяч пудов хлеба в амбарах, находящихся в двухстах саженях от усадьбы. Николай Георгиевич отдал распоряжение нанять подводы для отправки хлеба на продажу в город. Ночью, накануне отправки хлеба, нас будят: «амбары горят», мы подошли к окну. Знакомая картина — только теперь все было бело от выпавшего с вечера снега.

Далеко во мраке рельефно выделялись горящие амбары, а вокруг них суетящиеся люди. Толпа росла, из деревни бежали вереницей люди, кто с топором, кто с лопатой, размахивая на бегу руками.

Нам сообщили, что на этот раз были обнаружены ясные следы поджога [...].

На выпавшем за ночь снеге были видны следы сапог от деревни к амбарам и обратно. Сапоги были

с подковкой, такие, какие носят молодые парни. По этим данным следствием был обнаружен поджигатель. Им оказался Иван, старший сын Чичкова, богатого крестьянина, стоявшего во главе кулаков, враждебно относящихся к деятельности Николая Георгиевича в деревне. Через полгода состоялся суд над Иваном Чичковым. Присяжными были все крестьяне. Они, признавая факт поджога, находили, что наказание, полагаемое по закону,— несколько лет каторги — слишком суровое и потому вынесли оправдательный приговор.

Когда Николай Георгиевич после полуторагодового отсутствия приехал по делу в Гундуровку, крестьяне его очень сердечно встретили.

Они рассказали ему следующее:

Второй сын Чичкова, Федор, умер и перед смертью покаялся — признался, что сжег амбары он, а не брат, чьи сапоги он тогда надел, чтоб идти поджигать амбары. Оказывается, «богатеи» сговорились и решили по жребию произвести у нас ряд пожаров, чтоб разорить Николая Георгиевича и заставить его уехать из имения. Гундуровцы высказывали Николаю Георгиевичу свою радость по поводу оправдательного приговора, говорили, что теперь все хорошее, что он им сделал, останется при нем, что бог не допустил его взять греха на душу, а сам взыскал с виновных: Федор умер, старик Чичков рехнулся, а остальные богатеи обеднели — последними людьми сделались.

Убытки от пожаров заставили Николая Георгиевича бросить любимое дело в деревне и вернуться к инженерной деятельности.

Мы всей семьей покинули Гундуровку. Я с детьми осталась в Самаре, а Николай Георгиевич поехал один в Петербург хлопотать о месте.

Весной 1886 года он получил назначение на постройку Самаро-Златоустовской ж. д., строящейся впервые казной, а не концессионерами.

Лето и осень Николай Георгиевич провел на изысканиях на Урале, а я с детьми гостила у его больной матери в Одессе. Она там при мне скончалась от рака 16 сентября 1886 года.

Николай Георгиевич был талантливым изыскателем, и теперь, когда при казенной постройке ничто не мешало ему работать непосредственно на пользу государства,

он с особенной энергией принялся за дело, имея в виду дать своими изысканиями как можно больше экономии строящейся дороге.

Николай Георгиевич блестяще достиг своей цели. Удачный вариант, сделанный им,— проект постройки тоннеля в одном месте,— значительно сокращал намеченную прежними изыскателями линию и давал громадную экономию казне.

Начальником работ Самаро-Златоустовской ж. д. был однофамилец Николая Георгиевича, Константин Яковлевич Михайловский. К идее экономии, вдохновлявшей Николая Георгиевича, он относился не только равнодушно, но даже враждебно, так как между подрядчиками, строившими Уфа-Златоустовскую ж. д., были его прежние сослуживцы и товарищи, поэтому Николаю Георгиевичу пришлось выдержать борьбу с начальником дороги за то, чтобы этот вариант, несмотря на всю очевидность его выгоды, был принят. Только благодаря настойчивости Николая Георгиевича, поставившего вопрос о своей отставке в случае, если проект будет отвергнут, он в этой борьбе остался победителем. Вариант был принят, Николай Георгиевич был назначен начальником 9-го участка Уфа-Златоустовской дороги, на котором должен был строиться спроектированный Николаем Георгиевичем тоннель.

В начале зимы 1887 года мы всей семьей переехали на Урал.

Жизнь инженеров на постройке особенная. Приезжают они обыкновенно из столиц, больших городов в глухую, малокультурную местность строить в течение нескольких лет дорогу и, сделав свое дело, связав далекую окраину с культурным центром, навсегда покидают эту местность. Пока они строят дорогу, у них нет ни времени, ни желания, пожалуй, входить в общение с местным обществом, и живут инженеры на постройке совершенно обособленною жизнью, вращаясь исключительно в товарищеском кругу. Так жили и мы на линии [...].

Теперь расскажу, как Николай Георгиевич стал писателем Н. Гариным.

Еще в то время, когда мы жили в деревне, я случайно узнала, что Николай Георгиевич обладает способностью писать, т. е. талантом беллетриста. [...].

И вот я как-то раз заметила, что Николай Георгиевич пишет с увлечением в тетрадке что-то такое, что

совсем не похоже на смету. Я его спросила, что он пишет? Он с некоторым смущением ответил мне, что его иногда неудержимо тянет писать. Так и теперь — ему вдруг так живо вспомнились некоторые эпизоды из его гимназической жизни, что он сел и записал их.

Николай Георгиевич рассказал мне, что он еще гимназистом написал ряд очерков, в которых вывел типы тогдашних херсонских помещиков. В кругу родных и товарищей эти очерки пользовались успехом.

Будучи студентом, он написал как-то рассказ об одном юноше, кончающем самоубийством под звон пасхальных колоколов. Рассказ был очень трогательный, и переписчица, переписывая его, проливала над ним слезы. Николай Георгиевич отнес этот рассказ в редакцию, уж не помню какого журнала, но рукопись не была принята. Николай Георгиевич так огорчился этим отказом, что сжег все, что у него было написано до этого времени, и решил никогда больше не браться за перо, но не всегда держал данное себе слово, как и в данном случае.

Я очень любила литературу и зачитывалась журналами: «Отечественные записки» и «Вестник Европы», которые мы тогда выписывали. Когда Николай Георгиевич мне прочел то, что он написал в этот вечер, я ему сказала, что нахожу написанное им нисколько не хуже того, что приходится читать в журналах, и советовала ему продолжать писать.

Во время нашего пребывания на Урале на постройке Уфа-Златоустовской ж. д. Николай Георгиевич, воспользовавшись несколькими свободными днями, написал историю своего трехлетнего хозяйничанья в деревне, правдиво передав все пережитое им за эти годы, озаглавив написанное «Несколько лет в деревне».

Мне написанное очень понравилось, и в первый раз, когда у нас собрались гости, соседи-инженеры и их жены, я попросила Николая Георгиевича прочитать нам вслух «Несколько лет в деревне». Он прочел. Гости внимательно слушали, но когда чтение кончилось, гробовое молчание долго не нарушалось. По смущенным лицам наших гостей было видно, что они не знают, что сказать, как отнестись к прочитанному. Заговорили о другом. Вышло для нас неловко и неприятно.

Когда гости уехали, Николай Георгиевич сказал мне: «Теперь ты убедилась, что я не писатель и что я пишу плохо».

Но я не была согласна с ним. Я считала, что гости молчали не потому, что нашли рассказ плохим и неинтересным, а только потому, что инженеры вообще мало знакомы с литературой, не интересуются ей и привыкли судить о писателях исключительно по отзывам критиков. В данном случае критика не было...

Затем там же, на постройке, Николай Георгиевич написал рассказ, в котором вывел себя под фамилией Кольцова. В этом рассказе он изложил правдивую историю своей борьбы с начальством из-за сделанного им варианта. Когда этот рассказ был закончен, он почему-то не понравился самому автору. Николай Георгиевич разорвал рукопись на куски и бросил ее. Мне же рассказ нравился — я собрала разорванные листы, склеила их и хранила эту рукопись у себя. Уже после смерти мужа этот рассказ под названием «Вариант» был передан мной в журнал «Русское богатство», где он был напечатан как посмертное произведение Н. Гарина. Итак, Николай Георгиевич изредка писал, но я была единственной слушательницей его произведений. Знакомств у нас в литературном мире не было, и, если бы не следующий случай, может, Николай Георгиевич и не стал бы известен как писатель.

Осенью 1890 г. через Уфа-Златоустовскую уже почти законченную тогда дорогу проезжал из Сибири в Москву один наш знакомый по Самаре С. Он удивился, узнав, что Николай Георгиевич на линии и состоит одним из строителей дороги, предполагая, что мы попрежнему живем в деревне. С. заехал к нам и с интересом стал расспрашивать Николая Георгиевича о причине нашего отъезда из Самарской губернии. Тогда Николай Георгиевич прочел ему свои «Несколько лет в деревне». С. с одобрением отнесся к рассказу и предложил отвезти рукопись в Москву, чтоб дать ее для прочтения московскому кружку литераторов, между которыми у него были знакомые.

Николай Георгиевич стеснялся отдавать рукопись, но я настояла на ее отдаче, так как была уверена в ее достоинствах.

Вскоре после проезда С. и мы покинули Урал. Постройка дороги была закончена. Николай Георгиевич отвез нас в Гундуровку, а сам уехал в Петербург искать новую работу. Но уже в январе 1891 года моя неожиданная тяжелая болезнь заставила его вернуться к нам в деревню. Николай Георгиевич не хотел меня оставить

одну, пока я совсем не поправлюсь, и прожил всю зиму с нами. Он использовал свой невольный отдых в деревенской тиши, начав писать «Детство Темы».

К весне я выздоровела. Настала пасха, которая совпала с распутицей. В наших местах таяние снегов делает временно дороги почти непроездными.

На второй день пасхи к нашему дому, неожиданно для нас, так как мы при таком бездорожье никого не ждали, подъехал какой-то незнакомый господин. Неожиданный гость наш оказался известным писателем Константином Михайловичем Станюковичем. Он привез нам радостную весть.

Рукопись Николая Георгиевича, прочитанная в кружке литераторов в присутствии критика Н. К. Михайловского и писателей Г. И. Успенского, Златовратского, Станюковича и др., была всеми одобрена, и Н. К. Михайловский, состоявший тогда членом редакции журнала «Русская мысль», сказал, что этот рассказ, если автор пожелает, может быть напечатан в «Русской мысли». Сам же Станюкович настолько заинтересовался личностью автора, что решился поехать разыскать Николая Георгиевича и лично ему передать предложение Н. К. Михайловского. Константин Михайлович Станюкович, по образованию морской офицер, принадлежал к славной плеяде тех шести- и семидесятников, которые порывали со своей средой, чтобы идти на служение народу.

К моменту нашего знакомства Константин Михайлович был тучный человек, лет пятидесяти. Нервный тик подергивал левую сторону его лица, левый глаз был полузакрыт. Этот тик сделался у него в тюрьме, когда ему сообщили о смерти его любимой дочери. После тюрьмы он несколько лет провел с семьей в ссылке в Сибири. Константин Михайлович был очень интересный, остроумный собеседник, умевший очень зло и метко определять людей. Он провел у нас три дня, и эти дни были для нас настоящим праздником.

Константин Михайлович спросил Николая Георгиевича, не написал ли он что-нибудь, кроме присланного рассказа. Николай Георгиевич прочел ему написанное им зимой и не законченное еще «Детство Темы». Когда он кончил читать, Станюкович сердечно обнял его, поздравил, назвал его настоящим писателем и сказал, что будет его крестным отцом, введет его в семью литераторов. Тогда же поднялся вопрос: писать ли Николаю

Георгиевичу под своей фамилией или взять псевдоним? Остановились на псевдониме, и, так как Станюкович сказал, что обыкновенно для псевдонима берут имя кого-нибудь из близких, Николай Георгиевич назвал себя Н. Гариным по имени нашего годовалого тогда сына Гари (уменьшительное от Георгий).

В Петербурге мы познакомились с семьей Станюковича, и у Николая Георгиевича до конца сохранились с Константином Михайловичем дружеские отношения. [...].

Лето 1891 года Николай Георгиевич провел на изысканиях Казань-Малмыжской ж. д. В Казани он познакомился с редактором газеты «Волжский вестник» известным народником Александром Ивановичем Иванчиным-Писаревым, и, по его просьбе, Николай Георгиевич дал для напечатания в его газете несколько своих рассказов и статей.

Осенью этого же года А. И. Иванчин-Писарев приезжал погостить к нам в Гундуровку. Во время его пребывания у нас обсуждался поднятый Иванчиным-Писаревым вопрос о приобретении журнала «Русское богатство». После закрытия правительством «Отечественных записок» в писательской среде ощущалась большая потребность иметь свой орган, вокруг которого могли бы опять сгруппироваться писатели, обреченные на молчание благодаря закрытию этого передового журнала.

Представлялся удобный случай приобрести такой журнал. Ежемесячник «Русское богатство» влачил жалкое существование, и его издатель — он же и редактор — Оболенский искал покупателя, которому он мог бы его продать. Н. Г. очень сочувственно отнесся к проекту Иванчина и взялся за его осуществление.

Организация журнала предполагалась такая: хозяевами журнала будут пайщики — писатели-сотрудники. Они будут отрабатывать свой пай своими статьями. Но для покупки нужны были деньги, а их ни у кого не было. И у нас их не было, но у нас было именье. Хотя оно уже было заложено в банке, но у частного лица можно было достать денег под вторую закладную [...].

Николай Георгиевич писал мне тогда из Петербурга: «Переустройство «Русского богатства» подходит

к концу. Ты издательница. Главным редактором будет Н. К. Михайловский.

[...] Просил меня Н. К. принять участие в редакции, брать на просмотр рукописи, но я отказался наотрез за неимением времени. Теперь подписка обеспечена, есть и новые пайщики. Таким образом, журнал поставлен на ход, но чего это стоило, ой-ой-ой».

«Детство Темы», напечатанное в одной из первых книг «Русского богатства» после его покупки, сразу обратило на себя благосклонное внимание читателей и критиков, приветствовавших появление нового таланта. [...].

По четвергам в помещении журнала «Р[усское] б[огатство]» устраивались редакционные собрания, на которые и я часто приезжала из Царского. У меня остались самые лучшие воспоминания об этих четвергах и их постоянных посетителях Николае Федоровиче Анненском, Сергее Николаевиче Южакове, С. Н. Кривенко, А. И. Богдановиче и др. сотрудниках «Русского богатства».

Как-то раз Иванчин-Писарев приехал к нам в Царское и передал нам желание редакции «Р. б.», чтобы, если у меня родится сын — я была тогда в ожидании четвертого ребенка,— мы дали ему имя Темы, в честь «Детства Темы». Мы исполнили их желание, и когда 7 марта 1893 года у меня родился сын — мы назвали его Артемием — крестным отцом его был Иванчин-Писарев.

С Николаем Константиновичем Михайловским у меня были далекие отношения — меня не привлекала и смущала его недоступная манера себя держать. Он был тогда в апогее своей популярности. Шестого декабря, в день его именин, дверь его квартиры на Кабинетской улице, где он жил со своими двумя сыновьями, Николаем и Марком, не закрывалась весь день из-за многочисленных посетителей. Вся интеллигенция Петербурга считала своим долгом прийти в этот день приветствовать своего уважаемого вожака. Николай Константинович был не только признанным вожаком тогдашней интеллигенции, но и связующим звеном между либеральным обществом и революционерами-народовольцами. Многие из его поклонниц, богатые петербургские и московские дамы, передавали Н. К. деньги для нелегального Красного Креста, снабжавшего деньгами и вещами заключенных и сосланных народовольцев.

Новое учение «марксизм», расколовшее нашу интеллигенцию на два лагеря, подорвало влияние Н. К. Михайловского, который до конца своей жизни оставался упорным противником этого учения.

Издательницей журнала «Русское богатство» я числилась в течение, кажется, двух лет, а затем моя фамилия на обложке журнала была заменена фамилией известного беллетриста Короленко.

Из приведенных выше писем Николая Георгиевича видно, что он относился без особой симпатии к личности вождя народничества, Н. К. Михайловского. Но его разделяли с народничеством и более глубокие идеологические разногласия. Николай Георгиевич расходился с народниками в их взглядах на общину, которую они горячо защищали, тогда как Николая Георгиевича близкое знакомство с деревней убедило, что община в данный момент, благодаря своей отсталости и косности, является тормозом прогресса, угнетая и губя сильные личности, старающиеся вырваться из ее цепких оков.

Примером такой гибели выдающегося человека, взятый из действительной жизни, приведен Н. Гариным в его рассказе «Трясина». Появление в то же время нового течения в русской жизни — широкое развитие в середине 90-х годов марксизма — сразу привлекло к себе внимание и симпатии Николая Георгиевича. В первой книжке марксистского журнала «Начало» — вскоре закрытого правительством — была напечатана повесть Н. Гарина «Клотильда». В Самаре Николай Георгиевич субсидировал в 1896 г. первую в России марксистскую газету «Самарский вестник», основанную В. И. Лениным.

Сделавшись известным писателем, Николай Георгиевич продолжал работать как инженер. В то время, как он организовал в Петербурге дела «Русского богатства», он мне писал оттуда: «Я в угаре всевозможных дел и не теряю ни одного мгновения. Сейчас я в бесконечных хлопотах об издательстве «Русского богатства», тороплюсь закончить свой проект Казань-Малмыжской ж. д. Будирую вопрос об этой дороге в печати, хлопочу о ней в министерстве. Пишу также в «Новом времени» статьи о Сибирской дороге. «Новое время» для меня очень важно: я говорю с такого места, откуда они должны меня слушать. И знаешь, в чем секрет успешной работы? Каждый час делать, что можешь, и уметь забывать

сумму работы — ох, как работается тогда. Вчера я 17 часов просидел за столом, вставая на 10 минут к завтраку и обеду. Сегодня вечером читаю в пользу Общества грамотности свои «Карандашом с натуры». Билеты уже все разобраны».

Идея относительно железнодорожного строительства в России, которую проводил Николай Георгиевич в своих статьях в «Новом времени», была следующая.

Наша земледельческая страна бедна и страдает от бездорожья. Нам нужна целая сеть ж. д. для развития нашего сельского хозяйства и промышленности, но средств мало. Увеличить число дорог можно за счет роскоши строительства и за счет ширины колеи. Так как узкоколейные дороги были более дешевыми, чем ширококолейные, то он и стоял за этот тип дороги.

Первая статья Николая Георгиевича, появившаяся в «Новом времени», произвела сенсацию и тревогу в МПС. Министром был тогда Кривошеин, а заправилами в министерстве были дельцы-инженеры. Идеи Николая Георгиевича шли, конечно, вразрез с их вожделениями. После первой же статьи министр велел передать Николаю Георгиевичу, чтобы он прекратил дальнейшее печатание статей, в противном случае он будет уволен из Министерства путей сообщения. Угроза не подействовала — статьи Николая Георгиевича продолжали появляться в «Новом времени». Тогда Кривошеин уволил Николая Георгиевича из министерства по третьему пункту (без объяснения причин).

Статьи Николая Георгиевича о Сибирской дороге обратили на себя внимание Александра III. Хотя Сибирскую дорогу решено было строить широко-, а не узкоколейную,— все же, по приказу царя, для нее был выработан упрощенный дешевый тип постройки, снизивший первоначальную смету министерства со 100 до 40 тыс.— стоимость версты.

Увольнение из министерства не мешало Николаю Георгиевичу продолжать инженерную работу. Он был известен как талантливый изыскатель и работал по поручению земств и городов.

Когда Кривошеин был уволен и на его место назначили министром П. С. честного человека — Хилкова, Николай Георгиевич был вновь зачислен Хилковым в министерство, и ему была поручена постройка узкоколейной Сергиевской ж. д., соединяющей Самаро-Златоустовскую

ж. д. с Сергиевскими минеральными водами. Над этой постройкой Николай Георгиевич работал в 1896 и 1897 гг.

В 1898 г. Николай Георгиевич отправился в далекое путешествие по Востоку, описанное им в книге «По Маньчжурии, Корее и Ляодунскому полуострову», и привез оттуда корейские сказки, собранные им при посредстве переводчика в самой Корее.

Вернувшись в Россию, Николай Георгиевич вновь увлекся сельским хозяйством и в течение нескольких лет, продолжая работать как инженер и писатель, вел в широких размерах посевы чечевицы, мака и подсолнухов, не ограничиваясь площадью нашего имения, а арендуя для посевов земли в разных местах. Первые годы дали хороший доход, но затем такое разбросанное и заглазное хозяйство оказалось для нас убыточным и разорительным.

В 1903 году наша Гундуровка была продана с торгов и досталась купцу К., держателю нашей второй закладной. К., получивший имение за дешевую цену, стремился скорей с выгодой перепродать его. Тогда крестьяне деревни Гундуровки, при содействии Николая Георгиевича, помогавшего им в их хлопотах, при посредстве Крестьянского банка приобрели в собственность половину нашего бывшего имения. Другая половина была куплена позже переселенцами — выходцами из Украины. Они назвали свой новый поселок Михайловкой, в память Николая Георгиевича, о доброте и сердечности которого они так много слышали от местного населения.

После Октябрьской революции, в 1921 году, я была глубоко тронута следующим фактом. Крестьяне деревни Гундуровки прислали мне письмо. Они просили меня приехать и поселиться у них. Писали, что фруктовый сад, посаженный Николаем Георгиевичем в первые годы нашей жизни в деревне, приносит им теперь хороший доход — они сдают его за 500 руб. в год. Эту аренду гундуровское общество решило передать мне — нотариальным порядком перевести ее на мое имя,— чтобы я была пожизненно обеспечена доходом с этого сада. Предложение крестьян я не приняла, но оно мне было очень дорого и приятно, как доказательство сердечного отношения гундуровцев ко мне и к памяти Николая Георгиевича.

Поставив окончательно крест на сельском хозяйстве, Николай Георгиевич в 1903 году уехал в Крым началь-

ником работ Южно-Бережной ж. д. Но он успел сделать только изыскания — постройка же этой дороги была отложена из-за начавшейся войны с Японией.

Николай Георгиевич был назначен инженером в действующую армию, там предполагалась постройка подвесной ж. д. в Корее, но к исполнению этого задания ему не пришлось приступить ввиду упорного отступления наших войск. Впоследствии Николаю Георгиевичу поручили другое дело: заготовку сена для нужд армии.

Находясь в действующей армии, Николай Георгиевич состоял корреспондентом московской газеты «Новости дня», где его корреспонденции печатались под заглавием «Дневник во время войны». Там же, в Маньчжурии, он написал третью часть трилогии семейной хроники «Инженеры», оставшейся незаконченной по случаю его преждевременной смерти.

Идейно сочувствуя марксизму, его революционному крылу, Николай Георгиевич и после раскола между меньшевиками и большевиками оказался на стороне большевиков. До конца своей жизни поддерживал партию материально и во время своего пребывания в Маньчжурии содействовал распространению большевистской литературы в наших войсках.

Последний год своего пребывания в Маньчжурии Николай Георгиевич очень тяготился своей жизнью в действующей армии и с нетерпением ждал возможности вернуться в Россию.

В начале осени 1906 года Николай Георгиевич приехал в Петербург. Здесь он нашел большие перемены в настроении общества благодаря революции 1905 года. Возобновив свои старые литературные связи, он завязал и новые и с присущей ему энергией стал работать над рядом литературных и художественных начинаний. Он проектировал создать большую новую социал-демократическую газету. Занимал его также вопрос о новом театре, в котором писатели и артисты в совместной работе отразили бы в новых формах современную жизнь. Время его проходило в напряженной работе, спал он иногда не более 4—5 часов в сутки. Как-то раз на мои уговоры беречь себя и больше спать Николай Георгиевич мне ответил шутя: «В могиле отдохну, там высплюсь».

Накануне смерти его, 26 ноября, у нас вечером собрались писатели и артисты для обсуждения вопроса о фактическом осуществлении идеи «нового театра». Раз-

говоры и диспуты затянулись до четвертого часа ночи, а в 9 час. утра Николай Георгиевич уже был за работой.

Весь день прошел у него в самых разнообраных делах. Обедали мы в этот день поздно: в 7 час. За обедом Николай Георгиевич был весел, с интересом беседовал с детьми, а затем оживленно обсуждал с художником Н. З. Пановым вопрос о художественной архитектуре станций будущей Крымской дороги, проекты которых ему Панов представил. Эта дорога его очень интересовала, и он надеялся, что после заключения мира с Японией будет приступлено к ее постройке.

«Две вещи хотел бы я успеть еще сделать,— сказал тогда Николай Георгиевич,— закончить свою книгу «Инженеры» и выстроить Крымскую ж. д.».

В начале десятого часа Николай Георгиевич уехал в редакцию «Вестника жизни» [...].

Стук в мою дверь разбудил меня. Когда я встала и открыла дверь, я увидела перед собой писателя Е. Н. Чирикова. Он был бледен и взволнован — сказал мне, что Николаю Георгиевичу сделалось дурно в редакции, и звал меня поехать с ним туда. По дороге он мне постепенно все рассказал, и когда мы подъехали к редакции, я уже знала ужасную, такую для меня тяжелую правду — Николая Георгиевича уже не было в живых [...].

Ф. Ф. ВЕНТЦЕЛЬ

Здесь я не буду говорить о Гарине-Михайловском как о писателе. Мне хочется в моих воспоминаниях представить его образ как общественного деятеля, каким он несомненно был.

Это было в середине 1890-х годов. В то далекое время общественная деятельность представляла необычайные трудности. Гарин-Михайловский умел их обходить. Редкие люди не подпадали под обаяние этого талантливого, жизнерадостного и доброжелательного человека, и для нас, интеллигентов, живших в атмосфере большого торгового города, которым лет 50 тому назад был приволжский город Самара, каждый приезд его к нам был праздником. Обыкновенно он останавливался в скромной квартире своего приятеля Т. и о его приезде тотчас же оповещалась редакция «Самарской газеты»,

а оттуда радостная весть быстро расходилась по всему городу. Мы, интеллигенты, тщательно следили по газетам и журналам за всем, что происходило в политической и общественной жизни страны. В городе была прекрасная библиотека, получались все толстые журналы и газеты. Но все же мы жаждали услышать живое слово, узнать, как освещаются факты таким выдающимся писателем, как Гарин-Михайловский.

А он умел говорить. В особенности можно было заслушаться его, когда он принимался описывать будущее благоденствие страны. Он говорил и о раскрепощении женщины, и о свободе семейных отношений, и об исчезновении проклятого термина «незаконнорожденный», и об яслях для детей, и о госторговле, и равноправии евреев, одним словом, обо всем том, чем мы пользуемся теперь и о чем тогда мы могли только робко мечтать. А результатом слышанного было то, что мы набирались смелости, и каждый из нас старался пробить хотя маленькую брешь в окружавшей его атмосфере тупоумия и сытого самодовольства. И вот, когда мы узнали, что Гарин назначен строителем небольшой Самаро-Кротовской узкоколейной дороги, ликованию не было конца.

Но более всех, казалось, доволен был сам Гарин. «Теперь я в состоянии буду помочь многим нуждающимся»,— радовался он. А помогать он любил и, главное, умел не только оказать помощь, но и не обидеть ею. Я вспоминаю такой факт. Несмотря на все свои старания, он никак не мог достать заработка одному административно высланному, а денег тот принимать не хотел. «В долг не беру, ибо знаю, что отдать не смогу, а милостыни не признаю». И с этой позиции его никак сбить не могли. Тогда Гарин придумал следующий выход. Он где-то достал объемистый том старого запрещенного тогда «Капитала» Маркса и в присутствии гордого нуждающегося обратился к своему приятелю Т., бывшему в заговоре, с просьбой, не может ли тот рекомендовать ему для переписки книги надежного человека, ибо это дело секретное. Другого печатного экземпляра сейчас нигде достать невозможно, а между тем он ему необходим. Он заплатит хорошие деньги. «А не возьметесь ли вы?» — обратился Т. к нуждающемуся. И дело было сделано. Да, многим помогал этот на редкость отзывчивый человек. Когда стало известно, что во главе постройки дороги стоит Гарин, отовсюду стали стекаться нуждающиеся

в заработке, а так как это происходило ранней весной, то больший их контингент составляли студенты, приехавшие на вакат в город, курсистки, сельские учителя, желавшие в свободное вакационное время хотя кое-что приработать к своему скудному содержанию. Штат служащих разросся до неимоверных размеров. Когда инженеры — сослуживцы Гарина обращали на это его внимание, он в ответ только улыбался. «Не беда! Если нас с нашими тысячными окладами казна выдерживает, то и от этих крох не обеднеет»,— говорил он и продолжал поступать по-своему. За это многие его сослуживцы-инженеры косились на него. Очень уж он расходился с ними во взглядах. Это были все люди из числа так называемых благополучных россиян. Их интересовало, если так можно выразиться, только собственное насыщение всеми материальными благами, и социальный строй, при котором им это было весьма доступно, казался им превосходным. А Гарин своим непримиримым отношением ко всякой рутине, поддержкой административно-ссыльных и привлечением к работе на линии оппозиционно настроенной молодежи явно этот строй подрывал. И вот гроза разразилась.

Среди служащих на дороге был один инженер. [...]Инженер этот и раньше имел репутацию взяточника. Теперь он воспользовался отсутствием Гарина, который внезапно был вызван в Петербург в Министерство путей сообщения и застрял там чуть ли не на месяц. Занимая ответственное место, он установил дружескую связь с подрядчиками и поставщиками, в результате чего на линию был свезен негодный, гнилой материал, а карманы инженера раздулись от кредиток. И все это видели, и все это знали, и только восхищались ловкостью инженера и завидовали его умению обделывать свои делишки.

Но не так посмотрел на это вернувшийся Гарин.

«На вверенной мне дороге гнилых шпал не будет, и X. я немедленно отдаю под суд»,— было его решение. А когда приятели этого инженера стали осаждать его просьбами не губить его и как-нибудь иначе уладить дело, он ответил:

— Хорошо, пусть будет по-вашему, под коронный суд я его не отдам, но судим он все-таки будет, и судом товарищеским, приговору которого он обязан будет подчиниться.

— Ах, товарищеским, то есть вы хотите сказать, что поручите некоторым инженерам уладить это дело. От-

лично,— воспрянули духом ходатайствующие, предполагая, что раз это дело будет поручено рассмотрению инженеров, из которых некоторые были также не безгрешны, их приятель выйдет сухим из воды.

— Зачем же только инженерам? — поспешил разочаровать их Гарин,— хочу, чтобы в товарищеском суде приняли участие все служащие дороги. Тут будут и доктора, и фельдшера, и фельдшерицы, бухгалтера, и конторщики, и смазочники, и машинисты, и стрелочники, одним словом, весь наличный состав, начиная с меня и кончая будочными сторожихами.

— Как?! И даже женщины?

— Представьте себе, и женщины. Будет выбрана из всех служащих комиссия, которая, в свою очередь, выберет из своей среды судей, и я нисколько не удивлюсь, если в состав судей попадет женщина.

— Даже и сторожиха! Ну, знаете ли, вряд ли X. согласится на такое унижение,— возмутился один из друзей.

— Он свободен не соглашаться,— ответил Гарин,— но если я сегодня к вечеру не получу от него утвердительного ответа на мое предложение, я завтра же передаю дело прокурору.

И к вечеру утвердительный ответ был получен. Другого выхода у X. и не было. В Окружном суде его, несомненно, ожидал обвинительный приговор, затем наказание и огласка на всю Россию. Но друзья инженера не дремали. На другой день Гарин был вызван к губернатору.

— Что вы там такое затеяли? — встретил его тот.— Какой-то суд сторожих над инженером. Никаких таких судов я разрешить не могу! Вы там в социализм играете, а я отвечай!

Но не так легко было смутить Гарина.

— Вам ложно донесли, ваше превосходительство,— сразу нашелся он.— Дело в том, что про инженера X. стали ходить порочащие его слухи. Его обвиняют во взяточничестве и приводят несомненные к тому доказательства. А он желает в публичном заседании оправдаться перед сослуживцами в возводимых на него обвинениях.

— Но это совсем другое дело, и к этому я не вижу никаких препятствий, пусть оправдывается,— успокоился губернатор.

— Об одном только прошу, ваше превосходительство, а именно — сообщить ваш взгляд на это дело жан-

дармерии, а то, знаете, как бы по поводу разных слухов не началось ее вмешательство.

— Хорошо, сообщу, а вас вот еще о чем прошу: поменьше возитесь с молодежью. А то уж очень много студентов да курсисток вы к себе на службу понабрали.

— Ваше превосходительство, чем больше молодежи занято делом, тем меньше ей вредные идеи в голову лезут.

— Пожалуй, вы и правы,— согласился губернатор, и благодаря находчивости Гарина опасность вмешательства со стороны властей была на время устранена. Но только на время, что сознавал и сам Гарин, и со свойственной ему энергией тотчас же принялся за организацию суда.

Были оповещены все служащие, организована из них комиссия, которая выбрала судей, и в состав их, как и предсказывал Гарин, вошла и женщина: одна школьная учительница, известная своей деятельностью на своем поприще и прекрасный оратор. Разумеется, старались делать все без шума, и только оживленные лица молодежи свидетельствовали о том, что происходит нечто необычное. Через два дня все было готово, и суд в полном составе выехал на линию, куда явился и обвиняемый. Он сначала попробовал вести себя вызывающе-насмешливо, но скоро переменил тон. Вина его была установлена. Ему было вынесено общественное порицание и предложено покинуть службу на дороге, а также вменено в обязанность возвращение подрядчику гнилых шпал. Как было приведено в исполнение последнее, я не знаю, но гнилые шпалы исчезли, и службу на дороге инженер немедленно оставил.

Вот при каких обстоятельствах был организован первый товарищеский суд в России, именно первый, так как происходившие в подпольных организациях, где они были раньше, разумеется, в счет не идут. Тут организатором товарищеского суда явилось стоявшее во главе предприятия официальное лицо, а главное, он прошел со строгим соблюдением всех форм общественности, и даже такие нежелательные для губернатора и инженеров «будочные сторожихи» имели право голоса и пользовались им.

Но Гарину это даром не прошло. Когда губернатор узнал, как его обошли, он немедленно донес об этом в Петербург, куда Гарин и был вызван для объяснений.

Однако, прежде чем дать их по месту вызова, он явился к М. И. Хилкову.

М. И. Хилков был в то время министром путей сообщения, или, как его называли, «министром обещаний», ибо ни один проситель не уходил от него без обещания, что его просьба будет исполнена. Когда это делалось в устной форме, беда была еще невелика, но когда опытные просители добивались от него подтверждения его обещаний письменно, все министерство приходило в сильное волнение, ибо очень часто такие просьбы были просто не выполнимы. Разумеется, имея письменное подтверждение министра, проситель в конце концов кое-что получал. По министерству ходил даже анекдот, что, если бы проситель попросил у Хилкова снять луну с неба, по министерству было бы отдано распоряжение просьбу эту исполнить.

Но, помимо неумения или нежелания отказать комулибо в чем-либо, это был в высшей степени просвещенный человек, отсутствием бюрократизма резко отличавшийся от прочих сановников. Он долгое время работал в Америке простым кочегаром, и это наложило на него известный отпечаток. Когда Гарин рассказал ему, в чем дело, он сказал:

— Вам незачем и являться. Я сейчас же еду туда,— и он назвал учреждение, куда был вызван Гарин.— И ручаюсь вам, что все устрою. Но с вас я беру обещание в течение по крайней мере года избегать всяких выступлений в этом роде.

На этом их свидание окончилось. Хилков свое обещание сдержал. Гарин вернулся в Самару и беспрепятственно окончил постройку дороги. [...]

А. В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Самые дорогие годы моей пятидесятилетней жизни — это приблизительно семь лет, проведенных у Николая Георгиевича Михайловского-Гарина.

В 1895 году я служил в Нижегородском земстве, в отделе статистики по народному образованию.

Я мечтал об учительской деятельности в деревне.

Через одного моего товарища детства, Сильвина, я получил приглашение занять место учителя в дер. Гундуровке Самарской губ., в имении Гарина. Со Спенсером под мышкой, тогда популярным среди педагогического

мира, в конце ноября 1895 г., я въехал в усадьбу Гарина. Мне было 19 лет.

Служба в статистике, одном из самых идейных учреждений по составу служащих того времени, на меня имела большое влияние и пробудила во мне сознание необходимости полезной работы.

Я был книгоношей, ходил по деревням, стал разбираться в социальных вопросах и с некоторым предубеждением относился к помещикам.

В усадьбе меня встретила жена Николая Георгиевича просто и сердечно и этим обезоружила. Николай Георгиевич был в Петербурге, и его ждали к рождеству.

Я начал заниматься с крестьянскими детьми в деревне, в душной 7-аршинной избушке под вывеской «Школа грамоты». Деревня состояла всего из 50 дворов. Крестьяне сидели на сиротском наделе, бедные, почти сплошь зараженные сифилисом. Н. Г. недавно купил это имение, и школа являлась первым опытом.

Я из дома в дом ходил по деревне, старался ближе подойти к крестьянам, спрашивал об отношении к ним барина. Крестьяне ругали соседних господ, а о своем барине «Николае Егорыче» говорили только одно хорошее: «Простой барин, ласковый». Я думал, что мужики льстили, боясь меня, моего доноса, но вскоре убедился, что их слова были самые искренние.

Накануне приезда Н. Г. из Петербурга перед рождеством и усадебные крестьяне и деревенские (они, как редкое исключение, жили дружно между собой) были на ногах.

Известный инженер, помещик, талантливый писатель, который сразу завоевал своим «Детством Темы» будущее, мне представлялся чем-то недосягаемым. Каково же было мое удивление, когда в лице его я встретил прежде всего — Человека.

Умное, доброе лицо с чудными серыми, проницательными глазами, с совершенно белыми волосами и такой же небольшой бородой, с красивыми простыми манерами, он был настолько обаятелен, что невольно притягивал к себе и, казалось, что ты с ним давно знаком и знаком близко.

На другой день приезда Н. Г. почти вся деревня перебывала у него. Толпа человек в сорок размещалась в его просторных комнатах, и долго продолжалась беседа на всевозможные темы. Н. Г. имел хорошую память, называл каждого крестьянина по имени-отчеству.

Не видно было и следов обычной рабской покорности перед барином. Дети Н. Г. пользовались полным правом приводить к себе в дом крестьянских ребятишек, неумытых, в рваных, грязных лаптях.

Подобное отношение помещика к крестьянам было явлением исключительным. Эта любовь к крестьянам была не ради красного словца, не платоническая, она подтверждалась фактами. В то время, как земля соседних помещиков, в том числе и бывшего товарища министра Оболенского, сдавалась в аренду крестьянам по 15—20 руб. за десятину, Н. Г. сдавал ее по 6—7 руб.

У него был великолепный племенной скот от лошади до курицы включительно, и его крестьяне свободно пользовались племенными производителями бесплатно. Он искренне хотел улучшить крестьянское хозяйство и платил по 50 руб. за каждого лишнего жеребенка, родившегося от его племенного производителя. [...]

Богат ли был Н. Г.? Нет. Он зарабатывал громадные деньги как изыскатель ж.-д. пути; но эти деньги по его бесконечной доброте летели сквозь пальцы. Иногда он носил в кармане десятки тысяч, а иногда копейки. Имение его, благодаря, главным образом, высокой заработной плате, всегда давало убыток и, в конце концов, было продано с торгов вместе с его имуществом.

Через полгода моей службы в деревне открылась великолепная школа с библиотекой в восемь тысяч томов. При школе были интернат, столярная и гончарная мастерские. Отведено было место под сад вокруг школы в 3 десятины и 25 десятин пахотной земли — под пчельник. Землю обрабатывали мои ученики, засевая медоносными растениями. В школе обучалось до 70 детей, часть которых жила и питалась в ней.

Пчельник представлял собой замечательно красивый и культурный уголок в глухом лесу, где имели постоянный приют «политически неблагонадежные». Это был пункт конспиративных сходок, передач и т. д. Там же хранилась «запрещенная литература», в том числе и журнал «Искра», который нам привозил или присылал Н. Г.

Н. Г. всегда глубоко возмущался несправедливостью самодержавной власти и, как мог — деньгами, приютом политических, снабжением литературой и пр.,— принимал участие в деле освобождения. Школа была под надзором, были неоднократные обыски, жалобы губернатору, архиерею, но работа шла, и, как это ни странно, заступ-

ником школы был отчасти местный «батюшка», который сторицей получал за это от Николая Георгиевича.

И земский начальник, и пристав, и инспектор народных училищ скалили на меня зубы. Учителям было запрещено, под угрозой увольнения, бывать у меня, бунтовщика и попирателя законов. Не будь Н. Г., я, конечно, был бы лишен прав человеческих.

Н. Г. мне часто говорил: «Я вижу умытую деревню, вы идете верным путем, идите смело, без колебаний, моя порука за ваше благополучие». И действительно, благодаря его общественному положению и связям я крепко держался.

При школе были устроены детские ясли, где крестьяне оставляли своих детей в летнюю страду. Ясли были под наблюдением участкового врача и постоянной фельдшерицы. Все это щедро оплачивал Н. Г. из своего заработка.

Литературной работой Н. Г. занимался между делом. Он действительно писал, как выражался Короленко, на облучке. Я помню, как «Русское богатство» срочными телеграммами просило Н. Г. немедленно прислать продолжение «Студентов». У Н. Г. не было даже черновых набросков. В один из вечеров он сел писать, а я тут же стал переписывать, и несмотря на то, что я хорошо разбирал его руку, он буквально забрасывал меня материалом.

Н. Г. артистически владел словом, он несравненно лучше говорил, чем писал. Его устные сказки, лишенные всяких ужасов, полные горячей любви, никогда не забуду. На пересадочной станции Кротовка Самаро-Златоустовской ж. д., где поезда приходилось ждать иногда целую ночь, он начинал рассказывать мне их, и посторонняя публика постепенно обступала его плотным кольцом и слушала с затаенным дыханием.

Как-то раз весной мне пришлось ехать с Н. Г. на пароходе из Самары в Симбирск. Ехала большая компания, во главе которой был Максим Горький, еще молодой, малоизвестный (это было, кажется, в 1897—1898 гг.), затем Скиталец, «ВВ» — Воронцов, редактор «Русских ведомостей» и много других.

Среди общей оживленной беседы Н. Г., только что вернувшийся из Петербурга, сказал:

— Господа, разрешите мне познакомить вас с новым драгоценным вкладом в нашу русскую литературу, в ви-

де небольшого рассказа, оригинального по содержанию и прекрасного по форме.

К нам идет новый творец нового слова, которому я не достоин развязать ремни обуви его. Этот рассказ на днях появится в печати, и имя автора прогремит за пределами России.

И Н. Г., не называя автора, передал в таких бесподобных ярких красках «Челкаша», что Горький встал, обнял Н. Г. и со слезами умиления сказал:

— Дорогой Н. Г., я никогда бы не смог написать так прекрасно этот рассказ, как вы его передали.

Е. Н. БОРАТЫНСКАЯ

Это было в 1895 или 6-м году. В это время Николай Егорович Михайловский делал изыскания по проложению ж.-д. линии Московско-Казанской железной дороги — северного варианта подхода к Казани и частенько заглядывал к нам, и в городе, и в деревне, неподалеку от Казани. [...]

Помню первый приезд Н. Е. в нашу усадьбу. Это было летом. Отец, приехавши из Казани, объявил, что завтра у нас будет Михайловский-Гарин. Помню мое волнение. Я никогда еще не встречалась с писателями, и вдруг один из них будет у нас! А может быть, и пробудет несколько дней. Я была очень смущена.

На следующий день, заслышавши почтовый колокольчик, я живо вбежала на террасу и увидела перед собой красивого, еще молодого, человека, с серебристобелыми волосами. Румяный цвет лица, глубокие голубые глаза и седые волосы. Замечательное сочетание. Ему было тогда 42 года. Помню его поклон — и приветливый и немного неловкий. Вообще ему была присуща, при большой живости, легкая связанность движений, не лишенная совсем особого обаяния.

Тут была моя мать, моя младшая сестра и жена брата. Через пять минут мы все совершенно освоились и слушали его живую, искристую речь. Он говорил о своем писательстве, о сыне Гаре, из любви к которому он взял литературный псевдоним Гарина, о своих университетских годах, и жизнь его развертывалась перед нами красивой и пестрой картиной.

После этого он часто стал бывать у нас и больше всего находил удовольствие в беседах с моей матерью, тог-

да уже пожилой, но все еще красивой и необычайно интересной по своему умственному и духовному содержанию. Он принимал участие и в наших прогулках, и в наших играх, но не любил письменные игры. [...] Однако и в них принимал участие, и мы бережно хранили его ответы на вопросы, к сожалению, погибшие вместе со всей нашей библиотекой. Еще он много возился с моим 4-летним племянником, восхищаясь его деловитостью и хозяйственностью. Долго у нас хранилась детская книга, подаренная ему Н. Е. с надписью. Вообще он очень любил детей, и все деревенские ребятки были его друзьями.

Необыкновенно живой и жизнерадостный, он собирал около себя молодежь и зажигал в ней стремление идти вперед, к борьбе. Он выбирал себе помощников из среды студентов и техников, в своем деле проведения ж.-д. линии, и всегда щедро оплачивал их труд. Помню, что у него работали студенты братья Авдеевы, сын Гл. Успенского (техник) — ближайший его помощник, пожилой техник Швелов и др.

Однажды, на рождественских каникулах, когда мы были в городе, входит к нам Николай Егорович с братьями Авдеевыми. Лицо обветрено и более румяно, чем обыкновенно. А был мороз. Глаза весело поблескивают.

— Откуда вы? — спрашиваем.

— С «Высокой Горы». Только что приехал. Мы там вчера устроили елку в лесу.

— Как? В лесу, в такой мороз? Расскажите.

Оказывается, он пригласил всех своих сотрудников: инженеров, техников, студентов — принять участие в этом оригинальном празднике. «Высокая Гора» — село километрах в двадцати трех от г. Казани. Под самым почти селом тянется большой сосновый бор. Туда-то и поехала из Казани вся компания, чуть не на десяти тройках, захватив с собой разные лакомства и съестные припасы. Выбрали густую, пушистую елку — не из маленьких,— стоящую на лесной полянке, и решили украсить ее доверху. Раздобыли для этого лестницу. Было приглашено все село и желающие из окрестных деревень.

Засветло стали украшать елку. Погода благоприятствовала. День выдался ясный, тихий, снег искрился блестками. Молодые люди залезали в самую гущу елки и до верхних ветвей увесили ее пряниками, конфетами, немудреными подарками и множеством свечей. Расставили

по поляне приготовленные смолевые бочки и, когда стемнело и серебряная луна залила своим светом лес, зажгли свечи. Было так тихо, что свечи горели не потухая, и эти красные огоньки, под лучами луны, придавали какую-то таинственность всей картине. Народ густой толпой теснился около елки и сперва тихо и как бы с недоумением стоял и смотрел на невиданное зрелище.

Но вот свечи, одна за другой, догорели. Все темнее становилась елка и ярче светила луна.

Зажгли бочки. Поляна сразу осветилась ярким, праздничным огнем. Все оживилось, и пошло веселье. Песни, пляс, хороводы, беготня детей по утоптанному снегу и — гвоздь вечера — раздача лакомств. Николай Егорович рассказывал, что народ долго не расходился, несмотря на мороз, и остался вполне доволен праздником. Он сам от души наслаждался красивой картиной и доставленным отдыхом и радостью целому селу.

Еще помню литературное выступление Н. Е. на благотворительном вечере в пользу Высших женских курсов, устроенном в стенах тогдашнего дворянского собрания, ныне «Дома Красной Армии».

Он должен был читать небольшой рассказ «Коротенькая жизнь», печальная и ярко написанная история смерти его маленького сына. Мы все удивились, что он решается читать такую тяжелую вещь при публике. [...] Н. Е., к моему удивлению, сильно волновался. Ходил взад и вперед по комнате и был несвойственно ему молчалив, говоря лишь отрывочными фразами.

— Неужели вы волнуетесь? — спросила его моя мать.— Вам должно быть так привычно выступать перед публикой.

Как сейчас помню его слегка раскачивающуюся на ходу фигуру и, как мне показалось, грустный ответ.

— Я не люблю читать свое и... я плохо выбрал.

Мы ушли.

Раздался звонок. Зал замер. Гарин вышел. Гром аплодисментов. Потом молчание. Помню: маленький столик на эстраде, две свечи по бокам (тогда еще электричества не было, а только газ), Н. Е. сидит за столом, привычным жестом оперши лоб о левую руку. Он читает. Его плохо слышно.

Я так привыкла к его звучному, бодрому голосу. Что же это? Почему так тихо? Он так и не поднял голоса,

а к концу, где он так ярко описывает смерть своего ребенка, ясно стало, что он всецело ушел в воспоминание этой трагедии, что все исчезло для него: зал, публика, все было поглощено картиной смерти маленького страдальца — его сына.

Голос его звучал глухо, взволнованно, почти с рыданиями.

Он кончил.

Как-то тускло собрал он свои бумаги и, слегка сгорбившись, сошел с эстрады. Словно какой-то груз придавил всю залу. Этот печальный рассказ и он сам — автор, отец, всколыхнувший перед тысячной толпой свое горе и согнувшийся под тяжестью нахлынувших воспоминаний,— все это так было необычно в ярко освещенном зале, так выходяще из ряда обыкновенных выступлений на литературных вечерах, что минуту-другую публика растерянно молчала. Затем бесконечные вызовы автора и буря восторгов при его появлении. [...]

М. ГОРЬКИЙ

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками. [...]

Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христианское начальство смотрело на него как на пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял, кажется, еще в «эпоху великих реформ». [...] В Самаре, в 95—96 годах... в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем — не очень богатого такими людьми. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и «джентельмена», включая марксистов, сотрудников «Самарского вестника» и сотрудников враждебной «Вестнику» «Самарской газеты» — враждебной, кажется, не столь «идеологически», как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределенного рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей «вольными» гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих.

Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все были уверены, что плохой человек не придет к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова. Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетинились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные глаза Якова Львовича сияли веселой и любовной улыбкой.

Самоотверженно гостеприимные хозяева Яков Львович и Екатерина Дмитриевна, супруга его, ставили на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофелем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда густо-лиловое, должно быть, кавказское вино, обладавшее привкусом марганцовокислого калия; на белом это вино оставляло несмываемые пятна, но на головы почти не действовало.

Покушав, гости начинали словесный бой. Впрочем, бои начинались и во время процесса насыщения.

У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

— Это вы — Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида — плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня:

— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком — у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И — хоть бы ошибся в чем-нибудь, но — не ошибается, все верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые

глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

— Вам не нравится, как я говорю? — спросил он меня и, точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя: — Я — Гарин. Читали что-нибудь?

Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией».

— Очерки — не искусство, даже не беллетристика,— сказал он, явно думая о чем-то другом,— это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как бы возмутился Николай Георгиевич и, прихмурив красивые брови, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если убьешь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь — самый опасный. Черт знает откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой крепкой рукой, он сказал с восхищением:

— Но если б вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!

Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.

Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г., мне почудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял сóроки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н. Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам — тесно, мыслям — просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:

— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? — ответил:

— Очень милый, умный, интересный, очень! Но — инженер. Это — плохо, Алексеюшка, когда человек — инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается...

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министру путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.

— Вот это подвиг! — восклицал он.— Не правда ли?

Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и даже проще: желанием созорничать.

Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н. Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой жен-

щине, кажется, дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95—96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя создавшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадью. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал:

— Вам часы привезли из Сызрани.

В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явился.

— Еврей говорит: вам часы.

— Позови.

Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря, на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешкову-Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

— Это вам дал инженер Гарин?

— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя,— сказал старик.

Протянув руку, я предложил ему:

— Покажите часы.

Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:

— Может, есть другой Пешков-Горьков — нет?

— Нет. Давайте часы и уходите.

— Ну, хорошо,— сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:

— Распишите на записку, что получили.

— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик: еврей равнодушно ответил:

— Вы знаете: часы.

— Стенные?

— Ну да. Десять часов.

— Десять штук часов?

— Пусть будет штук.

Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все это?

— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы? — Но еврей тоже почему-то осерчал.

— А какое мне дело думать? — спросил он.— Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нем — как его вторая кожа. Я спросил:

— Это вы прислали мне часы?

— Ах, да! Я, я. А — что?

И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:

— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.

Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидел мальчика-еврея, который удил рыбу.

— И все, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

— И уже изведавший горечь жизни,— продолжал он рассказывать.— Живет у деда, часовщика, учится ма-

стерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки... сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.

И совершенно серьезно Н. Г. сказал:

— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.

Он рассказал все это, как всегда, торопливо, но несколько смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы. Один из них — «Гений» — подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального исчисления. Именно так: полуграмотный чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное исчисление, и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара.

Написан был рассказ не очень искусно, но Н. Г. поведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Клотильда», «Бабушка».

Когда «Самарская газета» попросила его написать рассказ о математике Либермане, он после долгих увещеваний сказал, что напишет в вагоне, по дороге куда-то на Урал. Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: «Присланное — не печатать, дам другой вариант». Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбурга.

Писал он так неразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, конечно, несколько изменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками,

доступными пониманию наборщиков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н. Г. сказал, сморщив лицо:

— Черт знает чего я тут наплел!

Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:

— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.

Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; все это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?

— Ба! — сказал он.— Очень просто, ведь это мною написано.

И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».

Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Тёмы».

— Пустяки,— сказал он, вздохнув.— О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.

И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:

— А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.

С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово—Глаголь», попенял ему:

— Грешно, что вы так мало пишете!

— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор,— сказал он и невесело усмехнулся.— Инженер я тоже, кажется, не той специальности, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный ро-

манист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людьми здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:

— На трех страницах, не больше!

Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряжение, над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом... Оба замолчали. И сторож думает: все равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его,— судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.

— Куда? — спросил лесник.

— Уйду я, ну тя к черту.

— Зачем?

— Знаю! Убить меня хочешь ты.

Сторож схватил его, говорит:

— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!

— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.

И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.

Помолчав, Гарин спросил:

— А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» — «Не знаю, Николай Егорович,— сказал он,—

горестно стало». Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шепотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молний в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг — легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:

— Написали о леснике?

Он сказал:

— Нет, это не моя тема. Это — для Чехова, тут нужен его лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии экономики,— одно время говорить об этом было очень модно,— Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как впоследствии спорил против афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — все».

— Это — декадентщина! — кричал он.— На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: именно так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и ученые медики все более часто говорят о возможности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н. Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах,— обо всем он говорил увлекательно.

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими словами:

— Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую свою тужурку талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов,— и не только этих,— поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит. Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице. Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

— Это провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.

И рассказал о своем визите приблизительно так:

— Не скрою: я шел к ним, очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит,

мило улыбается, изредка ставит вопросы, но все не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не спрашивай: любят ли корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы — молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А — ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.

Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:

— Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?

— Черт бы их подрал,— возмущался он,— у меня тут серьезное дело, и вот — надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:

— Надо бороться.

Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей», в провинции, с распространением оврагов, вообще — бороться!

— С самодержавием,— подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н. Г. весело спросил его:

— Вы недовольны тем, что ваш враг — глуп, хотите поумнее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:

— Это — кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне в комнату, из которой был выход к воротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свиными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:

— Наши-то солиднее ваших.

— Сколько у вас бывает народа,— сказал Гарин и вздохнул.— Интересно живете!

— Вам ли завидовать?

— А — что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро — шестьдесят лет, а что я сделал?

— «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» — целая эпопея!

— Вы очень любезны,— усмехнулся он.— Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.

— Очевидно — нельзя было не писать.

— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек.

Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.

— Вас, батенька, скоро посадят,— вдруг сказал он.— Это мое предчувствие. А меня закопают — тоже предчувствие.

Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:

— Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я — пошел.

Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на ходу»,— участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

Была одна черта, доминирующая в характере Н. Г.,— необузданная, роскошная, расточительная фантазия. У него был светлый, ясный ум, но фантазия доминировала. Бесконечные планы постоянно роились в голове Гарина-Михайловского — астрономические, инженерные, литературные, социальные. Он жил какими-то вспышками, потухавшими и снова разгоравшимися, и вдохновение, редкая гостья у людей, не уходило от Гарина-Михайловского.

Таким он был всю жизнь, и эта черта ярко освещает всего Гарина-Михайловского, всю его жизнь. Необычную, особенную жизнь, которой прожил Н. Г.

Приблизительно до сорока лет он был инженер и помещик, держался, как говорили люди из его мест, консервативных взглядов и в земстве голосовал с консервативной партией, а в сорок приблизительно лет сделался сразу социал-демократом,— не либералом — а именно социалистом. И он не делается платоническим

марксистом, он принимает участие в литературных замыслах марксистов, как только заводятся у него деньги, он идет с ними к Горькому и к другим, и я не знаю сколько, но уверен, что не один десяток тысяч передал он в партийную кассу.

Так же около сорока лет, когда русские писатели не только окончательно складываются, но имеют за собой долгие годы работы и большой писательский стаж, Гарин сразу выступает в печати с художественным рассказом «Детство Темы».

Я помню, как он приехал к моей дочери в Байдарскую долину и залюбовался ловкой и веселой милой девушкой Машей, помогавшей моей дочери угощать гостей, и тут же за ужином сочинил сказку о волшебнице Ашам, перевернувши слово Маша в Ашам, и увлекательно рассказал ее нам. Знаю и другие аналогичные случаи.

Отдал Н. Г. в «Русское богатство» какой-то рассказ и поехал на восток по своим инженерским делам. И вот с разных станций полетели телеграммы — заведовавший тогда хозяйственной частью «Р. б.» Иванчин-Писарев показывал их мне,— где предлагалось изменить текст, где перерабатывались целые главы, иногда вставлялись новые места,— и, пока Гарин доезжал до места, рассказ преображался и, конечно, стоил автору дороже, чем гонорар, который он должен был получить за рассказ.

Он был помещиком, но будничное, делецкое, серое, копеечное претило ему. Все планы, планы... Нужно создать новое, красивое и захватывающее. Он решает, что нужно засевать самарские поля чечевицей, и рисует мне картину, сколько приносит десятина чечевицы, как чечевица потечет в Западную Европу, где на нее постоянный спрос, как поднимется крестьянское хозяйство от новых культур. И засевает сразу большие пространства своего имения чечевицей, маком. Не пошла ли чечевица в Европу или просто самарские поля не приняли мака и чечевицы,— имение ушло из рук Гарина.

Гарин-Михайловский был инженер — человек техники, человек цифр, точных измерений, но и здесь он был художник, человек огромной фантазии. И я не боюсь сказать, что и здесь вдохновение играло большую роль. Ошибочно думать, как делают многие, что вдохновение есть редкий удел только художников, оно так же необходимо и так же присуще и людям науки, точной нау-

ки. Мои знакомые инженеры, знавшие инженерскую карьеру Н. Г.— когда я спрашивал их беспристрастного мнения,— говорили мне, что у Н. Г. всегда были блестящие планы, остроумные и верные проекты изысканий железных дорог, но что он терял интерес, когда план приводился в действие, и менее удачно приводил в исполнение свой план.

Мне пришлось присутствовать при разработке такого плана. Во время изысканий, которые он проводил, железнодорожного пути из Севастополя в Ялту, он жил у меня в Ялте в моей квартире, ежедневно обедал у меня и нередко посвящал меня в планы будущего строительства этой дороги. Я не сведущий человек в этой области, но его проект казался мне наиболее правильным и наиболее целесообразным с точки зрения интересов будущих посетителей Крыма; но мое внимание в особенности привлекла нарисованная им яркая художественная картина будущей дороги.

Паровую тягу, как могущую загрязнить и заполнить тухлым дымом красивый южный берег, он отверг сразу. В проекте предусматривалось использование самых красивых видов Крыма и вместе с изыскательским техническим персоналом он привез с собой из Петербурга талантливого художника Панова, с которым он обсуждал художественную сторону этой будущей исключительно красивой электрической дороги.

Каждый вокзал должен был сделаться художественным произведением. Вместо обычного скучного типа железнодорожных станций в Байдарской долине предполагалось выстроить станцию в стиле древнего ханского шатра; в других местах предполагалось строить станции в древнем генуэзском и греческом стиле в память бывших древних хозяев Крыма. А над входом в туннель должна быть высечена из гранита фигура летучей мыши. Н. Г. с увлечением рисовал мне, как эти станции в будущем обрастут уютными поселками, красивыми, непременно красивыми виллами, которые широко откроют двери для больных и нуждающихся в отдыхе северных людей.

Все фантазии, все стремления вырваться из обычного налаженного серого и создать что-то новое красивое, совсем необычное.

Он в Симбирской губернии пашет на верблюдах, он выписывает чистокровных арабских лошадей. К несчастью, появился сап, пришлось перестрелять и стадо

верблюдов и арабских лошадей. Он стремится разводить форелей в Симбирской губ. и выписывает икру и специалиста, но форель почему-то не разводится. И свиньи и куры, которых разводит он, должны быть огромные, самые редкие в мире, и сельскохозяйственные машины — последнее слово заграничной техники.

Бывают люди удачливые и неудачливые. Несмотря на провалы его планов, жизнь Н. Г. сложилась удачливо. Быстро создалась его инженерская карьера, сразу первым же рассказом он занял видное положение в литературе. Он никогда не знал нужды, деньги текли к нему в большом количестве — деньги так же быстро, может быть, еще быстрее, уплывали от него, но они давали ему возможность осуществлять его многочисленные планы.

Не только по разведению форелей и верблюдов... Он строил школы для крестьян, устраивал спектакли для народа и в своих агрономических опытах имел в виду поднятие крестьянского хозяйства.

Таков был Николай Георгиевич Гарин-Михайловский всю жизнь со своими никогда не кончавшимися планами, с огромной энергией, которую он вкладывал в эти планы.

Всю жизнь. До могилы. За три дня до смерти в Петербурге он приехал ко мне около 12 часов ночи и во время разговора сказал, что в два часа ему нужно еще заехать в одно место по делу, где его ждут. Оказалось, что он спит три-четыре часа в сутки, т. к. остальные двадцать часов битком наколочены нужнейшими делами. И когда я удивился, как он может не нуждаться в настоящем отдыхе, он вынул мне коробочку с какими-то заграничными облатками и пояснил, что, когда он устает и захочется ему спать, он принимает облатку и становится опять свежий, бодрый и работоспособный. Ему рекомендовала это лекарство знакомая дама, постоянно принимающая его.

Улыбаясь, добавил — однажды чуть не отравился от этих облаток. Для меня было несомненно, что в облатках заключается сильное возбуждающее средство, но мои уговоры бросить лекарство прошли мимо ушей Гарина.

Уходя, он настойчиво звал меня прийти на другой день к нему обедать, говорил, что много будет народу и будут обсуждаться интересные вопросы. Я пришел к концу уже обеда, но застал еще кусочек речей, кото-

рых, очевидно, много произносилось за этим многолюдным обедом, где были литераторы и артисты [...]

В ту же ночь или в следующую Н. Г. скоропостижно умер в редакции при обсуждении литературных дел. Вздохнул и умер. На вскрытии сердце оказалось неиспорченное. Для меня несомненно, что он умер от чрезмерно напряженной, не знавшей отдыха работы, работы, подхлестывавшейся подозрительными облатками [...]

С. СКИТАЛЕЦ

Однажды, зайдя в редакцию «Самарской газеты» в Самаре, в конце девяностых годов, я встретил там незнакомого мне седого человека барской наружности, разговаривавшего с редактором и при моем появлении вскинувшего на меня красивые и совершенно молодые горячие глаза.

Редактор познакомил нас.

Седой человек с какой-то особенной непринужденностью отрекомендовался, пожимая мою руку своей маленькой холеной рукой.

— Гарин! — сказал он кратко.

Это был известный писатель Гарин-Михайловский, произведения которого тогда часто появлялись в «Русском богатстве» и других толстых журналах. Его «Деревенские очерки» с большим вниманием и похвалой разбирала серьезная критика, а блестящая повесть «Детство Темы» признана была первоклассной.

Встреча в провинциальном городе с настоящим писателем, приехавшим из столицы, для меня была неожиданной.

Гарин был замечательно красив: среднего роста, хорошо сложенный, с густыми, слегка вьющимися седыми волосами, с такой же седой, курчавой бородкой, с пожилым, уже тронутым временем, но выразительным и энергичным лицом, с красивым, породистым профилем, он производил впечатление незабываемое.

«Как красив он был в молодости!» — невольно подумалось мне.

Необыкновенный старик хорош был и теперь — с седыми волосами и огромными юношески пламенными глазами, с живым, подвижным лицом. Это лицо много пожившего и все еще полного жизни человека, поседев-

шего и все еще юного,— именно вследствие этих контрастов обращало на себя внимание и было красиво не только внешней красотой, но и сквозившей в его чертах целой гаммой каких-то неукротимых и больших переживаний.

Гарин скоро ушел, а в редакции еще долго о нем говорили.

Оказалось, он затевал в городском театре постановку своей только что написанной пьесы, еще нигде не напечатанной и не поставленной.

Говорили, что пьеса — автобиографического содержания, и в ней Гарин выводит себя и своих двух жен: первую, с которой давно развелся, и вторую — молодую. От обеих у Гарина куча детей, а жены, в противоположность обыкновению, знакомы между собой и очень дружны, ездят одна к другой в гости, а на представлении пьесы будут сидеть в одной ложе вместе с Гариным и детьми — всей семьей.

Пьесе по этому случаю предрекали успех скандала и полный сбор.

Я не помню теперь заглавия этой пьесы: в собрании сочинений Гарина ее не оказалось, больше она нигде не ставилась, но в Самаре тогда была поставлена и прошла с большим успехом при переполненном театре. Гарин с семейством демонстративно сидел в литерной ложе между двумя своими женами, как бы не замечая пикантного своего положения, представляя из себя главнейший интерес для собравшейся публики. В пьесе ставилась проблема мирного разрешения семейной драмы, пережитой, как всем было известно, самим автором, присутствовавшим на представлении вместе с живыми главными персонажами ее.

Зачем Гарин сделал этот оригинальный опыт, не знаю, но он был в его духе. Это был каприз чудака: с Гариным всю его жизнь происходили странные эпизоды.

Он путешествовал вокруг света, гостил в Корее и Японии. В России занимался главным образом инженерством: был опытным инженером-строителем, построил один железнодорожный путь не очень большой величины; был одним из претендентов на несостоявшуюся постройку Южно-Бережной дороги в Крыму; по временам ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей фантастичностью своих сельскохозяйственных предприятий.

Так, например, засеял однажды чуть ли не тысячу десятин маком, и когда, конечно, прогорел на этом, то все-таки с восхищением вспоминал о красоте полей, покрытых «красными цветами».

Занимался лесным делом, арендовал имения, брал казенные подряды. Иногда становился богатым человеком, но тотчас же затевал что-либо безнадежно фантастическое и вновь оказывался без копейки. В дни богатства всех сбивал с толку бесцельной щедростью: если курица в обыкновенное время стоила в деревне пятнадцать копеек, то, покупая провизию для своих служащих, он приказывал платить за курицу не полтинник и не рубль, что было бы хоть с чем-нибудь сообразно, а примерно пять рублей, и это перевертывало в головах населения всякие представления о дешевизне и дороговизне. В моменты своих кипучих предприятий Гарин сорил деньгами, разбрасывая золото буквально горстями, не считая, как будто главной его целью было доставлять этой безумной щедростью удовольствие и людям и себе. Все коммерческие предприятия Гарина, задуманные широко и талантливо, большею частью прогорали от его равнодушия к деньгам и детской доверчивости к обкрадывавшим его людям. Что его обкрадывают, он знал прекрасно, но находил это естественным, лишь бы дело было сделано. И действительно: дела делались, потом лопались, но Гарина это не смущало — он тотчас же начинал пылать каким-нибудь новым замыслом, казавшимся ему «красивым».

Был случай, когда его имение продавалось с аукциона в уплату долгов. К третьему удару молотка вдруг явился Гарин и внес деньги, которые ему удалось у кого-то занять.

Кредиторы Гарина рассказывали мне, что однажды они, утомленные бесконечными отсрочками, пригласили его на собрание, твердо решившись поступить с ним беспощадно. Но явившийся Гарин так их околдовал, что они, сами не зная как, снова поддались очарованию его личности: слушая гаринское красноречие, вновь уверовали в явные фантазии.

Гарин как будто несерьезно относился к своим делам, словно играл с жизнью, почти всегда ставил на карту все, что имел.

Он всегда «танцевал на вулкане», вся его деловая деятельность походила на отчаянную скачку с препятствиями.

И Гарин действительно всю свою жизнь мыкался по свету в вечном угаре своих рискованных предприятий: то он плыл на океанском пароходе через Атлантический океан, совершая зачем-то кругосветное путешествие, по пути заинтересовываясь жизнью островитян или «корейскими сказками», то летел в Париж, то оказывался на юге России, откуда с «курьерским» мчался на Волгу или Урал.

Писал большею частью в дороге, в вагоне, в каюте парохода или номере гостиницы: редакции часто получали его рукописи, посланные с какой-нибудь случайной станции с пути его следования.

Писал не для славы и не для денег, а так, как птица поет, так и Гарин писал — из внутренней потребности. Случайно оказалось, что повести и рассказы, очерки и карандашные наброски, которыми он иногда тешил себя, обнаруживают незаурядный талант, но Гарин и к таланту своему не мог отнестись серьезно и написал разве десятую часть того, что должен был написать, не проявив и сотой части того богатства, которое лежало в его душе. Для него главное было — сама жизнь, игра с препятствиями, волнения риска, воплощение красивых фантазий в действительность, постоянная бешеная скачка над краем пропасти.

Гарин до седых волос остался пылким юношей.

«Детство Темы» — лучшее произведение, написано ясно, густо, блестящим и крепким языком, где, кажется, не найдешь ни одного лишнего или не на своем месте поставленного слова.

Вскоре после первой встречи мне пришлось познакомиться с Гариным ближе: в Самару проездом он заглядывал часто, так как у него были какие-то «дела» на Волге.

Помню, я как-то порекомендовал ему одного моего друга — машиниста, так как Гарин искал такого мастера в свое симбирское имение заведовать сельскохозяйственными машинами.

Через два-три месяца машинист вернулся в Самару, от должности отказался.

— Отчего же? — спросил я.—Не понравилось, что ли?

— Сердце не выдержало! Не мог я видеть равнодушно, как погибает там все на моих глазах — прекрасные английские машины ржавеют под открытым небом, занесенные снегом; великолепный конский завод — ка-

кие матки, какие породистые лошади! — падают, околевают одна за другой.

— С чего же падают?

— Да с голоду! Николай Георгиевич не распорядился о заготовке корма на зиму. С голоду все и передохли — смотреть было больно, не выдержал я и ушел, не потому, что жалованье получал неаккуратно, это бы ничего, обойтись можно, а так!

Оказалось, что Гарин, увлекшись какими-то новыми фантазиями и переживая какой-то горячий «ажиотаж», «забыл» о своем имении,— и все пошло прахом.

Позднее, а именно в 1901 году, когда я жил в Самаре «под надзором» и не имел права выезда за черту города, мне захотелось устроить на службу к Гарину, тоже в имение, другого моего знакомого — техника.

Гарин, как всегда, будучи в городе «проездом» и обремененный тысячей «дел», назначил свидание на пристани парохода, на котором он уезжал: разговор должен был произойти в несколько минут, во время посадки Гарина на пароход.

Когда я и мой знакомый подъехали на извозчике к пристани, раздался третий свисток, и пароход начал медленно отделяться от берега: были уже сняты сходни, Гарин в дорожном костюме, с сумкой через плечо кричал нам с верхней площадки парохода:

— Скорее! Скорее! Прыгайте на пароход!

Колебаться и размышлять было некогда: мы оба перемахнули саженное расстояние над водой и очутились на пароходе.

— Вот и отлично! — сказал Гарин моему приятелю.— Я уже решил пригласить вас на мои работы — в имение около Симбирска, и мы теперь вместе едем туда.

— А как же мне-то быть? — размышлял я вслух.— Надо с первой же остановки возвратиться!

— Пустяки! — сказал Гарин.— Семь бед — один ответ: все равно будет суд у мирового, я выйду свидетелем, что вы уехали нечаянно, заплатим штраф, и больше никаких! Поедемте ко мне в гости в Тургеневку!

Гарин ехал не один, а с целой компанией: оказался еще молодой художник и еще какой-то чертежник, и кто-то вроде секретаря при Гарине. Скоро наступила ночь; мы сели в рубке первого класса ужинать.

За ужином Гарин был в ударе и много рассказывал; рассказывать он умел артистически, обнаруживая

заразительный юмор, тонкую наблюдательность и природную способность художника несколькими словами набрасывать целые картины.

Помню, рассказывал он различные эпизоды из своих путешествий вокруг света.

— Знаете, когда я увидел океан? Когда с неделю проплыл на этом чудовище, четырехэтажном океанском пароходе! Это целый город. Люди там живут, пьют, едят, танцуют, флиртуют, играют в шахматы и никакого океана не видят, забыли о нем: какая бы ни была волна, ничего не заметно! Мы сидели у большого зеркального окна на четвертом этаже, я играл с кем-то в шахматы. Вдруг пароход заметно накренился, и на один только момент я увидел до самого горизонта вздымающиеся горы вспененных, косматых, чудовищных волн, на меня глянул океан — седой, взбешенный старик!

Внезапно он сделал образное сравнение с русской жизнью и государственным кораблем, на котором люди плывут, играя в шахматы и не видя, что делается в океане.

— Говорят, новая волна идет, новая заря занимается! — со вздохом добавил он.— А как вспомнишь, сколько раз эта заря занималась и ни разу не взошла, сколько раз новая волна поднималась, а потом обращалась в затишье, что, право же, не знаешь, куда бы уйти подальше и от этой намалеванной зари и от этих самых волн!

Увы! Заря скоро погасла. Занималась и погасала несколько раз и после Гарина, а «волны» вскоре забросали его до смерти.

Вся публика рубки, сидевшая за другими столами, с необычайным вниманием прислушивалась к блестящим рассказам Гарина. Наконец, когда он вышел, меня остановил человек почтенной наружности, по виду — купец.

— Скажите, пожалуйста, кто этот красивый старик, который сидит с вами?

— Это писатель Гарин! — ответил я.

— А-а! — с еще большей почтительностью воскликнул он.— Гарин!.. Знаю, читал! Ах, какой красивый человек!

Такое впечатление производил Гарин даже на тех людей, которые не знали, что это известный писатель Гарин-Михайловский.

Барский дом в Тургеневке, отдельно стоявший от села на берегу Волги, на вершине горы, поросшей строевым, дремучим бором, был интересным, старинным зданием, уцелевшим чуть ли не с пушкинских времен. Когда мы вошли в огромный, высокий зал с целым рядом саженных венецианских окон, меня поразил необычайных размеров камин, в котором, казалось, можно было жечь не поленья, а целые бревна. По стенам висели старинные гравюры; одна из них представляла взбесившуюся тройку, которая мчалась прямо на зрителя, в пропасть.

— Вот моя жизнь! — сказал между прочим Гарин, со смехом указывая на картину.— Только это я и люблю!

Он переоделся, вышел к нам в высоких сапогах, синих рейтузах в обтяжку, в венгерке со шнурками, и в этом костюме был чрезвычайно подходящ ко всей обстановке старинного замка в стиле рыцарских времен; вероятно, не без кокетства перед самим собой оделся он так, особым художественным чутьем угадывая гармонию обстановки и костюма, а может быть, чувствовал это бессознательно.

Гарин не был собственником имения, он только арендовал его у настоящих хозяев, по-видимому, медленно, но верно приближавшихся к разорению и давно уже не заглядывавших в родовое «дворянское гнездо». У Гарина было здесь «лесное дело». Он снял великолепный сосновый бор «на сруб» и сплавлял лес по Волге.

После чая пошли смотреть «лесное дело».

— Я сейчас покажу вам «деревянную железную дорогу»! — заявил нам хозяин.

Конечно, это была одна из гаринских «фантазий»; для подвоза бревен к обрыву горы были проложены деревянные рельсы, по которым лошадьми ходили дроги на особых, вагонного устройства, деревянных колесах. Хотя колеса эти часто сходили с рельсов, вызывая остановки, тем не менее остроумная выдумка облегчала тяжесть перевозки. С обрыва бревна спускали прямо к берегу Волги по особо устроенному желобу, по которому проведена была вода, чтобы бревна не загорались.

Августовский день был ясный, солнечный. Волга сверкала, как зеркало. Зеленый бор звонко гудел под теплым ветром. Постояли над обрывом, полюбовались величавой картиной Заволжья: с вершины горы горизонт был виден на сто верст кругом.

Приставив к делу всех приехавших с нами молодых людей, Гарин к вечеру вдвоем со мной уехал на лошадях в Симбирск. Нам подали рессорную коляску с открытым верхом, запряженную тройкой прекрасных вороных лошадей: Гарин любил езду. Всю ночь ехали мы с ним по звонкой ровной степной дороге.

Ночь была светлая, лунная, зачарованная безмолвием безграничных русских полей.

И мне казалось, что неугомонный человек, у которого давно уже образовалась страсть к вечному мыканию с места на место, никогда более не захочет и не сможет изменить свою тревожную жизнь, полную вечной смены впечатлений, на спокойную, кабинетную работу, какая нужна была ему, если бы он захотел сделаться «серьезным» писателем.

На рассвете подъехали мы к Симбирску с противоположного берега, переправились на лодке прямо на пароходную пристань, где уже стоял пароход, отправляющийся в Нижний, куда, собственно, и ехал Гарин.

Здесь я намеревался расстаться с ним и, дождавшись парохода сверху, возвратиться в Самару, но чудак стал уговаривать отправиться с ним в Нижний.

Гарин умел очаровывать людей, и, очарованный, я уступил: очень уж это был интересный и «красивый» человек, как метко выразился о нем купец, восхитившийся им на пароходе. [...]

Года через два, проживая в Москве, я ехал на святки в приволжское село и в вагоне случайно встретился с Гариным. Он был, по своему обычаю, бодр и весел, шутил.

— Вы теперь переживаете эпоху литературной славы! — сказал он мне.— Сочувствую и очень рад за вас! Я тоже был когда-то в славе и «первоклассным» был и все такое! Всякое бывало!

— Почему же были? — возразил я.— Вы были и есть и будете одним из лучших русских писателей!

— Нет, уж мое время прошло, наступает чье-нибудь еще! Так было... так будет! А я вот недавно имение купил без гроша в кармане — вот это штука! Даже расходы по купчей бывшая владелица за меня заплатила!

— Как же это так?

— А так! Почтенная женщина, давно меня знает, встретились вот так же, как мы сейчас с вами. «Вам, говорит, непременно надо купить мое имение, оно вам

подходит, и вам я бы продала».— «Да у меня денег нет!» — «Пустяки. Не надо никаких денег!» Ну, купил вот, сам не знаю зачем, имение-то с переводом долга — еду теперь туда; говорят, хорошее имение, красивое. «Белый Ключ» называется, совсем близко оттуда, куда вы едете! Ба! — вскричал вдруг Гарин, как бы осененный внезапной мыслью.— Непременно приезжайте ко мне под Новый год! Всего двадцать верст от станции, я и лошадей пошлю! Непременно! У меня там вся семья: и жена, и дети, везу вот всякие финтифлюшки для елки. Будем Новый год встречать вместе.

Я, конечно, согласился приехать в «Белый Ключ» и свое обещание исполнил. Это была встреча 1903 года.

Когда под Новый год я высадился на указанной станции, меня действительно ожидала гаринская пара вороных, запряженная цугом, или, как говорят на Волге, гусем; кругом лежали глубокие снега, трещал сильнейший мороз, как и полагается в России под Новый год.

С холоду, что ли, кровные кони мчались как бешеные, и ямщик всю дорогу, что называется, висел на вожжах, а черные, злые, взмыленные лошади в серебряной сбруе неслись как в сказке, обдавая меня пеной со своих удил, смешанной с кровью, и целым облаком серебристой снежной пыли. Двадцать верст мы пролетели в час — никогда я не испытывал такой быстрой езды на лошадях.

Темной ночью подъехали к ярким огням барского дома. Там уже сияла елка, и сквозь морозные окна было видно, как в комнате двигались тени. Около дома был пруд, теперь замерзший и покрытый снегом, осененный старыми ветлами в кружевной парче морозного инея. Должно быть, красивое место!

Дом был полон гостей, елка сверкала огнями, кто-то играл на рояле, собирались петь хором.

Тут я впервые познакомился с женой Гарина — Верой Александровной Садовской — и их детьми, тогда еще школьного возраста и ниже.

Старшую дочь звали Верой, среднюю Никой, а маленькую девочку — Вероникой. Родители тоже были Вера и Ника! Вера и Ника в итоге давали Веронику. Даже при наречении имен своим детям неунывающий родитель «играл» красивыми словами.

Вера Александровна происходила из семьи миллионеров Садовских, выросла буквально во дворцах и, со-

единяя свою судьбу с бурной судьбой Гарина, имела, говорят, значительный капитал, который, конечно, и был ею скоро истрачен на широкие фантазии беззаветно любимого супруга.

В юности она была красавица, но теперь — в возрасте тридцати с лишним лет — преждевременно располнела, хотя все еще была хороша, в особенности красивы были ее глаза и длинные, чуть не до земли, золотистые пышные волосы, которые в распущенном виде могли покрыть всю ее фигуру.

Наконец-таки Гарин «отдыхал» в кругу любящей семьи, дети обожали его, жена сияла от счастья: ведь большую часть года они только скучали и мечтали о нем, вечном путешественнике, и настоящее свидание было редким праздником для них.

Наутро после завтрака Гарин с семьей и я гуляли по имению, катались на лыжах, а после обеда пошел снег, задула метель, к подъезду подкатили новые сани, запряженные цугом, черные, злобные, пышущие кони взвились, как черти, и опять понесли нас с ним куда-то.

Весной 1905 года, незадолго до внезапного окончания войны России с Японией, Гарину удалось получить миллионный государственный подряд на поставку сена для русской армии.

Я жил тогда недалеко от Петербурга, в Финляндии, в дачной местности Куоккала: в тех местах проживали многие писатели и художники.

В Куоккала же поселился с семьей и Гарин.

Получение миллионного аванса окрылило его в высшей степени, и началось чисто гаринское разбрасывание денег. Прежде всего он на специальном поезде (чего это стоило!) «на минутку» слетал из Куоккала в Париж, привез оттуда свежих фруктов для предполагаемой приятельской пирушки и дорогое бриллиантовое колье для супруги. На пирушке в его маленькой временной дачке мы ели настоящие французские груши, а Вера Александровна, в сверкающем крупными бриллиантами колье, сидела, как невеста, рядом с обожаемым супругом и в ответ на его шутки кокетливо опускала свои все еще прекрасные глаза.

Это был последний луч счастья в их жизни, полной превратностей.

Уже с самого начала запахло плохими предчувствиями: пошли слухи, что Гарина окружили ненадежные люди, что вряд ли он справится с делом, что его оберут и подведут под суд.

Авансы раздавал он, конечно, полными горстями, не заглядывая в будущее, не разбираясь в людях, да он и знал по своему огромному опыту, что около такого огромного казенного костра без воровства не обойдется.

— Поедемте со мной! — пригласил он меня.— Будете у меня получать пятьсот рублей в месяц.

— Зачем я вам? — удивился я.— Ведь сенное дело мне, вы знаете, совсем незнакомо!

— Мне и не нужно, чтобы вы знали сенное дело! — возразил Гарин.— Знающие люди у меня есть, но они все — воры и мошенники! Вот я и хочу к ним приставить хоть одного честного человека, чтобы он мешал им.

Я рассмеялся, но, подумав, отказался от рискованного предприятия.

Гарин набрал массу людей для грандиозной организации сенокоса в полях Сибири и Маньчжурии.

Вскоре спешно уехал.

Как и следовало ожидать, поставку не сделали к сроку: помешали дожди и еще какие-то неудачи, а в начале июля война неожиданно кончилась.

Казенные миллионы были истрачены, поставка осталась незаконченной. Предстоял скандальный процесс.

Осенью Гарин вернулся в Петербург.

Надвигалось тревожное время — революция 1905 года.

Гарин опять оказался без денег, измученный мыканием по Сибири, расстроенный провалом предприятия, но не унывающий и уже воспылавший новым увлечением — революцией.

Не давая себе ни отдыху, ни сроку, принялся за организацию журнала, который сам хотел издавать.

На редакционном заседании Гарин вдруг почувствовал себя дурно, схватился за сердце и, вскрикнув: «Подкатило!» — упал мертвым.

До утра лежал он на редакционном столе, накрытый простыней, седой и страшный. Писатель Гарин-Михайловский, через руки которого прошли миллионы рублей, умер, не оставив после себя ни копейки денег. Хоронить было не на что. На похороны его была сделана подписка.

А. И. КУПРИН

Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества.

Странно-многозначительны, почти фатальны по сопоставлению, были — моя первая встреча с ним и последняя.

Познакомился я с Н. Г. Михайловским в расцвете его кипучей деятельности, в дни счастливых, удачных начинаний и грандиозных планов, в пору особенного блеска и плодовитости его таланта. Это было в Ялте, весною, на даче С. Я. Елпатьевского, на большой белой террасе, которая точно плавала над красивым гористым южным городом, над темными узкими кипарисами и над веселым голубым морем. Был сияющий, радостный, великолепный день. Издалека, из городского сада, доносились бодрые звуки медного оркестра. Легкие турецкие кочермы и фелюги лениво покачивались, точно нежась в малахитовой воде бухты. Сладко благоухали тяжелые синие гроздья цветущей глицинии. И во многолюдном обществе, собравшемся за завтраком на белой террасе в этот веселый полдень, было какое-то праздничное веселье, сверкал молодой, яркий смех, кипела беспричинная, горячая радость жизни.

Тут присутствовало несколько писателей, два художника, начинающая художница, очень известная певица, два марксиста — оба, точно по форме, в пенсне, в синих блузах, подпоясанных кожаным кушаком, и в широкополых войлочных шляпах,— местный помещик-винодел с женою, оба красивые, молодые, несколько инженеров-практикантов и еще кто-то из совсем зеленой, смешливой, непоседливой молодежи.

И я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худощавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, пре-

красных, слегка насмешливых глаз,— голубых, с большими черными зрачками. Голова благородной формы сидела изящно и легко на тонкой шее, а лоб — наполовину белый, наполовину коричневый от весеннего загара — обращал внимание своими чистыми, умными линиями.

Он вошел и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. Но видно было, что он сам не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, прелесть его улыбки, его живой, непринужденной, увлекательной речи.

В эту пору Николай Георгиевич был занят изысканием для постройки электрической железной дороги через весь Крымский полуостров от Севастополя до Симферополя через Ялту. Этот огромный план давно уже привлекал внимание инженеров, но никогда не выходил из области мечтаний. Михайловский первый вдохнул в него живую душу и по чести может быть назван его отцом и инициатором. Он нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченным: это — электрический путь по Крыму и повесть «Инженеры». Но — увы! — первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе — смертью.

Каким он был инженером-строителем, я не знаю. Но специалисты уверяют, что лучшего изыскателя и инициатора — более находчивого, изобретательного и остроумного — трудно себе представить. Его деловые проекты и предложения всегда отличались пламенной сказочной фантазией, которую одинаково трудно было как исчерпать, так и привести в исполнение. Он мечтал украсить путь своей железной дороги гротами, замками, башнями, постройками в мавританском стиле, арками и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и действительно думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия.

Таким он был во все свои дни. Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь. Он — то бывал миллионером, то сидел без копейки денег, в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорялся и повсю-

ду оставлял золотые следы: следы своей необузданной кипящей мысли и своих денег, которые лились у него между пальцами.

По какому-то особому свойству души он не умел отказывать ни в одной просьбе, и этим широко пользовались все, кому действительно была нужна и кому просто было не лень. И эта черта в нем происходила не так от беспорядочной широты натуры, как от сердечной, теплой, истинной доброты. Он умер совершенным бедняком, но для всех, близко его знавших, не тайна, что незадолго до смерти он сам, по личному почину, предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело.

Но часто, очень часто среди этих жизненных перемен он мечтал со вздохом о том, какое было бы для него счастие, если бы он мог навсегда развязаться со всеми делами, проектами и постройками и отдаться целиком единственному любимому делу — литературе. Ее одну он любил всей своей душой, любил с трогательной нежностью, скромно и почтительно. Два месяца спустя после нашего знакомства я провел несколько вечеров у него в Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним на литературные темы. Я должен сказать, что ни у одного из писателей я не встречал такого бескорыстия, такого отсутствия зависти и самомнения, такого благожелательного, родственного отношения к собратьям по искусству.

Мне ярко памятны эти дни в Кастрополе на берегу моря. К обеду и ужину все инженеры и студенты вместе с Н. Г. и его семьей сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Отношения у Н. Г. ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаково просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки. Помню одну характерную мелочь. Среди младщих товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив Ecole des Ponts et Chaussees[1]. И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила, застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном припеке, давалась ей с трудом. Надо сказать — дело прошлое — инженеры порядочно-таки травили как ее, так и вообще

[1] Школу дорожных инженеров *(фр.)*.

высший женский труд — и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Н. Г. умел мягко, но настойчиво прекращать их шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне.

По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г. импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не забыть никогда этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы.

Повторяю, я мало знал покойного писателя. К тому немногому, что я сказал, я могу прибавить, что Н. Г. бесконечно любил детей. Несмотря на то что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям. Он любил цветы, музыку, красоту слова, красоту природы, женскую нежную красоту. У него — современного литератора — была душа эллина. Лишь что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное, мещанское могло внести в его всегдашнюю добродушную, легкую насмешку злобу и презрение.

Таков он был в то лето, перед войною. Затем я видел его мельком раза три-четыре: на железной дороге, в гостях, где-то на литературных собраниях, но ни разу больше мне не удавалось разговаривать с ним. Но последняя наша встреча потрясла меня своей неожиданностью.

Это было зимою. Я присутствовал на вечере, в обществе писателей и художников, в помещении издательства «Шиповник». Говорили, что и Гарин должен прийти немного позднее; но раньше он предполагал зайти на несколько минут в редакцию какой-то газеты, помещавшейся в том же доме, этажом выше. И вот вдруг приходит сверху растерянный слуга и говорит, что Михайловский умер скоропостижно в редакции. Я пошел туда. Он лежал на диване, лицом вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых, молодых глаз, но было таинственно-прекрасно и улыбалось вечной улыбкой знания.

Пожилая дама сидела у него в ногах и без слов, неподвижно и молча глядела ему в лицо, точно разговаривая с ним мысленно. Я пожал его руку. Она была хо-

лодна и тверда. И — помню — сознавая его смерть умом, я никак не мог понять сердцем, почему холод и оцепенение смерти овладели именно этим живым, энергичным телом, этой пылкой творческой мыслью, этой изящной, избранной душой.

Б. К. ТЕРЛЕЦКИЙ

Гарин-Михайловский... Нет, проще — Николай Георгиевич... Нет, еще проще — дядя Ника.

Я вспомнил, и сразу передо мною вырастает стройная фигура юноши, со смуглым лицом, с седыми волосами, с юношески-светлыми глазами. Вы не верите, что ему 50 лет. Вы не скажете, что это стареющий человек. Такие горящие глаза, такое подвижное лицо, такая приветливая улыбка могут быть только у юноши. Но вот он заговорил. На вас ринулись каскады фраз. Вас захватил и унес этот бурный поток образов. Вас приковало к себе живое меняющееся лицо, светлый пылающий взгляд, и вы видите не только юношу по лицу и фигуре,— нет, перед вами человек со светлой и юной, как у древнего эллина, душой.

Образ овладел им. Вот он — очевидец — вспомнил картины русско-японской войны, вспомнил часы отступления из Ляояна, и выпуклые образы, широкие мазки речи оратора, заставляют вас, побежденного слушателя, видеть проходящие перед вами картины. Вот мелькают толпы мечущихся, обезумевших людей, потерявших руководителя и дисциплину. Вот звериная схватка у вагонов последнего русского поезда, вот толпы здоровых и раненых солдат, вот мирные беженцы, запрудившие вокзальный перрон. Вы видите живой чехол копошащихся тел, покрывших крыши вагонов. Вы слышите сиплый свисток паровоза. Вы слышите рыдания и угрозы, мольбы и ругань. Вы подавлены этими безликими стонами, слившимися в звериный панический вой.

Рассказчик замолчал, но долго вами владеют вызванные им образы, долго еще вас волнует гражданский пафос негодования и обиды за этих несчастных и брошенных людей. Вы долго еще во власти рассказчика. Николай Георгиевич пришел, заговорил, загорелся волнующей его идеей и победил вас. Таков он был всегда, он сразу атаковал вас и сразу побеждал и волю вашу, и ваше воображение. Он сразу, не задумываясь, кидал-

ся спасать утопающих и спасал их. Он сразу приступал к делу и доводил его до конца. Он выступил в литературе со своим «Детством Темы» и сразу приобрел широкую известность. Он всегда был активен и не понимал жизни без борьбы.

Чаще всего вспоминается мне Николай Георгиевич именно в том виде, как это передала одна из его фотографий. Николай Георгиевич стоит у железнодорожной стрелки, и сейчас он направит поезд по нужному пути. Обычная ясная улыбка, смеющиеся глаза, пышные русые волосы. Через всю нижнюю половину фотографии написано размашистым почерком Николая Георгиевича его любимое четырехстишие Гейне:

Бей в барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней.
Вот смысл величайший искусства,
Вот смысл философии всей.

Маркитантка в данном случае — жизнь, так объяснял Николай Георгиевич. Бывали минуты, когда он тяжело думал об этой беспечной маркитантке, когда ее капризы давили его мысль, когда он чувствовал свое одиночество. Но и здесь он оставался верен себе и настроения свои и мучительное раздумье умел передать и смягчить в художественном образе.

Я помню, однажды он принес бронзовую отливку орла с распростертыми крыльями. Орел судорожно вцепился в пустую скорлупу яйца и силился оторвать его от земли. Талантливый безымянный скульптор запрокинул голову орла кверху и заставил его смотреть в пространство. Николай Георгиевич долго рассматривал скульптуру и сказал наконец: «Так каждый из нас, как этот орел, тащит пустую расколотую скорлупу своей жизненной цели, а запрокинутая голова не дает ему видеть, что скорлупа пуста. А впрочем, может быть, в этом и заключается счастье, чтобы не видеть и верить...»

Но это были минуты, а обычно радостное ощущение жизни, приветливая улыбка, беззлобный смех и органическая приветливость к человеку характеризовали Николая Георгиевича... Он верил в человека, и, когда бывал обманут, как, например, в денежных расчетах, он считал, что обманувший его не виноват, что обстоятельства явились причиной этого случайного, по мнению Николая Георгиевича, поступка. Дав такое объяснение, он снова продолжал верить тому же самому человеку.

Вероятно, больше всего ценил он в других человеческое достоинство. И здесь, в уменье подойти к человеку, в уменье помочь его горю и сделать это так, чтобы не оскорбить его самолюбия, чтобы не подчеркнуть свое превосходство над другим,— в этом сказывалась присущая Николаю Георгиевичу исключительная чуткость и мягкость, в этом было его изумительное искусство психолога.

Он до страсти любил делать другим подарки и, даря кому-нибудь вещь, радовался, быть может, больше, чем тот, кто получал. В отношениях с людьми, где бы я ни припомнил его, говорил ли он с инженером или с ученым, шутил ли с женщиной, обсуждал ли вопрос о хозяйстве с крестьянами, смеялся ли с ребенком,— везде и повсюду он умел это делать так, что никогда не чувствовалось превосходства его возраста, положения или знаний. В отношениях с людьми он умел находить ту равнодействующую, при которой с каждым ставил себя в равное положение, заставляя себя понять психологию и круг интересов своего собеседника. Быть может, в этом и заключалась главная причина его обаяния, быть может, поэтому у него было так много друзей, быть может, поэтому он повсюду был своим, милым и желанным. Но особенно осторожен бывал Николай Георгиевич с людьми, стоявшими ниже его на общественной лестнице. Он часто говорил нам, подросткам,— своим сыновьям и мне,— что можно в некоторых случаях объяснить, понять и даже оправдать резкость, грубость и дерзость с теми, чье положение в обществе или чьи возможности в жизни равны вашим. Но с человеком, который зависим от вас, который не может поэтому ответить, у которого самолюбие обострено, нужно быть сугубо осторожным, чтобы не оскорбить и не принизить его человеческое достоинство. Так думал и поступал Николай Георгиевич, и мне думается, что в этой чуткости и была причина той истинной популярности, которой он пользовался среди рабочих, подчиненных ему, и среди крестьян, с которыми он имел постоянную связь при занятиях сельским хозяйством.

Еще один штрих,— отношение Николая Георгиевича к детям.

Дети для него были источником непроходящей радости. С детьми он отдыхал, с детьми он по-детски смеялся и трепетал сам их маленькими, такими смешными, такими наивными радостями. А мы, дети, жадно ловили его

свободные минуты, окружали, тянули каждый в свою сторону и просили все новых и новых сказок, какие творились им здесь же на месте, творились с неподражаемым мастерством. А затем уже наступала и наша очередь,— Николай Георгиевич настойчиво требовал сказок от нас, и наши неопытные наивные попытки заставляли его смеяться заразительно и поощрительно. Никакой принужденности не было между ним и нами. Это был товарищ, это был друг, он умел понять нашу детскую тревогу и наш детский интерес.

Иначе подходил к нам Николай Георгиевич, когда мы стали подростками. Здесь он поднимал нас до уровня своих интересов. Когда умер А. П. Чехов, мне было 13 лет, и Николай Георгиевич писал мне о том, что умер самый чуткий и отзывчивый и, вероятно, самый страдающий человек в России; вероятно, мы даже не можем понять сейчас всю величину и значение потери, какую принесла эта смерть. «А что ты думаешь об этом? Напиши мне». Я помню то гордое чувство, какое возникло при сознании, что взрослый и притом большой человек говорит со мной о другом большом человеке, как с равным. Я много думал тогда над поставленным вопросом и писал об этом Николаю Георгиевичу.

Именно приобщая нас к кругу своих интересов, поднимая нас до себя и разговаривая с нами, подростками, как с равными, он заставлял нас развиваться скорее и разностороннее, чем это делалось книгой и школой. Николай Георгиевич был противником запретов в воспитательной работе, он не признавал бездоказательных утверждений, какие так часто слышат дети со стороны взрослых, вроде того, что так делать нельзя, просто потому, что нельзя. Его воспитательскими приемами были пример и убеждение.

Однажды в деревне, летом, нас четыре мальчика, в возрасте 11 и 13 лет, тайно ночью вылезли через окошко, прокрались по темным дорожкам сада к реке, сели на плот, сколоченный накануне днем, и до зари плавали на реке; утром, мокрые от речных брызг и росы, осторожно пробрались домой и, так как никто нас не встретил, успокоенные заснули. Но оказалось, что кто-то слышал, как мы убегали из дома, слышал звон разбитого стекла. Все взрослые в доме всполошились, когда узнали, что нас нет на месте, долго искали, пока не увидели на реке и не убедились в том, что мы благополучно возвращаемся домой. Вечером на следующий день Николай

Георгиевич пригласил всех нас к себе и долго говорил с нами. Это не был выговор или упреки, он просто рассказал о том, как весь дом был напуган неожиданным исчезновением, как все были взволнованы и не спали до утра. Я не знаю, как это было достигнуто, но только все мы осознали необдуманность поступка, и рассказ Николая Георгиевича вызвал по крайней мере во мне чувство такого жгучего, непередаваемого стыда, что мне долгое время неловко было встречаться с домашними.

Когда, после почти 2-летнего отсутствия, Николай Георгиевич вернулся в 1906 г. из Маньчжурии в Петербург, он, как сам признавался, не узнал нас, бывших теперь в возрасте 13—20 лет. Все мы,— его сыновья, я и наши многочисленные товарищи,— считали себя социалистами и, как вся Россия в то время, спорили по различным программным вопросам. Николай Георгиевич был поражен этой новой для него молодежью, он был поражен той искренностью, с какой молодежь относилась к вопросам революции. Он жадно присматривался к ней и, за несколько дней до смерти, зафиксировал свои новые наблюдения в драматическом этюде «Подростки», списанном с действительности и явившемся первым его посмертным произведением.

Широко образованный, левый марксист, тесно связанный с деятелями первой русской революции, он глубоко радовался тому огромному психологическому сдвигу в обществе, какое он тогда наблюдал. Он радовался тому общественному смеху, который выявлялся в виде многочисленных сатирических журналов. В этом смехе он видел залог и победу революции, он приводил примеры такого же общественного смеха из времен Великой французской революции. Хотя в конце 1906 года уже начинала спадать волна подъема первой русской революции, хотя уже чувствовалась наступающая реакция, тем не менее Николай Георгиевич твердо верил в победу революции. С этой уверенностью он и умер [...]

Гарин умер, прожив яркую, красивую жизнь, и оставил яркое, незабываемое воспоминание о себе, как о человеке с ласковыми молодыми глазами, с богатой творческой мыслью, горячим сердцем, безгранично отзывчивым к судьбам того общества, в котором он жил, и к тем отдельным людям, с какими сталкивала его жизнь.

А. Я. БРУШТЕЙН

Я видела его только три раза. И оттого, что это были последние дни его на земле,— о чем никто, в том числе и он сам, даже не подозревал,— воспоминания о нем, яркие, светлые, подернуты грустной обидой на судьбу. Было ему тогда только 54 года, ему еще не надоела ни одна земная радость, он был полон жизни, сил, творческого подъема. Жить бы ему еще да жить...

Суббота

Это была одна из ноябрьских суббот 1906 года. Нам позвонил по телефону известный экономист П. П. Маслов:

— Приходите вечером: Гарин приехал.

Мы уже сидели у Масловых, когда к ним приехал Николай Георгиевич Гарин-Михайловский с женой Надеждой Валериевной.

Очень трудно передать атмосферу, окружавшую этого человека! Когда я сегодня увидела портреты его в обеих Больших Советских Энциклопедиях, я не знала, плакать мне или смеяться, глядя на изображенного там пожилого дядю, бородатого и скучного, как какой-нибудь умеренно либеральный председатель уездной земской управы того времени... Прочитав к тому же во втором издании БСЭ, что герой четырех романов Гарина, Тема Карташев, «не сумел стать на путь борьбы с существующим строем», а еще четырьмя строчками ниже, что и сам Гарин-Михайловский «не сумел с достаточной художественной силой и глубиной показать рост революционных настроений среди студенчества...», я подумала с горечью: «Экие, прости господи, бойкие умельцы! И как это легко было, по их представлению, «суметь» 60—70 лет тому назад сделать то, о чем у них самих нет сегодня никаких представлений, кроме скучно-книжных!»

Н. Г. Гарин-Михайловский был писатель выдающийся, талантливый — так воспринимали его и писатели и читатели. Первые же книги — «Детство Темы» и «Гимназисты» — сразу сделали его известным и любимым, потому что в этих книгах читатель узнал и себя и свою эпоху. Тонкое и глубокое проникновение в душу детей и подростков позволило Гарину беспощадно обнажить порочность современной ему системы воспитания в семье — даже культурной! — и жалкое убожество гимназий, не дававших, в сущности, никаких знаний, цинично-

жестоко травивших самых лучших детей, самых честных и чистых... Вместе с тем не было в книгах Гарина тенденциозно-указующего перста, это не были те книги, о которых Чехов говорил, что не надо нарочно писать про злого городового. Нет, даже на самых мрачных страницах голос Гарина был звонкий, радостно уверенный в том, что описываемое им зло будет побеждено, сметено революционным будущим России. Книги Гарина любимы и сейчас, как талантливые и правдивые картины прошлого.

Когда Н. Г. Гарин вошел в столовую Масловых, где мы все его ждали, он просто ослепил нас своей праздничной яркостью. Он был на редкость красив — высокий, статный, как прекрасное, сильное дерево, глаза казались синими, а волосы были седые, почти белые. Праздничность была и в присущей Николаю Георгиевичу неизбывной молодости — казалось, ей нет и не будет износа! — талантливости, которая переполняла его через край, в увлеченности всем, что бы он ни делал, а главное, в поэтическом ощущении жизни. Он был поэтом не только в том, что писал, но, пожалуй, всего больше в своей профессии инженера — строителя железных дорог. Его увлекала картина, ясно им видимая, когда в огромных, пустых российских просторах загорятся огни бесчисленных строек, загрохочут взрывы на месте будущих туннелей, поезда понесут новую, умную жизнь в безвестные «пропадинские» медвежьи углы. И сам Николай Георгиевич был похож на такой сияющий огнями экспресс,— среди всеобщего смятения и уныния после разгрома революции 1905 года, среди впавших в отчаяние, потерявших надежду он, хорошо знавший жизнь, шел спокойный, уверенный, и при взгляде на него думалось, что праздник еще будет, будет непременно, будет скоро.

Мы просидели у Масловых до поздней ночи. Не помню, что говорили остальные участники этой встречи,— кажется, все больше молчали и слушали Гарина. У него было что порассказать, и рассказывал он мастерски! Он объехал — а частично и обошел — полсвета, и никто не мог бы сказать, что он «не сумел» увидеть это умным зорким глазом или что он забыл хотя бы малую крупицу из того, что увидал: Николай Георгиевич прекрасно знал крестьян и современную ему деревню, где прожил несколько лет в своеобразной «реформаторской» деятельности, помогшей ему изжить народнические иллюзии и написать интересную и правдивую книгу «Не-

сколько лет в деревне». Гарин хорошо знал и рабочих, с которыми жил одной жизнью на изыскательских работах и на постройке железных дорог. Он превосходно знал тогдашнюю интеллигенцию, столичную, провинциальную, земскую. О литературе, театре, искусстве он говорил не по-дилетантски, говорил интересно и свежо. Наконец, Николай Георгиевич был жизнерадостно остроумен, в его речи сверкал и трепетал чудесный, заразительный юмор.

Уходя, Гарины пригласили нас на следующий вечер, в воскресенье, к себе.

— Вот где всех увидим! — сказал шутя П. П. Маслов.— Уже сегодня бежит по Петербургу весть: «Гарин приехал! Гарин приехал!»

— Это что же, по-вашему, как в «Бесприданнице» трактирные половые и цыгане кричат: «Барин приехал, барин приехал!» — сказал Николай Георгиевич с притворной обидой, но глаза его смеялись.— Покорнейше вас благодарю!

Дом Николая Георгиевича, его душа и кошелек были всегда широко раскрыты для друзей — и в особенности для революции, на которую он с красивой легкостью давал тысячи так, как другой не даст рубля. Первая в России ежедневная легальная марксистская газета «Самарский вестник» была создана в значительной степени благодаря щедрой поддержке Н. Г. Гарина-Михайловского. Широко давал он деньги и на другие издания — в частности, на большевистский журнал «Вестник жизни» — и вообще на революционную работу.

Воскресенье

Назавтра, в воскресенье, мы с мужем поехали на вечер к Михайловским.

Все комнаты прекрасной квартиры в Свечном переулке были полны людей, радостно слетевшихся для встречи с Николаем Георгиевичем. Тут были писатели, художники, актеры и актрисы, ученые, общественные деятели — и все с большими, известными именами. Единственный среди них молодой «просто инженер» оказался все-таки племянником Веры Николаевны Фигнер! Очень поразила меня, помню, молодая женщина-астроном, передвигавшаяся при помощи двух костылей и совершенно глухая. Слуховых аппаратов тогда не было, и ей просто кричали в самое ухо, а она отвечала очень весело и остроумно. Надо было видеть, с какой доброй лаской гово-

рил с ней Николай Георгиевич, как сердечно смотрел в ее умное, очень привлекательное лицо! Он был центром всего, все светлели при его приближении — тут бросит на ходу веселую шутку, там, присев, примет участие в споре. Казалось, уйди он — и все затоскуют, замолчат, даже лампы начнут светить вполнакала.

Было тут и немало курьезов. Например, среди гостей ходил, позируя и рисуясь, сын одного знаменитого художника (и сам художник), похожий на итальянского красавца натурщика, драпируясь в широкую античную черную хламиду на красной подкладке. Еще была среди гостей очень эффектная дама, и решительно никто не знал, кто она такая. Когда я спросила об этом у самого Николая Георгиевича, он сделал необыкновенно таинственное лицо.

— Хорошо, я скажу вам. Но вы никому не расскажете?

— Никому!

— Честное слово?

— Честное слово!

— Ну, слушайте. Эта женщина... Понятия не имею, кто она! Первый раз в жизни ее вижу!..

Таких «незнакомцев» было, вероятно, немало в этой пестрой и шумной толпе гостей.

Немного позднее сидевшая рядом со мной за столом дочь Николая Георгиевича, курсистка, Надежда Николаевна, показала мне на отца, который на противоположном конце стола, разговаривая, считал что-то, загибая пальцы.

— Знаете, что папа там сейчас делает? — спросила, смеясь, Надежда Николаевна.— Он детей своих считает. Это у него любимое удовольствие! От первой жены — столько-то от второй — столько-то...

Но Николай Георгиевич не только нежно любил всех своих детей — он умел по-настоящему серьезно уважать их. Чуть ли не все его дети сочувствовали разным политическим партиям, каким сам Николай Георгиевич никогда нисколько не сочувствовал. Старший сын, Гаря, юноша с симпатичным, умным лицом, называл себя эсэром. А самый младший, Тема, необыкновенно живой мальчик лет двенадцати, гордо говорил о себе:

— Я анархист!

— Ну, почему, собственно, ты анархист? — серьезно спрашивал Николай Георгиевич.— Чем тебе анархисты так понравились?

— А тем, что анархисты — молодцы, а все остальные — слякоть! — решительно отвечал мальчик.

Но уже под утро, когда многие гости разошлись и сам Тема-анархист давно лег спать, за столом завязалась беседа, и именно об анархизме. Видный теоретик марксизма неторопливо и уверенно стал излагать доказательства порочности анархизма.

— Одну минуту! — остановил оратора Николай Георгиевич и, обращаясь к домашним, спросил: — Темка где?

— Давно спит.

— Разбудите. Пусть придет сюда и послушает.

Через две-три минуты заспанный мальчик в длинной ночной рубашке, жмурясь на свет и протирая глаза, появился в столовой. Николай Георгиевич усадил его рядом с собой.

— Вот. Сиди и слушай. Это тебе полезно.

Сколько отцов в то время ответили бы своим сыновьям руганью и угрозами:

— Я т-тебе т-так-кой анархизм покажу, сидеть забудешь!

Николай Георгиевич уважал своего сына и верил в его способность самостоятельно разобраться в труднейших вопросах эпохи, хотел по-товарищески помочь ему... Тема уходил спать, что-то ворча, но, несомненно, призадумавшийся. А Николай Георгиевич после ухода мальчика подмигнул нам:

— Кажется, немного подействовало!

Понедельник

А на следующий день, в понедельник, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский скончался. На редакционном совещании в журнале «Вестник жизни» ему внезапно стало худо, и он умер от паралича сердца.

Те же люди, которые накануне заполняли его гостеприимный дом, теперь толпой окружали его, мертвого. Гроб стоял под висевшим на стене прекрасным портретом Николая Георгиевича. Гроб утопал в цветах, но не было обычного страшного контраста между цветами, полными жизненных соков, и мертвым телом, которое покинула жизнь: Николай Георгиевич лежал, как живой, спящий человек.

Ранним петербургским утром, похожим на поздние сумерки, гроб снесли вниз и поставили на катафалк. Вся похоронная процессия двинулась за гробом по Свечному

переулку к Лиговке. Один цветок, оторвавшийся от венка, остался лежать посреди улицы. Какой-то ребенок поднял цветок и унес.

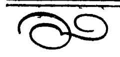
В опустевшем переулке было чувство тоски и затерянности, как на глухом полустанке, мимо которого только что проплыл сияющий огнями экспресс, проплыл — и пропал в пустой тьме.

Н. Н. МИХАЙЛОВСКАЯ-СУББОТИНА

[...] В 1905 г. мне пришлось лично быть у Горького вот по какому случаю. Отец в 1904 г., с начала японской войны, поехал на фронт в качестве инженера и корреспондента. В 1905 г. весной он ненадолго вернулся в Россию и, уезжая обратно в Маньчжурию, взял меня и моего мужа А. М. Субботина с собой. Мы прожили с отцом в Маньчжурии около 6 месяцев, и, когда в декабре 1905 г. возвращались в Петербург, отец поручил нам передать Горькому 25 тысяч на дело революции. Доставка этих денег стоила нам немало хлопот и волнений. Дело в том, что вместе с нами возвращались солдаты с фронта. Воинских поездов не хватало, и солдаты садились в пассажирские поезда. В нашем поезде купе и коридоры были сплошь забиты солдатами. При этих условиях нам приходилось спать по очереди, а ехали мы две недели. Деньги были в бумажных купюрах, но отец велел по приезде в Петербург заменить их на золото. В банке мы обменяли — получился большой, тяжелый мешок — и сразу же отвезли его на квартиру к Горькому. Он лично принял от нас деньги, поблагодарил и сказал смеясь: «Расписки не дам».

Много лет спустя, в 1936 г., когда я работала в ленинградском горсобесе, мне случайно пришлось встретиться с персональным пенсионером, который рассказал дальнейший путь этих денег. Горький передал их Литвинову (впоследствии наркому иностранных дел), а тот передал в подпольную организацию большевиков, в руки указанного персонального пенсионера [...]






КОММЕНТАРИИ

Тексты большинства рассказов, повестей и путевых очерков печатаются по Собранию сочинений в 5 томах (Государственное издательство художественной литературы, 1957—1958), наиболее основательному и обширному из выходивших в советское время.

Воспоминания публикуются по книге: Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1983, 2-е издание (составитель И. М. Юдина).

Отдельные произведения печатаются по материалам и публикациям, сверенным с архивами. Архивы, которыми пользовались составители в работе над настоящей книгой:

Отдел рукописей Института Русской литературы (Пушкинский Дом), Ленинград (сокращенно ИРЛИ), фонд 69, Гарина-Михайловского;

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва (сокращенно ЦГАЛИ), фонд 1046, его же;

Государственная библиотека им. Ленина, Москва, Отдел рукописей (сокращенно ОР ГБЛ), фонд 82, в составе коллекции Гослитмузея;

Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, Отдел рукописей (сокращенно ОР ГПБ);

Центральный государственный исторический архив, Ленинград (сокращенно ЦГИА).

Также использованы материалы госархива Новосибирской области (сокращенно ГАНО) и Новосибирского краеведческого музея, а из личных архивов — неопубликованные мемуары Г. М. Будагова, любезно предоставленные авторам его сыном Григорием Григорьевичем.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПСС—VIII — Н. Г. Гарин. Полное собрание сочинений в 8-ми томах. Изд. Товарищества А. Ф. Маркса. Пг., 1916.

СС—5 — Н. Г. Гарин-Михайловский. Собрание сочинений в 5-ти томах. Государственное издательство художественной литературы, М., 1957—1958.

ПРОЗА

ОТЕЦ

Этот рассказ является главой XII повести «Детство Тёмы», которая была впервые напечатана в журнале «Русское богатство», 1892, №№ 1—3. Печатается по СС—5, т. 1.

По-видимому, в самом конце 1891 г., либо начале следующего, когда ожидалась верстка первого номера и редакция журнала торопила с передачей ей окончания повести, автор писал жене: «Вторую часть «Темы» (которую повез я с собою) я переделал... Все говорят, что будет славная вещь. Начало уже набирается... Вот что... если тебе не трудно будет, найди «Смерть генерала» — я пока что приготовлю здесь для мартовской книжки продолжение «Темы»...» (ИРЛИ, ф. 69).

Писатель неоднократно отмечал, что тетралогия его автобиографична. Знавший хорошо Гарина и его жену критик и библиограф П. В. Быков написал большой критико-биографический очерк, предварявший восьмитомное Полное собрание сочинений писателя. Человек скрупулезно точный в сведениях, Быков сообщает следующее о беседе с писателем: «Для моих библиографических карточек я просил его продиктовать мне несколько данных о нем. Он немного задумался и диктовал мне гораздо больше и дольше, чем я ожидал, и обогатил мою коллекцию интересными сведениями, причем в заключение сказал: «В «Детстве Темы» вы прочтете много интересного из моей жизни... Там нет и тени вымысла, я все рассказал без утайки... и без рисовки!»

Вот что сообщает Быков на правах первооткрывателя, получившего сведения из первых рук: «Михайловские — старые дворяне Херсонской губернии, и один из позднейших представителей их рода, Георгий Антонович Михайловский, был военным, участвовал в Венгерской кампании и, командуя эскадроном, совершил геройский подвиг — у Германштадта разбил каре мадьяр, стоявшее авангардом в долине. Этот эпизод из боевой жизни отца писателя мастерски передан в «Детстве Тёмы». После войны Георгий Михайловский представлялся с образцовой командой императору Николаю Павловичу, и государь за отличие зачислил его в лейб-гвардии уланский полк, а позже был восприемником его старших детей. В числе их был и сын Николай...» (Указ. издание, т. I, с. VIII).

Вместе с тем уточняем некоторые факты в биографии писателя, прежде всего ошибку, повторяющуюся из издания в издание. Никоим образом, при том, что в основу «семейной хроники» положена история семьи Михайловских, неверно считать, что тетралогия — «сколок» с биографии родителей, детей, самого Николая Георгиевича. Это — художественное произведение. По материалам ЦГИА (Ленин-

град), фонд 929, оп. 19, № 1020, стр. 113, Глафира Николаевна Михайловская, урожденная Цветинович (Цветунович), мать писателя, значится вдовой майора; это подтверждается также рядом других источников. Там же в ЦГИА (ф. 1343, оп. 25, № 4766) хранятся документы мужа и жены Михайловских, родителей писателя, и среди бумаг следующие: «формулярный список службе и достоинству Уланского его светлости герцога Нейсауского полка штаб-ротмистра Георгия Антонова сына Михайловского», в 1846 году 29 лет от роду. «Командующий эскадроном», еще ни штрафов, ни наград, «по выборам дворянства не служил и выбираем не был», «в походах и делах противу неприятеля не был», «беспорядков и несправедливостей между подчиненными не допускал», «жалобам никаким никогда не подвергался». А вот свидетельство, что за два года до того, в 1844-м, «ноября восьмого дня... обвенчан поручик Георгий Антонов сын Михайловский 26 лет с девицею Глафирою Николаевой 18 лет... первым браком, оба православные...» Тут мы можем указать происхождение и вычислить возраст обоих, даты их жизни: Георгий из обер-офицерских детей, 1818—1865, Глафира, дочь помещика, отставного мичмана, 1827—1886.

С. 24. *Под Германштадтом...* — Имеется в виду участие царских войск в подавлении венгерской революции летом 1849 г.

Главнокомандующий — николаевский военачальник генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич.

БЕЗДНА У МОСТА

Фрагмент главы XXI повести «Инженеры». Впервые повесть напечатана в сборниках товарищества «Знание», книги № 17, 18, 19 за 1907 г. Публикуется по СС—5, т. 2.

Сюжетом четвертой повести «семейной хроники» стала служба инженера Артемия Карташева на сооружении Бендеро-Галацкой железной дороги в конце 70-х годов. В основу легли собственные впечатления молодого инженера Н. Михайловского, связанные со службой и женитьбой. Автобиографичность ряда эпизодов подтверждается мемуарами Надежды Валериевны Михайловской — жены писателя.

«...Николай Георгиевич, впоследствии писатель Н. Гарин, описывает в своей книге «Инженеры» пережитую нами сцену на кладбище. В «Инженерах» он выводит себя под именем Карташева, а меня под именем Аделаиды Борисовны... Домой мы вернулись женихом и невестой... Нам жаль было расставаться с Николаем Георгиевичем на заре нашего счастья. Но и ему необходимо вернуться на линию, так как он получил только кратковременный отпуск... Николай Георгиевич имел возможность проводить нас на пароходе

до г. Рени, оттуда проехать поездом до места своей службы, станции Троянов Вал Бендеро-Галацкой железной дор. <...> Н. Гарин в «Инженерах» описывает наше путешествие <...> В одном из своих последних писем... Николай Георгиевич мне написал, что постройка Бендеро-Галацкой ж. д. закончена и что ему предлагают место начальника дистанции на эксплуатации этой же дороги. Однако ему больше по душе работа на постройке... Прослужив зиму в министерстве путей сообщения, ему легче будет весной устроиться где-нибудь на постройке новой дороги».

«Его порывам к плодотворной работе, встретившим столько преград,— замечает о деятельности молодого инженера К. И. Чуковский,— впервые была предоставлена воля лишь на двадцать пятом году его жизни, на той же постройке железной дороги.

Немудрено, что в своих «Инженерах» он описал железнодорожную постройку в таких обстоятельных тонах. И не только в «Инженерах», а всюду, где она изображается хоть мельком: в «Клотильде», в «Варианте», в «Сутолоке провинциальной жизни», в очерках «Вальнек-Вальновский, «На практике», «На ходу» и т. д. Никогда еще в русской литературе не звучало таких славословий постройке тоннелей, мостов, проведению рельсов. Гарин с таким увлечением рассказывает о св'аях, ватерпасах, нивелирах, подрядчиках, десятниках, что каждая подробность его инженерного дела становится нам странно близкой, и мы вместе с ним торжествуем, когда по только что проложенным рельсам проносится первый паровоз». (К. Чуковский. Современники. М.: Молодая гвардия, 1962, очерк «Гарин».)

КОРОТЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Впервые — в газете «Волжский вестник» (Казань) от 23 сентября 1894 г. Печатается по СС—5, т. 3.

В письме к А. И. Иванчину-Писареву от 10 июля 1894 г. автор предлагал «ввиду солености «Деревенских панорам» включить в отдельное их издание очерки о сибирских изысканиях 1891 г. (напечатаны несколько позднее, в августе 1894 г. частично в столичной газете «Русская жизнь», частично в «Самарском вестнике» весной 1897 г.), а также «Бурлаков», «Немальцева», «Коротенькую жизнь», «На ходу». «От этого прибавления книга много выиграет... выйдет одна очень содержательная книга о деревне». Но реализован замысел был отчасти — вышла в «Панорамах» лишь «Коротенькая жизнь». У сборника характерное посвящение: «Тебе, болевшей душою за мрак и нищету народа, тебе, моему другу, товарищу, жене моей, Надежде Валериевне Михайловской посвящаю я свою невеселую книгу». Рассказ «Коротенькая жизнь» имеет посвящение «дорогому моему сыну Сереже».

В «Деле о службе инженера Николая Егоровича Михайловского 2-го» (ЦГИА, фонд 229, оп. 19, № 1020) значится, что Сергей — второй сын, родился в сентябре 1885 г. Пошел по стопам отца — был инженером-горняком, написал ряд работ по своей специальности. Упоминается в письмах 1905 и 1906 годов из Маньчжурии, стал прообразом одного из героев пьесы «Подростки» (1906). Гимназистом и студентом участвовал в антиправительственных выступлениях в Петербурге, где учился. В письме к жене от 24 декабря 1905 г. Гарин благословляет старших сыновей на борьбу с самодержавием, особо передавая привет «защитнику вдов и сирот и брата Миши — нашему Сереже» и посылая его к А. М. Горькому для работы в социал-демократической партии. Сергей Михайловский умер в 1927 г.

Тема напрасной гибели «Ломоносовых, всех этих гениев ума в стомиллионной массе», затронутая в «Коротенькой жизни», всегда волновала писателя. В рассказе она соседствует, сближается с темой мужества, благородного самоотвержения, на которое оказался способен подросток, спасающий товарища и гибнущий сам. Тема эта проходит через все творчество Гарина.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

Впервые — в газете «Русские ведомости» (Москва) от 17 декабря 1894 г. Печатается по СС—5, т. 3.

Очерк был включен в четырнадцатитомное издание «Знание» — «Освобождение» (том XIV, ПБ, М., 1914).

БАБУШКА СТЕПАНИДА

Впервые — в «Русском богатстве», 1894, № 1. Печатается по СС—5, т. 3.

Рассказ входил в цикл «Деревенские панорамы», печатался в их составе в том же году (№№ 1—3, 5).

«Какой богатый материал накопляется у меня,— сообщал Н. Гарин жене с линии в письме от 30. IX. 1892 г.,— и что это со временем за красивые страницы будут человеческого отупения под влиянием векового рабства мысли и страха с переменой условий жизни лишиться жизнеспособности к производительному труду горемычного куска хлеба. И когда с реформой сила обстоятельств все-таки вырывает этот кусок, ужас и паника уцелевших: только бы кисти хватило» (ИРЛИ, ф. 69).

Пронародническая и марксистская критика совершенно по-разному оценила рассказы и повести цикла.

Критик Н. Ф. Николаев в «Русской мысли» (1894, № 4, отд. II,

с. 218, 219): «Самая сущность изображаемых г. Гариным явлений народной жизни и взгляды на них автора могут до известной степени возбудить сомнения. Г. Гарин, бесспорно, сильно, даже, пожалуй, страстно любит народ, эту темную, бесправную массу, но... Странная это любовь! Всего вернее ее можно назвать деспотической и карающей и вместе с тем мучительской любовью. Автор с каким-то наслаждением боли останавливается на мрачных сторонах народной жизни. Для него везде на первый план выступают невежество, дикость, зверообразие этой жизни.

...Нам думается, что г. Гарин пересаливает в своем карающем народолюбии, и пересол подобного рода может повредить развитию его таланта...»

Так предупреждали «хранители устоев» — в противовес «ученикам».

В «Мире божьем» (по-видимому, передовой критик А. И. Богданович) думали иначе (1895, № 8, с. 302):

«Автор не выбирает своих героев, не ставит их в исключительное положение,— он рисует условия, при наличности которых эта жизнь и не может быть иною... Не останавливаясь на подробностях, не отделывая мелочей,— двумя-тремя яркими, резкими, как бы небрежно брошенными штрихами г. Гарин очерчивает каждое лицо, встающее перед нами как красноречивое олицетворение бедности, невежества и почти первобытной дикости. Но ни на минуту не изменяет автор художественной правде, и в самых темных моментах изображаемой им жизни вы не увидите утрировки, преувеличения или неверного освещения.

...Да и к чему смягчения правды? Даже самая суровая, она в себе самой носит исцеление. И как ни темны рисуемые автором картины, от его деревни веет, в общем, здоровой силой, такой мощью жизненности, что у читателя ни на минуту нет сомнения в возможности иной жизни, иных условий, при которых не дичали бы ни человек, ни животное, ни растение».

«Деревенские панорамы», явившиеся обвинением царскому режиму в разорении деревни, были включены автором во второй том Сочинений (СПБ, 1895).

ИСПОВЕДЬ ОТЦА

Впервые — в «Волжском вестнике» от 26 января 1896-го под названием «Горе и счастье» и с подзаголовком «Рассказ отца». Перепечатан в «Самарском вестнике» 3 марта 1896 и — под современным заглавием — в «Журнале для всех», 1899, № 3. Печатается по СС — 5, т. 4.

Сюжетом очерка стала гибель старшего сына писателя, Николая (родился в декабре 1881 года, умер, по-видимому, не дожив до

десяти лет). Е. Н. Боратынская ошибочно смешивает с этим другое произведение — «Коротенькая жизнь».

Очерк посвящен автору воспоминаний.

Напечатавшая рассказ прогрессивная казанская газета сообщает следующее: 25 января состоялся благотворительный вечер с участием писателя, и «главный интерес вечера сосредоточился на г. Гарине, которого молодежь встретила восторженно и после того, как он прочел свой интересный и так тепло написанный рассказ, оконченный накануне и напечатанный теперь в № 24 «Волжского вестника», неоднократно вызывала его».

При новой публикации очерка в «Журнале для всех» перед разделом «Из мира детей» было помещено небольшое вступление автора: «Я задумал несколько очерков из детской жизни. По соглашению с редакцией очерки эти от поры до времени будут появляться на столбцах этого журнала. Два-три из них были напечатаны раньше в разных провинциальных изданиях и войдут сюда в переработанном виде». Но в таком виде замысел осуществлен не был.

ЗЛЫЕ ЛЮДИ

Рассказ написан, по-видимому, в 90-х годах. Рукопись хранится в фонде 69 Гарина-Михайловского, ИРЛИ. Опубликован в газете «Неделя», 1962, № 46, сс. 18—19. Первоначально носил заглавие «Злой человек», не завершен автором.

БРОДЯЖКИ

Рассказ создан на сибирском материале, что позволило датировать его первой половиной 90-х годов. Рукопись (первоначально — «Бродяжка») находится в фонде 69, ИРЛИ. Опубликовано произведение в журнале «Сибирские огни», 1966, № 3, не окончено.

ДВА МГНОВЕНИЯ

Впервые — в «Самарском вестнике» от 1 января 1897 г. Печатается по СС—5, т. 4.

В «Формулярном списке» Н. Г. Михайловского отмечено: 20 марта 1880 г. «уволен в общество Закавказских железных дорог на постройку Батумского участка с зачислением по спискам министерства». Ровно через два года, в феврале 1882 г., он вынужден был покинуть службу, не желая участвовать в нечестном подряде. Об этом Надежда Валериевна Михайловская рассказала в своих воспоминаниях.

КЛОТИЛЬДА

Впервые — в журнале «Начало», 1899, № 1. Печатается по СС—5, т. 4.

Как свидетельствует сам автор, замысел повести возник на корабле в Атлантике. Гарин поделился им с попутчиком-американцем. И хотя писатель рассказывал по-французски, собеседник уверился, что будет шедевр, если так же хорошо выйдет на бумаге. Повесть стала одним из лучших произведений Гарина. Горький очень высоко оценил «Клотильду».

В основу повести легли события, в какой-то мере связанные с биографией молодого инженера Н. Михайловского. В формулярном списке его значится: «Окончил в 1878 г. полный курс наук в институте инженеров путей сообщения императора Александра I с званием гражданского инженера с правом производства строительных работ... Откомандирован в распоряжение Главнокомандующего действующей армией на должность старшего техника 24 июля 1878 г.». В феврале следующего года, «вследствие расформирования полевых управлений действующей армии, отчислен за штат» и определен на гражданскую службу. Действие в повести, очевидно, и выпадает на указанные полгода, когда Н. Михайловский принимал участие в строительстве порта и шоссе в районе Бургаса.

Критика не сошлась в едином мнении о повести, оценив вещь, в общем много ниже ее достоинств, прошла мимо социально-общественной идеи произведения, не отметила романтической приподнятости тона.

В КОНКЕ

В издании СС—VIII, т. VI рассказ датирован 1899 годом.

ГЕНИЙ

Впервые — в цикле «Тени земли», журнал «Образование», 1903, № 4 («Художник», «Гений», «Вероника»). Печатается по СС—5, т. 4. В ПСС—VIII в т. VII датирован 1901 годом. Опубликован в «Самарской газете» в сентябрьском номере 1901 года, где произведение сопровождается примечанием Гарина: «В основание рассказа взят подлинный случай, сообщенный автору... Фамилия еврея Пастернак...»

В своих воспоминаниях о Гарине Горький ошибочно назвал прототипа Либерманом, прав оказался Н. Гарин.

«Он рассказывает,— писал К. И. Чуковский,— в очерке «Гений» о гениальном математике, который по титанической работе ума мог бы сравняться с Ньютоном... Спившийся Ломоносов, сошедший с ума

Ньютон, красавица, покрытая струпьями,— в этой страдальческой троице для Гарина вся суть окружавшей его современности. Страшная машина для калечения сильных, богато одаренных людей — вот что такое была для него тогдашняя русская жизнь, и он, не отрываясь, следил, как лихо работает эта злая машина, изо дня в день, с утра до ночи ломая человеческие кости» (см. К. Чуковский. Современники. М.: Молодая гвардия, 1962, очерк «Гарин»).

БАБУШКА

Впервые — в «Русском богатстве», 1904, № 2. Печатается по СС—5, т. 4.

Высокую оценку произведение получило в «Журнальных заметках» критика-марксиста А. В. Луначарского («Образование», 1904, № 5). Сильная и горячая героиня рассказа — рабыня желтого дьявола — отдала «все в жертву идолу: свою честь, честь семьи, счастье внука,— и это, действительно, какая-то самоотверженность, это психология пчелы, ставшей органом улья: фирма поработила своих владельцев, как поработила она тысячи свободных людей». Горький в один ряд с гаринскими шедеврами — первыми тремя частями тетралогии и «Клотильдой» — поставил и этот рассказ.

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. ПО ЗЕМЛЕ СИБИРИ.

Карандашом с натуры

Очерки публиковались впервые под заглавием *«Карандашом с натуры»* в столичной газете «Русская жизнь», 1894, от 8, 17, 21 и 30 августа (№№ 209, 217, 221, 230) и под тем же названием в губернской волжской газете «Самарский вестник», 1897, от 9 марта (№ 55); в этой публикации обещанное «продолжение будет» не последовало. В ПСС—VIII, т. VII очерки 1894 г. появились под названием *«Карандашом с натуры.* По Западной Сибири», а очерк 1897 г.— *«По земле Сибири.* Карандашом с натуры». Ради унификации названий и устранения тавтологии в них в заголовок выносим географический признак, как более характерный для творчества позднего Гарина.

С. 166. *...знаменитые демидовские заводы...* Демидовы — русские заводчики и землевладельцы, из тульских кузнецов; в конце XVIII в. принадлежали к высшей знати, основали свыше 50 заводов, которые давали 40% выплавки чугуна в стране.

С. 170. *Тавлинка* (у с т.) — плоская табакерка из дерева или бересты с ремешком на вставной крышке.

С. 171. *Исправник* — начальник полиции в уезде.

С. 172. *Муравьев* — Амурский Н. Н. (1809—1881) — государственный деятель и дипломат, граф. В 1847—1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири. 28 мая 1858 года подписал Айгунский договор между Россией и Китаем, по которому была определена современная граница между государствами, прошедшая по Амуру. Способствовал изучению и освоению Сибири.

С. 173. *Пол-аршина* — в аршине 72 см.

С. 174. *Триковый* — вязаный, трикотажный.

С. 177. *Квадратная сажень* — 4,7 кв. метра, т. е. при пересчете на современные единицы исчисления — средняя урожайность на землях Западной Сибири составляла около 13 центнеров с гектара, а в Самарской губернии — менее 6 ц с га.

С. 178. *Прасол* — оптовый скупщик некоторых продуктов (мяса, рыбы и др.), а также скота.

С. 179. *Верста* — составляла 1,0668 км.

С. 180. *Кабинетская земля* — личная собственность царя, находилась в ведении «Кабинета его величества».

С. 181. *Тальник* — кустарниковая ива.

Мартышки (о б л.) — так называют крачек, реже чаек.

С. 182. *Каинск* — так до 1935 г. назывался город Куйбышев Новосибирской области, на реке Томь, родина В. В. Куйбышева.

С. 188. *Лагун* (у с т.) — деревянная емкость для жидкости, род бочонка.

Ильин день — праздник, посвященный пророку-громовержцу Илье (отмечается 20 июля по ст. ст.).

С. 192. *Мировой* — мировой судья, единолично рассматривавший мелкие гражданские дела.

С. 197. *Все заботятся, чтоб не измирщиться...* — старообрядцы проповедовали отделение от других людей, жизнь замкнутыми общинами.

С. 198. *...нас еретиками, никоновыми антихристами величают...* — Никон (1605—1681), русский патриарх с 1652 по 1658 гг., провел церковные реформы, объявив всех несогласных с ними еретиками.

...все это языческое тянется от владимирских времен... — Владимир I Красное Солнышко (ум. в 1015 г.), князь новгородский и киевский, ввел в 988—989 гг. в качестве государственной религии христианство, однако языческие верования оставались длительное время.

...каким перстом крестишь себя... — старообрядцы в отличие от «ортодоксальных» православных верующих крестили себя (осеняли крестным знамением) двумя, а не тремя пальцами.

С. 199. *Сусалы* (сусала, сысала — г р у б.) — скулы, морда, рыло.

С. 200. *...я теперь ваше благородие стал...* — так обращались к лицам IX—XIV классов Табели о рангах (обер-офицерские чины).

ИЗ ОКНА ВАГОНА

От Петербурга до Триеста

Публикуется по СС—VIII, т. VI, здесь очерк датирован 1899 годом.

С. 202. *Редингот* (у с т.) — длинный сюртук широкого покроя.

С. 203. *Сенкевич Г.* — польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии (1905).

С. 204. *Савояр* — человек, живущий мелким поденным трудом: уличный музыкант, чистильщик обуви, трубочист и т. п.

Гонтовый — сделанный из узких, длинных дощечек, особым образом оструганных (п о л ь с к.).

Чичероне (и т.) — гид, проводник, дающий объяснения туристам.

С. 205. *«Волшебная флейта»* — опера В.-А. Моцарта (1791).

...празднование юбилея их престарелого императора — Франц Иосиф I родился в 1830 г.

Не будем вспоминать старых ошибок — подразумевается участие русских войск в подавлении народного восстания в 1848—1849 гг.

Клейдесдали, першероны — породы лошадей-тяжеловозов.

С. 206. *Япония... с переменой своих политических форм...* — имеется в виду буржуазная революция (так называемая «Мэйдзи исин») 1867—1868 гг., в результате которой резко усилилось социально-экономическое развитие страны.

С. 208. *Римский, или латинский парус* — небольшой косой треугольник, тип парусного оснащения легких судов.

С. 209. *Ричард Львиное Сердце* — с 1189 г. король Англии, участник 3-го крестового похода (1189—1192).

Несчастный Максимилиан — имеется в виду трагическая судьба австрийского эрцгерцога Максимилиана I Габсбурга (1832—1867). Во время англо-испано-французского вторжения в Мексику он в 1864 г. был провозглашен императором страны, но после неудачи интервенции и вывода французских войск был захвачен восставшими мексиканцами и казнен. Тип слабого, бесхребетного правителя, марионетки в руках антинародных сил, заслуживающего не гнева автора, а жалости.

С. 210. *Габсбургский род* — королевская династия, правившая Австрией, Венгрией, Чехией, Испанией.

Наполеон III — племянник Наполеона I Бонапарта, второй и последний император Франции (низложен в 1870 г.).

ВОКРУГ СВЕТА

Впервые — в издании Н. Г. Гарин. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. СПБ., «Знание», 1904. Перепечатано в ПСС—VIII, т. VII. Печатается по СС—5, т. 5 и ПСС—VIII.

С. 211. *Сандвичевы острова* — второе название Гавайских островов. В 1898 г. были аннексированы США и включены в состав государства в качестве «территории», ныне — 50-й штат.

С. 212. *по окончании войны...*— Имеется в виду испано-американская война 1898 г. за передел колониальных владений. США нанесли поражение Испании и захватили ее колонии.

...положение там создалось очень тяжелое для американцев...— Имеются в виду дискриминационные меры испанской колониальной администрации против американских торговцев и бизнесменов на Филиппинах.

С. 213. *Киплинг Дж. Р.*— выдающийся английский писатель.

С. 214. *Бисмарк* фон Шёнхаузен — князь, первый рейхсканцлер Германии (1871—1890), объединил раздробленные немецкие государства в единую империю. При нем велось несколько войн.

С. 218. *Гонолулу* — административный, экономический и культурный центр Гавайских (Сандвичевых) островов.

С. 219. *Три года назад эти острова были Гавайской республикой...*— Гарин-Михайловский не совсем точен: после 1887 г., когда США получили право использовать бухту Пирл-Харбор для строительства своей военно-морской базы, на Гавайские острова начали активно прибывать американцы, вытесняя испанцев. В 1893 г. американские плантаторы при участии американской морской пехоты свергли гавайскую королеву и установили диктатуру своих марионеток. В 1894 г. (год, который имеет в виду Гарин-Михайловский) испанцы уже не царили на островах, а была провозглашена Гавайская республика — зависимое от США государство.

Каракао — династия гавайских королей.

Мауна-Лоа — вулкан на острове Гавайи.

С. 220. *«Труженики моря»* — роман Гюго, опубликован в 1866 г.

С. 225. *Кок-мартин* (или просто мартини) — коктейль из джина (можжевеловой водки), вермута и горькой настойки.

С. 226. *...Зола... защитник Дрейфуса.*— Золя в 1898 г. выступил с памфлетом «Я обвиняю» в защиту офицера генштаба капитана А. Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу Германии. Под давлением общественности многих стран дело было пересмотрено, а Дрейфус, приговоренный к пожизненной каторге, помилован; в 1906 г. его реабилитировали как невинно осужденного.

С. 229. *Гарланд* (рантье) — в капиталистических странах люди, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала или за счет доходов с ценных бумаг.

С. 230. *Вавилонская башня* (библейск.) — строившаяся «до неба» в Мессопотамии (Вавилон) башня. Синоним предприятия огромного масштаба.

Дюлонг — де Лонг Георг-Вашингтон (1844—1881), американский полярный исследователь, путешественник, отличался необыкновенным упорством в достижении цели. В 1879 г. лейтенантом, начальником экспедиции на паровом судне «Жаннета» отправился искать путь на полюс. В устье Лены яхта была затерта льдами, а в 1881 г. раздавлена ими; де Лонг со своей партией погиб от голода и холода осенью того же года. Острова в Восточно-Сибирском море названы его именем. Часть экспедиции спаслась и вышла к Верхоянску. Демократическая печать и общественность России воздала должное подвигу выдающегося американского исследователя. Гарин-Михайловский в очерке «Жизнь и смерть» (1896) высоко оценил мужество де Лонга и его вклад в науку. В. Г. Короленко в «Истории моего современника» писал:«Затерявшийся экипаж «Жаннеты» прибыл к Верхоянску, поставив местного исправника перед альтернативой: не то принять гостей с честью, не то для безопасности посадить их в каталажку... Но политические отговорили от крутых мер, и американским гостям была предоставлена свобода... Президент североамериканских штатов прислал ему впоследствии почетную шпагу... и его имя как просвещенного администратора стало на время известно всему миру. Кто знает, что было бы, если бы у русского правительства не было похвального обыкновения заселять самые отдаленные окраины европейски образованными людьми?» (Собр. соч. в 10-ти тт. М., 1955, т. 7, с. 291).

С. 233. *Десятина* — русская мера площади, равна 1,09 гектара.

С. 236. *Штофная мебель* — мебель, обитая штофом — тяжелой шерстяной или шелковой декоративной тканью.

С. 239. *Мормоны* (или «Святые последнего дня») — члены религиозной секты в США.

С. 241. *Неудачи с Фашодой.* — Фашода — город в центральной части Судана на левом берегу р. Белый Нил. В сентябре 1898 г. английские войска, стремившиеся занять всю долину Нила, вышли к Фашоде, захваченной французским отрядом. Англия, угрожая Франции войной, ультимативно потребовала очистить город («фашодский кризис»), условия были приняты.

Сен-Жерменский отель — Бурбонский дворец, одна из резиденций королей в Париже до Великой Французской революции. В переносном смысле — «высший свет» королевства.

С. 247. *...период тех трех недель...* — в октябре 1898 г. Англия начала приготовления к войне с Францией из-за Фашоды.

С. 249. *Жорес Ж., Гед Ж.* — лидеры французского и международного социалистического движения.

ПО КОРЕЕ, МАНЬЧЖУРИИ И ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ

Карандашом с натуры

Впервые путевые очерки под излюбленным гаринским названием «Карандашом с натуры» увидели свет в столичном журнале «Мир божий», 1899, №№ 2—7, 10—12. После известной стилистической доработки, уже под заглавием «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры» (с очерками «Вокруг света») появились отдельным изданием в «Знании», СПБ, 1904. Публикуем по СС—5, т. 5.

В последнем издании, а также в книге «Из дневников кругосветного путешествия» (По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову), под редакцией, со вступительной статьей и комментариями В. Т. Зайчикова, 3-е сокращенное издание, М., Географиздат, 1952, читатель найдет пояснения, интересные данные, относящиеся к очеркам писателя — в основном специального характера.

С. 260. *Сарты* — название оседлых узбеков в отличие от кочевых.

С. 261. *Урожай в 250 пудов с десятины...* — только хороший, т. е. 40 центнеров с га.

С. 262. *Благовещенье* — один из двунадесятых (основных) христианских праздников, возвещение архангелом Гавриилом деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа.

С. 264. *разросся... в 91 году поселок, называвшийся Новой Деревней...* — будущий город Новосибирск (до 1925 г. Новониколаевск), основанный Н. Г. Михайловским.

С. 268. *Становой пристав* — должностное лицо, ведавшее станом — административно-полицейским округом из нескольких волостей; в уезде 2—3 стана.

С. 269. Давая инициалы, автор подразумевает под ними следующих людей — членов экспедиции: А. И. (З.) — Александр Иванович Звегинцев, начальник экспедиции; Н. А. (К.) — Николай Андреевич Корф (подполковник, барон), помощник начальника; Н. Е. (Б) — Борминский, техник; А. П. (Андрей Платонович) — Сафонов, инженер-путеец, помощник, возглавил отдельный отряд, который обследовал среднее течение реки Туманган; С. П. (К) — Кишенский, глава геологической партии; В. А. (Т.) — Тихов, возглавил партию, занимавшуюся исследованиями лесов в бассейнах рек.

С. 270. *Прюнелевые ботинки.* — Прюнель — тонкая плотная шелковая или шерстяная материя, идущая на изготовление обуви.

С. 278. *Кантоми* (точнее кантаоми) (кит.) — казнь за нарушение традиций, за «вредные» заблуждения, суеверия.

С. 280. *Стрельбицкий И. А.* (1828—1900) — генерал от инфанте-

рии, руководил научной экспедицией по Манчжурии и Корее (1895—1896).

С. 282. *Фут* — 30,5 см.

Кубическая сажень — равна 9,66 куб. метра.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Н. В. МИХАЙЛОВСКАЯ

Опубликованы в сборнике «Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников». Новосибирск, 1983, изд. 2-е. Печатаются по этому изданию, сверены с рукописными источниками: «Мои воспоминания о Гарине-Михайловском», ИРЛИ, ф. 69 и «Из моих воспоминаний о Н. Г. Гарине-Михайловском. Как Николай Георгиевич стал писателем Н. Гариным», ЦГАЛИ, ф. 1046, оп. 2, № 5, последние датированы мемуаристкой 5. X. 1926; этот же год можно считать датой создания воспоминаний, хранящихся в Пушкинском Доме.

Надежда Валериевна, урожденная Ча́рыкова (1859—1932), вышла замуж за инженера Н. Г. Михайловского в 1878 г. Они прожили вместе 27 лет, но и после того, как состоялся гражданский брак между Гариным и В. А. Садовской, Надежда Валериевна оставалась верна своему первому чувству. После смерти писателя (она пережила его на 25 лет) активно участвовала в издании его сочинений, помогала исследователям и публикаторам, бережно хранила каждый листок архива. Будучи женщиной передовых убеждений, истой носительницей идей «святых шестидесятых», была Гарину верной женой, соратницей, единомышленницей, первой чуткой слушательницей и первым строгим критиком его творений; как общественная деятельница выступала издателем журнала «Русское богатство» в начале 90-х гг., помощницей в сельскохозяйственных, общественных начинаниях, учительницей сельской школы в Гундуровке, фельдшерицей в той же деревне... В письмах к Надежде Валериевне Гарин не только изливал душу, делился творческими планами, деловыми успехами либо, чаще, неудачами... В его письмах, ярких, пространных, мы находим зачатки многих произведений, эпизоды, факты, характеры, диалоги, пейзажные зарисовки... Вот несколько примеров.

Письмо к Надежде Валериевне от 17. VI. 1887 г.

«Мои изыскания идут очень успешно. Я совершенно уничтожил тоннель, сократил линию, выбросил все подпорные стенки и до сих пор сделал уже экономию до 800 т<ысяч> руб. Что из всего этого выйдет, узнаю, когда приедет К. Я[1], но во всяком случае

[1] Константин Яковлевич Михайловский 1-й, начальник строительных работ, статский советник и генерал, оппонент или неприятель в ряду многих новаций инженера Михайловского 2-го.

надеюсь, что ничего, кроме хорошего, для нас не должно случиться. За границу, конечно, не поеду, ну да и бог с ней... Мои сокращения произвели страшный эффект, и ваш покорный и любящий муж — герой дня» (ф. 69, № 1).

Письмо к Надежде Валериевне из Царского Села, до 15. II.1892 г.

«Я второй день сижу в Царском. Вторую часть «Темы» (которую повез с собой) я переделал, и вышло прелестно. Все говорят, что будет славная вещь. Начало уже набирается; Станюкович говорит, что давно уже не было такой вещи и что она произведет сильное впечатление.

«Сибирскую дорогу» немного переделал и завтра отдаю в набор,— тоже хорошо...

Вот что, мое счастье: если тебе не трудно будет, найди «Смерть генерала» — я пока что приготовлю здесь для мартовской книги продолжение Темы (для генваря и февраля уже есть)...

Сегодня написал 20 писем ко всем товарищам о том, чтобы агитировали насчет подписки на «Русское богатство». Дело хорошо пойдет, бог даст... Тебе очень бы понравилось продолжение «Темы».

Письмо к Надежде Валериевне, без даты, предположительно 1892—1893 гг. из Малмыжа с изысканий.

«При нашем бездорожье узкоколейные дешевые дороги — спасение для нас,— провести их в жизнь — святое дело. Я очень рад, что во мне зажглось, и я опять воспрянул духом. Будем работать, мое счастье, пока есть последняя капля, а там после люди рассудят, что сделано. Это уже не та веселая работа молодости, когда частью ласкающая, частью ошеломленная толпа ждет каждого твоего шага, который знаешь, что вызовет успех и обратит внимание. Здесь нет показной работы, работаешь без свидетелей, но работа полезная и хорошая и в этом удовлетворение...

Я был в редакции «Волжского вестника», они меня очень любезно приняли. Редактор говорил:

— Очень, очень рад познакомиться с так быстро сделавшим себе имя писателем.

Я обещал им написать (и пишу уже) о Малмыжской дороге».

Письмо от 9. V. 1904 г. Иркутск.

«Пишу, читаю. От Иркутска поезд идет тише — 15 верст в час. Я пишу такой подробный дневник, что все помещаю там. Очень интересно услышать твое мнение о моем дневнике».

Мировосприятие Гарина-Михайловского ощущаешь в кратких словах из письма к жене из Маньчжурии в разгар революции 1905 года (ЦГАЛИ, ф. 1046, оп. 1, № 8).

«Как идут мои дела? Я только знаю, что никогда не работал так. Надеюсь на хороший исход, но еще очень много темного. Счастлив, что и мне пришлось принять маленькое участие в обновленной жизни России...

Боюсь анархии и молю все добрые силы природы вразумить все передовые наши партии постигнуть вовремя весь мрак несчастного народа, всю открывающуюся бездну. Молился бы, если бы помогло и правительство сумело понять, что дальше обманом и фальшью погубит Россию.

Я лично эволюционист и сторонник по возможности мирного развития жизни. Слишком драгоценна кровь и одинаково преступно проливать ее зачинщикам всех лагерей.

И боюсь и верю. Верю больше и счастлив, что живу и дожил до свободной России... Крепко целую тебя, деток.

Любящий тебя Ника».

Если бы мы не знали о взаимоотношениях Николая Георгиевича и Надежды Валериевны, начиная с 1895 года, то не смогли бы угадать по этим письмам, полным любви, доверия, искренности, о семейной драме обоих супругов.

С. 460. *...Батум, недавно присоединенный к России...*— Гарин-Михайловский принимал участие в войне в качестве старшего техника (по строительству шоссе и порта); «за отличное исполнение поручений в минувшую турецкую войну всемилостивейше пожалован кавалером ордена св. Станислава 3-й ст., уволен в Общество Закавказской железной дороги на постройку батумского участка» — выписки из Формулярного списка о службе инженера П. С. Н. Г. Михайловского (ЦГИА, ф. 229, оп. 10, № 1951).

Жизнь в Батуме была небезопасна...— Вот несколько фактов из жизни округи той поры: в лесу найден повешенный на дереве скелет человека; турецкие разбойники напали на крестьян, чтобы отбить скот; в дом священника ворвались неизвестные лица, похитили его дочь «и вместе с нею разные вещи»; «подожжен туземный дом (саклия) и хлев и амбар с имуществом» (ЦГИА, ф. 1286, оп. 40, № 660).

С. 466. *Прошло три года. За это время...*— В ИРЛИ (PI, оп. 5, № 368) сохранилась запись (1953 года) рассказа некоего Степана Семеновича Михайлина, по-видимому, одногодка старшего сына Сергея (род. в 1885 г.), видевшего писателя в 1897—1902 гг., в последние годы хозяйствования Николая Георгиевича в Гундуровке. Он вспоминает: Михайловский просил мужиков присылать детей к нему в школу. Домой их отпускали только в субботу, а неделю жили ребятишки в помещении при школе.

«У Николая Георгиевича особенная была манера разговаривать с людьми. Когда говорит, смотрит в глаза и все время улыбается, голос мягкий, приятный. Простота в обращении, особенно живая подвижность, тянули к нему, и человек невольно делался смелым и разговаривал с ним, как с равным. Не чувствовалось, что это «барин», а ты чумазый мужик... все выходило естественно, он и руку

подавал мужику, как равному себе». Платил за работу дороже, чем другие помещики и кулаки. Когда сгорело несколько крестьянских дворов, Николай Георгиевич помог лесом. В 1897 г. в Поволжье недород. Николай Георгиевич устроил бесплатную столовую для детей и стариков двух соседних деревень (с ранней весны и до нового урожая). Несколько лет подряд помогал крестьянам Гундуровки, Гнездина и Дементьевки деньгами, нужными им для государственных податей — имущество не продавалось с торгов. Это не считая «мелкой индивидуальной помощи».

С. 476. *...в ...рассказе «Трясина».*— Более известно другое название — «Волк».

С. 477. *...назначили министром П. С. честного человека — Хилкова...*— Михаил Иванович Хилков (1831—1909) занимал пост министра в 1895—1905 гг., также был председателем комитета по сооружению Великой транссибирской магистрали. Много и горячо помогал Гарину.

Окончание мемуаров Надежды Валериевны, хранящихся в ЦГАЛИ, следующее:

«Он твердо верил, что всякое зло в жизни устранимо, что счастье уготовано человечеству и будет его уделом — надо только работать над его достижением».

Ф. Ф. ВЕНТЦЕЛЬ

Печатаются по тексту, опубликованному мемуаристкой в журнале «Звезда», 1943, № 5—6 (в сокращении).

Фаина Филипповна Вентцель (1870—?) — литератор, знакомая Н. Гарина в пору сооружения дороги Кротовка — Сергиевск.

Вот написанный Гариным-Михайловским «циркуляр» в защиту честных государственных служащих и направленный против «привычной» коррупции железнодорожных лихоимцев. Это, по сути, документ большой общественной, публицистической силы.

«Один из служащих в центральном управлении вверенной мне дороги,— отмечает Гарин в циркуляре,— явившись в типографию, которой сделаны заказы для дороги, упрекнул управляющего в том, что, получив заказ, контора типографии медлит до сих пор с «обычной» благодарностью, заявив при этом, что «это уже так принято везде». Владелец типографии по этому поводу обратился ко мне, и служащий этот в настоящее время уже уволен из управления. Это второй случай обнаруженного злоупотребления на этой линии. По этому поводу считаю нужным обратить внимание своих сослуживцев на нижеследующие соображения. В соединенном представлении гг. министров финансов и путей сообщения в Государственный совет Кротовка-Сергиевский железнодорожный путь назван первым опытом действительно дешевого рельсового пути. Чтобы дорога эта вышла действительно дешевой, необходимо прежде всего,

чтобы и мысли не могло быть о каких бы то ни было злоупотреблениях. Считая это самым существенным вопросом в деле удешевления постройки данной дороги, я, помимо выбора главных приглашенных лиц, помимо высоких сравнительно окладов, старался дать пример прежде всего сам, как надо относиться ко всем денежным делам дороги. Отстранив от себя денежную часть, я поручил все эти дела комиссии из выбранных лиц, которая во всех своих действиях отчитывается перед учрежденным мною общим собранием всех техников вверенной мне дороги. Я считаю себя вправе требовать и от своих сотрудников, в ведении которых находятся денежные дела, такого же отношения к делу. С этой, главным образом, целью в распоряжение их предоставлен штат молодых людей, студентов, людей вполне надежных, при помощи и участии которых во всех денежных делах является полная возможность как осветить для всех истинное положение данного дела, так и гарантировать лично себя от каких бы то ни было нареканий. Мужественное возражение, которое мне пришлось услышать, что «на всякое чиханье не наздравствуешься»,— неосновательно, и противопоставить ему можно другое, более верное: «дыма без огня не бывает». И всякий, кто дорожит своей репутацией, репутацией всего дела, должен твердо помнить, что единственный путь здесь не таинственные потемки, а свет многих глаз, свидетелей данного дела. Указывая на организацию денежного дела в моей сфере, указывая на имеющийся на дороге штат студентов, я покорнейше прошу моих сотоварищей по службе, в интересах дела и их репутации, все свои денежные дела вести коллегиально и самые расплаты поручать производить всегда под непосредственным наблюдением приглашенных студентов».

А вот какой отклик в печати получили действия Гарина-Михайловского.

«Интересно знать, как-то мирятся господа инженеры с известным циркуляром строителя узкоколейной Кротовка-Сергиевской железной дороги инженера Н. Г. Михайловского (писателя Н. Гарина тоже), предлагающего подведомственным ему лицам впредь воздерживаться от всяких незаконных поборов и вымогательств, обыкновенно практикующихся при постройках железных дорог.

Не знаю, увенчается ли успехом эта попытка Н. Г. Михайловского внести новую закваску в отношения господ строителей железных дорог к постройке, ко всем соприкасающимся с ними лицам и учреждениям..., но во всяком случае честь и слава Н. Г. Михайловскому, что он первый из инженеров-строителей поднял свой обличительный голос инженера и писателя против практиковавшихся доселе порядков и первый делает попытку ввести новые». Эта заметка «Новшество инженера Н. Г. Михайловского (Н. Гарина)» опубликована в «Волжском вестнике», 1896, 18 августа, № 184.

А. В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Печатаются по Воспоминаниям, сверенным с текстом, хранящимся в ЦГАЛИ, ф. 1046, оп. 2, № 5: «Из воспоминаний народного учителя», Самара, 10. XI. 1926 г.

Александр Владимирович Воскресенский (1876—1937) — народный учитель, волжанин. С. С. Михайлин рассказывает о нем и его школе: «школа трехклассная, по программе тогдашней церковноприходской... Воскресенский — замечательный как учитель и человек. В школе абсолютно отсутствовало наказание — не били, не ставили на колени и не оставляли даже без обеда, а дисциплина была образцовая. Хотя школа считалась на началах церковно-приходской, закон божий, который считался основным предметом, изучался очень слабо. Попа в школе мы никогда не видели» (ИРЛИ).

С. 488. *...прислать продолжение «Студентов».*— Пресса единодушно отрицательно отнеслась к этой повести Гарина-Михайловского. Вот несколько отзывов демократической критики на ее появление, напечатанных в прессе обеих столиц.

«...производит такое впечатление, как будто автор хотел написать пасквиль на студентов... если бы учащаяся молодежь... была такова, то пришлось бы поставить крест над всей будущностью России». «...разочаровывают... не только в героях — в стремлении изобразить такие стороны в жизни молодежи, которые являются уродствами, извращениями нормальных общественных условий... Болезненная волна захватывает всех молодых героев Гарина». «Гарин обладает замечательной способностью... перерисовывать, накладывать на свои образы чересчур однообразные темные тени... пишет исключительно темными тонами... характером чрезмерной перерисовки... темноты тонов отличается и третья часть его трилогии «Студенты». Если бы мы поверили в описание студенческой жизни... было бы отчего в отчаяние придти... мрачна и позорна эта жизнь... какие-то идиоты, животные и декаденты... ни в семье, ни в школе, ни в общественном мнении, ни, наконец, в университетской науке — ни малейшего просвета... Вопрос о судьбах и настроениях, о развитии и направлении молодого поколения... вопрос о будущем общества».

В писателе, получившем столь единодушную критическую трепку, последняя вызвала не желание отповеди, а это обычно у Гарина рождалось при критике несправедливой. Он понял (признает в письме к Иванчину): в хоре критиков «много правды»; однако иной из них «сознательно или бессознательно валит с больной головы на здоровую: разве трудно понять, к какой части общества относится «эгоизм наших дней». Но это были слабые, не гаринские обычные — мощные «повороты», возражения настоящим противникам. Писатель

отступал под натиском справедливых упреков: «И Вильгельм Мейстер великого Гете и Карташев ничтожного Гарина — они гибнут и находят свое обновление, конечно, не на луне и не вне общества»[1].

И взялся автор за радикальную переработку неудавшейся повести (сам назвал ее «самая плохая вещь»)[2]. Исключил множество эпизодов, сцен, диалогов, персонажей. Сюжет очистился от лишнего, наносного.

Провал дорогих ему «Студентов» не мог и не стал кончиной Михайловского-писателя.

Е. Н. БОРАТЫНСКАЯ

Печатаются по Воспоминаниям, сверенным с рукописью «Несколько строк о встречах с Николаем Егоровичем Гариным (Михайловским)», хранящейся в ЦГАЛИ, ф. 1046, оп. 1, № 1; машинопись на 9 лл., без даты. В сокращении.

Боратынская Екатерина Николаевна, в 90-х гг., в пору знакомства с Гариным-Михайловским, сотрудничала в казанской прогрессивной газете «Волжский вестник».

С. 489. *...завтра у нас будет Михайловский-Гарин.* — В 1895—1897 гг. писатель был занят изысканиями и строительством дороги Кротовка — Сергиевск. Отец мемуаристки — Николай Евгеньевич Боратынский, потомок известного поэта и сам не чуждый поэзии; его жене О. А. Боратынской Гарин посвятил рассказ «Исповедь отца» (опубликован в «Волжском вестнике», 1896 от 26 января, (№ 24) под названием «Горе и счастье» с подзаголовком «Рассказ отца». Смерть сына оставила страшный рубец на сердце Николая Георгиевича. В письме к Надежде Валериевне от 6. VI. 1886 г. он признавался: «Маленьких детей я равнодушно видеть не могу...» (ф. 69, № 1, ИРЛИ).

М. ГОРЬКИЙ

Воспоминания «О Гарине-Михайловском» написаны в 1927 г., неоднократно переиздавались. Печатаются по тексту 20-го тома. Полного собрания сочинений М. Горького в 25-ти тт. М.: Наука, 1976.

Несмотря на разницу лет, оба писателя почти одновременно появились на литературном небосклоне. Внимание молодого Горького привлекли яркой правдой гаринские «Несколько лет в деревне» (1892), а три года спустя состоялось очное знакомство начальника стройки Кротовка — Сергиевск инженера Михайловского 2-го и со-

[1] Н. Г. Гарин-Михайловский. Сочинения. М., 1986, с. 368.

[2] Там же, с. 369.

трудника «Самарской газеты» Алексея Пешкова. Самарские встречи (в городе находилась контора строительства) позднее описаны Н. Гариным в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» (1900). Личное общение и профессиональное сотрудничество писателей продолжалось до кончины Гарина. Воздавая высший долг товарищу по литературному цеху, Горький подготовил к печати и выпустил в свет незаконченных «Инженеров»; этот благородный поступок навсегда останется в истории отечественной литературы примером верности лучшим ее традициям.

Нелишне напомнить, что именно через Горького, которого Гарин любил и ценил, с которым связан был идеей скорогс освобождения народа и общества от самодержавной деспотии, передавал писатель деньги на нужды революции, в частности в партийную кассу РСДРП(б).

С. 492. *Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича...* — Тейтель Я. Л. (1857 — после 1925) — чиновник Министерства юстиции, в середине 90-х гг. — судебный следователь в Самаре; после Октября — в эмиграции. Явился прототипом Я. Л. Абрамсона в очерках «В сутолоке провинциальной жизни»; близкий друг Гарина на протяжении многих лет.

Я. Л. Тейтель в своих мемуарах («Из моей жизни. За 40 лет». Изд. Я. Новолоцкого. Париж. 1925) отмечает некоторые черты поколения, к которому принадлежал Гарин-Михайловский, поступавший первоначально на юридический факультет столичного университета. «Это был самый модный факультет. Новые суды только что были введены. Имена выдающихся адвокатов пользовались большой популярностью. Спасович, Лохвинский, кн. Урусов, Плевако, Арсеньев... Уголовные процессы привлекали много публики... Чему посвятить себя — адвокатуре или магистратуре? Деятельность адвоката тогда еще была окружена некоторым ореолом. Адвокатская трибуна была почти единственным местом, откуда могло раздаваться свободное слово. Под флагом защиты виновных в нарушении законов, некоторые — идейные — адвокаты смело указывали на те болезни общества и государства, которые порождали преступления.

К речам таких ораторов общество и государство прислушивались».

Вот как Я. Л. Тейтель рассказывает о Гарине-Михайловском.

«Все было в нем обаятельно: внешняя красота гармонировала с внутренней. Большой любитель природы и детей, он художественно описывал и природу и детскую душу. Во всем у него был широкий размах, и как метеор пролетел он над землей. Не любить его было нельзя. Талантливый инженер-изыскатель, он работал также вместе с незаурядным московским миллионером, меценатом литературы и искусства, строителем железных дорог С. И. Мамонтовым, который

очень любил его. Зарабатывал он чуть ли не сотни тысяч, но легко их тратил,— давал он литераторам, политическим деятелям на издание газет, журналов, устройство театров. Всю жизнь Михайловский проводил или на пароходах, или на железной дороге. И оттуда посылал телеграммы в тысячу и больше слов в редакции журналов «Мир божий», «Русское богатство», прося вносить исправления в его статьи. Он был большой фантазер, в особенности в сельском хозяйстве. Его имение «Гундуровка» в Самарской губернии поглощало все его доходы. Он влезал в долги и был каждый год уверен, что урожай обогатит не только соседних крестьян, но чуть ли не всю Россию. Откапывал он гениальных, по его мнению, управляющих, лесоводов, выписывал из-за границы разные семена и вообще хотел вести сельское хозяйство на новых западноевропейских началах...

Всю землю свою он засеивал чечевицей и экспортировал ее в Кенигсберг, но ни он сам, ни его «гениальные» сотрудники не были практическими деятелями, а посредники, транспортировавшие его чечевицу, дававшие ему деньги под большие проценты взаймы, пользовались его ошибками, эксплуатировали его, и в конце концов имение его продано было с молотка. Всем этим Николай Георгиевич не огорчался. Он умел подчинять себе самых черствых ростовщиков. Придет, бывало, к нему кредитор с мыслью чуть ли не задушить его, но стоило только Николаю Георгиевичу заговорить, начать рисовать дальнейшие свои планы, и суровый кредитор смягчался и уходил умиленный этой беседой. Он так сильно верил в свои фантастические планы, так художественно рисовал их, что самые умные дельцы, большие практики, стали ему верить. Проездом в свое имение Николай Георгиевич часто останавливался в Самаре и по неделям жил у меня. Человек кипучего темперамента, он заставлял кипеть и все вокруг себя».

С. 493. *...Екатерина Дмитриевна, супруга его.*— Жену Тейтеля звали Екатерина Владимировна.

С. 495. *был женат... на дочери генерала Черевина...*— Здесь Горький ошибся. Надежда Валериевна была дочерью Валерия Ивановича Ча́рыкова (1818—1884), действительно статского генерала, губернатора минского, вятского, таврического, но никогда не дружившего с жандармами, тем более с царями; был образованным, просвещенным и гуманным человеком, автором ряда работ по географии, экономике, этнографии; с зятем поддерживал самые добрые отношения, но «миллионное состояние», оставленное отцом дочери и истраченное Гариным-Михайловским на «сельскохозяйственные опыты»,— одна из легенд, которыми губернская обывательская молва пыталась объяснить «обществу» причины аграрных успехов и неудач супругов Михайловских.

С. 500. *...он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить.*— Замысел рассказа о бродягах и леснике, о двух, не понявших друг друга людях, по-видимому, восходит к сибирской поре деятельности инженера Михайловского и близок теме, затронутой в неоконченных «Бродяжках»: человеческому доверию, доброте, любви к ближнему — желанию видеть в нем не недруга, а товарища по несчастью, брата по горькой доле, наконец, обрести в женщине любимую, верную в тяжкой бродяжьей жизни жену и соратницу.

С. 502. *Савва Иванович Мамонтов* (1841—1918) — деятель культуры, промышленник, меценат, был одержим идеей созидания, на этом они сошлись и сдружились с Н. Гариным; есть данные, что принимал личное участие в сибирских изысканиях последнего.

С. 503. *«Ускользнул орден-то...»* — В личном деле инженера Михайловского действительно отмечено (ЦГИА, ф. 229, оп. 19, № 1020) награждение 19. V. 1899 г. инженера орденом св. равноапостольного князя Владимира IV ст.— третьим за службу; об отмене награждения отметок не обнаружено. Мнение иных исследователей, что орден «ускользнул» из-за подписания Гариным протеста против казанских событий 4 марта 1901 г., вряд ли основательно из-за временно́й дистанции между событиями. «Обвинение в политической неблагонадежности», негласный надзор, запрет (двухгодичный, с. 5. VI. 1901) проживать «в университетских городах и фабричных местностях» (газета «Волжская коммуна», 1960 от 7. VII, № 160) сопровождали Гарина-Михайловского и его гражданскую жену В. А. Садовскую еще с середины 90-х годов и вызваны не одним каким-то действием писателя, а всем характером его деятельности: близостью к освободительным кругам народников, затем марксистов, различного рода помощью им — от укрывательства до денежных субсидий, публикацией получившего известность циркуляра против воров и взяточников на приволжской дороге и многим другим.

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

Печатаются в сокращении по книге мемуариста «Близкие тени», СПБ, 1909, и журналу «Красная нива», 1927, № 10.

Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854—1933) — писатель, публицист, общественный деятель, врач; друг Горького, Чехова, Гарина, с которым сблизился в «Русском богатстве», в телешовских «Средах», на поприще многолетней борьбы с голодом в Поволжье, протестов против самодержавного засилья в столице в 1890—1900 гг.

С. 507. *...всегда были блестящие планы.*— Вокруг Гарина-Михайловского создавались группы таких же, как он, энтузиастов железнодорожного строительства. К его соратникам можно отнести инженера Г. М. Будагова, «армянского петербуржца», сибиряка

Н. М. Тихомирова, «петербургского поляка» Евгения Подруцкого, «крымского энтузиаста» Андрея Сафонова... Известен эпизод, когда Гарин и Будагов обсуждали перспективу сооружения грандиозного моста через пролив Беринга для соединения России и САСШ.

С. 509. *...сердце оказалось неиспорченное.*— Известный русский ученый-паталогоанатом профессор Николай Яковлевич Чистович (1860—1926), консультировавший Гарина-Михайловского еще в 90-х годах в Петербурге, предсказал, что писателю жить не менее тридцати лет, так как более здорового человека он не встречал. ...Лишь только малая мышца сердца была утомлена.

С. СКИТАЛЕЦ

Публикуются по: Степан Скиталец. Повести и рассказы. Воспоминания.— М.: Московский рабочий, 1960.

Скиталец Степан Гаврилович (настоящая фамилия Петров; 1869—1941) — известный русский советский писатель.

С. 510. *Говорили, что пьеса автобиографического содержания, и в ней Гарин выводит себя и своих жен... а на представлении пьесы будут сидеть в одной ложе вместе с Гариным и детьми — всей семьей.*— Скиталец передает обывательскую версию восприятия драмы «Орхидея».

Надежда Николаевна вспоминала: отец сообщил ей, что в столичном Михайловском театре дают его пьесу, хотел, чтобы она поехала. Надежда Валериевна сказала: поезжай. С художником Николаем Захаровичем Пановым, который за ней ухаживал, поехала на представление. Скиталец ошибается: ни Веры Александровны не было на спектакле «Орхидея» в Петербурге, ни Надежда Валериевна не была в Самаре на представлении, нигде и никогда две жены не сидели по обеим сторонам Николая Георгиевича.

А. И. КУПРИН

Печатаются по воспоминаниям, которые воспроизводят купринские наброски, помещенные в журнале «Современный мир», 1908, № 3, и перепечатанные в девятитомном Собрании сочинений. М., Правда, 1964, т. 9. Писатели были знакомы в последний, «крымский» период деятельности инженера Михайловского, производившего изыскания электрической железной дороги по Южному Крыму (начало 1900-х гг.).

Б. К. ТЕРЛЕЦКИЙ

Печатаются по воспоминаниям, сверенным с рукописью автора, хранящейся в ЦГАЛИ, ф. 1046, оп. 2, № 5, Ленинград, 1927.

Терлецкий Борис Климентьевич (1891—1942) — приемный сын Гарина-Михайловского, приходящийся ему дальней родней (не кровной), по образованию геолог, у него в доме в Ленинграде последние годы жизни провела Надежда Валериевна. Прототип одного из персонажей в пьесе Гарина-Михайловского «Подростки» (1906).

С. 528. *...твердо верил в победу революции.*— Близко знавший писателя П. П. Румянцев вспоминает о последней поре жизни Гарина-Михайловского: «За те несколько последних недель своей жизни, которые он провел в Петербурге, он возобновил все старые литературные связи и завязал новые, и сразу завоевал положение желанного члена во всех передовых литературных кружках. С присущей ему энергией он работал над рядом новых литературных и художественных начинаний. Он хотел создать новую большую газету, в которой выдержанное социал-демократическое направление в общественно-политических вопросах сочеталось бы с широкой постановкой культурно-информационного отдела... Накануне его смерти в его квартире собрались литераторы и актеры для обсуждения вопроса о фактическом осуществлении идеи «нового театра». И Гарин, по обыкновению, был оживлен, энергичен, остроумен, умело направляя дебаты в определенное русло.

Сама смерть застала его за любимой литературной работой. При его непосредственном и деятельном участии создавался новый журнал, в котором предполагалось литературно-художественный отдел органически слить с общественно-политическим[1]. Вечером, в понедельник 27 ноября, Гарин был в редакционном собрании «Вестника жизни», где обсуждалась организация такого журнала. Здесь читалось, между прочим, его последнее произведение — драматический этюд в одном действии «Подростки», изображающий, как отразилась русская революция на молодом поколении. Гарин запоздал и приехал уже после чтения. Он застал горячую речь Луначарского, который развивал идею, что художник социал-демократ не только должен бичевать буржуазный мир, не только изображать пролетариев-борцов, но и давать картины будущего, во имя которого он отрицает буржуазную культуру. Возможность рисовать идеальное будущее вызвала скептические замечания беллетристов. К ним присоединился и Гарин. «Наши писатели-художники — интеллигенты. Они составляют в современном литературном движении такой же генеральный штаб, какой составляют и интеллигенты, стоящие во главе борющейся пролетарской армии. Интеллигенты, по природе своей, не могут так проникнуться идеями пролетарской борьбы, как проникаются ими сами пролетарии. Но близко уже время, когда сами пролетарии будут руководить пролетарской борьбой. И тогда писа-

---

[1] В эту пору Гарин-Михайловский активно сотрудничал в «научном, литературном и политическом» журнале «Вестник жизни» вместе с Лениным, Луначарским, Ольминским и др.

телю-пролетарию будет больше по плечу художественно изображать социалистические идеалы, чем современным беллетристам-интеллигентам».

Это были последние слова Гарина, относящиеся к литературе. Через полчаса его не стало. Смерть застигла его на посту в буквальном смысле этого слова (из кн. «Юбилейный сборник инженеров путей сообщения выпуска 1878 года, XXXV, 1878. 24. V. 1913 года». СПБ, 1913).

А. Я. БРУШТЕЙН

Публикуются по Воспоминаниям, опубликованным в Новосибирске в 1983 году. Составитель И. Юдина использовала тексты мемуаров, напечатанных в журнале «Новый мир», 1956, № 12 («Три дня. К 50-летию со дня смерти Н. Г. Гарина-Михайловского»).

Александра Яковлевна Бруштейн (1884—1968) — русская советская писательница, прозаик, драматург, критик; наиболее известна ее автобиографическая трилогия «Дорога уходит в даль» (1956), воспоминания «Страницы прошлого» (1952).

Н. Н. МИХАЙЛОВСКАЯ-СУББОТИНА

Воспоминания Н. Н. Михайловской-Субботиной не публиковались, хранятся в ИРЛИ, ф. 69. Датируются 1950—1960 гг.

Надежда Николаевна Михайловская-Субботина (1880—1970) — старшая из детей писателя, педагог по образованию и призванию.

Надежда Николаевна неподражаемо передавала некоторые семейные предания. Вот несколько примеров.

«Уговорил я вас, мужики?»—спрашивал у гундуровцев Николай Георгиевич, а те не без лукавства отвечали: «Знамо дело — уговорил, ты и мертвого уговоришь, не токмо что живого».

Благодарили: «Ай, Миколай Егорыч, до чего ж ты добр [1]. Уж только тот на свет не рожон, кто тобой не пользовался».

В кабинете Николая Георгиевича часто происходили сходки, хозяин очень прислушивался к мнению мужиков [2].

Ссылаясь на мнение самарского краеведа Галяшина, Надежда Николаевна передавала воспоминания гундуровки Матрены.

— Как этого человека («Николай Егорыча») не помнить, не любить?! На девятый день после родов пошла жать. Дитя под кус-

---

[1] По-видимому, Надежда Николаевна, как истинная жительница столицы, не произносила исконно мужицкое слово «добер».

[2] Кстати, линии дороги Гарин вел в трудных местах (и в России и в Сибири) только после опроса стариков: где в половодье сухо, где стоит вода и т. д.

том. Увидел: «Что ты делаешь! Почему ребенок? Уходи, забирай ребенка». Ушла. Утром рассудила: «Барину хорошо распоряжаться»... Побежала я в поле утром. Все сжато, в снопах, связано... Как его не помнить.

Запомнилось Надежде Николаевне, что отец любил, когда она играла на рояле, любил сам напевать — не очень верным голосом. Особенно часто просил: «Играй, Дюся, украинскую». Род его, как будто, украинско-польский, а кто-то говорил из родни — и хорватский. Дед, якобы, вывез жену из Хорватии, но Надежда Николаевна считала [1], что Михайловские — херсонские помещики.

У матери Николая Георгиевича, Глафиры Николаевны, в 27 лет на десне опухоль. Пошла к Пирогову. «У вас рак». Тогда дала обет: пойдет пешком из Одессы в Киев, в Лавру святую. «Пусть будет рак, боже, но прошу тебя: дай воспитать всех детей. Когда последнее дитя станет на ноги, тогда зеберешь меня...» Обет выполнила — отправилась к мощам матери городов. Через год пошла снова к Пирогову. «Вы, верно, однофамилица Михайловской?» «Нет, Николай Иванович, это я». «У вас же ничего нет!»

Когда минуло 56 лет — на том же месте рак, и умерла [2]. Николай Георгиевич боготворил мать. Уже обреченной писал (письмо от 17.VI.1886 г., опубликовано в сборнике «Рассказы. Очерки. Письма», М., 1986, с. 338):

«Дорогая моя голубка мама!

Очень часто думаю о Вас и молю бога, чтобы облегчил он Ваши страдания. Его святая воля, но нам, Вашим детям, очень и очень тяжело видеть Вас на старости так страдающей; но если и посылает господь нам крест, то посылает, минуя нас, подготовляя для восприятия высшей его милости и награды; все бренные и грешные выстрадают и выболеют, останется одна чистая душа, всегда молившая господа своего. Все пройдет, все минет, все дойдет до назначенного ему, но выращенное Вами поколение все будет продолжаться, передавая из рода в род завещанную Вами нравственность, честь и семейственность из рода в род.

Ваш любящий и следующий по указанному Вами, моей дорогой мамой, пути — Ника.»

У Георгия Антоновича и Глафиры Николаевны Михайловских родилось четырнадцать детей, выжило девять.

У Николая Георгиевича и Надежды Валериевны родилось девять детей, выжило шестеро. На Урале умерла годовалая Варя (писатель А. Шмаков сообщает, что она похоронена на Усть-Катавском кладбище, где проектировался и был осуществлен «вариант».

---

[1] Это подтверждают архивы.

[2] Очень похоже на правду — архивы хронологически почти точно подтверждают предание: Глафира Николаевна родилась в 1827 г., умерла в 1886; Пирогов после Крымской войны служил в Одессе.

Статья «Творец и летописец»: В кн. Н. Гарин-Михайловский. Вариант.— Уфа, 1985, с. 14). По-видимому, в ту же пору и на том же строительстве дороги Уфа — Златоуст умер трехлетний Кока (Николай), о его болезни скорбно повествуется в повести «Вариант». О смерти недельного Валерия сведений нет, он умер в пору холеры и голода, разделив судьбу тысяч крестьянских детей в Поволжье.

Когда Николай Георгиевич подумывал о псевдониме, он вспомнил привычно звучащий в ушах предостерегающий крик двухлетнего Георгия (Гари) кому-то из старших братьев или сестер: «Это Гарин папа, уходи!» И Николай Георгиевич назвался «Гарин».

Надежда Николаевна считает, что уже с Гундуровки детей не крестили. Не говоря о Николае Георгиевиче, и «мать не религиозная» была, Надежда Валериевна.

Приведем здесь факты второго, гражданского брака Гарина-Михайловского в передаче его старшей дочери Надежды Николаевны.

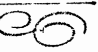
Николай Георгиевич был дружен с Константином Михайловичем Станюковичем. Запомнилось — невысокий, плотный, дергается левая щека. Потом узнала: тик начался в тюрьме, когда сказали, что умерла дочь. Сердечный человек и взыскательный к себе и другим писатель. В адскую погоду и в ужасные дороги приехал в гундуровскую глушь оповестить инженера Михайловского о том, что он выдающийся писатель. Кто другой бы так сделал, как воспитанный на идеях святых шестидесятых Станюкович. Из самых добрых побуждений познакомил в Петербурге в 1895 году Гарина с Садовской: «Надо спасти падшую душу». Побуждения-то по человечески добрые, а психологом неважным проявил себя беллетрист Станюкович. «Займитесь Верой Александровной, спасите». А она увлеклась Гариным. Он на самом деле стал ее спасителем: муж-купец был человек жестокий и грубый. Отец, говорила Надежда Николаевна, сразу почувствовал: у Садовской хватка[1]. Николай Георгиевич был на изысканиях или прокладке новой линии; жили в домиках, разыгралась вьюга, вдруг дверь отворяется и входит Вера Александровна... В гражданском их браке родились четыре девочки (Вероника: Вера + Ника, Ника, Мая, Ольга), была еще старшая, приемная дочь Гарина,— Вера, от брака Веры Александровны с К. Садовским. Мама, рассказывала Надежда Николаевна, вела себя очень достойно, ни одной сцены отцу не устроила. В 1904 году было двадцатилетие их свадьбы. Отец приехал, стал на колени, целовал маме руки: «Ты одна ни одной минуты моей жизни не отравила». Гарин очень любил детей и от второго брака, подавал на развод, однако по тогдашним правилам Надежда Валериевна должна была в таком

[1] Дочь, естественно, не могла симпатизировать женщине, разбившей семью, разлучившей ее отца и мать, впрочем, Вера Александровна воспринималась ею исключительно в бытовом плане.

случае взять вину на себя. Но ни он, ни она лгать и притворяться не умели и не хотели; к тому же, в случае его вины, вторично жениться ему воспрещалось, церковного же покаяния и трехлетнего ожидания разрешения поповского начальства на новый брак ждать не хотел. Когда Гарин-Михайловский умер, Надежда Валериевна подала прошение на высочайшее имя: просила дать «незаконным» детям Садовской фамилию их отца. Разрешили. Надежда Валериевна неоднократно повторяла взрослым уже сыновьям и дочерям: «Ваш отец — лучший человек на свете».

Надежда Валериевна Михайловская жила в Ленинграде (1859—1932) и умерла в доме Бориса Терлецкого, которого когда-то усыновил Николай Георгиевич, похоронена на Волковом кладбище вместе с Гариным-Михайловским.

Вера Александровна Садовская, проживавшая с Гариным в Самаре во второй половине 1890-х годов, находилась под негласным полицейским надзором. В начале 1900-х годов, когда они жили в Москве, на Спиридоновке, 14 (ныне улица Алексея Толстого), в их квартире была явка комитета РСДРП(б), который здесь же хранил нелегальную литературу. Когда Гарин убыл в Маньчжурию, продолжала помогать партии: печатала вощанки для мимеографа, под видом «жены» Н. Э. Баумана посещала его в тюрьме, когда настоящая жена скрывалась от ареста («Литературное наследство». Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка, Т. 72, М., 1965, с. 230).

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ. БИОХРОНИКА

1852, 8 (20) февраля	— В Петербурге в семье военного родился Николай Георгиевич Михайловский.
1871	— Оканчивает Ришельевскую гимназию в Одессе и поступает на юридический факультет С.-Петербургского университета.
1872	— Переходит в Институт инженеров путей сообщения Александра I (Петербург).
1878	— Оканчивает институт со званием гражданского инженера, работает на прокладке шоссе в районе города Бургас (Болгария), на строительстве железной дороги из Молдавии в Румынию Бендеры — Галац.
1879, 16 ноября	— За отличное исполнение поручений в минувшую войну награжден гражданским орденом Станислава 3-й степени.
1879, 22 августа	— Венчается в Одессе с Н. В. Ча́рыковой.
1880, март	— Работает на строительстве Батумского порта и участка Батум — Самтредиа Закавказской железной дороги.
1882, февраль	— Работает начальником участка на строительстве Либаво-Роменской и Жабинско-Пинской железных дорог.
1883—1886	— Покупает имение близ дер. Гундуровка Бугурусланского уезда Самарской губернии, занимается сельскохозяйственной деятельностью.
1884—1886	— В отставке.
1886, весна	— Возвращение на службу.
1886, май	— Отъезд на строительство железной дороги Уфа — Златоуст.
1886 или 1887	— В течение нескольких свободных от работы дней написан очерк о трехлетней деятельности в дер. Гундуровке.
1888—1889	— Работа над повестью «Вариант» (опубликована в 1910 г.).

1890, осень	— Через знакомого пересылает очерк («Несколько лет в деревне») в Москву, где он прочтен в группе литераторов в составе Н. К. Михайловского, Н. Н. Златовратского, К. М. Станюковича, Г. И. Успенского и др. и одобрен ими.
1890, конец года	— Отъезд с Урала в связи с окончанием строительных работ. Награжден за постройку дороги Уфа — Златоуст (1-й участок Транссибирской магистрали) орденом Анны 3-й степени.
15 апреля 1891	— Участие в похоронах Н. В. Шелгунова в Петербурге.
1891, весна, лето, осень	— В должности начальника VI партии участвует в изыскательских работах в Сибири (Томская губерния), в ходе которых намечена у с. Кривощекова трасса мостового перехода через р. Обь. Закладывает гундуровское имение и дает деньги на приобретение столичного журнала «Русское богатство».
1892	— С января журнал выпущен новой редакцией. Под псевдонимом Н. Гарин появляется здесь повесть «Детство Темы» (№№ 1—3). В №№ 3—6 «Русской мысли» (Москва) опубликованы очерки «Несколько лет в деревне». Печатает в «Русском богатстве» рассказы «Ицка и Давыдка» и «Под вечер»; статьи по вопросам железнодорожного строительства; изыскания для Казань-Малмыжской железной дороги.
1893	— В течение года в «Русском богатстве» (7 книжек) печатается повесть «Гимназисты». Публикует очерки «История одной школы», «На ходу», «Сочельник в русской деревне». Вышел первый том «Очерков и рассказов». Уволен из министерства.
1894	— Появление цикла рассказов «Деревенские панорамы»; очерки «Карандашом с натуры. По Западной Сибири» — об изысканиях в бассейнах Оби и Томи; рассказы «В усадьбе помещицы Ярыщевой», «Коротенькая жизнь», «Немальцев» («Жизнь бессловесная», публикация 1896 г.); на изысканиях в Поволжье (Кротовка-Сергиевская узкоколейная дорога); «Переправа через Волгу»; в Волынской губернии на изысканиях; статьи, пропагандирующие узкоколейные железные дороги.
1895	8 января 1895 г. — в числе других прогрессивных литераторов столицы подписал петицию молодо-

му царю Николаю II о необходимости ограждения русской литературы «от непосредственного воздействия светской и духовной цензуры», а также особую записку о бесправном положении печати. Царем оставлено без внимания.

— На протяжении почти целого года в «Русском богатстве» печатается повесть «Студенты»; рассказы «Бурлаки», «Не от мира сего», «Радости жизни», «Вальнек-Вальновский» и др; 2-й том «Очерков и рассказов». Знакомство с М. Горьким. На изысканиях по поручению земств в Верхнем и Среднем Поволжье (Костромская, Ярославская, Нижегородская, Самарская и др. губернии). Восстановлен министром путей сообщения М. И. Хилковым на государственной службе.

1896 — Рассказы «Исповедь отца», «Старый холостяк», «Жизнь и смерть», «Ревекка» (последний в газете «Самарский вестник»). Участие в строительстве Самаро-Кротовской узкоколейной железной дороги. С *октября* — участие в обновленной марксистской редакции газеты «Самарский вестник» до *марта* следующего года.

1897 — «По земле Сибири. Карандашом с натуры», «Картинки Волыни», «Новые звуки», «Два мгновения». Уход из либерально-народнического «Русского богатства».

1898 — «На ночлеге», «Когда-то», «Адочка» и др. После постройки дороги Кротовка — Сергиевск

июль — декабрь осуществил путешествие вокруг света: Корея — Япония — Северо-Американские Соединенные Штаты — Англия — Франция — Германия — Россия. Записаны корейские сказки. Ведется дневник; научные наблюдения, сделанные в Северной Корее и Маньчжурии, по возвращении публикуются. Пьеса «Орхидея». Начало работы над повестью «Инженеры».

1899 — В журнале «Мир божий» публикует путевые заметки «Карандашом с натуры» (о корейско-маньчжурской экспедиции), дневниковые записки «Из окна вагона. От Петербурга до Триеста», повесть «Клотильда», очерк «Мои скитания». Рассказ «В конке». В *феврале* участвует в студенческих «беспорядках» в Петербурге, высылка из столицы. Под негласным надзором полиции. Занятия сельским хозяйством в Самарской губернии. Получает

за участие в дальневосточной экспедиции третий орден — Владимира IV степени.

1900 — Рассказ «Дворец Дима», очерки «В сутолоке провинциальной жизни». Начало сотрудничества в Сборниках книгоиздательства «Знание», возглавлявшегося М. Горьким. Участие в телешовских «Средах» (Москва). Сотрудничество в легальных марксистских журналах «Начало» и «Жизнь».

Март 1901 — В числе сорока литераторов подписал коллективный протест-воззвание против избиения демонстрантов полицией у Казанского собора в Петербурге. Рассказы «Старый еврей», «Правда», «Наташа», «На станции» и др.

1902 — Рассказ «Волк». Неудачное завершение сельскохозяйственной деятельности (в следующем году имение продано с торгов).

1903 — Изыскания в Крыму запроектированной Южнокрымской электрической ж. д. Цикл «Тени земли» («Художник», «Гений», «Вероника»). Рассказ «На практике», пьеса «Деревенская драма».

1904 — Рассказ «Бабушка». Начало русско-японской войны. В *апреле* уезжает в Корею на строительство канатной дороги; в качестве корреспондента московской газеты «Новости дня» в Маньчжурской армии. В издательстве «Знание» отдельной книгой выходит дневник «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову»; очерк «Вокруг света».

1905 — В *июне* приезжает на несколько дней в Россию; слушает на даче И. Е. Репина «Пенаты» в Куоккале чтение М. Горьким его пьесы «Дети солнца». Работает над повестью «Инженеры». Участие в социал-демократических организациях г. Харбина (Китай), выбран в Харбинский с.-д. комитет Маньчжурской армии.

1906 — В *сентябре* возвращается в Петербург. Драматический этюд «Подростки», работа над рассказом «Казнь». Сотрудничество в большевистском журнале «Вестник жизни» (Петербург).

27 ноября умирает от паралича сердца на совещании членов редакции журнала. 30 ноября похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища (Петербург).

1907	— В Сборнике товарищества «Знание» (книги 17, 18, 19-я) напечатана незаконченная повесть «Инженеры».
1910	— В журнале В. Г. Короленко «Русское богатство» опубликована незаконченная повесть «Вариант».
1912, весна	— На могиле установлен памятник работы скульптора Л. В. Шервуда.

В основанном Н. Г. Гариным-Михайловским Новосибирске привокзальная площадь названа его именем, планируется открытие музея писателя и инженера.





КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ Н. Г. ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО

Полное собрание сочинений, тт. I — IX. СПб., «Знание», 1903—1910; тт. X—XVII, XIX. ПБ.-М., «Освобождение», 1913—1914.

Полное собрание сочинений, тт. I—VIII. Пг., А. Ф. Маркс, 1916. В т. I критико-биографич. очерк П. В. Быкова.

Из дневников кругосветного путешествия. Изд. 3-е. М., Географиздат, 1952. Вступ. статья В. Т. Зайчикова.

Собрание сочинений, тт. 1 — 5. Вступ. статья В. А. Борисовой. М., ГИХЛ, 1957—1958.

Письма. Вступительная статья и комментарий В. Я. Гречнева.—«Литературный архив», т. 5, М.-Л., АН СССР, 1960.

«Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». Вступ. статья Ф. Ф. Кузнецова. 2-е изд. М., 1977.

«Несколько лет в деревне». Очерки. Драма. Послесловие Ф. Уяра. Чебоксары, 1980.

«Вариант». Очерки. Рассказы. Послесловие А. Шмакова. Челябинск, 1982.

Сочинения: Повести, рассказы, очерки, сказки, путевые очерки, воспоминания, письма. Вступ. статья Г. М. Миронова, Л. Г. Миронова. М., 1986.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ О Н. ГАРИНЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Бялый Г. А. Гарин-Михайловский. История русской литературы, т. X. М.-Л., 1954.

Владимиров Е. В. Н. Г. Гарин-Михайловский.— Русские писатели в Чувашии. Чебоксары, 1959.

Галяшин А. А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии. Куйбышев, 1979.

Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. 2-е изд. Новосибирск, 1983.

Кожевников С. О чем шумят сосны. Иркутск, 1950.

Краснова Л. В. Гарин-Михайловский в критике. Литературоведение, Львов, 1958. (Труды кафедры русской литературы Львовского университета, филологический ф-т, вып. 2).

Миронов Г. М. Поэт нетерпеливого созидания. Н. Г. Гарин-Михайловский. Жизнь. Творчество. Общественная деятельность. М., 1965.

Миронов Г. М. Н. Г. Гарин-Михайловский. Краткая литературная энциклопедия. М., 1964, т. 2.

Перцов П. Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М.-Л., 1933.

Румянцев П. Памяти Н. Г. Гарина-Михайловского.— «Юбилейный сборник инженеров путей сообщения», вып. 1878 года. СПб, 1913.

Санин А. «Самарский вестник» в руках марксистов (1896—1897 гг.). М., 1933.

Тейтель Я. Л. Из моей жизни. За сорок лет. Париж, 1925.

Туманян Л. А. Н. Г. Гарин-Михайловский о Китае и Корее.— Труды Азербайджанского заочного пединститута, 1955, вып. 2.

Чуковский К. И. Гарин. Сб. «Современники». М., 1962.

Шмаков А. А. Наше литературное вчера. Челябинск, 1962.

Юдина И. М. Рукописное наследие Н. Г. Гарина-Михайловского. «Русская литература», 1961, № 2.

Юдина И. М. Гарин-Михайловский. Жизнь и литературная деятельность. Л., 1969.



СОДЕРЖАНИЕ

Гарин-Михайловский Н. Г.

Г 20 Проза. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и ком. Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова.— М.: Правда, 1988.— 576 с.

В сборник произведений русского писателя, инженера, путешественника Н. Г. Гарина-Михайловского (1852—1906) вошли избранные рассказы, повесть «Клотильда», очерки «Вокруг света», дневники путешествий на Дальний Восток и плавания через Тихий океан, воспоминания современников.

Г $\frac{4702010100 — 1666}{080(02) — 88}$ 1666 — 88 84 Р 1

Николай Георгиевич ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

ПРОЗА
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Составители
Георгий Михайлович Миронов
и Леонид Георгиевич Миронов

Редактор
С. А. Суркова

Оформление художника
А. В. Лепятского

Художественный редактор
Р. А. Клочков

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1666

Сдано в набор 28 11 87. Подписано к печати 26 01.88.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая
Усл. печ л. 31,92 Усл. кр -отт. 33,81. Уч -изд л. 34,90.
Тираж 200 000 экз (1-й завод: 1 — 100 000).
Заказ 3958. Цена 2 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24

Отпечатано в типографии «Курская правда»,
305007, г. Курск, ул Энгельса, 109.



Фотопортрет Н. Г. Гарина-Михайловского, ранее не публиковавшийся. *Рубеж веков.*





Мать писателя — Глафира Николаевна Михайловская со старшей дочерью Татьяной (1878).

«Окончил полный курс наук в Институте инженеров путей сообщения... со званием гражданского инженера...»



На таком транспорте до появления «чугунки» преодолевались российские расстояния. «Почтовая тройка» — с картины Н. Сверчкова.

Молодожены Николай и Надежда Михайловские. *Середина 1880-х гг.*



Супруги Михайловские с детьми: Надеждой (Дюсей) и Сергеем.



Первые годы службы.
«За отличное исполнение поручений в минувшую Турецкую войну пожалован кавалером ордена св. Станислава 3 степени».

Первые листы будущей повести «Вариант» писались в свободные от службы минуты и часы.





А эта тройка уже не почту — гонимого властями россиянина везет в места «не столь» или «весьма» отдаленные, и не сопровождающим жандармам, а ему низко кланяются встречные крестьяне.
«В ссылку» — с картины Н. Каразина.

Здание Института инженеров путей сообщения. *Ленинград, 1965 г.*





«Уборка ржи помочью» — с картины К. Савицкого.

«Беседа четырех малороссов» — рисунок В. Маковского.



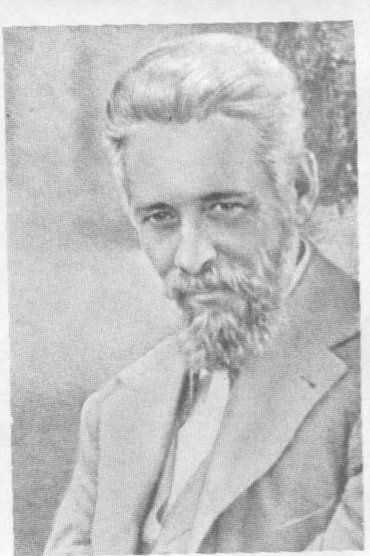
Строительство линии от Уфы к Златоусту, к Челябинску (верхний снимок).

Начало работ у моста, символические тачки с бетоном катят какой-то чин (возможно, из министерства, даже сабли не снял) и труженик-инженер Н. Тихомиров 2-й (нижний снимок).



На уральскую станцию или разъезд пришел первый поезд



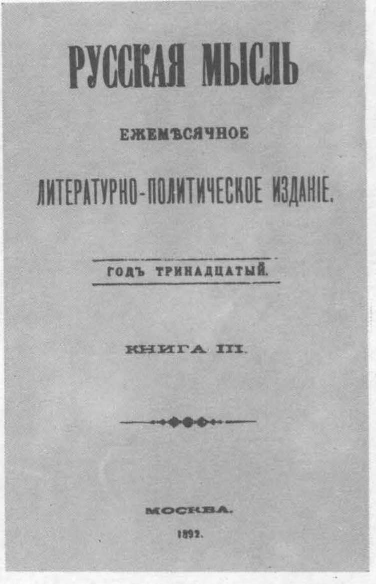
Верхний ряд. Н. Гарин с добрым товарищем и коллегой А. Вентцелем. Гарин на рубеже столетий в полной инженерной форме.

Нижний ряд. Известная фотография писателя с надписью В. А. Садовской: «Героине моей лучшей драмы от Н. Гарина». Гарин (конец 90-х годов) щурится на солнце, улыбка добрая и стеснительная.



Начальник партии Михайловский 2-й (сидит во втором ряду, со значком Института на форменной тужурке) среди инженеров, техников, рабочих. *1886 г.*

ОГЛАВЛЕНІЕ


РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ.

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

КНИГА III.

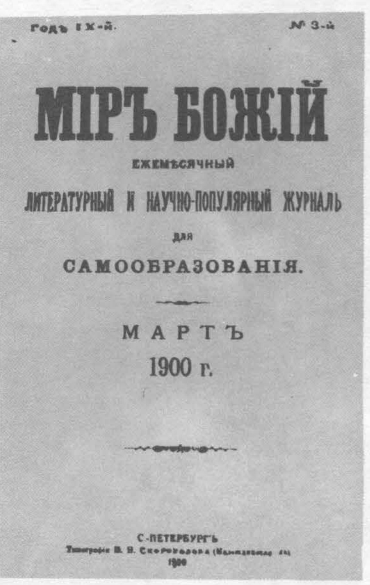
МОСКВА.

1892.

СОДЕРЖАНІЕ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ


Годъ IX-й. № 3-й

МІРЪ БОЖІЙ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ

САМООБРАЗОВАНІЯ.

МАРТЪ

1900 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43)

1900

Журналы обеих столиц, в которых печатался Н. Гарин на протяжении своего творческого пути (1892—1906).

Tome XI Сентябрь, 1898 Septembre

Cosmopolis

Revue internationale

Direction F. ORTMANS

Редакторъ Русскаго Отдела Ѳ. Д. БАТЮШКОВЪ

SOMMAIRE:

St. Petersbourg:

Librairie A. ZINSERLING. Ancienne Maison MELLIER & Cie.

PARIS: ARMAND COLIN & Cie. — LONDON: T. FISHER UNWIN, (Paternoster Buildings). — VIENNE: A. HARTLEBEN.

NEW-YORK: THE INTERNATIONAL NEWS COMPANY. — BERLIN: ROSENBAUM & HART. — AMSTERDAM: KIRBERGER & KESPER.

АПРѢЛЬ—МАЙ. 1892.

РУССКОЕ БОГАТСТВО

ГОДЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

№№ 4—5.

СОДЕРЖАНІЕ.

(См. на оборотѣ).

XIII. 1904

ОБРАЗОВАНІЕ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

научно-популярный

и

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ

№ 2.

ФЕВРАЛЬ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типо-Литографія Б. М. Вольфа. Разъѣзжая, 13

1904

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ.

1906

ГОДЪ XI. №6 ІЮНЬ

ЦѢНА ВЪ ГОДЪ ОДИНЪ РУБЛЬ СЪ ПЕРЕС.
ЗА ГРАНИЦУ—ДВА РУБЛЯ.
КОНТОРА И РЕДАКЦІЯ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
ЛИГОВСКАЯ УЛ., 21, УГОЛЪ УЛ. ЖУКОВСКАГО.



Верхний ряд. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, в чьих работах Н. Михайловский искал «ключ знания».

Нижний ряд. Н. К. Михайловский — один из «хранителей наследства» революционных демократов Герцена и Чернышевского.
Щапов — историк, верный последователь революционных демократов.



Верхний ряд. К. М. Станюкович — писатель, друг Гарина.
А. И. Иванчин-Писарев — участник освободительного движения, публицист, близкий знакомый Гарина.

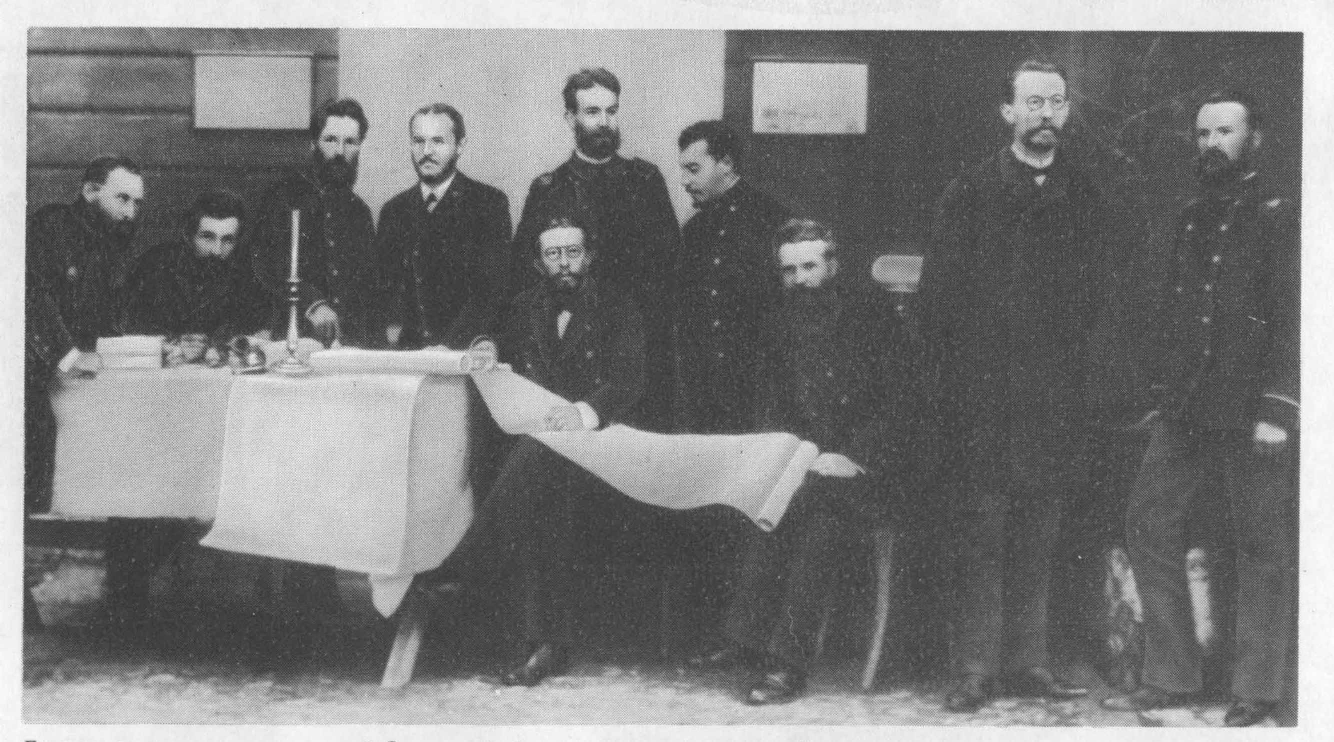
Нижний ряд. Г. И. Успенский — писатель, друг Гарина.
С. Я. Елпатьевский — добрый знакомый Гарина, автор воспоминаний о нем, врач и писатель.





Новая Деревня — поселок, потом город Новониколаевск, теперь миллионный Новосибирск. *Фотография 1900 г.*

«На миру» — с картины С. Коровина.



Группа инженеров — строителей Западно-Сибирского участка железной дороги.
Район сооружения моста через Обь. 1896 г.



Г. М. Будагов — товарищ
и соратник Гарина —
не только строил
дороги и мосты,
но и нес культуру,
образование в глухие
края.



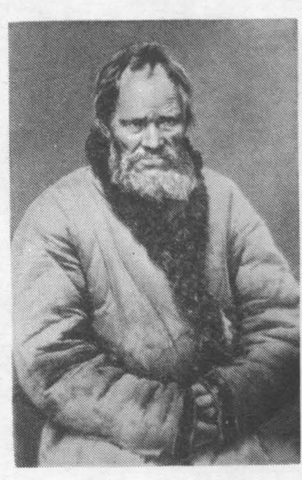
Н. А. Белелюбский —
выдающийся русский
ученый, теоретик
и практик
отечественного
мостостроения.

Н. Гарин позирует художнику К. Коровину (вторая половина 1890-х годов), скорее всего в Гундуровке.



Инженер А. П. Сафонов, помощник Гарина по экспедиции в Корею летом — осенью 1898 г.

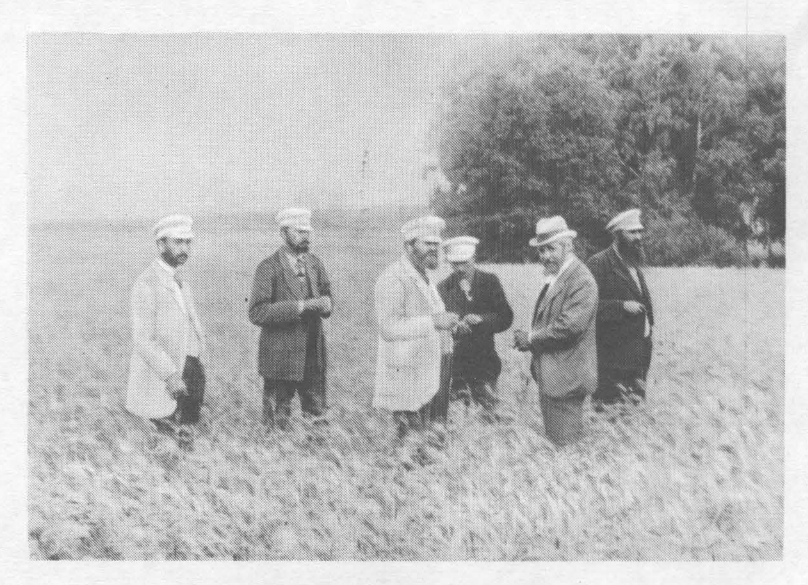
«Ремонтные работы на железной дороге» — с картины К. Савицкого.



Сельский начальник; неизвестный фотограф запечатлел удивительно живучий тип низшего администратора, всевластного владыки над жизнями и судьбами людей «трудовой нищеты».



Один из лучших фотографических портретов Н. Гарина. Писатель в непривычно спокойной позе, вся фигура, лицо, руки исполнены благородного умиротворения.



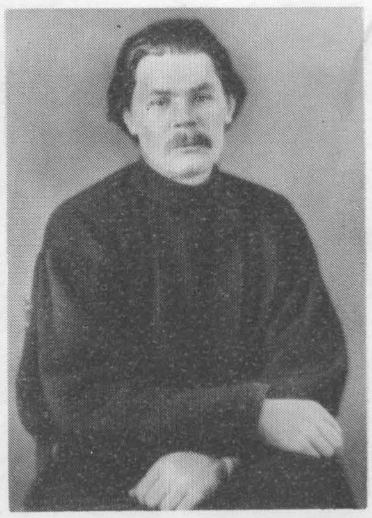


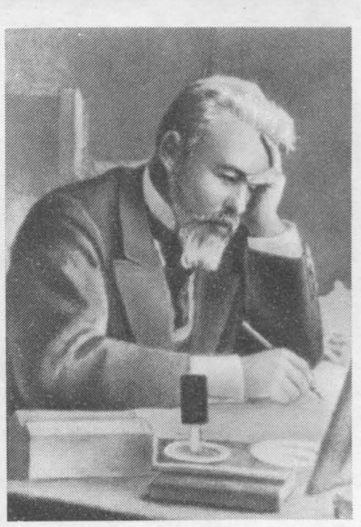
Владелец Гундуровского имения на поле в компании соседей-помещиков и купцов.

Супруги Михайловские в Гундуровке с детьми, родными и знакомыми. *Конец 1890-х гг.*



На «четверге» в редакции журнала «Русское богатство». *Вторая половина 1890-х гг.*

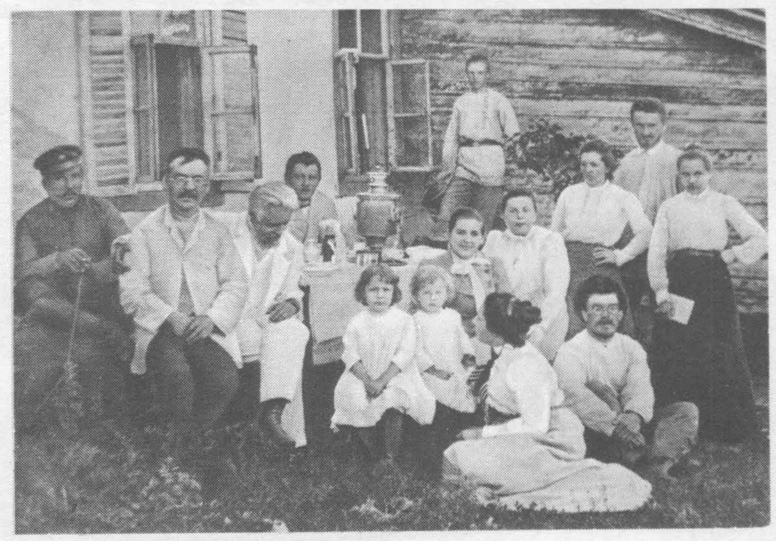


Верхний ряд. В. Г. Короленко. С ним Н. Гарин много лет сотрудничал в передовом демократическом журнале «Русское богатство».
М. Горький. В нем Гарин угадал «нового творца нового слова».

Нижний ряд. А. П. Чехов. Писатели сдружились в Крыму, где жил Чехов, а Гарин вел изыскания горной дороги. Н. Гарин в своей любимой позе размышлений, творчества. *Середина 1890-х гг.*

Сохранившаяся страница незаконченной повести «Вариант».

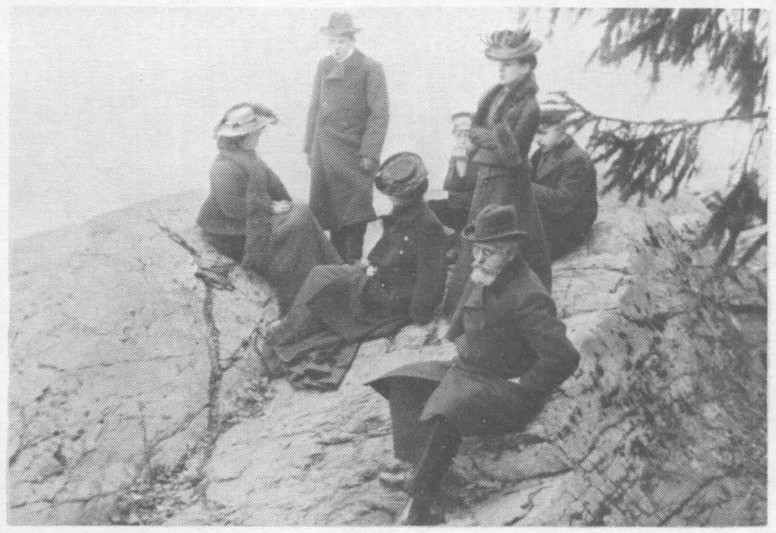




Кругосветное путешествие 1898 г. Унион-сквер в Нью-Йорке.

Николай Георгиевич и Надежда Валериевна с детьми и знакомыми у дома в Гундуровке.



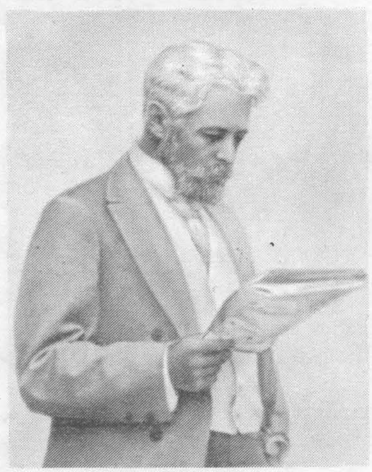


Корейские рабочие на строительстве Уссурийской железной дороги.
К материалам экспедиции в Корею в 1898 г.

Н. Гарин с родными и друзьями на Иматре в 1903 г.







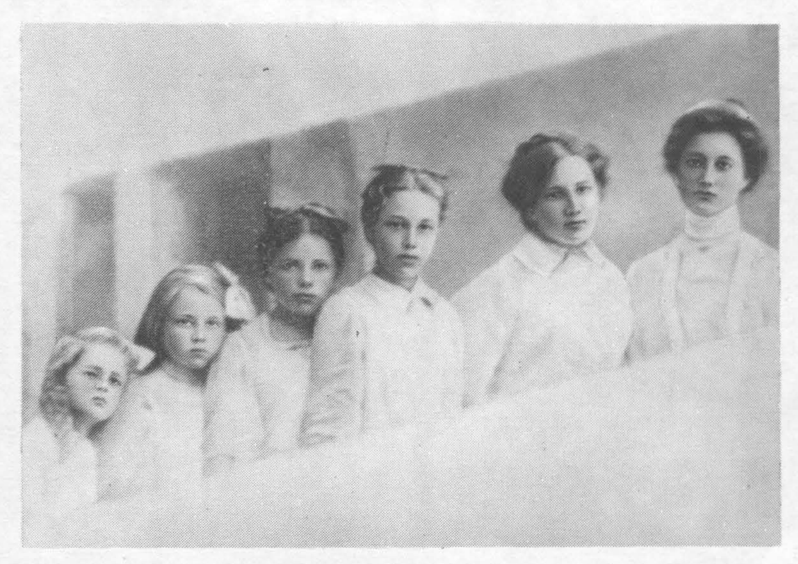


Верхний ряд. Три брата Михайловских в 1900 г. Справа Александр, средний брат, в центре младший Михаил, инженер путей сообщения, проявил себя способным строителем-дорожником.

Николай Георгиевич и Надежда Валериевна Михайловские.
Середина 1890-х гг.

Николай Георгиевич читает газету. С картины художника И. Пасса, подаренной Н. В. Михайловской автором после смерти писателя.

Фото середины 1890-х гг.





Дочери — «лесенкой». *Начало 1900-х гг.*

С младшими дочерьми Ольгой и Адой. *Начало 1900-х гг.*





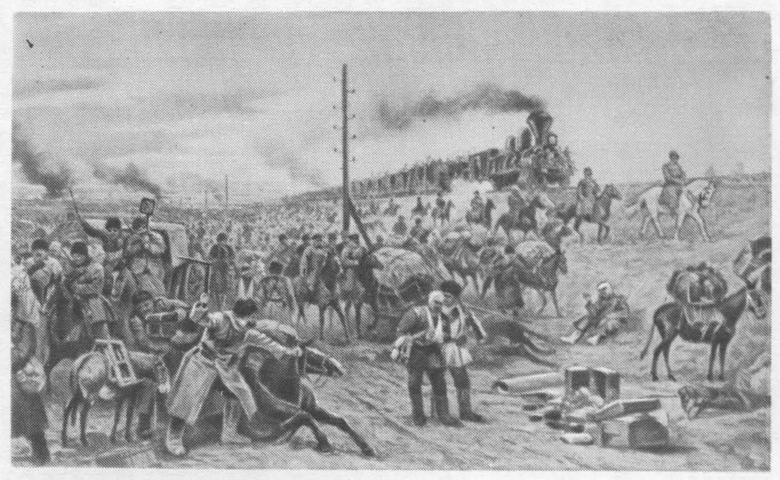


Верхний ряд. И пришла война. Последний, по-видимому, «мирный» снимок, дошедший до нас. С В. А. Садовской. *Начало 1900-х гг.*

Корреспондент московской газеты «Новости дня» в Маньчжурской армии. С В. А. Садовской. *Харбин, 1905 г.*

5 июня 1905 г., кратковременный приезд Гарина в Россию из армии. На даче И. Е. Репина в Куоккале — «Пенаты» под Петербургом. М. Горький читает свою пьесу «Дети солнца».





Открытка к малолетней дочери из Лаояна, с театра военных действий.

Русско-японская война. После мукденских боев. «На пути к Телину»— с картины В. Мазуровского.



Под печальными березами петербургского Волкова кладбища, Литераторские мостки. Медный Гарин в своей привычной позе. *Скульптор Л. В. Шервуд. 1908 г.*

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

XVIII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1907 ГОДЪ.

КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

М. Горькій. Мать.

Записки В. Вересаева. На войнѣ.

Н. Гаринъ. Инженеры.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1907.

Подготовленные к печати М. Горьким «Инженеры» вышли в горьковском же «Знании» после смерти Гарина.

2 р. 80 к.